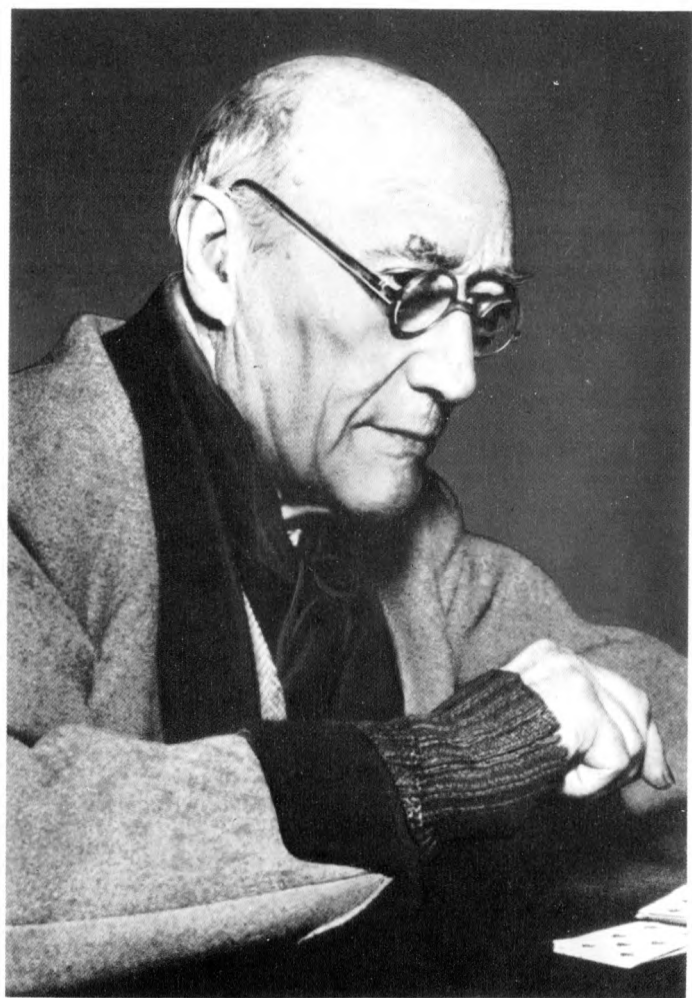




АНДРЕ ЖИД

АНДРЕ ЖИД





СЕРИЯ
«ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ»

АНДРЕ ЖИД

**Избранные
произведения**

Перевод с французского

МОСКВА
„ПАНОРАМА“
1993

ББК 84.4Фр
Ж69

Федеральная целевая программа
книгоиздания России

Составление и послесловие Л. Токарева
Оформление художника А. Музанова

Ж $\frac{4703010100-157}{088(02)-93}$ КБ-5-34-93

ISBN 5-85220-207-X

© Составление, послесловие. Л. Н. Токарев, 1993 г.

© Художественное оформление. Издательство «Панорама», 1993 г.

Имморалист

ПОВЕСТЬ

Перевод *А. Радловой*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выдаю эту книгу за то, что она есть. Это плод, полный горького пепла; она подобна колоквинтам пустыни, которые растут на сожженной почве и лишь сильнее разжигают жажду, но на золотых песках не лишены красоты.

Если бы я вздумал выдать своего героя за образец, надо было бы признать, что это мне плохо удалось; те немногие, которые заинтересовались историей Мишеля, возненавидели его всей силой своей доброты. Я недаром украсил Марселину столькими добродетелями; Мишелю не могли простить, что он не предпочел ее себе.

Если бы я вздумал выдать эту книгу за обвинительный акт против Мишеля, это мне удалось бы не лучше, так как никто не почувствовал ко мне благодарности за негодование, которое вызывал к себе мой герой; кажется, что это негодование испытывали вопреки моему намерению; с Мишеля оно переливалось на меня; еще немного — и меня смешали бы с ним.

Но я не хотел делать эту книгу ни обвинительным актом, ни похвальным словом — и воздержался от суда. Теперь публика уже больше не прощает автору, если он, описав какой-нибудь поступок, не высказывается ни за, ни против него; даже больше — хотели бы, чтобы в течение самой драмы он стал на чью-либо сторону, определенно высказался бы за Альцеста или Филинта, за Гамлета или Офелию, Фауста или Маргариту, Адама или Иегову. Разумеется, я не утверждаю, что нейтральность (я чуть было не сказал: *нерешительность*) есть знак великого ума; но я думаю, что многие великие умы испытывали отвращение к... выводам и что правильно поставить проблему не значит считать ее заранее разрешенной.

Я против желания употребляю слово «проблема». По правде сказать, в искусстве нет проблем, достаточным разрешением которых не было бы само произведение искусства.

Если под словом «проблема» подразумевать «драму», я скажу, что драма, которая описывается в этой книге, несмотря на то, что она разыгрывается в душе моего героя, достаточно обща, чтобы не оставаться замкнутой в единичной истории Мишеля. Я не притязаю на изобретение этой «проблемы»; она существовала до моей книги, и, торжествует или гибнет Мишель, «проблема» продолжает существовать, и автор не приписывает себе ни торжества, ни поражения.

Если некоторые тонкие умы усмотрели в этой драме только описание странного случая, а в герое только больного человека; если они не признали, что несколько очень насущных и общеинтересных мыслей могут заключаться в ней,— в этом не виноваты ни мысли, ни драмы, но лишь сам автор, то есть его неловкость — несмотря на то, что он вложил в эту книгу всю свою страсть, все слезы и все старания. Но реальная значительность произведения и интерес к нему публики нынешнего дня — вещи совершенно различные. И я думаю, что без особенного самомнения можно предпочесть опасность в первый день не заинтересовать вещами, воистину интересными,— тому, чтобы привести в кратковременный восторг публику, лаккому до безвкусицы.

В общем, я не пытался ничего доказать, а лишь хорошо живописать и правильно освещать свою живопись.

I

(Господину Председателю Совета Д. Р.)

Сиди б. М. 30 июля 189...

Да, ты конечно и сам об этом догадался: Мишель говорил с нами, дорогой брат. Вот его рассказ. Ты просил меня его сообщить, и я обещал; но в эту минуту, когда я должен его отправить тебе, я еще колеблюсь, и чем больше я его перечитываю, тем ужаснее он мне кажется. Ах, что ты подумаешь о нашем друге. А что я сам о нем подумал?.. Просто ли мы осудим его, отрицая, что можно направить к добру свойства, которые проявляются в зле?.. Но я боюсь, что в наши дни найдется немало людей, способных узнать себя в этом рассказе. Можно ли изобрести применение такому уму и силе, или надо просто отказать всему этому в правах гражданства.

Как Мишель может служить государству? Признаюсь, что не знаю как... Ему нужно найти какое-нибудь занятие. Высокое положение, которого ты добился, благодаря твоим большим заслугам, власть, которой ты обладаешь, поможет ли тебе найти это занятие? Торопись. Мишель преданный человек, он еще пока преданный; скоро он будет предан одному себе.

Я пишу тебе под совершенно лазоревым небом; за двенадцать дней, что Дени, Даниэль и я здесь, не было ни одного облака, ни разу солнце не ослабевало; Мишель говорит, что небо чисто вот уже два месяца.

Я не грустен и не весел; здешний воздух наполняет смутным восторгом и приводит в состояние, которое кажется столь же далеким от веселья, как от печали; быть может, это счастье.

Мы здесь подле Мишеля: мы не хотим оставлять его; ты поймешь, почему, если захочешь прочитать эти страницы; здесь, в его доме, мы будем ждать ответа от тебя; не задерживай его.

Ты знаешь, какая глубокая школьная дружба, с каждым годом все растущая, связала Мишеля с Дени, с Даниэлем, со мной. Между нами четверым было заключено нечто вроде договора: на первый зов одного должны откликнуться трое остальных. И вот, когда я получил от Мишеля таинственный призыв, я тотчас сообщил о нем Даниэлю и Дени, и мы трое, все бросив, уехали.

Мы не видали Мишеля уже три года. Он женился, увез свою жену путешествовать, и во время его последнего пребывания в Париже Дени был в Греции, Даниэль в России, а я, как ты знаешь, возле нашего больного отца. Однако мы имели о нем вести; но то, что нам рассказали Силас и Вилль, не могло не удивить нас. В нем произошла какая-то перемена, которую мы не могли еще себе уяснить. Это уже больше не был прежний ученый пуританин, с жестами неловкими, до того они были убежденные, с таким ясным взором, что перед ним часто замолкали наши слишком вольные разговоры. Это был... но зачем указывать на то, что ты узнаешь из его рассказа.

Я посылаю тебе этот рассказ в том виде, в каком Дени, Даниэль и я его услышали. Мишель говорил на террасе, где мы лежали около него в тени, при свете звезд. Когда рассказ подходил к концу, мы увидели восходящее солнце над равниной. Дом Мишеля возвышается над ней, так же как и деревня, от которой он находится недалеко. В жару, когда вся трава скошена, эта равнина похожа на пустыню.

Дом Мишеля, хотя и беден и причудлив, но очарователен. Зимой в нем пришлось бы страдать от холода, так как в окнах нет стекол или, вернее, совсем нет окон, а лишь громадные дыры в стенах. Так тепло, что мы спим на воздухе, на циновках.

Я должен тебе еще сказать, что доехали мы хорошо. Мы добрались сюда вечером, изнемогающие от жары, опьяненные новизной, так как мы едва остановились в Алжире, потом в Константине. В Константине мы пересели на новый поезд, в котором доехали до Сиди б. М., где ожидала нас тележка. Проезжая дорога прекращается далеко от деревни. Деревня торчит на вершине скалы, как некоторые умбрийские городки. Мы поднялись пешком; наши чемоданы были нагружены на двух мулов. Когда к деревне подходишь

этим путем, дом Мишеля оказывается первым. Его окружает сад, замкнутый со всех сторон низкой стеной, вернее, просто двор, в котором растут три раскидистых гранатовых дерева и великолепный розовый олеандр. Там находился мальчик-кабил, который убежал при нашем приближении: он без стеснения перелез через стену.

Мишель принял нас, не выражая радости; он был очень прост и, казалось, боялся всякого проявления нежности; но на пороге он серьезно поцеловал каждого из нас троих.

До вечера мы не обменялись и десятью словами. Очень скромный обед был подан в гостиной, удивившей нас своим роскошным убранством, но эту роскошь объяснит тебе рассказ Мишеля. Потом он угостил нас кофе, позаботившись сам о его приготовлении. Потом мы поднялись на террасу, откуда открывался бесконечный вид, и все трое, подобно друзьям Иова, стали ждать, любуясь быстрым закатом над равниной в огне.

Когда наступила тишина, Мишель заговорил:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дорогие друзья, я знал, что вы верны. Вы пришли на мой призыв так же, как я пришел бы на ваш. Однако вот уже три года, как вы не видели меня. Если бы ваша дружба, столь стойкая в разлуке, устояла так же хорошо перед рассказом, который вы услышите! Ведь, если я вас так внезапно позвал и заставил ехать до моего далекого дома, это только для того, чтобы видеть вас, и для того, чтобы вы могли выслушать меня. Я не хочу иной помощи, кроме того, чтоб говорить с вами. Я дошел до такого предела моей жизни, который я не могу переступить. Это не усталость. Но я больше не понимаю. Мне нужно... Мне нужно говорить, как я вам сказал. Уметь освободиться, это — ничто, трудно уметь быть свободным. Позвольте мне говорить о себе; я расскажу вам мою жизнь, просто, без скромности и тщеславия, проще, чем если бы я говорил с самим собой. Слушайте:

Последний раз, когда мы виделись, это было, я помню, в окрестностях Анжера, в маленькой деревенской церкви, на моей свадьбе. Народу было много, и то, что это были исключительно друзья, превращало этот банальный обряд в обряд трогательный.

Мне казалось, что друзья были взволнованы, и это меня тоже волновало. В доме той, которая становилась моей женой, мы с вами соединились при выходе из церкви за краткой трапезой без смеха и шуток; потом заказанный экипаж увез нас, согласно обычаю, по которому наш ум всегда связывает представление о свадьбе с образом вокзала.

Я очень мало знал свою жену и думал, не очень страдая от этого, что она меня знает не больше. Я женился на ней без любви и, главным образом, — чтобы угодить моему отцу, беспокоившемуся перед смертью, что он оставляет меня одного. Я нежно любил своего отца; во время его агонии, в эти печальные минуты я думал только о том, чтобы облегчить его конец: таким образом, я связал свою жизнь, не зная, что такое жизнь. Наша помолвка у изголовья умирающего была не весела, но не лишена торжественной радости — до того велик был мир, обретенный благодаря этой помолвке моим отцом. Если я не любил, как я сказал вам, мою невесту, я, во всяком случае, никогда не любил никакой другой женщины. В моих глазах этого было достаточно, чтобы построить наше счастье, и, не зная еще самого себя, я думал, что весь отдаю себя ей. Она была тоже сиротой и жила со своими двумя братьями. Ее звали Марселиной, ей едва минуло двадцать лет; я был на четыре года старше ее.

Я сказал, что я не любил ее — я не испытывал к ней ничего из того, что называется любовью, но если называть любовью нежность, что-то вроде жалости и, наконец, некоторое уважение — я любил ее. Она была католичкой, а я протестантом... но я считал себя протестантом в такой малой степени!.. Священник согласился обвенчать меня, и я не возражал: все обошлось гладко.

Мой отец был тем, кто называется «атеистом» — по крайней мере, я предполагаю это, так как по непреодолимой стыдливости, которую, кажется, он разделял, я никогда не мог говорить с ним о его верованиях. Серьезное гугенотское воспитание, данное мне моей матерью, медленно стиралось в моем сердце вместе с ее прекрасным образом: вы знаете, что я рано потерял ее. Я еще не подозревал, насколько овладевает нами эта детская мораль и какие борозды она оставляет в душе. Некую суровость, которую привила мне моя мать, внушая свои принципы, я перенес целиком на учебу. Мне было пятнадцать лет, когда она умерла; отец стал заниматься мною, заботиться обо мне и вложил всю свою страсть в мое образование. Я уже хорошо знал греческий язык и латынь; с ним я научился древнееврейскому, санскриту, персидскому и арабскому языкам. Когда мне минуло двадцать лет, я был настолько натаскан, что он решил приобщить меня к своей работе. Его забавляло обращаться со мной, как с равным, и он захотел доказать мне это равенство. «Опыт о фригийских культах», появившийся под его именем, был моим произведением; он его лишь

слегка проредактировал; никогда за прежние работы его столько не хвалили. Он был в восторге. Я же был смущен, видя удачу этого обмана. Но с этого момента я вошел в этот круг. Самые ученые профессора обращались со мной, как с коллегой. Я улыбаюсь, теперь вспоминая о всех почестях, которые мне воздавали... Таким образом, я достиг двадцати пяти лет, почти ничего не видав, кроме развалин, и почти ничего не зная о жизни. К работе у меня было необычайное усердие. Я любил нескольких друзей (вы были в числе их), но я более любил самое дружбу, чем друзей; моя привязанность к ним была велика, но это была лишь потребность благородства; я дорожил каждым своим прекрасным чувством. Впрочем, я так же не знал своих друзей, как не знал самого себя. Ни на одно мгновение мысль не приходила мне в голову, что я мог бы вести другой образ жизни или что вообще можно жить иначе.

Мой отец и я довольствовались очень простой жизнью; мы оба так мало тратили, что я достиг двадцати пяти лет, не зная, что мы богатые. Я воображал, не думая об этом часто, что наших средств нам едва хватает на жизнь, и, живя с отцом, я приобрел столь экономные привычки, что почти испытал стеснение, когда понял, что мы обладаем гораздо большим состоянием. Я до того невнимательно относился к этим вопросам, что уяснил себе более или менее точно размеры своего состояния даже не после смерти моего отца, единственным наследником которого я был, а лишь при подписании брачного договора; и одновременно с этим я узнал, что Марселина не принесла мне почти ничего в приданое.

Была еще одна вещь, быть может, еще более важная, которой я не знал: у меня было очень слабое здоровье. Как я мог бы знать это, никогда не подвергая себя испытанию? Время от времени у меня бывали насморки, к которым я относился небрежно. Слишком спокойный образ жизни, который я вел, ослаблял меня и в то же время предохранял. Марселина, напротив, казалась здоровой,— а что она была здоровее меня, мы в этом вскоре должны были убедиться.

В день нашей свадьбы мы уже ночевали в Париже, в моей квартире, где нам приготовили две комнаты. Мы пробыли в Париже лишь столько, сколько было необходимо для покупок, затем отправились в Марсель, где тотчас сели на пароход, отплывавший в Тунис.

Торопливые хлопоты, суматоха последних, слишком стремительных событий, неизбежное свадебное волнение,

последовавшее столь быстро за более настоящим волнением моей потери,— все это меня обессилило. Только на пароходе почувствовал я усталость. До тех пор всякое занятие, увеличивая ее, отвлекало меня от нее... Вынужденный пароходный досуг позволил мне, наконец, подумать. Мне казалось, что это случилось в первый раз.

Также в первый раз я согласился надолго оторваться от своей работы. До тех пор я разрешал себе лишь краткие каникулы. Правда, путешествие в Испанию с отцом вскоре после смерти моей матери продолжалось более месяца, другое путешествие, в Германию,— шесть недель; были еще другие поездки — но уже чисто научного характера. Отец при этом не отвлекался от своих весьма точных изысканий; я же, если не принимал в них участия, читал. И все же, как только мы покинули Марсель, передо мной встали различные воспоминания о Гренаде, Севилье, о более чистом небе, более четких тенях, о празднествах, смехе и песнях. Вот то, что мы увидим, думал я. Я поднялся на палубу и смотрел, как удаляется Марсель.

Потом вдруг мне пришло в голову, что я обращаю слишком мало внимания на Марселину.

Она сидела на носу парохода; я подошел к ней и в первый раз посмотрел на нее по-настоящему.

Марселина была очень красива. Вы это знаете, вы видели ее. Я упрекнул себя, что этого раньше не замечал. Я слишком хорошо ее знал, чтобы видеть по-новому; наши семьи были дружны испокон веку; она выросла на моих глазах; я привык к ее очарованию... В первый раз я удивился, до того ее очарование показалось мне сильным.

На ее черной простой шляпе развевалась длинная вуаль. Она была белокурой и не казалась хрупкой. Ее юбка и корсаж были сделаны из шотландской шали, которую мы вместе выбирали. Я не хотел, чтобы она омрачала себя моим трауром.

Она почувствовала мой взгляд, повернулась ко мне... До тех пор у меня была по отношению к ней лишь внешняя предупредительность. Я более или менее хорошо заменял любовь чем-то вроде холодного ухаживания, которое, как я отлично видел, ее несколько раздражало. Почувствовала ли Марселина, что в этот момент я в первый раз посмотрел на нее иначе? Она тоже пристально посмотрела на меня, потом очень нежно мне улыбнулась. Ничего не говоря, я сел подле нее. До тех пор я жил для себя или, по крайней мере, по-своему; я женился, не думая, что моя жена может для

меня стать не только товарищем, не думая ясно о том, что из-за нашего союза моя жизнь может измениться. Я наконец понял тогда, что здесь прекращается монолог.

Мы были одни на палубе. Она подставила мне свой лоб, и я тихо прижал ее к себе; она подняла глаза; я поцеловал их и вдруг почувствовал, благодаря этому поцелую, нечто вроде жалости; она залила меня так бурно, что я не мог удержаться от слез.

— Что с тобою? — спросила меня Марселина.

Мы начали разговаривать. Ее очаровательные суждения привели меня в восторг. Я усиленно выработал себе кое-какое представление о женской глупости. В этот вечер, возле нее я сам показался себе неловким и глупым.

Итак, та, с которой я связал свою жизнь, обладала собственной и реальной жизнью! Эта важная мысль будила меня несколько раз в течение этой ночи; несколько раз я поднимался на своей койке, чтобы посмотреть, как на другой койке, нижней, спит Марселина, моя жена.

На следующий день небо было великолепно, море почти спокойно. Несколько неторопливых бесед еще уменьшили нашу стесненность. Брак начинал осуществляться по-настоящему. Утром в последний день октября мы приехали в Тунис.

Я намеревался пробыть там лишь несколько дней. Поведаю вам мою глупость; ничто в этой новой земле не привлекало меня, кроме Карфагена и некоторых римских развалин — Тимгат, о котором говорил мне Октав, Сусские мозаики и особенно Эль-Джемский амфитеатр, куда я собирался сразу же бежать. Надо было сначала добраться до Сусса, а там пересесть в почтовую карету; я хотел, чтобы ничто здешнее не удостоилось моего внимания.

Однако Тунис меня очень поразило. При новых впечатлениях, во мне волновались какие-то новые стороны моей души, дремавшие раньше, свойства, которые сохранили всю свою таинственную нетронутость, так как до тех пор не действовали. Все меня больше удивляло и ошеломляло, чем развлекало, и больше всего мне нравилась радость Марселины.

Все же мое недомогание с каждым днем увеличивалось, но мне казалось постыдным уступать ему. Я кашлял и чувствовал в верхней части груди странное стеснение. Мы едем на юг, думал я, — меня излечит жара.

Сфакский дилижанс отходит из Сусса в восемь часов

и проезжает Эль-Джем в час ночи. Мы заказали себе места в карете. Я думал, что она окажется неудобным рыдваном; на самом деле мы устроились довольно удобно. Но какой холод!.. Что за ребячливое доверие к теплому южному воздуху побудило нас, легко одетых, захватить с собой лишь одну шаль? Как только мы выехали из Сусса и из-под прикрытия его холмов, начал дуть ветер. Он прыгал по равнине, выл, свистел, проникал через каждую щель в дверцах; ничто не могло спасти от него. Мы приехали совсем продрогшие, а я к тому же измученный толчками экипажа и ужасным кашлем, еще больше меня теперь терзавшим. Что за ночь! Когда мы добрались до Эль-Джема, там не оказалось гостиницы; ее заменяла отвратительная харчевня. Что делать? Дилижанс отправился дальше. Деревня спала. В ночи, казавшейся беспросветной, смутно виднелись мрачные громады развалин; выли собаки. Мы вошли в большую грязную комнату, в которой стояли две жалкие кровати. Марселина дрожала от холода, но здесь, по крайней мере, нас не настигал ветер.

Следующий день был очень унылым. Мы удивились, увидав сплошь серое небо. Ветер все еще дул, но не так яростно, как накануне. Дилижанс должен был приехать только вечером... Повторяю вам, это был мрачный день. Амфитеатр, который я бегло осмотрел, разочаровал меня; он даже показался мне уродливым под тусклым небом. Быть может, мое недовольство еще усиливалось от недомогания. В середине дня, не зная чем заняться, я вернулся к амфитеатру и стал тщательно искать какой-нибудь надписи на камнях. Марселина, укрывшись от ветра, читала английскую книгу, которую, к счастью, захватила с собой. Я вернулся и сел около нее.

— Какой грустный день! Ты не очень скучаешь? — спросил я ее.

— Нет, ты видишь, я читаю.

— Зачем мы сюда приехали? Тебе хоть не холодно?

— Не очень. А тебе? Правда, ты совсем бледный.

— Нет.

Ночью ветер снова усилился. Наконец прибыл дилижанс. Мы поехали.

После первых толчков я почувствовал себя совсем разбитым. Усталая Марселина вскоре заснула у меня на плече. Но я подумал, что мой кашель разбудит ее, и, тихонько высвободившись, я прислонил ее к стенке. Я уже больше не кашлял, нет, я отхаркивал; это была новость; я добивался

этого без усилия; это приходило легкими приступами, через правильные промежутки времени. Это было такое странное ощущение, что в начале мне было почти забавно, но мне быстро опротивел незнакомый вкус, оставшийся потом во рту. Вскоре мой платок был полон мокроты, и я не мог им пользоваться, даже мои руки были выпачканы. Не разбудить ли Марселину?.. К счастью, я вспомнил о большом шелковом платке, который она носила за поясом. Я тихонько вытащил его. Я уже больше не удерживал мокроты, и она стала отделяться еще обильнее. Это меня необыкновенно облегчало. Это, должно быть, конец насморка, подумал я. Внезапно я почувствовал большую слабость, все начало кружиться передо мною, и мне показалось, что я теряю сознание. Разбудить ее? Ах, нет! (От моего пуританского детства у меня сохранилась ненависть ко всякой уступке слабости, я тотчас называл ее малодушием.) Я подобрался, крепко сжал руки и наконец победил свое обморочное состояние... Мне показалось, что я опять на море, и шум колес стал шумом волн... Но я перестал харкать.

Потом я впал в какое-то сонное забытье.

Когда я очнулся, утренняя заря разлилась по небу. Марселина еще спала. Мы подъезжали. Шелковый платок, который я держал в руке, был темный, так что сначала на нем ничего не было заметно. Но когда я вынул свой носовой платок, я с изумлением увидел, что он весь в крови.

Моей первой мыслью было скрыть эту кровь от Марселины. Но как? Я был весь перепачкан; я всюду видел теперь кровь, особенно на моих пальцах... У меня могла пойти кровь носом... Да, конечно, если она меня спросит, я скажу ей, что у меня шла кровь носом.

Марселина по-прежнему спала. Мы подъехали. Она сошла первой и ничего не заметила. Нам оставили две комнаты. Я вбежал в свою комнату, замыл, уничтожил следы крови. Марселина ничего не видела.

Однако я чувствовал большую слабость и приказал подать нам чай в комнаты. И в то время, когда Марселина разливала чай, улыбаясь, очень спокойная и сама немного бледная, меня охватило какое-то раздражение на то, что она могла ничего не заметить. Правда, я чувствовал, что я несправедлив, и убеждал себя: раз она ничего не видела, то лишь потому, что я это ловко скрыл; но все было тщетно,— это росло во мне как инстинкт, овладевало мною... Наконец это стало выше моих сил, я не мог выдержать и почти небрежно сказал ей:

— Сегодня ночью у меня было кровохарканье.

Она не вскрикнула, она только сильно побледнела, пошатнулась, захотела удержаться и тяжело опустилась на пол.

Я бросился к ней с каким-то бешенством: «Марселина! Марселина!» — Ну, вот что я наделал! Разве недостаточно было того, что я болен? Но, как я сказал, я был очень слаб, и еще немного — я тоже упал бы в обморок. Я открыл дверь, стал звать; на мой крик прибежали.

Я вспомнил, что у меня в чемодане было рекомендательное письмо к одному из гарнизонных офицеров; я воспользовался им, чтобы послать за военным врачом.

Между тем, Марселина пришла в себя; теперь она сидела у моей постели, где я дрожал в лихорадке. Врач пришел, осмотрел нас обоих. Он сказал, что у Марселины ничего нет и она вполне оправилась от своего обморока, а я тяжело болен. Он даже не захотел определить мою болезнь и обещал мне зайти под вечер.

Он вернулся, улыбаясь, говорил со мною и прописал различные лекарства. Я понял, что он приговаривает меня к смерти. Сознаться ли вам? Я даже не вздрогнул. Я устал. Просто, я отказался от борьбы. В конце концов, что мне сулила жизнь? Я хорошо работал, до конца твердо и страстно выполняя свой долг. А прочее... ах, не все ли мне равно, — думал я, достаточно одобряя собственный стоицизм. Но я страдал от безобразия внешней обстановки. «Эта комната ужасна», — и я стал рассматривать ее. Вдруг я вспомнил, что рядом, в такой же комнате, находится моя жена, Марселина, и я услышал, что она говорит. Доктор еще не ушел, он разговаривал с нею; он старался говорить тихо. Прошло некоторое время: я, должно быть, заснул...

Когда я проснулся, Марселина была около меня. Я понял, что она плакала. Я недостаточно любил жизнь, чтобы жалеть самого себя, но мне мешало безобразие этой комнаты; почти с наслаждением мой взгляд отдыхал на Марселине.

Теперь она писала, сидя рядом со мной. Она мне показала красивой. Я видел, как она запечатала несколько писем. Потом она встала, подошла к моей кровати и нежно взяла меня за руку.

— Как ты теперь себя чувствуешь? — сказала она.

Я улыбнулся и грустно ответил:

— Выздоровею ли я?

Тотчас же она ответила мне:

— Выздоровеешь, — с такой уверенностью, что почти

убедила меня, и я смутно почувствовал все, чем могла бы быть жизнь с ее любовью — неясное видение такой патетической красоты, что слезы брызнули у меня из глаз, и я долго плакал, не имея ни сил, ни желания сдерживать себя.

Какой силой любви увезла она меня из Сусса! Какими очаровательными заботами окружала меня, защищала, спасала, не спала ночей... От Сусса до Туниса, потом от Туниса в Константиноу. Марселина была изумительна. Я должен был выздороветь в Бискре. Ее вера была непоколебима, а усердие не ослабевало ни на одно мгновение. Она все готовила, распоряжалась всеми переездами, устраивала помещения. Увы, она не могла сделать это путешествие менее ужасным! Несколько раз мне казалось, что надо остановиться и все кончить. Я потел, как умирающий, задыхался, подчас терял сознание... К концу третьего дня я добрался до Бискры полумертвый.

II

К чему рассказывать о первых днях? Что от них осталось? Ужасное воспоминание о них безгласно. Я уже больше не знал — ни кто я, ни где я. Я вспоминаю только склонившуюся над моим смертным ложем Марселину, мою жену, мою жизнь. Я знаю, что только ее страстные заботы, только ее любовь спасли меня. Однажды, наконец, как потерпевший кораблекрушение видит землю, я почувствовал, как пробуждается луч жизни; я мог улыбнуться Марселине. Зачем рассказывать все это? Важно было то, что смерть, как говорят, коснулась меня крылом. Важно, что для меня стало удивительным то, что я живу, и дневной свет стал для меня неожиданно ярким. Раньше, думал я, я не понимал, что живу. Я был перед животрепещущим открытием жизни.

Наступил день, когда я мог встать. Я был в полном восторге от нашего дома. Он почти весь состоял из террасы, но какой террасы! Моя комната и комната Марселины выходили на нее; она продолжалась над крышами. С наиболее высокой ее части видны были пальмы за домами, а за пальмами — пустыня. Городские сады находились по другую сторону террасы, и тень от ветвей соседских акаций падала на нее. С третьей стороны она тянулась вдоль маленького прямого дворика с шестью правильными пальмами и заканчивалась лестницей, которая соединяла ее с двором. Моя комната была просторна и полна воздуха;

выбеленные стены, на которых ничего не висело; маленькая дверь вела в комнату Марселины, другая, большая и стеклянная, — на террасу.

Там протекали дни без часов. Сколько раз в моем одиночестве я вспоминал эти медленные дни!.. Марселина около меня. Она читает; она шьет; она пишет. Я ничего не делаю. Я смотрю на нее. О, Марселина! Я смотрю. Я вижу солнце; вижу тень; вижу, как граница тени передвигается; мне настолько не о чем думать, что я наблюдаю за нею. Я еще очень слаб; я плохо дышу; все меня утомляет, даже чтение; к тому же, что читать? Существовать — это уже достаточно занимает меня.

Однажды утром Марселина входит со смехом:

— Я веду к тебе друга,— говорит она.

Я вижу, как за нею входит маленький смуглый араб. Его зовут Бахир, у него большие молчаливые глаза, которые глядят на меня. Я немного стеснен, и это стеснение уже утомляет меня; я ничего не говорю, кажусь рассерженным. Мальчик смущен холодностью моего приема, он поворачивается к Марселине и с животной и ласковой грацией прижимается к ней, берет ее руку и целует; при этом движении обнажаются его голые руки. Я замечаю, что он совсем голый под своей тонкой белой гандурой ¹ и запла-танным бурнусом ².

— Ну, садись здесь,— говорит Марселина, которая видит мое смущение.— Играй тихонько.

Мальчик садится, вынимает нож из капюшона своего бурнуса, кусок джерида ³ и начинает его строгать. Кажется, он хочет сделать свисток.

Через некоторое время меня уже больше не стесняет его присутствие. Я смотрю на него. Кажется, что он забыл, где он. Его ноги босы, щиколотки у него очаровательные, так же как и запястья. Он орудует своим дрянным ножом с забавной ловкостью... Неужели вправду это может меня заинтересовать... Волосы его выбриты на арабский лад; на голове рваная шешия ⁴ с дыркой вместо кисти. Слегка сползшая рубашка обнажает нежные плечи. Мне хочется прикоснуться к нему. Я наклоняюсь, он оборачивается

¹ Мужская длинная рубаха белого цвета. (Прим. ред.)

² Плащ с капюшоном. (Прим. ред.)

³ Пальмовая веточка, лишенная листьев. (Прим. ред.)

⁴ Солдатская шапка. (Прим. ред.)

и улыбается мне. Я ему делаю знак, чтобы он дал мне свой свисток, беру его и делаю вид, что очень восхищен. Теперь он хочет уходить. Марселина дает ему пирожок, я — два су.

На следующий день я в первый раз скучаю; я жду, чего жду? Я чувствую пустоту, какое-то беспокойство. Наконец я не выдерживаю:

— Что же, Бахир не придет сегодня, Марселина?

— Если хочешь, я схожу за ним.

Она уходит, спускается по лестнице, через секунду возвращается одна. Что со мною сделала болезнь! Мне грустно до слез, потому что она пришла без Бахира.

— Уж слишком поздно,— говорит она,— дети ушли из школы и все разбрелись. Знаешь, среди них есть очаровательные. Кажется, они теперь уже все знают меня.

— По крайней мере, постарайся, чтобы завтра он был здесь.

На следующий день Бахир пришел. Он сел, как третьего дня, выгнул свой нож и стал обтачивать слишком твердое дерево так старательно, что вонзил себе лезвие в большой палец. Я вздрогнул от ужаса, он засмеялся, показал блестящий порез и стал забавляться, глядя, как течет кровь. Когда он смеялся, были видны его очень белые зубы; он с удовольствием облизал свою руку; у него был розовый язык, как у кошки. Ах, как он был здоров! Вот во что я влюбился: в его здоровье. Здоровье его маленького тела было прекрасно.

На следующий день он принес бильярдные шары. Ему хотелось заставить меня играть. Марселины не было; она бы меня удержала от этого. Я колебался, потом посмотрел на Бахира; малыш схватил меня за рукав, сунул мне шарики в руки и заставил меня взять их. Я очень задыхался, нагибаясь, но все же старался играть. Радость Бахира очаровывала меня. Наконец я изнемог. Я отбросил шары и упал в кресло. Бахир, немного смущенный, смотрел на меня.

— Болен? — мило спросил он.

У него был прелестный голос. Вошла Марселина.

— Уведи его,— сказал я,— я чувствую себя очень усталым сегодня.

Через несколько часов после этого у меня было кровохарканье. Это случилось, когда я с трудом ходил по террасе; Марселина была чем-то занята у себя в комнате; к счастью, она ничего не видела. Запыхавшись, я глубже вдохнул воздух, и вдруг это наступило. Мне залило весь рот... Но это уже больше не была светлая кровь, как во

время первого кровохарканья, а ужасный сгусток, который я с отвращением выплюнул на землю.

Я сделал несколько шагов, пошатываясь. Я был ужасно взволнован. Я дрожал. Мне было страшно; и я пришел в ярость. Почему-то до сих пор я думал, что выздоравливаю понемножку и мне только надо подождать. Этот резкий припадок отодвигал меня назад. Странная вещь, но первые разы кровохарканье не производило на меня такого впечатления; я теперь вспоминал, что оставался после них почти спокойным. Откуда же мой страх, мое отвращение теперь? Увы, я начинал любить жизнь.

Я вернулся назад, нагнулся, отыскал свой плевок, взял соломинку и, приподняв сгусток крови, положил его в носовой платок. Я посмотрел. Это была гадкая, почти черная кровь, что-то скользкое, отвратительное... Я вспомнил о сверкающей, прекрасной крови Бахира... И вдруг меня охватило желание, жажда, какое-то более яростное, более настойчивое чувство, чем все, до сих пор испытанное мною: жить. Я хочу жить! Я хочу жить! Я стиснул зубы, кулаки, весть сосредоточился в безумном, отчаянном порыве к жизни.

Накануне я получил письмо от Т. в ответ на взволнованные вопросы Марселины. Письмо было полно медицинских советов. Т. даже присоединил к своему письму несколько популярных медицинских брошюр и одну более специальную книгу, которая показалась мне поэтому более серьезной. Я небрежно прочел письмо и совсем не читал книжек; прежде всего, они были похожи на маленькие моральные трактаты, которыми меня изводили в детстве, и потому не располагали меня к чтению, затем потому, что все советы мне надоели, наконец, я не думал, чтобы все эти «советы туберкулезным», «практическое лечение туберкулеза» можно было применить ко мне. Я не считал себя туберкулезным. Я охотно приписывал свое первое кровохарканье другой причине, или, вернее, я ничему не приписывал его, избегал думать, вовсе об этом не думал и считал себя если не выздоровевшим, то очень близким к выздоровлению... Я прочел письмо; проглотил книгу, брошюры. Вдруг с ужасающей ясностью я увидел, что до сих пор я жил изо дня в день, отдаваясь смутной надежде; внезапно мне показалось, что моя жизнь в опасности, в ужасной опасности самая ее сердцевина. Многочисленный деятельный враг жил во мне. Я прислушался к нему, подстерег его, почувствовал его. Я не могу победить

без борьбы... и я прибавил вполголоса, как бы для того, чтобы убедить самого себя: это дело воли.

Я перевел себя на военное положение.

Наступил вечер; я стал обдумывать свою стратегию. На некоторое время единственным предметом моего внимания должно стать мое выздоровление, моим долгом — мое здоровье; надо признавать хорошим, называть благом все то, что для меня целебно, забывать и отталкивать все, что не способствует лечению. До ужина я выработал правила для дыхания, движения, еды.

Мы ели посреди террасы в беседке. Интимность наших обедов и ужинов была очаровательна, благодаря нашему одиночеству, покою и полной оторванности от всего. Из соседней гостиницы старый негр приносил нам довольно сносную еду. Марселина обдумывала меню, заказывала одни блюда, отвергала другие... Так как обыкновенно я не был очень голоден, я не особенно огорчался, если какое-нибудь блюдо не удавалось или пища была недостаточно обильна. Марселина, не привыкшая много есть, не понимала, не отдавала себе отчета, что я недостаточно питаюсь. Из всех моих решений первым было — много есть. Я собирался приводить его в исполнение, начиная с сегодняшнего вечера. Но это мне не удалось. Ужин состоял из какого-то несъедобного рагу и до безобразия пережаренного жаркого.

Я так сильно рассердился, что перенес свой гнев на Марселину и стал неумеренно обвинять ее. Слушая меня, можно было подумать, что она должна нести ответственность за дурное качество стола. Эта маленькая задержка в выполнении намеченного мною режима приобретала самое существенное значение; я забывал о предыдущих днях; этот неудавшийся ужин все портил. Я заупрямился. Марселине пришлось отправиться в город за консервами или каким-нибудь паштетом.

Она вскоре вернулась с маленьким паштетом, который я почти весь поглотил, как бы для того, чтобы доказать и ей, и себе, до какой степени мне необходимо много есть.

В тот же вечер мы договорились о следующем: питание будет значительно улучшено, более обильное и каждые три часа, начиная с 6 1/2 утра. Большой запас разнообразных консервов восполнит жалкую отельную пищу...

В эту ночь я не мог спать, до того предчувствие моих новых подвигов опьяняло меня. Я думаю, что у меня был небольшой жар; около меня стояла бутылка минеральной воды; я выпил стакан, потом второй, потом докончил в один

прием всю бутылку. Я повторил свое решение, как повторяют урок; я заучивал свою вражду, направлял ее на разные вещи; я должен был бороться против всего — мое спасение зависело от одного меня.

Наконец, я увидел, как бледнеет ночь; рассвело.

Это было мое всенощное бдение перед боем.

Следующий день был воскресенье. До сих пор, должен признаться, я мало размышлял о верованиях Марселины; из равнодушия или скромности я думал, что это меня не касается; к тому же я не придавал этому значения.

В этот день Марселина пошла к обедне. Когда она вернулась, я узнал от нее, что она молилась за меня. Я пристально посмотрел на нее, потом сказал ей со всею нежностью, на какую был способен:

— Не надо молиться за меня, Марселина.

— Почему? — спросила она, немного смутившись.

— Я не люблю покровительства.

— Ты отвергаешь Божью помощь?

— После Он имел бы право на мою благодарность. Это создает обязательства, а я их не хочу.

Это имело вид шутки, но мы ничуть не заблуждались относительно важности наших слов.

— Ты не выздоровеешь без помощи, мой бедный друг, — сказала она со вздохом.

— Тем хуже для меня.

Затем, видя ее печаль, я добавил менее резко:

— Ты поможешь мне.

III

Я буду много говорить о своем теле. Я буду столько говорить о нем, что вам сначала покажется, что я забыл о душе. В моем рассказе это пренебрежение намеренно, тогда же оно было реальным. У меня не было достаточных сил, чтобы поддерживать двойную жизнь; о духе и тому подобном, говорил я, подумаю потом, когда мне станет лучше.

Я был еще далек от выздоровления. Из-за всякого пустяка я обливался потом, из-за всякого пустяка простуживался; у меня было «короткое дыхание», как говорит Руссо; подчас небольшой жар; часто с утра у меня было ощущение ужасной усталости, и тогда я оставался неподвижно в кресле, равнодушный ко всему, эгоистичный и с единой заботой

о правильном дыхании. Я дышал тяжело, систематически и старательно; мои выдыхания происходили с двумя перерывами, которых моя сверхнапряженная воля не могла вполне устранить; еще долго после я избегал их лишь благодаря внимательному усилию.

Но больше всего я страдал от моей болезненной чувствительности ко всякому изменению температуры. Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что общее нервное расстройство сопровождало мою болезнь; иначе я не могу объяснить целый ряд явлений, которые нельзя вывести из простого туберкулеза. Мне постоянно было или слишком жарко или слишком холодно; тогда я до смешного плотно закутывался, переставал дрожать лишь начиная потеть, снова раскрывался немного и сразу же начинал дрожать, как только переставал потеть. Части моего тела застывали, становились, несмотря на пот, холодными как мрамор; ничто не могло их согреть. Я был до того чувствителен к холоду, что простуживался, если несколько капель воды падали мне на ногу, когда я мылся; в такой же мере я был чувствителен к жаре. У меня сохранилась эта чувствительность, сохранилась до сих пор, но теперь она стала для меня источником наслаждения. Всякая повышенная восприимчивость, мне кажется, может стать, в зависимости от крепости или слабости организма, поводом для наслаждения или мучения. Все, что прежде волновало меня, стало для меня теперь сладостным.

Не знаю, как я спал до тех пор с закрытыми окнами; по совету Т. я попробовал их открывать ночью; совсем немного сначала; вскоре я стал их широко раскрывать; еще некоторое время это сделалось такой настойчивой потребностью, что я задыхался, как только закрывал окно. С каким наслаждением впоследствии я чувствовал, как проникает ко мне ночной ветер, лунный свет...

Я тороплюсь покончить с этим первым лепетом выздоровления. Действительно, благодаря непрестанному уходу, свежему воздуху, улучшенной пище, я стал быстро поправляться. Раньше, боясь одышки при подъеме на лестницу, я не смел уходить с террасы; в последние дни января я наконец вышел и решил погулять по саду.

Марселина сопровождала меня с шалью в руках. Было три часа дня. Ветер, часто очень резкий в этих краях и сильно беспокоивший меня, в последние три дня спал. Мягкий воздух был очарователен.

Городской сад... Его пересекала широчайшая аллея, обсаженная двумя рядами деревьев, что-то вроде высоких

мимоз, называемых там кассиями. В тени этих деревьев — скамейки. Река в виде канала, — я хочу сказать, более глубокая, чем широкая, и почти прямая, — текла вдоль аллеи; потом другие каналы, поменьше, распространяя воду, несли ее через весь сад к насаждениям, — тяжелую воду цвета земли, цвета розово-серой глины. Почти полное отсутствие иностранцев, лишь несколько арабов; они прохаживаются, и как только удаляются с солнечной стороны их белые плащи окрашиваются тенью.

Необычайная дрожь охватила меня, как только я вступил в эту странную тень; я закутался в шаль; однако я не почувствовал никакого недомогания, напротив... Мы сели на скамейку. Марселина молчала. Мимо нас проходили арабы; потом появилась целая компания детей. Марселина знала некоторых из них и сделала им знак; они подошли. Она мне назвала их имена; последовали вопросы, ответы, улыбки, гримасы, игры. Все это меня немного раздражало, и я снова стал себя плохо чувствовать; я утомился и покрылся потом. Но сознаться ли мне в этом, — меня стесняли не дети, меня стесняла она. Да, хоть и едва-едва, но я был стеснен ее присутствием. Если бы я встал, она пошла бы за мною; если бы я снял шаль, она захотела бы ее нести; если бы я снова надел ее, она спросила бы: «Тебе холодно?» И затем я не смел говорить с детьми перед нею; я видел, что у нее были свои любимцы; невольно, из духа противоречия, меня влекло к другим.

— Пойдем домой, — сказал я ей, и про себя решил, что вернусь в сад без нее.

На следующий день ей надо было выйти около десяти часов утра: я воспользовался этим. Маленький Бахир, который почти каждое утро приходил к нам, взял мою шаль; я почувствовал себя бодрым, и на сердце у меня было легко. Мы были почти одни в аллее, я медленно шел, присаживался на секунду, потом снова шел. Бахир, болтая, следовал за мной, верный и податливый как собака. Я добрался до того места канала, куда женщины приходят стирать; посреди течения лежал плоский камень, а на нем девочка, наклонившись над водой, бросала в нее веточки и затем вылавливала их. Ее босые ноги побывали в воде; от этого купания на них оставался след, и в этом месте ее кожа казалась темнее. Бахир подошел к ней и заговорил; она обернулась, улыбнулась мне и ответила Бахиру по-арабски.

— Это моя сестра, — сказал он мне.

Потом он объяснил мне, что его мать должна прийти

стирать и что его сестренка ждет ее. Ее звали Радра, что значит по-арабски Зеленая. Все это он рассказывал голосом прелестным, ясным и детским, как и то волнение, которое я от этого испытывал.

— Она просит, чтобы ты дал ей два су, — прибавил он.

Я дал ей десять су и собирался уже уходить, когда вдруг появилась их мать, прачка. Это была великолепная женщина с татуированным голубой краской большим лбом; она несла на голове корзину с бельем и была похожа на античных канефор; как и они, она была прикрыта только широким куском синей материи, поднимающейся к поясу и спадающей прямо до ног. Как только она увидела Бахира, она грубо закричала на него. Он резко ответил ей, вмешалась девочка, между ними завязался громкий спор. Наконец Бахир, видимо побежденный, дал мне понять, что он нынче утром нужен своей матери; он грустно протянул мне шаль, и мне пришлось возвращаться одному.

Не прошел я и двадцати шагов, как моя шаль показалась мне невыносимой тяжестью; весь в поту, я опустил на первую попавшуюся скамейку. Я надеялся, что встретится какой-нибудь мальчик, который освободит меня от этого груза. Скоро появился большой четырнадцатилетний мальчишка, черный как суданец, и нисколько не застенчивый, который сам предложил свои услуги. Его звали Ашур. Он бы мне показался красивым, если бы не был кривым. Он оказался разговорчивым, сообщил мне, откуда текла река, и то, что по выходе из общественного сада она течет в оазис и прорезает его насквозь. Я слушал его, забыв свою усталость. Каким прелестным ни казался мне Бахир, я теперь уже слишком хорошо знал его и был рад перемене. Я даже решил про себя, что в другой раз отправлюсь совсем один в сад и буду, сидя на скамейке, поджидать случайной счастливой встречи...

После нескольких минутных остановок мы добрались, Ашур и я, до моих дверей. Мне хотелось пригласить его к себе, но я не решился, не зная, что скажет Марселина.

Я застал ее в столовой с очень маленьким мальчиком, таким тщедушным и хилым, что сначала почувствовал к нему больше отвращения, чем жалости. Немного робко Марселина сказала мне:

— Бедный мальчик болен.

— Надеюсь, это не заразно? Что с ним?

— Я еще точно не знаю. Он жалуется, что у него всюду немножко болит. Он довольно плохо говорит по-француз-

ски. Когда Бахир завтра приедет, он будет нашим толмачом. Я хочу напоить его чаем.

Потом, как бы извиняясь и потому, что я стоял, ничего не говоря, она добавила:

— Я уже давно знаю его, но я не смела его позвать к нам; я боялась, что это утомит тебя или, может быть, не понравится тебе.

— Почему же? — воскликнул я. — Приводи сюда всех детей, каких хочешь, если это тебе приятно!

И я подумал, немного сердясь на то, что этого не сделал, что я отлично мог бы привести Ашура.

Тем временем, я смотрел на свою жену; она была по-матерински нежна. Ее сердечность была так трогательна, что мальчик ушел совсем обласканный. Я заговорил о своей прогулке и осторожно дал понять Марселине, почему я предпочитаю гулять один.

По ночам я еще по несколько раз просыпался окоченевший или мокрый от пота. Эту ночь я спал очень спокойно, почти без просыпу. На следующее утро я был готов, чтобы выйти из дому, с десяти часов. Была хорошая погода; я чувствовал себя отдохнувшим, не слабым, радостным или, вернее, весело настроенным. Воздух был спокойный и теплый, но я все же взял свою шаль, как предлог для знакомства с тем, кто мне понесет ее. Я уже говорил, что сад прилегал к нашей террасе; таким образом, я сразу в него спустился. Я с восторгом вошел в его тень. Воздух был пронизан светом. Акации, цветы которых распускаются значительно раньше листьев, благоухали, — если только это не был лившийся отовсюду легкий аромат, который проникал в меня, приводя в экстаз. Вообще, я дышал свободнее; походка моя становилась от этого легче. Однако я сел на первую же скамейку, но скорее от опьянения и головокружения, чем от усталости. Я огляделся. Тень была легка и подвижна, она не падала на землю, а, казалось, едва касалась ее. О, свет! Я прислушался. Что я услышал? Ничего. Все. Меня радовал каждый шорох... Я вспоминаю деревцо, кора которого показалась тогда мне такой странной, что мне пришлось встать, чтобы подойти пощупать ее. Я прикоснулся к ней движением, каким ласкают; я в этом нашел восторг. Я вспоминаю... Не в это ли утро, наконец, суждено мне было родиться?

Я забыл, что я один, я ничего не ждал, забыл время. Мне казалось, что до этого дня я так мало чувствовал, — ради того, чтобы только думать, что под конец я удивился: мое ощущение становилось таким же сильным, как мысль.

Я говорю: мне казалось — потому что из глубины моего раннего детства поднялись, наконец, тысячи воспоминаний о тысячах забытых ощущений. Это новое ощущение моих чувств приоткрывало мне их тревожное познание. Да, мои чувства, отныне пробудившиеся, вспоминали всю свою историю, воссоздавали свое прошлое. Они жили. Они жили. Они никогда не переставали жить и обнаруживали, даже сквозь мои годы учения, свою скрытную и лукавую жизнь.

В этот день я никого не встретил и был рад этому. Я вынул из кармана маленький томик Гомера, который я не открывал со времени отъезда из Марселя, прочел три фразы из Одиссеи, хорошенько запомнил их, потом, найдя достаточную пищу в их ритме и насладившись ими вволю, я закрыл книгу и продолжал сидеть, дрожащий, более живой, чем мог вообразить, с душой, онемевшей от счастья...

IV

Марселина, видевшая с радостью, что мое здоровье, наконец, восстанавливается, уж несколько дней рассказывала мне о чудесных фруктовых садах оазиса. Она любила воздух и ходьбу пешком. Свобода, которой она пользовалась благодаря моей болезни, давала ей возможность совершать длинные прогулки, и она возвращалась из них в восторге; до сих пор она о них вовсе не говорила, не решаясь меня увлекать за собой и боясь огорчить рассказом об удовольствиях, которыми я еще не мог пользоваться. Но теперь, когда я начал поправляться, она рассчитывала на их привлекательность, чтобы ускорить мое выздоровление. Меня влекло к прогулкам мое возродившееся желание ходить и глядеть. И уже на следующий день мы вышли вместе.

Она повела меня по причудливой дороге, подобной ей я никогда не видел ни в какой стране. Она извивается как бы беспечно между двумя высокими земляными стенами; очертания садов, огражденных этими стенами, изменяют ее направление; после первого же поворота вы теряетесь и не знаете, откуда и куда вы идете. Верная речка следует за дорожкой, течет вдоль стен; они сделаны из самой земли оазиса, из розоватой или нежно-серой глины, темнеющей от воды и трескающейся от солнца; они твердеют во время жары, но размякают от первого ливня и становятся тогда материалом для ваiania, на котором отпечатываются босые ноги. Над этими стенами высятся пальмы. Когда мы подхо-

дили, над ними летали горлицы. Марселина смотрела на меня.

Я забыл свою усталость и слабость. Я шел в каком-то экстазе, в молчаливом ликовании, в восторге всех чувств и всего тела. В этот момент поднялся легкий ветерок; все пальмы заколебались, и мы увидели, как наклонились самые высокие из них; потом весь воздух снова успокоился, и я ясно услышал за стеной звуки флейты. Пробоина в стене. Мы вошли.

Это было место, полное тени и света; оно было спокойным и казалось скрытым от бега времени; оно было полно тишины и трепетаний, легкого шума текущей воды, которая поит пальмы и бежит от дерева к дереву, нежных призывов горлиц, звуков флейты, на которой играл ребенок. Он пас стадо коз; он сидел на обрубке пальмы; он не смутился при нашем приближении, не убежал и только на мгновение перестал играть.

Во время этой краткой тишины я заметил, что издали вторит другая флейта. Мы прошли еще немного, затем Марселина сказала:

— Не стоит идти дальше; все эти фруктовые сады похожи один на другой; может быть, только в конце оазиса они становятся немного обширнее...

Она разостлала шаль на земле.

— Отдохни.

Сколько времени мы там оставались? Я не помню, — что нам часы? Марселина была около меня; я лег и положил ей голову на колени. Звуки флейты все струились, прерывались на мгновение, затем возобновлялись. Шум воды... Иногда блеяла коза. Я закрыл глаза; я почувствовал на лбу прохладную руку Марселины, я чувствовал пламенное солнце, нежно ослабленное пальмами; я ни о чем не думал; к чему думать? — Я чувствовал необычайно...

И мгновениями новый шум; я открывал глаза: это был легкий ветерок в пальмах, он не доходил до нас, а лишь колебал верхушки деревьев...

На следующее утро я вернулся в этот сад с Марселиной, а вечером пошел туда же один. Пастух, игравший на флейте, был там. Я подошел, заговорил с ним. Его звали Лассиф, ему было только двенадцать лет, он был красив. Он назвал мне имена своих коз, рассказал, что каналы называются «сегиями», что они не все текут каждый день; воду распределяют разумно и бережно, утоляют жажду деревьев и тотчас прекращают течение. У корней каждой пальмы

вырыт узкий водоем, содержащий воду, которая поит дерево; остроумная система каналов, которую мальчик объяснил мне, наглядно приводя ее в действие, сдерживает воду и направляет ее туда, где слишком сильная жажда.

На следующий день я увидел брата Лассифа, он был немного старше, менее красив, звали его Лахми. При помощи своеобразной лестницы, которую образуют на стволе рубцы срезанных ветвей, он взобрался на самую верхушку обезглавленной пальмы, потом ловко спустился, обнаруживая под развевающейся одеждой свою золотистую наготу. Он нес с верхушки укороченной пальмы маленький глиняный кувшин; он был привешен наверху под свежей рамой, чтобы в него вытекал пальмовый сок, из которого делают сладкое вино, очень любимое арабами. По приглашению Лахми, я попробовал его, но его приторный, терпкий и сиропный вкус мне не понравился.

В следующие дни я пробрался дальше; я видел другие сады, других пастухов и других коз. Как Марселина сказала, все эти сады были одинаковы, и однако все они отличались один от другого.

Иногда Марселина сопровождала меня, но чаще, как только мы выходили в сады, я расставался с нею, убеждая ее, что я устал и мне хочется есть, что ей не надо меня ждать и следует больше гулять; таким образом, она доканчивала прогулку без меня. Я оставался с детьми. Вскоре я со многими из них познакомился; я подолгу говорил с ними, я узнавал их игры, учил их новым, проигрывая им всю свою мелочь в «пробку». Некоторые меня далеко провожали (каждый день я удлинял свои прогулки), указывали мне на обратном пути новые дорожки, несли мое пальто и шаль, когда я брал с собой и то и другое; перед тем, как с ними расстаться, я раздавал им монетки; иногда они шли за мной, все время играя, до моих дверей, иногда даже они заходили ко мне.

Потом Марселина стала сама приводить других детей. Она приводила школьников, которых она поощряла к учению; по выходе из школы, послушные и примерные, заходили они к нам; те, которых приводил я, были другие, но игры соединяли их. У нас всегда бывали приготовлены для них сиропы и лакомства. Вскоре дети стали приходить уже без зова. Я помню каждого из них; они стоят у меня перед глазами...

В конце января погода внезапно испортилась; подул холодный ветер, и это сразу отозвалось на моем здоровье. Большой открытый пустырь, отделяющий оазис от города, стал для меня непреодолимым, и мне снова пришлось довольствоваться общественным садом. Потом пошли дожди, ледяные дожди, и на самом горизонте, на севере, горы покрылись снегом.

Я проводил эти печальные дни около огня, унылый, яростно борясь с болезнью, бравшей верх надо мной в плохую погоду. Мрачные дни. Я не мог ни читать, ни работать; малейшее усилие вызывало мучительный пот, всякое напряжение внимания меня истощало. Как только я переставал старательно следить за своим дыханием, я задыхался.

В эти грустные дни дети были для меня единственным доступным развлечением. Во время дождя заходили лишь наиболее привязанные к нам, их одежда была промокшей насквозь, они садились кружком у огня. Все подолгу молчали. Я был слишком утомленным, слишком больным, чтобы что-нибудь делать, я мог только смотреть на них; но их здоровье вливало в меня силы. Те, которых ласкала Марселина, были слабы, хилы и слишком благоразумны, я раздражался на нее и на них и под конец отталкивал их. По правде сказать, я их боялся.

Однажды утром я сделал любопытное открытие в самом себе: Моктир, единственный из питомцев моей жены, который не раздражал меня (может быть потому, что он был красив), был один со мной в моей комнате; до тех пор я его не очень любил, но его блестящий и темный взгляд меня занимал. Любопытство, которое я сам себе не мог объяснить, заставило меня следить за каждым его движением. Я стал у огня, облокотившись о камин, на котором лежала книга; я казался очень занятым, но видел в зеркале все движения мальчика, к которому стоял спиной. Моктир не догадывался, что за ним наблюдают, и думал, что я углублен в чтение. Я увидел, как он бесшумно подошел к столу, на который Марселина положила рядом со своей работой маленькие ножницы, украдкой схватил их и мгновенно спрятал под свой бурнус. Мое сердце на секунду сильно забилось, но самые благоразумные рассуждения не могли меня привести ни к малейшему возмущению. Больше того, я не мог себя убедить в том, что чувство, наполнившее меня тогда, не было радостью. Дав Моктиру достаточное время, чтобы спокойно обокрасть меня, я повернулся к нему и заговорил, как ни в чем не бывало. Марселина очень любила

этого мальчика; однако мне кажется, что не страх огорчить ее заставил меня не только не выдать Моктира, но еще придумать какую-то небылицу, чтобы объяснить пропажу ножиц. С этого дня Моктир стал моим любимцем.

V

Нам предстояло уже недолго оставаться в Бискре. Когда прошли февральские дожди, вдруг наступила сильнейшая жара. После нескольких тяжелых дней непрерывных ливней однажды утром я проснулся под сплошной лазурью. Как только я встал, я поспешил на самый верх террасы. Небо от края до края было чисто. Под пламенным уже солнцем поднималась дымка; весь оазис дымился; вдали шумел вышедший из берегов Уэд. Воздух был так чист и так прекрасен, что я тотчас же почувствовал себя лучше. Пришла Марселина; мы хотели выйти, но нас удержала дома в этот день грязь.

Через несколько дней мы отправились в плодовой сад Лассифа. Стебли казались тяжелыми, мягкими и набухшими от воды. Африканская земля, залитая в течение долгого времени водой, теперь просыпалась от зимы, разрываемая новыми соками; она смеялась от яростной весны, отзвук которой я чувствовал в самом себе. Сначала нас сопровождали Ашур и Моктир; я еще наслаждался их легкой дружбой, стоившей только полфранка в день; но вскоре они мне надоели, так как я уже не был так слаб, чтобы нуждаться в примере их здоровья, и, не находя больше в их играх нужной пищи для радости, я обратил к Марселине свой духовный и чувственный экстаз. По радости, которую она от этого испытывала, я заметил, что раньше она была печальна. Я просил у нее прощения, как ребенок, за то, что часто оставлял ее, объясняя свое непостоянное и странное настроение слабостью, утверждал, что до тех пор я был слишком усталым для любви, но что отныне я чувствую, что моя любовь будет крепнуть вместе с моим здоровьем. Я говорил правду, но должно быть был еще очень слаб, так как только через месяц я стал желать Марселину.

Между тем, с каждым днем увеличивалась жара. Ничто нас не удерживало в Бискре,— кроме очарования, которое меня снова должно было туда привести. Наш отъезд был решен внезапно. За три часа мы уложились. Поезд шел на следующий день на рассвете...

Я вспоминаю последнюю ночь. Было почти полнолуние; через мое широко открытое окно лунный свет заливал комнату. Мне казалось, что Марселина спала. Я лежал, но не мог спать. Я чувствовал, как меня жгла какая-то счастливая горячка — это была просто жизнь... Я встал, опустил руки в воду и вымыл лицо, потом вышел через стеклянную дверь.

Было уже поздно; ни шума, ни вдоха; даже воздух казался заснувшим... Издали едва был слышен лай варабских собак, рывкающих всю ночь, как шакалы. Передо мною — маленький дворик; на стене напротив меня лежала косая тень; правильные пальмы, бесцветные и безжизненные, казались навсегда неподвижными... Но даже во сне можно найти трепет жизни,— здесь ничто не казалось мертвым. Я пришел в ужас от этого покоя и вдруг меня снова охватило в этой тишине возмущенное, утверждающее, отчаянное, трагическое ощущение жизни, страстное почти до боли и такое настойчивое, что я крикнул бы, если бы мог кричать, как зверь. Я взял свою руку, я помню, левую руку правой рукой; мне захотелось поднести ее к голове, и я это сделал. Почему? Чтобы убедить себя в том, что я вижу, и признать это изумительным. Я прикоснулся к своему лбу, к векам и вздрогнул. Придет день, думал я, когда у меня не хватит даже сил, чтобы поднести к губам воду, которую я буду желать больше всего на свете... Я вошел в комнату, но еще не сразу лег; мне хотелось запомнить эту ночь, навязать своей памяти воспоминание о ней, удержать ее; не зная еще, что для этого сделать, я взял книгу со своего стола, Библию, и открыл ее наугад; я прочел слова Христа Петру, слова, которые, увы, мне не суждено было забыть: «Теперь ты сам перепоясываешься и идешь туда, куда хочешь идти, но когда ты будешь стар, ты протянешь руки...» Ты протянешь руки...

На следующий день на рассвете мы уехали.

VI

Я не буду говорить о всех этапах путешествия. Некоторые из них оставили о себе неясное воспоминание: мое здоровье, то улучшавшееся, то ухудшавшееся, колебалось еще от холодного ветра, омрачалось от тени облака, и мое нервное состояние служило причиной частых недомоганий;

но, по крайней мере, мои легкие поправлялись, каждый рецидив был менее долгим и серьезным, чем предыдущий; его натиск был столь же сильным, но мой организм был лучше вооружен против него.

Мы из Туниса добрались до Мальты, потом до Сиракуз; я возвращался в античную землю, язык и прошлое которой были мне знакомы. С начала моей болезни я жил без проверки, без законов, просто стараясь жить, как живет животное или ребенок. Менее поглощенная болезнью, моя жизнь становилась теперь устойчивой и сознательной. После этой долгой агонии мне казалось, что я возрождаюсь прежним и скоро свяжу свое настоящее с прошлым. Благодаря полной новизне незнакомой страны, я мог так заблуждаться; здесь же — нет; все говорило мне о том, что меня удивляло: я изменился.

Когда в Сиракузах и дальше я захотел снова вернуться к своим занятиям, погрузиться, как прежде, в кропотливое изучение прошлого, я обнаружил, что нечто если не уничтожило, то, по крайней мере, изменило мой вкус к нему; это было ощущение настоящего. История прошлого принимала в моих глазах неподвижность, пугающую застылость ночных теней маленького дворика в Бискре, неподвижность смерти. Прежде мне нравилась самая эта застылость, которая делала точнее мою мысль; все исторические события казались мне предметами из музея или, вернее, растениями из гербария, окончательная омертвелость которых помогала мне забывать, что некогда, полные соков, они росли под солнцем. Теперь, если я находил какой-нибудь интерес в истории, то только представляя ее себе в настоящем. Большие политические события тревожили меня теперь меньше, чем возрождающееся волнение, которое возбуждали во мне поэты или некоторые люди сильной воли. В Сиракузах я перечел Феокрита и думал о том, что его пастухи с прекрасными именами — те же, которых я любил в Бискре.

Моя ученость, пробуждавшаяся на каждом шагу, загромождала меня, мешая моей радости. Я не мог смотреть на греческий театр или храм, не воссоздавая его тотчас же мысленно. Сохранившиеся развалины на местах, где некогда устраивались античные праздники, печалили меня, что они мертвы; а смерть мне была отвратительна.

Я дошел до того, что стал избегать развалин; стал предпочитать самым прекрасным памятникам прошлого низкие сады, называемые латомиями, где растут лимоны

с кислой сладостью апельсинов, и берега Кианы, которая течет среди папирусов такая же голубая, как в тот день, когда оплакивала Прозерпину.

Я дошел до того, что стал презирать в себе ученость, бывшую прежде моей гордостью; наука, прежде составлявшая всю мою жизнь, теперь мне казалась случайной и условной. Я открыл, что стал другим и существую — о, радость! — вне науки. В качестве специалиста я казался себе тупицей. В качестве человека — знал ли я себя? Я едва еще рождался и не мог еще знать, что рождаюсь. Вот что мне надо было узнать.

Ничто не может быть трагичнее для того, кто думал умереть, чем медленное выздоровление. После того как человека коснулось крыло смерти, то, что казалось важным, перестает им быть; другие вещи становятся важными, которые ими не казались и о существовании которых он даже не знал. Скопление всяких приобретенных знаний стирается с души, как краска, и местами обнажается самая кожа, настоящее, прежде скрытое существо.

Тогда я стал искать познания «его», настоящего существа, «древнего человека», которого отвергло Евангелие; того, которого все вокруг меня — книги, учителя, родители и я сам — старались раньше упразднить. И мне казалось, благодаря напластованиям, очень хитрым и трудным делом открыть его, но тем более это открытие становилось полезным и достойным. С этого времени я стал презирать существо, усвоенное мною, наложенное на меня образованием. Надо было стряхнуть с себя этот груз.

Я сравнивал себя с палимпсестом; я испытывал радость ученого, находящего под более новыми письменами на той же бумаге древний, несравненно более драгоценный текст. Каков был этот сокровенный текст? И для того, чтобы прочесть его, не надо ли было стереть новый?

Я уже не был тем хилым трудолюбивым существом, которому подходила его прежняя суровая и ограничительная мораль. Это было больше чем выздоровление, это было приобретение, рост жизни, приток более щедрой и горячей крови, которая должна была прилить к моим мыслям, прилить к ним, к каждой из них, все проникнуть, взволновать, окрасить самые дальние, тонкие и тайные фибры моего существа. Ибо к здоровью или слабости привыкаешь; человек создает себя в зависимости от своих сил; но как только они прибывают, как только они разрешают большее, тотчас же... Всех этих мыслей у меня еще тогда не было, и здесь мое

изображение неправильно. По правде сказать, я не думал, я не наблюдал за собой, меня вел счастливый рок. Я боялся, что слишком быстрый взгляд нарушит таинство моего медленного превращения. Надо было дать время стертым письмам снова появиться, а не стараться их писать самому. Не отбросив вовсе свою мысль, а оставив ее под паром, я с наслаждением отдавался себе, вещам, всему, и это казалось мне божественным. Мы оставили Сиракузы; я бежал по крутой дороге, соединяющей Таормину и Молу, и кричал, призывая к себе: «Новый человек! Новый человек!»

Мое единственное усилие, усилие в ту пору постоянное, состояло в систематическом изгнании или уничтожении того, что мне казалось относящимся лишь к старому моему воспитанию, к прежней морали. Из решительного пренебрежения к своей науке, из презрения к своим ученым вкусам, я не хотел видеть Агригента, а несколько дней спустя, по дороге в Неаполь, не остановился перед прекрасным храмом в Пестуме, в котором еще дышит Греция и куда я отправился два года позже молиться какому-то Богу.

Что я говорю я о единственном усилии? Мог ли я так интересоваться собою, если бы я не был существом, способным к совершенствованию? Никогда моя воля, направленная к этому неведомому совершенству, которое я смутно представлял себе, не была так страстно напряжена; всю эту волю я прилагал к укреплению моего тела и закалению его. Удалившись от берега около Салерно, мы добрались до Равелло. Там более свежий воздух, прелесть скал, полных расщелин и неожиданностей, неведомая глубина долин, помогая моей силе, моей радости, благоприятствовали моему порыву.

Более близкий к небу, чем удаленный от берега, Равелло стоит на отвесной горе против далекого и плоского побережья Пестума. Под нормандским владычеством это был почти значительный город; теперь это маленькая деревушка, в которой, кажется, мы были единственными иностранцами. Мы поселились в бывшем монастыре, нынче превращенном в отель; он построен на краю скалы, и его террасы и сад кажутся парящими в небе. За стеной, увитой виноградом, сначала видно только море; надо подойти к стене, чтобы заметить искусственный спуск, который скорее лестницами, чем дорожками, соединяет Равелло с берегом. За Равелло продолжают горы. Оливковые деревья, огромные рожковые; в их тени — цикламены; повыше множество каштанов; свежий воздух, северные растения; ниже, у моря,

лимонные деревья. Они посажены маленькими группами из-за уклона почвы; эти сады-лестницы почти не отличаются один от другого; узкая аллея посередине разрезает их от одного конца до другого; тудаходишь без шума, как вор. В этой зеленой тени мечтаешь; листва — густая и тяжелая; ни один яркий луч не проникает сквозь нее; душистые лимоны висят, как капли застывшего воска; в тени они кажутся белыми и зеленоватыми; нужно только протянуть руку, почувствовав жажду; они сладкие, терпкие; они освежают.

Тень была так непроницаема под ними, что я после ходьбы, от которой у меня еще появлялась испарина, побоялся в ней задерживаться. Однако лестницы уже не утомляли меня; я упражнялся в том, что поднимался с закрытым ртом; я все увеличивал расстояние между моими передышками и убеждал себя: «дойду до такого-то места, не ослабевающая»; потом, дойдя до цели и находя награду в своей удовлетворенной гордости, я дышал глубоко, сильно, так что мне казалось, что воздух проникает более активно в мои легкие. Я переносил на этот уход за телом всю мою прежнюю старательность. Я делал успехи.

Я подчас удивлялся такому быстрому возвращению здоровья. Я приходил к мысли, что я вначале преувеличивал тяжесть своей болезни, я доходил до того, что сомневался в самой своей болезни, смеялся над своим кровохарканьем, жалел, что мое выздоровление было недостаточно трудным.

Я сначала очень глупо лечился, не зная потребностей своего организма. Я терпеливо изучил их и дошел в осторожности и заботах о себе до такой изошренности, что забавлялся этим, как игрой. То, от чего я еще сильно страдал, это была моя болезненная чувствительность к малейшим изменениям температуры. Теперь, когда мои легкие были здоровы, я приписывал эту болезненную чувствительность моей нервозности, наследию болезни. Я решил это побороть. Прекрасная загорелая кожа, как бы насыщенная солнцем, крестьян, работавших с небрежно открытой грудью в поле, возбудила во мне желание так же загореть. Однажды утром, раздевшись догола, я посмотрел на себя; вид моих слишком худых рук, плеч, которых величайшие мои усилия не могли выпрямить, особенно же белизна или, вернее, бесцветность моей кожи наполняли меня стыдом и довели до слез. Я быстро оделся и, вместо того чтобы отправиться в Амальфи, пошел по направлению к скалам, поросшим низкой травой и мохом, подальше от жилищ, подальше от дорог, туда, где,

я знал, меня не могли увидеть. Придя туда, я медленно разделся. Воздух был очень свежий, но солнце жгло. Я поставил все свое тело его огню. Я садился, ложился, поворачивался. Я чувствовал под собой твердую землю; трепещущие травы прикасались ко мне. Несмотря на то, что я был защищен от ветра, я дрожал и трепетал от каждого дуновения. Скоро меня обволокла восхитительная жара; все мое существо прилиvalo к коже.

Мы прожили в Равелло две недели; каждое утро я возвращался на скалы лечиться. Вскоре избыток одежды, бывшей на мне, стал для меня стеснительным и ненужным; моя выдубленная кожа перестала непрерывно потеть и стала защищаться собственным теплом.

Утром в один из последних дней (это было в середине апреля) я решил еще на большее. В расщелине скалы, о которой я вам рассказывал, бежал прозрачный родник. Он тут же падал водопадом, правда не очень большим, но дальше, под водопадом, образовался более глубокий водоем, в котором задерживалась совсем чистая вода. Три раза я приходил туда, наклонялся, ложился на берегу, полный жажды и желаний; я подолгу разглядывал каменное, гладкое дно, где не было ни малейшей грязи, ни травы, и где, дрожа и блестя, светило солнце. На четвертый день я подошел, заранее решившись, к воде, еще более прозрачной, чем обычно, и без долгого раздумья сразу окунулся в нее. Быстро охладившись, я вышел из воды и лег на траву на солнце. Там росла душистая мята; я сорвал ее, смял ее листья, растер ею свое влажное, но пылающее тело. Я долго смотрел на себя уже без всякого стыда, с радостью. Я находил себя если еще не сильным, то на пути к силе, гармоничным, чувственным, почти прекрасным.

VII

Таким образом, вместо деятельности, вместо работы, я довольствовался физическими упражнениями, которые, конечно, были связаны с моей изменившейся моралью, но которые казались мне теперь только устремлением, средством и не удовлетворяли меня уже больше сами по себе.

О другом моем поступке, быть может, смешном в ваших глазах, я вам все же расскажу, так как в своей ребячливости он подчеркивает мучившее меня желание проявить во мне изменение моего существа: в Амальфи я побрился.

До этого дня я носил бороду и усы, а волосы на голове коротко стриг. Мне не приходило в голову, что я могу иметь другой вид. И вдруг, в тот день, когда в первый раз я лег голым на скале, борода мне помешала; это было как бы последней одеждой, которой я не мог снять; она казалась мне фальшивой; она была тщательно подстрижена не клинышком, а квадратно, и внезапно мне показалась неприятной и смешной. Вернувшись к себе в гостиницу, я посмотрелся в зеркало и не понравился себе; у меня был вид того, кем я был до сих пор, — археографа. Сразу после завтрака я спустился в Амальфи с готовым решением. Город очень невелик; мне пришлось удовольствоваться дрянной цирюльней. Был базарный день; помещение было полно народу; мне пришлось бесконечно долго ждать; но ничто, ни сомнительная бритва, ни желтая кисточка, ни скверный запах, ни болтовня цирюльника — ничто не могло заставить меня отступить. Когда я почувствовал, как под ножницами падает моя борода, мне показалось, что я снимаю маску. И все же, когда я потом увидел себя, чувство, охватившее меня, еле сдерживаемое, было не радостью, а страхом. Я не объясняю этого чувства, я констатирую его. Я нашел свои черты довольно красивыми... нет, страх происходил от того, что мне казалось, будто моя голая душа видна всем, и от того, что она вдруг показалась мне страшной.

Зато я отпустил волосы на голове.

Вот все, что мое новое, еще праздно существо могло совершить. Я думал, что из него родятся удивительные для меня самого поступки; но это попозже, говорил я себе, попозже, когда мое существо станет более полным. Принужденный жить в ожидании, я как Декарт, придерживался предварительного образа действий. Таким образом, Марселина могла еще ошибиться. Правда, мой изменившийся взгляд и особенно в тот день, когда я появился без бороды, новое выражение моего лица способны были беспокоить ее, но она уже слишком меня любила, чтобы как следует меня видеть; к тому же я успокоил ее, как мог. Необходимо было, чтобы она не мешала моему возрождению; чтобы скрыть его от ее глаз, надо было притворяться.

Ведь тот, кого Марселина любила, тот, за кого она вышла замуж, это было не мое «новое существо». И я повторял себе это, чтобы заставить себя скрываться. Таким образом, я отдавал ей только свой образ, который становился изо дня в день тем лживее, чем более он был неизменен и верен прошлому.

Итак, пока что мои отношения с Марселиной оставались прежними, хотя с каждым днем все более взволнованными, потому что росла любовь. Даже мой обман (если можно назвать обманом потребность охранять мою душу от ее суда), даже мой обман усиливал нашу любовь. Я хочу сказать, что благодаря этой игре я непрерывно думал о Марселине. Быть может, эта необходимость лжи меня слегка тяготила; но я быстро пришел к убеждению, что худшие на свете вещи (ложь, например, не говоря о другом) трудны только до тех пор, пока их делаешь, но что каждая из них, и очень скоро, становится удобной, приятной, легкой к повторению и скоро совсем естественной. Как во всякой вещи, первоначальное отвращение к которой побеждено, я кончил тем, что стал находить удовольствие в самом этом обмане, увлекаться им, как игрой моих, еще неизвестных мне, способностей. И с каждым днем я продвигался, в моей все более богатой и полной жизни, к более сладостному счастью.

VIII

Дорога из Равелло в Сорренто так прекрасна, что я в то утро не пожелал бы ничего более прекрасного в мире. Горячая жесткость скал, обилие воздуха, ароматы, прозрачность — все наполняло меня чудесным обаянием жизни, и этого было до такой степени достаточно, что, казалось, одна лишь легкая радость жила во мне; воспоминания и сожаления, надежды и желания, будущее и прошлое — молчали; я знал тогда о жизни только то, что приносило с собой и уносило мгновение. «О, телесная радость! — восклицал я. — Уверенный ритм моих мускулов! Здоровье!»

Я вышел рано утром без Марселины — ее слишком спокойная радость умерила бы мою, как и ее шаги замедлили бы мои. Она должна была приехать в экипаже в Позитано, где мы условились завтракать.

Я подходил к Позитано, когда шум колес, вторивший странному пению, заставил меня обернуться. Сначала я ничего не увидел из-за поворота дороги, которая в этом месте идет вдоль берегового обрыва; потом внезапно появился беспорядочно несущийся экипаж; это был экипаж Марселины. Кучер пел благим матом, размахивая руками, привставал на козлах и дико хлестал обезумевшую лошадь. Какое животное! Он проехал мимо меня, так что я едва успел посторониться, и не остановился на мой окрик... Я бросился вперед, но экипаж несся слишком быстро.

Я одинаково трепетал, что Марселина выскочит из коляски или что она в ней останется; сделав скачок, лошадь могла сбросить ее в море... Вдруг лошадь падает. Марселина вскакивает, хочет бежать, но я уже подле нее. Кучер, завидев меня, накидывается на меня с ужасной бранью. Взбешенный поведением этого человека, я при первом же его ругательстве бросился на него и стащил с козел. Я покатился на землю вместе с ним, но не потерял превосходства над ним; он, казалось, растерялся от падения и вскоре был совсем ошеломлен, когда, видя, что он хочет укусить меня, я ударил его кулаком прямо в лицо. Я по-прежнему не отпускал его, придавив его грудь коленом и стараясь овладеть его руками. Я смотрел на его мерзкое лицо, еще более обезображенное моим ударом; он плевался, пускал слюну, ругался, у него текла кровь, у, гнусное существо! Поистине, я считал себя вправе задуть его, и, быть может, я бы это сделал... по крайней мере, я считал себя способным на это, и я почти уверен, что только мысль о полиции меня удержала.

Мне не без труда удалось крепко связать этого бесноватого. Я бросил его в экипаж, как мешок.

Ах, каким взглядом и какими поцелуями обменялись мы тогда с Марселиной! Опасность была невелика; но мне пришлось выказать свою силу — для того, чтобы защитить ее. Мне в эту минуту казалось, что я мог бы отдать свою жизнь за нее... и отдать ее с радостью... Лошадь поднялась. Предоставив коляску пьянице, мы оба уселись на козлах и, кое-как правя, добрались до Позитано, а потом до Сорренто.

В эту ночь я обладал Марселиной.

Ясно ли это вам, или я должен еще раз повторить вам, что я был новичком в делах любви. Быть может, именно моя неопытность придала такое очарование нашей брачной ночи... Потому что мне кажется, когда я теперь вспоминаю, что эта первая ночь была единственной, до такой степени ожидания и неожиданность любви усилили прелесть наслаждения, до такой степени одной ночи достаточно, чтобы воплотилась величайшая любовь; вот почему мое воспоминание так упорно возвращается только к этой одной ночи. Это было единое мгновение смеха, в котором слились наши души... И мне кажется, что в любви есть черта, единственная, которую душа позже, — ах, напрасно! — старается переступить; и что усилие, которое она делает, чтоб воскресить свое счастье, изнашивает ее; и что ничто так не

мешает счастью, как память о счастье. Увы, я помню эту ночь...

Наша гостиница была за городом, окруженная рощами и плодовыми садами, наша комната выходила на обширный балкон; ветви деревьев касались его. Заря свободно вошла в наше широко раскрытое окно. Я тихонько приподнялся и нежно склонился над Марселиной. Она спала и во сне будто улыбалась. Я показался себе сильным рядом с нею, более хрупкой, и я почувствовал, что ее прелесть была непрочной. Неспкойные мысли закружились в моей голове. Я думал о том, что она не лжет, говоря, что я — все для нее; потом сразу же: «Что я делаю, чтобы принести ей радость? Почти каждый день я ее покидаю одну; она ждет от меня всего, а я ее бросаю... Ах, бедная, бедная Марселина!..» Мои глаза наполнились слезами. Напрасно я искал оправдания в моей прошедшей болезни; имел ли я теперь право на постоянные заботы о себе, имел ли право на эгоизм? Не был ли я теперь сильнее, чем она?

Улыбка сошла с ее лица. При свете все позолотившей зари она показалась мне теперь грустной и бледной; а может быть, приближение утра располагало мою душу к тоске. «Не придется ли мне в свою очередь когда-нибудь ухаживать за тобой, беспокоиться о тебе, Марселина?» — воскликнул я в глубине души. Я вздрогнул и, весь цепенея от любви, жалости, нежности, тихонько коснулся ее закрытых глаз самым нежным, самым влюбленным, самым набожным поцелуем.

IX

Те несколько дней, что мы прожили в Сорренто, были радостны и очень спокойны. Вкусал ли я когда-нибудь такой покой, такое счастье? Испытаю ли это когда-нибудь еще? Я был непрерывно подле Марселины. Занимаясь больше ею, чем собою, я испытывал от беседы с нею такую радость, как от молчания предыдущих дней.

Сначала я был удивлен, почувствовав, что нашу бродячую жизнь, как я думал, вполне меня, удовлетворяющую, она принимала лишь как нечто временное; но сразу же я понял бездеятельность этой жизни; я признал, что она должна быть временной, и в первый раз желание работать, порожденное долгим безделием и моим окрепшим здоровьем, заставило меня заговорить серьезно о возвращении; по

той радости, которую выказала Марселина, я понял, что она давно думала об этом.

Между тем, некоторые труды по истории, о которых я снова стал подумывать, утратили для меня свою привлекательность. Я вам уже говорил, что со времени моей болезни отвлеченное и равнодушное познание прошлого казалось мне пустым. И если прежде я мог заниматься филологическими изысканиями, стараясь, например, определить степень готского влияния на изменение латинского языка и, пренебрежительно отворачиваясь от образов Теодориха, Кассиодора, Амаласунты и их поразительных страстей, восхищался лишь следами, памятниками, оставшимися от их жизни, — теперь эти самые следы и вся филология в целом стали для меня средством проникновения в открывшееся мне дикое величие и благородство. Я решил серьезно заняться эпохой и ограничиться на некоторое время изучением последних лет готского владычества, воспользовавшись предстоящей нам остановкой в Равенне, которая была главной ареной этой трагедии.

Признаться ли вам, меня больше всего привлекал образ юного короля Аталариха. Я представлял себе пятнадцатилетнего мальчика, глухо подстреканного готами на возмущение против матери его Амаласунты; представлял, как он брыкается против своего латинского воспитания, сбрасывает культуру, как жеребец сбрасывает стесняющую его сбрую, предпочитая обществу слишком мудрого и старого Кассиодора грубых готов; как он в обществе жестких своих сверстников-любимцев вкушает несколько лет бурной, страстной и разнузданной жизни, чтоб окончательно испорченным и погрязшим в разврате умереть в восемнадцать лет. Я находил в этом трагическом порыве к более дикой целиной жизни что-то общее с тем, что Марселина, улыбаясь, называла «моим переломом». Я искал в этом удовлетворение для своего ума, раз я не занимал этим своей плоти; и в ужасной смерти Аталариха я изо всех сил старался найти жизненный урок.

Перед Равенной, где мы должны были поселиться на две недели, мы решили быстро осмотреть Рим и Флоренцию, потом, не заезжая в Венецию и Верону, поспешить уже без всяких остановок в Париж. Мне доставляли какое-то совсем новое удовольствие разговоры о будущем с Марселиной; была еще некоторая неуверенность в вопросе о лете; мы оба устали от путешествий, и нам не хотелось снова уезжать; мне хотелось полнейшего покоя для моих занятий; и мы

вспоминали об одном доходном имении между Лизье и Пон-Левеком в самой лесистой части Нормандии: это имение принадлежало когда-то моей матери, и я с ней несколько раз в детстве проводил там лето, но после ее смерти больше туда не возвращался. Мой отец поручил заведывание этим имением старому управляющему, который взимал в нашу пользу арендную плату с фермеров и аккуратно нам ее высылал. У меня сохранились чудесные воспоминания о большом и очень удобном доме, окруженном садом с ручьями; имение называлось Ла Мориньер; я подумал, что там было бы приятно пожить.

Я замышлял провести следующую зиму в Риме, но уже не в качестве путешественника, а ради научной работы... Но этот план быстро рухнул: в числе важных писем, давно ожидавших нас в Неаполе, было одно, в котором внезапно мне сообщили о том, что мое имя усиленно называлось в связи с вакантной кафедрой в Колеж де Франс; это было только заместительство, но именно оно должно мне предоставить в будущем большую свободу; приятель, сообщавший мне это, указывал несколько нетрудных шагов, которые надо было предпринять в случае моего согласия, и очень уговаривал меня принять эту должность. Я колебался, видя в этом прежде всего рабство; потом подумал, что было бы интересно изложить в виде лекций мою работу о Кассиодоре... В конце концов, меня убедила мысль об удовольствии, которое я этим доставлю Марселине. И, как только я принял решение, я стал видеть в нем одни лишь хорошие стороны.

В ученом мире Рима и Флоренции мой отец поддерживал связи, а я был в переписке с некоторыми его знакомыми. Они дали мне возможность произвести нужные мне разыскания в Равенне и других местах; в эти дни я думал только о работе. Марселина старалась облегчить мне ее тысячами милых и трогательных забот обо мне. Наше счастье в конце этого путешествия было таким ровным и спокойным, что я ничего не могу рассказать о нем. Лучшие человеческие творения неизбежно дышат скорбью. Чем был бы рассказ о счастье? Лишь то, что подготавливает его, потом то, что его разрушает, подлежит рассказу.

И теперь я рассказал вам все, что его подготовило.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Мы приехали в Ла Мориньер в первых числах июля, остановившись в Париже лишь на столько времени, сколько потребовали необходимые покупки и кое-какие визиты.

Как я уже говорил вам, Ла Мориньер расположен между Лизье и Пон-Левеком, в самом мокром месте, какое я знаю. Ряд узких и мягко изогнутых ложинок тянется до очень широкой Ожской долины, которая полого спускается к самому морю. Никакого горизонта; таинственные лесные чащи; кое-где поля, но особенно много лугов, пажитей на мягких склонах, где густую траву косят два раза в год, где сливаются тени от множества яблонь в часы заката и где пасутся свободные стада; в каждом углублении — вода; пруд, болото и речка; непрерывно слышно журчанье.

Ах, как легко я узнал этот дом, голубую крышу, кирпичные и каменные стены, наполненные водою рвы, отражения в спящей воде... Это был старый дом, в котором могло бы поместиться больше двадцати человек. Нам с Марселиной и тремя слугами было трудно, хотя я иногда и помогал этому, оживить хотя бы часть дома; наш старый управляющий, которого звали Бокаж, приготовил уже для нас, как мог, несколько комнат; мебель просыпалась от двадцатилетнего сна; все оставалось таким, каким оно жило в моей памяти; отделка не слишком обветшала, и комнаты были совсем жилыми. Чтобы лучше нас принять, Бокаж наполнил цветами все вазы, какие нашел. Он велел выколоть и вычистить внутренний двор и ближайšie к дому аллеи парка. Когда мы подъезжали, дом был освещен последними лучами солнца, и к нему поднимался из долины неподвижный туман, одновременно скрывающий реку, выдавая ее. Еще не доехав до места, я вдруг узнал запах травы, и когда я снова услышал вокруг дома пронзительные крики ласточек, внезапно встало передо мной все прошлое, будто оно ожидало меня и, узнав, захотело сомкнуться при моем приближении.

Через несколько дней дом стал почти совсем обитаемым; я мог бы уже приняться за работу; я медлил, прислушиваясь к подробно напоминающему о себе прошлому, потом вскоре отдавшись слишком новому волнению: через неделю после нашего приезда Марселина призналась мне, что она беременна.

С тех пор мне стало казаться, что я обязан окружить ее новыми заботами и что она имеет право на большую нежность; по крайней мере, первое время после того, как она доверила мне это, я проводил подле нее почти целые дни.

Мы направлялись с ней к лесу и садились на ту скамейку, на которой я когда-то сживал с матерью; там каждое мгновение нам казалось сладостнее, и более незаметно текли часы. От этого периода моей жизни у меня не сохранилось ни одного отчетливого воспоминания, и это не потому, что я менее благодарен ему,— но только потому, что все смешивалось, сливалось в одно общее чувство благосостояния: вечер сменялся утром без резкого разрыва и дни без неожиданностей сплетались с днями.

Я постепенно принялся за свою работу со спокойной, ясной душой, уверенный в своей силе, глядя доверчиво и без волнения на будущее с как бы смягченной волей и прислушиваясь к советам этой мягкой природы.

«Нет никакого сомнения,— думал я,— что пример этой земли, где все готовится к плоду, к полезной жатве, окажет на меня превосходное влияние». Я восхищался спокойным будущим, которое обещали эти мощные быки, эти тельные коровы на обильных лугах. Правильно рассаженные на удобных склонах холмов яблони сулили в это лето превосходный урожай; я мечтал о богатом грузе плодов, под которыми скоро склонятся их ветви. В этом упорядоченном обилии, в этом радостном подчинении, в этих веселых восходах гармонии не случайная, а установленная, красота человеческая и вместе с тем природная, и непонятно было, чем восхищаешься, до такой степени сочетались в совершенном согласии плодоносный взрыв свободной природы и умелое усилие человека, управлявшего ею. Чем было бы это усилие, думал я, без могучей, дикой мощи, которую оно обуздывает? Чем был бы дикий порыв бьющих через край соков без разумного усилия, которое сдерживает их и смеясь приводит к изобилию? И я предавался мечтам о странах, где силы были бы так напряжены, всякий расход так возмещен, всякий обмен так точен, что малейший убыток был бы ощущен; потом, применяя мои мечты к жизни, я строил систему нравственности в виде науки о наилучшем применении своих сил, управляемых сдерживающим разумом.

Куда уходило, где пряталось тогда мое недавнее буйство? Я был так спокоен, что, казалось, его никогда не было. Волна моей любви залила его без остатка...

Между тем, старый Бокаж изо всех сил старался; он

распопьяжался, следил, советовап; до крайности чувствовалося его желание казаться необходимым. Чтобы его не обижать, приходилося проверять его счета, слушать без конца его бесконечные объяснения. Но и этого ему было недостаточно; мне приходилося сопровождать его в поля. Его прописная добросовестность, его постоянные разговоры, явное довольство собой, выставление напоказ своей честности — все это через некоторое время мне наскучило; он становился все более и более назойливым, и все средства казались мне хороши, чтобы снова добиться покоя, — когда вдруг неожиданное событие изменило мои с ним отношения. Однажды вечером Бокаж сообщил мне, что ждет завтра своего сына Шарля.

— А, — сказал я равнодушно, не особенно интересуясь детьми, которые могли быть у Бокажа; потом, видя, что мое равнодушие его огорчает и что он ждет от меня выражения некоторого интереса или удивления, я спросил:

— А где он сейчас?

— На одной образцовой ферме около Алансона, — ответил Бокаж.

— Ему должно быть теперь около... — продолжал я, словно прикидывая возраст этого сына, о существовании которого я до сих пор не подозревал, и достаточно растягивая слова, чтобы он мог меня перебить...

— Семнадцать лет, — продолжал Бокаж, — ему было немного больше четырех, когда скончалась ваша матушка. О, он большой парень теперь; скоро он будет умнее своего отца... — И, раз начав говорить, Бокаж не мог уже больше остановиться, как ни явно показывал я ему знаки усталости.

На следующий день я успел уж забыть об этом, как вдруг под вечер только что приехавший Шарль появился засвидетельствовать Марселине и мне почтение. Это был красивый малый такого цветущего здоровья, такой гибкий и так хорошо сложенный, что даже ужасное городское платье, которое он надел в нашу честь, не могло сделать его слишком смешным; его застенчивость слегка усиливала его природный румянец. Ему можно было дать не больше пятнадцати лет — настолько его взгляд сохранил детское выражение; он объяснялся свободно, без ложного стыда, и в противоположность отцу не болтал без толку. Я не помню, о чем мы говорили в первый вечер; занятый тем, что разглядывал его, я не находил, что сказать ему, и предоставлял Марселине с ним разговаривать. Но на следующий день я в первый раз не стал ждать, чтоб старик Бокаж зашел за

мной и повел на ферму, где, как я знал, были начаты работы.

Надо было починить бассейн. Бассейн этот, обширный, как пруд, дал течь; место течи было известно, и его должны были залить цементом. Надо было прежде всего спустить воду из бассейна, чего не делалось целых пятнадцать лет. В нем в изобилии водились карпы и лини, некоторые очень большие, не всплывавшие на поверхность. Мне хотелось развести их во рвах и оделить ими рабочих, чтобы таким образом удовольствие рыбной ловли присоединилось на этот раз к работе; это вызвало необычайное оживление на ферме; из окрестностей пришло несколько детей и смешалось с рабочими. Даже Марселина должна была попозже присоединиться к нам.

Вода уже давно стала понижаться, когда я пришел. Порой сильная рябь морщила ее поверхность, и просвечивали коричневые спины потревоженных рыб. Дети, плескавшиеся в прибрежных лужах, ловили блестящую рыбежку и бросали ее в ведро с чистой водой. Вода, которую окончательно замутило волнение рыб, была землистого цвета и с каждой секундой становилась все темнее. Обилие рыб превзошло все ожидания, четверо работников с фермы вытаскивали их, опуская наудачу руки. Я жалел о том, что Марселина запаздывает, и уже собирался сбежать за ней, когда вдруг кто-то закричал, что появились угри. Их не удавалось схватить, они выскользывали из рук. Шарль, который до тех пор стоял на берегу возле своего отца, не выдержал; он вдруг снял башмаки, носки, скинул куртку и жилет, затем, высоко закатав штаны и рукава рубашки, храбро влез в тину. Я тотчас же последовал за ним.

— Ну, Шарль,— крикнул я,— не правда ли, вы хорошо сделали, что приехали вчера?

Он ничего не ответил, но посмотрел на меня, смеясь, уже сильно увлеченный рыбной ловлей. Вскоре я попросил его помочь мне изловить большого угря; мы соединили наши руки, чтобы схватить его... Покончив с этим, мы принялись за другого; тина перепачкала наши лица; порой мы внезапно проваливались, и вода доходила нам до икр; скоро мы промокли насквозь. В пылу игры мы едва обменивались немногими восклицаниями, немногими словами, но под конец дня я заметил, что говорю «ты» Шарлю, не зная сам, как это началось. Это общее занятие ближе нас познакомило друг с другом, чем мог сделать долгий разговор. Марселина все не приходила, и так и не пришла, но я уже не жалел об

ее отсутствию; мне казалось, что она немного помешала бы нашей радости.

На следующее утро я уже пошел на ферму за Шарлем. Мы направились вместе к лесу.

Я плохо знал свои владения и не очень старался их узнать; поэтому я был весьма удивлен, увидев, что Шарль отлично их знает, так же как и все, касающееся аренды; он сообщил мне,— я едва подозревал это,— что у меня шесть фермеров и я мог бы получать от шестнадцати до восемнадцати тысяч франков арендной платы, а если я получал только половину, то это потому, что все поглощали всяческий ремонт и оплата посредников. Улыбка, с которой он подчас поглядывал на засеянные поля, скоро заставила меня усомниться в том, что обработка моих владений так превосходна, как я сначала думал, судя по словам Бокажа; я стал наводить Шарля на эти темы, и тот практический склад ума, который меня раздражал в Бокаже, почему-то был мне приятен в этом мальчике. Мы стали гулять вместе каждый день, поместье было обширно, и, хорошенько осмотрев все его уголки, мы начали сначала, но уже более систематически. Шарль не скрывал от меня своего раздражения при виде некоторых плохо обработанных полей, пустырей, заросших дробом, чертополохом, всякими сорными травами; он заразил меня ненавистью к земле под паром и сумел внушить мне мечту о более высоких способах обработки.

— Но,— возражал я ему сначала,— ведь никто не страдает от этой плохой обработки. Только фермер, не правда ли? Если даже изменится доход с его фермы, ведь это не изменит аренды.

Шарль начинал сердиться:

— Вы в этом ничего не понимаете,— позволял он себе ответить, на что я тотчас начинал смеяться.— Беря в расчет только доход, вы не замечаете, что капитал от этого страдает. Ваша земля из-за плохой обработки постепенно обесценивается.

— Если бы она могла при лучшей обработке приносить больший доход, сомневаюсь, чтобы арендатор не сделал всего от него зависящего; я знаю, он слишком корыстен, чтобы не извлечь все, что возможно.

— Вы не учитываете,— продолжал Шарль,— что это требует добавочной рабочей силы. Часто земля лежит далеко от фермы. Ее обработка ничего или почти ничего не принесла бы, но по крайней мере сама земля не портилась бы...

И беседа продолжалась. Иной раз в течение часа, шагая

по полям, мы повторяли все одно и то же; но я прислушивался и понемногу учился.

— В конце концов, это дело твоего отца,— сказал я ему однажды с раздражением. Шарль слегка покраснел.

— Мой отец стар,— отвечал он.— У него и так много дела; ему приходится следить за выполнением договоров, за ремонтом построек, за правильным поступлением арендной платы. Не его дело здесь что-нибудь менять.

— А ты какие предложил бы перемены? — продолжал я.

Но он только отнекивался, уверяя, что мало в этом понимает, и лишь после долгих настояний я заставил его сказать то, что он думает.

— Отобрать у фермеров все земли, которые они не обрабатывают,— посоветовал он.— Если фермеры оставляют часть своих полей под паром, это доказывает, что у них больше земли, чем они могут оплатить; а если они захотят сохранить ее всю, повысьте арендную плату. Они все здесь лентяи,— добавил он.

Из шести моих ферм я охотнее всего заходил на ту, которая была расположена на холме, господствующем на Ла Мориньер; она называлась Ла Вальтри; арендатор, занимавший ее, не был мне антипатичен, и я охотно беседовал с ним. Ближе к Ла Мориньер находилась ферма, называвшаяся «Замковой фермой», сданная с половины по системе полуаренды, что позволяло Бокажу, ввиду отсутствия владельца, распоряжаться частью скота. Теперь когда во мне зародилось недоверие, я начал подозревать даже самого честного Бокажа в том, что, если он и не сам надувает меня, то по меньшей мере позволяет надувать меня другим. Правда, мне были предоставлены конюшни и коровник, но мне начало казаться, что это сделано лишь для того, чтобы фермер мог кормить своих коров моим овсом и сеном. До тех пор я добродушно выслушивал самые неправдоподобные новости, которые мне сообщал Бокаж: падежи, прирожденные уродства, болезни — я всему этому верил. Мне еще не приходило в голову, что стоило одной из фермерских коров заболеть, чтобы стать моей коровой, или моей корове быть совсем здоровой, чтобы тотчас стать фермерской; однако несколько личных наблюдений кое-что разъяснили мне; потом, уже настроившись, я пошел быстро по этому пути.

Марселина, которой я сообщил свои предположения, аккуратно проверила все счета, но не нашла в них ни одной

погрешности; счета были убежищем честности Бокажа.— Что делать? — Махнуть рукой.— Но теперь я с глухим раздражением наблюдал за лошадьми и коровами, не слишком это показывая.

У меня было четыре лошади и десять коров; этого было достаточно, чтобы меня терзать. Одну из моих четырех лошадей все еще называли «жеребенком», хотя ей было уже больше трех лет; ее в это время выезжали; это начинало меня интересовать, но в один прекрасный день мне пришлось сказать, что с ним абсолютно нельзя справиться, никогда ничего нельзя будет сделать и что самое лучшее для меня будет избавиться от этого жеребенка. Как бы для того, чтобы опровергнуть мои возможные сомнения, ему дали разбить передок тележки и раскровянить себе ноги под коленями.

Мне было трудно в этот день сохранить спокойствие, и меня удерживало только то, что я стеснялся Бокажа. «В конце концов,— думал я,— он больше грешит слабостью, чем злой волей, а виноваты слуги; но они не чувствуют никакой узды».

Я вышел во двор посмотреть жеребенка. Слуга, державший и бивший его, при моем приближении стал его ласкать; я сделал вид, что ничего не заметил. Я не очень знал толк в лошадях, но этот жеребенок казался мне красивым; он был полукровка, светло-гнедой, изумительно стройный; у него был очень резвый взгляд, грива и хвост почти светлые. Я убедился в том, что он не ранен, потребовал, чтобы перевязали его ссадины, и ушел, не прибавив ни слова.

Вечером, когда я увиделся с Шарлем, я постарался узнать от него, что он думает о жеребенке.

— Я считаю его очень смиренным,— сказал он,— но они не умеют с ним обращаться; он совсем сбесится у них.

— А ты бы как за него взялся?

— Не хотите ли доверить его мне на неделю? Я ручаюсь за него.

— Что ты с ним станешь делать?

— Вы увидите.

На следующий день Шарль повел жеребенка на луг в то место, где его огибала река и падала тень от великолепного орешника; я отправился туда тоже вместе с Марселиной. Это одно из моих самых ярких воспоминаний. Шарль привязал жеребенка веревкой длиной в несколько метров к крепко вбитому в землю колу. Слишком нервный, жеребенок сначала яростно стал рваться; затем,

утомившись и присмирив, он стал бегать по кругу более спокойно; его удивительно упругая рысь ласкала взор и очаровывала как танец. Шарль, стоя в центре круга и перепрыгивая через веревку при каждом обороте, возбуждал его или успокаивал голосом; в руках его был длинный хлыст, но я не замечал, чтобы он пользовался им. Все в его фигуре и движениях, благодаря его молодости и веселью, придавало этой работе вид увлекательной забавы. Вдруг, каким-то образом, он оказался верхом; лошадь замедлила ход, потом остановилась; он слегка ее погладил, потом внезапно я увидел его уверенно сидящим верхом; он еле держался за гриву, смеялся и, наклонившись, продолжал ласкать животное. Одно мгновение жеребенок начал было брыкаться; теперь он снова шел такой ровной, красивой и гибкой рысью, что я позавидовал Шарлю и сказал ему это.

— Еще несколько дней дрессировки, и седло не будет уже беспокоить его; через две недели даже ваша жена сможет ездить на нем: он будет смирный, как ягненок.

Шарль был прав: через несколько дней лошадь доверчиво позволяла себя гладить, седлать, направлять; и в самом деле, Марселина могла бы кататься на ней, если бы позволяло состояние ее здоровья.

— Вы должны были бы, сударь, сами испробовать жеребенка,— сказал мне Шарль.

Я ни за что не сделал бы этого один, но Шарль предложил оседлать для себя другую лошадь с фермы; удовольствие сопровождать его увлекло меня.

Как я был благодарен моей матери за то, что она водила меня в детстве в манеж! Мне помогло воспоминание об этих давних уроках. Я не слишком удивился, очутившись верхом на лошади; через несколько секунд у меня прошел всякий страх, и я почувствовал себя вполне удобно. Лошадь Шарля была тяжелее, не породистая, но на вид приятная, особенно потому, что Шарль хорошо держался в седле. Мы усвоили привычку кататься немного каждый день; большей частью мы выезжали рано утром, когда трава была покрыта прозрачной росой; мы достигали опушки леса; нас обдавали брызгами совсем мокрые кусты орешника, которые мы задевали; вдруг открывался горизонт; то была широкая Ожская долина; вдали чувствовалось море. Мы останавливались на минуту, не слезая с коней; восходящее солнце окрашивало, отодвигало, рассеивало туман; потом мы крупной рысью ехали назад; мы немного отдыхали на ферме; работа едва

начиналась; мы наслаждались гордой радостью, что мы первые и показываем пример рабочим; потом мы быстро оставляли их; я возвращался в Ла Мориньер к тому времени, когда Марселина вставала.

Я приезжал пьяный от воздуха и быстроты, с немного онемевшим телом от какой-то сладостной усталости, с душой, полной здоровья, жадности, свежести. Я заходил к ней, не снимая верховых сапог, и приносил к ее постели, где она лежала, ожидая меня, запах мокрых листьев; он ей нравился, по ее словам. Она слушала мои рассказы о нашей прогулке, о пробуждении полей, о начале работы... И казалось, что она тоже радуется тому, что я живу, как тому, что она сама живет. Вскоре я стал злоупотреблять и этой радостью, наши прогулки стали затягиваться, и иногда я возвращался только к полудню.

Однако я усердно посвящал остаток дня и вечер подготовке моего курса. Работа моя подвигалась вперед; я был ею доволен и не считал невозможным издать впоследствии мои лекции отдельной книгой. По какой-то естественной реакции, в то время как моя жизнь налаживалась, усваивала определенный порядок, и я с удовольствием налаживал все вокруг себя и руководил им,— я все больше и больше увлекался стародавней этикой готов, и в то время, как в своих лекциях со смелостью, в которой меня потом достаточно упрекнули, восторгался дикостью и строил ее апологию, я тогда же старательно пытался победить, если не совсем уничтожить, все то, что могло напомнить мне ее вокруг меня или во мне самом. До каких пределов доводил я эту мудрость или это безумие?

Двое из моих фермеров, срок аренды которых истекал к Рождеству, желая возобновить ее, пришли ко мне; надо было, согласно обычаю, подписать бумаги, так называемое «обещание аренды». Так как я был решительно настроен, благодаря доводам Шарля, и возбужден ежедневными беседами с ним, я уверенно ожидал арендаторов. Они, твердо помня, что арендатора не так легко заменить новым, требовали сначала снижения арендной платы. Тем сильнее они были поражены, когда я прочел им «обещание», мною самим составленное, где я не только отказывался уменьшить арендную плату, но еще и отбирал у них некоторые участки земли, из которых они, как я полагал, не извлекали никакой пользы. Они сначала сделали вид, что принимают это за шутку... «Вы, конечно, шутите? Что вам делать с этими участками? Они ничего не стоят, и если мы с ними ничего не

делаем, значит, с ними ничего и сделать нельзя...» Потом, видя, что я говорю серьезно, они заупрямились; я заупрямился тоже. Они думали напугать меня, грозя уйти. Я только и ждал этого.

— Хорошо, уходите, если желаете! Я вас не удерживаю, — сказал я им, взял обещание аренды и разорвал у них на глазах.

Итак, я остался с более чем ста гектарами земли на руках. Уже некоторое время я подумывал о том, чтобы поручить заведывание ими Бокажу, считая, что этим, хотя и косвенно, я передаю его Шарлю; я воображал также, что сам буду усиленно этим заниматься; впрочем, я почти не размышлял: самый риск предприятия соблазнял меня. Фермеры должны были уехать только около Рождества, до тех пор мы как-нибудь обернемся. Я сообщил об этом Шарлю; его радость сразу же не понравилась мне; он не мог скрыть ее; благодаря этому я еще сильнее почувствовал его чрезмерную молодость. Времени оставалось немного; наступила пора, когда снят урожай и земля свободна для запашки. По установившемуся обычаю, работы старого и нового фермера идут непрерывным порядком; первый оставляет свои владения участок за участком, как только снят урожай. Я боялся мести в качестве каких-нибудь проявлений враждебности со стороны обоих уволенных арендаторов, но они, наоборот, изображали по отношению ко мне полнейшую любезность (я только впоследствии узнал, из какой выгоды они это делали). Я пользовался этим, чтобы утром и вечером бродить по их полям, которые должны были скоро ко мне вернуться. Начиналась осень; пришлось взять больше рабочих, чтобы ускорить запашку и посев; мы купили бороны, катки, плуги; я разъезжал, наблюдал за работами, руководил ими, радовался тому, что сам распоряжаюсь и властвую.

Тем временем на соседних полях арендаторы начали сбор яблок; яблоки падали, катились в густую траву, их было так много, как еще никогда; не хватало работников; приходили из соседних деревень; их нанимали на неделю; Шарль и я иногда ради забавы помогали им. Некоторые сбивали с веток запоздалые плоды; отдельно складывали яблоки, которые сами падали от чрезмерной зрелости, иной раз подгнившие; часто они лежали побитые или раздавленные в высокой траве; не было возможности не наступать на них. Терпкий и сладкий запах, подымавшийся от полей, смешивался с запахом вспаханной земли.

Осень надвигалась. Утра последних ясных дней — самые свежие, самые прозрачные. Иногда влажный воздух синил даль, еще более отодвигая ее, и превращал прогулку в путешествие, неестественная прозрачность воздуха приближала горизонт; казалось, его можно было задеть крылом; я не знаю, что из двух наполняло душу большим томлением. Моя работа была почти закончена; по крайней мере я так говорил себе, чтобы иметь больше права отвлечься от нее. Все время, которое я не проводил на ферме, я был около Марселины. Вместе мы выходили в сад; мы шли медленно; она томно и тяжело опиралась на мою руку; мы сядились на скамейку, откуда видна была вся долина, которую вечер заливал светом. Она нежным движением опиралась на мое плечо, и мы так сидели до вечера, без жестов, без слов, чувствуя, как тает в нас день... Каким молчанием умела уже окутываться наша любовь! Это потому, что любовь Марселины была сильнее, чем выражающие ее слова, и я бывал подчас почти тоскливо взволнован этой любовью. Как иногда от дуновения трепещет совсем спокойная вода, так можно было прочесть на ее лице самое легкое волнение; таинственно она слушала в себе трепет новой жизни; я наклонялся над ней, как над глубоким и чистым водоемом, в самой глубине которого, насколько хватало зрения, видна была лишь одна любовь. Ах! Если только это было счастье, я знаю, что с той поры я хотел удержать его, как тщетно пытаешься удержать между рук убегающую воду; но я уже чувствовал рядом со счастьем что-то другое, что прекрасно расцветивало нашу любовь, но так, как расцветивает осень.

Осень надвигалась. Роса, с каждым утром все более мокрая, не высыхала на опушке леса; на заре она была белая. Утки на прудах били крыльями, они дико трепыхались, иногда видно было, как они поднимаются и с резким криком шумно летают над Ла Мориньер. Однажды утром они исчезли; Бокаж запер их. Шарль сказал мне, что их запирают каждую осень в пору перелета птиц. Через несколько дней погода переменилась. Как-то вечером вдруг поднялся сильный ветер, сильное, нераздельное дыхание моря, принесшее с севера дождь и унесшее перелетных птиц. Состояние здоровья Марселины, хлопоты об устройстве новой квартиры, подготовка к моим первым лекциям — все должно было торопить нас в город. Рано начавшаяся плохая погода прогнала нас.

Правда, из-за работ на ферме я должен был бы вернуться туда в ноябре. Я очень досадовал, узнав немые планы

Бокажа; он объявил мне о своем желании снова отправить Шарля на образцовую ферму, на которой, как он считал, сыну надо было еще поучиться. Я долго спорил, пустил в ход все доводы, какие только мог придумать, но не мог его заставить уступить; он согласился только на то, чтобы несколько сократить это обучение, что позволило бы Шарлю вернуться немного раньше. Бокаж не скрывал от меня, что управление двумя фермами будет делом не легким; но он сообщил мне, что у него есть в виду два очень надежных крестьянина, которых он собирался взять к себе на службу; это будут почти фермеры, почти арендаторы, почти рабочие; дело было для нашего края слишком новым, чтобы он решался меня очень обнадеживать в смысле успеха; но, говорил он, «ведь вы сами этого захотели». Разговор этот происходил в конце октября. В первых числах ноября мы переехали в Париж.

II

Мы поселились на улице С., около Пасси. Квартира, которую нам подыскал один из братьев Марселины и которую мы осмотрели во время нашего последнего приезда в Париж, была гораздо больше перешедшей ко мне от отца, и Марселину немного беспокоила не только более высокая плата, но и всякие связанные с квартирой расходы. Ее страхам я противопоставлял свое притворное отвращение ко всему, что недоделано; я заставлял себя верить в это и намеренно это преувеличивал. Конечно, различные расходы по устройству превысят наш годовой доход. Но наше уже давно значительное состояние сейчас должно было еще увеличиться; я рассчитывал на свои лекции, на издание моей книги и даже — какое безумие! — на доходы со своих ферм. Поэтому я не останавливался ни перед какими тратами, убеждая себя при каждой из них, что я этим крепче связываю себя, и полагая, что вместе с тем я убиваю всякий вкус к бродяжничеству, который я ощущал — или боялся, что ощущаю — в себе.

Первые дни, с утра до ночи, у нас проходили в разъездах по делам; хотя вскоре брат Марселины очень любезно предложил взять некоторые из них на себя, Марселина быстро почувствовала сильную усталость. Потом, вместо отдыха, который ей был необходим, ей пришлось, как только мы устроились, принимать гостей за гостями; благодаря отдалению, в котором мы до сих пор жили, они теперь

особенно охотно собирались у нас, а Марселина, отвыкшая от света, не умела сокращать визиты и не решалась вовсе не принимать; вечером я видел ее совсем замученной, и если я не беспокоился по поводу ее слабости, естественная причина которой мне была известна, то, по крайней мере, я старался ее уменьшить, часто принимая вместо нее, что доставляло мне мало удовольствия, а иногда отдавая визиты, что доставляло мне удовольствия еще меньше.

Я никогда не был блестящим собеседником. Салонное легкомыслие, дух салонов — вещь, которая мне никогда не нравилась; правда, я в прежнее время часто бывал в них — но это время было так далеко! Что произошло с тех пор? Я чувствовал себя рядом с другими тусклым, скучным, недовольным, стеснительным и вместе с тем стесненным... По несчастной случайности, вы, которых я тогда уже считал единственными моими друзьями, не были в Париже и должны были вернуться еще очень нескоро. Легче ли было бы с вами разговаривать? Быть может, вы бы меня лучше поняли, чем я понимал себя сам! Много ли я знал о том, что росло во мне и о чем я вам сегодня рассказываю? Будущее казалось мне вполне спокойным, и никогда я не считал себя настолько хозяином его, как тогда.

И даже если бы я был проникательнее, какую помощь против себя самого мог бы я найти в Гюбере, Дидье, Морисе и стольких других, которых вы знаете и цените не больше, чем я? Очень скоро, увы, я увидел невозможность быть понятым ими. С первых же бесед я увидел, что они как бы заставляют меня играть искусственную роль, заставляют, под страхом прослыть притворщиком, походить на того, кем я, с их точки зрения, был и остался; и для большего удобства я притворно принял мнения и вкусы, которые мне приписывали. Нельзя быть одновременно искренним и казаться им.

Я несколько охотнее встречался с людьми своей профессии, археологами и филологами, но в беседах с ними нашел немногим больше удовольствия и волнения, чем в перелистывании хороших исторических справочников. Вначале я еще надеялся найти более непосредственное понимание жизни у нескольких романистов и поэтов, но признаться, они его вовсе не обнаружили; мне казалось, что большинство из них не живет, а довольствуется тем, что кажется живущим, и еще немного — они стали бы рассматривать жизнь, как досадную помеху к сочинительству. Я не мог осуждать их за это; я не утверждаю, что ошибка была не

с моей стороны... Впрочем, что я понимал под словом «жить»? — Это как раз то, чему мне хотелось, чтобы меня научили. Все они ловко рассуждали о разных жизненных событиях, но никогда о том, чем эти события определяются.

Что касается нескольких философов, которые должны были бы меня вразумить, я уже давно знал наперед, чего можно было ожидать от них; математики или неокантианцы, все они держались возможно дальше от волнующей действительности и интересовались ею не больше, чем математик интересуется реальным существованием величин, которые он измеряет.

Возвращаясь к Марселине, я не скрывал от нее скуки, которую рождали во мне эти встречи.

— Они все похожи друг на друга, — говорил я. — Каждый повторяет соседа. Когда я говорю с одним из них, мне кажется, что я говорю с несколькими.

— Но, мой друг, — отвечала Марселина, — вы не можете требовать от каждого из них, чтоб он отличался от всех остальных.

— Чем больше они похожи между собой, тем больше они отличаются от меня.

И потом я продолжал с печалью:

— Никто из них не сумел быть больным. Они живут так, как будто живут и не знают, что живут. Впрочем, я сам с тех пор, как бываю с ними, больше не живу. Например, сегодня что я делал? Я должен был оставить вас с девяти часов; перед уходом я едва успел почитать немного; единственный хороший момент за день. Ваш брат ждал меня у нотариуса, и после нотариуса он уже не отставал от меня; я должен был отправиться с ним к обойщику; он мне мешал у краснодеревца, и я расстался с ним только у Гастона; я позавтракал в той части города с Филиппом, потом встретился с Луи, который ждал меня в кафе; прослушал с ним глупейшую лекцию Теодора, которого я осыпал похвалами по окончании; для того чтобы отказаться от его приглашения на воскресенье, мне пришлось проводить его к Артюру; с Артюром я смотрел выставку акварелей; завез карточки к Альбертине и Жюли... Измученный, я возвращаюсь и застаю вас такой же усталой, как я сам; вы видели Аделину, Марту, Жанну, Софи... и теперь вечером, когда я вспоминаю о всех занятиях этого дня, я чувствую, что этот день так напрасен, так пуст, что мне хочется схватить его на лету, начать его снова час за часом, — и мне грустно до слез.

Все же я не мог бы сказать, что я подразумевал под

словом «жить», и не был ли причиной моего стеснения просто-напросто мой новый вкус к более просторной и свободной жизни, менее принужденной и связанной с другими людьми; причина эта казалась мне гораздо таинственнее; я думал, что это — тайна воскресшего, так как я оставался чужим среди людей, как выходец с того света. Вначале я испытывал лишь довольно мучительную растерянность, но скоро появилось совсем новое чувство. Я утверждаю, что раньше я не ощущал никакой гордости при выходе в свет моих трудов, за которые я получал столько похвал. Чувствовал ли я теперь гордость? Возможно, но к ней, во всяком случае, не примешивалось ни малейшего оттенка тщеславия. В первый раз в жизни у меня явилось сознание моей собственной ценности; важно было то, что отделяло, отличало меня от других. Мне надо было говорить то, чего никто, кроме меня, не говорил и не мог сказать.

Вскоре после этого я начал свой курс; так как меня побуждала к этому сама тема, я вложил в свою первую лекцию всю мою новую страсть. Заговорив о позднейшей латинской цивилизации, я изобразил тонкую культуру, подымающуюся над толщей народа, как некая секреция, которая вначале знаменует собою изобилие, избыток здоровья, потом сразу же застывает, твердеет, сопротивляется полному соприкосновению духа с природой и скрывает под упорной видимостью жизни ослабление самой жизни, создает футляр, в котором тоскует, прозябает, затем умирает стесненный дух. Словом, развивая до конца свою мысль, я заявил, что культура, рожденная жизнью, убивает жизнь.

Историки осудили мою тенденцию, как они говорили, к слишком поспешным обобщениям. Некоторые осудили мой метод; а те, кто хвалил меня, поняли меня еще меньше, чем все другие.

В первый раз я встретил Меналка при выходе из своей аудитории. Я с ним не был близок прежде, а незадолго до моей женитьбы он снова отправился в одну из своих дальних экспедиций, которые лишали нас его общества нередко на целые годы. Когда-то он мне совсем не нравился; он казался мне гордецом и не интересовался моей жизнью. Поэтому я был удивлен, увидев его на своей первой лекции. Даже его заносчивость, которая отталкивала меня от него раньше, понравилась мне, а улыбка, с которой он ко мне подошел, показалась мне тем более очаровательной, что

я знал, как редко она у него бывает. Совсем недавно нелепый и позорный скандальный процесс послужил предлогом для газет, чтобы забрызгать его грязью; те, которых оскорбляло его пренебрежение и превосходство, ухватились за этот случай, чтобы отомстить ему; и больше всего раздражало их то, что он, казалось, не был огорчен этим.

— Надо позволить им выговориться,— отвечал он на оскорбления,— это утешает их в том, что они не могут предъявить ничего лучшего.

Но «хорошее общество» возмутилось, и те, кто, как говорится, «уважает себя», сочли нужным отвернуться от него, ответив на его презрение презрением. Это являлось для меня только лишним поводом: привлекаемый к нему тайной силой, я подошел и дружески обнял его на глазах у всех.

Увидев, с кем я разговариваю, последние из докучавших мне удалились; я остался один с Меналком.

После раздражающей критики и глупейших комплиментов я почувствовал отдых от немногих его слов по поводу моей лекции.

— Вы сжигаете то, чему поклонялись,— сказал он.— Это хорошо. Вы поздно к этому пришли, зато огню будет больше пищи. Я еще не знаю, хорошо ли я все понял; вы меня заинтересовали. Я не очень разговорчив, но мне хотелось бы побеседовать с вами. Давайте пообедаем вместе сегодня.

— Дорогой Меналк,— ответил я,— вы, кажется, забыли, что я женат.

— Да, это правда,— продолжал он,— видя сердечную простоту, с которой вы решились подойти ко мне, я мог вообразить, что вы более свободны.

Я испугался, что оскорбил его, но еще более побоялся показаться ему слабым; я сказал ему, что приду к нему после обеда.

Меналк жил в гостинице, так как бывал в Париже всегда только проездом; в свой последний приезд он велел приготовить себе несколько комнат в виде квартиры; у него были там собственные слуги, он питался отдельно, жил отдельно; он затянул стены и закрыл мебель, банальное безобразие которой оскорбляло его, драгоценными тканями, привезенными им из Непала и предназначенными им,— после того как он, по его собственному выражению, достаточно загрязнит их,— в дар какому-нибудь музею. Я так

спешил к нему, что застал его еще за столом; и так как я извинился, что прервал его обед, он ответил мне:

— Но я вовсе не собираюсь прерывать его и надеюсь, что вы дадите мне его докончить. Если бы вы пришли к обеду, я бы угостил вас ширазским вином, воспетым Гафизом, но теперь слишком поздно: его можно пить только натошак; но, может быть, вы выпьете ликера?

Я согласился, думая, что он тоже будет пить; потом, видя, что принесли лишь одну рюмку, я выразил удивление.

— Извините меня,— сказал он,— но я почти никогда не пью.

— Вы боитесь опьянения?

— О, нет, напротив. Но я считаю трезвость более сильным опьянением; я тогда сохраняю ясность мысли.

— И вы подливаете вино другим...

Он улыбнулся и сказал:

— Я не могу от всех требовать своих добродетелей. Хорошо уже, если я нахожу в них свои пороки.

— Вы, по крайней мере, курите?

— Тоже нет. Это безличное, отрицательное опьянение, к тому же слишком легко достижимое; я в опьянении ищу возбуждающего расширения, а не ослабления жизни. Но оставим это. Знаете, откуда я приехал сейчас? Из Бискры. Узнав, что вы только что перед этим были там, я захотел найти следы вашего пребывания. Зачем приехал в Бискру этот слепой эрудит, этот начетчик? Я соблюдаю скромность лишь по части того, что мне доверили; относительно же того, что я сам узнаю, признаюсь, мое любопытство безгранично. Поэтому я искал, рылся, расспрашивал всюду, где мог. Моя нескромность сослужила мне службу, так как у меня явилось желание вас увидеть; так как вместо ученого рутинера, которого я видел в вас прежде, я знаю, что должен видеть теперь... вы должны сами сказать кого.

Я почувствовал, что краснею.

— Что же вы узнали обо мне, Меналк?

— Вы хотите знать? Значит, вы не боитесь! Вы достаточно знаете своих и моих друзей, чтобы быть уверенным, что я ни с кем не стану говорить о вас. Вы видели, как была понята ваша лекция.

— Но ничто еще не доказывает мне, что я мог говорить с вами больше, чем с другими,— возразил я с легким раздражением.— Ну, что же вы узнали обо мне?

— Прежде всего, что вы были больны.

— Но в этом нет ничего...

— О, это уже очень важно. Потом мне рассказали, что вы охотно гуляли один и без книги (вот здесь-то я начал восхищаться); или когда вы были не один, то вы охотнее гуляли с детьми, чем с вашей женой... Не краснейте, или я не стану рассказывать продолжение.

— Говорите, не глядя на меня.

— Один из мальчиков,— его зовут Моктир, если я верно запомнил,— красивый, как мало кто, вор и плут, как никто, мог, мне кажется, много порассказать; я привлек его, купил его доверие, что, как вы знаете, нелегко, так как мне кажется, что он лгал и тогда, когда уверял, что уже больше не лжет... Скажите же мне, правда ли то, что он рассказал мне про вас?

Меналк встал, вынул из ящика маленькую коробочку и открыл ее.

— Эти ножницы ваши? — спросил он, протягивая мне что-то бесформенное, ржавое, затупленное, испорченное; однако я без труда узнал маленькие ножницы, которые у меня украл Моктир.

— Да, это они самые, ножницы моей жены.

— Он уверяет, что взял их у вас, когда однажды вы были с ним вдвоем в комнате и отвернулись от него, но самое интересное не это; он утверждает, что в тот момент, когда он прятал их под свой бурнус, он понял, что вы наблюдали за ним в зеркале, и он поймал ваш взгляд, следивший за ним. Вы видели, как он крал, и ничего не сказали. Моктир был очень удивлен вашим молчанием... я тоже.

— Я не менее удивлен тем, что вы мне рассказываете. Как? Значит, он знал, что я его поймал?

— Не в этом дело; вы пытались перехитрить друг друга; но в этой игре дети нас всегда обыгрывают. Вы думали, что держите его, а на самом деле он держал вас в руках... Не в этом дело. Объясните мне ваше молчание.

— Я сам бы хотел, чтобы мне кто-нибудь его объяснил.

Мы некоторое время молчали. Меналк, ходивший взад и вперед по комнате, рассеянно зажег папиросу, потом тотчас ее бросил.

— По-видимому,— продолжал он,— есть одно «чувство», как говорится, «чувство», которого вы лишены, милый Мишель.

— Может быть, «нравственное чувство»? — сказал я, пробуя улыбнуться.

— О, нет, просто чувство собственности.

— Мне кажется, что оно не очень развито и в вас?

— Его во мне так мало, что здесь, как видите, мне ничто не принадлежит; или даже, вернее, особенно не принадлежит мне постель, в которой я сплю. Мне отвратителен покой; собственность располагает к нему, и в безопасности засыпаешь. Я достаточно люблю жизнь, чтобы жить бодрствуя, и сохраняю даже в моем богатстве чувство непрочности, которым я обостряю или по крайней мере волную мою жизнь. Я не хочу сказать, что люблю жизнь полную случайностей, и хочу, чтобы она в любой момент могла потребовать от меня все мое мужество, все счастье и все здоровье.

— Тогда в чем же вы упрекаете меня? — перебил я.

— О, как вы меня плохо поняли, милый Мишель; не глупо ли с моей стороны проповедовать свои убеждения! Если я так мало считаюсь с одобрением или порицанием других, то не для того, чтобы одобрять или порицать в свою очередь; эти слова почти лишены смысла для меня. Я сейчас слишком много говорил о себе; мне показалось, что меня поняли, и это увлекло меня... Я хотел только сказать, что для человека, лишенного чувства собственности, вы обладаете слишком многим; это важно.

— Чего же у меня так много?

— Ничего, если вы говорите таким тоном... Но не начали ли вы ваш курс лекций? Разве у вас нет имения в Нормандии? Разве вы не устроились недавно, и очень роскошно, в Пасси? Вы женаты. Разве вы не ждете ребенка?

— Но,— сказал я нетерпеливо,— это просто доказывает, что я сумел устроить себе более «опасную» (как вы говорите) жизнь, чем ваша.

— Да, просто,— повторил иронически Меналк, потом резко повернулся и протянул мне руку.

— Ну, прощайте; на сегодняшний вечер достаточно, и мы ничего лучшего не скажем. Но — до скорого свиданья.

Некоторое время я не видел его.

Новые хлопоты, новые заботы заняли меня; один итальянский ученый сообщил мне новые открытые им документы, которые я подробно изучал теперь для своих лекций. То, что моя первая лекция была плохо понята, подстрекнуло мое желание по-иному, лучшим образом осветить следующие; это меня побудило изложить как теорию то, что я решался предлагать раньше лишь как остроумную гипотезу. Сколько людей, утверждавших что-либо, обязаны

своей силой тому, что, по счастью, их не поняли с полуслова! Я признаюсь, что не могу выделить долю упрямства, которая, быть может, примешивалась к моему естественному желанию утверждать. То новое, что я должен был сказать, показалось мне тем более важным и необходимым, чем труднее было мне говорить и особенно заставить себя понять.

Но увы, насколько слова бледнеют рядом с действием! Жизнь, малейший жест Меналка не были ли в тысячу раз красноречивее моих лекций? Ах, как хорошо понял я тогда, что учение великих древних философов, почти целиком нравственное, проявлялось больше на примере, чем в словах.

Я увидел вновь Меналка уже у себя, почти через три недели после нашей первой встречи. Это было в конце слишком многолюдного вечера. Чтобы избежать ежедневного беспокойства, Марселина и я широко открывали свои двери по четвергам вечером: нам таким образом было легче закрывать их в другие дни. И вот те, которые называли себя нашими друзьями, приходили каждый четверг; просторность наших гостиных позволяла нам принимать их в большом числе, и вечера эти затягивались далеко за полночь. Я думаю, что гостей привлекала восхитительная любезность Марселины и удовольствие разговаривать между собой; что же касается меня, то уже после второго такого вечера мне нечего было слушать, нечего говорить, и я плохо скрывал скуку. Я переходил из курительной в гостиную, из передней в библиотеку; иногда меня задевала какая-нибудь фраза, но я мало наблюдал и смотрел, как бы не видя.

Антуан, Этьен и Годфруа, развалясь в изящных креслах моей жены, обсуждали последний законопроект, внесенный в Палату депутатов; Гюбер и Луи неосторожно перебирали и мяли изумительные офорты из коллекции моего отца. В курительной Матиас, чтобы удобнее слушать Леонарда, положил горящую сигару на стол розового дерева. Рюмка кюрасо была опрокинута на ковер. Альбер, неприлично разлегшийся на диване, пачкал грязными башмаками материю. И пыль, вдыхаемая нами, возникала из отвратительной порчи вещей... Меня охватило яростное желание вытолкать всех моих гостей. Мебель, ткани, гравюры, все теряло для меня ценность после первого пятна; запятнанные вещи — это вещи, пораженные болезнью, как бы обреченные смертью. Мне хотелось все охранить, запереть, спрятать для

себя. «Как счастлив Меналк, у которого нет ничего своего,— думал я.— Я страдаю потому, что хочу сохранить. Но что мне, в сущности, за дело до всего этого?» В маленькой, более слабо освещенной гостиной, отделенной стеклянной стеной, Марселина принимала на подушках; она была ужасно бледна и показалась мне такой усталой, что я вдруг испугался и решил про себя, что этот вечер будет последним. Было уже поздно. Я хотел вынуть часы, как вдруг почувствовал в своем жилетном кармане маленькие ножницы Моктира.

— Ну, а он, зачем он украл их, чтобы сразу же испортить и уничтожить?

В этот момент кто-то слегка ударил меня по плечу; я резко обернулся: это был Меналк.

Он был почти один во фраке. Он только что пришел. Он попросил меня представить его моей жене; по собственному желанию я бы этого, конечно, не сделал. Меналк был элегантен, почти красив; громадные, свисающие, уже седые усы перерезали его пиратское лицо; холодное пламя его взгляда выражало скорее мужество и решительность, чем доброту. Как только он очутился перед Марселиной, я понял, что он ей не понравился. После того как они обменялись несколькими банально-любезными словами, я увел его в курительную.

Только что утром я узнал о новом назначении, которое он получил в министерстве колоний; различные газеты по этому поводу, вспоминая его полную приключений карьеру, казалось, забыли низкие оскорбления, которыми они осыпали его еще вчера, и не находили достаточных слов для похвалы ему. Они наперерыв раздували его заслуги перед родиной, перед человечеством, его необычайные открытия в последних экспедициях, будто все это он делал единственно из гуманных побуждений; и они восхваляли его самоотверженность, преданность, храбрость так, как если бы он должен был найти награду в этих похвалах.

Я начал его поздравлять; он перебил меня с первых же слов.

— Как, вы тоже, милый Мишель! Вы же меня раньше не оскорбляли,— сказал он.— Предоставьте газетам эти глупости. Они, кажется, удивляются нынче, что человек столь обесславленных нравов может еще обладать некоторыми достоинствами. Я не признаю для себя оговорок и разграничений, которые они хотели бы установить, и существую лишь как нечто целое. Я желаю только быть

естественным, и в каждом моем поступке удовольствие, которое я от него получаю, мне порукою, что я должен был его совершить.

— Это может далеко завести,— сказал я.

— Я на это и рассчитываю,— возразил Меналк.— Ах, если бы все окружающие нас могли убедиться в этом! Но большая часть из них надеется добиться от себя чего-нибудь хорошего только принуждением; они нравятся самим себе только искалеченными. Каждый старается меньше всего походить на самого себя. Каждый выдумывает себе хозяина, потом подражает ему; он даже не выбирает себе хозяина, которому подражает; он принимает уже указанного хозяина. Однако, я думаю, что можно иное прочесть в человеке. Но не смеют. Не смеют перевернуть страницу. Законы подражания; я называю их законами страха. Человек боится остаться одиноким; и совсем не находит себя. Эта нравственная агорафобия мне отвратительна; это худший вид трусости. Между тем создает всегда одинокий. Но кто здесь хочет создавать? То, что чувствуешь в себе отличного от других, это и есть редкость, которой обладаешь; она-то и придает каждому его собственную ценность, и именно это все стараются уничтожить. Подражают. И думают, что любят жизнь.

Я не прерывал Меналка; он говорил то же самое, что месяц тому назад я говорил Марселине; итак, мне следовало согласиться с ним. Почему, из какого малодушия я перебил его и сказал, подражая Марселине, слово в слово ту фразу, которой она тогда меня прервала:

— Вы же не можете, милый Меналк, требовать от каждого, чтобы он отличался от всех остальных...

Меналк сразу замолчал, странно посмотрел на меня, потом, в то время как Эузевий подходил ко мне, чтобы проститься, он бесцеремонно повернулся ко мне спиной и заговорил с Гектором о незначительных вещах.

Как только я произнес свою фразу, она показалась мне глупой; и я особенно огорчился тем, что Меналк из-за этого мог подумать, что меня задела его слова. Было поздно, гости расходились. Когда гостиная почти уже опустела, Меналк подошел ко мне и сказал:

— Я не могу расстаться с вами так. Без сомнения, я неправильно понял ваши слова. Позвольте мне, по крайней мере, надеяться...

— Нет,— ответил я,— вы правильно их поняли... Но они были лишены смысла; едва я произнес их, как уже стал

страдать от их глупости, особенно потому, что они должны были в ваших глазах поставить меня как раз в ряды тех, кого вы только что обвиняли и кто мне так же отвратителен, как и вам, я утверждаю это. Я ненавижу всех принципиальных людей.

— Это,— ответил Меналк со смехом,— самая ненавистная вещь на свете. От них нельзя ждать никакой искренности, потому что они делают лишь то, что им повелевают делать их принципы, иначе же они смотрят на то, что сделали, как на плохое. От одного подозрения, что вы, может быть, в их лагере, я почувствовал, как слова застыли у меня на губах. Печаль, которая тотчас же охватила меня, открыла мне, насколько сильна моя привязанность к вам; я желал, чтобы это оказалось ошибкой,— не привязанность к вам, а мое суждение.

— Действительно, ваше суждение было неверно.

— Ах! не правда ли! — сказал он с живостью, беря меня за руку.— Послушайте, я должен скоро уезжать, но я хотел бы еще повидать вас. Мое нынешнее путешествие будет более продолжительным и полным случайностей, чем другие; я не знаю, когда вернусь. Я должен уехать через две недели; здесь никто не знает, как близок мой отъезд; я только вам сообщаю это. Я уезжаю рано утром. Ночь перед отъездом всегда для меня полна ужасной тоски. Докажите мне, что вы не принципиальный человек; могу ли я рассчитывать, что вы захотите провести эту последнюю ночь со мной?

— Но мы увидимся еще до этого,— сказал я немного удивленно.

— Нет. Эти две недели я никого не буду принимать; и даже не буду в Париже. Завтра я уезжаю в Будапешт; через шесть дней я должен быть в Риме. Там живут друзья, которых я хочу обнять перед отъездом из Европы. Еще один друг ждет меня в Мадриде.

— Я согласен, я проведу эту ночь бдения с вами.

— И мы будем пить ширазское вино,— сказал Меналк.

Через несколько дней после этого вечера Марселина стала хуже себя чувствовать. Я уже говорил, что она часто недомогаала; но она не любила жаловаться, а так как я приписывал ее недомогание беременности, то оно казалось мне вполне естественным, и я старался не беспокоиться. Старый, довольно глупый или недостаточно образованный врач сначала нас чрезмерно успокоил. Между тем ее новое недомогание, сопровождаемое жаром, заставило меня по-

звать доктора Т., который считался тогда лучшим специалистом в этой области. Он удивился, что я не позвал его раньше, и предписал точный режим, на который ей следовало бы перейти уже некоторое время тому назад. Из-за своего очень неосторожного мужества Марселина до этого дня переутомлялась; теперь до разрешения от бремени, которое ожидалось в конце января, она должна была лежать. Немного взволнованная и более слабая, чем она в этом хотела признаться, Марселина очень покорно подчинилась самым стеснительным предписаниям. Все же она оказала кроткое сопротивление, когда Т. прописал ей хину в таких дозах, от которых, она знала, мог пострадать ее ребенок. В течение трех дней она упорно отказывалась принимать ее; потом ей и этому пришлось подчиниться, так как жар усилился; но сделала она это с большой грустью, словно с мучительным отречением от будущего; какое-то религиозное смирение сломило волю, которая поддерживала до сих пор, так что ее состояние резко ухудшилось в несколько дней.

Я окружил ее еще большими заботами и, как мог, успокоил ее, ссылаясь на мнение самого Т., не находившего ничего опасного в ее болезни; но сила ее тревоги наконец испугала и меня. Ах, как шатко уже тогда покоилось наше счастье на надежде,— надежде на столь неверное будущее! Я, который прежде любил только прошлое, я был опьянен однажды внезапно сладостью мгновения — так думал я,— но будущее отнимает чары у настоящего еще сильнее, чем настоящее отнимает чары у прошлого; а со времени нашей ночи в Сорренто вся моя любовь, вся моя жизнь стремилась к будущему.

Наступил вечер, который я обещал провести с Меналком; и несмотря на то, что мне было неприятно оставлять Марселину на целую зимнюю ночь, я изо всех сил постарался убедить ее в торжественности свидания и в важности моего обещания. Марселине в этот вечер было немного лучше, но все же я беспокоился; сиделка сменила меня у ее постели. Но как только я очутился на улице, мое беспокойство вспыхнуло с новой силой; я отгонял его, боролся, сердясь на самого себя за то, что не могу освободиться от него. Таким образом я мало-помалу дошел до состояния чрезмерного напряжения, до странной восторженности, очень непохожей и все же близкой к мучительному беспокойству, породившему ее, но еще более близкой к счастью. Было поздно, я шел большими шагами; падал густой

снег; я был счастлив, что дышу более свежим воздухом, что борюсь против холода, счастлив в борьбе с ветром, ночью, снегом; я наслаждался своей энергией.

Меналк, услышавший мои шаги, показался на площадке лестницы. Он ждал меня нетерпеливо. Он был бледен и казался взволнованным. Он снял с меня пальто и заставил переменить мокрые сапоги на мягкие персидские туфли. На столике около камина были приготовлены лакомства. Две лампы освещали комнату, но менее ярко, чем камин. Меналк прежде всего справился о здоровье Марселины; для упрощения я сказал ему, что она чувствует себя совсем хорошо.

— Вы скоро ждете ребенка? — спросил он.

— Через месяц.

Меналк наклонился к огню, словно желая скрыть лицо. Он молчал. Он так долго молчал, что под конец мне стало совсем неловко, и я тоже не знал, что мне ему сказать. Я встал, сделал несколько шагов, потом, подойдя к нему, положил ему руку на плечо. Тогда, как бы продолжая свою мысль, он прошептал:

— Нужно сделать выбор. Самое важное — знать, чего хочешь.

— Как! Разве вы не собираетесь уезжать? — спросил я его, не будучи уверен в смысле его слов.

— Кажется.

— Разве вы колеблетесь?

— К чему? Вы, у которого есть жена и ребенок, оставайтесь... Из тысячи форм жизни каждый человек может изведать только одну. Безумие — завидовать счастью другого; им нельзя было бы воспользоваться. Счастье не продается готовым, а только по мерке. Я уезжаю завтра; я знаю: я старался выкроить это счастье по своему росту... сохраняйте мирное счастье домашнего очага.

— Я тоже по своему росту кроил свое счастье! — воскликнул я. — Но я вырос; теперь мое счастье давит меня; иногда я почти задыхаюсь в нем!..

— Ба, вы привыкнете к нему! — сказал Меналк; потом он встал передо мной, пристально посмотрел мне прямо в глаза, и, так как я ничего не мог сказать ему, он улыбнулся несколько печально и продолжал:

— Думаешь, что ты владеешь, а на самом деле тобой владеют. Налейте себе ширазского вина, милый Мишель, вам не часто придется пить его, и возьмите этих розовых сластей, которые персы едят вместе с ним. Сегодня вечером

я хочу пить с вами, хочу забыть, что завтра уезжаю, и разговаривать так, как если бы эта ночь была долгой... Знаете ли вы, что делает нынешнюю поэзию и особенно философию мертвой буквой? То, что обе они оторваны от жизни. Греция,— она идеализировала одновременно и жизнь, так что жизнь артиста сама уже была поэтическим воплощением; жизнь философа — проведение в дело его философии; смешанная с жизнью, вместо того чтобы чуждаться ее, философия питала поэзию, поэзия выражала философию, и убедительность их была поразительна. Теперь красота больше не действительна; действие не заботится о том, чтобы быть прекрасным, а мудрость живет особняком.

— Почему,— сказал я,— вы, воплощающий в жизнь вашу мудрость, не пишете мемуаров? Или, проще,— прибавил я, заметив его улыбку,— воспоминаний о ваших путешествиях?

— Потому что я не хочу вспоминать,— ответил он.— Если бы я делал это, мне бы казалось, что я мешаю будущему свершаться и даю власть прошлому. Из совершенного забвения вчерашнего дня я создаю новизну каждого часа. Никогда мне не достаточно того, чтобы был я счастлив. Я не верю в умершее и смешиваю то, чего больше нет, с тем, чего никогда не было.

Меня наконец раздражили эти слова, слишком предвосхищавшие мою мысль, мне хотелось вернуть его назад, остановить, но я тщетно искал возражений; к тому же я сердился на себя еще больше, чем на Меналка. Поэтому я молчал. Он то ходил взад и вперед, как дикий зверь в клетке, то наклонялся к огню, то молчал подолгу, то вдруг начинал говорить:

— Если бы еще наш ничтожный мозг умел хорошо «бальзамировать» воспоминания! Но они плохо сохраняются — самые нежные распадаются, самые сладострастные гниют; самые прелестные становятся позже самыми опасными. То, в чем раскаиваешься, было сначала восхитительным.

Снова долгое молчание; потом он опять говорил:

— Сожаления, угрызения, раскаяния — все это прошлые радости, которые мы видим со спины. Я не люблю смотреть назад, и я далеко за собой оставляю свое прошлое, как птица покидает свою тень, улетаая. Ах, Мишель, всякая радость ждет нас постоянно, но хочет застать ложе пустым, быть единственной, хочет, чтобы человек шел к ней как вдовец. Ах, Мишель, всякая радость похожа на манну пустыни, которая гниет в один день; она похожа на воду

Амелейского источника, упоминаемого Платоном,— воду, которую нельзя было удержать ни в одном сосуде... Пусть каждое мгновение уносит то, что оно принесло с собой.

Меналк говорил еще долго; я не могу пересказать сейчас всех его слов; между тем многие из них тем крепче врезались мне в память, чем скорее мне их хотелось забыть; не то чтобы они научили меня чему-нибудь очень новому, но они внезапно обнажали мою мысль, мысль, которую я скрывал под столькими покровами, что почти надеялся задушить... Так протекла ночь.

Когда утром, проводив Меналка на поезд, я шел один домой к Марселине, я почувствовал себя полным ужасной печали, ненависти к циничной радости Меналка; мне хотелось, чтобы она была притворной; я старался отрицать ее. Я раздражался на то, что ничего не мог ему ответить; я раздражался на то, что сказал несколько слов, из-за которых он мог усомниться в моем счастье, в моей любви! И я цеплялся за мое сомнительное счастье, за мое «мирное счастье», как говорил Меналк; увы, я не мог отогнать от него беспокойства, но я думал, что это беспокойство будет пищей любви. Я наклонялся к будущему, и в нем я видел, как улыбается мне мой маленький ребенок; для него изменялась и крепла моя мораль... Решительно, я шел твердым шагом.

Увы, когда я вернулся домой в то утро, меня в первой же комнате поразил необычный беспорядок. Сиделка вышла ко мне навстречу и в сдержанных словах сообщила мне, что ночью мою жену охватило ужасное волнение, потом начались боли, хотя она и не думала, что наступил срок родов; почувствовав себя очень плохо, она послала за доктором; он, хотя и поспешно пришел ночью, еще до сих пор не оставлял больную; потом, видя мою бледность, сиделка, мне кажется, захотела меня успокоить и стала говорить, что все уже теперь идет на лад, что... Я бросился в комнату Марселины.

Комната была слабо освещена; сначала я различил только доктора, который движением руки велел мне молчать, потом в темноте еще что-то, чего я не знал. Взволнованно, без шума я подошел к постели. У Марселины были закрыты глаза; она была так ужасающе бледна, что сначала я подумал, что она мертва; но, не открывая глаз, она повернула ко мне голову. В темном углу комнаты незнакомая мне женщина убирала, прятала различные предметы; я увидел блестящие инструменты, вату; я увидел, мне показалось, что я вижу белое в крови... Я почувствовал, что шатаюсь. Я едва

не упал около доктора; он поддержал меня. Я понял; я боялся понять...

— А ребенок? — спросил я с тоской.

Он грустно пожал плечами. Не помня себя, я бросился к постели, рыдая. Ах, будущее!

Земля вдруг ушла у меня из-под ног; передо мной была только пустая дыра, которая меня всего поглотила.

Здесь все смешивается в одно туманное воспоминание. Вначале, однако, Марселина, казалось, довольно быстро поправлялась. Благодаря рождественским каникулам, давшим мне некоторый досуг, я мог проводить около нее почти целые дни. Подле нее я читал, писал или тихонько читал ей вслух. Я никогда не возвращался домой без цветов для нее. Я вспоминал о нежных заботах, которыми она окружала меня во время моей болезни, и я окружил ее такой любовью, что иногда она улыбалась от этого, как счастливая. Мы не обменялись ни одним словом о печальном событии, разбившем наши надежды...

Потом у нее началось воспаление вен; а когда оно пошло на убыль, внезапная закупорка сосудов поставила Марселину между жизнью и смертью. Была ночь. Я вспоминаю себя склонившимся над ней, чувствующим, как вместе с ее сердцем останавливается и мое, затем снова оживает. Сколько ночей бодрствовал я так около нее, — с пристально устремленным взглядом, надеясь силою любви перелить часть моей жизни в нее! И если я больше не думал о счастье, то единственной моей грустной радостью было видеть, как иногда улыбалась Марселина.

Мои лекции возобновились. Откуда брал я силы, чтобы готовить и читать их?.. Мое воспоминание теряется, и я не знаю, как недели сменялись неделями. Все же я хочу рассказать об одном маленьком событии.

Это было утром, вскоре после закупорки сосудов; сижу около Марселины; ей как будто немного лучше, но ей предписана еще полнейшая неподвижность; она не должна шевелить даже руками. Я наклоняюсь, чтобы дать ей пить; когда она напилась, не успел я еще подняться, как она еще более слабым от волнения голосом просит меня открыть ящичек, на который указывает взглядом; он тут, на столе; я открываю его; он полон лент, лоскутков, дешевых безделушек. Что она хочет? Я приношу ящичек к ее постели; одну за другой я вынимаю каждую вещь. Это? Это? Нет, еще не

то; и я чувствую ее легкое беспокойство. «Ах, Марселина, ты хочешь эти четки». Она пытается улыбнуться.

— Ты боишься, что я плохо за тобой ухаживаю?

— О, мой друг,— шепчет она.

А я вспоминаю о нашем разговоре в Бискре, об ее робком упреке, когда я отверг то, что она называла «Божьей помощью». Я продолжал несколько сурово:

— Я ведь выздоровел сам, без помощи.

— Я столько молилась за тебя,— отвечает она.

Она говорит это нежно, печально; я чувствую в ее взгляде тоскливую мольбу... Я беру четки и кладу в ее ослабевшую руку, лежащую на простыне. Меня вознаграждает взгляд, полный слез и любви, но я не могу ответить на него; еще мгновение я медлю, не зная, что делать, чувствуя неловкость; наконец, не выдержав, говорю:

— Прощай.— И выхожу из комнаты с враждебным чувством, так, как будто меня выгнали.

Между тем закупорка сосудов серьезно нарушила деятельность ее организма; ужасный сгусток крови, отброшенный сердцем, утомлял и загружал правое легкое, затрудняя дыхание, делал его тяжелым и свистящим. Я подумал, что она уже не поправится. Болезнь вошла в Марселину, отныне жила в ней, поставила на ней свое клеймо, запятнала ее. Она стала испорченной вещью.

III

Наступило теплое время года. Как только я закончил мой курс, я перевез Марселину в Ла Мориньер, так как доктор утверждал, что непосредственная опасность прошла и для того, чтобы окончательно поправиться, ей нужен только более здоровый воздух. Я тоже очень нуждался в отдыхе. Бессонные ночи, которые я почти без отдыха проводил один около нее, длительное волнение и особенно то страдальческое сочувствие, которое во время закупорки сосудов у Марселины заставило меня ощущать в самом себе ужасные скачки ее сердца,— все это меня так утомило, как если бы я сам перенес болезнь.

Я предпочел бы увезти Марселину в горы; но она выразила живейшее желание снова поехать в Нормандию, уверяя, что никакой другой климат не будет ей так полезен,

и напомнила мне, что мне надо посетить те две фермы, заботу о которых я несколько опрометчиво взвалил на себя. Она убедила меня, чтобы я взял на себя ответственность за них и что я перед самим собой обязан добиться каких-нибудь результатов. Как только мы приехали, она заставила меня бежать на поля... Я не знаю, не было ли в ее дружеской настойчивости большей доли самоутверждения, страха, что я почувствую себя недостаточно свободным благодаря заботам, в которых она еще нуждалась и которые привязали бы меня к ней... Впрочем, Марселина поправлялась; кровь снова прилиwała к ее щекам; и ничто не давало мне такого успокоения, как вид ее теперь гораздо менее грустной улыбки; я мог безбоязненно оставлять ее.

И вот я вернулся к своим фермам. Там начинался сенокос. От воздуха, насыщенного цветением и ароматами, у меня сначала закружилась голова, как от опьяняющего напитка. Мне показалось, что с прошлого года я не дышал или дышал только пылью, — до того проникал в меня этот медовый воздух. С откоса, на котором я присел как пьяный, я видел всю Ла Мориньер; я видел ее голубые крыши, сонные воды прудов; кругом — скошенные поля или еще не покрытые травой; подальше излучину ручья; еще дальше леса, в которых я прошлую осень ездил верхом с Шарлем. Приближался звук песни, которую я уже слышал некоторое время; это возвращались с сенокоса работники с граблями и вилами на плечах. Я почти всех их узнал, и это неприятно напоминало мне, что я здесь не очарованный странник, а хозяин. Я подошел, улыбнулся им, поговорил и подробно расспросил каждого из них о его делах. Еще утром Бокаж осведомил меня о состоянии посевов; впрочем, в своих аккуратных письмах он все время сообщал мне о малейших происшествиях на фермах. Работа на них шла неплохо, гораздо лучше, чем я мог надеяться вначале, судя по словам Бокажа. Однако меня ждали для принятия некоторых важных решений, и в течение нескольких дней я по мере сил всем управлял, без удовольствия, но кое-как наполняя этой видимостью работы мою растерзанную жизнь.

Как только Марселина поправилась настолько, что могла принимать, к нам приехали гостить несколько друзей. Их приветливое и нешумное общество нравилось Марселине, но привело к тому, что я еще охотнее, чем прежде, уходил из дому. Я предпочитал общество работников с фермы; мне казалось, что с ними я могу научиться чему-нибудь лучшему; не то, чтобы я их много расспрашивал, нет, но мне

трудно выразить радость, которую я испытывал подле них; мне казалось, что я чувствую их насквозь,— и тогда как разговоры наших знакомых были мне уже известны раньше, чем они начинали говорить,— один вид этих бедняков приводил меня в непрерывный восторг.

Если вначале они старались подлаживаться ко мне в своих ответах — чего я никогда не делал в своих вопросах,— то вскоре они привыкли свободнее чувствовать себя в моем присутствии. Я все ближе сходил с ними. Не довольствуясь тем, что я видел их работу, я захотел видеть их игры; их тупые слова вовсе не интересовали меня, но я присутствовал при их еде, слушал их шутки, любовно наблюдал за их удовольствиями. Это было тоже своего рода «сочувствие», подобное тому, которое заставляло учащенно биться мое сердце во время сердцебиения у Марселины, это было мгновенное эхо всякого чужого ощущения, но не смутное, а точное, острое. Я чувствовал в своих плечах ломоту косаря; я уставал его усталостью; глоток сидра, который он выпивал, утолял жажду; я чувствовал, как он вливается в его горло; однажды, натачивая косу, один из них глубоко порезал себе большой палец; я почувствовал до костей его боль.

И мне казалось, что таким путем, не одним лишь зрением я воспринимаю окружающую природу, но и неким осязанием, возможности которого, благодаря этому странному «сочувствию», становились неограниченными.

Присутствие Бокажа стесняло меня: когда он приходил, мне надо было разыгрывать хозяина, что мне совсем перестало нравиться. Я еще распоряжался — это было необходимо — и по-своему руководил работниками; но я уже не ездил верхом, боясь слишком возвышаться над ними. Но несмотря на все предосторожности, которые я принимал, чтоб их не стесняло мое присутствие и они не сдерживали себя передо мной, я, как и раньше, был полон дурного любопытства к ним. Существование каждого из них оставалось для меня таинственным. Мне все казалось, что часть их жизни была скрыта. И я каждому из них приписывал тайну, которую упорно желал узнать. Я бродил вокруг них, следил, подсматривал. Я привязывался к самым грубым из них, как будто ждал, что из темноты возникнет и откроется для меня озаряющий свет.

Особенно привлекал меня один из них: он был довольно красив, высокого роста, не туп, но руководил им только инстинкт, он все делал лишь по внезапному порыву и уступал всякому своему мимолетному побуждению. Он был не

местный; его наняли случайно. Он превосходно работал два дня, а на третий напивался до бесчувствия. Раз ночью я тайком пробрался к нему на сеновал; он валялся на сене и спал тяжелым пьяным сном. Сколько времени я смотрел на него!.. В один прекрасный день он так же внезапно исчез, как появился. Мне хотелось узнать, по какой дороге он ушел... В тот же вечер я узнал, что Бокаж прогнал его.

Я разозлился на Бокажа и велел позвать его.

— Кажется, вы прогнали Пьера? — начал я. — Почему вы это сделали?

Немного удивленный моим гневом, который я, однако, сдерживал, как мог, он сказал:

— Вы бы сами, сударь, не захотели держать у себя дрянного пьяницу, который развращает лучших рабочих...

— Я лучше знаю, чем вы, кого я желаю держать.

— Беспутный парень! Никто не знает даже, откуда он явился. У нас это никому не нравилось... Если бы как-нибудь ночью он поджег сеновал, были бы вы довольны, сударь?

— В конце концов, это — мое дело, и ферма, кажется, моя; я желаю управлять ею, как мне хочется. В будущем потрудитесь излагать мне основания, по которым вы увольняете людей, прежде, чем это делать.

Бокаж, как я уже упоминал, знал меня с раннего детства; как ни оскорбителен был мой тон, он слишком любил меня, чтобы очень на него рассердиться. Он даже не особенно всерьез принял все это. Нормандский крестьянин плохо верит тому, причины чего он не понимает, иначе говоря, всему тому, что не основано на выгоде. Бокаж просто счел придурью с моей стороны этот выговор.

Все же мне не хотелось кончить разговор на этом порицании, и, чувствуя, что я был слишком резок, я старался придумать, о чем бы поговорить еще.

— Ваш сын Шарль скоро возвращается? — решился я спросить после секундного молчания.

— Я думал, что вы забыли его, сударь, и потому о нем не спрашивали, — ответил Бокаж еще обиженным тоном.

— Забыть его! Как бы я мог забыть его, Бокаж, после всего того, что мы вместе делали в прошлом году? Напротив, я очень рассчитываю на его помощь на фермах.

— Вы очень добры, сударь. Шарль должен приехать через неделю.

— Я очень этому рад, Бокаж, — и я отпустил его.

Бокаж почти был прав: я, конечно, не забыл Шарля, но

думал о нем очень мало. Как объяснить, что после такой пылкой дружбы я испытывал к нему только печальное равнодушие? Должно быть потому, что мои занятия и вкусы стали иными, чем в прошлом году. Мои две фермы, приходилось в этом признаться, интересовали меня гораздо меньше, чем люди, которых я нанимал для их обслуживания, а общению с ними присутствие Шарля должно было мешать. Он был слишком рассудителен и слишком заставлял себя уважать. И вот, несмотря на живое волнение, которое возбуждало во мне воспоминание о нем, я ожидал его возвращения с тревогой.

Он вернулся. Ах, как я был прав в своей боязни и как правильно поступал Меналк, отрекаясь от воспоминаний! Вместо Шарля явился какой-то нелепый господин в смешном котелке. Боже, как он изменился! Неловко и принужденно, я все же старался не слишком холодно ответить на радость, которую он проявил при встрече со мной, но даже эта радость мне не понравилась; она была неуклюжей и показалась мне неискренней. Я принял его в гостиной, и так как было уже темно, я неясно различал его лицо; но когда принесли лампу, я увидел с отвращением, что он отпустил бакенбарды.

В этот вечер разговор был довольно унылым; затем, зная, что он будет все время проводить на фермах, я в течение недели избегал ездить туда и сидел за своей научной работой или с гостями. Потом, когда я стал снова выходить, я был увлечен совсем новым делом.

Лес наполнился дровосеками. Каждый год продавали часть его; разделенный на двенадцать равных участков, лес каждый год давал вместе с несколькими переросшими деревьями, на рост которых нельзя было уже рассчитывать, двенадцатилетний лесосек, шедший на порубку.

Эта работа производилась зимой; затем, согласно договору, до весны дровосеки должны были очистить участки. Но дядюшка Эртеван, лесоторговец, так нерадиво руководил операцией, что иной раз наступала весна, а лес был завален срубленными деревьями; нежные новые побеги тянулись вдоль сухих стволов, и, когда дровосеки наконец очищали лес, они одновременно губили много молодых почек.

В этом году небрежность Эртевана перешла все границы. Ввиду отсутствия других конкурентов, мне пришлось уступить ему порубку за очень низкую цену; и вот, уверенный в барыше, он не очень-то торопился забирать лес, за который так дешево заплатил. С недели на неделю он

откладывал работу, объясняя это то отсутствием рабочих, то дурной погодой, потом заболела лошадь, потом надо было платить налоги, потом являлась другая работа... всего не перечислить. Так что к середине лета ничего еще не было вывезено.

То, что в прошлом году рассердило бы меня в высшей степени, в этом году оставляло меня довольно спокойным; я не скрывал от себя убытка, наносимого мне Эртеваном; но этот порубленный лес был красив, я с удовольствием гулял в нем, следя, наблюдая за дичью, ловя гадюк, а иногда подолгу сидя на каком-нибудь сваленном стволе, который, казалось, жил еще, пуская из своих ран зеленые побеги.

Потом, вдруг, в начале августа, Эртеван собрался при-слать своих рабочих. Их пришло сразу шесть человек, и они рассчитывали кончить работу в десять дней. Часть продажного леса почти примыкала к Ла Вальтри; чтобы облегчить работу дровосеков, я согласился на то, чтоб им доставляли еду с фермы. Поручено это было разбитному парню по имени Бют, который только что вернулся с военной службы насквозь прогнившим,— я говорю о его духе, так как тело его было замечательно здоровым; это был один из тех моих рабочих, с которыми я охотно беседовал. Таким образом, я мог с ним видаться, не бывая для этого на ферме, потому что именно в это время я стал снова выходить. И в течение нескольких дней я почти не покидал лес, возвращаясь в Ла Мориньер только к завтраку или к обеду, даже часто к нему опаздывая. Я делал вид, что наблюдаю за работою, на самом же деле смотрел только на рабочих.

Иногда к этим шести дровосекам присоединялись двое сыновей Эртевана, один двадцати, другой пятнадцати лет, оба стройные, гибкие, с жесткими чертами лица. У них был какой-то иноземный тип, и впоследствии я действительно узнал, что их мать была испанкой. Я сначала удивился, как она могла попасть в эти места, но выяснилось, что Эртеван, бывший в молодости заядлым бродягой, женился на ней в Испании. По этой причине на него у нас косо смотрели. В первый раз я встретил его младшего сына, я это хорошо помню, в сильный дождь; он был один и сидел на самом верху высокой телеги, нагруженной вязанками хвороста; развалившись на сухих ветвях, он пел или, вернее, завывал какую-то странную песню; ничего подобного ей я никогда еще не слышал в наших краях. Лошади, запряженные в телегу, знали дорогу, и, хотя ими никто не правил, они подвигались вперед. Я не могу передать вам впечатления,

которое произвела на меня эта песня, потому что похожие на нее я слышал только в Африке... Мальчуган казался возбужденным и пьяным; когда я проходил, он даже не взглянул на меня; на следующий день я узнал, что он один из сыновей Эртевана. Именно для того, чтобы снова увидеть его или, по крайней мере, чтобы дождаться его, я подолгу задерживался на порубке. Скоро весь лес был вывезен. Сыновья Эртевана приходили только три раза. Они держались гордо, и я не мог добиться от них ни слова.

Бют, напротив, был словоохотлив; я вел себя так, что он скоро понял, о чем со мною можно говорить; с тех пор он перестал стесняться и начал рассказывать все о жителях округи. Я жадно прислушивался к ее тайнам. Они и превосходили мои ожидания, и не удовлетворяли меня. Это ли бушевало под поверхностью? Или, быть может, это было тоже новым видом лицемерия? Не все ли равно? Я так же искал ответа у Бюта, как раньше искал его в диких готских хрониках. От его рассказов подымалось смутное дыхание бездны; оно уже кружило мне голову, и я тревожно вдыхал его. Прежде всего я узнал от него, что Эртеван живет со своей дочерью. Я боялся, что он перестанет быть откровенным со мной, если я проявлю малейшее осуждение, поэтому я улыбнулся; меня подталкивало любопытство.

— А мать? Она ничего не имеет против?

— Мать! Вот уже двенадцать лет, как она умерла... Он бил ее.

— Сколько их всех?

— Пятеро детей. Вы видели старшего и самого младшего. Есть еще один, которому шестнадцать лет; он хилый и хочет стать священником. Еще есть старшая дочь, и у нее уже двое детей от отца...

Мало-помалу я узнал многое другое, что превращало дом Эртевана в пламенное логово с сильным запахом, вокруг которого невольно кружилось мое воображение, как муха вокруг мяса. Однажды вечером старший сын попытался изнасиловать молодую служанку, а так как она сопротивлялась, вмешался отец и помог сыну, держа ее своими громадными ручищами; в это время второй сын этажом выше продолжал мирно читать свои молитвы, а младший, присутствовавший при этой драме, хохотал. Что касается насилия, я охотно верю, что его было не очень трудно совершить, так как Бют еще рассказывал, что через некоторое время служанка, войдя во вкус, попробовала соблазнить молоденького священника.

— И попытка не удалась? — спросил я.

— Он еще держится, но уже не очень крепко,— ответил Бют.

— Ты говорил, кажется, что есть еще одна дочь?

— Которая отдается всякому встречному и ничего за это не просит. Когда на нее это находит, она готова сама заплатить. Но только спать с ней в доме отца не следует: избыток. Он говорит, что в своей семье можно делать, что хочешь, а остальных это не касается. Пьер, тот парень с фермы, которого вы велели прогнать, не хвастался этим, но раз ночью он вышел оттуда с дырой в голове. С этих пор приходится работать в замковом лесу.

Тогда, ободряя его взглядом, я спросил:

— А ты пробовал?

Он из приличия опустил глаза и ответил игриво:

— Случалось.

Потом, быстро подняв глаза, прибавил:

— Малыш Бокажа тоже.

— Какой малыш Бокажа?

— Альсид, тот, что спит на ферме. Разве вы не знаете его, сударь?

Я был совершенно поражен, узнав, что у Бокажа есть еще второй сын.

— Правда,— продолжал Бют,— в прошлом году он жил еще у дяди. Но все же удивительно, что вы его еще не встречали в лесу, сударь: он почти каждый вечер браконьерствует.

Бют произнес последние слова, понизив голос. Он пристально посмотрел на меня, и я понял, что мне нужно улыбнуться. Тогда Бют, довольный, продолжал:

— Я полагаю, вы прекрасно знаете, сударь, что на ваших землях охотятся. Но ведь лес так велик, что это, право, не приносит убытка...

Я проявил так мало неудовольствия, что очень скоро Бют, осмелевший и, как я теперь думаю, довольный тем, что можно слегка поддеть Бокажа, показал мне в нескольких ямах силки, расставленные Альсидом, а потом и место в изгороди, откуда я мог почти с полной уверенностью его поймать. Наверху косогора был узкий пролом в изгороди, ограничивавшей лес; через него-то Альсид и пробирался обыкновенно часов около шести. Бют и я, весело забавляясь, протянули здесь проволоку и ловко скрыли ее. Потом, заставив меня поклясться, что я не выдам его, Бют ушел, не желая обнаруживать своего участия. Я спрятался с той стороны откоса и стал ждать.

Три вечера прождал я напрасно. Я начинал думать, что Бют подшутил надо мной... Наконец на четвертый вечер, я слышу приближение очень легких шагов. Мое сердце бьется, и я внезапно познаю жуткое наслаждение браконьера... Силок так хорошо расставлен, что Альсид прямо попадает в него. Я вижу, как он сразу же падает, силок захватил его ногу у щиколотки. Он хочет убежать, снова падает, бьется, как дичь. Это скверный мальчишка с зелеными глазами, с волосами, как кудель, с плутоватым выражением лица. Он брыкается ногами; потом, крепко схваченный мною, пытается меня укусить и, так как это ему не удастся, начинает бросать мне в лицо самые необыкновенные ругательства, которые я когда-либо слышал. Под конец я не могу выдержать и хохочу. Тогда он вдруг останавливается, смотрит на меня и говорит тише:

— Скот этакий, вы меня искалечили.

— Покажи.

Он спускает чулок на деревянный башмак и показывает щиколотку, на которой еле заметен слабый, слегка розоватый след.

— Это пустяки.

Он слегка улыбается, потом говорит лукаво:

— Вот я расскажу отцу, что вы расставляете силки.

— Черт возьми! Это один из твоих силов.

— Уж конечно, это не вы его расставили.

— Почему же не я?

— Вы не сумели бы так хорошо это сделать. Покажите мне, как вы это сделали.

— Научи меня...

— В этот вечер я сильно запоздал к обеду и Марселина беспокоилась, так как никто не знал, где я. Я все же не рассказал ей, что расставил шесть силов и что вместо того, чтобы выгнать Альсида, еще дал ему десять су.

На следующий день, когда я отправился вместе с ним осматривать силки, я с восторгом увидел в них двух кроликов; разумеется, я отдал их ему. Охота еще не была разрешена. Что же делал Альсид с этой дичью, которую нельзя было показывать, чтобы не попасться? В этом он не хотел мне признаться. Наконец я узнал, — и все от Бюта, — что Эртеван был скупщиком краденого и что младший сын его был посредником между ним и Альсидом. Не удастся ли мне теперь поближе познакомиться с этой дикой семьей? С какой страстью я браконьерствовал!

Я встречался с Альсидом каждый вечер: мы ловили

кроликов в большом количестве и даже раз поймали кошулю; она была еще полуживой... Я не могу вспомнить без ужаса радость, с которой убивал ее Альсид. Мы спрятали кошулю в верное место, куда должен был прийти за ней ночью сын Эртевана.

С этого времени я менее охотно выходил из дому днем, так как опустошенные леса не так меня привлекали. Я даже старался работать; скучная работа без цели, так как, закончив свой курс, я отказался дальше замещать кафедру, — неблагоприятная работа, от которой отвлекал меня сразу малейший звук песни, малейший шум в деревне; всякий крик становился для меня призывом. Сколько раз я вскакивал, бросая чтение, и бежал к окну для того, чтобы ничего не увидеть! Сколько раз, внезапно выходя... Единственное внимание, на которое я был способен, было внимание моих пяти чувств.

Но когда темнело — а в эту пору темнело уже рано — наступал наш час, красоты которого я до тех пор не знал; и я выходил, как выходят воры. Я приобрел зоркость ночной птицы. Я восхищался более подвижной и более высокой теперь травой, более густыми деревьями. Ночь все отдаляла, отодвигала землю, углубляла всякую поверхность. Самая гладкая дорожка казалась опасной. Чувствовалось всюду пробуждение того, что жило сумеречной жизнью.

— Как думает твой отец, где ты сейчас?

— В коровнике, сторожу скот.

Я знал, что Альсид спит там, совсем близко от голубей и кур, так как его там на ночь запирали, он вылезал через дыру в крыше, его одежда еще сохраняла теплый запах курятника...

Потом внезапно, как только мы забирали дичь, он проваливался в ночь, как в люк, не попрощавшись, не сказав даже — «до завтра». Я знал, что прежде чем вернуться на ферму, где собаки не лаяли на него, он встречался с мальчишкой Эртевана и передавал ему свою добычу. Но где? Вот этого я при всем желании не мог узнать. Угрозы, хитрости ни к чему не приводили; никак не удавалось к Эртевану приблизиться. И я не знаю, в чем больше всего проявлялось мое безумие: в старании доискаться ничтожной тайны, которая все ускользала от меня, или, быть может, в выдумывании этой тайны из любопытства? Но что делал Альсид, расставшись со мной? Шел ли он действительно спать на ферму? Или обманывал фермера? Ах, напрасно я ставил себя в глупое положение, я добился только того, что

еще уменьшил его уважение к себе и не увеличил его доверия; это меня и бесило, и печалило...

Когда он внезапно исчезал, я оставался в унылом одиночестве; возвращался полями по траве, напоенной росой, я был пьян ночью, дикой жизнью, хаосом и приходил промокший, грязный, покрытый листьями. Издали, из спящей Ла Мориньер, указывала мне путь, словно спокойный маяк, лампа в моей рабочей комнате, где я, как думала Марселина, запирался, или свет из комнаты Марселины, которую я убедил, что без ночных прогулок я не могу заснуть. Это была правда: я ненавижу свою постель и предпочел бы сеновал.

В этом году было очень много дичи. Кролики, зайцы, фазаны сменяли друг друга. Видя, что все идет как нельзя лучше, Бют через три дня пожелал присоединиться к нам.

На шестой день нашего браконьерства мы из поставленных двенадцати силков нашли только два; остальные были похищены в течение дня. Бют попросил у меня пять франков, чтобы купить медной проволоки, так как железная никуда не годилась.

На следующий день я имел удовольствие увидеть свои десять силков в руках у Бокажа, и мне пришлось похвалить его за усердие. Самое неприятное было то, что я в прошлом году неосторожно пообещал платить по пятидесяти сантимов за каждый найденный в лесу силок; и вот, мне пришлось дать пять франков Бокажу. Тем временем Бют покупает на пять франков проволоки. Через четыре дня — та же история; снова найдено десять силков. Снова пять франков Бюту; снова пять франков Бокажу. И на мои поздравления по поводу находки он отвечает:

— Это не меня надо поздравлять, а Альсида.

— Вот как!

Слишком сильное удивление может нас выдать; я сдерживаюсь.

— Да,— продолжает Бокаж,— конечно, сударь, я старею и слишком занят фермой. Мальчишка за меня бегаёт по лесам; он знает их; он хитер и лучше моего знает, где надо искать и находить западни.

— Охотно верю этому, Бокаж.

— И вот из десяти су, которые вы платите, сударь, я пять отдаю ему за каждую западню.

— Конечно, он заслужил их. Двадцать силков за пять

дней! Он славно поработал. Теперь держитесь, браконьеры! Ручаюсь, что они сделают передышку.

— О, нет, сударь, чем больше ловишь силков, тем больше их находишь. Дичь в этом году дорога, и за те несколько су, что это им стоит...

Меня так хорошо разыграли, что еще немного — и я подумал бы, что Бокаж тоже в заговоре. И досадна мне в этом деле была не тройная торговля Альсида, а то, что он так обманывал меня. И потом, что они с Бютом делают с деньгами? Я ничего не знаю; я ничего не узнаю об этих существах. Они всегда будут лгать; будут обманывать ради обмана. В этот вечер я дал Бюту не пять, а десять франков: я предупредил его, что это в последний раз, и если силки будут унесены, то тем хуже.

На следующий день приходит Бокаж, он кажется очень смущенным; я сразу же смущаюсь не меньше его. Что такое случилось? И Бокаж сообщает мне, что Бют вернулся только утром на ферму, пьяный вдребезги; едва Бокаж успел раскрыть рот, как Бют разразился грубыми ругательствами, потом бросился на него и ударил...

— И вот, — говорит Бокаж, — я пришел спросить вас, сударь, разрешаете ли вы мне, — (он останавливается секунду на этом слове), — разрешаете ли вы мне его уволить?

— Я подумаю об этом, Бокаж. Я очень огорчен, что он нагрубил вам. Я вижу... Дайте мне подумать одному; и возвращайтесь сюда через два часа.

Бокаж удаляется.

Оставить Бюта — значит тяжело оскорбить Бокажа; выгнать Бюта — значит толкнуть его на месть... Все равно; будь что будет; в сущности, я один виновник всего... И как только Бокаж возвращается, я говорю:

— Вы можете сказать Бюту, что он нам больше не нужен.

После этого я жду. Что делает Бокаж? Что говорит Бют? И только вечером до меня доходят некоторые отзвуки скандала. Бют все рассказал. Я это заключаю из криков, доносящихся из дома Бокажа: бьют маленького Альсида. Бокаж сейчас придет; он приходит; я слышу, как приближаются его старческие шаги, и мое сердце бьется сильнее, чем прежде из-за дичи. Несносная минута! Будут пущены в ход благородные чувства, мне придется все принимать всерьез. Какое объяснение придумать? Как я плохо разыгрываю свою роль! Ах, я хотел бы от нее отказаться... Бокаж входит. Я абсолютно ничего не понимаю в том, что он говорит. Это

глупо: я заставляю повторить все снова. Наконец я уразумел следующее: он думает, что Бют один виноват; он не улавливает невероятной правды. Чтобы я дал десять франков Бюту, — и ради такой цели! — Бокаж слишком нормандец, чтобы допустить это. Конечно, Бют украл десять франков, уверяя, что я дал их ему, он прибавляет к воровству еще ложь; уловка, чтобы скрыть воровство; Бокажа не проведешь такими сказками... О браконьерстве нет уж больше речи. А Альсида Бокаж бил за то, что он не ночевал дома.

Ну, я спасен! В отношении Бокажа, по крайней мере, благополучно. Что за болван этот Бют! Разумеется, в этот вечер мне не очень хотелось браконьерствовать.

Я думал, что уже все кончено, но через час является Шарль. Вид у него серьезный; уже издали он кажется еще скучнее своего отца. Подумать, что в прошлом году...

— Ну, Шарль, что-то давно тебя не видно!

— Если бы вы хотели видеть меня, сударь, вам стоило только прийти на ферму. У меня, конечно, нет дел в лесах по ночам.

— А! Твой отец тебе рассказал...

— Отец мне ничего не рассказал, потому что он ничего не знает. Зачем ему знать в его возрасте, что хозяин издевается над ним?

— Осторожнее, Шарль! Ты слишком далеко заходишь...

— Ну, конечно, вы хозяин! Можете делать, что хотите!

— Шарль, ты прекрасно знаешь, что я ни над кем не издевался, и если я делаю то, что мне нравится, то только потому, что это мне одному вредит.

Он слегка пожимает плечами.

— Как вы хотите, чтобы охраняли ваши интересы, если вы сами нарушаете их? Вы не можете одновременно защищать сторожа и браконьера.

— Почему?

— Потому, что тогда... ах, послушайте, сударь, все это хитро для меня, и просто мне не нравится, что мой хозяин в одной шайке с теми, кого ловят, и портит с ними работу, которая делается для него.

Шарль говорит последние слова уже более уверенным голосом. Он держит себя почти благородно. Я заметил, что он сбрил бакенбарды. К тому же то, что он говорит, довольно справедливо. И так как я молчу (что мне ему сказать?), он продолжает:

— В прошлом году, сударь, вы меня учили, что

у человека есть обязанности по отношению к тому, чем он владеет, но теперь вы, кажется, это забыли. Надо относиться серьезно к своим обязанностям и отказаться от игры с ними... или тогда не надо ничем владеть.

Молчание.

— Это все, что ты хотел сказать мне?

— На сегодня все, сударь; но в другой раз, если вы к этому меня принудите, может быть, я приду сказать вам, сударь, что мой отец и я уходим из Ла Мориньер.

И он удалился, низко поклонившись мне. Я едва успеваю сообразить и кричу:

— Шарль!

Он прав, черт возьми... О! О! Если это называется — владеть!.. «Шарль!» И я бегу за ним; я нагоняю его в темноте и быстро, как бы для того, чтобы закрепить свое внезапное решение, говорю:

— Ты можешь сообщить своему отцу, что я продаю Ла Мориньер.

Шарль важно кланяется и удаляется, не говоря ни слова. Все это нелепо! Нелепо!

Марселина в этот день не может выйти к обеду и посылает мне сказать, что она нездорова. Я быстро в волнении подымаюсь к ней в комнату. Она сразу меня успокаивает. Она надеется, «что это только насморк». Она простудилась.

— Что же, ты не могла что-нибудь надеть?

— Я сразу же надела шаль, как только почувствовала озноб.

— Надо было надеть ее до озноба, а не после.

Она смотрит на меня, пробует улыбнуться... Ах, быть может, так плохо начавшийся день предрасполагает меня к тоске. Если бы она мне громко сказала: «Разве ты так дорожишь моей жизнью?» — я бы не отнесся к этому более внимательно. Решительно, все вокруг меня разваливается; все, за что берется моя рука, не удерживается в ней... Я бросаюсь к Марселине и покрываю поцелуями ее бледный лоб... Она уже больше не сдерживается и рыдает у меня на плече...

— О! Марселина! Марселина! Уедем отсюда. В другом месте я буду тебя любить так, как любил в Сорренто... Ты подумала, что я изменился, правда? Но в другом месте ты почувствуешь, что ничто не изменило нашу любовь...

Я еще не исцелил ее печаль, но как она уже цепляется за надежду!..

Была еще ранняя осень, но становилось сыро и холодно, и последние розы гнили, не расцветая. Наши гости давно уехали от нас. Марселина чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы позаботиться об уборке дома на зиму, и пять дней спустя мы уехали.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

И вот я попробовал еще раз удержать руками свою любовь. Но к чему мне было спокойное счастье? То счастье, которое мне давала Марселина и которое воплощалось для меня в ней, было похоже на отдых не уставшего человека. Но так как я чувствовал, что она утомилась и нуждается в моей любви, я окутывал ее любовью и притворялся, что делаю это потому, что сам в этом нуждаюсь.

Я нестерпимо чувствовал ее страдание; для того чтобы излечить ее от него, я любил ее. Ах, страстные заботы! Нежные бессонные ночи! Как другие возбуждают и увеличивают свою веру, усиливая ее внешние проявления, так я развивал свою любовь. И Марселина тотчас же, я уверяю вас, начинала надеяться. Она была еще так молода, а я, как она думала, полн надежд. Мы бежали из Парижа, как будто уезжали в новое свадебное путешествие. Но с первого дня путешествия она стала себя гораздо хуже чувствовать; уже в Невшателе нам пришлось остановиться.

Как я любил это озеро с зелеными берегами, в котором нет ничего альпийского и воды которого, словно воды болота, долго еще тянутся по земле, просачиваясь между камышами. Я нашел для Марселины в очень приличной гостинице комнату с видом на озеро; я не оставлял ее весь день.

Она настолько плохо себя чувствовала, что на следующий день я пригласил доктора из Лозанны. Он совершенно напрасно расспрашивал меня, не знаю ли я, были ли в семье моей жены другие случаи туберкулеза. Я ответил, что были; между тем я знал, что их не было; но мне было неприятно говорить, что я сам был приговорен к смерти от туберкулеза и что Марселина никогда не болела до того, как стала ухаживать за мной. Я все приписывал закупорке вен, хотя врач видел в этом только случайный повод и утверждал, что болезнь началась гораздо раньше. Он настойчиво рекомендовал свежий воздух высоких Альп, где Марселина,

по его уверениям, должна выздороветь; и так как это совпадало с моим желанием провести всю зиму в Энгадине, то, как только Марселина достаточно оправилась, чтобы перенести путешествие, мы уехали.

Я вспоминаю о событиях, о каждом дорожном ощущении. Погода была холодная и ясная; мы взяли с собой самые теплые меха... В Куаре мы почти совсем не могли уснуть из-за непрерывного шума в гостинице. Я бы легко перенес бессонную ночь, так как она бы не утомила меня; но Марселина... И меня не так раздражал шум, как то, что из-за него она не могла заснуть. Ей был так необходим сон! На следующий день мы уехали до восхода солнца; мы заказали купе в Куарском дилижансе; благодаря хорошо устроенным почтовым станциям можно добраться до Сан-Морица в один день.

Тифенкастен, Жюлье, Самаден... я помню все, час за часом... совсем иное качество воздуха и его жесткость; звук колокольчиков у лошадей; свой голод, остановку в полдень у гостиницы; сырое яйцо, которое я распустил в супе, полубелый хлеб и холодок кислого вина.— Эта грубая пища была не для Марселины, она почти ничего не могла съесть, кроме нескольких сухих бисквитов, которые я, к счастью, захватил в дорогу.— Я вспоминаю закат дня, быстрый рост теней на лесном склоне; потом еще остановку. Воздух становится все свежее и резче. Когда дилижанс останавливается, погружаешься по самое сердце в ночь и прозрачную тишину... прозрачную. Нет другого слова. Малейший звук в этой странной прозрачности становится совершенным и полнозвучным. Ночью едем дальше. Марселина кашляет... О, неужели она не перестанет кашлять! Я вспоминаю Сусский дилижанс. Мне кажется, что я не так скверно кашлял; она делает слишком большие усилия... Как она слаба и как изменилась; в тени, как теперь, я едва бы ее узнал. Как ее черты вытянулись! Разве прежде были так видны две черные дыры ее ноздрей? — О, как ужасно она кашляет! Вот ясный результат ее ухода за мной! Как отвратительна любовь; в ней прячется всякая зараза; следовало бы любить только сильных.— О, она совсем изнемогает! Скоро ли мы приедем?.. Что она делает?.. Берет платок; подносит его к губам; отворачивается... Ужас! Неужели она тоже будет харкать кровью? Я резко вырываю у нее платок... При слабом свете фонаря я смотрю... Ничего. Но я слишком выдал свое волнение; Марселина грустно пытается улыбнуться и шепчет:

— Нет; еще нет.

Наконец мы приезжаем. Давно пора; она едва держится на ногах. Комнаты, которые нам приготовили, мне не нравятся; мы переночуем в них, а завтра перейдем в другие. Ничто мне не кажется ни достаточно дорогим, ни слишком хорошим. А так как зимний сезон еще не начался, громадная гостиница почти пуста; я могу выбирать. Я беру две обширные, светлые и просто обставленные спальни, к ним примыкает большая гостиная с широкой стеклянной дверью, в которую видны уродливое голубое озеро и какая-то назойливая гора со слишком лесистыми или слишком голыми склонами. Здесь мы будем есть. Комнаты стоят невероятно дорого, но не все ли равно? Правда, я уже больше не читаю лекций, но я продаю Ла Мориньер. А там посмотрим... Впрочем, к чему мне деньги? К чему мне все это?.. Я теперь стал сильным. Я думаю, что полная перемена в материальном положении должна так же воспитывать, как полная перемена в состоянии здоровья... Вот Марселина — ей нужна роскошь; она слабая... Ах, для нее я хотел бы столько, столько тратить... Во мне одновременно просыпалось отвращение к этой роскоши и желание ее. Моя чувствительность купалась, плавала в роскоши, а потом мне хотелось, чтобы она бежала от нее как кочевница.

Между тем Марселина поправлялась, и мои постоянные заботы одерживали победу. Так как ей было трудно есть, я заказывал, чтобы возбуждать ее аппетит, изысканные, соблазнительные блюда; мы пили самые лучшие вина. Я убеждал себя, что они ей очень нравились, настолько меня забавляли эти чужеземные вина, которые мы пробовали каждый день. Это были терпкие рейнские вина; почти сиропобразные токайские, которые опьяняли меня крепким хмелем. Я вспоминаю о странном вине Барба-Гриска; нашлась всего лишь одна его бутылка, и я так и не знаю, оказался ли бы в других бутылках его неожиданный вкус.

Каждый день мы катались в коляске, потом, когда выпал снег, в санях, закутанные по горло в меха. Я возвращался с горящим лицом, очень голодный, потом меня клонило ко сну; однако я не отказывался от работы и каждый день находил час для размышлений о том, что мне надо сказать. Не было уж больше речи об истории; уже давно мои исторические занятия интересовали меня только, как способ психологического исследования. Я вам рассказывал, как я снова увлекся прошлым, когда мне показалось, что я вижу в нем смутные сходства с сегодняшним; я сообразил, что,

допрашивая мертвых, я добуду у них тайные указания, как жить... Теперь сам юный Аталарх мог бы выйти из могилы для беседы со мной, — я не стал бы больше слушать прошлого. И как древний ответ мог бы разрешить мой новый вопрос? Что еще может человек? Вот что мне было важно узнать. То, что до сих пор сказал человек, — все ли это, что он мог сказать? Все ли он о себе знает? Остается ли ему только повторяться? И каждый день во мне росло смутное ощущение непочатых богатств, до сих пор скрытых, спрятанных, задушенных культурой, приличием, нравственностью.

И тогда мне казалось, что я родился для каких-то неизвестных открытий; и я необычайно увлекался моими темными изысканиями, для которых — я знал — искатель должен отречься и оттолкнуть от себя культуру, приличие, нравственность.

Я доходил до того, что мне в других людях нравились только самые дикие чувства, и сожалел, когда что-нибудь стесняло их проявление. Еще немного — и я стал бы видеть в честности лишь запрет, условность и страх. Мне хотелось бы любить ее, как великую трудность; наши нравы придали ей всеобщую и банальную форму контракта. В Швейцарии она составляет часть комфорта. Я понимал, что Марселина в ней нуждается, но я не скрывал от нее нового направления моих мыслей. Уже в Невшателе, когда она восхваляла эту честность, которая просачивается там из всех стен и написана на всех лицах, я отвечал ей:

— Мне вполне довольно моей собственной честности; мне отвратительны честные люди. Если мне нечего бояться их, то и нечему учиться у них. Впрочем, им нечего сказать... Честный швейцарский народ! Ему ничего не стоит быть здоровым... Народ без преступлений, без истории, без литературы, без искусства... крепкий розовый куст без терний и без цветов...

То, что этот честный народ мне наскучит, я это уже знал наперед, но через два месяца эта скука стала чем-то вроде бешенства, и я только и думал об отъезде.

Была середина января. Марселине было лучше, гораздо лучше, постоянный маленький жар, медленно иссушавший ее, прекратился; более свежий румянец заиграл на ее щеках; она снова стала охотно, хотя и не много, ходить и не была, как прежде, вечно усталой. Мне не стоило очень большого труда убедить ее, что она уже извлекла всю возможную пользу из этого тонического воздуха и ничего не может быть

для нее теперь полезнее Италии, где теплая весна довершит ее выздоровление; особенно же мне не стоило большого труда убедить в этом себя, — до того устал я от этих высот.

А между тем теперь, когда в моей праздности ненавистное прошлое крепнет, — именно эти воспоминания преследуют меня больше всего. Быстрая езда в санях; веселое хлестанье сухого ветра; комья летящего снега, аппетит; неверные шаги в тумане, причудливая звонкость голосов, внезапное появление предметов; чтение в запертой теплой гостиной, пейзаж сквозь стекло, застылый пейзаж; трагическое ожидание снега; исчезновение внешнего мира, сладострастно притаившиеся мысли... О, еще бы побегать на коньках с ней, там, совсем вдвоем, на чистом маленьком затерянном озере, окруженном лиственницами; потом вернуться с ней домой, вечером...

Этот спуск в Италию был для меня головокружителен, как падение. Стояла прекрасная погода. По мере того как мы погружались в более теплый и плотный воздух, прямые деревья горных вершин, лиственницы и правильные ели уступали место богатой и мягкой растительности. Мне казалось, что я покидаю абстракцию для жизни, и, хотя стояла зима, мне всюду мерещились ароматы. Ах, как давно мы улыбались лишь одним теням! Меня опьяняло мое воздержание, и я был пьян от жажды, как иные пьяны от вина. Запас, накопленный моей жизнью, был изумителен; на пороге этой ласковой и манящей земли просыпалась вся моя жадность. Меня наполнял громадный запас любви; иногда из глубины плоти он поднимался к моей голове и рождал бесстыдные мысли.

Эта иллюзия весны длилась недолго. Резкая перемена высоты могла обмануть меня на мгновение, но, как только мы покинули защищенные берега озер Белладжио, Комо, где мы задержались несколько дней, — мы увидели зиму и дождь. Холод, который мы переносили в Энгадине, сухой и легкий в горах, здесь стал влажным и унылым, и мы начали страдать от него. Марселина снова начала кашлять. Тогда, чтобы избежать холода, мы спустились еще южнее; мы оставили Милан для Флоренции, Флоренцию для Рима, Рим ради Неаполя, самого мрачного города в зимний дождь, какой я только знаю. Я томился несказанной скукой. Мы вернулись в Рим, надеясь за отсутствием тепла найти там хоть подобие комфорта. На Монте Пинчио мы наняли квартиру, чересчур просторную, но с замечательным видом. Уже во Флоренции, недовольные гостиницами, мы сняли на

три месяца прелестную виллу на Виаде деи Коли. Другой пожелал бы поселиться там всегда... Мы не остались там и двадцати дней. При каждой новой остановке я, однако, старался устроить все так, как будто бы мы не должны были больше уезжать. Более сильный демон толкал меня... Прибавьте к этому, что мы возили с собой не меньше шести сундуков. Один был наполнен только книгами, и за все наше путешествие я не открыл его ни разу.

Я не позволял, чтобы Марселина беспокоилась о наших тратах или старалась их уменьшить. Я, конечно, знал, что они чрезмерны и что это не может долго продолжаться. Я перестал рассчитывать на деньги из Ла Мориньер; она совсем перестала приносить доход, и Бокаж писал, что все не находит покупателя. Но всякие размышления о будущем меня приводили только еще к большим тратам. Ах, к чему мне столько денег, когда я останусь один!.. думал я и наблюдал с тоской и ожиданием, как идет на убыль еще быстрее, чем мое состояние, хрупкая жизнь Марселины.

Хотя она вполне полагалась на мои заботы, все эти быстрые переезды ее утомляли; но еще больше утомляя ее,— сейчас я могу себе в этом признаться,— страх перед моею мыслью.

— Я отлично вижу,— однажды сказала она мне,— я хорошо понимаю вашу теорию, потому что теперь это стало теорией. Она, может быть, прекрасна,— потом прибавила тихо и грустно: — но она унижает слабых.

— Это то, что нужно,— ответил я сразу же невольно.

Тогда я почувствовал, как от ужаса перед моими жестокими словами это нежное существо сжалось и вздрогнуло... Ах, быть может, вы подумаете, что я не любил Марселину? Я клянусь, что я ее страстно любил. Никогда еще не была она и не казалась мне такой прекрасной. Болезнь делала ее черты более тонкими и как бы экстратичными. Я ее почти не оставлял, окружал непрестанными заботами, защищал, охранял каждое мгновение ее дней и ночей. Как бы чуток ни был ее сон, я старался, чтобы мой был еще более чутким; я сторожил мгновение, когда она засыпала, и просыпался первым. Когда изредка, оставляя ее на час, я уходил один погулять за город или по улице, какая-то любовная забота и страх перед ее тоской заставляли меня быстро возвращаться; иногда я призывал на помощь свою волю, сопротивлялся этой власти, говорил себе: «Так это все, на что ты способен, лже великий человек!» и заставлял себя затягивать свое отсутствие; но после этого я возвращался, нагруженный

цветами, ранними садовыми или оранжерейными... Да, я утверждаю, я нежно любил ее. Но, как бы это выразить... по мере того, как я все меньше уважал себя, я все больше почитал ее, и кто может счесть, сколько страстей и сколько враждебных мыслей могут одновременно ужиться в человеке?..

Плохая погода уже давно прекратилась; весна надвигалась, и вдруг зацвел миндаль. Это было первое марта. Утром я выхожу на Испанскую площадь. Крестьяне опустошили все деревенские сады, и белые ветви миндального цвета наполняют корзины торговцев. Я прихожу в такой восторг, что покупаю несколько кустов. Трое крестьян относят их ко мне. Я вхожу со всей этой весной. Ветви цепляются за двери, лепестки падают на ковер. Я ставлю цветы в вазу, во все вазы; я покрываю этими белыми ветвями всю гостиную, где Марселины в эту минуту нет. Я наперед радуюсь ее радости... Я слышу ее шаги. Вот она. Она открывает дверь. Что с ней?.. Она шатается... Она рыдает...

— Что с тобой, моя бедная Марселина?

Я ласкаю ее, покрываю ее нежными поцелуями. Тогда, как бы прося прощения за свои слезы, она говорит:

— Мне тяжело от запаха этих цветов...

А это был тонкий, едва заметный медовый запах... Не говоря ни слова, я хватаю эти невинные, хрупкие ветви, ломаю их, выношу, бросаю, в ужасе, с налитыми кровью глазами. Ах, если она не может вынести даже такую весну!..

Я часто думаю об этих слезах, и мне кажется теперь, что, чувствуя уже себя обреченной, она оплакивала другие невозможные весны. Я также думаю, что есть сильные радости для сильных и слабые для слабых, которые неспособны вынести сильных радостей. Ее опьяняло самое маленькое удовольствие; немного больше блеска — и она уже не могла его перенести.

То, что она называла счастьем, я называл отдыхом, а я не хотел и не мог отдыхать.

Четыре дня спустя мы уехали в Сорренто. Я был разочарован, не найдя и там тепла. Казалось, что все дрожало. Непрестанный ветер очень утомлял Марселину. Мы решили остановиться в той же гостинице, как в прошлую нашу поездку; мы заняли ту же комнату... Мы с удивлением видели под тусклым небом всю лишенную чар декорацию и унылый сад, который нам казался таким прелестным, когда в нем бродила наша любовь.

Мы решили добраться морем до Палермо, так как нам

хвалили его климат; мы вернулись в Неаполь, откуда должны были отплыть; там мы еще немного задержались. Но в Неаполе, по крайней мере, я не скучал. Неаполь живой город, где прошлое не владеет нами.

Я проводил почти целые дни с Марселиной. По вечерам она, утомившись, рано ложилась; я сторожил, когда она заснет, и иногда сам ложился, потом, когда по ее ровному дыханию я видел, что она заснула, я вставал без шума и одевался в темноте; я убежал на улицу, как вор.

На улицу! О, мне хотелось кричать от восторга! Что мне делать! Не знаю. Небо, днем пасмурное, теперь было свободно от туч, блестела почти полная луна. Я шел наугад, без цели, без желанья, без принуждения. Я на все смотрел новыми глазами; улавливал каждый звук внимательным ухом; вдыхал ночную сырость; прикасался рукой к вещам; бродил.

В последний наш вечер в Неаполе я затянул распутное бродяжничанье. Вернувшись, я застал Марселину в слезах. Она сказала мне, что испугалась, внезапно проснувшись и почувствовав, что меня нет около нее. Я успокоил ее, как мог, объяснил ей свою отлучку и сам дал себе слово больше не оставлять ее. Но в первую же ночь в Палермо я не выдержал; я вышел... Цвели первые апельсиновые деревья; малейшее движение воздуха приносило их запах...

Мы пробыли в Палермо только пять дней, потом, сделав большой крюк, вернулись в Таормину, которую нам обоим снова хотелось увидеть. Я, кажется, говорил вам, что эта деревня лежит довольно высоко в горах, а станция находится на самом берегу моря. В том же экипаже, в котором мы приехали в гостиницу, я должен был сразу ехать опять на вокзал за нашими сундуками. Я ехал стоя, чтобы разговаривать с кучером. Это был молоденький сицилиец из Катаны, красивый, как стих Феокрита, яркий, ароматный, сладостный, как плод.

— Com'è bella la Signora! ¹— сказал он очаровательным голосом, глядя на удаляющуюся Марселину.

— Anche tu sei bello, ragazzo ²,— ответил я; и, так как я стоял наклонившись к нему, я не мог удержаться и почти тотчас же, притянув его к себе, поцеловал. Он не противился и только засмеялся.

— I Francesi sono tutti amanti ³,— сказал он.

¹ Как красива синьора (*итал.*).

² Ты тоже красив, мальчик (*итал.*).

³ Все французы — любовники (*итал.*).

— *Ma non tutti gli Italiani amati*,¹ — продолжал я, тоже смеясь... В следующие за этим дни я его искал, но мне не удалось его больше встретить.

Мы уехали из Таормины в Сиракузы. Мы шаг за шагом повторяли наше первое путешествие, восходили к началу нашей любви. И как тогда, с недели на неделю, во время нашего первого путешествия, я приближался к выздоровлению, так же точно теперь, с недели на неделю, по мере того, как мы подвигались на юг, здоровье Марселины все ухудшалось.

В силу какого заблуждения, какого упрямого ослепления, какого добровольного безумия я убеждал себя и особенно старался убедить ее, что ей нужно еще больше света и жары, вспоминая о моем исцелении в Бискре!.. Тем временем в воздухе становилось теплее; Палермский залив ласков, и Марселине там было хорошо. Там, быть может, она бы... Но разве я был господином своей воли, своих решений и желаний?

В Сиракузах, из-за бурной погоды и шаткости расписания пароходных рейсов, нам пришлось задержаться на неделю. Все мгновения, которые я не посвящал Марселине, я проводил в старом порту. Маленький Сиракузский порт! Запах кислого вина, грязные улочки, вонючий трактир, в котором валяются грузчики, бродяги, пьяные матросы... Компания самых последних людей была для меня сладостна. К чему мне было понимать их язык, когда я всем телом наслаждался! Грубость страсти еще принимала в моих глазах лицемерный облик здоровья, силы. И я напрасно убеждал себя в том, что их жалкая жизнь не может представлять для них такой прелести, как для меня... Ах, мне хотелось валяться с ними вместе под столом и просыпаться от унылой утренней дрожи. После этих людей во мне пробуждалось и росло все увеличивающееся отвращение к роскоши, комфорту, ко всему, чем я прежде себя окружал, ко всей той самозащите, которую вернувшееся ко мне здоровье делало теперь излишней, ко всем мерам предосторожности, принимаемым для хранения тела от опасных прикосновений жизни. Я заглядывал вперед в их жизнь. Мне хотелось проследить за ними дальше, проникнуть в их опьянение... Потом вдруг я вспомнил Марселину. Что она делает в эту минуту? Страдает, плачет, быть может... Я торопливо вставал; бежал; возвращался в гостиницу, и мне казалось, что на дверях написано: «Беднякам вход воспрещается».

¹ Но не все итальянцы достойны любви (*итал.*).

Марселина встречала меня всегда ровно; без единого слова упрека или сомнения, несмотря на все стараясь улыбнуться. Мы ели отдельно; я заказывал для нее все, что было лучшего в этой неважной гостинице, и во время еды думал: «Им достаточно куска хлеба с сыром, пучка укропа, и мне этого было бы достаточно, как им. Быть может, здесь, совсем близко, есть голодные, у которых нет даже этой жалкой пищи... А на моем столе ее столько, что можно от нее на три дня опьянеть!» Мне хотелось сломать стены и впустить гостей... так как ощущение чужого голода становилось для меня ужасным страданием. И я шел в старый порт и разбрасывал направо и налево мелкие деньги, которыми были набиты мои карманы.

Человеческая бедность -- раба; ради пищи она берется за труд без радости; я говорил себе: «Всякая работа без радости — уныла», — и я оплачивал отдых нескольких людей.

Я говорил:

— Не работай, тебе скучно от этого. — Я мечтал об этом досуге для всех, без которого не может расцвести никакая новизна, никакой порок, никакое искусство.

Марселина понимала мои мысли; когда я возвращался из старого порта, я не скрывал от нее, каких я там встречал жалких людей. Все заключено в человеке. Марселина смутно видела то, что я стремился открыть; и когда я упрекал ее в том, что она слишком охотно верит в добродетель, выкроенную ее мыслью по мерке каждого человека, она отвечала:

— А вы, вы довольны только тогда, когда заставляете их обнаружить какой-нибудь порок. Разве вы не понимаете, что наш взгляд развивает, преувеличивает в каждом человеке то, на что он устремлен? И мы заставляем его становиться тем, чем он нам кажется.

Мне хотелось, чтобы она была права, но я должен был признаться себе, что в каждом существе худший инстинкт казался мне самым искренним. При этом, что я называл искренностью?

Мы наконец уехали из Сиракуз. Воспоминание о юге и желании вернуться туда преследовали меня. На море Марселине стало лучше... Я снова вижу перед собой цвет моря. Оно так спокойно, что след корабля долго остается на нем. Я слышу звук падающей воды, текучий шум, мытье палубы, и на досках шлепанье босых ног матросов. Я снова вижу совсем белую Мальту; приближение к Тунису. Как я изменился!

Жарко. Хорошая погода. Все великолепно. Ах, мне хотелось бы, чтоб сейчас из каждой моей фразы излилась целая жатва наслаждения! Напрасно пытался бы я сей час навязать моему рассказу больше порядка, чем его было в моей жизни. Достаточно долго я старался показать вам, как я сделался тем, что я есть. Ах, освободить свой ум от этой нестерпимой логики!.. Я чувствую в себе только одно благородство.

Тунис. Свет более обильный, чем яркий. Даже тень напоена им. Самый воздух кажется светящимся потоком, в котором все купается, в который погружаешься, плаваешь в нем. Эта сладостная земля удовлетворяет, но не успокаивает желание, и всякое удовлетворение лишь возбуждает его.

Земля, где отдыхаешь от произведений искусства. Я презираю тех, кто видит красоту лишь написанную и истолкованную. В арабском народе изумительно то, что свое искусство он претворяет в жизнь, — живет, поет и расточает его изо дня в день; он его не закрепляет, не погребает ни в каком произведении. В этом — причина и следствие того, что там нет великих художников... Я всегда считал великими художниками тех, которые дерзают дать право красоты таким естественным вещам, что люди, увидев их, принуждены сказать: «Как я до сих пор не понимал, что это тоже прекрасно...»

В Керуане, где я еще не бывал и куда я отправился без Марселины, ночь была прекрасна. В тот момент, когда я собирался вернуться ночевать в гостиницу, я вспомнил о группе арабов под открытым небом на циновках перед маленьким кафе. Я пошел спать рядом с ними. Я вернулся покрытый паразитами.

Влажная приморская жара очень расслабляла Марселину, и я убедил ее в необходимости как можно скорее добраться до Бискры. Это было начало апреля.

Переезд — очень долгий. В первый день мы в один прием добрались до Константины, на следующий день Марселина почувствовала себя очень утомленной, и мы добрались только до Эль-Кангара. Там мы искали и нашли под вечер тень прелестнее и свежее, чем лунный свет ночью. Она была как неистощимый напиток; она струилась к нам. А с откоса, где мы сидели, была видна вся пламенная равнина. Эту ночь Марселина не могла уснуть; необычность тишины и малейшие шорохи беспокоили ее. Я боялся, нет ли у нее жара. Я слышал, как она ворочалась в постели. На

другой день я заметил, что она стала еще бледнее. Мы уехали.

Бискра. Я подхожу к самому важному, о чем хочу рассказать... Вот я в городском саду; вижу скамейки... узнаю ту, на которой сидел в первые дни моего выздоровления. Что я читал здесь!.. Гомера. С тех пор я его не раскрывал. Вот дерево, кору которого я трогал. Какой слабый я был тогда!.. Ах, вот и дети!.. Нет, я ни одного из них не узнаю. Как Марселина печальна! Она тоже изменилась, как я. Почему она кашляет в такую прекрасную погоду? Вот гостиница. Вот наши комнаты, террасы. О чем думает Марселина? Она не сказала мне ни одного слова. Как только она добирается до своей комнаты, она ложится; она устала и говорит, что хочет немного поспать. Я выхожу.

Я не узнаю детей, но они узнают меня. Проведав о моем приезде, они сбегаются. Возможно ли, что это они? Какое разочарование! Что случилось? Они страшно выросли. В два года с лишним — это невозможно... Какая усталость, какие пороки, какая лень так обезобразили эти лица, на которых сияла юность? Какая черная работа так согнула эти прекрасные тела? Это — полное крушение... Я расспрашиваю. Бахир служит на побегушках в каком-то кафе; Ашур с трудом зарабатывает гроши, дробя камни для мостовой; Хамматар потерял глаз. Кто мог бы подумать — Садек остепенился! Он помогает старшему брату продавать хлеб на рынке: он заметно поглупел. Абжиб служит мясником в лавке своего отца; он жиреет; он уродлив; он богат; он не желает больше разговаривать со своими бедными товарищами... Как глупеют люди от почтенной жизни! Неужели я найду в них то самое, что ненавидел в нас? Бубакер? Он женат. Ему еще нет пятнадцати лет. Это смешно. Однако, нет, я видел его сегодня вечером. Он объясняет: его женитьба только для видимости. Он, кажется, отпетый распутник! Он пьет, теряет стройность форм... Это все, что осталось? Вот что делает с ними жизнь! По своей нестерпимой печали я замечаю, что ехал сюда в значительной степени для того, чтобы снова увидеть их. Меналк прав: воспоминание злосчастная выдумка.

А Моктир? О, этот только что вышел из тюрьмы. Он прячется. Другие с ним больше не водятся. Мне хотелось бы его увидеть. Он был самый красивый из них; разочаруюсь ли я в нем так же, как в других? Его разыскивают. Приводят ко мне. Нет, этот не пал. Даже в моем воспоминании он не

был так великолепен. Его сила и красота совершенны...
Увидев меня, он улыбается.

— А что ты делал до тюрьмы?

— Ничего.

— Ты крал?

Он протестует.

— Что ты теперь делаешь?

Он улыбается.

— Послушай, Моктир! Если тебе нечего делать, проводи нас в Туггурт.— И меня внезапно охватывает желание ехать в Туггурт.

Марселина себя плохо чувствует; я не знаю, что у нее в душе происходит. Когда я вечером возвращаюсь в гостиницу, она прижимается ко мне молча, с закрытыми глазами. Из-под завернувшегося широкого рукава видна ее исхудавшая рука. Я долго ласкаю и баюкаю ее, как ребенка, которого хотят усыпить. Отчего она так дрожит — от любви, тоски или лихорадки?.. Ах, быть может, еще не поздно... Не остановиться ли мне? Я искал, я нашел то, что составляет мою ценность; это какое-то упорство, влекущее к худшему. Но как сказать Марселине, что завтра мы едем в Туггурт?

Она спит в соседней комнате. Давно взошедшая луна заливает теперь всю террасу. Это почти страшный свет. От него нельзя спрятаться. В моей комнате белые каменные плиты, и на них он виднее всего. Волна света вливается через широко открытое окно. Я узнаю этот свет в комнате и тень от двери. Два года тому назад он продвинулся еще дальше...— да, как раз туда она сейчас приближается,— когда я встал, отказавшись от сна. Я прислонился плечом к косяку двери. Я узнаю неподвижность пальм... Какие слова прочел я в тот вечер?.. Ах, да! Слова Христа к Петру: «Теперь ты сам препояшешься и пойдешь, куда захочешь...» Куда я иду? Куда я хочу идти?.. Я вам не сказал, что из Неаполя, когда я в последний раз был там, я проехал в Пестум, на один-единственный день... Ах, я рыдал бы теперь перед этими камнями! Древняя красота казалась простой, совершенной, радостной — покинутой. Я чувствую, что от меня уходит искусство. Чтоб дать место — чему? Теперь это уже не радостная гармония, как прежде... Я больше не знаю темного Бога, которому служу. О, новый Бог! Дай мне узнать неведомые племена, неожиданные образы красоты!

На следующий день на рассвете мы уезжали в дилижансе. Моктир с нами. Моктир счастлив, как царь.

Чегга, Кефелдор, Дрейер... унылые остановки среди унылой бесконечной дороги. Признаюсь, я думал, что эти оазисы веселее. Но в них нет ничего, кроме камня и песка; еще несколько кустов-карликов с причудливыми цветами; порою несколько пальм, питаемых скрытым родником... Теперь я предпочитаю оазису пустыню... край смертельной славы и нестерпимого великолепия. Усилия человека кажутся там безобразными и жалкими. Теперь всякая другая земля мне скучна.

— Вы любите нечеловеческое, — говорит Марселина.

Но как она сама смотрит! С какой жадностью!

На второй день погода немного портится; это значит, что поднимается ветер и тускнеет горизонт. Марселина страдает; песок, который приходится вдыхать, жжет, раздражает ей горло; слишком сильный свет утомляет ее глаза; этот враждебный вид ранит ее. Но уже слишком поздно возвращаться. Через несколько часов мы будем в Тутгурте.

Эту последнюю часть пугешествия, такого еще недавнего, я помню хуже всего. Я не могу уже теперь припомнить ни пейзажей, ни того, что я сначала делал в Тутгурте. Но я еще хорошо помню свое нетерпение и стремительность.

Утром было очень холодно. Под вечер подымается горячий самум. Марселина, измученная дорогой, легла сразу по приезде. Я надеялся найти гостиницу немного получше; наша комната ужасна; песок, солнце, мухи все сделали тусклым, грязным, несвежим. Так как мы почти ничего не ели с раннего утра, я сразу же заказываю обед; но все кажется скверным Марселине, и я не могу убедить ее съесть что-нибудь. Мы привезли с собой все нужное для приготовления чая. Я занимаюсь этими смешными хлопотами. Мы довольствуемся сухим печеньем и этим чаем, которому местная соленая вода придает отвратительный вкус.

Из последней видимости добродетели я остаюсь до вечера с ней. И вдруг я чувствую себя без сил. О, вкус пепла! О, усталость! Печаль сверхчеловеческого усилия! Я едва решаюсь смотреть на нее; я слишком хорошо знаю, что мои глаза вместо того, чтобы искать ее взгляда, устремятся на черные дыры ее ноздрей; выражение ее страдающего лица ужасно. Она тоже на меня не смотрит. Я чувствую ее страдание, как будто прикасаюсь к ней. Она сильно кашляет, потом засыпает. Моментами она резко вздрагивает.

Ночь грозит для нее быть тяжелой, и, пока еще не слишком поздно, я хочу узнать, к кому можно здесь обратиться. Я выхожу. Перед дверью гостиницы — городская

площадь, улицы; самый воздух так странен, что мне почти кажется, что все это вижу не я. Через несколько минут я возвращаюсь. Марселина спокойно спит. Я напрасно испугался; в этой причудливой стране всюду мерещатся опасности; это бессмысленно. И, успокоившись, я снова выхожу.

Странное ночное оживление на площади; бесшумное движение; таинственно скользят белые бурнусы. Ветер моментами отрывает клочки странной музыки и доносит их неведомо откуда. Кто-то подходит ко мне... Это Моктир. Он ждал меня, по его словам, и был уверен, что я выйду. Он смеется. Он хорошо знает Туггурт; он часто ездит сюда и знает, куда меня вести. Я послушно следую за ним.

Мы идем в темноте; входим в мавританское кафе; отсюда и доносилась музыка. Танцуют арабские женщины — если можно назвать танцем это однообразное скользящее движение. Одна из них берет меня за руку; я следую за ней; это любовница Моктира; он тоже идет с нами... Мы втроем входим в узкую и глубокую комнату, где стоит только кровать... Очень низкая кровать, на которую мы садимся. Белый кролик, запертый в комнате, сначала пугается, потом привыкает, подходит и ест из рук Моктира. Нам подают кофе. Потом, в то время как Моктир играет с кроликом, женщина привлекает меня к себе, и я ей не противлюсь, как не противятся сну...

Ах, я мог бы солгать здесь или умолчать, но чем будет для меня этот рассказ, если он перестанет быть правдивым?..

Я один возвращаюсь в гостиницу; Моктир остается в кафе на ночь. Поздно... Дует сухой сирокко; этот ветер весь насыщен песком и зноем, несмотря на ночь. Сделав несколько шагов, я чувствую, что весь в поту; но вдруг я ускоряю шаги, почти бегу. Быть может, она проснулась... быть может, я нужен ей?.. Нет, ее окно не освещено. Я ловлю короткий промежуток между двумя порывами ветра, чтобы открыть дверь; тихонько вхожу в темноту. Что это за шум?.. Я не узнаю ее кашля... Она ли это?.. Я зажигаю свет.

Марселина полусидит на кровати; одной из своих худых рук она цепляется за перекладину кровати, чтобы удержаться; ее простыни, руки, рубашка залиты потоками крови; все ее лицо испачкано кровью; ее глаза безобразно расширены; предсмертный крик испугал бы меня меньше, чем ее молчание. Я ищу на ее потном лице маленькое местечко, где бы мог запечатлеть полный ужаса поцелуй; на

губах у меня остается вкус ее пота. Я обмываю и освежаю ее лоб, щеки... Около кровати я чувствую что-то твердое под ногой; я наклоняюсь и поднимаю четки, которые она уронила; я кладу их ей в открытую руку, но ее рука тотчас же падает и снова роняет четки. Я не знаю, что делать; мне хочется позвать на помощь... Ее рука отчаянно цепляется за меня, удерживает; ах, неужели она думает, что я хочу ее покинуть? Она говорит мне:

— О, ты ведь можешь еще подождать немного.

Она видит, что я хочу ответить.

— Ничего не говори, — добавляет она, — все хорошо.

Я снова поднимаю четки; кладу их ей в руку, но она снова их роняет.. нет, не роняет, бросает их. Я становлюсь на колени перед ней, прижимаю ее руку к себе.

Она опускается наполовину на матрас, наполовину на мое плечо и будто спит, — но глаза ее широко открыты.

Через час она вскакивает; освобождает свою руку из моих рук, хватается за рубашку и рвет кружево. Она задыхается.

Под утро снова кровавая рвота...

Я кончил свой рассказ. Что мне еще прибавить? Тугуртское кладбище безобразно, наполовину засыпано песками... Остаток воли, который у меня был, я приложил к тому, чтобы вырвать ее из этого скорбного края. Она похоронена в Эль-Кантате в тени сада, который ей нравился. С тех пор прошло не больше трех месяцев. Эти три месяца отодвинули мои воспоминания на десять лет.

Мишель долго молчал. Мы тоже все молчали, охваченные странным смущением. Нам казалось, увы, что, рассказав нам о своем поступке, Мишель узаконил его. То, что мы не знали, на каком месте того медленного объяснения, которое он привел, нам следовало осудить его, делало нас почти его сообщниками. Мы были как бы связаны. Он закончил свой рассказ без всякой дрожи в голосе, и ни единое выражение, ни жест не выдали ни малейшего его волнения — от того ли, что циничная гордость не позволяла ему показаться нам взволнованным, от того ли, что из какого-то целомудрия он не хотел вызвать наших слез своим волнением, от того ли, наконец, что он не был взволнован. Я не отличаю в нем даже теперь высокомерия от силы,

черствости или стыдливости. Через несколько секунд он продолжал:

— То, что пугает меня, признаюсь вам, это то, что я еще очень молод. Мне иногда кажется, что моя настоящая жизнь еще не начиналась. Вырвите меня теперь отсюда и дайте смысл моему существованию. Я сам не знаю больше, где найти его. Я освободился, это возможно; но что из того? Я страдаю от этой свободы, не имеющей применения. Поверьте мне, это не усталость от моего преступления, если вам угодно так назвать его, но я должен доказать самому себе, что я не преступил своего права.

Когда прежде вы знавали меня, я обладал большим упорством мысли, и я знаю, что это свойство настоящих людей; теперь у меня его нет. Но мне кажется, что здешний климат виноват в этом. Ничто так не отнимает силу у мысли, как эта настойчивая лазурь. Здесь всякое усилие невозможно, настолько близко следует наслаждение за желанием. Окруженный великолепием и смертью, я ощущаю счастье слишком близким и забвение слишком похожим на него. Я ложусь спать посреди дня, чтобы обмануть унылую длительность дней и их невыносимый досуг.

Видите, у меня здесь белые камешки, которые я сначала кладу в тень, потом долго держу в ладони, пока не иссякнет их успокаивающая свежесть. Затем я меняю камешки, кладу в тень те, свежесть которых испарилась. Так проходит время, и наступает вечер... Вырвите меня отсюда; я сам не могу этого сделать. Что-то сломалось в моей воле; я даже не знаю, где я нашел силы покинуть Эль-Кантару. Иногда я боюсь, что уничтоженное мною отомстит мне. Я хотел бы начать заново. Я хотел бы избавиться от того, что еще осталось от моего состояния; видите — эти стены еще покрыты остатками его... Здесь я живу без расходов. Трактирщик, полуфранцуз, приготовляет мне много пищи. Мальчик, который убежал при вашем появлении, приносит мне ее, получая за это несколько грошей и ласку. Этот мальчик, такой дикий с чужими, со мной нежен и верен, как собака. Его сестра, Улед-Найль, каждую зиму ездит в Константинопу, где продает свое тело прохожим. Она очень красива, и первые недели я допускал, чтобы она проводила иногда ночи со мной. Но однажды утром ее брат, маленький Али, застал нас вместе в постели. Он очень рассердился и не хотел потом приходить ко мне целых пять дней. Между тем он знает, как и чем живет его сестра; он раньше говорил мне об этом тоном, в котором не было никакого смущения... Значит

ли это, что он ревнует? Впрочем, этот плут добился своего, так как отчасти от скуки, отчасти из страха потерять Али, я уже больше не звал к себе этой девушки. Она на это не рассердилась; но каждый раз, как я встречаю ее, она смеется и шутит, что я предпочел ей мальчишку. Она уверяет, что это он удерживает меня здесь. Быть может, она отчасти права...

Пасторальная симфония

ПОВЕСТЬ

Перевод *Б. Криевского*

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

10 февраля 189...

Снег, падавший не переставая в течение трех дней, занес дороги. Я не мог отправиться в Р., куда за последние пятнадцать лет я два раза в месяц ездил для совершения треб. Сегодня в часовне Ла Бревин собралось всего тридцать человек верующих.

Я постараюсь использовать досуг, предоставленный мне моим невольным заключением, для того чтобы оглянуться назад и рассказать, как вышло, что я взял на себя заботы о Гертруде.

Мне хотелось здесь изложить все, что относится к формированию и росту этой кроткой души, которую я, видимо, вывел из мрака лишь для благоговения и любви. Слава Господу за то, что он доверил мне это дело.

Два с половиной года назад, едва я вернулся из Ла-Шоде-Фон, ко мне торопливо вошла незнакомая девочка, прося выехать за семь километров отсюда к бедной старухе, которая умирает. Лошадь еще не была распряжена; я велел девочке сесть в кабриолет и захватил с собою фонарь, не рассчитывая вернуться домой до наступления ночи.

Мне казалось, что я отлично знаю окрестности моего округа, но, когда мы миновали ферму Ла Содре, ребенок указал мне дорогу, по которой я не ездил еще ни разу. Впрочем, через километра два я узнал на левой стороне небольшое таинственное озеро, по которому я еще молодым человеком иногда катался на коньках. Целых пятнадцать лет мне не случалось больше его видеть, так как мои

пасторские обязанности не призывали меня в эти края; я не сумел бы объяснить, где оно, собственно, находится, и до такой степени перестал о нем думать, что, когда вдруг узнал его в золотисто-розовом очаровании вечера, мне показалось, что я видел его только во сне.

Дорога шла вдоль реки, вытекавшей из озера, пересекала опушку леса и затем тянулась вдоль торфяника. Я, безусловно, еще ни разу не бывал в этих местах.

Солнце садилось, и мы довольно долгое время двигались в темноте, когда моя юная проводница указала наконец пальцем на склоне холма хижину, которую легко можно было принять за необитаемую, если бы не вылетающая оттуда тонкая струйка дыма, отливавшая голубым в тени и бледневшая на золотистом небе. Я привязал лошадь к ближайшей яблоне, затем прошел вслед за ребенком в темную комнату, где недавно скончалась старуха.

Суровость пейзажа, безмолвие и торжественность часа повергли меня в оцепенение. Довольно молодая женщина стояла на коленях возле кровати. Девочка, которую я принял было за внучку покойницы, оказалась служанкой; она зажгла дымящую свечу и затем тоже неподвижно остановилась в ногах кровати. Во время долгого пути я несколько раз пробовал с ней заговорить, но не мог вытянуть из нее и нескольких слов.

Стоявшая на коленях женщина встала. Она была не родственницей, как я было представил себе вначале, а просто соседкой, знакомой, за которой сходила служанка, заметив, что хозяйка ослабевает, и она согласилась посторожить у тела. Старуха, объяснила она мне, угасла без страданий. Мы уговорились с нею о мерах, которые необходимо принять для похоронных обрядов. Как и всегда в этих захолустных местах, мне пришлось все решать самому. Меня несколько смущало, должен сознаться, поручить охрану этого дома, каким бы бедным он ни казался, лишь соседке и девочке-служанке. Впрочем, трудно было бы допустить, что в каком-нибудь закоулке этого нищенского жилища было спрятано сокровище... Да и чем здесь я мог бы помочь? Я все-таки справился, остались ли у старухи наследники.

Соседка взяла в руки свечу и осветила ею угол очага: я мог смутно различить какое-то существо, сидевшее у камелька и, по-видимому, погруженное в сон; густая копна волос почти полностью скрывала ее лицо.

— Это слепая девушка; по словам служанки — племянница покойной, кажется, больше в семье никого нет. Ее

следует устроить в богадельню, иначе я не представляю себе, куда ей деваться.

Я был неприятно поражен этими словами, предре- шавшими в присутствии сироты ее судьбу, чувствуя, сколько огорченья могла причинить эта резкая фраза.

— Не будите ее,— тихо произнес я, приглашая соседку хотя бы только понизить свой голос.

— Ну, я не думаю, чтобы она спала, это ведь идиотка, она не умеет говорить и ничего не понимает, когда к ней обращаются. За все утро, проведенное мной здесь, она, можно сказать, с места не двинулась. Мне показалось вначале, что она глухая; однако служанка уверяет, что нет, а просто старуха, сама страдавшая глухотой, никогда не обменивалась с ней ни единым словом, как, впрочем, и ни с кем, и если открывала рот, то только для того, чтобы есть и пить.

— Сколько ей лет?

— Лег пятнадцать, я думаю, впрочем, я знаю об этом столько же, сколько и вы.

Мне сразу не пришло в голову взять на себя заботу об этой покинутой девушке; но позже, когда я помолился, или, вернее, во время молитвы, совершенной в присутствии соседки и юной служанки, опустившихся на колени у изголовья покойницы, я, тоже коленапреклоненный, вдруг подумал, что сам Бог ставит на моем пути своего рода обязанность и что я не могу уклониться от нее, не проявив постыдного малодушия. Когда я поднялся на ноги, у меня уже созрело решение увезти девочку сегодня же вечером, хотя я и не уяснил себе точно, что с ней буду делать впоследствии и как ее устрою. Я оставался там еще некоторое время, вглядываясь в уснувшее лицо покойной, морщинистый и провалившийся рот которой, казалось, был стянут шнуром, как кошелек скупца, приученный не выпускать из себя ничего лишнего. Затем, повернувшись в сторону слепой, я сообщил соседке о своем намерении.

— Ей, конечно, не следует завтра находиться здесь при выносе тела,— ответила она. И этим ограничилась.

Сколько вещей можно было бы устроить легко, не будь тех химерических затруднений, которые люди любят иногда себе выдумывать. С самого детства сколько раз мы от- казываемся сделать намеченное нами дело единственно по- тому, что вокруг нас все время повторяют: он никогда этого не сделает!

Слепая позволила увести себя как какую-то инертную массу. Черты лица ее были правильны и довольно красивы, но совершенно лишены выражения. Я взял одеяло с тюфяка, на котором она, видимо, обычно спала в углу, под внутренней лестницей, выходившей на чердак.

Соседка проявила любезность и помогла мне ее тщательно закутать, так как ночь была светлая, но холодная; когда фонарь кабриолета был зажжен, я пустился в путь, увозя прикинувшийся ко мне ком тела, лишенный души, — тела, жизнь которого я воспринимал через передававшуюся мне едва ощутимую теплоту. Всю дорогу я думал: неужели она спит? И что это за непробудный сон! Чем отличается у нее бодрствование от сна? Жилища ее непросветленного тела — душа, должно быть, ждет, замурованная, чтобы коснулся ее наконец луч твоей благодати, Господи! Позволь же моей любви совлечь с нее, если можно, эту ужасную тьму!

Я настолько пекусь об истине, что не хотел бы умолчать о том нелюбезном приеме, который я встретил по возвращении домой. Жена моя — подлинный цветник добродетелей; даже в самые тяжелые минуты, которые нам случалось иногда переживать, я не имел случая ни на мгновение усомниться в высоких качествах ее сердца, но ее природное милосердие не терпит неожиданностей. Это — женщина порядка, которая не любит ни преувеличивать, ни преуменьшать велений долга. Самое милосердие ее отличается размеренностью, как если бы богатства любви можно было вообще исчерпать. Это — единственный наш пункт расхождения...

Первая ее мысль, когда она увидела в тот вечер, что я приехал с девочкой, отлилась в восклицании:

— Что это еще за бремя ты взвалил на себя?

Как и всегда, когда между нами должно было произойти объяснение, я начал с того, что поспешил удалить детей, которые стояли тут же, разинув рты, полные вопросов и удивления. О, как далек был этот прием от того, чего мне так сильно хотелось! Одна только малютка Шарлотта стала вдруг плясать и хлопать в ладоши, сообразив, что из кабриолета должно появиться что-то новое, что-то живое. Но все остальные, уже вышколенные матерью, быстро сумели ее охладить и образумить.

Наступила крайне стеснительная минута. И так как ни жена, ни дети не знали, что пред ними находится слепая,

они никак не могли объяснить себе того исключительного внимания, с которым я направлял ее шаги. Я сам был донельзя выбит из колеи теми странными стоном, которые стала испускать несчастная калека, едва лишь моя рука оставила руку, за которую я держал ее во время поездки. Это не было человеческим стоном: можно было подумать, что жалобно скулит собачонка. Вырванная в первый раз из узкого круга привычных впечатлений, составлявших для нее весь ее мир, она никак не могла устоять на ногах, а когда я придвинул ей стул, она свалилась на землю, точно совсем не зная, что на него можно сесть; я подвел ее ближе к очагу, и она несколько успокоилась, когда ей удалось опуститься на корточки, в той самой позе, в которой я увидел ее в первый раз — прижавшейся к облицовке камина у старухи. В кабриолете она тоже соскользнула с сиденья и всю дорогу сидела у моих ног. И все-таки жена стала мне помогать, ибо естественные движения оказываются у нее самыми лучшими, но зато разум ее все время восстает и нередко берет верх над сердцем.

— Куда же оно теперь денется? — спросила она после того, как девочка была наконец устроена.

У меня задрожала душа, когда я услышал этот средний род, и я с трудом совладал с движением негодования. Все еще под сильным впечатлением своей долгой и мирной думы я сдержался и, повернувшись к своим, снова ставшим в кружок, положил руку на голову слепой.

— Я привел потерянную овцу, — сказал я со всей торжественностью, на какую был способен.

Но Амелия не допускает мысли, что в Евангельском учении может содержаться крупица неразумия или сверхразума. Я увидел, что она собирается возражать, и тогда я сделал знак Жаку и Саре, уже привыкшим к нашим мелким супружеским пререканиям и к тому же весьма мало любопытным от природы (часто даже недостаточно любопытным, по-моему). Но поскольку жена все еще была в замешательстве и как будто даже раздражена присутствием посторонней:

— Ты можешь говорить и при ней, — вставил я, — бедная девочка ничего не понимает.

Амелия начала с заявления, что она мне несколько не возражает — это обычное начало ее нескончаемо длинных разговоров — и что ей, как всегда, остается только подчиняться всем моим абсолютно непрактичным, идущим вразрез с приличиями и здравым смыслом выдумкам. Выше я уже

упоминал, что еще ровно ничего не решил относительно будущего устройства этой девочки. Я всего только предусматривал (и при этом крайне смутно) возможность устроить ее у нас и должен сказать, что никто другой, как сама же Амелия, натолкнула меня на эту мысль, когда спросила, не нахожу ли я, что «у нас в доме и без того народу довольно». Потом она подчеркнула, что я всегда вырываюсь вперед, нисколько не заботясь о том, хватает ли сил у тех, кто живет со мной рядом, что, по ее мнению, пятерых детей и без того с нас достаточно и что после появления на свет Клода (который как раз в эту минуту, словно откликаясь на свое имя, начал кричать в колыбели) «счет», можно сказать, переполнен и что она совсем сбилась с ног.

При первых словах ее проповеди из глубины моей души к самым губам подступили Евангельские слова, но я их все-таки не сказал, ибо мне всегда казалось бестактным прикрываться в житейских делах авторитетом Священного писания. Но когда она сослалась на усталость, я сконфузился, припомнив, что уже не в первый раз мне случается переключиваться на плечи жены последствия необдуманных порывов моего рвения. Впрочем, ее укоры уяснили мне собственный долг; я кротко попросил Амелию рассудить, не поступила бы и она на моем месте совершенно так же, и неужели она могла бы покинуть в беде существо, которому явно не на кого больше опереться? Я прибавил, что я не делаю себе никаких иллюзий относительно того груза новых забот, который прибавит к ее хозяйственным хлопотам уход за увечной жилицей, и что я сожалею о том, что не в состоянии достаточно часто приходить ей в этом на помощь. Под конец я успокоил ее, как мог, и просил не срывать на неповинной девочке досады, которой та, безусловно, не заслужила. Я указал еще и на то, что Сара уже в таком возрасте, когда она может гораздо больше помогать матери, а Жак и совсем обойдется без ее забот. Одним словом, Господь вложил в мои уста нужные слова для того, чтобы помочь ей примириться с фактом, который — я глубоко в том убежден — она давно бы уже приняла, если бы самое событие оставило ей больше времени для раздумья и если бы я не распорядился врасплох ее волей.

Я считал, что дело мое выиграно; дорогая моя Амелия собралась было с добрым сердцем подойти к Гертруде, как вдруг ее раздражение забушевало пуще прежнего, ибо при свете лампы, взятой для того, чтобы лучше осмотреть девочку, она убедилась в ее чудовищной нечистоплотности.

— Но ведь это зараза,— крикнула она.— Почистить щеткой, щеткой, да поскорее! Не здесь! Пойди, отряхнись на дворе. Боже мой; ведь это облепит детей! Ничего на свете я так не боюсь, как вшей.

Возражать не приходилось, они так и кишели на бедной девочке. Я не мог удержаться от жеста отвращения при мысли, что я долго прижимал ее к себе в кабриолете.

Когда две минуты спустя, почистившись как нельзя более тщательно, я снова вернулся, я увидел, что жена упала в кресло, обхватив голову руками, и бьется в приступе рыданий.

— Я не хотел подвергать твою стойкость подобному испытанию,— нежно обратился я к ней.— Во всяком случае, сейчас уже вечер, время позднее, и ничего теперь увидеть нельзя. Я урву время от сна и буду поддерживать огонь, возле которого ляжет девочка. Завтра мы ей острижем волосы и отмоем ее как следует. Ты станешь присматривать за ней только тогда, когда ты сможешь глядеть на нее без ужаса.— И я попросил жену ни слова не говорить детям.

Пора было садиться за ужин. Моя поднадзорная, в сторону которой наша старушка Розалия, подавая на стол, послала целую тучу суровых взглядов, с жадностью проглотила поданную мною тарелку супа. За едой все молчали. Я хотел было рассказать о своем приключении, поговорить с детьми, растрогать их, дать им понять и почувствовать всю необычайность этой исключительной бедности, возбудить в них жалость и симпатию к той, кого Господь внушил нам взять к себе,— но я побоялся снова вызвать в Амелии раздражение. Казалось, будто мы дали друг другу слово пройти мимо и позабыть о событии, хотя никто из нас, конечно, не был в состоянии думать о чем-нибудь другом.

Я был очень тронут, когда, больше чем через час после того, как все улеглись и Амелия вышла из комнаты,— обнаружил, что малютка Шарлотта приоткрыла дверь и в одной рубашке тихонько вошла босиком, а потом бросилась мне на шею, порывисто обняла и шепнула:

— Я не сказала тебе как следует покойной ночи.

Затем, показав кончиком своего маленького указательного пальца на мирно уснувшую слепую, на которую ей захотелось взглянуть еще раз, прежде чем отправиться спать, она спросила:

— Почему я ее не поцеловала?

— Ты еще поцелуешь ее завтра. А сейчас оставим ее в покое. Она спит,— объяснил я дочурке, провожая ее до двери.

Затем я снова сел и проработал до утра, читая книги и подготавливаясь к ближайшей проповеди. Несомненно, думал я про себя (так вспоминается мне сейчас), Шарлотта выказала сегодня гораздо большую чуткость, чем старшие дети, но разве каждый из них в ее годы не вводил меня вначале в заблуждение? Даже самый старший из них, Жак, от всего теперь сторонящийся, замкнутый... Принимаешь это за нежность, а они просто ластятся и ласкаются.

27 февраля

Сегодня ночью снега снова выпало очень много. Дети в восторге, потому что, по их словам, скоро придется выходить на улицу через окна. Дело в том, что утром дверь оказалась заваленной, и ходить можно только через прачечную. Вчера я успел выяснить, что в деревне запасов достаточно, так как некоторое время нам несомненно предстоит быть отрезанными от внешнего мира. Не первую зиму нас засыпает снегом, но я не помню, чтобы когда-нибудь заносы бывали такие глубокие. Я пользуюсь ими для того, чтобы продолжить начатый мною вчера рассказ.

Я уже говорил, что, когда я вез к себе калеку, я очень неясно себе представлял, какое место может она занять в нашем доме. Я знал, что жена не окажет мне большого сопротивления, я знал, каким помещением мы располагаем, какие у нас ограниченные средства. Я поступил так, как и всегда поступаю: отчасти по природному влечению, отчасти из принципа, отнюдь не пускаясь в подсчеты расходов, в которые может вовлечь меня мой порыв (мне неизменно казалось, что это было бы противно духу Евангелия). Но одно дело полагаться на Бога, другое — все возлагать на своего ближнего. Мне вскоре показалось, что я взвалил на плечи Амелии тяжкое бремя, такое тяжкое, что вначале совсем растерялся.

Я помогал ей изо всех сил состригать волосы девушки: я отлично видел, что одно это вызывало в ней отвращение. Но, когда дело дошло до того, чтобы ее отчистить и вымыть, я должен был уступить место жене; и я понял, что самые тяжелые и неприятные обязанности от меня отпадают.

Впрочем, Амелия не выразила больше ни малейшего неудовольствия. Видимо, она уже подумала об этом за ночь и приняла эту новую заботу; казалось, что она даже находит в ней известное удовольствие, и я заметил у нее улыбку после того, как она принарядила Гертруду. Беленькая шапочка покрывала ее остриженную голову, которую я слегка

напомадил; кое-какие старые вещи Сары и чистое белье заменили грязные лохмотья, которые Амелия только что отправила в огонь. Имя «Гертруда» было выбрано Шарлоттой, и все мы немедленно его приняли, оставаясь в неведении относительно ее истинного имени, которого сама сиротка не знала, а я нигде не мог разузнать. Она, очевидно, была чуть-чуть моложе Сары, поскольку вещи ее, переставшие ей служить год тому назад, оказались девочке впору.

Мне следует сознаться: в первые дни я почувствовал, что погружаюсь в глубокое разочарование. Я несомненно сочинил себе целый роман о воспитании Гертруды, и реальная действительность принуждала меня круто с ним разорвать. Безразличное, тупое выражение ее лица или, вернее, его абсолютная невыразительность заморозило вплоть до самых истоков мою добрую волю. Целые дни она проводила у очага, держась настороже; стоило ей слышать наши голоса, особенно же наше приближение, и черты ее лица, казалось, застывали; они утрачивали свою невыразительность, только когда приобретали враждебность, при малейшей попытке воздействовать на ее внимание она начинала стонать и ворчать, как животное. Эта насупленность проходила только с наступлением часа еды, которую я ей подавал сам и на которую она набрасывалась с животной жадностью, невыразимо тягостной для посторонних. И подобно тому, как любовь призывает любовь, так и я чувствовал, что испытываю только отталкивание, стоя перед упрямым отказом этой души. Да, действительно, сознаюсь,— в течение первых десяти дней я доходил до отчаяния, даже до равнодушия к ней и в такой степени, что почти сожалел о своем первоначальном порыве, и очень бы хотел никогда ее к себе не привозить. И выходило очень забавно: Амелия, точно торжествуя при виде чувств, которые мне не удавалось от нее скрыть, начинала, казалось, расточать ей тем больше забот и тем больше благожелательности, чем яснее чувствовала, что Гертруда мне становится в тягость и что присутствие ее в нашей среде мне неприятно.

Так именно обстояло дело, когда меня навестил мой друг, доктор Мартен из Валь-Травёра во время одного из объездов своих больных. Он очень заинтересовался тем, что я ему рассказал о положении Гертруды, и крайне изумился вначале, что она дошла до такой исключительной отсталости, будучи всего только слепой, но я объяснил, что ее увечье было усугублено еще глухотой старухи, все это время присматривавшей за ней и, никогда с ней не

разговаривавшей, так что несчастная девочка пребывала в состоянии полной заброшенности. Он стал уверять меня, что в таком случае мне нечего приходить в отчаяние, а что я просто плохо приступил к делу.

— Ты хочешь начать постройку,— сказал он мне, не обеспечив себя сколько-нибудь твердой почвой.— Подумай, что все в этой душе — еще хаос и что даже самые первые очертания ее еще не наметились. Для начала следовало бы собрать в один пучок несколько осязательных и вкусовых ощущений и прикрепить к ним в виде этикетки какой-нибудь звук или слово, которое ты должен воспроизводить ей как можно чаще, а потом добиваться, чтобы она его повторила. Главное, не вздумай с ней очень спешить: занимайся с ней в определенные часы и никогда не занимайся очень долго.

— Одним словом, вся эта метода,— прибавил он после того, как растолковал мне ее до мелочи,— не заключает в себе никакого колдовства. Я ничего тут не выдумываю, и многие люди применяют ее на деле. Неужели ты сам не вспоминаешь? В то время как мы были с тобой в философском классе, наши преподаватели разбирали с нами аналогичный случай в связи с Кондильяком и его оживленной статуей... Если только,— оговорился он,— я не прочел того же самого позже в каком-нибудь психологическом журнале... Впрочем, неважно, на меня это произвело впечатление, и я даже запомнил имя несчастной девочки, гораздо более обиженной природой, чем Гертруда, поскольку она была слепой и глухонемой, которую подобрал доктор какого-то английского графства около половины истекшего столетия. Ее звали Лаура Бриджмен. Доктор этот вел дневник (тебе тоже не мешало бы это делать) успехов ребенка или, во всяком случае, вел его вначале, отмечая в нем приемы своего обучения. В течение ряда дней и недель он упорно заставлял ее осязать два предмета — булавку и перо, а затем она ощупывала на листе бумаги с буквами для слепых контуры двух английских слов *rip* и *rep*. В течение нескольких недель он не добился никаких результатов. Тело казалось необитаемым. Но доктор не терял надежды. «Я напоминаю собой человека,— сообщал он,— перегнувшегося через край глубокого черного колодца и с отчаянием забрасывающего туда веревку в надежде, что за нее ухватится чья-то рука». Ибо он ни минуты не сомневался, что там, на дне этой пучины, кто-то есть и что в конце концов его веревка будет все-таки схвачена. И вот однажды он заметил, что бес-

страстное лицо Лауры осветилось подобием улыбки; я думаю, что в эту минуту слезы любви и благодарности хлынули из его глаз, и он упал на колени, вознося хвалы Создателю. Дело в том, что Лаура вдруг сообразила, чего от нее добивался доктор. Спасена! С этого дня она вся превратилась во внимание; успехи сделались быстрыми; вскоре она принялась учиться самостоятельно и впоследствии стала директрисой института слепых — возможно, впрочем, что и не она, а другая... потому что не так давно были отмечены новые случаи, о которых много говорили газеты и журналы, на все лады удивляясь,— на мой взгляд совершенно неосновательно,— что такого рода создания могут быть счастливы. Но факт остается фактом: каждая из этих замурованных оказалась счастливой, и едва получив возможность изъясняться, они начинали рассказывать о своем счастье. Журналисты, естественно, приходили в восторг и извлекали отсюда поучение для тех, кто, «наслаждаясь» всеми своими пятью чувствами, смеют при этом жаловаться...

По этому поводу между Мартемом и мной разгорелась дискуссия, поскольку я восставал против его пессимизма и не допускал (как, по-видимому, допускал он), что наши чувства, в конечном счете, способны только на то, чтобы довести нас до отчаяния.

— Я думаю совсем иначе,— заявил я.— Я хочу сказать, что душа человека гораздо легче и охотнее рисует себе красоту, приволье и гармонию, чем беспорядок и грех, которые повсюду затемняют, грязнят, пачкают и сокрушают этот мир, о чем свидетельствуют нам и чему заодно способствуют и помогают имеющиеся у нас пять чувств. Так что к вергилиевскому «*fortunatos nimium*» я скорее прибавил бы: «*si sua mala nescient*», чем: «*si sua bona noñnt*»¹, которому нас обычно учат. О, как счастливы были бы люди, если бы не ведали зла!

Он рассказал мне еще об одной повести Диккенса, которая, по его мнению, была непосредственно навеяна случаем Лауры Бриджмен и которую он пообещал мне скоро прислать. Через четыре дня я действительно получил «Сверчка на печи», которого прочел с большим удовольствием. Это немного растянутая, но временами волнующая история слепой девушки, которую отец, бедный

¹ Ссылка на стихи Вергилия (Георгики, II, 458—459): «О блаженные слыхом,— когда б свое счастье знали,— жители сел!»

Слова: «когда б свое счастье знали» герой повести хотел бы заменить выражением: «если б они не ведали зла». (*Прим. пер.*)

игрушечный мастер, все время окружает иллюзией комфорта, богатства и счастья; ложь, которую искусство Диккенса из всех сил старается представить святой, но которую я, благодарение Богу, не стал бы пробовать на моей Гертруде.

На следующий же день после посещения Мартена я начал применять на практике его метод, вкладывая в него все свои силы. Я очень жалею теперь, что не делал заметок (как он мне это советовал) о первых шагах Гертруды по той сумеречной дороге, по которой я мог вести ее вначале только ощупью. В первые недели понадобилось гораздо больше терпения, чем можно было бы думать, и не столько из-за времени, которое я затрачивал на это начальное воспитание, сколько вследствие упреков, которые это воспитание на меня навлекло. Мне тягостно писать, что упреки эти исходили от Амелии; впрочем, если я и упоминаю о них, то потому лишь, что не связал с ними никакого враждебного или горького чувства, — во всеуслышание заявляю об этом на тот случай, если бы листки эти со временем были ею прочитаны. (Разве прощение обид не было заповедано нам Христом немедленно вслед за притчей о заблудшей овце?) Скажу больше: в те самые дни, когда я сильнее всего страдал от ее упреков, я никак не мог сердиться на то, что она ставила мне на вид, будто я уделяю Гертруде чересчур много времени. Я скорее упрекнул бы ее за недостаточно твердую веру в успешный результат моих трудов. Больше всего меня тяготило ее маловерие; но и оно, впрочем, меня не обескураживало. Сколько раз мне приходилось выслушивать: «Если бы из этого хоть что-нибудь выходило!..» Она упорно держалась того мнения, что труды мои пропадают зря; и ей, конечно, казалось нелепостью, что я посвящаю этому делу время, которым я, по ее разумению, мог с неизмеримо большей пользой распорядиться иначе. И всякий раз, как я был занят Гертрудой, она старалась вернуть, что кто-то или что-то во мне очень сильно нуждается, а я растрачиваю из-за этой девочки минуты, которые следовало бы отдать другим. А кроме того, я думаю, что ее мучила своеобразная материнская ревность, поскольку у нее то и дело срывалось: «Ты никогда так не возился ни с одним из наших детей». И это правда; хотя я очень люблю своих детей, мне ни разу еще не приходило в голову, что я обязан подолгу с ними возиться.

Я часто склонялся к выводу, что притча о заблудшей

овце труднее других укладывается в сознании людей, считающих себя, однако, истинными христианами. Тот факт, что одна из овец, сама по себе, может в глазах пастуха оказаться дороже всех остальных взятых вместе,— вот что было выше их понимания! Слова: «И если есть у человека сто овец и одна из них заблудится, не оставит ли он девяносто девять из них на горе и не пойдет ли за той, которая заблудилась?» Эти слова милосердия были бы объявлены такими людьми,— посмей они только говорить прямо,— возмутительнейшей несправедливостью.

Первые улыбки Гертруды утешили меня во всем и воздали мне за труды сторицей. Ибо «истинно говорю вам, что овца эта, когда пастух ее отыщет, доставит ему больше радости, чем все девяносто девять овец, которые ни разу не заблуждались». Да, да поистине должен сказать, что ни разу еще улыбка кого-либо из моих детей не затопляла мое сердце такой серафической радостью, как улыбка, которая забрезжила на лице этой статуи в то утро, когда она, несомненно, вдруг поняла и заинтересовалась всем, что я упорно стремился ей преподавать в течение долгих дней.

Пятое марта. Я заметил себе эту дату, как обычно замечают день рождения. Это даже не столько улыбка, сколько преобразование. Вдруг все черты ее одухотворились; это было внезапное озарение, напоминавшее пурпуровое свечение высоких Альп, от которого еще до зари начинает трепетать снеговая вершина, тем самым уже отмеченная и выхваченная из мрака. Это можно было назвать мистической окраской. Я представил себе равным образом вифсаидскую купель в ту минуту, когда в нее сходит ангел возмутить спящую воду. Я почувствовал себя точно восхищенным от земли, созерцая блаженное выражение, которое появилось вдруг у Гертруды; мне представилось, что сила, посетившая ее в это мгновение, даже не разум, а скорее — любовь. И тогда меня охватил столь сильный порыв признательности, что, запечатлевая поцелуй на ее прекрасном челе, я мысленно возносил его Богу.

Насколько трудно было добиться первого результата, настолько последующие успехи были стремительны. Сейчас мне стоит большого труда ясно припомнить, какими способами мы продвигались; иногда мне казалось, что Гертруда

шагает вперед скачками, словно издеваясь над методичностью. Я вспоминаю, что вначале я налегал скорее на качества, а не на разнообразие предметов: горячее, холодное, теплое, сладкое, горькое, вязущее, гибкое, легкое; затем шли движения: отстранять, придвигать, поднимать, пересекать, ложиться, связывать, разбрасывать, собирать и т. д. Очень скоро, позабывши о методе, я начал с нею беседы, не задумываясь над тем, в какой мере поспевает за мной ее ум; я действовал медленно, завлекая и приглашая ее задавать мне вопросы, сколько вздумается. В течение времени, когда она оставалась предоставленной самой себе, ум ее, несомненно, работал, а поэтому каждая новая встреча была для меня новым удивлением: я чувствовал, что ее отделяет от меня менее плотная ночь. Как-никак,— говорил я себе,— а это похоже на то, как теплый воздух и настойчивая работа весны мало-помалу одолевают зиму. Сколько раз поражался я тому способу, каким стаивает снег. Невольно думаешь, что покров его разрушается снизу, хотя внешний облик ничуть не меняется. Каждую зиму Амелия попадает впросак и возвещает, что снег лежит по-прежнему, не меняясь; мы все еще верим в его плотность, а он вдруг возьмет и осядет и расступится здесь и там, пропуская новую жизнь.

Из опасения, как бы Гертруда не зачахла, неотлучно, точно старуха, засиживаясь у камелька, я начал выводить ее на прогулки. Но она соглашалась гулять не иначе, как опираясь на мою руку. Удивление и страх, выказанные ею вначале, на первых прогулках, навели меня на мысль, прежде чем она сама мне об этом сказала, что она никогда еще не пускалась в окружающий мир. В той хижине, где я ее встретил, все заботы о ней сводились к заботам о том, чтобы давать ей пищу и помогать ей тем самым не умереть,— я никоим образом не сказал бы: жить. Ее темная вселенная ограничивалась стенами той единственной комнаты, в которой она неизменно оставалась; в редких случаях осмеливалась она доходить до порога в летние дни, когда дверь открывалась на огромную светлую вселенную. Позже она мне рассказывала, что, слушая пение птиц, она представляла себе это пение таким же непосредственным проявлением света, как и тепло, ласкавшее ей щеки и руки, и что она,— правда, не особенно задумываясь над этим,— находила вполне естественным, чтобы нагретый воздух начинал петь, подобно тому, как стоявшая на огне вода закипала. Но, в сущности, все эти вещи оставляли ее спокойной, и она ни на чем не останавливала внимания, пребывая в состоя-

нии глубокого оцепенения до того дня, когда я стал ей уделять свое время. Я вспоминаю ее нескончаемые восторги после того, как я ей объяснил, что слышимые ею голоса исходят из живых существ, единственное назначение которых, по-видимому, — ощущать и выражать радость, разлитую в природе. (Именно с этого дня она взяла привычку говорить о себе: я полна радости, как птица.) И, однако, мысль, что пение это говорило о великолепии зрелища, которого она не могла видеть, начинала вызывать в ней грусть.

— Это правда, — спрашивала она, — земля действительно так прекрасна, как об этом поют птицы? Почему об этом так мало говорят? Почему вы не говорите со мной об этом? Вы боитесь меня огорчить, зная, что сама я не могу ее увидеть? Вы неправы. Я ведь отлично слышу пение птиц, и мне кажется, я понимаю их речи.

— Люди, обладающие зрением, не умеют их так хорошо слышать, как ты, Гертруда, — говорил я, желая ее утешить.

— А почему другие животные не поют? — спросила она.

Иногда вопросы ее меня озадачивали, и я на мгновение терялся, ибо она заставляла меня задумываться над тем, что я до сих пор принимал без всякого удивления. Таким образом я впервые сообразил, что, чем более животное связано с землей, тем оно грузнее и печальнее. Я старался ей это растолковать, я говорил ей о белке и ее играх.

Она спросила меня потом, неужели из всех животных летают лишь птицы.

— Есть еще бабочки, — пояснил я.

— А они поют?

— Нет, они по-иному рассказывают о своей радости. Она написана красками на их крыльях... — И я стал описывать пеструю расцветку мотыльков.

28 февраля

Мне нужно вернуться назад: вчера я позволил себе уйти чересчур далеко.

Для обучения Гертруды я должен был сам изучить алфавит слепых; но вскоре она стала гораздо искуснее меня читать этот шрифт, в котором я с большим трудом разбирался и который невольно предпочитал читать глазами, а не руками. Впрочем, не один я занимался ее обучением.

Вначале мне даже была приятна помощь в этой работе, потому что я завален делами моей общины, дома которой очень разбросаны, так что посещение больных и бедных вынуждает меня к разъездам, иной раз очень далеким. Жак умудрился сломать себе руку, катаясь на коньках во время рождественских каникул, которые он приехал провести вместе с нами,— дело в том, что в недавнее время он снова вернулся в Лозанну, где прежде проходил начальную школу, а сейчас поступил на богословский факультет. Перелом оказался не опасным, и Мартен, которого я тотчас же пригласил, сумел вправить кость, не прибегая к помощи хирурга; но соблюдение необходимых предосторожностей заставляло его сидеть дома. Он вдруг начал интересоваться Гертрудой, на которую до сих пор не обращал внимания, и взялся помогать мне обучать ее чтению. Он помогал мне лишь во время своего выздоровления, около трех недель, но за этот период Гертруда сделала значительные успехи. Теперь ее охватило необыкновенное рвение. Казалось, что ум ее, еще вчера погруженный в дрему, с первых же шагов, еще раньше, чем научился ходить, пожелал уже бегать. Я удивлялся, как легко она формулирует свои мысли и как быстро научилась выражаться, и отнюдь не по-детски, а вполне правильно, пользуясь для наглядной передачи своей мысли — и притом самым для нас неожиданным и забавным образом — или теми предметами, которым ее только что обучили, или тем, что мы ей рассказывали или описывали, в случае невозможности предоставить ей непосредственно самую вещь: дело в том, что при объяснении предметов, для нее недоступных, мы, подражая методам телеметража, пользовались вещами, которые она могла воспринять или осязать.

Я не нахожу нужным отмечать здесь начальные ступени этого обучения, тем более, что они, вероятно, имеют место при обучении всех слепых. Думаю, что в каждом отдельном случае вопросы, связанные с цветами, ставили каждого учителя перед одними и теми же затруднениями. (В связи с этим мне пришлось отметить, что в Евангелии нигде не упоминается о цветах.) Не знаю, как в таких случаях поступали другие; что до меня, я начал с перечисления цветов спектра в том порядке, в каком их нам показывает радуга; но сейчас же в сознании Гертруды произошло смешение между окраской и светом; и я начал себе уяснять, что ее воображение было не в силах установить различие между свойством оттенка и тем, что художники, если не ошибаюсь,

называют «колером». Ей стоило огромного труда уяснить себе, что каждый цвет может быть в свою очередь более темным и что цвета могут до бесконечности смешиваться между собой. Ничто еще так ее не озадачивало, и она беспрестанно возвращалась к этой теме.

Между прочим, мне удалось съездить с ней в Невшатель, где я дал ей возможность послушать концерт. Место каждого инструмента в симфонии позволило мне вернуться к вопросу о цветах. Я обратил внимание Гертруды на различие в звучании медных, деревянных и струнных и на то, что каждый из них способен по-своему передавать, с большей или меньшей силой, всю гамму звуков — от низких до самых высоких. Я предложил ей по аналогии представить себе, что в природе красная и оранжевая окраска соответствует звучанию рожков и тромбонов; желтые и зеленые — скрипкам, виолончелям и контрабасам; фиолетовые и синие — кларнетам и гобоям. Какое-то внутреннее восхищение заменило с тех пор ее сомнения.

— Как это должно быть красиво! — повторяла она.

И потом вдруг:

— Ну, а как же белое? Я не представляю себе, на что похоже белое...

И мне сразу стало ясно, в какой мере мое сравнение оказалось неубедительным.

— Белое,— попробовал я все-таки сказать,— есть предельная высота, на которой все тона смешиваются, подобно тому, как черное представляет их наиболее низкий предел.— Но тут же и я, и она отказались от этого сравнения, поскольку Гертруда заметила, что и деревянные, и медные, и скрипки явственно отличаются друг от друга как на самых низких, так и на самых высоких нотах. Сколько раз, совсем как тогда, мне приходилось вначале молчать, теряться и размышлять, каким бы мне сравнением воспользоваться.

— Ну ладно,— сказал я ей под конец,— ты можешь представить себе белое как нечто беспримесно чистое, нечто, вовсе не содержащее в себе цвета, а один только свет; черное же, напротив, перегружено цветом до того, что делается совсем затемненным.

Я привожу эти обрывки разговора в качестве примера трудностей, на которые я наткнулся очень часто. Гертруда обладала тем приятным свойством, что никогда не делала вида, что все понимает, а это часто случается с людьми, которые засоряют таким образом свою голову неточными и смутными сведениями, отчего все их рассуждения

оказываются со временем порочными. До тех пор, пока она не составляла себе вполне ясного представления, каждое сведение являлось для нее причиной волнений и борьбы.

Что касается моих аналогий, то трудность увеличивалась еще от того, что понятия цвета и тепла теснейшим образом переплетались в сознании, так что впоследствии мне пришлось положить немало трудов для того, чтобы их разъединить.

Таким образом, я убедился на ее примере, до какой степени зрительный мир отличается от мира звуков, в какой мере всякое сравнение, привлекаемое для объяснения одного с помощью другого, оказывается несостоятельным.

29 февраля

Усердно занявшись моими сравнениями, я ничего еще не сказал о том огромном удовольствии, которое получила Гертруда на невшатальском концерте. Там исполняли не что иное, как «Пасторальную симфонию». Я сказал «не что иное», потому что нет такого произведения,— и это вполне понятно,— с которым мне так хотелось бы ее познакомить. Долгое время после того, как мы вышли из концертного зала, Гертруда все еще не нарушала молчания и, по-видимому, утопала в восторге.

— Неужели то, что вы видите, в самом деле так же прекрасно, как это? — проговорила она наконец.

— Так же прекрасно, как что, моя милая?

— Как сцена на берегу ручейка?

Я ей ответил не сразу, невольно задумавшись, что все эти несказанные созвучия изображали мир не таким, как он есть, а таким, каким он мог быть, каким он мог бы стать без существования зла и греха. Кстати, я ни разу еще не нашел в себе мужества поговорить с Гертрудой о зле, о грехе, о смерти.

— Люди, имеющие глаза,— сказал я наконец,— сами не знают о своем счастье.

— А я, не имеющая глаз,— вскричала она в ту же минуту,— знаю, какое счастье — слушать.

Она прижалась ко мне на ходу и повисла у меня на руке, как делают маленькие дети:

— Пастор, разве вы не чувствуете, как я счастлива? Я говорю это не для того, чтобы вам было приятно, о, нет! Посмотрите на меня: разве нельзя увидеть по лицу, когда

человек говорит неправду? О, я отлично узнаю это по голосу. Помните тот день, когда вы мне сказали, что вы не плачете, вскоре после того, как тетушка (так она называла мою жену) упрекнула вас в том, что вы ничего не хотите для нее сделать. Я вскричала про себя: «Пастор, вы лжете!» О, я сразу различила по голосу, что вы не говорите мне правду. Мне даже незачем было прикасаться к вашим щекам, чтобы узнать, что вы плакали.— И она громким голосом повторила: — Мне даже незачем было прикасаться к вашим щекам.

Я покраснел, так как мы находились еще в городе, и прохожие обернулись. А она тем временем продолжала:

— Не следует даже пытаться склонять меня этому верить, знаете? Во-первых, потому что было бы нечестно пытаться обмануть слепую... А затем еще потому, что из этого бы ровно ничего не вышло,— прибавила она со смехом.— Скажите мне, пастор, вы ведь не несчастны, не правда ли?

Я поднес ее руку к своим губам, желая дать ей почувствовать без лишних слов, что известной долей этого счастья является она сама, и тут же ответил:

— О, нет, Гертруда, я счастлив. Отчего бы мне быть несчастным?

— Однако иногда вы плачете?

— Иногда я плакал.

— Но не после того раза, о котором я говорю?

— Нет, после этого я не плакал.

— И у вас не было больше желания плакать?

— Нет, Гертруда.

— Скажите еще... у вас не появлялось потом желания мне солгать?

— Нет, дитя мое.

— Можете ли вы мне обещать, что вы никогда не станете меня обманывать?

— Обещаю тебе.

— Хорошо! А теперь скажите мне сию же минуту: я хорошенькая?

Этот неожиданный вопрос поставил меня в тупик, тем более, что до сегодняшнего дня я совершенно не желал обращать внимание на ее неоспоримую красоту; мало того, мне показалось совершенно ненужным делом, что она этим заинтересовалась.

— К чему тебе это знать? — поспешно спросил я.

— Я делаю это из щепетильности,— сказала она.— Мне хотелось бы знать, не очень ли я...— как это вы

говорите? — не очень ли я детонирую в симфонии? Кого же мне об этом спросить, пастор?

— Пастору не приходится придавать значение красивой наружности, — заметил я, защищаясь по мере сил.

— Почему?

— Потому что ему бывает достаточно одной душевной красоты.

— Вам хочется заставить меня думать, что я безобразна, — сказала она с очаровательной гримаской. Я не удержался и воскликнул:

— Гертруда, вы сами прекрасно знаете, что вы красивы.

Она замолчала, и на лице у нее появилось очень серьезное выражение, которое не покидало ее до самого возвращения домой.

Едва мы вернулись, как Амелия нашла случай дать мне понять, что она не одобряет моей поездки. Конечно, она могла бы заявить об этом раньше, но, согласно своему обыкновению ничему не препятствовать, она позволила нам сначала уехать для того, чтобы потом получить право осудить. Она, собственно говоря, не сделала мне ни одного упрека, но самое ее молчание было красноречиво. Разве неестественно было справиться о том, что мы слушали, раз ей было отлично известно, что мы с Гертрудой отправились на концерт? Разве девочка не почувствовала бы больше радости, услышав, что к посещению ею концерта проявляется некоторый интерес? Впрочем, нельзя сказать, чтобы Амелия все время молчала, но она, видимо, с совершенно определенным умыслом старалась говорить о самых безразличных вещах. И только поздно ночью, после того как дети отправились спать, я отвел ее в сторону и строго спросил:

— Ты недовольна тем, что я сводил Гертруду в концерт?

В ответ я услышал:

— Ты делаешь для нее то, чего никогда бы не сделал ни для кого из нас.

Итак, все время одна и та же обида, все то же неумение понять, что праздник устраивается для ребенка, вернувшегося со стороны, а не для тех, кто оставался дома, — как говорит нам притча. Мне было больно и от того, что Амелия не приняла во внимание увещья Гертруды, для которой никаких других праздников не существовало. И если у меня сегодня случайно оказалось свободное время, у меня, человека всегда очень занятого, то упрек Амелии был тем более

несправедлив, что она хорошо знала, как были сегодня заняты наши дети: у одного — срочная работа, у другого — неотложное дело; сама же Амелия совершенно не интересовалась музыкой, так что, если бы она свободно располагала временем, и тогда ей никогда не пришло бы в голову отправиться на концерт, хотя бы он устраивался у самых дверей нашего дома.

Но еще больше огорчило меня, что Амелия решила высказать все это в присутствии Гертруды; хоть я и отвел ее несколько в сторону, но она нарочно повысила голос для того, чтобы Гертруда ее слышала. Меня терзала не грусть, а скорее негодование, и через несколько минут, когда Амелия удалилась, я подошел к Гертруде, взял ее маленькую хрупкую ручку, поднес ее к лицу и сказал:

— Ты видишь, на этот раз я не плакал.

— О, да, но на этот раз — моя очередь, — сказала она, выжимая из себя улыбку, и, когда она подняла ко мне свое прекрасное лицо, я вдруг заметил, что все оно залито слезами.

8 марта

Единственное удовольствие, которое я мог бы доставить Амелии, — это воздерживаться от вещей, которые ей не нравятся. Только такие, только отрицательные доказательства любви она мне позволяет. Что она до последней степени обеднила мою жизнь, это она вряд ли себе представляет. Дай Господи, чтобы она когда-нибудь потребовала от меня трудного подвига. С какой бы радостью сделал я для нее что-нибудь неслыханно смелое, опасное! Но ее, видимо, отталкивает все, что не связано с повседневностью, так что жизненный рост рисуется ей прибавлением к прошлому неизменно одинаковых дней. Ей не хотелось бы, она не приняла бы от меня не то что новой добродетели, но хотя бы только углубления добродетели уже известной. С беспокойством, если не с осуждением, смотрит она на каждый душевный порыв, усматривающий в христианстве не одно только обуздание инстинктов.

Сознаюсь, что по прибытии в Невштель я так и не сходил расплатиться с нашей суровщицей, как просила меня Амелия, и не привез ей коробку ниток. Но за это я потом так рассердился на себя, что сама она, наверное, сердилась бы не больше; тем более, что я дал себе твердое слово не забыть, памятуя, что «кто проявляет верность

в малых делах, проявит ее и в великих», а кроме того, я заранее страшился выводов, которые она могла бы сделать из этой забывчивости. Мне определенно хотелось, чтобы она меня как-нибудь попрекнула, ибо в данном случае мне было бы поделом. Но так уже обычно бывает, что мнимая обида берет верх над конкретной виной; о, как чудесна была бы жизнь, если бы мы довольствовались одними реальными бедствиями, не преклоняя слуха к призракам и химерам нашего ума... Впрочем, я, кажется, начинаю записывать сюда вещи, которые отлично могли бы послужить темой для проповеди (Лука, XII, 29 «Не питайте помыслы неспокойные»). А я ведь решил заносить сюда историю умственного и морального развития Гертруды. Продолжаю.

Я думал, что буду в силах проследить это развитие шаг за шагом, и начал свой рассказ с большими подробностями. Но помимо того, что у меня нет времени детально описать все фазы этого развития, мне необыкновенно трудно установить теперь его точную последовательность. Отдавшись течению рассказа, я сначала изложил мысли Гертруды, затем наши беседы, уже сравнительно недавние, и всякий, кто случайно прочтет эти страницы, будет несомненно поражен, узнав, как скоро она научилась правильно выражаться и мыслить вполне основательно. Дело в том, что развитие ее отличалось поразительной быстротой: я часто изумлялся, с какой стремительностью ловит она ту интеллектуальную пищу, которую я ей подносил, и все то, чем она могла овладеть, усваивая ее в результате неослабной работы сравнения и внутреннего созревания. Она вызывала мое удивление тем, что постоянно угадывала или опережала мою мысль, и часто за период от одного разговора к другому я почти не узнавал своей ученицы.

По истечении нескольких месяцев никак нельзя было бы предположить, что мысль ее столь долгое время пребывала в дремоте. Она высказывала даже бóльшую зрелость суждения, чем это свойственно большинству молодых девушек, отвлекаемых соблазнами внешнего мира и рассеивающих лучшую часть своего внимания на бесчисленные вздорные занятия. А кроме того, она, по-видимому, была много старше, чем нам сначала показалось. Можно было подумать, что она старалась обратить себе на пользу свою слепоту, а я готов был признать, что во многих отношениях это увещье сообщало ей известные преимущества. Я невольно сравнивал ее с Шарлоттой, и, когда мне случалось иногда

повторять с моей дочерью уроки и наблюдать, как ум ее отвлекается при виде первой же пролетевшей по комнате мушки, я думал: «Странно, она несомненно лучше слушала бы меня, если бы была лишена зрения».

Само собою разумеется, Гертруда питала большое пристрастие к чтению: я же, верный своей заботе возможно чаще сопровождать работу ее мысли, не желал, чтобы она много читала, или, вернее, чтобы она много читала без меня, в особенности же Библию,— желание, пожалуй, очень странное для протестанта. Я вернусь еще к этой теме, но прежде чем приступить к столь важному вопросу, мне хочется рассказать один мелкий случай, связанный с музыкой, случай, имевший место — если я правильно вспоминаю — некоторое время спустя после невшательского концерта.

Да, концерт этот мы посетили, по-видимому, недели за три до летних каникул, на которые Жак снова приехал домой. В этот промежуток времени мне несколько раз случилось оставлять Гертруду у небольшой фисгармонии в нашей часовне; за инструментом обычно у нас сидит мадемуазель де ла М., у которой Гертруда теперь живет. Луиза де ла М. еще не начинала музыкальных занятий с Гертрудой. Несмотря на всю мою любовь к музыке, я ее толком не знаю, и потому чувствовал себя малоспособным показать что-нибудь моей ученице в те разы, когда я подсаживался рядом с ней к клавиатуре.

— Нет, оставьте,— сказала она при первых же сделанных мною попытках.— Я хочу упражняться одна.

И я оставил ее тем охотнее, что часовня казалась мне мало подходящим местом для того, чтобы сидеть там с Гертрудой наедине,— отчасти из уважения к святости места, отчасти из опасения сплетен, хотя с ними я, как правило, отнюдь не считаюсь; но в данном случае дело касалось девушки, а не одного лишь меня. Когда в моих пастырских обходах мне это бывало по пути, я доводил ее до церкви и оставлял там зачастую на долгие часы, а потом заходил за нею на обратном пути. И она терпеливо занималась, подыскивая созвучия, и вечером я заставал ее внимательно вслушивавшейся в какой-нибудь аккорд, погружавший ее в длительное восхищение.

В один из первых дней августа, тому будет чуть-чуть побольше полугода, я, не заставши дома бедной вдовы, которую мне хотелось сколько-нибудь утешить, повернул назад и зашел за Гертрудой в церковь, где я ее покинул; она

не ожидала меня так скоро, и я был крайне изумлен, застав вместе с нею Жака. Ни он, ни она не слышали моего прихода, так как слабый шум, произведенный мною, был покрыт звуками органа. По натуре своей я не склонен подслушивать, но вещи, касающиеся Гертруды, я принимал близко к сердцу; приглушая шум своих шагов, я крадучись взбежал по нескольким ступенькам лестницы, ведущей на кафедру: отличный наблюдательный пункт. Должен признаться, что я не услышал ни одного слова, которого оба они не могли бы свободно сказать при мне. Но Жак стоял возле нее, и я видел, как несколько раз он протягивал руку, направляя пальцы Гертруды по клавишам. Разве не странно, что она принимала указания и руководство, которые еще недавно находила совершенно излишними? Я был поражен и огорчен гораздо сильнее, чем мне хотелось, и приготовился было вмешаться, но тут заметил, что Жак вдруг посмотрел на часы.

— Мне нужно тебя покинуть, — сказал он, — отец скоро вернется.

Я видел, как он поднес к губам ее руку, которую она не отняла; он вышел. Через несколько минут я бесшумно спустился по лестнице, открыл церковную дверь с таким расчетом, чтобы Гертруда могла услышать и подумать, что я только что возвратился.

— Ну, Гертруда, пора идти. А как твой орган? Хорошо?

— О, да, очень хорошо, — сказала она мне самым обыкновенным голосом, — сегодня я безусловно сделала некоторые успехи.

Глубокая грусть наполнила мое сердце, но ни я, ни она ни одним словом не обмолвились о только что описанной сцене.

Мне не терпелось остаться наедине с Жаком. Жена, Гертруда и дети имели обыкновение уходить вскоре после ужина и предоставляли нам обоим сидеть за занятиями до позднего часа. Я дожидался этой привычной минуты. Но когда пришло время начать разговор, я почувствовал, что сердце мое переполнено тревожными чувствами, и я не сумел, вернее, не осмелился затронуть мучительную для меня тему. Первым нарушил молчание Жак, неожиданно заявив о своем желании провести все каникулы вместе с нами. Между тем несколько дней тому назад он сообщил

о своем намерении сделать поездку в Высокие Альпы¹, которую я и жена горячо одобрили; я знал, что его ждет Т., его товарищ, намеченный им в спутники, поэтому эта внезапная перемена показалась мне стоящей в связи со сценой, которую я недавно обнаружил. Меня сразу охватило глубокое негодование, но я испугался, что, если я дам волю своему чувству, мой сын наглухо замкнется в себе; я опасался также и того, что мне придется раскаиваться в допущенных резкостях, а поэтому, сделав над собой усилие, я самым естественным тоном спросил:

— А я думал, что Т. на тебя твердо рассчитывает.

— О, нет,— возразил он,— Т. на меня твердо не рассчитывал, и к тому же он несколько не огорчится, если с ним поедет другой. Я отдохну здесь не хуже, чем в Альпах, и думаю, что я употреблю свое время на что-нибудь более полезное, чем лазанье по горам.

— Одним словом,— заметил я,— ты нашел себе здесь занятие.

Он взглянул на меня, почуяв в моем голосе легкую иронию, но, не угадывая еще ее основания, непринужденным тоном сказал:

— Вы же знаете, что книгу я всегда предпочитал палке альпиниста.

— О, да, мой друг,— произнес я и тоже пристально посмотрел на него: — но не находишь ли ты, что уроки игры на фисгармонии занимают тебя еще больше, чем чтение?

Жак, верно, почувствовал, что краснеет, потому что поднес руку ко лбу, точно желая загородиться от света лампы. Но он быстро оправился и голосом, в котором мне приятно было бы слышать меньше уверенности, произнес:

— Не осуждайте меня чересчур строго, отец. У меня не было намеренья таиться от вас; вы на несколько минут предупредили признание, которое я собирался вам сделать.

Он говорил с расстановкой, точно читая по книге, и округлял фразы с таким спокойствием, что казалось, будто речь шла совсем не о нем. Проявленное им исключительное самообладание вывело меня из себя. Чувствуя, что я хочу говорить, он поднял руку, точно желая сказать: погодите, вы еще успеете высказаться, дайте мне сначала докончить; но я схватил его за плечо и сильно встряхнул его:

— Если я увижу, что ты заронил тревогу в чистую душу

¹ Один из департаментов Франции на границе с Швейцарией. (Прим. пер.)

Гертруды,— бурно вскричал я,— я не желаю тебя больше видеть! Мне не нужны твои признания! Злоупотребить увечьем, невинностью, чистотой — это такая гнусная подлость, на которую я никогда не считал тебя способным, и ты еще говоришь об этом с таким отвратительным хладнокровием!.. Слушай внимательно: я опекаю Гертруду и ни одного дня больше не потерплю, чтобы ты с ней разговаривал, прикасался к ней, ее видел!

— Отец,— продолжал он все тем же спокойным тоном, который выводил меня из терпения,— знайте, что я уважаю Гертруду ничуть не меньше, чем вы. Вы глубоко заблуждаетесь, усматривая хотя бы крупницу предосудительности, я не говорю уже в моем поведении, но даже в моих намерениях или в глубине моего сердца. Я люблю Гертруду и уважаю ее,— уверяю вас, ничуть не меньше, чем люблю. Мысль о том, чтобы смутить ее, злоупотребить ее невинностью и слепотой представляется мне такой же отвратительной, как и вам.— Он заявил мне, что хочет быть для нее опорой, другом и мужем, но что он не находил нужным оповещать меня до того, как его решение жениться на девушке еще не было принято; что, наконец, сама Гертруда еще ничего не знает об этом решении, так как он желал предварительно переговорить со мной.— Вот признание, которое я собирался вам сделать, поверьте, мне больше нечего вам открывать.

Слова эти повергли меня в глубокое изумление. У меня стучало в висках. Я приготовился к упрекам и по мере того, как он отнимал у меня всякий повод к негодованию, чувствовал себя все более безоружным, так что к концу его речи я ничего не нашелся сказать.

— Идем спать,— заметил я под конец, после длительного молчания. Я поднялся и положил руку ему на плечо.— Завтра я скажу тебе, что я об этом думаю.

— Скажите мне, по крайней мере, что вы на меня больше не сердитесь.

— Мне потребуется ночь для размышления.

Когда я встретился с Жаком на следующий день, мне серьезно показалось, что я увидел его в первый раз. Я вдруг уяснил себе, что мой сын уже не мальчик, а молодой человек; пока я считал его мальчиком, его любовь, которую я случайно открыл, представлялась мне чем-то чудовищным. Я провел целую ночь, убеждая себя, что все это было, напротив, вполне естественно и нормально. Чем же объяс-

нить, что недовольство мое сделалось от этого еще более острым? Все это объяснилось для меня значительно позже. А пока что мне предстояло переговорить с Жаком и объявить ему мое решение. Какой-то инстинкт, не менее непогрешимый, чем совесть, подсказывал мне, что необходимо во что бы то ни стало помешать этому браку.

Я увлек Жака в глубину сада. Там я его сразу спросил:

— Ты открылся Гертруде в своем чувстве?

— Нет,— ответил он.— Возможно, что она сама догадывается о моей любви, но я ей ничего не говорил.

— В таком случае дай мне слово, что ты не будешь с ней об этом заговаривать.

— Отец, я твердо решил вас слушаться, но не могли бы вы мне объяснить ваши мотивы?

Я затруднился ему их назвать, не будучи уверен, что слова, приходившие мне в голову, окажутся наиболее подходящими в эту минуту. Сказать по правде, совесть гораздо больше, чем разум, подсказывала мне тогда мое поведение.

— Гертруда еще очень молода,— сказал я наконец.— Подумай, что она не была еще у причастия. Тебе известно, что она не похожа на обыкновенных девушек и что развитие ее было очень поздним. Она несомненно окажется излишне чувствительной — при ее-то доверчивости! — к первым же словам любви, которые услышит. Именно поэтому не следует ей говорить. Овладевать тем, кто не может защищаться,— подло; я знаю, что ты не подлец. Ты говоришь, что в чувствах твоих нет ничего предосудительного; я же считаю их преступными, потому что они преждевременны. Гертруда еще не обладает благоразумием, а потому мы обязаны проявить его вместо нее. Это дело нашей совести.

У Жака есть одна великолепная черта; для того, чтобы его удержать, нужно сказать ему: «я обращаюсь к твоей совести»; мне часто приходилось прибегать к этому средству в его детские годы. Между тем я поглядывал на него и думал, что, если бы Гертруда могла его видеть, ей несомненно понравилась бы эта высокая, стройная фигура, прямая и вместе с тем гибкая, красивый лоб без морщин, прямой взгляд, его детское лицо, на котором уже проступала несколько неожиданная серьезность. Он был без шляпы, и его пепельные волосы, которые в то время были у него довольно длинные, слегка вились на висках, наполовину скрывая уши.

— Вот о чем я хочу еще тебя попросить,— начал я, вставая со скамьи, на которой мы оба сидели,— ты говорил

о своем намерении выехать послезавтра, и я прошу тебя не откладывать поездки. Ты собирался провести в отсутствие целый месяц; прошу тебя ни на один день не сокращать своего путешествия. Согласен?

— Да, отец, я подчиняюсь.

Мне показалось, что он тогда сильно побледнел, так что даже губы его совсем потеряли краску. Но это быстрое согласие я истолковал как знак того, что любовь его была еще недостаточно сильной; мысль эта принесла мне несказанное облегчение. А кроме того, я был умилен его послушанием.

— Я снова узнаю своего любимого мальчика,— тихо сказал я ему и, прижав его к себе, коснулся губами его лба. Я почувствовал, что он чуть-чуть отстранился, но я не захотел на него обижаться.

10 марта

Наш домик так мал, что нам приходится невольно делать все на глазах друг у друга, и иногда это довольно-таки стесняет мою работу, хотя я закрепил за собой в первом этаже маленькую комнату, где я могу оставаться один и принимать посетителей. Особенно же это стесняет, когда мне хочется поговорить с кем-нибудь из домашних наедине, не придавая, однако, беседе чересчур официального характера, как это несомненно бы вышло у меня в приемной, про которую дети шутя говорят: «святое место», куда нам вход воспрещается. Но сегодня утром Жак уехал в Невшатель, где ему нужно купить себе башмаки для экскурсии, а так как погода выдалась прекрасная, дети после завтрака ушли из дому вместе с Гертрудой, которую они водят и которая заодно водит и их самих. (Мне приятно попутно отметить, что Шарлотта относится к ней с исключительной предупредительностью.) Вполне естественно, что я остался один с Амелией как раз в такое время, когда мы пили чай у себя в столовой. Я этого именно и желал, так как мне очень нужно было с нею поговорить.

Мне так редко случается оставаться с нею с глазу на глаз, что я ощутил в себе какую-то робость, и серьезность вещей, о которых мне предстояло ей говорить, повергала меня в смущение, как если бы дело шло не о признаниях Жака, а о моих собственных. Я почувствовал также, прежде чем начать говорить, до какой степени два существа, живущие как-никак одной общей жизнью и даже любящие один

другого, могут быть (или стать) непонятными и как бы замурованными друг для друга; в подобных случаях слова — те ли, которые мы сами обращаем к другому, или те, с которыми обращаются к нам,— звучат жалостно, как удары зонда, предупреждающего нас о сопротивлении раздельной ткани, которая, если на нее не обращать внимания, грозит уплотниться все больше...

— Вчера вечером и сегодня утром у меня был разговор с Жаком,— начал я в то время, как она разливала чай; и мой голос дрожал в такой же мере, в какой голос Жака вчера звучал уверенно.— Он сказал мне, что любит Гертруду.

— Он отлично сделал, что с тобой поговорил,— заметила она, не глядя на меня и продолжая свои хозяйственные занятия, как если бы я рассказал ей самую заурядную вещь и при этом не сообщил ничего нового.

— Он сказал, что хочет жениться на ней; его решение...

— Это можно было предвидеть,— пробормотала она, пожав логонько плечами.

— Значит, ты кое-что подозревала? — спросил я с некоторой нервозностью.

— Видно было, что это началось уже очень давно. Но таких вещей мужчины обыкновенно не замечают.

Так как спорить с ней было бесполезно и так как слова ее содержали в себе, пожалуй, известную долю правды, я просто ей возразил:

— В таком случае, тебе безусловно следовало меня предупредить.

Она улыбнулась той слегка кривившей уголок рта улыбкой, которая часто сопровождала и прикрывала ее умалчивания, и склонила голову набок:

— Что бы это было, если бы я стала тебя предупреждать обо всем, чего ты не видишь!..

Что значил этот намек? Я этого не знал и, не желая ни о чем допытываться, пропустил ее слова мимо ушей.

— Одним словом, я хотел бы услышать твое мнение.

Она вздохнула и сказала:

— Друг мой, ты знаешь, что я никогда не одобряла присутствия этой девушки в нашем доме.

Я с трудом удержался от вспышки при этом намеке на недавнее прошлое.

— Речь идет не о присутствии здесь Гертруды,— ответил я; но Амелия уже продолжала:

— Я всегда находила, что из этого ничего, кроме неприятностей, не выйдет.

Искренно желая избежать ссоры, я подхватил на лету ее фразу:

— Значит, брак этот представляется тебе неприятным? Как раз это мне и хотелось от тебя услышать; очень рад, что мы, наконец, сходимся во мнениях.— Я прибавил еще, что Жак к тому же, вероятно, подчинился доводам, которые я ему привел, так что ей больше не о чем волноваться; мы с ним условились, что он завтра же отправится в свою поездку, которая продлится целый месяц.

— Так как я подобно тебе нисколько не заинтересован в том, чтобы ко времени возвращения Жака Гертруда находилась у нас,— вставил я под конец,— я подумал, что самое лучшее будет устроить ее у мадемуазель де ла М., у которой я по-прежнему смогу с ней видаться; мне не к чему скрывать, что я связан самыми серьезными обязательствами по отношению к этой девочке. Недавно я заходил предупредить ее новую хозяйку, которая охотно соглашается оказать нам услугу. Тем самым ты тоже освободишься от присутствия человека, который тебе в тягость. Луиза де Ла М. будет смотреть за Гертрудой; она, видимо, в восторге от этого предложения; она заранее радуется, что будет давать ей уроки гармонии.

Амалия, видимо, дала себе слово хранить глубокое молчание, а потому я снова заговорил:

— Так как Жаку не следует позволять видаться с Гертрудой вне стен нашего дома, я полагаю, что недурно было бы предупредить мадемуазель де ла М. относительно содвигшегося положения. Как ты думаешь?

Я пытался своими вопросами добиться хоть слова от Амелии, но она плотно сжимала губы, словно поклявшись, что ничего не ответит. А я все продолжал, и не потому, что хотел еще что-нибудь добавить, а потому что молчание ее сделалось для меня невыносимым.

— Впрочем, возможно, что Жак вернется из поездки излечившимся от своей любви. Разве в его годы люди отдают себе отчет в своих чувствах?

— О, иногда и в гораздо более зрелые годы они не отдают себе в них отчета,— как-то странно заметила она наконец.

Ее загадочный и наставительный тон раздражал меня, тем более что я по натуре человек ума трезвого и не легко мирюсь со всякого рода таинственностью. Повернувшись к ней, я попросил ее объяснить, что она хотела сказать своими словами.

— Ничего, друг мой,— грустно проронила она.— Я только подумала о только что выраженном тобой желании, чтобы тебя предупреждали в тех случаях, когда ты сам чего-нибудь не замечаешь.

— Ну, и что же?

— Ну, и вывела заключение, что предупредить человека не так-то легко.

Я говорил уже, что терпеть не могу таинственности и из принципа не допускаю никаких недомолвок.

— Если ты хочешь, чтобы я тебя понимал, постарайся выражать свои мысли яснее,— проговорил я, несомненно, несколько грубым тоном, в чем тотчас же раскаялся, так как заметил, что губы Амелии на мгновение задрожали. Она отвернулась, встала с места и сделала несколько неуверенных, почти шатающихся движений по комнате.

— Скажи мне, Амелия,— проговорил я,— стоит ли все время расстраиваться и теперь, когда все исправлено?

Я чувствовал, что мой взгляд ее стесняет, и поэтому следующую фразу произнес, повернувшись спиной, положив локоть на стол и опустив голову на руку:

— Я говорил с тобой сейчас очень резко. Прости.

И вдруг я услышал, что она подходит ко мне: я почувствовал, как ее пальцы легко легли мне на лоб, и в то же время она нежно проговорила голосом, полным слез:

— Мой бедный друг!

И затем сию же минуту вышла из комнаты.

Фразы Амелии, казавшиеся мне в то время загадочными, вскоре для меня разъяснились; я воспроизвел их в том же виде, в каком их воспринял впервые; в тот день я понял только одно: Гертруде настало время уехать.

12 марта

Я вменил себе в обязанность каждый день уделять немного времени Гертруде; в зависимости от загруженности моего дня иногда это составляло несколько часов, иногда несколько минут. На следующий день после моей беседы с Амелией я был довольно свободен, погода выдалась прекрасная, и я увлек Гертруду в лес к тому отрогу Юры, где сквозь завесу ветвей, за огромной отлогой равниной, взгляду в ясную погоду открывается поверх легкого тумана чудесное зрелище белоснежных Альп. Солнце уже клонилось к западу влево от нас, когда мы добрались до места, где обычно любили сидеть. Луг с короткой и густой травой спускался

к нашим ногам; недалеке паслись коровы; у каждой из них, как это принято в горах, на шее висел колокольчик.

— Они как бы рисуют пейзаж,— сказала Гертруда, прислушиваясь к позвякиванию бубенцов.

Она попросила меня, как на всякой прогулке, описать ей местность, где мы проходили.

— Но ведь ты и без того знаешь: это опушка, откуда виднеются Альпы.

— А их хорошо видно сегодня?

— Они видны сейчас в полном великолепии.

— Вы мне говорили, что они каждый день бывают разные.

— С чем можно было бы их сегодня сравнить? С жаждой, которую испытываешь в летний день. Еще до вечера они окончательно истают в воздухе.

— Скажите, пожалуйста, а что, на лугу перед нами есть лилии?

— Нет, Гертруда, лилии не растут на таких высотах, разве какие-нибудь чрезвычайно редкие их виды.

— Но не те, которые называются лилии полей?

— Лилий на полях не бывает.

— Даже на полях в окрестностях Невшателя?

— Лилий на полях не бывает.

— А почему же тогда Господь сказал: «Взгляните на лилии полей?»

— Очевидно, в его времена они там были, поскольку он так говорил, но от посевов человека все они вымерли.

— Помнится, вы часто мне говорили, что здесь, на земле, мы больше всего нуждаемся в любви и вере. Как вам кажется, если бы у людей было больше веры, не могли бы они снова видеть лилии? Вот я, когда слышу эти слова, уверяю вас, я вижу эти цветы. Хотите, я их вам сейчас опишу? Они похожи на колокольчики из пламени, большие лазоревые колокольчики, полные ароматов любви, качаемые вечерним ветром. Почему вы говорите, что их нет? Здесь, на лугу перед нами? Я их обоняю. Я вижу, что они покрывают весь луг.

— Они не прекраснее тех цветов, которые ты видишь.

— Но скажите, они ведь не хуже?

— Они так же прекрасны, как цветы, которые ты видишь.

— «Истинно говорю вам, что даже Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них»,— привела она слова Христа, и, слушая ее мелодичный голос, я поддавался впечатлению, будто слышу их в первый раз.— «Во

всей славе своей», — задумчиво повторила она и некоторое время сидела молча.

Я начал:

— Я уже тебе говорил, Гертруда: люди, обладающие глазами, не умеют смотреть. — И я услышал, как из глубины моей души поднялась во мне такая молитва: «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты явил нищим духом то, чего не открываешь премудрым!»

— Если б вы знали, — вскричала она тогда в каком-то шутовском возбуждении, — о, если б вы только знали, с какой легкостью я все это себе представляю! Вот что, хотите я опишу вам пейзаж?.. Сзади нас, сверху и вокруг стоят высокие, пахнущие смолою, сосны, с красными стволами, с длинными темными горизонтальными ветками, которые стонут, когда их сгибает ветер. У наших ног, как раскрытая книга, наклонно лежащая на пюпитре горы, большой зеленый и пестрый луг, то синий от тени, то золотистый от солнца, а словами этой книги являются цветы: горечавка, ветреница, лютики и пышные лилии Соломона, которые коровы разбирают по складам своими колокольцами и которые слетаются читать ангелы, поскольку глаза людей, как вы сказали, закрыты. А под книгой я вижу молочную реку, туманную, мгlistую, таящую таинственную пучину, огромную реку; и нет у нее других берегов, кроме прекрасных сияющих Альп, там далеко-далеко прямо перед нами... Туда-то и отправится Жак... Скажите, он действительно уезжает завтра?

— Да, он должен уехать завтра. Он тебе это сказал?

— Он мне ничего не говорил, но я догадалась. Он долго пробудет в отсутствии?

— Месяц... Гертруда, мне хотелось спросить тебя... Почему ты мне не рассказала, что он приходил к тебе в церковь?

— Он приходил туда дважды. О, я не хочу ничего от вас скрывать; но я боялась вас огорчить.

— Ты огорчишь меня только в том случае, если будешь молчать.

Ее рука потянулась к моей.

— Ему было грустно уезжать.

— Скажи, Гертруда... он говорил, что любит тебя?

— Он мне не говорил, но я сама отлично это почувствовала без всяких слов. Он любит меня не так сильно, как вы.

— А ты сама, Гертруда, страдаешь от того, что он уезжает?

— Я думаю, что ему лучше уехать. Я не могла бы ответить ему взаимностью.

-- Ответь же: ты страдаешь от того, что он уезжает?

-- Вы отлично знаете, что я люблю вас, пастор... Ах, зачем вы отдернули вашу руку? Я не стала бы так говорить, если бы вы не были женаты. Слепых ведь не берут замуж. Почему бы нам, в таком случае, не полюбить друг друга? Скажите, пастор, неужели вы видите в этом что-нибудь дурное?

— В любви никогда не бывает дурного.

— Я ощущаю в своем сердце столько добра. Я не хотела, чтобы Жак страдал из-за меня. Я никому не хотела бы причинить страдания... Я хотела бы дарить одно лишь счастье.

— Жак имел в виду просить твоей руки.

— Вы позвольте мне поговорить с ним перед отъездом? Я хотела бы объяснить ему, что нужно отказаться от любви ко мне. Пастор, вы, наверное, сами понимаете, что я ни за кого не должна выходить замуж. Вы позвольте мне с ним поговорить? Не правда ли?

— Сегодня же вечером.

— Нет, завтра, перед самым отъездом...

Солнце садилось в ликующем великолепии. Вечер был теплый. Мы встали и, не прекращая беседы, двинулись по затененной дороге обратно.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

25 апреля

Мне пришлось на некоторое время запустить свою тетрадь.

Снег наконец стоял, и, как только дороги сделались снова проезжими, мне пришлось заняться исполнением многочисленных обязанностей, которые я вынужден был откладывать в течение всего времени, пока деревня наша была отрезана. Только вчера в моем распоряжении оказалось несколько минут свободного времени.

Вчера ночью я перечел все, что здесь написал...

Теперь, когда я смело могу назвать свое, в течение столь долгого времени не опознанное чувство, я с трудом понимаю, как я до сих пор мог еще заблуждаться, каким образом сообщенные мною выше слова Амелии могли мне казаться

загадочными; как после всех наивных признаний Гертруды я мог сомневаться, что люблю ее. Дело в том, что я тогда никак не соглашался признать существование любви вне брака, но в то же время не соглашался признать хотя бы крупицу чего-то запретного в чувстве, с такою пылкостью увлекавшем меня к Гертруде.

Наивность ее признаний, самое их простодушие успокаивало меня. Я говорил себе: она ребенок. Настоящая любовь была бы неразрывно связана с конфузливостью, с краской в лице. И, со своей стороны, я тоже убеждал ее, что люблю ее так, как любят вечного ребенка. Я смотрел за ней, как за больной, а самую ее тренировку превратил в моральный долг, в обязанность. И, конечно, в тот самый вечер, когда она говорила мне приведенные выше слова, когда я ощущал в душе такую легкость и радость,— я все еще заблуждался, как заблуждался и в момент записи ее слов. И потому именно, что я осуждал любовь и считал, что все предосудительное калечит душу, отсутствие тяжести на душе отстраняло самую мысль о любви.

Я привел все наши беседы не только в том виде, как они состоялись, но я и записал их в том самом настроении, которое у меня было тогда; сказать по правде — только сегодня ночью, перечитывая все мной написанное, я наконец правильно понял...

Сейчас же после отъезда Жака,— которому я разрешил объясниться с Гертрудой и который по возвращении провел здесь последние дни каникул, делая вид, что избегает Гертруду и говорит с ней только при мне,— жизнь наша вошла в обычную спокойную колею. Гертруда, как было решено, поселилась у Луизы, где я навещал ее каждый день. И все-таки я, страшась, очевидно, любви, старался не говорить с нею о вещах, способных ее растрогать. Я разговаривал с нею, как пастор, и чаще всего в присутствии Луизы, занимаясь прежде всего ее религиозным воспитанием и подготавливая ее к причастию, которого она сподобилась на пасхе.

В день пасхи я тоже причащался.

Все это имело место две недели тому назад. К моему изумлению, Жак, приехавший к нам на неделю весенних каникул, не предстал вместе со мной перед престолом. И с великою скорбью мне приходится сказать, что впервые за все время нашего брака Амелия тоже не присутствовала. Казалось, что они сговорились и своим отказом от этой торжественной встречи решили набросить тень на мою

радость. При этом я еще раз испытал удовольствие от того, что Гертруда не могла ничего видеть и что тем самым одному только мне пришлось выдержать тяжесть этого огорчения. Я слишком хорошо знаю Амелию, чтобы не уяснить себе, сколько упрека таило в себе ее поведение. Обычно она никогда не выступает против меня открыто, она старается показать мне свое осуждение, создавая вокруг меня пустоту.

Я был глубоко задет, что обида этого рода — такая, о которой мне, собственно, стыдно упомянуть, — могла до такой степени занять душу Амелии, что отвлекла ее от исполнения самого высокого долга. По дороге домой я молился за нее со всей искренностью моего сердца.

Что до Жака, то его отсутствие вызывалось мотивами совсем иного рода, которые для меня стали ясными после беседы, состоявшейся у нас вскоре после этого дня.

3 мая

Религиозное воспитание Гертруды заставило меня перечитать евангелие совсем по-новому. Для меня делается все более ясным, что огромное количество понятий, составляющих нашу христианскую веру, восходит не к словам самого Христа, а к комментариям апостола Павла.

Это и явилось, собственно, содержанием спора, который только что и произошел у меня с Жаком. При его суховатом от природы темпераменте, сердце не дает достаточно пищи для его мыслей: он становится догматиком и традиционалистом. Он упрекал меня в том, что из христианского учения я выбираю «только то, что мне нравится». Но я отнюдь не подбираю, как попало, слов Христа. Просто из них двоих — Христа и апостола Павла — я предпочитаю Христа. Из страха их противопоставить друг другу, Жак отказывается их разобщить, не хочет почувствовать огромную разницу в вдохновении одного и другого и протестует, когда я ему объясняю, что в первом случае я слышу Бога, а во втором слушаю человека. Чем больше Жак рассуждает, тем сильнее он убеждает меня в том, что абсолютно невосприимчив к неизъяснимо божественному звуку малейшего слова Христова.

Я ищу по всему евангелию, я тщетно ищу заповеди, угрозы, запрещения... Все это исходит только от апостола Павла. И как раз то, что он нигде не находит этого в словах самого Христа, всего больше мучает Жака. Люди с такой душой, как у него, считают себя погибшими, как только они

не чувствуют возле себя опеки, ограды или барьера. И кроме того, они не терпят в другом человеке свободы, которую сами они поступились, и стараются добиться принуждения того, что охотно было бы им отдано во имя любви.

— Но и я, отец мой, тоже желаю душе счастья.

— Нет, мой друг, ты хочешь ее подчинения.

— Но в подчинении как раз и заключается счастье.

Я оставляю за ним последнее слово, так как мне надо едет спорить из-за мелочей; но я твердо знаю, что счастье ставится под удар всякий раз, когда его добиваются с помощью средств, которые сами должны, напротив, являться результатом счастья,— и что, если верно, что любящая душа радуется своему добровольному подчинению, ничто так не отделяет от счастья, как подчинение без любви.

К слову сказать, Жак мыслит очень недурно; и если бы меня менее огорчало присутствие в столь юном уме такой доктринерской сухости, я бы, наверное, восхитился весомостью его доводов и солидностью его логики. Мне часто кажется, что я гораздо моложе его, что я сегодня моложе, чем был вчера, и я повторяю про себя слова писания: «Если вы не будете, как дети, вы не войдете в царствие небесное».

Неужели же это значит предать Христа, принизить и профанировать евангелие, если я усматриваю в нем в первую очередь, путь к достижению блаженства? Радость духа, которой мешают наши сомнения и жестокосердие, является чем-то обязательным для христианина. Каждое существо более или менее способно к радости. Каждое существо обязано к ней стремиться. Одна улыбка Гертруды учит меня этому гораздо лучше, чем ее все мои поучения.

И предо мной светоносно встали следующие слова Христа: «Если бы вы были слепыми, вы были бы без греха». Грех есть то, что помрачает душу, что препятствует ее радости. Совершенное счастье Гертруды, излучаемое всем ее существом, проистекает из того, что она не знает греха. Все в ней один свет, одна любовь.

Я передал ей, в ее пытливые руки, четыре евангелия, псалмы, апокалипсис и три послания Иоанна, где она может прочесть: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы», равно как уже в евангелии она могла встретить слова Спасителя: «Я свет мира, и кто со мной, не будет ходить во тьме». Я отказываюсь, однако, давать ей послание Павла, ибо если она, как слепая, не знает вовсе греха, к чему тогда беспокоить ее и позволять ей читать: «Грех становится

крайне грешен посредством заповеди» (Римл., VII, 13) и всю дальнейшую диалектику, несмотря на весь ее блеск?

8 мая

Вчера из Шо-де-Фона приехал доктор Мартен. Он долго обследовал глаза Гертруды с помощью офтальмоскопа. Он сообщил мне, что говорил о Гертруде с доктором Ру, лозанским специалистом, которому собирается представить свои наблюдения. Оба они считают, что Гертруде можно сделать операцию. Мы уговорились, однако, ни слова не говорить Гертруде до тех пор, пока у нас не будет полной уверенности. Мартен обещал приехать и сообщить мне о результатах совещания с Ру. К чему возбуждать в Гертруде надежду, которую вскоре пришлось бы угасить? И кроме того, разве она и теперь не вполне счастлива?

10 мая

На пасхе Жак и Гертруда встретились в моем присутствии, вернее сказать, Жак навестил Гертруду и беседовал с нею, впрочем, о вещах самых ничтожных. Он был гораздо меньше взволнован, чем можно было бы ожидать, и я снова повторил себе, что, если бы любовь его была по-настоящему пылкой, ее не так легко можно было бы побороть; правда, перед отъездом его в прошлом году Гертруда ему объявила, что ему не следует питать надежд. Я заметил, что теперь он говорит Гертруде «вы», и это несомненно правильнее; впрочем, я его об это не просил, и я очень рад, что он сам сообразил. В нем, безусловно, есть очень много хорошего.

Тем не менее я начинаю подозревать, что эта покорность далась Жаку не без усилий и не без борьбы. Досадно, однако, что принуждение, которое он наложил на свое сердце, в настоящее время в его глазах есть вещь прекрасная сама по себе; он хотел бы навязать его всем; я почувствовал это во время той дискуссии, которая недавно у нас состоялась и о которой я сообщал уже выше. Кажется, еще Ларошфуко сказал, что наш ум часто бывает игрушкой сердца. Конечно, я не рискнул тут же обратиться на эти слова внимание Жака, зная его натуру и причисляя его к тем людям, которых спор еще сильнее заставляет отстаивать свою точку зрения; но в тот же вечер, отыскав как раз у апостола Павла (я мог поразить Жака только его собственным оружием) подходящий материал для возраже-

ния, я позаботился оставить у него в комнате записку, в которой он мог прочитать: «Кто не ест, не осуждай того, кто ест: потому что Бог принял его» (Римл., XIV, 3).

Я отлично мог бы выписать еще и продолжение текста: «Я знаю и уверен через Господа Иисуса, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто»,— но не рискнул этого сделать, опасаясь, как бы Жак не усмотрел в моей мысли какого-то оскорбительного намека на Гертруду, а от этого следует всячески оберегать его ум. В данном случае дело явно идет о пище, но сколько находим в писании мест, которым следует придавать двойной и тройной смысл! («Если глаз твой...» — чудесное умножение хлебов, чудо в Кане Галилейской и т. д.) Заниматься мелочным спором здесь неуместно; смысл этого стиха глубок и пространен: ограничения должен вносить не закон, а любовь; и апостол Павел вслед за этим сейчас же восклицает: «Если же за пищу огорчатся брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». По причине недостаточности нашей любви нас и одолевает лукавый. Господи, изыми из моего сердца все, что не принадлежит любви... Ибо я напрасно бросил вызов Жаку: на следующее утро я нашел у себя на столе записку, на которой я выписал свой стих; на обратной стороне листка Жак всего только проставил другой стих из той же главы: «Не губи твою пищую того, за кого Христос умер» (Римл., XIV, 15).

Я еще раз прочел всю главу. Вся она — отправной пункт для бесконечных дискуссий. И я стану терзать всеми этими недоумениями, стану омрачать этими тучами ясное небо Гертруды? Разве я не ближе к Христу и не приближаю ли я ее к нему, когда я учу ее и заставляю верить, что единственный грех — это покушение на счастье другого или неуважение к своему собственному счастью?

Увы! Есть души, упорно отталкивающие от себя всякое счастье, не приспособленные к нему, нелювкие... Я думаю о бедной моей Амелии. Я беспрестанно призываю ее, я толкаю ее, понуждаю к счастью, ибо каждого хотел бы я вознести к Богу. Но она все время уклоняется, замыкается в себе, как иные цветы, которые не распускаются ни от какого солнца. Все, что она видит, волнует ее и огорчает.

— Что поделаешь, друг мой,— ответила она мне недавно,— мне не дано было родиться слепой.

О, как мучительна для меня эта ирония и сколько приходится тратить сил, чтобы не позволить себе возмутиться! Мне кажется, однако, что ей следовало бы понять, как

сильно подобного рода намеки на слепоту Гертруды способны задеть меня за живое! Тем самым она помогает мне уяснить, что меня больше всего восхищает в Гертруде ее бесконечная снисходительность, ибо ни разу еще мне не приходилось от нее слышать хотя бы малейшего осуждения по адресу ближнего. Правда, я никогда не допускаю, чтобы до нее доходили вещи, которые чем-нибудь могут ее задеть.

И в то время, как счастливая душа одним излучением любви распространяет вокруг себя счастье, вокруг Амелии все делается угрюмым и мрачным. Амелия могла бы сказать, что от нее исходят черные лучи. Когда после дня борьбы, посещений бедных, больных, обездоленных я возвращаюсь ночью домой, сплошь и рядом измученный, с сердцем, настоятельно требующим расположения, тепла и покоя, я обычно встречаю у своего семейного очага одни волнения, пререкания и неурядицы, которым я охотно бы предпочел уличный холод, ветер и дождь. Я отлично знаю, что старушка Розалия всегда старается все сделать по-своему, но дело в том, что в целом ряде случаев, когда жена хочет взять верх, старушка бывает права, а Амелия нет. Я отлично знаю, что Гаспар и Шарлотта ужасно шумливы, но разве Амелия не достигла бы больших результатов, если бы кричала на них менее громко и не каждую минуту? Все эти наставления, увещания и выговоры в конце концов утрачивают всякую остроту, как камешки, лежащие на пляже, так что дети страдают от них гораздо меньше меня. Я отлично знаю, что у малютки Клода режутся зубы (во всяком случае так уверяет Амелия всякий раз, как он начинает кричать), но разве его не приглашают невольно к крикам, когда Сара или мать сию же минуту прибегают и начинают его все время ласкать? Я глубоко убежден, что он кричал бы гораздо меньше, если бы ему позволили несколько раз покричать в полное свое удовольствие в те часы, когда меня не бывает дома. Но я знаю, что как раз в это время обе они особенно усердствуют.

Сара делается похожей на свою мать, и поэтому мне бы очень хотелось отдать ее в пансион. Увы, она совсем не похожа на Амелию той поры, когда мы обручились и когда ей было столько лет, сколько Саре; она похожа на ту женщину, какой стала Амелия под влиянием материальных хлопот,— я чуть было не сказал «упоения житейскими хлопотами» (ибо Амелия действительно ими упоена). В самом деле, мне трудно теперь узнать в ней того ангела, который недавно еще встречал улыбкой каждый благород-

ный порыв моего сердца, которого я мечтал нераздельно слить с моей жизнью и который, как мне казалось, уже опережал меня и вел меня к свету — а, может быть, в то время я был просто одурачен любовью?.. Я не могу открыть в Саре ничего, кроме самых вульгарных склонностей. Подобно матери, она озабочена только самыми мелочными хлопотами; даже черты ее лица, не одухотворенные никаким внутренним пламенем, потускнели и затвердели. Ни интереса к поэзии, ни хотя бы вообще только к чтению; я никогда не слышал, чтобы у них завязался разговор, в котором мне хотелось бы принять участие; и в их обществе я ощущаю свое одиночество еще мучительнее, чем когда я удаляюсь к себе в кабинет, что я, однако, начинаю делать все чаще и чаще.

Кроме того, начиная с осени, под влиянием раннего наступления ночей, я завел привычку всякий раз, как мне это позволяли мои разъезды, то есть когда я возвращался домой довольно рано, — уходить пить чай к мадемуазель де ла М. Я еще не сказал, что с ноября прошлого года Луиза де ла М. приняла к себе, кроме Гертруды, еще трех слепых детей, которых Мартен посоветовал доверить ее заботам. Гертруда обучает их теперь в свой черед чтению и выполнению разных мелких работ, и девочки эти проявляют большие способности.

Какой покой, какое отдохновение испытываю я всякий раз, вступая в согретую теплом обстановку «Овина», и как мне ее не хватает, когда мне случается не бывать там два или три дня подряд. Само собой разумеется, мадемуазель де ла М. свободно может содержать как Гертруды, так и троих маленьких жилищ, не стесняясь в деньгах и не утруждая себя хлопотами; три служанки с большим усердием помогают ей и освобождают ее от всякой работы. Вряд ли кто сможет сказать, что досуг и богатство были заслужены когда-нибудь с большим правом! С давних пор Луиза де ла М. посвящала себя заботам о бедных; это глубоко религиозная душа, которая, видимо, только и делает, что откликается на земные нужды и живет для одних дел любви; ее волосы, схваченные кружевным чепчиком, совсем серебряные, и тем не менее трудно себе представить более детскую улыбку, более гармоничные движения, более музыкальный голос. Гертруда усвоила ее манеры, склад речи, своеобразную интонацию — и не одного только голоса, но и ума, но и всего ее существа, — так что я все время вышучиваю их обеих за это сходство, которого, однако, обе они упорно не

признают. Мне бывает страшно приятно, если только находится время побывать немного у них, смотреть, как они, сидя рядом, причем Гертруда либо склоняет голову на плечо своего друга, либо оставляет одну руку в руках Луизы, слушают, как я читаю им стихи Ламартина или Гюго; как мне бывает приятно созерцать в их прозрачных душах отблеск поэзии! Даже маленькие ученицы не остаются совершенно бесчувственными. Дети эти в окружении любви и покоя удивительно развиваются и делают поразительные успехи. Я улыбнулся вначале, когда Луиза заговорила о том, чтобы они учились танцам, отчасти для здоровья, отчасти для удовольствия; но сейчас я сам удивляюсь ритмической грации движений, которые им теперь удаются, но которых они сами, увы, не способны оценить. Впрочем, Луиза де ла М. убеждает меня, что хотя они не видят своих движений, тем не менее они могут воспринять их гармоничность своими мускулами. Гертруда присоединяется к этим танцам с совершенно пленительной грацией и снисходительностью и вообще получает от них очень большое удовольствие. Иногда Луиза де ла М. сама начинает играть с девочками, и тогда Гертруда садится за пианино. Она сделала поразительные успехи в музыке; теперь она каждое воскресенье сама играет на органе в нашей часовне и импровизирует короткие прелюды к исполняемым песнопениям.

Каждое воскресенье Гертруда приходит к нам завтракать; мои дети встречаются с ней с удовольствием, хотя она с ними все больше расходится во вкусах. Амелия не очень нервничает, и завтрак проходит мирно и гладко. Все мы потом провожаем Гертруду и пьем чай в «Овине». Это праздник для моих детей, которых Луиза слишком балует и пичкает лакомствами. Даже Амелия, не слишком чувствительная к любезностям, в конце концов развеселяется и кажется совсем помолодевшей. Я думаю, что теперь она с трудом перенесла бы лишение этой передышки в снотворном течении ее жизни.

18 мая

Сейчас, когда установилась хорошая погода, я мог снова отправляться погулять с Гертрудой, чего у нас с ней уже очень давно не бывало (недавно снова выпал снег, и дороги вплоть до последних дней находились в ужасном состоянии), как давно не бывало и того, чтобы мы с ней оставались наедине.

Мы шли быстрым шагом; свежий ветер румянил ее щеки и все время закрывал ей лицо ее белокурыми прядями. Когда мы проходили мимо торфяника, я сорвал несколько цветущих стеблей камыша, которые засунул ей под берет и затем переплел с волосами, чтобы они лучше держались.

Мы еще почти не разговаривали и все еще удивлялись тому, что идем вместе, как вдруг Гертруда, повернув ко мне свое невидящее лицо, в упор спросила меня:

— Как вы думаете, Жак еще любит меня?

— Он примирился с тем, что должен отказаться от тебя,— ответил я в ту же минуту.

— Как вы думаете, он знает про вашу любовь ко мне? --- проговорила она.

Со времени нашего объяснения прошлым летом, о котором я здесь писал, прошло уже больше полугода, но между нами ни разу (я сам этому удивляюсь) не было произнесено ни единого слова любви. Я уже отмечал, что мы никогда не оставались одни, и лучше было бы, если бы так оно впредь и осталось... От вопроса Гертруды сердце мое забилося с такой силой, что я вынужден был несколько замедлить шаг.

— Но ведь все тут, Гертруда, знают, что я тебя люблю! — воскликнул я. Но она не поддалась на эту уловку:

— Нет, нет, вы не отвечаете на мой вопрос.

После минуты молчания она снова заговорила, опустив голову:

— Тетя Амелия это знает; и я тоже знаю, что от этого она грустит.

— Она грустила бы и без этой причины,— возразил я несколько неуверенным голосом.— Такая уж она грустная от природы.

— Ах, вы всегда стараетесь меня успокоить,— произнесла она с некоторым нетерпением.— Но я совсем не хочу, чтобы меня успокаивали. Я знаю, есть много вещей, которых вы мне не говорите из опасения взволновать меня или сделать мне больно; очень много вещей, остающихся для меня неизвестными, так что иной раз...

Голос ее делался все тише и тише; она замолчала, точно у нее не хватало дыхания. И, когда я, повторив ее последние слова, спросил:

— Так что иной раз?..

— Иной раз,— грустно продолжала она,— мне кажется, что все счастье, которым я вам обязана, покоится на неведении.

— Гертруда...

— Нет, позвольте мне сказать... Я не желаю подобного счастья. Поймите, что я не... Я совсем не хочу быть счастливой. Я предпочитаю знать. Есть много, много вещей, вещей безусловно печальных, которых я не могу видеть, но вы не имеете права их от меня скрывать. Я много думала в эти зимние месяцы; и я начинаю бояться, видите ли, что мир совсем не так прекрасен, пастор, как вы мне внушили, что до этого ему еще очень далеко.

— Это верно, что человек часто оскверняет собою землю,— опасливо заговорил я, ибо стремительность ее мысли испугала меня, и я пытался теперь отвести ее в сторону, не надеясь, однако, на успех. Она, видимо, ожидала таких слов, ибо, ухватилась за них, как за звено, которым можно скрепить концы цепи:

— Вот именно! — воскликнула она.— Мне хотелось бы знать наверняка, что сама я не усугубляю зла.

Долгое время мы продолжали быстро идти вперед, не говоря ни слова. Все, что я мог бы сказать, уже заранее должно было столкнуться с ее уяснившейся теперь для меня мыслью; я боялся вызвать ее на какую-нибудь фразу, от которой могла зависеть наша судьба. И при мысли о словах Мартена, что ей можно возвратить зрение, сердце мое сжалось непомерной тоской.

— Мне хотелось спросить вас,— заговорила она наконец,— не знаю только, как это сказать...

Она несомненно напрягала все свое мужество, как делал, впрочем, и я, вслушиваясь в ее слова. Но разве мог я предугадать вопрос, которым она тогда мучилась:

— Скажите, дети слепой должны непременно родиться слепыми?

Я затруднился бы сказать, для кого из нас беседа эта была более тягостной, но мы не могли ее не продолжать.

— Никоим образом, Гертруда,— ответил я,— за исключением совершенно особых случаев. Нет никаких оснований для того, чтобы они рождались слепыми.

Это ее, видимо, чрезвычайно успокоило. Я хотел было в свою очередь спросить ее, почему она об этом меня спрашивает, но у меня не хватило мужества, и я неловко сказал:

— Но для того, чтобы иметь детей, необходимо быть замужем, Гертруда.

— Не говорите мне этого, пастор. Я знаю, что это неправда.

— Я сказал тебе то, что подобало сказать,— заявил я.—

Но, действительно, законы природы позволяют то, что запрещается законом Божеским и человеческим.

— Вы часто мне говорили, что законы Божественные являются законами любви.

— Любовь, о которой идет речь, не является той, которую мы называем человеколюбием.

— Значит, вы меня любите из человеколюбия?

— Ты сама ведь отлично знаешь, что нет.

— Тем самым вы должны признать, что любовь наша преступает Божественный закон.

— Что ты хочешь сказать?

— О, вы сами это хорошо знаете, и не мне следовало бы говорить об этом.

Я тщетно пытался лавировать; сердце мое командовало отступление моим поколебленным доводам. Я с отчаянием вскричал:

— Гертруда... значит, ты думаешь, что любовь твоя является преступной?

Она поправила:

— ... что н а ш а любовь... Да, я считаю, что именно так следовало бы об этом думать.

— Значит?..— Я уловил в собственном голосе какую-то молящую ноту, в то время как она, не переводя дыхания, закончила:

— Но от этого я не могу еще перестать вас любить.

Все это случилось вчера. Я не решался сначала это писать... Не помню, как мы закончили прогулку. Мы шли поспешным шагом, словно бежали, и я крепко прижимал к себе ее руку. Душа моя в такой мере отрешилась от моего тела, что, казалось, самый крошечный камешек на дороге был бы способен свалить с ног нас обоих.

19 мая

Мартен приехал сегодня утром. Гертруде можно сделать операцию; Ру в этом убежден и просит доверить ему на некоторое время Гертруду. Я не могу привести никаких возражений и тем не менее я малодушно попросил время на размышление. Я попросил, чтобы мне было позволено осторожно подготовить ее... Сердце мое должно бы возликовать от радости, а я чувствую, что оно тяжело, как камень, и чревато невыразимой тоской... При мысли, что я должен сообщить Гертруде о возможности восстановить ее зрение, мужество меня покидает.

19 мая ночью

Я виделся с Гертрудой и ни слова ей не сказал. Так как сегодня вечером в общем зале «Овина» никого не было, я прошел к ней в комнату. Мы были одни.

Я долгое время стоял, крепко прижимая ее к груди. Она не сделала ни одного движения, чтобы освободиться, и, так как она подняла ко мне свое лицо, губы наши встретились...

21 мая

Не для нас ли, Господи, создана тобой эта глубокая дивная ночь? Или же она для меня? Воздух теплый, через открытое окно ко мне входит луна, и я слушаю безмерное молчание небес. О, это смутное благоговение всей божьей твари, от которого сердце мое тает в несказанном восторге! Я могу молиться только с неистовством. Если и существует ограничение в любви, то оно не от тебя, Боже, а от людей. И какой бы преступной ни казалась людям моя любовь, скажи же мне, что в твоих глазах она свята!

Я стараюсь поставить себя выше идеи греха, но грех для меня непереносим, я не хочу оставить Христа. Нет, я не допускаю мысли, что совершаю грех, любя Гертруду. Я мог бы вырвать из сердца эту любовь не иначе, как вырвав самое сердце, но к чему это? Если бы я уже ее не любил, я должен был бы ее полюбить из одной жалости; не любить ее — значило бы предать ее: она нуждается в моей любви...

Господи, я не знаю... Я знаю только тебя. Веди же меня. Временами мне кажется, что я погружаюсь в мрак и что зрение, которое собираются ей вернуть, от меня самого отнимают.

Вчера Гертруда была помещена в лозаннскую клинику, откуда она может выйти только через три недели. Я ожидаю ее выхода с великим страхом. Ее должен привезти обратно Мартен. Она взяла с меня слово, что до тех пор я не буду стараться ее увидеть.

22 мая

Письмо от Мартена: операция прошла удачно. Слава Господу!

24 мая

Мысль о том, что теперь она меня будет видеть, меня, которого она до сих пор любила не видя,— мысль эта причиняет мне нестерпимую муку. Узнает ли она меня? Первый раз в жизни я с тревогой обращаюсь к зеркалу. Если я почувствую, что взгляд ее будет менее расположен ко мне, чем ее сердце, и будет менее любящим, что мне делать? Господи, иной раз мне начинает казаться, что для того, чтобы любить тебя, мне нужна ее любовь.

27 мая

Загруженность работой позволила мне прожить последние дни без особенного нетерпения. Всякое дело, способное отвлечь меня от самого себя, для меня благословение; но по целым дням, что бы я ни делал, за мною следует ее образ.

Завтра она должна приехать. Амелия, всю эту неделю выказывала мне лучшие стороны своего характера, задавая-ся, по-видимому, целью помочь мне забыть об отсутствующей, готовится вместе с детьми отпраздновать ее возвращение.

28 мая

Гаспар и Шарлотта отправились набрать возможно больше цветов в рощах и на лугах. Старушка Розалия стряпает огромный пирог, который Сара украшает узорами из золоченой бумаги. Мы ожидаем Гертруду в полдень.

Я пишу, чтобы чем-нибудь скрасить ожидание. Уже одиннадцать. Каждую минуту я поднимаю голову и смотрю на дорогу, по которой должна проехать коляска Мартена. Я сознательно не хочу выезжать навстречу; лучше будет из внимания к Амелии не разделяться при встрече. Сердце мое дрогнуло... это они!

28 мая вечером

Я погружаюсь в крошечную ночь...

Сжался, Господи, сжался! Я согласен отказаться от любви к ней, но не допусти, Господи, ее смерти!

О, как я был прав, когда боялся! Что она сделала? Что она захотела сделать? Амелия и Сара рассказали мне, что

они провели ее до дверей «Овина», где ее поджидала мадемуазель де ла М. Она захотела пройтись еще раз?.. Что случилось?

Я стараюсь привести в некоторый порядок свои мысли. Сведения, которые мне сообщают, непонятны или противоречивы. Все мешается у меня в голове... Садовник мадемуазель де ла М. только что доставил ее без сознания в «Овин»; он говорит, что видел, как она гуляла вдоль реки, потом перешла садовый мостик, затем нагнулась и скрылась; не сообразив вначале, что она упала, он не поспешил к ней, как это следовало бы сделать; он нашел ее около маленького шлюза, куда ее унесло течением. Когда позже мне довелось ее увидеть, сознание к ней еще не вернулось, или, вернее, она снова его лишилась, ибо на минуту она пришла было в себя после помощи, оказанной ей в самом начале. Мартен, который, слава Богу, еще не уехал, не понимает, чем следует объяснить охватившую ее сонливость и апатию; напрасно ее спрашивали: у нее такой вид, словно она ничего не понимает или дала себе слово молчать. Дыхание у нее все время весьма затрудненное, и Мартен опасается воспаления легких; он поставил ей горчичники и банки и сказал, что приедет завтра. По неосторожности ее чересчур долго держали в мокрой одежде, когда все сразу бросились приводить ее в чувство, а между тем в речке ледяная вода. Мадемуазель де ла М., которая одна только могла добиться от нее нескольких слов, утверждает, что Гертруда хотела набрать незабудок, в изобилии растущих на нашем берегу речки, но, не умея еще правильно рассчитать расстояние или приняв плавучий цветочный покров за твердую землю, она неожиданно оступилась... О, если бы я мог этому верить, иметь убеждение, что тут просто несчастный случай, — какое тяжкое бремя свалилось бы с моей души! Но в течение нашего завтрака, очень веселого, впрочем, меня все время беспокоила странная, не покидавшая ее уст улыбка; напряженная улыбка, которой я у нее раньше не знал, которую мне упорно хотелось считать улыбкой ее новорожденного взгляда; улыбка, которая струилась, казалось, из ее глаз по лицу, точно слезы, и рядом с этой улыбкой заурядная радость других воспринималась как оскорбление. Гертруда не участвовала в общей радости; можно было подумать, что ей открылась какая-то тайна, которой она, наверное, поделилась бы со мной, если бы мы остались одни. Она не сказала почти ни слова, но никто этому не удивился, так как в обществе, тем более очень шумном, она обыкновенно молчала.

Господи, молю тебя: позволь мне с нею поговорить. Мне необходимо узнать, а иначе как же мне теперь жить? И, однако, если она действительно пожелала прервать свою жизнь, то неужели же потому, что она узнала? Что узнала? О, Гертруда, что бы это могло быть такое ужасное? Какой смертельный яд утаил я от вас, который вы вдруг рассмотрели?

Я больше двух часов провел у ее изголовья, не спуская глаз с ее лба, с ее бледных щек, с ее нежных век, смеженных над несказуемым горем, с ее еще влажных, похожих на водоросли волос, разметанных по подушке,— и слушал, как тяжело и неровно она дышала.

29 мая

Мадемуазель де ла М. прислала за мной сегодня утром, в ту самую минуту, когда я собирался идти в «Овин». После ночи, проведенной довольно спокойно, Гертруда освободилась, наконец, от своего оцепенения. Она улыбнулась, когда я вошел к ней в комнату и сделала мне знак присесть у ее изголовья. Я не посмел ее расспрашивать, и, по-видимому, она сама боялась вопросов, так как в ту же минуту сказала, как бы предупреждая всякие излияния:

— Как вы называете эти маленькие голубые цветочки, которые я хотела нарвать у реки? Они совсем небесного цвета. У вас больше ловкости, чем у меня,— нарвите мне их целый букет. Я поставлю их здесь, у кровати...

Искусственная веселость ее тона причинила мне боль, и Гертруда безусловно сама это поняла, потому что прибавила затем гораздо серьезнее:

— Я не могу сейчас с вами говорить, я очень устала. Нарвите мне цветов, прошу вас. И возвращайтесь скорее.

Но, когда через час я принес ей букет незабудок, мадемуазель Луиза сказала, что Гертруда опять отдыхает и может принять меня только вечером.

Вечером я с ней увиделся. Груда подушек, подложенных со всех сторон, поддерживала ее в сидячем положении. Ее волосы были причесаны и заплетены над лбом, перемежаясь с незабудками, которые я ей принес.

У нее несомненно был жар, и вид был крайне измученный. Она задержала в своей горячей руке поданную ей мою руку; я остался стоять около нее.

— Мне нужно вам сделать признание, пастор, так как я боюсь, что сегодня ночью умру,— сказала она.— Я вам

солгала утром. Цветы тут ни при чем... Но простите ли вы меня, если я скажу, что хотела покончить с собой?

Я упал на колени у кровати, не выпуская ее хрупкой руки, но она высвободила ее и стала поглаживать мою голову, в то время как я спрятал лицо в одеяло, чтобы скрыть от нее слезы и заглушить свои рыдания.

— Вы находите, что это очень плохо? — нежно спросила она, но я ничего не ответил и она заговорила опять: — О, милый, милый друг, вы знаете, как много места заняла я в вашем сердце и вашей жизни. Когда я к вам вернулась, мне это сразу открылось, вернее, открылось то, что место, которое я заняла, отнято мной у другой и что она из-за меня опечалена. Я виновата в том, что почувствовала это слишком поздно и, во всяком случае, в том, — я и так ведь все хорошо знала, — что позволила вам любить себя, ни с чем не считаясь. Но, когда предо мной появилось ее лицо, когда я увидела на этом жалком лице столько горя, я не могла выдержать мысли, что горе это дело моих рук... Нет, нет, не упрекайте себя ни в чем; позвольте мне только уйти и верните ей ее радость...

Рука ее перестала гладить мою голову; я схватил эту руку и покрыл слезами и поцелуями. Но она нетерпеливым движением освободила ее и стала мучиться какой-то новой мукой.

— Это не то, что мне хотелось сказать; нет, это не то, что мне хотелось сказать, — повторила она; и я видел, что на лбу у нее выступил пот. Затем она закрыла глаза и лежала так некоторое время, словно для того, чтобы собраться с мыслями или снова вернуть себе свою привычную слепоту; она заговорила нетвердым, упавшим голосом, который вскоре окреп по мере того, как она открывала глаза, и усилился почти до раскатов:

— Когда вы вернули мне зрение, глаза мои открылись на мир, еще более прекрасный, чем тот, о котором я прежде мечтала; в самом деле, я никогда не представляла себе день таким ясным, воздух — таким прозрачным, небо — таким огромным... Но я никогда не представляла себе вместе с тем, что лица людей в такой мере отягощены заботой; и, когда я вступила в ваш дом, знаете, что я прежде всего заметила?.. О, я все-таки должна вам это сказать: я прежде всего увидела нашу вину, наш грех... О, не возражайте мне. Вы помните, что сказал Христос: «Если бы вы были слепы, вы не видали бы греха». Но теперь, увы, я вижу... Встаньте же, пастор. Сядьте тут, возле меня. Выслушайте меня, не пере-

бивая. Когда я находилась в клинике, я читала или, вернее, просила, чтобы мне читали из Библии те места, которых я раньше не знала и которых вы мне никогда не читали. Мне помнится один стих из апостола Павла, который я потом повторяла целый день: «Сам я, когда не имел еще закона, я жил; но пришла заповедь, грех ожил, и я умер».

Она говорила в состоянии крайнего возбуждения, очень громким голосом и почти прокричала последние слова, так что мне стало неловко при мысли, что ее могут услышать со стороны; потом она снова закрыла глаза и шепотом повторила как бы про себя последние слова: «Грех ожил, и я умер». Я задрожал, и сердце мое оледенело от ужаса. Я хотел перевести ее мысль на другое.

— Кто тебе читал эти стихи? — спросил я.

— Жак,— ответила она, открывая глаза и пристально в меня вглядываясь.— Вам известно, что он переменял веру?

Сил моих не хватало; я стал просить ее замолчать, но она уже продолжала:

— Друг мой, сейчас я доставляю вам большое огорчение; но не хорошо будет, если между нами останется какая-нибудь неправда. Когда я увидела Жака, я сразу поняла, что любила совсем не вас, а его. У него было как раз такое лицо, как у вас; я хочу сказать, такое лицо, каким я всегда представляла ваше... О, зачем вы заставили меня оттолкнуть его? Я могла бы стать его женой.

— Но ты и теперь можешь стать ею, Гертруда,— вскричал я в отчаянии.

— Он поступает в монахи,— порывисто проговорила она и затряслась от рыданий.— Мне хотелось бы у него исповедаться...— простонала она в каком-то экстазе.— Но вы сами видите, что я скоро умру. Я хочу пить. Позовите кого-нибудь, прошу вас. Я задыхаюсь. Оставьте меня одну. Ах, я думала, что после разговора с вами мне будет легче. Оставьте меня. Прощайте. Я не в силах больше вас видеть.

Я покинул ее. Я попросил мадемуазель де ла М., чтобы она меня заменила; крайнее возбуждение Гертруды грозило самыми дурными последствиями, но я не мог не понять, что мое присутствие только усугубляет ее положение. Я попросил, чтобы меня известили, если ей станет хуже.

30 мая

Увы! Мне пришлось ее увидеть уже усопшей. Она скончалась сегодня утром, на восходе солнца, после ночи, прове-

денной в бреду и в забытьи. Жак, которого по просьбе Гертруды вызвала телеграммой мадемуазель де ла М., прибыл через несколько часов после конца. Он сурово меня упрекнул за то, что я не позвал к ней кюре в то время, когда это было возможно. Но как я мог это сделать, ничего еще не зная о том, что во время пребывания в Лозанне (очевидно, по его настоянию) Гертруда отреклась от протестантизма. Жак в одной и той же фразе известил меня о том, что он и Гертруда обратились. Таким образом, меня сразу покинули обе эти души; казалось, что разлученные мной в этой жизни, они порешили уйти от меня и соединиться в Боге. Я склонен думать, что обращение Жака продиктовано ему рассудочными доводами, а не любовью.

— Отец,— сказал он мне,— мне не годится вас осуждать, но мной руководило единственно зрелище вашего заблуждения.

После отъезда Жака я опустился на колени перед Амелией и попросил ее помолиться за меня, ибо я нуждался в поддержке. Она просто прочла «Отче наш», делая между прошениями длинные паузы, заполнявшиеся нашими мольбами.

Мне хотелось плакать, но я чувствовал, что сердце мое бесплодно, как пустыня.

Фальшивомонетки

РОМАН

Роже Мартену дю Гару
посвящаю мой первый роман
в знак глубокой дружбы.

А. Ж.

Перевод *А. Франковского*
Под редакцией *Л. Токарева*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПАРИЖ

I

«Пожалуй, пора и раздаться шагам в коридоре», — подумал Бернар. Он поднял голову и насторожился. Нет, тихо: отец и старший брат задерживаются в суде; мать ушла в гости; сестра — на концерте; младший брат, маленький Калу, каждый день после лица должен отсиживаться в пансионе. Бернар Профитандье сидел дома и зубрил к выпускному экзамену: до него оставалось всего три недели. Семья оберегала его одиночество; дьявол действовал иначе. Хотя Бернар снял куртку, он задыхался. Через распахнутое на улицу окно в комнату вливалась духота. Лоб у него покрылся испариной. Капля пота скатилась по носу и упала на письмо, которое он держал в руке.

«Словно слеза, — подумалось ему. — Но лучше пот, чем слезы».

Да, дата неоспорима. Сомнений быть не может: речь шла о нем, Бернаре. Письмо было адресовано матери; старое, семнадцатилетней давности, любовное письмо, без подписи.

«Что означает этот инициал? V, но его можно принять и за N... Прилично ли спросить мать? Ладно, доверимся ее хорошему вкусу. Я волен воображать, что он был принц. Но хорошенькое дельце, если выяснится, что я сын нищего! Незнание того, кто твой отец, излечивает от опасности быть на него похожим. Всякий розыск обяывает. Воспользуемся пока той свободой, какую он мне дает. Глубже копать не станем. На сегодня хватит».

Бернар сложил письмо. Оно было того же формата, что и дюжина других писем в пачке. Письма перевязывала розовая ленточка; ему не надо было ее развязывать, достаточно слегка передвинуть ленту, чтобы она, как прежде, опоясала всю пачку. Он положил письма обратно в шкатулку, а шкатулку — в выдвижной ящик подзеркального столика. Ящик не был открыт; Бернар обнаружил его секрет сверху. Он водворил на место разобранные деревянные пластинки его верхней части, которую должна была прикрыть тяжелая ониксовая плита. Мягко, осторожно он опустил плиту и снова поставил на нее два хрустальных канделябра и громоздкие часы, над починкою которых только что ради забавы возился.

Часы пробили четыре. Он кончил свою работу вовремя.

«Господин следователь и господин адвокат, сын его, возвратятся не раньше шести. У меня есть время. Нужно, чтобы господин следователь, придя домой, нашел у себя на письменном столе дельно составленное письмо, где я объявлю ему о моем уходе. Но, прежде чем его написать, мне совершенно необходимо хоть немного проветрить свои мысли и разыскать моего дорогого Оливье, чтобы обеспечить себе временное пристанище. Оливье, друг мой, пришло время для меня подвергнуть испытанию твою любезность, а для тебя — показать мне, чего ты стоишь. Наша дружба была прекрасна тем, что до сих пор нам ни разу не приходилось оказывать друг другу услуги. Ба! Не так уже тягостно будет просить об оказании пустяковой услуги. Досадно, что Оливье будет не один. Ну что ж! Я найду предлог отвести его в сторону. Я хочу испугать его своим спокойствием. Необычайное — вот сфера, в которой я чувствую себя как рыба в воде».

Т-ская улица, где жил до сего дня Бернар Профитандье, совсем близко от Люксембургского сада. Там, у фонтана Медичи, на аллее, выходящей к нему, встречались обыкновенно каждую среду, от четырех до шести, некоторые из его товарищей. Говорили об искусстве, философии, спорте, политике и литературе.

Бернар шел очень быстро, но, войдя в ворота сада, заметил Оливье Молинье и тотчас же замедлил шаг.

Собрание в этот день было более многолюдным, чем обычно, несомненно, по случаю хорошей погоды. Явились и кое-какие новички, Бернару незнакомые. Каждый из этих молодых людей, едва оказавшись «на публике», начинал ломать комедию и вести себя как-то вымученно.

Завидев приближающегося Бернара, Оливье покраснел, довольно грубо оставил молодую женщину, с которой беседовал, и удалился. Бернар был его самым близким другом, и потому Оливье старательно следил, чтобы не возникало впечатления, будто он добивается его общества; иногда Оливье даже притворялся, что в упор не замечает Бернара.

Прежде чем подойти к Оливье, Бернар должен был миновать несколько группок, а раз он тоже прикидывался, будто Оливье ему не нужен, то прохаживался не спеша.

Четверо парней окружали невысокого бородача в пенсне — выглядел он намного старше их всех, — державшего в руке книгу. Это был Дюрмер.

— Ничего не поделаешь, — вещал он, обращаясь к одному из школьников, явно польщенный тем, что все его слушают. — Дошел до тридцатой страницы, но не нашел ни одной запоминающейся краски, ни единого слова, которое рисовало бы картину. Автор пишет о женщине, но мне так и неизвестно, красное на ней было платье или синее. Ну а по мне, если я не вижу красок, право же, в книге нет ничего. — Чувствуя, что его слова почти не принимаются всерьез, он повтому ощущал еще большую потребность в преувеличениях и повторял: — Ничего, абсолютно ничего.

Бернар перестал слушать красноречивого; он считал невежливым уйти сразу же, хотя уже прислушивался к спорившим у него за спиной голосам другой группки, той самой, к которой подошел Оливье, когда оставил молодую женщину; один из спорщиков сидел на скамейке и читал «Аксьон франсез».

Каким серьезным выглядит среди них Оливье Молинье! Хотя и почти моложе всех. Его совсем еще детское лицо и взгляд обнаруживают раннюю зрелость мысли. Он легко краснеет, нежен. Как ни старается он быть со всеми приветливым, какая-то неведомая тайная сдержанность, некая стыдливость удерживают товарищей от фамильярности с ним. От этого он страдает. Без Бернара страдал бы сильнее.

Молинье, как и Бернар, на мгновение задерживался у той или другой группки; он делал это из вежливости: ничто в этих спорах его не интересовало.

Он склонился над плечом читавшего. Бернар, не оборачиваясь, услышал, как он говорил:

— Зря ты читаешь газеты, от них только голова болит.

Читавший резко ответил:

— А ты зеленеешь от злости, как слышишь о Моррасе.

Третий насмешливо спросил:

— Тебе доставляют удовольствие статьи Морраса?

Первый ответил:

— Мне плевать на них, но я считаю, что Моррас прав.

Затем вмешался четвертый, чей голос Бернар не узнал:

— Если вещь не нагоняет скуки, ты считаешь, что ей не хватает глубины.

Первый возражает на это:

— А по-твоему, стоит написать глупость — и выйдет занимательно.

— Поди сюда,— шепотом сказал Бернар, резко схватив Оливье под руку. Он отвел его на несколько шагов.— Отвечай живо, я тороплюсь. Ты мне как-то говорил, что спишь не на том этаже, где родители?

— Я тебе показывал дверь моей комнаты; она выходит прямо на лестницу, полуэтажом ниже их квартиры.

— Ты говорил, что вместе с тобою спит брат?

— Да, Жорж.

— Вы там одни?

— Да.

— Малыш умеет держать язык за зубами?

— Если нужно. Почему ты спрашиваешь?

— Слушай. Я ушел из дому или, во всяком случае, собираюсь уйти сегодня вечером. Не знаю еще, куда денусь. Можешь приютить меня на ночь?

Оливье сильно побледнел. Волнение его было так велико, что он не мог смотреть на Бернара.

— Да,— сказал он,— но приходи не раньше одиннадцати. Каждый вечер мама спускается пожелать нам доброй ночи и запереть дверь на ключ.

— Ну и как быть?

Оливье улыбнулся:

— У меня есть другой ключ. Постучи тихонько, чтобы не разбудить Жоржа, если он уснет.

— Консьерж меня пропустит?

— Я предупрежу его. Да у меня с ним прекрасные отношения. Это он дал мне второй ключ. До скорого!

Они расстались, не пожав руки друг другу. И когда Бернар удалялся, обдумывая письмо, которое собирался написать,— следовательно должен будет найти его у себя на столе по возвращении домой,— Оливье, не желавший, чтобы его видели только наедине с Бернаром, стал разыскивать Люсьена Беркая, которым товарищи слегка пренебрегали. Оливье подружился бы с Люсьеном, если бы не предпочитал ему Бернара. Насколько Бернар предприимчив, насто-

лько Люсьен робок. Чувствуется, что — слабый мальчик; кажется, будто он живет только сердцем и умом. Он редко осмеливается выступить вперед, но безумно радуется всякий раз, как видит, что Оливье подходит к нему. Каждый из его товарищей догадывается, что Люсьен пишет стихи; однако, я уверен, Оливье — единственный, кому Люсьен открывает свои планы. Они отошли к краю террасы.

— Мне очень хотелось бы,— говорил Люсьен,— рассказать историю не лица, но места, например, вот этой аллеи, рассказать, что происходит на ней в течение дня, с утра до вечера. Прежде всего на ней появляются няньки с детьми, кормилицы в лентах... Нет, нет... сначала совсем седые люди, без пола и возраста, подметают аллею, поливают траву, пересаживают цветы, словом, готовят сцену и декорации к открытию ворот, понимаешь? Затем — явление кормилиц. Карапузы лепят из песка пирожные, дерутся, няньки отпускают им пощечины. Потом выход младших классов школ — и вслед за ними работниц. Бедняки приходят позавтракать на скамейке. Позднее — люди, разыскивающие друг друга или убегающие друг от друга; те, кто жаждет одиночества,— мечтатели. А потом толпа — в час музыки и выхода из магазинов. Школьники, как вот теперь. Вечером — влюбленные: одни целуются, другие расстаются со слезами. Наконец, когда уже совсем темнеет, чета стариков... И вдруг дробь барабана: закрывают. Все выходят. Пьеса окончена. Понимаешь, что-нибудь такое, что давало бы впечатление конца всего, смерти... понятно, так, чтобы не было речи о смерти.

— Да, я представляю это очень ясно,— сказал Оливье, который думал о Бернаре и не слышал ни одного слова.

— И это не все, не все! — с жаром продолжал Люсьен.— Мне хотелось бы в своего рода эпилоге показать эту самую аллею ночью, когда все разошлись, показать, как она пустынна и еще прекраснее, чем днем: царит тишина, в которой слышнее звуки природы, шум фонтана, ветра в листья и пение ночной птицы. Я думал сначала заставить блуждать по аллее тени, может быть, оживить статуи... но, мне кажется, так получилось бы банальнее. Что ты скажешь об этом?

— Нет, не надо статуй, не надо,— рассеянно запротестовал Оливье, потом, заметив печальный взгляд собеседника, с жаром воскликнул:

— Ну ладно, старина, если тебе это удастся, будет потрясающе!

II

В письмах Пуссена нет даже намека на какие-либо обязанности по отношению к родителям. Никогда он не выражал сожаления, что разлучился с ними. Добровольно переселившись в Рим, он потерял желание возвратиться на родину, можно даже сказать — всякое о ней воспоминание.

Поль Держарден. «Пуссен»

Господин Профитандье спешил домой и находил, что его коллега Молинье, провожавший его по бульвару Сен-Жермен, не слишком торопится. У Альберика Профитандье сегодня выдался особенно хлопотный день в суде; его беспокоило ощущение какой-то тяжести в правом боку: усталость сказывалась на печени, которая начинала сдавать. Он думал о ванне, которую скоро примет; ничто так не успокаивало его после дневных забот, как хорошая ванна; в предвкушении ее он сегодня не позавтракал, считая, что неблагоприятно входить в воду, хотя бы даже теплую, с наполненным желудком. Конечно, это может быть только предрассудок, но предрассудки — устой цивилизации.

Оскар Молинье ускорял шаги как только мог и прилагал все усилия, чтобы поспевать за Профитандье, но он был гораздо ниже ростом и мышцы его ног не были так развиты; кроме того, он страдал некоторым ожирением сердца и легко задыхался. Профитандье, еще крепкий мужчина пятидесяти лет, с впалой грудью и быстрой походкой, охотно покинул бы его, но он был очень щепетилен по части приличий: коллега старше его, выше чином — ему следует оказывать уважение. Кроме того, ему нельзя было дать почувствовать Молинье, что он богат, — а после смерти родителей жены богатство его было значительно, — тогда как все доходы господина Молинье ограничивались жалованьем председателя палаты, жалованьем ничтожным и совершенно не соответствующим высокому положению, которое он занимал с весьма большим достоинством, прикрывая им свою бездарность. Профитандье старался не выдать своего нетерпения; он обернулся к Молинье и увидел, как тот вытирает лоб; впрочем, его очень интересовало то, что говорил ему Молинье, но точки зрения у них были различные, и спор становился жарким.

— Устраивайте наблюдение за домом, — говорил Молинье. — Собирайте показания консьержа и лживой служанки, все это прекрасно. Но помните, что стоит вам только немножко переусердствовать в расследовании, и дело у вас

сорвется... Я хочу сказать, что вы рискуете зайти гораздо дальше, чем предполагали сначала.

— Вся эта щепетильность не имеет никакого отношения к правосудию.

— Верно ли, верно ли это, мой друг? Мы с вами знаем, чем должно являться правосудие и чем оно является. Мы стараемся изо всех сил, само собой разумеется, но, как мы ни стараемся, мы достигаем лишь весьма приблизительных результатов. Дело, которое занимает вас сегодня, особенно щекотливо: из пятнадцати обвиняемых или тех, которые по одному вашему слову могут завтра стать обвиняемыми, девять несовершеннолетних. И вы знаете, что некоторые из этих юнцов — сыновья очень почтенных родителей. Вот почему при таких обстоятельствах я считаю каждый приказ об аресте огромным промахом. Газеты разных партий будут в курсе дела, и вы открываете дверь для любого шантажа, любой диффамации. Все ваши усилия будут тщетны: несмотря на всю вашу осторожность, вы не помешаете тому, что будут названы имена... Я не вправе давать вам советы, и вы знаете, насколько охотнее я выслушал бы их от вас, ибо всегда признавал и ценил возвышенность ваших взглядов, ясность ваших мыслей, вашу прямоту... Вот как я стал бы действовать на вашем месте: я попытался бы найти средство положить конец этому отвратительному скандалу, захватив трех или четырех зачинщиков... Да, я знаю, что захватить их трудно, но, черт побери, это наша профессия. Я добился бы закрытия помещения, где совершаются эти оргии, позаботился бы о предупреждении родителей юных безобразников и устроил бы все это осторожно, без шума, лишь бы только предотвратить возможность рецидивов. Ну, посадите в тюрьму женщин, я охотно предоставляю это вам; мне кажется, что мы имеем здесь дело с несколькими вконец развращенными тварями, от которых необходимо очистить общество. Но, повторяю еще раз, не хватайте детей; поугайте их — этого будет довольно, затем подведите их поступки под формулировку «действовал без разума», и пусть они на долгое время остаются изумленными тем, что отделились только испугом. вспомните, что троим из них нет еще четырнадцати и что родители, наверное, считают их ангелами чистоты и невинности. И в самом деле, дорогой друг, говоря между нами, разве в этом возрасте мы помышляли о женщинах?

Он остановился, больше запыхавшись от своего красноречия, чем от ходьбы, и заставил остановиться также Профитандье, которого держал за рукав.

— А если мы и мечтали о женщинах,— продолжал он,— то идеально, мистически, религиозно, если можно так выразиться. Теперешние дети, увы, не имеют больше идеалов... Кстати, как поживают ваши? Понятно, все сказанное мной к ним не относится. Я знаю, что при вашем присмотре за ними и воспитании, которое вы им дали, нет оснований опасаться, что они пойдут по дурной дорожке.

Действительно, Профитандье до сих пор мог лишь гордиться своими сыновьями, но он не строит иллюзий: лучшее воспитание в мире не в силах сломить дурных инстинктов, без сомнения, их нет и у детей Молинье; поэтому они сами избегают дурных знакомств и не читают дурных книг. В самом деле, какая польза запрещать то, что предотвратить невозможно? Запрещенные книги мальчик читает украдкой. Система Профитандье гораздо проще: он не запрещает читать дурные книги, но устраивает так, что его дети не чувствуют ни малейшего желания их читать. Что же касается дела, о котором идет речь, то о нем он еще подумает и, во всяком случае, обещает ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Молинье. Пока будет просто продолжаться негласное наблюдение, и так как зло существует уже три месяца, то можно потерпеть его еще несколько дней или недель. К тому же наступающие каникулы, наверное, положат конец сборищам преступников. До свидания.

Профитандье смог наконец ускорить шаг.

Придя домой, он сейчас же побежал в туалетную и открыл краны ванны. Антуан поджидал возвращения барина и устроил так, чтобы столкнуться с ним в коридоре.

Этот верный слуга жил в доме уже пятнадцать лет; дети выросли на его глазах. Он мог наблюдать множество вещей, о множестве других подозревал, но делал вид, что не замечает того, что желали от него скрыть. Бернар сохранил свою детскую привязанность к Антуану. Он не хотел уходить из дому, не попрощавшись с ним. И может быть, благодаря раздражению против семьи он находил удовольствие в том, чтобы посвятить простого слугу в тайну своего ухода, о которой его близкие ничего не узнают; в оправдание Бернара нужно сказать, что никого из родных в тот момент дома не было. К тому же Бернар не мог бы проститься с ними так, чтобы они не попытались его удержать. Он страшился объяснений. Антуану он мог сказать просто: «Я ухожу». Но, говоря это, он так торжественно протянул ему руку, что старый слуга удивился:

— Господин Бернар не возвратится к обеду?

— Он даже не придет и ночевать, Антуан.— И так как последний стоял в замешательстве, не зная хорошенько, как ему следует понимать слова Бернара и вправе ли он задавать ему вопросы, то Бернар еще раз многозначительно произнес: — Я уйду.— Затем прибавил: — Я оставил письмо на письменном столе...— Он не мог решиться сказать «для папы» и повторил: — На письменном столе. Прощай.

Пожимая руку Антуану, он испытывал волнение, словно расставался со своим прошлым; торопливо повторил еще раз «прощай», затем ушел, прежде чем успели разразиться подступавшие к его горлу громкие рыдания.

Антуан был в нерешительности: не берет ли он на себя тяжелой ответственности, позволяя Бернару уйти так,— но как бы он мог удержать его?

Антуан чувствовал, конечно, что этот уход Бернара был для всей семьи событием неожиданным, чудовищным, но его роль совершенного слуги состояла в том, чтобы не подавать виду, будто чему-нибудь удивляешься. Он не должен был знать то, чего не знал господин Профитандье. Без сомнения, он мог бы сказать ему просто: «Известно ли барину, что господин Бернар ушел?» Но он терял таким образом все свои преимущества, а это было совсем невесело. Если он с таким нетерпением поджидал своего господина, то лишь для того, чтобы произнести ему бесстрастно-почтительным тоном, как простое поручение, которое Бернар велел ему передать, следующую тщательно подготовленную им фразу:

— Перед уходом господин Бернар оставил для барина на письменном столе письмо.

Фраза эта была настолько проста, что Антуан мог опасаться, как бы она не осталась незамеченной; он безуспешно старался придумать что-нибудь более значительное; все, что ему удавалось сочинить, выходило ненатурально. Но так как никогда еще не случалось, чтобы Бернар уходил таким образом, то господин Профитандье, которого Антуан искося наблюдал, не мог удержаться от восклицания:

— Что это значит? Перед уходом...

Он тотчас же овладел собой — он не должен выказывать изумления перед слугой; чувство собственного превосходства не покидало его. Он сказал очень спокойным, истинно судейским тоном:

— Прекрасно.— И спросил, направляясь в кабинет: — Где, говоришь, это письмо?

— На письменном столе.

Действительно, едва Профитандье вошел в комнату, как увидел конверт, положенный прямо перед креслом, в котором он обыкновенно сидел, когда писал, но от Антуана не так легко было отделаться, и господин Профитандье, не успев прочесть две строчки, услышал стук в дверь.

— Я забыл сказать барину, что в малой гостиной его ожидают две особы.

— Какие особы?

— Не знаю.

— Обе по одному делу?

— Вроде нет.

— Чего им от меня надо?

— Не знаю. Они хотели бы вас видеть.

Профитандье почувствовал, что терпение его истощается.

— Я уже говорил и повторяю: я не желаю, чтобы меня беспокоили дома, особенно в такой час. У меня есть приемные дни и часы в палате... Зачем ты их впустил?

— Они сказали, что пришли к барину по самому неотложному делу.

— Давно они здесь?

— Около часу.

Профитандье сделал несколько шагов по комнате и провел рукой по лбу; в другой руке он держал письмо Бернара. Исполненный достоинства, Антуан стоял на пороге с невозмутимым видом. Наконец-то ему выпала радость видеть, как судья теряет самообладание и впервые в жизни, топая ногами, кричит:

— Пусть оставят меня в покое! Пусть убираются! Скажи им, что я занят. Пусть приходят в другой раз.

Антуан еще не вышел из комнаты, как Профитандье подбежал к двери:

— Антуан! Антуан!.. Потом пойдешь закрыть краны в ванне.

Да, ничего не скажешь — принял ванну! Он подошел к окну и прочел:

«Милостивый государь!

После одного случайно сделанного мной сегодня откровения я понял, что мне не следует больше считать Вас своим отцом, что для меня огромное облегчение. Чувствуя так мало любви к Вам, я долгое время думал, что являюсь каким-то вырожденком; предпочитаю знать, что я вовсе не Ваш сын. Может быть, Вы полагаете, что я обязан Вам признате-

льностью за то, что Вы обращались со мной как с собственным сыном; но, во-первых, я всегда чувствовал неодинаковость Вашего отношения к другим детям и ко мне; что же касается сделанного Вами для меня, то я достаточно Вас знаю и уверен, что Вы просто боялись скандала, желали скрыть положение, которое не делало Вам большой чести,— и, наконец, не могли поступить иначе. Я предпочитаю уйти, не повидавшись с матерью, потому что боюсь растрогаться, прощаясь с ней навсегда, а также потому, что она могла бы почувствовать себя передо мною в ложном положении, что было бы мне неприятно. Сомневаюсь, чтобы ее привязанность ко мне была очень велика: ведь большую часть времени я проводил в пансионе, и она не успела узнать меня; кроме того, мое присутствие постоянно напоминало ей событие в ее жизни, которое она хотела бы предать забвению; я думаю поэтому, что она узнает о моем уходе с облегчением и удовольствием. Скажите ей, если у Вас хватит мужества, что я не сержусь на нее за то, что она произвела меня на свет бастардом; напротив, я предпочитаю быть незаконным и знать, что рожден не от Вас. (Извините, что я говорю так; у меня нет намерения наносить Вам оскорбления; но то, что я говорю, даст Вам право презирать меня, и Вы почувствуете от этого облегчение.)

Если Вы желаете, чтобы я хранил молчание относительно тайных причин, заставивших меня покинуть Ваш дом, то прошу Вас не делать попыток водворить меня обратно. Принятое мною решение покинуть Вас бесповоротно. Не знаю, какую цифру измеряются Ваши расходы на мое содержание; я мог согласиться жить на Ваш счет лишь потому, что пребывал в неведении, но, само собою разумеется, я предпочитаю ничего не получать от Вас в будущем. Мысль, что я чем-нибудь обязан Вам, мне невыносима, а если бы мне пришлось снова стать зависимым от Вас, то, мне кажется, я скорее умер бы с голоду, чем сел за Ваш стол. К счастью, я, помнится, слышал однажды, что моя мать, выходя замуж, была богаче Вас. Таким образом, я вправе думать, что жил лишь за ее счет. Я благодарю ее, освобождаю от всяких обязанностей передо мной и прошу забыть меня. Вы, надеюсь, придумаете, каким образом объяснить мой уход тем лицам, которых он мог бы удивить. Позволяю Вам во всем винить меня (но хорошо знаю, что Вы не станете ожидать моего позволения, чтобы именно так поступить).

Подписываюсь смешной, принадлежащей Вам фамилией,

которую с удовольствием возвратил бы ее владельцу; воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы ее обесчестить.

Бернар Профитандье.

Р. С. Оставляю у Вас все свои вещи, полагаю, что Калу может воспользоваться ими на более законном для Вас основании».

Господин Профитандье, шатаясь, добрался до кресла. Он хотел бы обдумать содержание письма, но мысли бесвязно путались в голове. К тому же он опять почувствовал легкое покалывание в правом боку, под ложечкой; ничего теперь не поделаешь: начинается приступ печени. Только бы в доме нашлась виши! Хоть бы жена вернулась! Как он скажет ей о бегстве Бернара! Должен ли он показывать письмо? Как несправедливо это письмо, как чудовищно несправедливо! Особенно ему есть от чего прийти в негодование. Он хотел бы принять за негодование свое горе. Он тяжело дышит и при каждом выдохе приговаривает: «Ах, Боже мой!» — быстрое и слабое, как вдох! Боль в боку смешивается у него с душевным страданием, подтверждает его, как бы сосредоточивая в одном месте. Ему кажется, что все его горе заключено в печени. Он бросается в кресло и перечитывает письмо Бернара. Печально пожимает плечами. Конечно, письмо жестоко к нему, но он чувствует в нем досаду, вызов, дерзость. Никто из его других детей, настоящих, никогда бы не был способен написать такое письмо, как не был бы способен и он сам; он отлично знает это, ибо в них нет ничего такого, чего он не замечал бы в себе самом. Конечно, он всегда считал, что ему следует порицать то новое, грубое и необузданное, что он чувствовал в Бернаре; но тщетно он старается думать так: он ясно сознает, что именно из-за этих качеств он любит Бернара, как никогда не любил других детей.

Уже несколько минут из соседней комнаты слышно Цецилию, которая, возвратившись с концерта, села за рояль и стала упорно барабанить все одну и ту же фразу баркаролы. В конце концов Альберик Профитандье не выдержал. Он приоткрыл дверь гостиной и сказал голосом жалобным, как бы умоляющим, потому что колика в печени начинала причинять ему жестокое страдание (к тому же он всегда был немного робок с дочерью):

— Милая Цецилия, не будешь ли ты добра узнать, есть

ли в доме бутылка виши; а если нет, послать за ней. Кроме того, я очень просил бы тебя прекратить на время игру.

— Ты нездоров?

— Нет, нет. Просто мне нужно обдумать один вопрос перед обедом, и твоя музыка мне мешает.— И из любезности — испытываемая им боль делает его добрым — прибавляет: — Какую красивую вещь ты играла! Что это?

Но он уходит, не успев услышать ответ. К тому же дочь знает, что он ничего не понимает в музыке и путает фокстрот с маршем из «Тангейзера» (так, по крайней мере, она утверждает), поэтому у нее нет никакого желания отвечать ему. Но вот он снова открывает дверь:

— Мама возвратилась?

— Нет еще.

Как все нелепо! Она возвратится так поздно, что у него не будет времени поговорить с нею. Что бы такое ему придумать, чтобы объяснить отсутствие Бернара? Ведь нельзя же рассказать правду, раскрыть детям тайну мимолетного увлечения матери. Ах, все давно уже было прощено, основательно забыто, заглажено! Рождение младшего сына скрепило восстановленное согласие. И вдруг этот мстительный призрак, поднимающийся из прошлого, труп, выбрасываемый волною на берег...

Ну что там еще? Дверь в кабинет бесшумно открылась, он поспешно засовывает письмо во внутренний карман пиджака; портьера тихонько приподнимается. Это Калу.

— Папа, скажи... Как перевести эту латинскую фразу? Я ее совсем не понимаю...

— Я ведь просил тебя не входить ко мне без стука. Больше того, я не желаю, чтобы по всяким пустякам ты являлся мне мешать. Ты привыкаешь рассчитывать на чужую помощь и полагаться на других, вместо того чтобы самому стараться. Вчера была задача по геометрии, сегодня вот... Из какого автора твоя фраза?

Калу протягивает тетрадь:

— Он не сказал нам; возьми посмотри, сам узнаешь. Учитель нам ее продиктовал, а я, может быть, неправильно записал. Я хотел бы узнать, правильно ли она написана...

Господин Профитандье берет тетрадь, но он сильно страдает. Он нежно подталкивает мальчика:

— Потом. Уже подают ужин. Шарль пришел?

— Он спустился к себе в кабинет. (Адвокат принимает клиентов на первом этаже.)

— Ступай, скажи, чтобы он зашел ко мне. Ступай, живо!

Звонок! Наконец-то возвращается госпожа Профитандье; она извиняется, что задержалась; ей пришлось нанести много визитов. Она очень опечалена нездоровьем мужа. Что бы сделать для облегчения его боли? У него действительно вид неважный. Ужинать он не будет. Пусть садятся за стол без него. Но после пусть она придет к нему с детьми. Где Бернар? Ах, да... Друг... ты его знаешь, тот, с кем он занимается по математике, увел его к себе.

Профитандье чувствовал себя лучше. Сначала он боялся, что боли не позволят ему говорить. Нужно же, в самом деле, объяснить исчезновение Бернара. Он теперь знал, что он должен сказать, сколь ни мучительно будет это объяснение. Он чувствовал в себе твердость и решимость. Он опасался только, как бы жена не прервала его слезами, криком, как бы ей не сделалось дурно...

Час спустя она входит с тремя детьми, подходит к нему. Он усаживает ее против своего кресла.

— Старайся держать себя в руках,— говорит он тихим, но повелительным тоном,— и не говори ни слова, понимаешь? Мы побеседуем потом наедине.

И во время своей речи он держит ее руку в своих руках.

— Садитесь, пожалуйста, дети. Мне неприятно чувствовать, что вы стоите передо мною, словно на экзамене. Мне предстоит сказать вам нечто очень печальное. Бернар покинул нас, и мы не увидим его больше... здесь какое-то время. Мне нужно сообщить вам сегодня то, что я сначала скрывал от вас, желая, чтобы вы любили Бернара, как брата; ваша мать и я любили его, как нашего сына. Но он не был нашим сыном... и его дядя, брат его настоящей матери, которая, умирая, поручила его нам... пришел сегодня и забрал его с собой.

Тяжелое молчание воцаряется после этих слов, и слышно, как сопит Калу. Все думают, что Профитандье будет продолжать. Но он делает движение рукой:

— Теперь идите, дети. Мне необходимо поговорить с вашей матерью.

Когда они вышли, господин Профитандье долгое время не произносит ни слова. Рука, которую госпожа Профитандье оставила в его руках, словно помертвела. Другую она поднесла носовой платок к глазам. Она облокотилась на большой стол, отвернулась и заплакала. Сквозь сотрясающие ее рыдания Профитандье слышит, как она бормочет:

— Жестокий!.. Вы выгнали его!..

Минуту назад он решил не показывать ей письмо Бернара; но, слыша столь несправедливое обвинение, протягивает ей:

— На, читай.

— Не могу.

— Тебе нужно прочесть.

Он больше не думает о ее горе. Он следит, какое впечатление производит на нее каждая строчка письма. Только что он говорил, едва сдерживая слезы; теперь даже волнение покидает его; он смотрит на жену. О чем думает она? Тем же жалобным голосом, рыдая, она продолжает бормотать:

— Зачем ты сказал ему... Ты не должен был говорить ему.

— Но ты же видишь, что я ничего ему не говорил... Прочти внимательнее.

— Я прочла внимательно... Как же он, в таком случае, узнал? Кто ему сказал?..

Так вот о чем она думает! Вот причина ее слез! Это печальное событие должно бы было объединить их. Увы! Профитандье смутно чувствует, что мысли их расходятся в разные стороны. И в то время как она жалуется, обвиняет, корит себя за все, он пробует склонить эту упрямую душу к более благочестивым чувствам.

— Это искупление,— говорит он.

Он встал, движимый инстинктивной потребностью господствовать; он держится теперь совсем прямо, забыв физическую боль или пренебрегая ею, и важно, нежно, властно кладет руку на плечо Маргариты. Он хорошо знает, что она никогда вполне не раскаялась в том, что он всегда хотел рассматривать как мимолетное прегрешение; он хотел бы сказать ей теперь, что это горе, это испытание может послужить искуплением ее вины; но он напрасно ищет слова, которые удовлетворили бы его и, как он надеется, стали бы понятны для нее. Плечо Маргариты сопротивляется мягкому давлению его руки. Маргарите прекрасно известно, что из малейших жизненных событий всегда должно последовать какое-нибудь нестерпимое моральное поучение; все толкуется и разъясняется им в духе его догм. Он склоняется к ней. Вот что он хотел бы сказать:

— Мой бедный друг, ты видишь: из греха не может родиться ничего хорошего. Попытка скрыть свою вину ни к чему не привела. Увы! Я сделал все, что мог, для этого мальчика; обращался с ним как с собственным сыном. Бог являет теперь нам, что было ошибкой предполагать...

Однако сразу же запинаяется.

Несомненно, она понимает эти столь многозначительные слова; несомненно, они проникли в ее сердце, потому что рыдания ее возобновляются с большей силой, хотя в течение нескольких минут перед этим она не плакала; потом она склоняется еще ниже, как бы готовая упасть перед ним на колени, а он подхватывает и поддерживает ее. Что шепчет она сквозь слезы? Он нагибается к самым ее губам. Слушает:

— Ты видишь... Ты видишь... Зачем ты простил меня?.. Ах, я не должна была возвращаться!

Ему приходится почти угадывать ее слова. Потом она умолкает. Она тоже больше не в силах говорить. Как разъяснить ему, что она чувствует себя словно в плену у добродетели, которой он требует; что она задыхается и сожалеет теперь не столько о своей вине, сколько о своем раскаянии. Профитандье выпрямился:

— Мой бедный друг,— сказал он с достоинством и строго,— боюсь, что ты слишком расстроена. Уже поздно. Пойдем-ка лучше спать.

Он помогает ей встать, провожает ее в спальню, прикасается губами к ее лбу, затем возвращается в кабинет и валится в кресло. Странная вещь: приступ печени прошел, но он чувствует себя разбитым. Он сидит, сжимая лоб руками, слишком опечаленный, чтобы плакать. Он не слышит стука, но шум открываемой двери заставляет его поднять голову: это его сын Шарль.

— Я пришел пожелать тебе доброй ночи.

Шарль подходит к нему. Он все понял. Он хочет дать почувствовать это отцу. Он хотел бы выразить ему свое участие, свою любовь, свою преданность, но кто поверит адвокату: он крайне неискусен по части выражения своих чувств или, может быть, становится неискусным как раз в те минуты, когда чувства его искренни. Он обнимает отца. Настойчивость, с которой он кладет свою голову на его плечо, прижимается к нему и в такой позе замирает на несколько мгновений, убеждает, что Шарль все понял. Он так хорошо понял, что, подняв немного голову, спрашивает — неловко, как все, что он делает,— но сердце его так измучено, что он не может удержаться от вопроса:

— А Калу?

Вопрос нелеп, потому что, насколько Бернар отличался от других детей, настолько у Калу семейные черты совершенно явственны. Профитандье треплет Шарля по плечу:

— Нет, нет, будь спокоен. Только Бернар.

Тогда Шарль произносит наставительно:

— Бог изгоняет чужака, чтобы...

Но Профитандье останавливает его: разве он нуждается в том, чтобы ему говорили так?

— Молчи.

Им больше нечего сказать друг другу. Покинем их. Скоро одиннадцать часов. Оставим госпожу Профитандье, которая сидит в своей комнате на маленьком прямом и не очень удобном стуле. Она не плачет, ни о чем не думает. Она тоже хотела бы убежать, но она не убежит. Когда она была с любовником, отцом Бернара, которого нам не для чего знать, она твердила себе: «Напрасно все это: ты всегда будешь всего-навсего порядочной женщиной». Маргарита страшилась свободы, преступления, привольной жизни; вот почему через девять дней она, раскаиваясь, вернулась к семейному очагу. Ее родители вполне обоснованно говорили ей когда-то: «Ты никогда не знаешь, чего хочешь». Покинем ее. Цецилия уже спит; Калу с отчаянием смотрит на свечу; она скоро догорит и не позволит ему дочитать увлекательную книжку, за которой он забывает об уходе Бернара. Мне было бы очень любопытно знать, что мог рассказать Антуан своей подруге-кухарке; но всего не услышишь. Приближается час, когда Бернар должен отправиться к Оливье. Не знаю хорошенько, где он ужинал сегодня, и ужинал ли вообще. Он беспрепятственно прошел мимо помещения консьержа и украдкой поднимается по лестнице...

III

Изобилие и мир рождают трусов;
мать отваги всегда суровость.

Шекспир

Оливье лег в постель и стал дожидаться поцелуя матери, которая каждый вечер спускалась в комнату двух младших сыновей обнять их перед сном. Он мог бы снова одеться, чтобы встретить Бернара, но все еще сомневался в его приходе и боялся разбудить младшего брата. Обыкновенно Жорж засыпает быстро и просыпается поздно; может, он не заметит ничего странного.

Услышав робкий стук в дверь, Оливье соскочил с постели, поспешно сунул ноги в ночные туфли и побежал открывать. Не было никакой надобности зажигать свет; лунный свет вполне освещал комнату. Оливье сжал Бернара в объятиях:

— Как я ждал тебя! Я все не верил, что придешь. Твои родители знают, что ты сегодня не ночуешь у себя?

Бернар смотрел прямо перед собой в темноту. Он пожал плечами:

— Ты считаешь, что я должен был спросить у них позволения, да?

Тон его был таким холодно ироническим, что Оливье тотчас почувствовал нелепость своего вопроса. Он не понял еще, что Бернар ушел «взаправду»; Оливье думает, что его друг просто не хочет ночевать дома, и не уясняет себе хорошенько мотива этой выходки. Он спрашивает, когда Бернар рассчитывает возвратиться. «Никогда!» Свет вспыхивает в сознании Оливье. Он очень озабочен показать себя на высоте положения и не дать захватить себя врасплох; все же у него вырывается восклицание: «То, что ты делаешь, грандиозно!»

Бернару нравится изумление друга; он особенно чувствителен к нотке восхищения, что проскользнула в этом восклицании; он снова пожимает плечами. Оливье взял его за руку; он очень серьезен; спрашивает с мучительным беспокойством:

— Но... почему ты ушел?

— Ах, старина, это дела семейные. Не могу тебе сказать. — И, чтобы не казаться слишком серьезным, он в шутку сбивает с ноги Оливье туфлю, они сидят теперь рядом на кровати.

— Где же ты будешь жить?

— Не знаю.

— И на что?

— Там видно будет.

— Есть у тебя деньги?

— Завтра на обед хватит.

— А потом?

— Потом нужно будет достать. Ладно, придумаю что-нибудь. Вот увидишь. Я тебе все расскажу.

Оливье в совершенном восторге от своего друга. Он знает его решительный характер, однако он все еще сомневается: когда у Бернара выйдут деньги и нужда схватит его за горло, не сделает ли он попытки вернуться? Бернар его успокаивает: он решится на все, лишь бы не возвращаться к своим. И так как он несколько раз, все с большим упоением, повторяет: «На что угодно», — тревога сжимает сердце Оливье. Он хочет еще что-то сказать, но не смеет. Наконец, опустив голову, он начинает неуверенным тоном:

— Бернар... все же ты не собираешься...— но умолкает. Бернар поднимает глаза и, хотя не видит Оливье, чувствует его смущение.

— Что? — спрашивает он.— Что ты хочешь сказать? Говори. Воровать?

Оливье качает головой. Нет, он не то хотел сказать. Вдруг он раздражается рыданиями, конвульсивно сжимая Бернара в объятиях.

— Обещай мне, что ты не...

Бернар обнимает его, затем со смехом отталкивает. Он понял.

— Ах, это я тебе обещаю. Нет, сутенером не стану.— И прибавляет: — Признайся все же, что это было бы самым простым выходом.— Но Оливье успокоился; он-то знает, что эти последние слова только рисовка.

— А твой экзамен?

— Как раз он мне и мешает. Я все же не хотел бы провалиться. По-моему, я готов; главное, не быть усталым в тот день. Мне нужно покончить с этим как можно скорее. Правда, небольшой риск есть, но... я справлюсь, увидишь.

Некоторое время они молчат. Свалилась вторая туфля.

— Ты простудишься,— сказал Бернар.— Ляг и накройся.

— Нет, ты должен лечь.

— Ты шутишь! А ну, живо! — и он силою укладывает Оливье в раскрытую постель.

— А ты? Где ты будешь спать?

— Неважно. На полу. В углу. Мне надо привыкать.

— Нет, послушай. Я хочу тебе что-то сказать, но я не смогу, пока не буду чувствовать, что ты совсем рядом. Ложись ко мне.— И после того, как Бернар, мигом раздевшись, лег рядом: — Знаешь, то, о чем я говорил тебе несколько дней назад... Это случилось... Я там был.

Бернар понимает с полуслова. Он прижимает к себе своего друга, который продолжает:

— Так знай, старина, это отвратительно. Ужасно... Потом у меня было желание плевать, меня тошнило, хотелось содрать с себя кожу, убить себя.

— Ты преувеличиваешь!

— Или убить ее.

— Кто она была такая? Ты хоть был благоразумен?

— Да, да, это девчонка, которую хорошо знает Дюрмер, он и познакомил меня с нею. Как отвратительно она разговаривала! Она болтала, не умолкая. Какая дура! Не

понимаю, как можно не молчать в такие моменты. Мне хотелось заткнуть ей глотку, задушить ее...

— Бедняга! Ты должен был, однако, заранее знать, что Дюрмер способен подсунуть только идиотку... Красивая хоть?

— Неужели ты думаешь, что я ее разглядывал!

— Ты идиот, купидон. Давай спать... По крайней мере, ты ее...

— Черт! Это-то мне больше всего и отвратительно: то, что я мог все же... совсем так, словно я ее желал.

— Послушай, старина, это потрясающе.

— Замолчи, пожалуйста. Если любовь такова, то я сыт ею надолго.

— Какой же ты еще младенец!

— Хотел бы видеть тебя на моем месте!

— О, ты ведь знаешь, я к этому не стремлюсь. Я сказал тебе, жду авантюры. А так, хладнокровно, меня к этому вовсе не тянет. Все равно, как если бы я...

— Как если бы что?..

— Как если бы она... Ничего. Давай спать.— И он резко поворачивается спиной, отстраняясь немного от тела друга, чья теплота его волнует. Но через мгновение Оливье спрашивает:

— Как ты думаешь... Баррес будет избран?

— Черт... Это тебе важно?

— Плевать мне! Скажи... Послушай...— Он облокачивается на плечо Бернара, и тот оборачивается.— У моего брата есть любовница.

— У Жоржа?

Малыш притворяется спящим, но все слышит; приподняв голову с подушки, он насторожился; когда те произнесли его имя, совсем затаил дыхание.

— Какой дурак! Я говорю о Винcente. (Он старше Оливье, и он студент медицинского факультета.)

— Он сказал тебе?

— Нет. Я узнал об этом, хотя он и не подозревает. Родители ничего не знают.

— Что они сказали, если б узнали?

— Не знаю. Мама пришла бы в отчаяние. Папа потребовал бы порвать с нею или жениться.

— Черт возьми! Порядочные буржуа не понимают, что можно быть честным по-другому, чем они. Как же ты узнал?

— Вот как: с некоторых пор Винцент уходит ночью, когда родители уже в постели. Спускаясь по лестнице, он

старается как можно меньше шуметь, но я узнаю его шаги на улице. На прошлой неделе — в среду, кажется, — ночь была такая душная, что я не мог спать. Я подошел к окну, чтобы легче было дышать. Вдруг услышал, что дверь внизу открылась и снова закрылась. Я высунулся из окна и узнал Винцента, когда он проходил мимо фонаря. Уже перевалило за полночь. Это было в первый раз. Я хочу сказать: в первый раз я заметил его уход. Но с тех пор как я об этом узнал, я наблюдаю — о, невольно! — и почти каждую ночь слышу, как он уходит. У него свой ключ, и родители устроили ему кабинет в комнате, где прежде помещались мы с Жоржем: там он будет принимать своих пациентов. Его комната в стороне, налево от прихожей, тогда как вся остальная квартира направо. Он может уходить и приходить, когда угодно, так что никто об этом не знает. Обыкновенно я не слышу, когда он приходит, но позавчера, в понедельник ночью, не знаю, что со мной было. Я обдумывал проект журнала Дюрмера... Не мог заснуть. До меня донеслись голоса на лестнице, я думал, это Винцент.

— Который час был? — спрашивает Бернар, не столько из желания знать, сколько для того, чтобы проявить интерес к рассказу.

— Думаю, три часа утра. Я встал и приложил ухо к двери. Винцент разговаривал с женщиной. Или, вернее, говорила она одна.

— Как же ты узнал, что это Винцент? Все жильцы проходят мимо твоей двери.

— Иногда даже они сильно мешают: чем более поздний час, тем с большим шумом поднимаются они по лестнице. Плевать им на людей, которые спят!.. Нет, это мог быть только он; я слышал, как женщина повторяла его имя. Она говорила ему... ах, мне противно передавать ее слова...

— Что говорила?

— Она говорила: «Винцент, возлюбленный мой, любовь моя, ах, не покидайте меня!»

— Она обращалась к нему на «вы»?

— Да. Не правда ли, любопытно?

— Рассказывай дальше.

— «Теперь вы не имеете права бросить меня. Что я буду делать? Куда пойду? Скажите мне что-нибудь. Ах, не молчите же!» И она снова называла его по имени и повторяла: «Возлюбленный мой, возлюбленный мой», — голосом все более и более печальным, все более и более слабеющим. Потом я услышал шум (они, должно быть,

стояли на ступеньках лестницы) точно от падающего тела. Я думаю, она бросилась на колени.

— А он по-прежнему ничего не отвечал?

— Он, должно быть, взошел на последние ступеньки; я услышал, как хлопнула дверь его комнаты. Она оставалась еще долго, совсем рядом, почти у самой моей двери. Я слышал ее рыдания.

— Ты должен был открыть.

— Я не посмел. Винцент пришел бы в ярость, если бы узнал, что я в курсе его любовных дел. Кроме того, я боялся, как бы не смутить ее тем, что застал ее в слезах. Я не нашелся бы, что сказать ей.

Бернар повернулся к Оливье:

— На твоём месте я открыл бы...

— О, ты молодец! Ты всегда себе все позволяешь. Делаешь все, что взбредет в голову.

— Это упрек?

— Нет, завидую.

— Кто, по-твоему, эта женщина?

— Откуда мне знать? Покойной ночи.

— Скажи... ты уверен, что Жорж не слышал нас? — шепчет Бернар на ухо Оливье. Несколько мгновений они прислушиваются.

— Нет, спит, — отвечает Оливье вслух, — потом он все равно бы не понял. Знаешь, что он спросил третьего дня у папы?.. Почему...

На этот раз Жорж не выдерживает: он привстает на постели и кричит брату:

— Дурак! Ты, значит, не понял, что я спрашивал нарочно?.. Да, черт возьми, я слышал все, что вы тут болтали, но вам нечего волноваться. Про Винцента я знал уже давно. Но, пожалуйста, крошки, говорите теперь тише, я хочу спать. Или замолчите.

Оливье поворачивается лицом к стене. Бернару не спится, и он разглядывает комнату. От лунного света она кажется просторнее. Она мало знакома ему. Оливье никогда не бывает здесь днем; во время немногих приходов Бернара он принимал его в верхней комнате. Лунный свет касается теперь изголовья кровати, в которой Жорж наконец заснул; он слышал почти весь рассказ брата; ему будет сниться много снов. Над кроватью Жоржа виднеется маленькая этажерка с двумя полками, где расставлены его учебники. На столике около кровати Оливье Бернар замечает книгу большого формата; он протягивает руку, берет ее, чтобы

посмотреть заглавие — «Токвиль», но, когда он хочет положить книгу обратно, она падает, и шум будит Оливье.

— Ты читаешь Токвиля?

— Дюбак мне дал.

— Нравится?

— Скучновато. Но кое-что сказано прекрасно.

— Послушай. Что ты делаешь завтра?

Завтра, в четверг, лицеисты свободны. Бернар думает, не встретиться ли ему снова с другом. Он не намерен больше возвращаться в лицей; хочет обойтись без последних уроков и самостоятельно подготовиться к экзамену.

— Завтра, — ответил Оливье, — в половине двенадцатого я иду к дьеспскому поезду на вокзал Сен-Лазар встречать дядю Эдуарда, который возвращается из Англии. В три часа у меня свидание с Дюрмером в Лувре. Остальную часть дня мне нужно заниматься.

— Дядю Эдуарда?

— Да, он мамин сводный брат. Полгода был в отъезде, и я мало знаком с ним, но я очень его люблю. Он не знает, что я собираюсь встречать его, и боюсь, я его не узнаю. Он совсем не похож на других членов моей семьи. Он очень хороший.

— Что он делает?

— Пишет. Я прочел почти все его книги, но уже давно он ничего не выпускал.

— Романы?

— Да, что-то вроде романов.

— Почему ты мне никогда о нем не говорил?

— Потому что ты захотел бы прочесть его книги, и если бы они тебе не понравились...

— Ну?.. Что дальше?

— То это было бы мне неприятно!

— Почему же ты решил, что он очень хороший?

— Право, не знаю. Я сказал тебе, что почти незнаком с ним. Это скорее предчувствие. Я чувствую, что его интересуют вещи, вовсе чуждые моим родителям, и с ним можно говорить обо всем. Однажды — незадолго перед своим отъездом — он завтракал у нас; разговаривая с отцом, он — я чувствовал — все время смотрел на меня, и это начало меня волновать; я хотел уже уйти из комнаты — дело было в столовой, где мы задержались после кофе, но он начал расспрашивать отца обо мне, что меня смутило еще больше. И вдруг папа встал и отправился за стихами, что я недавно сочинил и имел глупость ему показать.

— За твоими стихами?

— Ну да, знаешь, то самое стихотворение, которое, по-твоему, похоже на «Балкон»¹. Я знал, что цена моим стихам — грош или почти грош, и был очень недоволен, что папа вспомнил о них. Какое-то время, пока папа искал эти стихи, мне пришлось остаться в столовой наедине с дядей Эдуардом, и я почувствовал, что страшно краснею; я никак не мог придумать, что бы такое сказать: смотрел по сторонам — и на него; впрочем, он сначала принялся крутить папироску, затем — конечно, для того, чтобы дать мне возможность оправиться от смущения, — встал и начал глядеть в окно. Он насвистывал. Вдруг он сказал: «Я взволнован больше, чем ты». Но думаю, это была простая деликатность. Наконец папа вернулся; он протянул стихи дяде Эдуарду, и тот принялся читать их. Я был на таких нервах, что, начини он говорить мне комплименты, ответил бы, кажется, какою-нибудь дерзостью. Папа, конечно, ожидал комплиментов; так как дядя ничего не говорил, он спросил: «Ну как? Каково твое мнение?» Но дядя сказал ему, смеясь: «Мне неловко высказывать о нем мнение в твоём присутствии». Тогда папа вышел, тоже смеясь. Когда мы снова остались одни, дядя сказал, что находит мои стихи очень плохими; однако этот отзыв доставил мне удовольствие; и ещё больше мне понравилось, что он вдруг ткнул пальцем в два стиха — два единственных стиха, что нравились мне во всем стихотворении; он посмотрел на меня, улыбаясь, и сказал: «Вот это хорошо». Ну разве он не славный парень? И если бы ты знал, каким тоном сказал он это! Я бы расцеловал его. Затем он заметил, что ошибка моя заключается в том, что я исхожу из мысли и не позволяю себе довериться словам. Сначала я не понял его хорошенько; теперь же, мне кажется, для меня ясно, что он хотел сказать, — и он прав. Я тебе объясню это в другой раз.

— Теперь я понимаю, почему ты хочешь встретить его на вокзале.

— О, то, что я тебе рассказываю, — пустяки, и я не знаю, зачем ты это тебе рассказываю. Мы говорили с ним ещё о многих других вещах.

— В половине двенадцатого, ты говоришь? Откуда же ты узнал, что он приезжает с этим поездом?

— Потому что он прислал мне открытку. Кроме того, я проверил по расписанию.

¹ Оливье подразумевает, вероятно, стихотворение Шарля Бодлера. (Прим. пер.)

— Ты будешь завтракать с ним?

— Нет, к двенадцати мне нужно возвратиться домой. Я успею только пожать ему руку; но этого мне достаточно... Ах, скажи, пожалуйста, пока я не уснул: когда я тебя снова увижу?

— Не раньше, чем через несколько дней. Не раньше, чем я выпутаюсь из этой истории.

— Но все же... может быть, я буду в состоянии оказать тебе какую-нибудь помощь.

— Помощь? Нет. Тогда игра будет не настоящая. Мне будет казаться, что я плутую. Спи спокойно.

IV

Отец мой был глуп, но мать — женщина умная; она была квинтистка; маленькая, ласковая, она часто говорила мне: «Сын мой, вы будете осуждены на вечные муки». Но это несколько ее не печалило.

Фонтенель

Нет, не к любовнице ходил каждую ночь Винцент Молинье. Хотя он шагает быстро, последуем за ним. С улицы Нотр-Дам-де-Шан, где он живет, Винцент спускается на улицу Сен-Пласид, которая служит ее продолжением; потом идет по улице Бак, где еще попадаются запоздавшие буржуа. Он останавливается на улице Бабилон у входной двери, которая распахивается перед ним. Вот он у графа де Пассавана. Если бы Винцент не был здесь завсегдатаем, он не входил бы так непринужденно в этот роскошный особняк. Лакей, открывающий ему, отлично знает, сколько робости таятся под этой напускной уверенностью. Винцент намеренно не дает ему своей шляпы, которую издали бросает на кресло. Однако Винцент приходит сюда не очень давно. Робер де Пассаван, называющий себя сейчас его другом, — друг множества людей. Не знаю толком, как Винцент познакомился с ним. В лицее, вероятно, хотя Робер де Пассаван значительно старше Винцента; несколько лет они не виделись друг с другом; затем, в самое последнее время, снова встретились как-то в театре, когда вопреки обыкновению Винцент был там вместе с братом Оливье; в антракте Пассаван угостил их обоих мороженым; в тот вечер он узнал, что Винцент только что окончил свои общие курсы и был в нерешительности, продолжать ли ему специализироваться в медицине; сказать по правде, естественные

науки больше привлекали его, но необходимость зарабатывать... Словом, Винцент охотно принял сделанное ему вскоре Робером де Пассаваном выгодное предложение: ухаживать каждую ночь за старым графом, отцом Робера, болезненно переносившим последствия тяжелой операции; речь шла о перевязках, осмотре раны, уколах и еще каких-то — не сумею перечислить точно — манипуляциях, требовавших опытных рук. Но у виконта были еще и другие, тайные причины приблизить себе Винцента; последний, в свою очередь, имел тайные основания принять приглашение. Тайные причины Робера мы постараемся раскрыть в дальнейшем; что же касается оснований Винцента, то они были несложны: попросту он крайне нуждался в деньгах. Когда сердце ваше не испорчено, а здоровое воспитание с раннего возраста внушило вам чувство ответственности, то, принося женщине ребенка, вы сознаете некоторое обязательство по отношению к ней, особенно если она бросила из-за вас мужа. Винцент вел до сих пор довольно добродетельную жизнь. Связь с Лаурой казалась ему в разные часы дня то чудовищной, то совершенно естественной. Для получения чудовищного целого часто достаточно бывает сложить вместе множество мелких фактов, которые кажутся вполне простыми и естественными, если рассматривать их порознь. Он мысленно повторял все это по дороге к Роберу, но выхода не видел. Конечно, он никогда не предполагал полностью взять на себя заботы об этой женщине: жениться на ней после развода или жить вместе, не сочетаясь законным браком; он вынужден был признаться себе, что не чувствовал к ней большой любви; но он знал, что в Париже она без средств; он был причиной ее невзгод; он обязан был оказать ей, по крайней мере, первоначальную помощь, но с горечью сознавал, что сегодня у него меньше возможностей сделать это, чем вчера и все последние дни. Еще неделю назад у него было пять тысяч франков, терпеливо и ценою больших лишений накопленных матерью для облегчения первых шагов его врачебной практики; этих пяти тысяч франков, вероятно, хватило бы для оплаты расходов по содержанию его любовницы в клинике и для первых забот о ребенке. Какого демона он послушался тогда? Названная сумма мысленно уже была вручена им Лауре; он уже отдавал ее Лауре и считал бы преступлением прикоснуться к ней; какой же демон нашептал ему однажды вечером, что этих денег, пожалуй, будет недостаточно? Нет, не Робер де Пассаван. Робер никогда не говорил ничего подобного;

но предложение ввести Винцента в игорный дом было сделано им как раз в тот вечер. И Винцент принял его.

Коварный характер притона заключался в том, что игра шла между светскими людьми, между приятелями. Робер представил своего друга Винцента некоторым посетителям. Винцент, захваченный врасплох, не в состоянии был вести крупную игру в этот первый вечер. У него почти не было денег, и он отказался от нескольких кредитных билетов, предложенных ему займы виконтом. Но так как ему везло, то он пожалел, что ставил так мало, и обещал себе снова прийти сюда на следующий день.

— Теперь здесь вас знают все, мне нет необходимости приезжать с вами, — сказал Робер.

Все это происходило у Пьера де Брувиля, больше известного под кличкой Педро. Уже с первого вечера Робер де Пассаван предоставил свой автомобиль в распоряжение нового друга. Винцент приезжал к одиннадцати часам, четверть часа беседовал с Робером, выкуривал папиросу, затем поднимался на второй этаж и оставался подле графа столько времени, сколько требовалось в зависимости от настроения, терпения больного и его общего состояния; затем автомобиль доставлял его на улицу Сен-Флорентен, к Педро, а час спустя привозил домой — правда, не на самую улицу Нотр-Дам-де-Шан, — Винцент боялся привлечь к себе внимание, — а на ближайший перекресток.

Позапрошлую ночь Лаура Дувье, сидя на ступеньках лестницы, ведущей в квартиру Молинье, ждала Винцента до трех утра. Впрочем, в эту ночь Винцент не ездил к Педро. Ему больше нечего было проигрывать. Уже два дня, как из пяти тысяч у него не оставалось больше ни единого су. Он известил об этом Лауру; написал ей, что теперь он ничего не может сделать для нее; что советует ей возвратиться к мужу или к отцу; во всем сознаться. Но это признание казалось невозможным Лауре; она не могла даже хладнокровно думать о нем. Жестокие советы любовника вызывали у нее лишь негодование, по временам сменявшееся отчаянием. Как раз в таком состоянии застал ее Винцент. Она хотела удержать его; он вырвался из ее объятий. Конечно, это стоило ему борьбы, потому что сердце у него было чувствительное; но скорее чувственный, чем любящий, он легко стал рассматривать свою суровость как долг. Он ничего не ответил на мольбы Лауры, на ее жалобы, и, как рассказывал потом Бернару подслушавший их Оливье, она долго еще рыдала в темноте, распростершись на ступеньках

лестницы, после того как Винцент захлопнул перед нею дверь.

С той ночи протекло уже более сорока часов. Вчера Винцент не пошел к Роберу де Пассавану, потому что старый граф чувствовал себя лучше, но сегодня вечером он получил телеграмму, приглашавшую его явиться. Робер хотел видеть его. Когда Винцент вошел в комнату, которая служила Роберу рабочим кабинетом и курительной, где он проводил большую часть дня и которую обставил и украсил по своему вкусу, Робер, не вставая, небрежно протянул ему руку через плечо.

Робер пишет. Он сидит за письменным столом, заваленным книгами. Перед ним широко раскрыта стеклянная дверь, выходящая в ярко озаренный луною сад. Он говорит не оборачиваясь:

— Знаете, что я сейчас пишу?.. Но не проболтайте никому об этом... обещайте мне... Манифест для первого номера журнала Дюрмера. Понятно, я не подписываюсь... тем более что расхваливаю там себя... Так как в конце концов всем станет известно, что деньги на издание журнала даю я, то пусть в течение некоторого времени публика не знает о моем сотрудничестве. Итак, молчок! Теперь же меня занимает вот что: вы, помнится, говорили, что ваш младший брат пишет? Как его имя?

— Оливье,— ответил Винцент.

— Да, Оливье, я забыл... Что же вы стоите? Садитесь в кресло. Вам не холодно? Хотите, я закрою окно?.. Он пишет стихи, не правда ли? Пусть он принесет их мне. Конечно, я не обещаю непременно принять... но все же я удивлюсь, если они окажутся плохими. У вашего брата очень умное лицо. Кроме того, чувствуется, что он в курсе современной литературы. Я хотел бы поговорить с ним. Скажите ему, чтобы пришел ко мне. Идет? Я полагаюсь на вас. Хотите папиросу? — и он протягивает Винценту серебряный портсигар.

— С удовольствием.

— Теперь слушайте, Винцент, мне нужно очень серьезно с вами поговорить. Вы вели себя как ребенок в тот вечер... и я тоже, впрочем. Я не говорю, что мне не следовало показывать вам дорогу к Педро; но я чувствую себя до некоторой степени ответственным за проигранные вами деньги. Мне все кажется, что я виновник вашего проигрыша. Не знаю, можно ли назвать это угрызениями совести, но я начинаю терять сон и чувствую боль в желудке, право

слово! Кроме того, я все думаю о той несчастной женщине, о которой вы мне рассказали... Но это из другой области; не будем касаться ее; это свято! Я только желаю, хочу, — да, безусловно, — предоставить в ваше распоряжение сумму, равную той, что вы проиграли. Пять тысяч франков, не так ли? Попробуйте снова рискнуть. Повторяю еще раз: я считаю себя виновником вашего проигрыша; я ваш должник, вам нечего благодарить меня. Если вы выиграете, то отдадите мне деньги. Если нет, что ж! Мы будем квиты. Поезжайте сегодня к Педро как ни в чем не бывало. Автомобиль отвезет вас, потом заедет за мной, и я отправлюсь к леди Гриффитс; прошу и вас пожаловать к ней после игры; там и увидимся. Итак, я полагаюсь на вас. Автомобиль вернется за вами к Педро.

Он открывает ящик, вынимает оттуда пять тысячных банкнотов и передает их Винценту:

— Ступайте живо.

— Но ваш отец...

— Ах, забыл сказать вам: он умер, вот уже... — Он достает часы и восклицает: — Черт возьми, как поздно, скоро двенадцать!.. Отправляйтесь живо. Да, он умер четыре часа назад.

Все это сказано без всякой торопливости, напротив, с деланной небрежностью.

— И вы не остаетесь...

— С покойником? — прервал Робер. — Нет, мой младший брат берет на себя эту обязанность, он там со своей старой няней, которая уживалась с покойником лучше меня...

Так как Винцент не трогается с места, он продолжает:

— Слушайте, дорогой друг, я не хотел бы показаться циником, но мне противны деланные чувства. Я лелеял в своем сердце, как и полагается, сыновнюю любовь к отцу, но любовь эта в первые времена была несколько расплывчатая, и я постепенно поумерил ее. Всю жизнь старик причинял мне одни неприятности, огорчения, досаду. Если в сердце его оставалось немного нежности, то уж, наверное, не мне давал он ее почувствовать. Мои первые порывы, с которыми я устремился к нему в том возрасте, когда не знал еще, что такое сдержанность, были встречены ледяным холодом; я получил горький урок. Вы сами наблюдали его во время ухода за ним... Поблагодарил он вас когда-нибудь? Добились вы от него хотя бы мимолетного взгляда, хотя бы беглой улыбки? Он всегда считал, что все перед ним

в долгу. О, он имел, что называется, характер! Думаю, он причинял много страданий моей матери, которую, однако, любил, если вообще когда-нибудь пережил настоящую любовь. Я думаю, он причинял страдания всем своим окружающим: слугам, собакам, лошадям, любовницам, но не друзьям: их у него никогда не было. При известии о его смерти каждый вздохнет с облегчением. Этот человек, должно быть, высоко ценился членами «своей партии», но я никогда не мог узнать, что это за партия. Несомненно, он был очень умен. В глубине души я восхищался им; я сохранил это восхищение до сих пор. Но вытаскивать носовой платок... источать из глаз слезы... нет, для этого я слишком стар. Ступайте же скорее и через час приезжайте за мной к Лилиан. Что? Вас беспокоит, что вы не в смокинге? Какой вы глупыш! Зачем? Мы будем одни. Послушайте, обещаю вам остаться в пиджаке. Решено. Закурите сигару перед уходом и живо присылайте обратно машину; через час она за вами заедет.

Он посмотрел на удаляющегося Винцента, пожал плечами, затем отправился в спальню переодеться в приготовленный для него на диване фрак.

В одной из комнат второго этажа старый граф покоится на смертном одре. Ему положили на грудь распятие, но забыли сложить руки. Отросшая за несколько дней борода смягчает резко очерченный угол волевого подбородка. Рассекающие лоб поперечные морщины под щеткой седых волос кажутся менее глубокими и как бы разглаженными. Глаза, глубоко запавшие под густой растительностью бровей. Так как нам не придется больше видеть покойника, я долго гляжу на него. У изголовья постели кресло, в котором сидит Серафина, старуха-няня. Она встает. Подходит к столу, на котором стоит старомодная масляная лампа, слабо освещающая комнату; нужно поправить фитиль. Абажур отражает свет на книгу, которую читает юный Гонтран...

— Вы устали, господин Гонтран. Шли бы лучше спать.

Гонтран поднимает глаза и устремляет ласковый взгляд на Серафину. Откидываемые им со лба белокурые волосы слегка вьются на висках. Ему пятнадцать лет; его почти женское лицо выражает только нежность и любовь.

— Ну а ты? — говорит он. — Это тебе следует пойти поспать, бедная моя Фина. Прошлую ночь ты почти все время была на ногах.

— О, я не привыкла спать! Кроме того, я спала днем, а вы...

— Нет, оставь... Я не устал; мне так удобно здесь размышлять и читать. Я очень мало знал папу, мне кажется, что совсем позабуду его, если хорошенько не посмотрю на него. Я буду бодрствовать подле него до рассвета. Сколько времени, Фина, ты служишь у нас?

— Я поступила сюда за год до вашего рождения, а вам скоро шестнадцать.

— Ты хорошо помнишь маму?

— Помню ли я вашу маму? Вот так вопрос! Это все равно, если бы спросили меня, помню ли я, как меня зовут. Конечно же, я помню вашу маму.

— Я тоже немного помню, но плохо... мне было всего пять лет, когда она умерла... Скажи... Папа часто разговаривал с нею?

— Когда как. Папа ваш никогда не был особенно разговорчив и очень не любил, если кто первый заговаривал с ним. Но все же он говорил немного больше, чем в самое последнее время. Но не стоит копаться в воспоминаниях, предоставим Господу Богу судить обо всем этом.

— Ты думаешь, Господь Бог действительно будет заниматься всем этим, милая Фина?

— Если не Господь Бог, то кто же?

Гонтран прижимался губами к покрасневшей руке Серафины.

— Знаешь, что ты должна сделать? Пойти спать. Обещаю разбудить тебя, как только рассветет, и тогда я лягу. Прошу тебя.

Едва Серафина оставила его в одиночестве, Гонтран бросается на колени перед ложем покойника, утыкается лбом в простыни, но ему не удается заплакать: ни один порыв не заставляет его сердце забиться сильнее. Глаза остаются безнадежно сухими. Тогда он встает. Рассматривает это бесстрастное лицо. В этот торжественный миг он хотел бы испытать возвышенные и необыкновенные чувства, услышать весть из загробного мира, умчаться мыслью в эфирные, сверхчувственные сферы,— но мысль его остается пригвожденною к земле. Он глядит на бескровные руки мертвеца и спрашивает себя, сколько еще времени будут расти ногти. Его оскорбляют несложные руки. Он хотел бы сблизить их, соединить, заставить держать распятие. Да, это прекрасная мысль. Он представляет себе, как Серафина будет удивлена, когда увидит, что руки

покойника сложены, и как его позабавит ее удивление; но тут же он начинает презирать себя за такие мысли. Все же он наклоняется над постелью. Он схватывает ту руку покойника, что лежит дальше от него. Рука уже заоченела и не хочет сгибаться. Гонтран делает усилие, чтобы согнуть ее, но сдвигает с места тело. Он берет другую руку, она кажется несколько более гибкой. Гонтрану почти удалось положить руку на грудь; он пытается всунуть в нее распятие, так, чтобы оно держалось между большим пальцем и ладонью, но от прикосновения к похолодевшему телу он вдруг слабеет. Думает, что с ним сейчас сделается дурно. У него возникает желание позвать Серафину. Он бросает все: распятие на измятой простыне, руку, которая безжизненно падает на прежнее место, и в наступившей жуткой тишине слышит вдруг: «Черт возьми!» — грубый возглас, наполняющий его ужасом: Гонтрану кажется, что в комнату кто-то вошел.. Он оборачивается: никого, он один. Это у него вырвалось звучное ругательство, из глубины существа Гонтрана, который никогда не ругался. Он снова усаживается за стол и погружается в чтение.

V

В эту душу и в это тело никогда не проникало исступление.

Сент-Бев

Лилян, привстав, слегка коснулась пальцами светлых волос Робера.

— Вы начинаете лысеть, мой друг. Обратите внимание. Вам только тридцать. Плешь совсем не красит вас. Вы, наверно, слишком серьезно относитесь к жизни.

Робер поднимает голову и с улыбкой смотрит на нее.

— Только не в вашем обществе, уверяю вас.

— Вы сказали Молинье, чтобы он приехал к нам?

— Да, ведь вы просили меня об этом.

— И... одолжили ему денег?

— Пять тысяч франков, я же сказал вам, которые он снова проиграет у Педро.

— Почему вы хотите, чтобы он проиграл?

— Он азартный игрок. Я наблюдал за ним в первый вечер. Он совсем не умеет играть.

— За это время он успел научиться... Хотите пари, что сегодня он выиграет?

— Если вам угодно.

— Ах, прошу вас, не принимайте мое предложение как жертву. Не люблю, когда делают что-нибудь без удовольствия.

— Не сердитесь. Решено. Если он выиграет, он возвратит взятые у меня деньги вам. Но если проиграет, вы возместите мне потерянное. Согласны?

Она нажала кнопку звонка:

— Принесите токайского и три бокала. Если он возвратится с пятью тысячами франков, они будут оставлены ему, хорошо? Если он не проиграет и не выиграет...

— Так никогда не бывает. Забавно, что вы им так интересуетесь.

— Забавно, что вы не находите его интересным.

— Вы находите его интересным, потому что влюблены в него.

— Это правда, дорогой мой! С вами можно говорить откровенно. Но не потому он меня интересует. Наоборот: когда мужчина кружит мне голову, мой интерес к нему обычно остывает.

Снова появился слуга, неся на подносе вино и бокалы.

— Выпьем сначала за пари, а потом будем пить с выигравшим.

Слуга налил вина, и они чокнулись.

— Я нахожу вашего Винцента скучным,— заметил Робер.

— Скажите пожалуйста! «Мой» Винцент!.. Как будто не вы познакомили меня с ним! И потом советую вам не повторять всюду, что он вам скучен. Все быстро поймут, почему вы так часто видите с ним.

Робер, слегка повернувшись, прикоснулся губами к обнаженной ножке Лилиан, которую она тотчас отдернула и прикрыла веером.

— Мне следует покраснеть? — спросил он.

— В моем обществе не стоит стараться. Все равно вам это не удастся.

Она осушила бокал и продолжала:

— Хотите, я скажу вам, кто вы, дорогой мой? У вас все качества литератора: вы тщеславны, лицемерны, честолюбивы, непостоянны, эгоистичны.

— Вы мне льстите.

— Да, все это очаровательно. Но вы никогда не сделаетесь хорошим романистом.

— Почему же?

- Потому что не умеете слушать.
- Мне кажется, что вас я слушаю очень внимательно.
- Вам кажется? Он не литератор, а слушает меня куда внимательнее. Но когда мы вместе, больше слушаю, пожалуй, я.
- Он почти не умеет говорить.
- Это оттого, что все время разглагольствуете вы. Я вас знаю: вы не даёте ему рта раскрыть.
- Мне наперед известно все, что он может сказать.
- Вы полагаете? Вы хорошо знаете его историю с этой женщиной?
- О, сердечные дела, что может быть скучнее!
- Я очень люблю также, когда он рассказывает что-нибудь из естествознания.
- Естествознание ещё более скучная материя, чем сердечные дела. Значит, он читает вам лекции?
- Ах, если бы я умела пересказать вам все то, о чем он мне рассказывал... Как это увлекательно, дорогой мой! Он рассказал мне столько интересного о морских животных. Я всегда интересовалась всем, что живет в море. Вы знаете, в Америке строят теперь подводные лодки с окнами по бортам, чтобы видеть все кругом в глубинах океана. Открывается чудесная картина. Видны живые кораллы, видны — как их называют? — мадрепоры, губки, водоросли, стаи рыб. Винцент говорит, что есть породы рыб, которые гибнут, когда вода становится более соленой, и есть, напротив, другие, которые выносят различные степени солености; эти последние держатся обыкновенно подле морских течений, где вода становится преснее, и пожирают первых, когда те ослабевают. Вы должны попросить его рассказать вам... Уверяю вас, это очень интересно. Когда он говорит об этом, он делается необыкновенным. Вы не узнали бы его... Но вы не умеете заставить его разговаривать... А как он рассказывает о своем романе с Лаурой Дувье... Да, так зовут эту женщину... Знаете, как он познакомился с нею?
- Он рассказал вам?
- Мне говорят всё. Вы хорошо это знаете, несносный! — И она провела по его щеке перьями сложенного веера. — А известно ли вам, что он приходил сюда ежедневно с того вечера, как вы его привели ко мне?
- Ежедневно! Честное слово, никак не мог бы подумать.
- На четвертый день он не мог больше удержаться; рассказал все. Но каждый день потом прибавлял какую-нибудь подробность.

— И вам не докучали эти рассказы! Удивительная вы женщина.

— Сказала же я вам, что люблю его.— И она в экстазе схватила Робера за руку.

— А он... он любит эту женщину?

Лилиан расхохоталась:

— Он любил ее. О, сначала мне пришлось притвориться, будто я страшно ею интересуюсь. Я должна была даже плакать вместе с ним. И, однако, я испытывала жуткую ревность. Сейчас больше не ревную. Слушайте, как все началось: они оба были в По, в санатории, куда врачи послали их, подозревая туберкулез. В действительности же ни он, ни она больны не были. Но оба считали себя очень больными. Они не были знакомы. В первый раз они увидели друг друга, когда лежали рядом в саду на террасе, каждый в шезлонге, вместе с другими больными, лечение которых состоит в том, что они остаются весь день на свежем воздухе. Так как они считали себя обреченными, то были убеждены, что все совершаемое ими не повлечет никаких последствий. Он беспрестанно повторял ей, что им осталось жить не больше месяца; дело происходило весной. Она была там совсем одна. Муж ее — скромный преподаватель французского языка в Англии. Она рассталась с ним и приехала в По. Она была замужем всего три месяца. Муж, должно быть, отдал последнее, чтобы послать ее в По. Писал ей ежедневно. Эта молодая женщина из очень почтенной семьи, прекрасно воспитанная, очень сдержанная, робкая. Но там... Не знаю точно, что такого Винцент мог сказать ей, но на третий день Лаура призналась, что, хотя спала с мужем и принадлежала ему, не извела, что такое наслаждение.

— Что же он ответил ей?

— Он взял ее руку, которая бессильно свисала с шезлонга, и прильнул к ней долгим поцелуем.

— А что сказали вы, когда он рассказал все это?

— Я! Это ужасно... представьте себе, что я безумно расхохоталась. Я не в силах была сдержаться и не в силах была остановиться... Не столько его рассказ рассмешил меня, сколько участливый и опечаленный вид, который я должна была напустить, чтобы побудить его продолжать. Я боялась, что выгляжу слишком уж веселой. А, в сущности, история была очень красивая и печальная. Он был так взволнован, когда рассказывал ее мне! Никому он не говорил об этом ни слова. Его родители, понятно, ничего не знают.

— Это вам следовало бы писать романы.

— Черт возьми, дорогой мой, если бы только я знала, на каком языке!.. Никогда я не могла бы решиться сделать выбор между русским, английским и французским... Наконец, в ближайшую ночь он пришел в комнату своей новой подруги и открыл ей все то, чему не умел научить ее муж и чему, мне кажется, Винцент научил ее как нельзя лучше. Но на беду они были убеждены, что жить им остается очень недолго, и, понятно, не приняли никаких предосторожностей; понятно также, что немного времени спустя, благодаря деятельной помощи любви, они оба начали чувствовать себя гораздо лучше. Когда она убедилась, что беременна, ошеломлены были оба. Это случилось в последний месяц их пребывания в санатории. Начиналась жара. Летом По невыносим. Они вместе возвратились в Париж. Муж ее думает, что она у своих родителей, которые держат пансион около Люксембургского сада; но у нее не хватило решимости поселиться у них. Родители же убеждены, что она еще в По; но в конце концов все очень скоро откроется. Винцент сначала клялся, что не покинет ее; он предлагал ей отправиться с ним куда-то на край света, не то в Америку, не то в Океанию. Но им нужны были деньги. Как раз тогда он встретился с вами и начал играть.

— Ничего этого он мне не рассказывал.

— Только не вздумайте передать ему то, что я вам разболтала!..

Она замолчала и прислушалась:

— Я думала, это он... Он говорил, будто по дороге из По в Париж ему показалось, что она сходит с ума. Она едва освоилась с мыслью, что у нее начинается беременность. Она сидела напротив него в купе вагона; они были одни. Она не сказала ему ни единого слова с самого утра; ему пришлось взять на себя все хлопоты по отъезду; она позволяла делать с собою что угодно; казалось, она перестала сознавать что-либо. Он сжал ее руки; но она пристально смотрела перед собой бессмысленным взором и как будто не видела его; губы ее шевелились. Он наклонился к ней. Она шептала: «Любовник! Любовник! У меня есть любовник». Она монотонно повторяла эту фразу; и все время на язык ей наворачивалось одно и то же слово, как если бы других она не знала... Уверю вас, дорогой мой, что после его рассказа у меня больше не возникало желания смеяться. Никогда в жизни я не слышала ничего более патетического. И все же по мере того, как он говорил, мне становилось ясно, что он

удаляется от этого. Казалось, будто его чувство умирает вместе с произносимыми им словами. Казалось, словно он благодарен моему волнению за то, что оно немного облегчало его собственное.

— Не знаю, как бы вы выразили это по-русски или по-английски, но уверяю вас, что по-французски вышло превосходно.

— Благодарю вас. Я так и думала. После этого он стал рассказывать мне из зоологии; и я постаралась убедить его, что было бы чудовищно пожертвовать карьерой ученого ради любви.

— Иначе говоря, вы посоветовали ему пожертвовать любовью. И предложили себя взамен этой любви?

Лилиан промолчала.

— На сей раз, думаю, это он,— продолжал Робер, вставая.— Скажите всего одно слово, пока он еще не вошел. Несколько часов тому назад умер мой отец.

— А! — только и сказала она.

— Как бы вы отнеслись к тому, чтобы стать графиней де Пассаван?

Лилиан вдруг откинулась и звонко расхохоталась.

— Но, дорогой мой... если я хорошо помню, у меня уже есть муж, которого я забыла где-то в Англии. Как! Неужели я не говорила вам об этом?

— Должно быть, нет.

— Вы и сами могли бы догадаться: леди не бывает без лорда...

Граф де Пассаван, никогда не веривший в подлинность титула своей приятельницы, улыбнулся. Лилиан продолжала:

— Еще одно слово. Вам пришло в голову сделать мне это предложение, чтобы создать приличный фасад вашей жизни? Нет, дорогой, нет. Останемся такими, какие мы есть. Друзьями, идет? — и она протянула де Пассавану руку, которую тот поцеловал.

— Черт побери, я так и знал,— вскричал Винцент, входя.— Он надел фрак, предатель!

— Видите ли, я обещал ему остаться в пиджаке, чтобы ему не было стыдно за свой костюм,— сказал Робер.— Очень прошу вас извинить меня, дорогой друг, но я вдруг вспомнил, что у меня траур.

Голова Винцента была высоко поднята; все в нем

дышало торжеством, радостью. При его появлении Лилиан вскочила. Она пристально посмотрела ему в лицо, потом запрыгала, заплясала, закричала, весело накинулась на Робера и стала колотить его кулаками в спину (Лилиан немного раздражает меня, когда разыгрывает девочку).

— Он проиграл пари! Он проиграл пари!

— Какое пари? — спросил Винцент.

— Он держал пари, что вы опять проиграетесь. Говорите скорее, сколько выиграли?

— Я проявил необыкновенные смелость и силу воли: остановился на пятидесяти тысячах и прекратил игру.

Лилиан вскрикнула от восторга.

— Bravo! Bravo! Bravo! — кричала она. Потом бросилась на шею Винценту, который всем своим телом почувствовал ее горячее гибкое тело, странно пахнущее сандалом, и стала целовать его в лоб, в щеки, в губы. Винцент, шатаясь, освободился. Он вытащил из кармана пачку банкнот.

— Вот, получайте ваши деньги, — сказал он, вручая Роберу пять бумажек.

— Теперь вы должны их леди Лилиан.

Робер передал ей кредитки, которые та швырнула на диван. Лилиан задыхалась. Чтобы прийти в себя, она вышла на террасу. Был тот смутный час, когда кончается ночь и дьявол подводит итоги. С улицы не доносилось ни звука. Винцент сел на диван. Лилиан повернулась к нему и в первый раз обратилась на «ты»:

— Что же ты собираешься теперь делать?

Он обхватил голову руками и сказал каким-то рыдающим голосом:

— Ничего больше не знаю.

Лилиан подошла к нему и положила ему на лоб руку; Винцент поднял голову; глаза у него были сухие и пылающие.

— Пока чокнемся вдвоем, — предложила она и наполнила токайским три бокала.

Когда все выпили, она обратилась к мужчинам:

— Теперь оставьте меня. Поздно, у меня больше нет сил. — Она проводила их в переднюю, потом, когда Робер прошел вперед, сунула Винценту в руку маленький металлический предмет и прошептала: — Выйди с ним и приходи через четверть часа.

В передней дремал лакей, которого она дернула за рукав:

— Посветите этим господам и выпустите их.

Лестница была темная; было бы проще зажечь электричество, но у Лилиан было правило, чтобы лакей всегда видел, как выходят ее гости.

Лакей зажег свечи в большом канделябре, который он высоко поднял над собою, провожая Робера и Винцента по лестнице. У подъезда поджидал автомобиль Робера; лакей запер дверь.

— Я думаю, мне следует возвратиться домой пешком. Чувствую потребность пройтись немного, чтобы успокоиться,— сказал Винцент, пока Робер открывал дверцу автомобиля и знаком приглашал его сесть.

— Вы в самом деле не хотите, чтобы я отвез вас? — Вдруг Робер схватил сжатую в кулак левую руку Винцента: — Раскройте руку. Ну-ка, покажите, что у вас там?

Винцент имел наивность опасаться ревности Робера. Он покраснел и разжал пальцы. Маленький ключ упал на тротуар. Робер тотчас поднял его и посмотрел; смеясь, вернул Винценту.

— Однако! — воскликнул он и пожал плечами. Затем, сев в автомобиль, наклонился к Винценту, который стоял сконфуженный: — Сегодня четверг. Скажите вашему брату, что я буду ждать его в четыре часа,— и быстро захлопнул дверцу, не дав Винценту времени ответить.

Автомобиль тронулся. Винцент сделал несколько шагов по набережной, перешел Сену, направился в неогражденную часть Тюильри, подошел к маленькому бассейну, намочил в воде носовой платок и стал прикладывать его ко лбу и вискам. Потом медленно возвратился к дому Лилиан. Покинем его и предоставим дьяволу насмешливо наблюдать, как он старается бесшумно всунуть ключ в замочную скважину...

В это самое время Лаура, его бывшая любовница, проплакав и простонав всю ночь, наконец забылась сном в уютном номере гостиницы. На палубе парохода, который направляется во Францию, Эдуард в первых лучах зари перечитывает полученное им от нее письмо, письмо, полное жалоб и умоляющее о помощи. Видны уже мягкие линии берегов родины, но нужно иметь опытный взгляд, чтобы различить их сквозь морской туман. Ни облачка на небе, на котором вскоре расцветет божья улыбка. Уже рдеет румянцем горизонт. Как жарко будет сегодня в Париже!

Пришла пора вернуться к Бернару. Вот он просыпается в постели Оливье.

VI

Все мы незаконны —
И тот почтенный муж, кого отцом
Я называл, был Бог весть где в то время,
Как зачали меня; я был чеканен
Монетчиком фальшивым.

Шекспир

Бернар видел какой-то нелепый сон. Он не помнит, что ему снилось. Он старается не столько вспомнить свой сон, сколько освободиться от него. Он возвращается к действительности и прежде всего чувствует, что тело Оливье тяжело навалилось на него. Во время их сна, или во время сна Бернара, друг его придвинулся к нему; впрочем, кровать узкая и не позволяет лежать на расстоянии друг от друга; Оливье повернулся лицом к Бернару; теперь он спит на боку, и Бернар чувствует, как его теплое дыхание щекочет ему шею. На Бернаре только короткая дневная рубашка; охватившая его тело рука Оливье нескромно сжимает его. Одно мгновение Бернар сомневается, действительно ли спит его друг. Он мягко освобождается из его объятий. Стараясь не разбудить Оливье, он встает, одевается и снова ложится в постель. Еще слишком рано уходить. Четыре часа. Ночь едва начинает бледнеть. Еще час покоя, накопления сил, чтобы бодро начать трудный день. Но со сном покончено. Бернар смотрит на синеющие оконные стекла, на серые стены маленькой комнаты, на железную кровать, на которой мечется во сне Жорж.

«Через несколько мгновений,— говорит он себе,— я пойду навстречу своей судьбе. Какое красивое слово: авантюра! То, чему суждено быть. Сколько удивительного ожидает меня. Не знаю, как другие, но, проснувшись, я люблю презирать тех, кто еще спит. Оливье, друг мой, я уйду, не попрощавшись с тобой. Раз, два! Вставай, неустрашимый Бернар! Пора».

Он вытирает лицо концом смоченного полотенца; причесывается, обувается. Бесшумно открывает дверь. Вот он и на улице.

Ах, каким целительным кажется для всякого живого существа воздух, которым никто еще не дышал! Бернар идет вдоль решетки Люксембургского сада, спускается по улице Бонапарт, достигает набережной и переходит Сену. Он думает о своем новом жизненном правиле, которое недавно сформулировал: «Если ты не сделаешь этого, то кто

же сделает? Если ты не сделаешь этого сейчас, то когда же сделаешь?» Он думает «о великом, которое предстоит совершить»; ему кажется, что он идет навстречу великому. «Великое»,— повторяет он. Если бы только ему узнать, в чем именно оно заключается!.. Покамест он знает только, что голоден: вот он у рынка. В кармане четырнадцать су, и больше ни сантима. Заходит в бар; берет круассан и стакан кофе с молоком. Цена: десять су. У него остается четыре; два из них он небрежно оставляет на конторке, а два протягивает какому-то бродяге, который роется в ящике с отбросами. Милосердие? Вызов? Это не имеет значения. Теперь он чувствует себя счастливым, как король. У него не осталось больше ничего: все принадлежит ему! «Я ожидаю всего от providения,— думает он.— Если только оно предоставит мне к двенадцати часам хороший ростбиф с кровью, то я с ним прекрасно полажу» (ведь вчера он не обедал). Солнце давно уже взошло. Бернар снова выходит на набережную. Он чувствует необыкновенную легкость; ему кажется, что он летит, а не бежит. Он наслаждается игрою своих мыслей.

«Самое трудное в жизни,— размышляет он,— серьезно относиться к чему-либо в течение продолжительного времени. Вот, например, любовь моей матери к человеку, которого я называл отцом,— я думал, что эта любовь длилась у нее пятнадцать лет; еще вчера я так думал. Но и моя мать — увь! — оказалась бессильной долго относиться к любви всерьез. Хотел бы я знать, презираю ли я ее или, напротив, еще больше уважаю за то, что она сделала своего сына бастардом?.. Впрочем, я вовсе не так уж стремлюсь разобраться в этом. Чувства к родителям принадлежат к той области, которую лучше не разглядывать слишком пристально. Что касается роконосца, то тут дело обстоит гораздо проще; насколько себя помню, я всегда ненавидел его; сегодня мне следует прямо признаться, что заслуга моя невелика — единственное, о чем я и сожалею. Подумать только: если бы я не взломал этого ящика, я всю свою жизнь мог быть убежден, будто питаю извращенные чувства к отцу! Какое облегчение знать истину!.. Все же я взломал ящик случайно; мне даже в голову не приходило его вскрывать... Кроме того, были смягчающие обстоятельства: прежде всего, в тот день я ужасно скучал. А потом — любопытство, «роковое любопытство», как говорит Фенелон, унаследованное мною, по всей вероятности, от моего настоящего отца, потому что в семье Профитандье нет даже намека на это

душевное качество. Я никогда не встречал такого нелюбопытного человека, как господин супруг моей матери; с ним могут поспорить разве только дети, рожденные от него. Нужно будет снова поразмыслить о них после обеда... Поднять мраморную доску подзеркального столика и заметить, что его ящик открыт сверху, — это вовсе не то же самое, что взломать замок. Я не взломщик. Всякому может случиться приподнять мраморную доску столика. Тезей был, вероятно, в моем возрасте, когда приподнял скалу. Правда, на подзеркальный столик ставят обыкновенно часы, и они мешают поднять мраморную доску. Мне бы в голову не пришло ее приподнять, если бы я не вздумал заняться починкой часов... Конечно, не всякому случается найти в столе оружие или письма преступной любви. Пустяки! Важно, что эти письма открыли мне глаза. Не все же могут, подобно Гамлету, позволить себе роскошь обзавестись призраком-изобличителем. Гамлет! Любопытно, как меняется точка зрения в зависимости от того, являешься ли ты плодом преступной любви или законного брака? Я возвращусь к этому вопросу, когда пообедаю... Дурно ли я поступил, прочтя эти письма? Если бы это было дурно... нет, у меня появились бы тогда угрызения совести. И если бы я не прочел этих писем, мне пришлось бы продолжать жить в неведении, лжи и повиновении. Провеетрим свои мысли. Выйдем на простор! «Бернар! Бернар, эта зеленая молодежь...», как говорит Боссюэ; садись вот на эту скамейку, Бернар. Какое прекрасное утро! Бывают дни, когда солнце действительно будто ласкает землю. Если бы я мог немного отвлечься от своих мыслей, я, наверное, стал бы сочинять стихи!»

Растянувшись на скамейке, он, совсем забывшись, заснул.

VII

Уже высоко поднявшееся солнце проникло в комнату через раскрытое окно и ласкает обнаженную ногу Винцента, лежащего подле Лилиан на широкой кровати. Не подозревая, что он проснулся, Лилиан поднимается и смотрит на него; ее изумляет его озабоченный вид.

Леди Гриффитс, может быть, любила не Винцента, а его успех. Винцент был высок, красив, строен, но он не умел держать себя, не умел изящно ни сесть, ни встать. Лицо его

было выразительно, но он плохо причесывался. Лилиан особенно восхищалась смелостью и мощью его мыслей; Винцент, наверное, был очень знающий, но ей он казался неотесанным. Движимая инстинктом любовницы и матери, она наклонилась над этим большим ребенком, которого хотела воспитать и образовать. Она превращала его в свое творение, в свою статую. Учила его ухаживать за ногтями, делать боковой пробор вместо того, чтобы зачесывать волосы назад, и лоб его, наполовину закрытый, казался бледнее и выше. Наконец она заменила красивыми, со вкусом подобранными галстуками, скромные готовые бантики, которые он носил. Леди Гриффитс положительно любила Винцента, но она терпеть не могла, когда он молчал, бывал, по ее словам, угрюм.

Она нежно проводит пальцем по лбу Винцента, как бы желая разгладить морщину, двойную складку, которая, начинаясь у бровей, идет двумя глубокими вертикальными полосками и кажется почти скорбной.

— Если ты будешь приносить сюда свои сожаления, заботы, угрызения совести, лучше не приходи,— шепчет она, наклоняясь над ним.

Винцент закрывает глаза, как будто его слепит слишком яркий свет. Ликующий взгляд Лилиан поражает его.

— У меня, как в мечети, входя, разуваяются, чтобы не приносить со двора грязи. Неужели ты думаешь, я не знаю, чем ты озабочен!

Винцент хочет зажать ей рот рукой, но она игриво отбивается:

— Нет, позволь мне сказать серьезно. Я много думала над тем, что ты рассказал мне на днях. Существует мнение, будто женщины не умеют размышлять, но ты увидишь, что это зависит от того, каковы женщины... Помнишь, ты рассказывал мне о результатах скрещивания... говорил, что через смешение пород нельзя получить ничего замечательного, что, скорее, путем естественного отбора... ну что: хорошо я усвоила урок?.. Так вот, я думаю, что сегодня ты вскармливаешь чудовище, необычайно смешное существо, от которого никогда не в состоянии будешь отделаться: помеси вакханки и святого духа. Разве неправда?.. Ты коришь себя за то, что бросил Лауру: я читаю это в складке твоего лба. Если ты собираешься возвратиться к ней, говори сейчас же и оставь меня; значит, я составила ошибочное мнение о тебе; я отпущу тебя без сожалений. Но если ты хочешь остаться со мной, не строй, пожалуйста,

рожу покойника. Ты напоминаешь мне англичан: чем больше эмансипируется их мысль, тем более цепко они держатся за нравственность; можно даже утверждать, что нигде не встретишь таких отъявленных пуритан, как среди наших вольнодумцев... Ты думаешь, я бессердечна? Ошибаешься: я прекрасно понимаю твою жалость к Лауре. Но, в таком случае, ты зачем пришел сюда?

Затем, так как Винцент отвернулся от нее, сказала:

— Послушай, ступай в ванную и постарайся под душем смыть свои сожаления. Я прикажу, чтобы нам подали чай, хорошо? А когда придешь из ванны, я разъясню тебе вещи, которые сейчас ты, по-видимому, плохо понимаешь.

Винцент встал. Лилиан крикнула ему:

— Не одевайся сразу после ванны. В шкафу направо — бурнусы, накидки, пижамы... выбери что-нибудь.

Винцент возвращается через двадцать минут, облаченный в шелковую джеллабу зеленоватого цвета.

— Подожди! Дай я завершу твой туалет! — вскричала в восхищении Лилиан. Она вытащила из ларца восточной работы два широких лиловых шарфа, опоясала Винцента более темным, а из более светлого устроила ему тюрбан.

— Мои мысли всегда под цвет моего платья.— (Она переделалась в пурпурную, отороченную серебром пижаму.) — Я помню, как однажды в Сан-Франциско, когда я была совсем маленькая, меня пожелали одеть в черное по случаю смерти сестры моей матери, старухи тетки, которой я никогда не видела. Весь день я проплакала; мне было грустно-прегрустно, я вообразила себе, что у меня большое горе, что мне ужасно жаль тетку... и все только из-за черного платья. Бóльшая серьезность теперешних мужчин по сравнению с женщинами объясняется более темным цветом их костюмов. Держу пари, что мысли у тебя сейчас совсем другие, чем полчаса тому назад. Садись здесь, на кровати: когда ты выпьешь рюмку водки, чашку чаю и съешь два-три сандвича, я расскажу тебе одну историю. Ты скажешь, когда я смогу начать...

Она уселась на коврике у кровати, у ног Винцента, съевшись, как фигурка египетской стелы, и уткнув подбородок в колени. После того как она тоже выпила и поела, леди Гриффитс начинает свой рассказ:

— Я была среди пассажиров «Бургундии» — помнишь? — в тот день, когда произошло кораблекрушение.

Мне было семнадцать лет. Можешь сосчитать, сколько мне сейчас. Я великолепно плавала; и вот тебе доказательство, что сердце у меня совсем не черствое: если первой моей мыслью было спастись самой, то тут же второю мыслью было спасти кого-нибудь. Я даже не уверена, не была ли эта мысль первой. Вернее, я просто ни о чем не думала; но ничто мне так не противно, как видеть людей, которые в такие минуты думают только о собственном спасении; например, женщины, испускающие отчаянные крики. Первую спасательную лодку наполнили главным образом женщины и дети; некоторые из этих женщин так визжали, что было отчего потерять голову. Маневр был проделан очень неудачно, и лодка, вместо того чтобы держаться на волнах, клюнула носом, и все находившиеся в ней люди вывалились из нее, прежде чем лодка наполнилась водой. Все это происходило при свете факелов, фонарей и прожекторов. Ты не можешь себе представить, какая это была мрачная картина! Волны вздымались достаточно высоко, и все, что не было освещено, исчезало во тьме по ту сторону водяного вала. Я никогда не жила более напряженной жизнью; но я была так же не способна размышлять, как, скажем, собака-водолаз перед тем, как броситься в воду. Не понимаю даже толком, как это могло произойти; знаю только, что я заметила в лодке девочку пяти или шести лет, прелестную, как ангел; и сейчас же после этого, когда я увидела, что барка опрокидывается, я решила спасти именно ее. Она была с матерью; но мать плохо умела плавать, к тому же, как всегда в таких случаях, ей очень мешала юбка. Что касается меня, то я разделась, должно быть, машинально; меня позвали занять место в следующей лодке. Я, вероятно, села в нее; затем я прыгнула в море, несомненно с этой самой лодки; помню только, что я плыла уже довольно долго с ребенком, уцепившимся мне за шею. Девочка была смертельно испугана и так сильно сжимала мне горло, что я не могла больше дышать. К счастью, нас заметили с лодки, лодку остановили и направили к нам. Но я рассказываю тебе эту историю с другой целью. Вот самое яркое воспоминание, которое осталось у меня, воспоминание, которое ничто никогда не в силах будет изгладить из моего ума и моего сердца; в лодке нас набилось человек сорок, после того как было подобрано несколько изнемогших, подобно мне, пловцов. Вода доходила почти до бортов. Я сидела на корме и прижимала к себе только что спасенную мной девочку, чтобы согреть ее и не дать ей увидеть то, чего сама

я не могла не видеть: двух матросов, один из которых был вооружен топором, а другой кухонным ножом. Знаешь, что они делали?.. Они отсекали пальцы и кисти рук тех пловцов, которые, хватаясь за снасти, пытались взобраться в наш баркас. Я щелкала зубами от холода, ужаса и отвращения; и вот один из матросов (другой был негр) обернулся ко мне и сказал: «Если к нам влезет еще хоть один человек, мы все пойдем ко дну. Баркас полон». Он прибавил, что при всех кораблекрушениях приходится так поступать; но, понятное дело, об этом не говорят во всеуслышание.

Затем я, вероятно, лишилась чувств; во всяком случае, я больше ничего не помню: так долгое время ничего не слышишь после слишком сильного грохота. И когда я пришла в себя на борту подобравшего нас Х., то поняла, что я уже не прежняя сентиментальная барышня и никогда больше ею не буду: я поняла, что часть моего существа затонула вместе с «Бургундией» и что впредь я буду отсекать пальцы и руки многих и многих нежных чувств, чтобы не дать им забраться в мое сердце и потопить его.

Она искоса взглянула на Винцента, выпрямилась и сказала:

— Нужно выработать в себе эту привычку.

Тут ее наспех сделанная прическа развалилась, и волосы рассыпались по плечам; она встала, подошла к зеркалу и, продолжая говорить, занялась прической.

— Когда вскоре после этого я покинула Америку, то мне казалось, что я — золотое руно и что я отправляюсь на поиски завоевателя. Иногда я бываю способна обманываться, бываю способна совершать ошибки... и, может быть, одной из таких ошибок как раз является то, что я рассказываю тебе все это. Но не воображай, пожалуйста, что, раз я тебе отдалась, ты меня завоевал. Запомни хорошенько: я терпеть не могу посредственностей и способна любить только победителя. Если ты хочешь быть со мной, пусть это поможет тебе стать победителем. Но если ты ищешь женщину, которая стала бы жалеть тебя, утешать, баловать... тогда лучше сразу сказать тебе: нет, старина Винцент, тебе нужна не я, а Лаура.

Она сказала все это, не оборачиваясь и не переставая приводить в порядок непокорные волосы, но Винцент встретил ее взгляд в зеркале.

— Ты позволишь мне отложить ответ до вечера, — сказал он, вставая и сбрасывая восточные облачения, чтобы переодеться в свой костюм. — Сейчас мне нужно поскорее

возвратиться домой, пока не успел уйти мой брат Оливье: у меня к нему неотложное дело.

Винцент сказал это как бы в извинение и чтобы придать благовидную форму своему уходу; но, когда он приблизился к Лилиан, та, улыбаясь, обернулась к нему, такая красивая, что он заколебался:

— Мне нужно хотя бы оставить для него записку, которую ему передадут за завтраком.

— Вы много разговариваете друг с другом?

— Почти совсем не разговариваем. Нет, я должен передать ему приглашение на сегодняшний вечер.

— От Робера... Oh! I see ¹...— сказала она, странно улыбаясь.— И о нем тоже нам нужно будет обстоятельно поговорить... Ступай же скорее. Но к шести возвращайся, потому что в семь он на автомобиле заедет за нами, и мы поедем ужинать в Булонский лес.

По дороге домой Винцент размышляет; он узнал на опыте, что из пресыщенных желаний может родиться своего рода отчаяние, сопровождающее радость и как бы прячущееся за нею.

VIII

Надо выбирать: либо любить женщин, либо знать их; середины быть не может.

Шамфор

В парижском экспрессе Эдуард читает недавно вышедшую книгу Пассавана «Турник», которую только что купил на вокзале в Дьеппе. Конечно, книга эта ожидает его и в Париже, но Эдуард сгорает от нетерпения ее перелистать. О ней говорят всюду. Ни одна из его собственных книг не удостоилась чести красоваться в вокзальных книжных киосках. Ему подробно объясняли, какими способами можно добиться этой чести, но он не добивается ее. Он постоянно твердит себе, что его мало беспокоит, будут ли его книги продаваться в киосках на вокзалах или нет, но при виде книги Пассавана он вынужден повторить себе это еще раз. Все, что делает Пассаван, и все, что делается вокруг Пассавана, раздражает его: хотя бы статья, где

¹ О, я понимаю... (англ.)

книга Пассавана превозносится до небес. Да, словно нарочно: едва только он успевает развернуть три купленные им газеты, как в каждой из них находит хвалебные строки, посвященные «Турнику». В четвертой газете напечатано письмо Пассавана, протестующее против одной статьи, появившейся раньше в этой же газете и несколько менее восторженной, чем другие; Пассаван защищает в нем свою книгу и объясняет ее. Это письмо раздражает Эдуарда еще больше, чем статья. Пассаван пытается просвещать общественное мнение; на самом деле, он искусно его обрабатывает. Ни одна из книг Эдуарда не вызвала столько статей; впрочем, Эдуард никогда ничего не предпринимал, чтобы снискать благожелательность критиков. Его мало печалит оказываемый ему холодный прием. Но, читая статьи о книге соперника, Эдуард вынужден повторить себе, что они ему безразличны.

Нельзя сказать, чтобы он питал отвращение к Пассавану. Он встречался с ним и находил его обворожительным. Впрочем, Пассаван всегда был изысканно любезен с ним. Но книги Пассавана ему не нравятся; Пассаван кажется ему не столько художником, сколько сочинителем. Хватит думать о нем...

Эдуард вынимает из кармана пиджака письмо Лауры — то самое, что он перечитывал на палубе парохода, и снова погружается в него.

«Друг мой!

В последний раз, что я виделась с Вами, — это было, если помните, в Сент-Джемском парке, второго апреля, накануне моего отъезда на юг, — Вы взяли с меня слово написать Вам, если я окажусь в затруднительном положении. Я исполняю свое обещание. К кому, кроме Вас, обращаться мне? Есть люди, на которых я больше всего хотела бы опереться, но от них-то я прежде всего должна скрывать свое горе. Друг мой, у меня великое горе. Может быть, я расскажу Вам когда-нибудь, что мною пережито после того, как я рассталась с Феликсом. Он проводил меня до самого По, затем возвратился в Кембридж читать свои лекции. Что случилось там со мной, одинокой и предоставленной самой себе, во время выздоровления, весной... Хватит ли у меня сил признаться Вам в том, в чем не могу открыться Феликсу? Пришла пора, когда мне следовало бы возвратиться к нему. Увы, я недостойна больше его видеть. Письма, которые я пишу ему в последнее время, сплошь лживы, а те, что я получаю от

него, наполнены радостью, что я поправилась. Почему я не осталась больною? Почему я не умерла там!.. Друг мой, мне нельзя больше скрывать фактов: я беременна, и ребенок, которого я ожидаю, не от него. Прошло уже больше трех месяцев, как я покинула Феликса; его-то уж, во всяком случае, я буду не в силах обмануть. Я не смею возвратиться к нему. Не могу. Не хочу. Он слишком добр. Он несомненно простит меня, но я не заслуживаю, я не хочу, чтобы он меня прощал. Я не смею возвратиться к родителям, которые думают, что я все еще в По. Если отец узнает, если он все поймет, он способен проклясть меня. Он меня оттолкнет. Разве я в силах бросить вызов его добродетели, его ужасу перед злом, ложью и всей скверной? Боюсь также огорчить мать и сестру. Что касается человека, который... но я не хочу обвинять его; когда он обещал помочь мне, у него были средства. Но, желая оказать мне большую помощь, он, к несчастью, начал играть. Он проиграл сумму, которая дала бы мне возможность существовать и оплатила бы мое пребывание в клинике во время родов. Он все просадил. Сначала я думала уехать с ним неизвестно куда, жить с ним, по крайней мере, некоторое время; так как я не хотела стеснять его или быть ему в тягость, то в конце концов я нашла бы себе заработок, но сейчас для меня это невозможно. Я отлично вижу, что он страдает, покидая меня, и что он не может поступить иначе, поэтому я не обвиняю его, но все же он меня покидает. Я здесь без денег. Живу в долг в маленькой гостинице. Но так продолжаться не может. Не знаю, что и делать. Увы! Дороги такого блаженства могли привести только к пропасти. Пишу по оставленному Вами лондонскому адресу, но когда еще это письмо дойдет до Вас! А я так хотела стать матерью! Теперь только и делаю, что целыми днями плачу. Посоветуйте что-нибудь, у меня вся надежда на Вас. Помогите мне, если для Вас это возможно, а если нет... Увы, при других обстоятельствах у меня было бы больше мужества, но теперь не мне одной угрожает смерть. Если Вы не приедете, если Вы напишете: «Я ничего не могу», — я ни в чем вас не упрекну. Говоря Вам «прощайте», я постараюсь не слишком сожалеть о жизни, но, мне кажется, Вы так и не поняли, что Ваша дружба ко мне остается лучшим из всего мною изведенного, не поняли, что то, что я называла дружбой к Вам, в моем сердце носит другое название.

Лаура Феликс Дувье.

P. S. Перед тем как опустить это письмо в почтовый ящик, я отправляюсь к нему в последний раз. Я буду ожидать его около дома сегодня вечером. Если Вы получите письмо, то, значит, действительно... прощайте, прощайте, Бог знает что я пишу».

Эдуард получил это письмо утром в день отъезда. Иными словами, он решил отправиться в путь немедленно по его получении. Во всяком случае, он не намеревался слишком затягивать свое пребывание в Англии. Я не хочу изображать вещи в таком свете, будто он не был способен возвратиться в Париж специально, чтобы помочь Лауре; я говорю только, что он возвращался с удовольствием. В течение последнего времени он был совершенно лишен развлечений в Англии; первым его шагом в Париже будет посещение какого-нибудь злачного места; так как он не хочет брать с собой туда свои бумаги, то достает с сетки чемодан и открывает его, чтобы положить в него письмо Лауры.

Эдуард не хочет класть письмо между пиджаком и рубашками; он вынимает из-под платья переплетенную тетрадь, наполовину заполненную записями; отыскивает вначале страницы, написанные им в прошлом году, и читает их. Письмо Лауры найдет место между ними.

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

18 октября

Лаура, по-видимому, не подозревает своей власти надо мной; я же, которому открыты тайны собственного сердца, хорошо знаю, что до сего дня не написал ни строчки, косвенным образом ею не вдохновленной. Когда она подле меня, мне кажется, что она еще девочка, и всей искусностью моих речей я обязан лишь моему постоянному желанию просветить ее, убедить, очаровать. Что бы я ни увидел, что бы ни услышал, у меня тотчас возникает мысль: а что скажет об этом она? Я отвлекаюсь от своих чувств и знаю только ее чувства. Мне кажется даже, что если бы ее не было подле меня и она не придавала бы моим мыслям и чувствам определенности, то моя собственная личность приняла бы весьма расплывчатые очертания; я сосредоточиваюсь и становлюсь самим собой лишь возле нее. В силу какой иллюзии я мог думать до сего дня, будто я леплю ее по своему подобию? Как раз напротив: это я к ней примеря-

юсь; и я не замечал этого! Или, вернее, благодаря странному перекрещиванию любовных влияний два наших существа взаимно изменяли друг друга. Невольно, бессознательно, каждое из двух любящих существ творит себя самого так, чтобы походить на того кумира, которого оно созерцает в сердце другого. Всякий истинно любящий отбрасывает прочь искренность.

Вот до какой степени она ввела меня в заблуждение. Ее мысль повсюду сопровождала мою. Я восхищался ее вкусом, ее любознательностью, ее культурой и не подозревал, что лишь благодаря любви ко мне она так страстно интересовалась всем, что, как она подмечала, увлекало меня. Она ничего не умела открыть самостоятельно. Каждый из ее восторгов — теперь я понимаю это — был для нее только постелью, на которой ее мысли удобно было улечься рядом с моими мыслями; ничто в них не служило ответом на глубокие требования ее собственной природы. «Я наряжалась и прихорашивалась только для тебя», — скажет она. Но я как раз хотел бы, чтобы она это делала только для себя, уступая глубоко личной потребности. Ведь из всего, чем она обогащала себя ради меня, ничего не останется — даже сожаления, даже чувства утраты. Приходит день, когда взору предстает истинное существо, с которого время медленно сдирает все взятые напрокат одежды, и если другого прельщали именно эти наряды, то он вдруг убеждается, что прижимает к своему сердцу только мертвые украшения, только воспоминание... только печаль и отчаяние.

Ах! сколькими добродетелями, сколькими совершенствами украсил я ее!

Как раздражают эти рассуждения об искренности! *Искренность!* Когда я говорю об искренности, я думаю лишь об искренности Лауры. Обращаясь к себе, я перестаю понимать, что должно обозначать это слово. Я всегда являюсь тем, чем я считаю себя — а мои представления о себе беспрестанно меняются, — так что, если бы я не связывал этих представлений друг с другом, мое утреннее существо часто не узнавало бы моего вечернего существа. Ничто не может быть более отличным от меня, чем я сам. Лишь когда я остаюсь в одиночестве, основа моего характера иногда открывается мне, и в такие минуты я достигаю некоторой

подлинной цельности, но тогда мне кажется, что жизнь моя замедляется, останавливается и что я, собственно, перестаю существовать. Лишь симпатия заставляет биться мое сердце; я живу только благодаря другому; по доверенности, если можно так сказать, вследствие связи с кем-нибудь; и никогда моя жизнь не кажется мне столь напряженной, как в те минуты, когда я совсем теряю себя, чтобы стать кем-то другим.

Эта антиэгоистическая сила децентрализации так велика, что она выветривает из меня всякое чувство собственности и заодно чувство ответственности. Человек, подобный мне, не принадлежит к тем, за кого выходят замуж. Как растолковать это Лауре?

26 октября

Ничто не обладает для меня иной реальностью, кроме *поэтической* (я вкладываю в это слово всю полноту присущего ему смысла), — начиная с меня самого. Мне кажется иногда, что я не существую на самом деле, но лишь воображаю, будто существую. Наибольшего труда мне стоит заставить себя поверить в свою собственную реальность. Моя реальность беспрестанно ускользает от меня, и когда я смотрю на свои действия, то плохо понимаю, почему тот, кого я вижу действующим, тождествен с тем, кто смотрит, удивляется и сомневается, что он может быть актером и зрителем одновременно.

Психологический анализ утратил для меня всякий интерес с того дня, как я подметил, что человек испытывает то, что он воображает, будто испытывает. Отсюда недалеко от мысли, что он воображает, будто испытывает то, что испытывает... Я хорошо вижу это на примере своей любви: какое Бог увидел бы различие между любовью к Лауре и тем, что я воображаю, будто ее люблю, — между моим воображением, будто я люблю ее меньше, и меньшей любовью к ней? В области чувств реальное не отличается от воображаемого. И если для того чтобы любить, достаточно вообразить, будто любишь, то, когда любишь, достаточно сказать себе, что ты воображаешь, будто любишь, и тотчас любовь твоя станет чуть меньшей, и ты даже немного отделишься от того, кого любишь, — или же от любви твоей отпадет несколько кристаллов. Но чтобы сказать себе это, разве не нужно уже любить немного меньше?

При помощи именно такого рассуждения мой герой Х будет стараться отделиться от Z — и особенно будет стараться отделить ее от себя.

28 октября

Все теперь твердят о внезапной кристаллизации¹ в любви. Медленная *декристаллизация*, о которой я никогда ни от кого не слышал, для меня представляет собою гораздо более интересный психологический феномен. Мне кажется, что его можно наблюдать по истечении более или менее продолжительного времени во всех браках по любви. Конечно, этого прискорбного явления нечего опасаться по отношению к Лауре (и слава богу), если она выйдет замуж за Феликса Дувье, как ей советуют разум, ее семья и я сам. Дувье — весьма почтенный учитель, исполненный всяческих достоинств, очень знающий в своей области (я слышал, что он очень ценим учениками); Лаура откроет в нем со временем тем больше добродетелей, чем меньше она будет строить иллюзий на его счет; когда она говорит о нем, я нахожу, что даже в своих похвалах она, скорее, недооценивает его... Дувье стоит большего, чем она думает.

Какой прекрасный сюжет для романа: через пятнадцать-двадцать лет супружеской жизни все растущая взаимная декристаллизация супругов! Поскольку он любит и хочет быть любимым, влюбленный не может быть самим собой; и больше того: он не видит другого, он видит вместо него идола, которого приукрашивает, боготворит и создает.

Итак, я приложил все усилия к тому, чтобы предостеречь Лауру и от нее самой, и от меня. Я старался убедить ее в том, что наша любовь не может обеспечить ни ей, ни мне длительного счастья. Надеюсь, я почти убедил ее.

Эдуард пожимает плечами, вкладывает в дневник письмо и прячет все в чемодан. Он кладет туда же свой бумажник, предварительно вынув из него стофранковую банкноту; этих денег ему будет вполне достаточно до момента, когда он заберет чемодан, который предполагает сдать на хранение по приезду в Париж. Досадно, что чемодан не запирается на ключ; или, по крайней мере, у него нет ключа, чтобы

¹ Эдуард имеет в виду известную теорию Стендала, изложенную в книге «О любви». (Прим. пер.)

запереть его. Он всегда теряет ключи от своих чемоданов. Бог с ним! Служащие в камере хранения весь день слишком заняты и никогда не остаются одни. Он зайдет за этим чемоданом в четыре часа, свезет его к себе, затем пойдет утешать Лауру; он постарается увести ее поужинать.

Эдуард дремлет: его мысли незаметно принимают другое направление. Он спрашивает себя, угадал ли бы он только по почерку Лауры, что она брюнетка? Он думает, что, слишком подробно описывая своих персонажей, романисты, скорее, мешают воображению, чем помогают ему, и что они должны предоставлять каждому читателю право рисовать себе героев романа как им вздумается. Он думает о своем будущем романе, который не должен быть похож ни на одну из написанных им до сих пор книг. Он не уверен, что «Фальшивомонетки» — удачное название. Он сделал ошибку, объявив о нем заранее. Как нелеп обычай называть книги, «готовящиеся к печати», чтобы приманивать читателей. Никого этим не привлекаешь, только себя связываешь... Он не уверен также, что сюжет вполне удачен. Уже давно он непрестанно думает об этом, но не написал еще ни строчки. Зато он заносит в тетрадь свои заметки и рассуждения.

Он вынимает тетрадь из чемодана. Берет автоматическое перо. Записывает:

«Выбросить из романа все элементы, по своей сути роману не принадлежащие. Подобно тому как недавно фотография освободила живопись от обязанности подробно выписывать детали, так в недалеком будущем фонограф, несомненно, очистит роман от пересказывания разговоров, что часто приносит славу реалисту. Внешние действия, приключения, драки и нанесение ран — область кинематографа; все это роман должен ему уступить. Даже описание действующих лиц, по-моему, должно быть исключено из романа, как такового. Да, я твердо уверен, чистый роман (а в искусстве, как и повсюду, для меня важна одна чистота) не должен заниматься подобным описанием, как не занимается им драма. Пусть мне не возражают, будто драматург не описывает всех персонажей потому, что зритель видит их живыми на сцене; ведь как часто случается, что в театре нас раздражает именно актер, и мы страдаем от того, что он так мало похож на героя, которого, не будь перед нашими глазами актера, мы так хорошо представляли бы себе. Романист обычно слишком мало доверяет воображению читателя».

Что это за станция промелькнула? Аньер. Он снова прячет тетрадь в чемодан. Но воспоминание о Пассаване положительно не дает ему покоя. Снова вынимает тетрадь. И пишет:

«Для Пассавана произведение искусства не столько цель, сколько средство. Свои выставляемые напоказ художественные убеждения он утверждает с таким пылом лишь потому, что им недостает глубины; не тайное требование темперамента рождает их: они пишутся под диктовку эпохи; его пароль — сиюминутность.

«*Турник*». Скорее всего, устареет то, что на первых порах кажется самым современным. Всякое потакание моде, всякая искусственность — залог близкой старости. Но как раз этими своими качествами Пассаван нравится молодежи. Его мало волнует будущее. Он обращается к нынешнему поколению (конечно, это лучше, чем обращаться к поколению наших отцов), но так как он обращается только к нему, то все его писания рискуют кануть в вечность вместе с этим поколением. Он знает это и не надеется на посмертную славу: вот почему он не только отчаянно защищается, когда на него нападают, но протестует против малейшего упрека критики. Если бы он чувствовал, что его произведения переживут его, он предоставил бы им самим возможность защитить себя и не заботился бы о постоянном самооправдании. Да что я говорю! Он поздравлял бы себя с неправильным их пониманием, с несправедливыми упреками. Тем больше хлопот грядущим критикам».

Он смотрит на часы. Одиннадцать тридцать пять. Уже должны бы прибыть. Любопытно, не пришел ли Оливье каким-нибудь чудом его встретить. Он совершенно не рассчитывает на это. Какие у него основания предполагать, что Оливье узнает об открытке, в которой он извещал его родителей о своем приезде — и случайно, вскользь, будто нечаянно, указывал точно день и час, — словно расставлял сети судьбе, питая особое пристрастие к окольным путям.

Поезд останавливается. Скорее взять носильщика! Нет: чемодан его не очень тяжел, и камера хранения не так далеко... Предположим, однако, что Оливье здесь, — узнают ли они в толпе друг друга? Они так мало виделись. Лишь бы он не сильно изменился!.. Ах, Боже праведный, неужели это он?

IX

Мы не сожалели бы ни о чем, что произойдет впоследствии, если бы радость встречи была выражена Эдуардом и Оливье более явно; но их парализовала присущая обоим какая-то неспособность верно оценивать то место, которое каждый из них занимал в сердце и уме другого; поэтому каждый думал, что взволнован лишь он один; поглощенные собственной радостью и как бы смущенные ее огромностью, оба заботились лишь о том, чтобы не слишком явно ее обнаружить.

И вот, вместо того чтобы сказать Эдуарду, как он рвался его встречать, Оливье счел более приличным сослаться на какое-то поручение, которое ему нужно было исполнить сегодня утром как раз в этом квартале, — он словно извинялся за свой приход на вокзал. Душа крайне застенчивая и недоверчивая, он легко мог убедить себя, что, вероятно, Эдуард считает его присутствие назойливым. Едва только он солгал, как весь зарделся. Эдуард был удивлен этим румянцем; так как перед этим он схватил Оливье за руку и порывисто сжал ее, то ему показалось — тоже вследствие сомнения в чувствах Оливье к нему, — что именно это бесцеремонное пожатие заставило племянника покраснеть.

Его первыми словами были:

— Я никак не мог предположить, что ты будешь на вокзале, но в глубине души был уверен, что ты придешь.

Ему вдруг показалось, что Оливье может усмотреть в этой фразе самонадеянность. Услышав, как тот отвечает ему небрежным тоном: «Мне как раз нужно было исполнить поручение в этом квартале», — Эдуард выпустил руку Оливье, и его радостное возбуждение сразу спало. Он хотел было спросить Оливье, понял ли тот, что открытка, адресованная его родителям, предназначалась именно для него; уже раскрыл было рот, но вдруг обробел. Оливье, боясь наскучить Эдуарду или вызвать его неодобрение разговором о себе, замолчал. Он удивленно посмотрел на Эдуарда, отчего это дрожат его губы, потом вдруг опустил глаза. Эдуард и желал этого взгляда, и страшился, что Оливье сочтет его слишком старым. Он стал нервно крутить пальцами клочок бумаги. Это была квитанция, которую ему только что дали в камере хранения, но он не обращал на нее никакого внимания.

«Если бы это была его багажная квитанция, — подумал Оливье, видя, как тот комкает ее, а затем небрежно броса-

ет,— он не выбросил бы ее просто так». И он обернулся лишь на мгновение, успев только заметить, что ветер унес далеко от них скомканную бумажку. Если бы он смотрел подольше, то увидел бы, как ее подобрал какой-то молодой человек. Это был Бернар, который следил, как они выходили из вокзала... Между тем Оливье сокрушался, что ему нечего сказать Эдуарду, и молчание становилось для него невыносимым.

«Когда мы будем подходить к лицу Кондорсе,— повторял он про себя,— я скажу ему: «Теперь мне пора домой, до свидания». Потом, перед лицом, он решил пройти еще до угла улицы Прованс. Но Эдуард, которого это молчание тоже угнетало, не мог допустить, чтобы они расстались таким образом. Он затащил своего спутника в кафе. Может быть, поданный им портвейн поможет преодолеть смущение.

Они чокнулись.

— За твои успехи,— сказал Эдуард, поднимая бокал.— Когда экзамен?

— Через десять дней.

— Как ты чувствуешь, готов?

Оливье пожал плечами:

— Никогда точно не знаешь. Стоит быть не в форме в этот день, и...

У него не хватило смелости ответить «да» из боязни выказать самонадеянность. Его смущали также желание и в то же время боязнь сказать «ты» Эдуарду; он ограничился таким построением фразы, при котором было бы, по крайней мере, исключено «вы» и поэтому не давал также Эдуарду повода говорить ему «ты», чего очень желал; между тем — он хорошо помнил — ему удалось добиться этого за несколько дней до его отъезда.

— Ты хорошо поработал?

— Неплохо. Но не так хорошо, как мог бы.

— У настоящих тружеников всегда такое чувство, что они могли бы работать лучше,— наставительно сказал Эдуард.

Сказал невольно и тут же нашел эту фразу смешной.

— Стихи пишешь?

— Иногда... Я очень нуждаюсь в советах.— Он поднял глаза на Эдуарда; «ваших советах», хотел он сказать, в «твоих советах». И взгляд говорил это без слов так внятно, что Эдуарду показалось, будто Оливье говорит так из уважения или из вежливости. Но зачем Эдуарду

понадобилось ему ответить, притом с такой поспешностью:

— О! Нужно самому уметь давать себе советы или спрашивать их у своих товарищей; советы старших ничего не стоят.

Оливье подумал: «Я, однако, не спрашивал у него этих советов: почему же он со мной не согласен?»

Оба досадовали, что им удастся выжимать из себя одни только сухие, вымученные фразы. Чувствуя смущение и неловкость, каждый считал себя предметом и причиной этого смущения. Такие разговоры не могут дать ничего, если не приходит помощь со стороны. Помощь не пришла.

Сегодня Оливье встал не с той ноги. Радость встречи с Эдуардом на мгновение заглушила то огорчение, которое он испытал, проснувшись и увидев, что Бернара нет рядом, что он позволил ему уйти не простившись, но теперь оно снова поднималось в его груди, как темная волна, и затопляло все его мысли. Ему хотелось заговорить о Бернаре, рассказать Эдуарду все и постараться заинтересовать его личностью друга.

Но малейшая улыбка Эдуарда оскорбила бы его, а слова Оливье выдали бы страстные и бурные чувства, волновавшие его, или могли бы показаться преувеличением. Он замолчал и почувствовал, что лицо его каменеет; он хотел бы броситься в объятия Эдуарда и зарыдать. Эдуард ошибочно истолковал молчание Оливье, выражение его нахмуренного лица; он слишком сильно любил его, чтобы быть непринужденным. Если бы он решился взглянуть на Оливье, ему тотчас же захотелось бы сжать его в объятиях и убаюкать, как ребенка; но, встретив его угрюмый взгляд, он подумал: «Да, это верно... Ему скучно со мной, я ему в тягость, я смущаю его. Бедный мальчик. Он ждет не дождется, когда я позволю ему уйти». И какая-то неведомая сила заставила Эдуарда сказать, из жалости к своему спутнику:

— Теперь мы должны расстаться. Уверен, что тебя дома ждут к завтраку.

Оливье, который подумал то же самое, в свою очередь, неверно истолковал чувства Эдуарда. Он поспешно встал, протянул руку. Ему хотелось, по крайней мере, сказать Эдуарду: «Когда я увижусь с тобой? Когда увижусь с вами? Когда мы увидимся?..» Эдуард ждал этой фразы. Но не услышал ничего, кроме банального: «До свидания».

Солнце разбудило Бернара. Он поднялся со скамейки с жестокой головной болью. Бодрое утреннее настроение покинуло его. Он чувствовал себя ужасно одиноким, и его сердце переполняла какая-то горечь; он не мог назвать свое чувство печалью, но оно увлажняло его глаза слезами. Что делать? Куда идти?.. Если он отправился на вокзал Сен-Лазар в час, когда, как он знал, туда должен прийти Оливье, то он сделал это без определенного намерения, движимый лишь смутным желанием встретиться с другом. Он упрекал себя за свой внезапный утренний уход: Оливье мог почувствовать себя обиженным. Разве не был он самым дорогим для Бернара существом на земле?.. Когда он увидел его под руку с Эдуардом, какое-то странное чувство вдруг толкнуло его пойти за ними, не выдавая своего присутствия. Он с болью чувствовал, что он здесь лишний, и все же ему хотелось бы оказаться в обществе Эдуарда и Оливье. Эдуард казался очаровательным; чуть выше Оливье ростом, чуть-чуть менее юная походка. Он решил подойти к нему и поджидал лишь момента, когда Оливье его покинет. Под каким, однако, предлогом подойти?

И тут он заметил, что Эдуард небрежно отшвырнул смятую бумажку. Когда он подобрал ее, увидел, что это багажная квитанция... Черт возьми, вот отличный предлог!

Он увидел, как друзья вошли в кафе; на мгновение растерялся; затем, продолжая свой внутренний монолог, сказал: «Корректный молодой человек помчался бы вернуть эту бумажку».

Как пошлы, пусты, плоски и ничтожны

В моих глазах условности людские! —
сказано в «Гамлете». Бернар, Бернар, что за мысли лезут тебе в голову? Вчера ты шарил в ящике. На какой путь вступаешь ты? Осторожно, мой мальчик... Учти хорошенько, что служащий в камере хранения, с которым имел дело Эдуард, в двенадцать часов отправляется завтракать и его сменяет другой. И разве ты не обещал другу отважиться на все?

Однако Бернар пришел к заключению, что слишком большая поспешность может испортить дело. Если сразу же обратиться к служащему, то такая торопливость может показаться ему подозрительной; справившись в книге, он может найти странным, что багаж, отданный на хранение за несколько минут до полудня, требуется обратно через такой

небольшой промежуток времени. Наконец, если какой-нибудь досужий прохожий видел, как он подбирает бумажку... Бернар решил пройти не торопясь до площади Со-гласия; за это время приезжий мог бы успеть позавтракать. Приезжие часто поступают так — не правда ли? — оставляют свои вещи на хранение, идут завтракать, а затем возвращаются за вещами. Мигрень у Бернара прошла. Проходя перед верандой ресторана, он бесцеремонно схватил одну из зубочисток (они маленькими связочками стояли на столах), собираясь поковырять ею в зубах перед конторкой камеры хранения, чтобы иметь вид только что позавтракавшего человека. Приятно сознавать, что у вас приличная наружность, элегантный костюм, изящные манеры, непри-нужденная улыбка, открытый взгляд и, наконец, еще что-то трудно определяемое в походке, свидетельствующее, что вы выросли в довольстве и ни в чем не нуждаетесь. Но все это утрачивает свежесть, после того, как вы поспали на садовой скамейке.

Бернар ощутил приступ внезапного страха, когда служащий спросил десять сантимов за хранение. У него не осталось ни су. Что делать? Чемодан стоял там, на полке. Малейший недостаток уверенности, не говоря уже об отсутствии денег, мог вызвать подозрение. Но дьявол выручит Бернара из беды; под его дрожащие пальцы, которые обшаривают один карман за другим в отчаянной попытке симулировать поиски денег, он подсовывает маленькую монетку в десять су, забытую бог весть когда в жилетном кармане. Бернар протягивает ее служащему. Бернар ничем не выдал своего волнения. Он хватается чемодан и простым, спокойным движением прячет в карман полученную сдачу. Уф! Жарко. Куда ему направиться? Ноги подкашиваются, чемодан кажется страшно тяжелым. Что ему делать с ним? Он вдруг соображает, что у него нет ключа от чемодана. Но нет, нет и нет; он не взламывает замка; он не вор, черт возьми!.. Узнать бы только, что там внутри. Чемодан оттягивает ему руку. Пот градом льет с Бернара. На мгновение он останавливается, ставит на тротуар свою ношу. Конечно, он твердо решил вернуть чемодан владельцу, но он хотел бы раньше исследовать его содержимое. На всякий случай, он нажимает на замок. О, чудо! застежки приоткрываются, и взору является жемчужина: бумажник, в котором виднеются банкноты. Бернар забирает «жемчужину» и тотчас же захлопывает крышку.

Теперь, когда есть деньги, живо в гостиницу! Он знает

одну на Амстердамской улице, совсем рядом. Он умирает от голода. Но прежде чем сесть за стол, он хочет оставить чемодан в безопасном месте. Коридорный несет его перед ним по лестнице. Три этажа; коридор, дверь, которую он запирает на ключ, пряча свое сокровище... Он спускается вниз.

Сидя за бифштексом, Бернар не осмеливается вытащить бумажник. (Разве можно быть когда-нибудь уверенным, что за тобой не следят?) Но его левая рука любовно ощупывает его в глубине внутреннего кармана.

«Дать понять Эдуарду, что я не вор,— говорил он себе,— вот в чем вся суть. Что за тип этот Эдуард? Чемодан, может быть, подскажет. Он обольстителен — это бесспорно. Но есть множество обольстительных типов, которые очень плохо понимают шутки. Если он решит, что его чемодан украден, то будет, конечно, очень доволен, когда снова увидит его. Он будет мне признателен за то, что я принес ему его, иначе он просто болван. Живо проглотим десерт и поднимемся наверх обсудить положение. Счет! Щедро дадим на чай».

Через несколько мгновений он был уже в своем номере.

«Наконец-то, чемодан, мы с тобою с глазу на глаз!.. Костюм чуть-чуть великоват для меня, пожалуй. Сукно отличное, и пошит со вкусом. Белье, принадлежности туалета. Я не очень уверен, что возвращу ему когда-нибудь все это. Но вот доказательство того, что я не вор: эти бумаги интересуют меня гораздо больше. Прочтем сперва вот это».

Бернар схватил тетрадь, куда Эдуард вложил печальное письмо Лауры. Нам известны уже первые страницы дневника; вот что следовало дальше.

XI

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

1 ноября

Прошло уже две недели... я сделал ошибку, что не записал этого тогда же. Нельзя сказать, что у меня не было времени, но сердце мое еще было полно Лаурой — или, вернее, я не мог о ней не думать, к тому же я не люблю записывать здесь ничего эпизодического, случайного, а мне все время казалось, что то, о чем я собираюсь рассказать, не

может получить продолжения или, как говорится, иметь последствий; по крайней мере, я отказывался допустить их, и мое молчание по этому поводу объясняется именно желанием доказать себе незначительность происшедшего, но я ясно чувствую — и бессилён противостоять этому чувству,— что лицо Оливье влечет к себе сегодня мои мысли, меняет их ход и что, не считаясь с ним, я не мог бы ни объяснить, ни понять себя до конца.

Я возвращался утром от Перрена, куда ходил прочесть аннотацию к переизданию одной моей старой книги. Поскольку погода была хорошая, я прохаживался по набережным в ожидании часа завтрака.

Немного не доходя Ванье, я остановился перед развалом старых книг. Меня заинтересовали не столько книги, сколько юный лицеист, лет тринадцати, который рылся в книгах, стоя на ветру под спокойно-внимательным взором букиниста, сидевшего на плетеном стуле в дверях лавки. Я притворился, будто рассматриваю книги, но искоса стал наблюдать за малышом. Он был одет в сильно потертое пальто, из слишком коротких рукавов которого вылезали рукава куртки. Боковой карман оттопыривался, хотя чувствовалось, что он пуст, в уголках кармана материя расползлась. Я подумал, что пальто это сослужило уже службу его нескольким братьям и что все они имели привычку битком набивать карманы всякой всячиной. Я подумал также, что мать мальчика либо очень невнимательна, либо слишком занята, раз она не зашила прорех. Но тут мальчик слегка повернулся, и я увидел, что другой карман весь заштопан толстой прочной черной ниткой. Тотчас же мне так ясно послышались материнские увещания: «Не запикивай в карманы по две книги сразу, а то изорвешь все пальто. Опять карман разорван. Простынь раз у тебя предупредила, что не стану больше зашивать. Посмотри, на кого ты похож...» Все это и мне говорила моя бедная матушка, но я не придавал ее словам ни малейшего значения. Пальто на мальчике было расстегнуто, так что виднелась куртка, и взор мой привлек кусочек ленты или, вернее, желтая розетка, которая торчала в петлице. Я записываю все это по привычке и еще потому, что мне досадно записывать такие мелочи.

Тут приказчика позвали в лавку; он оставался там всего несколько мгновений, затем снова уселся на свой стул; но этих мгновений мальчику было достаточно, чтобы засунуть в карман книгу, которую он держал в руке; сейчас же после этого он как ни в чем не бывало снова стал рыться в книгах.

Однако он почувствовал какое-то беспокойство; поднял голову, заметил мой взгляд и понял, что я видел его проделку. По крайней мере, подумал, что я мог видеть; конечно, он не был в этом уверен, но, мучаясь сомнениями, он потерял всякое самообладание, покраснел и стал разыгрывать нехитрый спектакль, стараясь сохранить полную непринужденность, но это свидетельствовало о его крайнем смущении. Я не сводил с него глаз. Он вытащил из кармана украденную книгу; снова спрятал ее; отошел на несколько шагов; достал из кармана куртки жалкий потрепанный бумажник и сделал вид, что ищет в нем деньги, которых, как он прекрасно знал, там нет; сделал выразительную, театральную гримасу, обращая ее, по-видимому, ко мне и желая сказать ей: «Гм! пусто», а маленький нюанс добавлял: «Странно, я думал, что у меня кое-что есть», — все это несколько преувеличенно, словно играет актер, который боится, что его не поймут. Наконец я почти вправе сказать: именно мой взгляд заставил его снова подойти к развалу, вытащить книгу из кармана и положить ее на то место, где она лежала прежде. Это было сделано так непринужденно, что букинист ничего не заметил. Затем мальчик снова поднял голову в надежде, что все кончилось благополучно. Но нет: мой взгляд продолжал упорно следить за ним, словно глаз Каина, но только мои глаза смеялись. Я хотел заговорить с ним и ждал, когда он покинет развал, чтобы подойти к нему; но он не трогался с места и стоял неподвижно перед книгами; я понял, что он не тронется до тех пор, пока я не перестану пристально смотреть на него. Тогда я применил прием, который употребляют в известной детской игре, когда желают, чтобы воображаемая дичь покинула свое убежище, — я отступил на несколько шагов, точно насмотрелся на него вдоволь. Он двинулся, в свою очередь, но едва он захотел дать тягу, как я его догнал.

— Что это за книга? — спросил я без обиняков, стараясь придать голосу и выражению лица максимум дружелюбия, на которое я способен.

Он посмотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал, что недоверие его исчезает. Он не был, пожалуй, красив, но какой прекрасный был у него взгляд! Я видел, как в нем колышутся самые разнообразные чувства, словно трава на дне ручья.

— Путеводитель по Алжиру. Но он стоит очень дорого. У меня таких денег нет.

— Сколько?

— Два с половиной франка.

— Но ведь если бы ты не видел, что я наблюдаю за тобой, ты удрал бы с книгой в кармане.

Малыш сделал негодующее движение и грубо запротестовал:

— Ну уж нет... неужели вы приняли меня за вора?.. — Он прикинулся крайне изумленным, чтобы заставить меня усомниться в виденном мною. Я почувствовал, что упущу добычу, если буду настаивать. Вынул из кармана три монетки:

— Ступай купи книгу. Я тебя подожду.

Через две минуты он выходил из лавки, перелистывая предмет своего вожделения. Я взял у него книгу. Это был старый путеводитель Жоана 1871 года.

— Что ты намерен делать с ним? — спросил я, возвращая книгу. — Он слишком устарел. Им больше нельзя пользоваться.

Он стал спорить, что можно; что, кроме того, более новые путеводители стоят гораздо дороже и что «для его цели» приложенные к путеводителю карты вполне годятся. Я не пытаюсь передать его подлинные слова, потому что они утратили бы весь свой колорит, лишившись необыкновенного уличного акцента, который он придавал им и который тем больше меня забавлял, что произносимые им фразы были не лишены изящества.

.....

Необходимо сильно сократить этот эпизод. Точность должна достигаться не подробностью рассказа, но двумя-тремя штрихами именно там, где их ждет воображение читателя. Я думаю, впрочем, что было бы интереснее выслушать рассказ самого мальчика обо всем этом; его точка зрения более интересна, чем моя. Малыш был и смущен, и польщен оказанным ему вниманием. Тяжесть моего взгляда несколько искажала естественное течение его мысли. Личность совсем еще незрелая и несознательная защищается и прикрывается позой. Нет ничего более трудного, чем наблюдать за несложившимися существами. На них следовало бы смотреть только украдкой, в профиль.

Малыш заявил вдруг, что «самый любимый» его предмет «география». Я заподозрил, не скрывается ли за этой любовью инстинкт бродяжничества.

— Ты хотел бы поехать в Алжир? — спросил я его.

— Конечно, черт возьми! — воскликнул он, слегка пожав плечами.

Мне пришла в голову мысль, что он несчастлив в семье. Я спросил его, живет ли он с родителями. «Да». И ему не нравится жить с ними? Он запротестовал, но не очень энергично. Казалось, он несколько беспокоился, как бы не слишком разоткровенничаться перед незнакомым человеком. Он вдруг обратился ко мне:

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Так просто,— поспешно ответил я; затем, прикоснувшись пальцем к желтой ленточке его бутоньерки, спросил: — Что это такое?

— Ленточка, как видите.

Мои вопросы явно раздражали его. Он резко повернулся ко мне с враждебным видом и спросил насмешливым и наглым тоном, который положительно смутил меня,— я никак не предполагал, что он на него способен:

— Скажите-ка... вам часто случается гоняться за школьниками?

Пока я в смущении бормотал что-то похожее на ответ, он открыл школьную сумку, которую нес под мышкой, с намерением положить туда свою попку. В сумке лежали учебники и несколько тетрадей в одинаковых синих обложках. Я взял одну из них: тетрадь по истории. Мальчик написал на ней крупными буквами свое имя и фамилию. У меня учащенно забилося сердце, когда я прочел фамилию своего племянника:

ЖОРЖ МОЛИНЬЕ

(Сердце Бернара тоже учащенно забилося, когда он дошел до этих строк, и вся эта история страшно его заинтриговала.)

В романе «Фальшивомонетки» трудно будет сделать убедительным, чтобы персонаж, которому будет поручена роль автора этих строк, оставаясь в хороших отношениях с ее сестрой, мог в то же время не быть знакомым с ее детьми. Я всегда относился с крайним отвращением к приукрашиванию истины. Даже изменение цвета волос кажется мне плутовством, которое делает для меня истину менее правдоподобной. Все тесно связано, и я чувствую между всеми фактами, которые доставляет мне жизнь, такую тончайшую зависимость, что, по моему глубочайшему убеждению, невозможно изменить ни одного из них, не искажая всей их совокупности. Между тем я лишен возможности рассказать, что мать этого мальчика только моя единокровная сестра от первого брака моего отца; что я ее ни разу не

видел, пока были живы мои родители; что вопрос о наследстве привел к разрыву наших отношений... Однако знать все это необходимо, и я не вижу, что бы я мог придумать взамен, дабы избежать нескромности. Я знал, что у моей единокровной сестры три сына; но я был знаком только со старшим, студентом медицинского факультета; да и то видел его мельком, так как, заболев чахоткой, он вынужден был прервать занятия и лечился где-то на юге. Двух других никогда не бывало дома в часы, когда я посещал Полину; тот, с которым я так странно познакомился на улице, был по всей вероятности, самым младшим. Я ничем не выдал своего изумления, но поспешно расстался с маленьким Жоржем, когда узнал, что он идет домой завтракать, и вскочил в такси, чтобы прибыть раньше его на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Я решил, что, если приеду в этот час, Полина оставит меня завтракать,— что, разумеется, и произошло; я подарю ей свою книгу, экземпляр которой захватил с собой от Перрена, и таким образом у меня будет предлог для этого внезапного визита.

Я завтракал у Полины в первый раз. Напрасно я относился с недоверием к своему зятю. Сомневаюсь, чтобы он был сколько-нибудь замечательным юристом, но он умеет, подобно мне, не говорить о своей профессии, когда мы вместе, поэтому мы отлично понимаем друг друга.

Придя к сестре, я, понятно, не обмолвился ни словом о только что происшедшей встрече.

— Ваше приглашение позволит мне, надеюсь, познакомиться с племянниками,— сказал я, когда Полина предложила мне остаться позавтракать.— Ведь вы знаете, я до сих пор незнаком с двумя вашими сыновьями.

— Оливье,— ответила она мне,— возвратится несколько позже, потому что у него репетиция; мы сядем за стол без него. Но я слышала, как пришел Жорж. Сейчас я позову его.— И, подбежав к двери, крикнула: — Жорж! Иди поздоровайся с дядей!

Мальчик подошел, протянул мне руку; я поцеловал его... Поражаюсь силе детского притворства: он не выказал никакого удивления; можно было подумать, что он не узнал меня. Только сильно покраснел, но мать его могла объяснить этот румянец робостью. Мне все же показалось, что Жорж был смущен встречей с человеком, который незадолго перед этим шпионил за ним, так как почти тотчас он покинул нас и ушел в соседнюю комнату; то была столовая, служившая, как я догадался, в промежутках между приема-

ми пищи, классной комнатой для детей. Впрочем, он вскоре снова появился, когда в гостиную вошел его отец, и, улучив минуту, когда все направились в столовую, незаметно для родителей подошел ко мне и схватил меня за руку. Я подумал сначала, что он хочет выразить мне таким образом свои дружеские чувства, и это меня позабавило; но нет: он разжал мою руку и всунул в нее записочку, написанную им, по всей вероятности, сию минуту, затем снова сложил мои пальцы и очень крепко пожал мою руку с запиской. Само собой разумеется, я согласился на игру; спрятал записочку в карман, откуда мог достать ее только после завтрака. Вот что я прочел:

Если вы расскажете моим родителям историю с книгой, то я (он зачеркнул: возненавижу вас) скажу, что вы сделали мне гнусное предложение. И ниже: Я выхожу из лица в 10 ч.

Вчера мои занятия были прерваны визитом Х. После разговора с ним у меня осталось неприятное чувство.

Много размышлял над тем, что мне сказал Х. Ему совершенно неизвестна моя жизнь, но я подробно изложил ему свой план «Фальшивомонетчиков». Его советы всегда полезны для меня, так как он становится на отличную от моей точку зрения. Он боится, как бы я не впал в искусственность и не подменил подлинный сюжет тенью этого сюжета в моем мозгу. Больше всего меня беспокоит чувство, что жизнь (моя жизнь) отделяется здесь от моего произведения, мое произведение уходит от моей жизни. Но я не мог сказать ему этого. До сих пор, как и подобает, мои вкусы, мои чувства, мои личные переживания питали все мои сочинения; в самых искусных фразах я все же чувствовал биение своего сердца. Отныне связь между моими мыслями и моими чувствами разорвана. И я боюсь, не явится ли отвлеченность и искусственность моего произведения следствием как раз того противодействия, которое в настоящее время я оказываю присущей моему сердцу потребности высказываться. Размышляя об этом, я вдруг ясно понял значение мифа об Аполлоне и Дафне: счастлив тот, подумал я, кто может охватить в едином объятии лавр и живой предмет своей любви.

Мой рассказ о встрече с Жоржем так затянулся, что мне приходится прервать его в момент появления на сцене Оливье. Я стал рассказывать о встрече лишь для того, чтобы поговорить об Оливье, но вышло так, что говорил все время

о Жорже. Теперь, когда пришло время сказать об Оливье, мне понятно, что причиной моей неторопливости было именно желание по возможности отдалить этот момент. Как только я его увидел в первый раз, как только он сел за стол в кругу семьи, как только я бросил на него взгляд, или, вернее, едва он взглянул на меня, я понял, что взгляд этот пленил меня и я больше своей жизнью не распоряжаюсь.

Полина упрасивает меня приходить к ней почаще. Она настойчиво просит меня заняться немного ее детьми. Она дает понять, что отец очень плохо знает их. Чем больше я разговариваю с ней, тем более обворожительной она мне кажется. Не понимаю, как это я мог до сих пор так редко видеться с нею. Дети воспитаны в католичестве; но у нее сохранились воспоминания о ее первоначальном протестантском воспитании, и, хотя она покинула дом нашего отца в момент появления там моей матери, я открываю у нас обоих много черт сходства. Она отдала своих детей в пансион родителей Лауры, где я сам так долго жил. Впрочем, пансион Азаиса гордится отсутствием в нем специфически конфессиональной окраски (в мое время в нем можно было встретить даже турок), несмотря на то, что старик Азаис, давнишний друг моего отца, основавший пансион и до сих пор им заведующий, был раньше пастором.

Полина получает весьма утешительные известия из санатория, в котором Винцент заканчивает лечение. По ее словам, она сообщает ему обо мне в своих письмах и хотела бы, чтобы я ближе познакомился с ним; до сих пор я виделся с ним лишь мельком. Она возлагает на старшего сына большие надежды; семья идет на самые крайние лишения, чтобы дать ему возможность устроиться немедленно по окончании курса,— я хочу сказать: обеспечить самостоятельную квартиру для приема пациентов. А пока она ухитрилась отвести ему часть маленькой квартиры, которую они снимают, для чего пришлось поселить Оливье и Жоржа в случайно пустовавшей комнате, этажом ниже. Всех их волнует теперь вопрос, не придется ли Винценту отказаться по состоянию здоровья от работы в больницах.

По правде сказать, Винцент меня мало интересует, и я много говорю о нем с матерью лишь из любезности, а также чтобы можно было после этого более обстоятельно побеседовать об Оливье. Что касается Жоржа, то он холоден со мною, едва отвечает мне, когда я обращаюсь к нему, и, встречаясь со мной, смотрит на меня чрезвычайно подозрительно. Он как будто сердится на меня за то, что я не

вышел встречать его к воротам лицея, — а может быть, злитися на самого себя за свою записку.

Я не вижу больше с Оливье. Когда прихожу к его матери, то не решаюсь зайти в комнату, где, я знаю, он занимается; случайно его встречая, я оказываюсь столь неловким и прихожу в такое замешательство, что не нахожу, что сказать ему, и это делает меня таким несчастным, что я предпочитаю посещать его мать в часы, когда его наверняка нет дома.

ХП

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

(продолжение)

2 ноября

Долгий разговор с Дувье, который вышел вместе со мною от родителей Лауры и проводил меня до Одеона через Люксембургский сад. Он готовит диссертацию о Вордсворте, но по некоторым его высказываниям об этом поэте я ясно чувствую, что самые глубокие особенности поэзии Вордсворта ему недоступны. Он лучше сделал бы, если бы выбрал Теннисона. Я чувствую, Дувье чего-то недостает, он слишком отвлечен и простоват. Он всегда принимает вещи и людей за то, за что они выдают себя; может быть, оттого, что сам он всегда такой, каков на самом деле.

— Я знаю, — сказал он, — что вы лучший друг Лауры. Мне следовало бы, несомненно, немного ревновать ее к вам. Я не могу. Напротив, все, что она рассказала мне о вас, помогло лучше понять ее и в то же время породило во мне желание стать вашим другом. Я спросил у нее однажды, не будете ли вы сердиться на меня, если я женюсь на ней? Она ответила, что, напротив, вы сами посоветовали ей вступить в брак со мною. — (Я хорошо помню, что он так прямо и ляпнул.) — Мне хотелось бы поблагодарить вас за это — только не сочтите, пожалуйста, мой поступок смешным, я говорю с вами очень искренно, — прибавил он, стараясь выдать улыбку, но голос его задрожал, и на глазах появились слезы.

Я не знал, что ему сказать, так как чувствовал себя гораздо менее взволнованным, чем подобало, и совершенно неспособным на ответное излияние. Я, должно быть, показался ему несколько черствым, но он раздражал меня. Все

же я, как только мог горячо, пожал протянутую мне руку. Сцены, когда один предлагает больше, чем другой просит, всегда тягостны. Он, без сомнения, надеялся добиться моей симпатии. Если бы он был более проникательным, то почувствовал бы себя обворованным; однако я уже видел, что он доволен своим поступком, который, по его мнению, вызвал живой отклик в моем сердце. Так как я ничего не говорил, его, похоже, стало смущать мое молчание.

— Надеюсь,— торопливо произнес он,— что разлука с родиной и жизнь в Кембридже отвлекут ее от сравнений, которые были бы не в мою пользу.

Что он разумел под этим? Я прикинулся, что не понимаю. Может быть, он рассчитывал на протест с моей стороны, но этот протест еще больше поставил бы нас в ложное положение. Он принадлежит к числу людей, робость которых не в силах переносить молчание и которые считают своей обязанностью заполнять его предупредительностью; к числу тех, которые говорят потом: «Я всегда был с вами откровенен». Но, черт возьми, суть дела не столько в том, чтобы самому быть откровенным, сколько в том, чтобы позволить откровенничать другому. Ему следовало бы понять, что именно проявленная им откровенность мешала мне быть искренним.

Но если я не могу стать его другом, то хотя бы надеюсь, что он для Лауры станет отличным мужем, потому что, в общем, тут как раз уместны те его качества, которые я ставлю ему в упрек. Затем мы заговорили о Кембридже, где я обещал навестить их.

Почему Лауре пришла в голову нелепая мысль сказать ему обо мне?

У женщин удивительная склонность к самопожертвованию. Любимый мужчина для них чаще всего только своего рода вешалка, на которую они вешают свою любовь. С какой чистосердечной легкостью совершает Лаура подмен! Я понимаю, почему она выходит замуж за Дувье; я сам один из первых советовал ей так поступить. Но я был вправе надеяться, что она хоть немножко огорчится. Свадьба состоится через три дня.

Несколько статей по поводу моей книги. Качества, которые наиболее охотно признают у меня, принадлежат как раз к числу тех, что внушают мне наибольшее отвращение... Были ли у меня причины позволить переиздать это старье?

Оно совсем не соответствует тому, что я люблю в настоящее время. Но я замечаю это только сейчас. Не думаю, чтобы как раз теперь я переменялся; просто я лишь сейчас начинаю осознавать самого себя; до сих пор я не знал, кто же я такой. Неужели я всегда буду ощущать потребность в том, чтобы другое существо открывало мне меня самого! Эта книга кристаллизовалась по воле Лауры, и поэтому я больше не хочу узнавать себя в этой книге.

Неужели для нас заказана та основанная на симпатии пронизательность, которая позволяла бы нам опережать время? Какие проблемы будут занимать завтра тех, кто придет нам на смену? Я хочу писать именно для них. Давать пищу еще бесформенной любознательности, удовлетворять еще не выкристаллизовавшиеся требования так, чтобы тот, кто сегодня еще дитя, завтра с изумлением встретил меня на своем пути, как друга.

Как я люблю чувствовать в Оливье эту любознательность, эту нетерпеливую неудовлетворенность прошлым...

Мне иногда кажется, что поэзия — это единственное, что его интересует. И я чувствую, перечитывая наших поэтов и стараясь воспринять их душою Оливье, сколь немногие из них были руководимы больше вдохновением, нежели сердцем или умом. Замечательно, что когда Оскар Молинье показал мне стихи Оливье, я дал мальчику совет стараться не столько подчинять себе слова, сколько отдаваться им. Теперь мне кажется, что именно его влияние открыло мне эту истину.

Каким тоскливо-, скучно- и забавно-рассудочным представляется мне сейчас все написанное раньше.

5 ноября

Обряд состоялся. В маленькой часовне на улице Мадам, где я давно уже не был. Семья Ведель-Азаис в полном сборе: бабушка, отец и мать Лауры, две ее сестры и младший брат, затем дядюшки, тетюшки, двоюродные братья и сестры. Семья Дувье представлена тремя тетюшками в глубоком трауре, которых католицизм сделал бы тремя монахинями; мне говорили, что они живут вместе и с ними жил также Дувье после смерти родителей. На хорах воспитанники пансиона. Прочие друзья семьи постепенно заполняли зал, в глубине которого находился и я. Невдалеке я увидел

сестру с Оливье. Жорж, должно быть, стоял на хорах вместе со сверстниками. За фисгармонией старик Лаперуз; его постаревшее лицо прекраснее и благороднее, чем в годы, когда я знал его, хотя в глазах уже не светится тот удивительный огонь, который действовал на меня столь заразительно во время уроков фортепиано. Наши взгляды встретились, и в обращенной ко мне улыбке я почувствовал столько горя, что дал себе слово непременно навестить его после церемонии. Присутствовавшие стали двигаться вперед, и место рядом с Полиной освободилось. Оливье тотчас же сделал мне знак и попросил мать подвинуться, чтобы я мог сесть подле него; потом взял мою руку и долго держал ее. В первый раз он обращается со мной так фамильярно. Глаза его оставались закрытыми в течение почти всей нескончаемой речи пастора, что позволило мне внимательно его рассмотреть; он похож на уснувшего пастуха с неаполитанского барельефа, чья фотография стоит на моем письменном столе. И я его принял бы за спящего, если бы не легкая дрожь пальцев; рука Оливье трепетала в моей как птичка.

Старый пастор счел своею обязанностью напомнить историю всей семьи, начиная с дедушки Азаиса, который был его школьным товарищем в Страсбурге еще перед войной 1870 года, а затем учился вместе с ним на факультете теологии. Я испугался, что ему не удастся закончить сложную фразу, в которой он пытался объяснить, что, приняв на себя руководство пансионом и посвятив силы воспитанию юношества, друг его в некотором роде продолжает исполнять и обязанности пастора. Затем на смену пришло другое поколение. Он наставительно заговорил также о семье Дувье, но ясно было, что он мало знает ее. Теплота чувств искупала недостаток красноречия, и изредка можно было слышать, как сморкается кто-то из присутствующих. Мне хотелось знать, о чем думает Оливье; я стал представлять, что поскольку он получил католическое воспитание, то протестантский культ, должно быть, нов для него и он, вероятно, впервые присутствует в этом храме. Исключительная способность отрешаться от своей личности, позволяющая мне испытывать как собственные чувства другого, почти насильственно наполняла меня ощущениями Оливье, ощущениями, которые, по-моему, он должен был сейчас переживать; и хотя он держал глаза закрытыми — или, может быть, именно вследствие этого, — мне казалось, что я вижу его глазами как будто в первый раз эти голые стены, тусклый, белесый свет, омывавший суровую отчужденность

кафедры на белом фоне задней стены, прямому линий, холодную строгость колонн, поддерживающих хоры, самый дух этой угловатой и бесцветной архитектуры; в первый раз глазам моим открылись ее ужасающее безвкусице, нетерпимость и скаредность. Понадобилась привычка к ней с детства, чтобы не заметить этого раньше... Мне вдруг вспомнилось мое религиозное рвение, мой первый пыл; вспоминалась Лаура и та воскресная школа, где мы встречались, будучи оба репетиторами младших классов, преисполненные усердия и, плохо различая, что в этом пыле, сжигавшем в нас все нечистое, было присуще нам и что принадлежало Богу. И я тотчас принялся сокрушаться, что Оливье осталась вовсе неведомой та первоначальная чувственная скудость, которая с такой опасностью устремляет душу далеко за пределы видимого мира,— принялся сокрушаться, что у него не было воспоминаний, подобных моим; но сознание, что он остался чужд всему этому, помогло мне самому освободиться от власти прошлого. Я страстно сжал его руку, которая все время оставалась в моей, но которую в это мгновение он поспешно выдернул. Он открыл глаза и посмотрел на меня, потом с шаловливой, совсем детской улыбкой, представлявшей такой резкий контраст с необыкновенной серьезностью его лба, прошептал, наклонившись ко мне,— как раз в тот момент, когда пастор, напомнив об обязанностях христианина, расточал молодым супругам советы, наставления и благочестивые внушения:

— Плевать мне на все это, я — католик.

Все в нем привлекает меня и остается загадочным.

У входа в ризницу я встретил старика Лаперуза. Он сказал мне немного грустным голосом, но без малейшего упрека:

— Боюсь, вы понемногу забываете меня.

В оправдание своего невнимания к нему я сослался на какие-то занятия; обещал навестить его послезавтра. Я попытался затащить его к Азаисам, будучи сам приглашен к чаю, устраиваемому ими по окончании церемонии; но он ответил, что чувствует себя в очень мрачном настроении и боится встретить большое количество людей, с которыми ему пришлось бы разговаривать, тогда как он не в силах с ними беседовать.

Полина увела Жоржа, оставив меня с Оливье.

— Поручаю его вам,— сказала она, смеясь. Слова эти вызвали, вероятно, некоторое раздражение у Оливье, потому что он отвернулся. Он увлек меня на улицу.

— А я не знал, что вы так близко знакомы с Азаисами.

Я очень удивил его, когда сообщил, что жил у них в пансионе в течение двух лет.

— Как могли вы предпочесть этот пансион независимо-му образу жизни?

— Он был удобен для меня в некоторых отношениях,— ответил я неопределенно; я не мог сказать ему, что в это время все мои помыслы занимала Лаура и я согласился бы на самый худший режим за удовольствие выносить его подле нее.

— И вы не задыхались в атмосфере этой теплицы?

Затем, так как я ничего не ответил ему, он продолжал:

— Впрочем, я сам не знаю, как выношу ее и как вышло, что я попал сюда... Правда, только полупансионером. И этого более чем достаточно.

Мне пришлось рассказать ему о дружбе, связывавшей с руководителем этой «теплицы» его дедушку, память о котором определила впоследствии выбор матери Оливье.

— Впрочем,— прибавил он,— у меня не хватает материала для сравнения; несомненно, эта «теплица» не лишена достоинств; я готов даже думать на основании слышанного мной, что большинство других заведений этого рода еще хуже. И все же я с большим удовольствием выйду отсюда. Я ни за что не поступил бы в этот пансион, если бы мне не нужно было наверстывать упущенное за время болезни. И уже давно я хожу туда исключительно ради дружбы к Арману.

Я узнал дальше, что этот младший брат Лауры был его одноклассником. Я сказал Оливье, что почти незнаком с ним.

— Между тем он самый умный и интересный из всей семьи.

— То есть он больше всех тебя интересует?

— Да, да, уверяю вас, он очень любопытен. Если хотите, зайдем к нему и немного поговорим. Надеюсь, что он решится говорить в вашем присутствии.

Мы подошли к пансиону.

Ведель-Азаисы заменили традиционный свадебный ужин простым чаем, не требовавшим больших расходов. Для толпы приглашенных были отведены приемная и кабинет пастора Ведера. Доступ в крохотную отдельную гостиную пасторши был открыт лишь для немногих близких друзей; чтобы избежать проникновения туда посторонних, дверь из приемной в гостиную была заперта, так что на вопрос гостей, как пройти к его матери, Арман отвечал:

— Через печную трубу.

Народу было много. Все задыхались от жары. За исключением нескольких «членов педагогической корпорации», коллег Дувье, общество почти сплошь протестантское. Весьма специфический пуританский душок. Столь же тяжелая и, может быть, даже более удушливая атмосфера бывает в католических или еврейских собраниях, как только гости начинают чувствовать себя непринужденно; но католики чаще склонны к переоценке, а евреи к недооценке себя, на что протестанты, по-моему, способны очень редко. Если у евреев обоняние слишком тонкое, то у протестантов, напротив, нос заложен; это факт. Я сам не замечал специфического характера этой атмосферы, пока был в нее погружен. Что-то невыразимо альпийское, райскообразное и глупое.

В глубине залы сервированный стол-буфет; Рашель, старшая сестра Лауры, Сара, ее младшая сестра, и еще несколько барышень-невест, их подруг, разливали чай...

Едва меня увидев, Лаура сразу же потащила меня в кабинет отца, где уже собрался целый синод. Укрывшись в проеме окна, мы могли разговаривать без риска быть услышанными. На краю оконного наличника мы надписали когда-то наши имена.

— Посмотрите. Они все еще здесь,— сказала мне она.— Я уверена, что никто их не заметил. Сколько лет вам тогда было?

Под именами мы написали дату.

— Двадцать восемь,— подсчитал я.

— А мне шестнадцать. Прошло десять лет с тех пор.

Для оживления этих воспоминаний момент был выбран неудачно; я пытался перевести разговор на другую тему, но она возвращалась к прошлому с каким-то странным упорством; потом вдруг, точно боясь растрогаться, спросила, помню ли я Струвилу.

Струвилу был вольным пансионером, причинявшим тогда много хлопот родителям Лауры. Считалось, что он проходит какие-то курсы, но, когда его спрашивали, какие именно или к каким экзаменам он готовится, он небрежно отвечал:

— У меня своя программа.

В первое время все делали вид, будто принимают его наглые выходки за шутки, как бы желая притупить их остроту, он и сам сопровождал их громким смехом; но смех этот скоро стал весьма язвительным, между тем как его

выходки делались все более злыми, так что я толком не понимал, как и почему пастор терпит такого воспитанника, — разве только из денежных соображений и вследствие смешанной с жалостью своеобразной привязанности к Струвилу, а может быть, также смутной надежды, что ему удастся исправить его, иными словами: обратить к вере. Равным образом для меня было непонятно, почему Струвилу продолжает оставаться в пансионе, имея полную возможность жить где угодно; в самом деле, не было никаких оснований предполагать, что его удерживает, как меня, какой-нибудь сердечный повод; может быть, попросту он находил большое удовольствие в пикировках с бедным пастором, который неудачно парировал удары, так что Струвилу всегда оказывался победителем.

— Помните, как он спросил однажды папу, снимает ли он пиджак, когда читает проповедь в облачении?

— Как же! Он спросил это таким наивным тоном, что ваш бедный батюшка не заметил в его словах никакого подвоха. Мы сидели за столом, я так ясно все вижу...

— А папа чистосердечно ответил ему, что материя на облачении не очень плотная и он простудится, если снимет пиджак.

— Какая язвительная улыбка появилась тогда на лице Струвилу! И как понадобилось упрашивать его, чтобы он заявил наконец, что, «конечно, это мелочь», но что все же, когда ваш батюшка делает широкие жесты, из-под облачения торчат рукава пиджака, и это производит неприятное впечатление на некоторых верующих.

— Вследствие чего мой бедный папа во время проповеди держал руки по швам, так что все эффекты его красноречия были погублены.

— А в следующее воскресенье он пришел домой с сильным насморком, потому что снял в церкви пиджак. А спор о евангельской бесплодной смоковнице и деревьях, не приносящих плода?.. «Я — дерево, не приносящее плода. Я приношу только тень, господин пастор: я бросаю на вас тень».

— И это было сказано за столом.

— Разумеется, его только и можно было видеть, что за столом.

— И сказано таким нахальным тоном. Как раз тогда дедушка приказал ему выйти из комнаты. Помните, как он вдруг выпрямился во весь рост, — это дедушка-то, сидевший обыкновенно уткнув нос в тарелку; помните, как, вытянув руку, он властно сказал: «Вон!»

— Он показался огромным, страшным, он кипел гневом. Я уверен, что Струвилу перепугался.

— Он бросил салфетку на стол и убежал. Он покинул нас, не заплатив за содержание; с тех пор мы больше ни разу не видели его.

— Любопытно бы узнать, что с ним случилось.

— Бедный дедушка,— продолжала Лаура немного печальным тоном,— каким прекрасным показался он мне в тот день. Знаете, он очень любит вас. Вам следует на минуту подняться к нему в кабинет. Я уверена, вы доставите ему большое удовольствие.

Я записываю все это по свежим впечатлениям, зная по опыту, как трудно бывает спустя некоторое время точно воспроизвести тон разговора. Но, начиная с этого момента, я стал слушать Лауру более рассеянно. Я заметил — правда, на довольно большом расстоянии от себя — Оливье, которого потерял из виду после того, как Лаура увлекла меня в кабинет отца. Глаза его блестели, а лицо было необычайно оживлено. Я узнал потом, что Сара в шутку заставила его выпить шесть бокалов шампанского подряд. С ним вместе был Арман, и они вдвоем ловили в толпе гостей Сару и молоденькую англичанку, сверстницу Сары, жившую в пансионе у Азаисов уже больше года. Сара и ее подруга выбежали наконец из комнаты, и через открытую дверь я увидел, как двое мальчиков бросились за ними вдогонку по лестнице. Я тоже собрался выйти, чтобы исполнить просьбу Лауры, но она потянулась ко мне:

— Послушайте, Эдуард, я хотела бы сказать вам еще...— и голос ее стал вдруг очень серьезным,— нам, может быть, долго не придется видеться. Я хотела бы, чтобы вы повторили мне... Я хотела бы знать, могу ли я еще рассчитывать на вас... как на друга.

Никогда я не испытывал большего желания расцеловать ее, чем в этот момент; но я ограничился тем, что нежно и пылко поцеловал ее руку, и пробормотал:

— Что бы ни случилось...— И, пытаясь скрыть от нее слезы, которые, я чувствовал, выступают на глазах, поспешно убежал на поиски Оливье.

Он подстерегал меня у двери, усевшись рядом с Армано на ступеньке лестницы. Несомненно, он был слегка пьян. Он встал и потащил меня за руку.

— Пойдемте,— обратился он ко мне.— Выкурим по папиросе в комнате Сары. Она ждет нас.

— Сейчас. Мне нужно раньше повидать Азаиса. Но сам я ни за что не найду Сариной комнаты.

— Боже мой, да вы хорошо ее знаете, это прежняя комната Лауры! — вскричал Арман. — Так как это одна из лучших комнат в доме, то ее отвели для воспитанницы, а так как плата, вносимая ею, скромна, то она делит комнату с Сарой. Для формы им поставили две кровати; но это почти ни к чему.

— Не слушайте его, — сказал Оливье, смеясь и толкая его, — он пьян.

— Советую тебе поговорить, — продолжал Арман. — Так вы придете, не правда ли? Вас ждут.

Я обещаю зайти к ним.

С тех пор как старик Азаис носит волосы ежиком, он совсем перестал походить на Уитмена. Он предоставил семье зятя два нижних этажа своего дома. Из окна кабинета (красное дерево, репс, молескин) ему виден весь двор, и он наблюдает беготню учеников.

— Видите, как меня балуют, — сказал он, показывая мне стоящий на столе огромный букет хризантем, который только что оставила здесь мать одного из учеников, старинный друг семьи. Атмосфера в комнате была такой постной, что цветы, казалось, должны завянуть. — Я на минуту оставил общество. Я становлюсь стар, и шум разговоров меня утомляет. Но моим обществом будут эти цветы. Они говорят на свой лад и умеют поведать о славе Господней лучше, чем люди... — (Или что-то елейное в этом роде.)

Достойный человек не подозревает, какую скуку он может нагнать на учеников подобными изречениями; между тем в его устах они звучат так искренно, что отпадает всякая охота иронизировать. Простые души вроде Азаиса, несомненно, принадлежат к числу тех, кого мне всего труднее понять. Если вы сами лишены их простоты, то вам придется, находясь в их обществе, разыгрывать своего рода комедию; не очень честно, но что поделаешь? Спорить с ними, разбирать вопросы, по существу, не приходится; нужно соглашаться с их мнением. Азаис вызывает лицемерие со стороны окружающих, если они не разделяют его убеждений. Во время своих первых посещений семьи я приходил в негодование, слыша, как ему лгут внуки. Потом и мне пришлось поступать так же.

Пастор Проспер Ведель слишком занят; госпожа Ведель немножко придурковата; погруженная в поэтически-религиозные грезы, она утрачивает всякое чувство реальности;

поэтому все руководство воспитанием и образованием молодых людей в руках дедушки. Во времена, когда я жил у них, мне постоянно приходилось раз в месяц присутствовать при бурном объяснении, заканчивающемся патетическими излияниями:

— Отныне мы будем говорить всё. Мы вступаем в новую эру откровенности и искренности.— (Он любит одну и ту же мысль высказывать несколько раз — старая привычка, сохранившаяся у него со времен его службы пастором.) — Мы не будем таить задних мыслей, этих грязных задних мыслей. У нас будет право смотреть прямо в лицо, прямо в глаза друг другу. Не правда ли? Решено!

После чего обе стороны делали еще несколько шагов вперед, он — в легковерии, его внуки — во лжи.

Его слова бывали обращены главным образом к брату Лауры, который был на год младше ее. Он страдал от избытка сил и пробовал их в любви. (Впоследствии он стал заниматься коммерцией в колониях, и я потерял его из виду.) Однажды, когда старик вновь произнес эту тираду, я отправился вслед за ним в его кабинет; я приложил все усилия, чтобы растолковать ему, что искренность, которой он требует от внука, невозможна для последнего из-за нетерпимости старика. Азаис страшно рассердился.

— Ему надо только не делать ничего такого, в чем было бы стыдно признаться! — вскричал он голосом, не допускающим возражений.

Впрочем, это превосходный человек; даже больше того: образец добродетели, тот, кого называют «золотое сердце», но его суждения совсем детские. Его большое уважение ко мне проистекает оттого, что я, по его сведениям, не обзавелся любовницей. Он не скрыл от меня, что надеялся видеть меня мужем Лауры; он сомневался, чтобы Дувье оказался подходящим для нее супругом; несколько раз он повторил: «Ее выбор изумляет меня»; затем прибавил: «Впрочем, я уверен, что он честный малый... Как вы думаете?..» На что я ответил: «Конечно».

По мере того как душа погружается в набожность, она утрачивает смысл реальной жизни, вкус, потребность и любовь к ней. Я наблюдал это также и у Ведея, хотя не мог, конечно, сказать ему об этом. Ослепленные своею верою, они перестают видеть окружающий их мир и себя самих. Я же больше всего стремлюсь к тому, чтобы отчетливо разбираться во внешних впечатлениях и внутренних переживаниях, так что положительно задыхаюсь в плотной ат-

мосфере лжи, которая вполне может прийти по сердцу набожному человеку.

Мне хотелось услышать мнение Азаиса об Оливье, но он гораздо больше интересуется маленьким Жоржем.

— Не показывайте ему вида, будто знаете то, о чем я расскажу вам,— начал он,— впрочем, это делает ему честь... Представьте себе, ваш юный племянник и несколько его товарищей основали что-то вроде маленького общества, лиги взаимного соревнования; они допускают туда только тех, кого считают достойными, кто дал доказательства своей добродетели; это своего рода детский Почетный легион. Разве вы не находите, что это очаровательно? Каждый из них носит в петличке ленточку — правда, не очень бросающуюся в глаза, но я ее все же заметил. Я как-то пригласил мальчика к себе в кабинет и попросил его объяснить этот знак отличия. Сначала он смутился. Милый мальчик ожидал выговора. Затем, сильно покраснев и сконфузившись, он рассказал мне, как образовался этот маленький клуб. Видите ли, это вещи, над которыми нельзя смеяться; своей улыбкой вы рискуете оскорбить очень деликатные чувства... Я спросил его, почему он и его товарищи не делают этого открыто, на виду у всех. Я сказал ему, какой удивительной силой пропаганды, прозелитизма они могли бы обладать, какую прекрасную роль могли бы сыграть... Но в этом возрасте любят таинственность... Чтобы вызвать его на откровенность, я тоже рассказал ему, что в свое время, то есть, когда был в его возрасте, я сам состоял в аналогичном обществе, члены которого носили красивое название «рыцари долга»; каждый из нас получал от президента общества тетрадь, в которую записывал с абсолютной искренностью все свои грехи, все свои упущения. Мальчик заулыбался, и я ясно увидел, что эта история с тетрадями рождает у него идею; я не настаивал, но меня несколько не удивило бы, если бы я узнал, что он ввел эту систему тетрадей среди своих товарищей. Видите ли, к детям нужно уметь подойти; первое условие для этого — показать, что их понимаешь. Я обещал ему не проронить ни словечка об этом его родителям; я всячески побуждал его рассказать об обществе матери, которой это доставит большое удовольствие. Но они, по-видимому, дали друг другу обет молчания. Я сделал бы ошибку, если бы настаивал на своей просьбе. Однако перед тем как расстаться, мы вместе помолились Богу, чтобы он благословил их общество.

Бедный дедушка Азаис! Я убежден, что пострел окол-

пачил его и что во всем им рассказанном нет ни слова правды. Но разве мог Жорж ответить ему иначе?.. Постарайся вывести его на чистую воду.

Сперва я не узнал комнату Лауры. Она была оклеена другими обоями, и вся ее атмосфера преобразилась. Сара тоже показалась мне совсем иной. А между тем я считал, что хорошо с нею знаком. Она всегда была очень откровенна со мной. Во все время знакомства с нею я был для нее человеком, которому можно признаться во всем. Но утекло много воды со времени моего последнего посещения Веделей. Вырез на платье обнажал ее руки и шею. Сара казалась выросшей, посмелевшей. Она сидела на одной из кроватей рядом с Оливье, который бесцеремонно разлегся и, казалось, спал. Конечно, он был пьян, и, разумеется, мне было неприятно видеть его таким; но все же он показался мне прекраснее, чем когда-либо. Все четверо были более или менее пьяны. Маленькая англичанка покатывалась со смеху в ответ на пошлейшие замечания Армана, и смех ее был так пронзителен, что было больно ушам. Арман же болтал всякий вздор, возбужденный и польщенный этим смехом, стараясь превзойти себя по части глупости и пошлости: он делал вид, будто хочет закурить папиросу о румянец своей сестры и Оливье, щеки которого тоже горели, или будто он обжигает себе пальцы, когда бесстыдным жестом сближал их головы и старался стукнуть их лбами. Оливье и Сара не противились этой забаве, и мне было крайне тягостно смотреть на открывавшуюся моим глазам картину. Но я забегаю вперед...

Оливье, казалось, был еще погружен в сон, когда Арман вдруг спросил меня, что я думаю о Дувье. Я сидел в низком кресле, меня и забавляло, и возбуждало, и вызывало чувство неловкости их опьянение и бесцеремонность; впрочем, мне льстило, что они пригласили меня к себе как раз в тот момент, когда мое присутствие в их компании казалось меньше всего уместным.

— Барышни, здесь присутствующие... — продолжал он, когда я не нашелся что ответить и ограничился сочувственной улыбкой, чтобы попасть им в тон. Тут англичанка захотела остановить его и стала гоняться за ним, чтобы зажать ему рот. Он вырвался и крикнул: — Здесь присутствующие барышни приходят в негодование от мысли, что Лаура должна будет спать с ним.

Англичанка отпустила его и сказала с притворным возмущением:

— О, не верьте ему! Он лгун.

— Я старался растолковать им,— продолжал Арман более спокойным тоном,— что при двадцати тысячах франков приданого трудно рассчитывать найти лучшего мужа и что, как истинная христианка, Лаура должна принимать в расчет главным образом душевные качества, как говорит наш папаша пастор. Да, дети мои. Кроме того, что случилось бы с продолжением рода человеческого, если были бы осуждены на безбрачие все мужчины, не обладающие внешностью Адониса... или Оливье, скажем мы, чтобы перенестись в более близкую нам эпоху.

— Какой идиот! — пролепетала Сара.— Не слушайте его, он не соображает уже, что мелет.

— Я говорю правду.

Никогда я не слышал от Армана таких слов; я считал его и до сих пор считаю натурой тонкой и чуткой; его пошлость казалась мне чисто напускной, обусловленной отчасти опьянением, а еще больше желанием развлечь англичанку. Последняя, бесспорно, хорошенькая, была, вероятно, изрядной дурой, если находила удовольствие в этих непристойностях; не могли же они представлять какой-нибудь интерес для Оливье!.. Я дал себе слово не утаить от него моего отвращения, как только снова останусь наедине с ним.

— Но вы,— продолжал Арман, вдруг обратившись ко мне,— вы ведь не дорожите деньгами, у вас их достаточно, чтобы оплачивать благородные чувства; объясните же нам, пожалуйста, почему вы не женились на Лауре? Ведь вы же, кажется, любили ее, а она, это всем было видно, сохла по вас.

Оливье, который до этого момента, казалось, спал, открыл глаза; наши взгляды встретились, и я не покраснел лишь потому, что никто из присутствующих не был в состоянии наблюдать за мною.

— Арман, ты несносен,— сказала Сара, как бы желая прийти мне на выручку, потому что я не находил что ответить. Затем она улеглась рядом с Оливье на кровати, где сначала сидела, так что их головы соприкоснулись. Арман тотчас же вскочил, схватил большие складные ширмы, стоявшие у стены, шутовским движением распахнул их и закрыл парочку; затем, продолжая ерничать, наклонился ко мне и сказал во всеулышание:

— Вы разве не знали, что моя сестра проститутка?

Это было слишком. Я встал, опрокинул ширмы, из-за

которых тотчас же выскочили Оливье и Сара. Волосы у нее были растрепаны. Оливье направился к туалетному столику и смочил лицо одеколоном.

— Идите сюда. Я хочу показать вам кое-что,— сказала Сара, схватив меня за руку.

Она открыла дверь и увлекла меня на лестничную площадку.

— Я подумала, что эта вещица может заинтересовать романиста. Вот случайно найденная мною тетрадь: папин интимный дневник; не понимаю, как он забыл его на столе? Всякий мог найти его и прочитать. Я взяла его, чтобы он не попался на глаза Арману. Не говорите ему о нем. Вещь совсем небольшая. Вы успеете прочесть за десять минут и вернете перед уходом.

— Но, Сара,— сказал я, пристально глядя ей в глаза,— это ужасно неделикатно.

Она пожала плечами.

— О, если вы так думаете, то будете очень разочарованы. Только в одном месте он интересен... да и то... Смотрите: я вам покажу.

Она вытащила из-за пояса миниатюрную записную книжечку, приобретенную пастором четыре года тому назад, полистала ее, потом передала мне, показывая пальцем одно место.

— Читайте скорее.

Я увидел сначала следующую цитату из Евангелия, поставленную в кавычках под датой: «Верный в малом будет верен в великом». Затем: «Зачем откладывать со дня на день принятое решение не курить? Хотя бы оно было принято мною только для того, чтобы не огорчать Меланию. (Жена пастора.) Боже, дай мне силу сбросить иго этого позорного рабства». (Я думаю, что цитирую точно.) Дальше следовала запись молитв, заклинаний, борьбы, усилий, по всей вероятности тщетных, потому что они повторялись изо дня в день. Я перевернул еще страницу, и вдруг речь пошла совсем о другом.

— Страшно трогательно, не правда ли? — спросила Сара с еле уловимой гримасой иронии, едва я кончил чтение.

— Эти записи гораздо интереснее, чем вы полагаете,— не удержался я и ответил, упрекая себя за то, что вступаю с ней в разговор.— Представьте, всего неделю тому назад я спросил у вашего отца, пробовал ли он когда-нибудь бросить курить. Я находил, что сам стал слишком много

курить, и... словом, знаете, что он мне ответил? Сказал сначала, что, по его мнению, вредное действие табака чересчур преувеличивают и что он никогда не испытывал этого действия на себе самом; я, однако, повторил свой вопрос. «Да,— ответил он наконец,— два или три раза я принимал твердое решение бросить на время курение». — «И вам удавалось это?» — «Ну, понятно,— сказал он, точно речь шла о чем-то само собой разумеющемся,— ведь я же принимал твердое решение». Это удивительно! Может быть, он просто не помнил,— прибавил я, не желая высказать Саре своих подозрений насчет его лицемерия.

— А может быть, также,— заметила Сара,— это доказывает, что слово «курить» значит здесь совсем другое.

Неужели это Сара говорила такие вещи? Я был ошеломлен. Я посмотрел на нее, едва осмелившись ее понимать... В это мгновение из комнаты вышел Оливье. Он поправил прическу, привел в порядок костюм и казался более спокойным.

— Не пора ли уходить? — сказал он, нисколько не церемонясь с Сарой. — Уже поздно.

Мы спустились и не успели выйти на улицу, как он заговорил:

— Боюсь, как бы вы не истолковали превратно... Вы, может быть, подумали, что я люблю Сару. Но нет... О, она мне совсем не противна!.. Но я ее не люблю.

Я взял его руку и пожал, не говоря ни слова.

— Вы не должны также судить об Армане по его сегодняшней болтовне,— продолжал он.— Он просто играет роль... вопреки себе. В действительности он совсем не такой.. Не могу объяснить вам это. У него своеобразная потребность обливаться грязью все самое для него дорогое. Он стал таким совсем недавно. Я думаю, что он очень несчастен. Своими издевательствами он хочет это скрыть. Он очень гордый. Родители совсем не понимают его. Они хотели сделать его пастором.

Эпиграф для главы «Фальшивомонетчиков»:

«Семья... это социальная клетка».

Поль Бурже (в разных местах)

Название главы: «Клеточный режим».

Конечно, нет такой тюрьмы (духовной), из которой не вырвался бы мощный ум; и ни одна из сил, побуждающих

к мятежу, не является в конечном счете губительной, хотя мятеж может искалечить характер (он гнет) его, калечит кощунственной хитростью, отравляет мысли, исполняет горечью и коварством), и ребенок, который не покоряется влиянию семьи, расходует на освобождение от этого влияния лучший пыл своей молодой энергии. Но в то же время воспитание, насилующее, ломающее ребенка, его укрепляет. Нет ничего более жалкого, чем жертвы, которым во всем потакают. Какая сила характера нужна, чтобы проникнуться отвращением к тому, кто вам льстит! Сколько мне приходилось встречать родителей (особенно матерей), которые с удовольствием находят в своих детях, поощряют в них самые нелепые свои привычки, самые предвзятые, несправедливые мнения, странности, страхи... За столом: «Оставь этот кусок; ведь ты видишь, что он жирный. Очисти кожу. Это не проварено как следует...» На дворе вечером: «Ай, летучая мышь... Скорее надень шляпу; она запутается в твоих волосах!» и т. д. ...Послушаешь их — майские жуки кусаются, кузнечики жалят, от дождевых червей появляются прыщи. Аналогичные нелепости во всех областях: умственной, нравственной и т. д.

Позавчера в поезде окружной железной дороги, который вез меня из Отейля, я слышал, как молодая мать шептала на ухо десятилетней девочке, лаская ее:

— Ты и я; я и ты; на других нам плевать.

(О, я прекрасно знаю, что это были люди из простонародья; но и простой народ вправе вызывать в нас негодование. Муж читал газету, приткнувшись в углу вагона, — спокойный, может быть, даже не роконосец.)

Можно ли вообразить более коварный яд?

Будущее принадлежит «незаконным» детям — какое глубокое значение в выражении «естественный ребенок!» Только бастард имеет право на естественность.

Семейный эгоизм... едва ли не более отвратителен, чем эгоизм личности.

6 ноября

Я никогда ничего не мог выдумать. Я стою перед действительностью, как художник перед натурщицей, когда он говорит: сделайте какое-то движение, примите то выражение, какое мне необходимо. Если я хорошо знаю движущие силы, руководящие моделями, которыми снабжает меня общество, то я могу заставить их действовать по моему усмот-

рению; или, по крайней мере, я могу предложить их нерешительности такие задачи, которые они решают по-своему, так что их действия научат и меня. Как романиста, меня больше всего мучит необходимость вмешиваться, воздействовать на их судьбы. Если бы я обладал более богатым воображением, я выдумывал бы интриги; я же провоцирую эти интриги, наблюдаю за их участниками и затем работаю под их диктовку.

Во всем, что я написал вчера, нет ни слова правды. Остается следующее: действительность интересует меня как пластический материал; и я более внимателен — бесконечно более внимателен — к тому, что могло бы быть, чем к тому, что было на самом деле. Головокружительная сила влечет меня к возможностям, таящимся в каждом существе, и я оплакиваю все, что убивает в нем тяжкая плита нравов.

Бернар должен был на минуту прервать чтение. Взгляд его затуманился. Он задышался, словно забыл о дыхании на все то время, пока читал, настолько напряженно было его внимание. Он открыл окно и наполнил легкие воздухом перед тем, как снова погрузиться в чтение.

Его дружба к Оливье была, несомненно, одним из самых живых его чувств; у него не было лучшего друга, и никого на земле Бернар так не любил, потому что он не мог любить своих родителей, можно сказать даже, что его сердце цеплялось в то время за эту дружбу с силою исключительной, но Оливье и он понимали дружбу не совсем одинаково. По мере углубления в дневник Эдуарда Бернар все больше удивлялся Оливье, все больше восхищался, испытывая при этом, правда, несколько болезненное чувство, разнообразием душевных качеств, на которые оказывался способным его друг; а он думал, что насквозь знает его! Оливье не обмолвился ему ни словом о том, что рассказывал этот дневник. Бернар едва подозревал о существовании Армана и Сары. Каким разным выказывал себя Оливье с ними и с ним!.. В комнате Сары, на этой кровати, узнал ли бы Бернар своего друга? К огромному любопытству, с каким он проглатывал страницы дневника, примешивалась какая-то смутная горечь: не то отвращение, не то досада. Что-то похожее на ту досаду, которую он ощутил недавно, увидев Оливье под руку с Эдуардом: досаду, что его нет в их обществе. Эта досада может завести далеко, она может толкнуть на большие глупости; как, впрочем, всякая досада.

Пойдем дальше. Все сказанное мной сейчас было сказа-

но только ради небольшой передышки между страницами этого *дневника*. Теперь, когда Бернар отдышался, возвратимся к нему. Вот он снова погружается в чтение.

ХІІІ

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

(продолжение)

От стариков проку мало.

Вовенарг

8 ноября

Старая чета Лаперузов снова переехала. Их новая квартира, в которой я еще не бывал, расположена в бельэтаже, в закоулочке, образуемом улицей предместья Сент-Оноре недалеко от пересечения ее бульваром Осман. Я позвонил. Открыл Лаперуз. Он был без сюртука, и на голове его было надето что-то вроде желтовато-белого колпака, в котором я, всмотревшись, узнал старый чулок (госпожи Лаперуз, вероятно); конец его был завязан узлом и болтался, как кисточка, у его щеки. В руке он держал кривую кочергу. Я, очевидно, застал его за топкой печи; так как он обнаруживал некоторое смущение, я сказал:

— Хотите, я приду немного позже?

— Нет, нет... Входите сюда.— И он толкнул меня в узкую и продолговатую комнату с двумя окнами, выходящими на улицу на уровне фонаря.— Как раз в этот час я ждал ученицу (было шесть часов), но она телеграфировала, что не придет. Я так счастлив видеть вас.

Он положил кочергу на столик и, как бы извиняясь за свой костюм, сказал:

— Служанка госпожи Лаперуз протопила печку; она возвратится только утром; мне и пришлось выгребать золу...

— Хотите, я помогу вам ее растопить?

— Нет, нет... Это такая пачкотня... Но, позвольте, я пойду надену пиджак.

Он вышел, семеня ногами, и очень скоро вернулся одетый в легонький пиджачок из ткани альпака, с оторванными пуговицами и протертыми локтями, такой изношенный, что его стыдно было бы отдать нищему. Мы сели.

— Вы находите, что я сильно изменился, не правда ли?

Я хотел было возразить, но не нашелся, что сказать,— такое тяжелое впечатление произвело на меня это измученное лицо, которое я когда-то знал прекрасным. Он продолжал:

— Да, я сильно постарел в последнее время. Начинаю понемногу терять память. Когда мы с учениками проходим фуги Баха, мне нужно теперь заглядывать в ноты...

— Сколько молодых музыкантов были бы счастливы знать то, чем вы еще владеете.

Он продолжал, покачав головой:

— Ах, слабеет не только память! Слушайте: мне кажется, что я хожу пешком еще довольно быстро; но, представьте, теперь все прохожие обгоняют меня.

— Это объясняется тем,— сказал я,— что теперь все куда-то спешат.

— Ах, вот как?.. То же самое и на уроках, которые я даю: ученицы находят, что мое преподавание слишком медлительно, они хотят идти скорее, чем я. Они уходят от меня... Теперь все торопятся.— И прибавил так тихо, что я едва расслышал: — У меня почти не осталось учениц.

Я чувствовал в его словах такое отчаяние, что не решался его расспрашивать.

— Госпожа Лаперуз не хочет этого понять. Она говорит, что я плохо берусь за дело, ничего не предпринимаю, чтобы сохранить учениц и еще меньше для поиска новых.

— А ученица, которую вы ожидали?..— зачем-то спросил я.

— Ах, эта... я готовлю ее в консерваторию. Она каждый день приходит ко мне работать.

— Вы хотите сказать, что учите ее бесплатно?

— Госпожа Лаперуз все время упрекает меня за это! Она не понимает, что только такие уроки интересуют меня; да, лишь их я даю с истинным... удовольствием. Я много размышлял в последнее время. Слушайте... есть одна вещь, о которой я хочу спросить вас: почему о стариках так редко пишут в книгах?.. Это происходит, мне кажется, потому, что старики не способны больше писать о себе, а когда мы молоды, то не любим заниматься ими. Старик никого больше не интересуется. Между тем о них можно было бы рассказать прелюбопытные вещи. Слушайте: в моей прошлой жизни есть поступки, которые я только теперь начинаю понимать. Да, я только теперь начинаю понимать, что они вовсе не имеют того значения, какое я приписывал им когда-то, совершая их... Только теперь я понимаю, что всю

жизнь был в дураках. Госпожа Лаперуз надула меня; сын мой надул меня; все меня надули; Господь Бог надул меня...

Темнело... Я уже почти не различал лица моего старого учителя; но на улице вдруг зажегся фонарь и осветил его щеку, залитую слезами. Меня обеспокоило странное пятно у него на виске, точно яма, точно дыра; однако при легком движении, сделанном им, пятно переместилось, и я понял, что это только тень, отбрасываемая розеткой балюстрады. Я положил руку на его иссохшее плечо; он вздрогнул.

— Вы простудитесь,— сказал я ему.— Вы в самом деле не хотите, чтобы я вам помог растопить печку?.. Давайте займемся этим.

— Нет... Нужно себя закалять.

— Неужели вы исповедуете стоицизм?

— Немного. Я никогда не соглашался носить шейный платок именно потому, что у меня нежное горло. Я всегда боролся с собою.

— Это хорошо, когда можно надеяться на победу, но если тело сдаст...

Он взял меня за руку и сказал очень серьезным тоном, словно доверяя мне тайну:

— Вот тогда только и можно говорить о настоящей победе.— Его рука выпустила мою.— Я боялся, что вы уедете, не повидавшись со мною.

— Куда уеду? — спросил я.

— Не знаю. Вы так часто путешествуете. У меня есть одно дело, о котором я хотел поговорить с вами... Я тоже собираюсь скоро уехать.

— Как? Вы собираетесь в поездку? — сказал я невпопад, притворившись, будто не понимаю его, несмотря на загадочную серьезность и торжественность его тона.

Он покачал головой:

— Вы отлично понимаете, что я хочу сказать... Да, да, я знаю, что час этот наступит скоро. Я начинаю зарабатывать меньше, чем я стою, для меня это невыносимо. Есть известный предел, который я дал себе слово не переступать.

Он говорил немного возбужденно, что встревожило меня.

— Неужели и вы считаете, что это зло? Я никогда не мог понять, почему религия запрещает нам это. Я много размышлял в последнее время. Когда я был молод, я вел очень суровую жизнь, радовался силе своего характера каждый раз, когда мне удавалось победить какое-либо искушение. Я не понимал, что, думая, будто освобождаюсь,

я все больше и больше становился рабом своей гордыни. Каждая из этих побед над собой означала поворот ключа в замке от двери моей тюрьмы. Вот что я подразумевал, когда сказал вам, что Бог меня надул. Он устроил так, что я принял за добродетель свою гордость. Бог посмеялся надо мною. Он потешается. Я думаю, что он играет с нами, как кошка с мышью. Он посылает нам искушение, зная, что мы будем не в силах устоять; если нам все же удастся устоять, то он отмищает нам еще горше. Почему он гневается на нас? И почему... Но я докучаю вам моими стариковскими вопросами.

Он сжал голову руками на манер ребенка, который дуется, и погрузился в молчание, длившееся так долго, что я стал думать, уж не забыл ли он обо мне. Я не шевелился, боясь потревожить его размышления. Несмотря на доносившийся с улицы шум, мне чудилось, что в комнатке царит необыкновенная тишина и, несмотря на зажженный фонарь, причудливо освещающий нас снизу наподобие театральной рампы, полосы тени по обеим сторонам окна, казалось, берут верх и мрак вокруг нас застывает, как вода на морозе; самое сердце мое, мерещилось мне, тоже застывает. Мне стало, наконец, невмочь, я шумно вздохнул и, решив, что пора встать и откланяться, из вежливости спросил, стремясь избавиться от этого наваждения:

— Как здоровье госпожи Лаперуз?

Старик, казалось, очнулся. Он переспросил недоуменно:

— Госпожи Лаперуз?..— Можно было подумать, что эти слова потеряли для него всякий смысл; затем вдруг наклонился ко мне: — Госпожа Лаперуз переживает жестокий кризис... который причиняет мне большое страдание.

— Какой кризис?..— спросил я.

— Ах, пустяки,— ответил он, пожимая плечами, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся.— Она совсем с ума сошла. Не знает больше, что ей придумать.

Я давно подозревал глубокий разлад в этом стариковском супружестве, но не надеялся, что мне удастся раздобыть какие-нибудь подробности.

— Бедняжка,— сказал я участливо.— И давно это?

Он подумал минуточку, словно не понял моего вопроса.

— О, очень давно... С тех пор, как ее знаю.— Но тотчас спохватился: — Нет, по правде сказать, у нас все стало портиться после рождения сына.

Я сделал удивленный жест, так как считал, что у Лаперузов детей нет. Старик поднял голову, которую все еще сжимал руками, и начал более спокойным тоном:

— Я никогда не говорил вам о сыне?.. Слушайте, я хочу рассказать вам все. Пришел час, когда вы должны знать все. То, что я собираюсь сообщить вам, я не могу открыть никому... Да, началось с воспитания моего сына; значит, вы видите, уже очень давно. Первые годы нашего супружества были очаровательны. Я был очень чистым юношей, когда женился на госпоже Лаперуз. Я любил ее невинной любовью... Да, это самое подходящее слово, и не находил в ней ни одного недостатка. Но у нас были разные представления о воспитании детей. Всякий раз, когда я хотел задать трепку сыну, госпожа Лаперуз за него вступалась, послушать ее, так выходило, что ему все нужно было спускать. Они устроили сговор против меня. Она научила его лгать... Едва достигнув двадцати лет, он завел любовницу. Одной из моих учениц была молоденькая русская, очень хорошая музыкантша, к которой я сильно привязался. Госпожа Лаперуз обо всем знала, но от меня, как всегда, все скрывалось. И, понятно, я не заметил, как она забеременела. Ничего, говорю вам, я не подозревал, ровно ничего. В один прекрасный день мне сообщают, что моя ученица заболела и какое-то время будет сидеть дома. Когда я завожу речь, чтобы навестить ее, мне говорят, что она переменила квартиру, находится в отъезде... Лишь гораздо позже я узнал, что она отправилась рожать в Польшу. Мой сын уехал вслед за ней... Несколько лет они жили вместе, но он умер, не женившись на ней.

— А... вы видели ее потом?

Можно было подумать, что он наткнулся на какое-то препятствие.

— Я не мог простить ей, что она меня обманула. Госпожа Лаперуз продолжает переписываться с ней. Когда я узнал, что она впала в крайнюю нужду, я послал ей денег... ради мальчика. Но госпожа Лаперуз ничего об этом не знает. Та тоже не знает, что деньги прислал я.

— А ваш внук?

Странная улыбка пробежала по его лицу; он встал.

— Подождите минуточку, я покажу вам его карточку.— И снова он вышел, засеменяя ногами и опустив голову. Когда он возвратился, пальцы его дрожали, отыскивая карточку в большом бумажнике. Он склонился ко мне, передавая фотографию, и сказал шепотом: — Я выкрал ее у госпожи Лаперуз, и она не подозревает об этом. Она думает, что потеряла ее.

— Сколько ему лет? — спросил я.

— Тринадцать. Он выглядит старше, не правда ли? Он очень хрупкий.

Глаза его снова наполнились слезами; он протянул руку к фотографии, как бы торопясь поскорее забрать ее. Я поднес карточку ближе к окну, в полосу тусклого света от уличного фонаря; мне показалось, что мальчик похож на старика; я узнал большой выпуклый лоб и мечтательные глаза Лаперуза. Я подумал, что доставлю ему удовольствие, сказав об этом. Он запротестовал.

— Нет, нет, он похож на моего брата, которого я потерял.

На мальчике был странный костюм: русская рубашка с вышитым воротником.

— Где он живет?

— Но откуда же мне знать? — вскричал Лаперуз в каком-то отчаянии. — Говорю вам, что от меня все скрывают.

Он взял фотографию и, поглядев на нее немного, снова спрятал в бумажник, который сунул в карман.

— Когда его мать приезжает в Париж, она видится только с госпожой Лаперуз, которая отвечает мне, если я спрашиваю ее об этом: «Обратитесь со своим вопросом к ней». Она говорит так, но в глубине души ей было бы очень неприятно, если бы я повидался с той особой. Она всегда была ревнива. Она всегда хотела отнять у меня всякого, кто ко мне привязывался... Мой внучек Борис учится в Польше, в одной из варшавских гимназий, вероятно. Но он часто путешествует вместе с матерью. — Затем, в каком-то испуге: — Скажите! Как, по-вашему, можно любить ребенка, которого никогда не видел?.. Так вот: этот мальчик сейчас — самое дорогое для меня существо на свете... И он ничего не знает об этом!

Громкие рыдания прерывали его слова. Он привстал со стула и бросился, почти упал, в мои объятия. Я сделал бы все для облегчения его горя; но что я мог? Я встал, так как чувствовал, что его худое тело сползает вниз, и испугался, что он упадет на колени. Я поддержал его, прижал к груди и стал баюкать, как ребенка. Он пришел в себя. Госпожа Лаперуз позвала его из соседней комнаты.

— Она сейчас придет сюда... Вам ведь не очень хочется видеть ее, не правда ли?.. К тому же она стала совсем глухая. Уходите скорее. — Он проводил меня на лестничную площадку: — Не откладывайте надолго своего посещения (в голосе его слышалась мольба). До свидания, до свидания.

9 ноября

Один род трагического, мне кажется, почти совсем не отражен литературой. Роман занимался до сих пор превращениями судьбы, счастливыми или несчастными случаями, социальными отношениями, борьбою страстей, характерами, но оставил совсем без внимания самое существо человеческой личности.

Между тем христианство поставило себе задачей перевести драму в моральную плоскость. Но христианских романов, в собственном смысле слова, не существует. Есть, правда, романы, ставящие себе назидательные цели; но они не имеют ничего общего с тем, о чем я здесь говорю. Моральный трагизм — тот, например, что делает таким грозным евангельское слово: «Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» Вот этот трагизм для меня важнее всего.

10 ноября

Оливье в скором времени предстоит экзамены. Полина желает, чтобы он поступил в Эколь Нормаль. Его карьера предначертана... Почему он не сирота, без родных, без связей? Я взял бы его секретарем. Но ему нет дела до меня, он не замечает даже интереса, который я проявляю к нему; и я привел бы его в замешательство, если бы сказал ему об этом. Именно вследствие нежелания тревожить его чем бы то ни было я напускаю на себя в его присутствии вид равнодушный и иронический. Лишь когда он меня не видит, я решаюсь глядеть на него, не спуская глаз. Я следую иногда за ним на улице, так что он не подозревает об этом. Вчера я шел позади него; внезапно он повернулся и направился в обратную сторону; я не успел спрятаться.

— Куда это ты так спешишь? — спросил я.

— О, никуда! У меня всегда бывает самый деловой вид как раз в те минуты, когда мне делать нечего.

Мы прошли несколько шагов вместе, но не нашли, что сказать друг другу. Конечно, он остался недоволен встречей со мной.

12 ноября

У него есть родители, старший брат, товарищи... Я повторял себе это весь день и твердил также, что мне здесь нечего делать. Если бы ему не доставало чего-нибудь, я, несомненно, сумел бы восполнить недостаток, но он не

испытывает недостатка ни в чем. Он ни в чем не нуждается; и если его любезность очаровывает меня, то ничто в ней не позволяет мне обольщаться... Ах, нелепая фраза, написанная мной вопреки желанию и выдающая лукавство моего сердца... Завтра я сажусь на пароход и отправляюсь в Лондон. Я вдруг принял решение уехать. Пора.

Уехать потому, что испытываешь слишком большое желание остаться!.. Известная склонность к резким решениям и боязнь снисходительности (я разумею снисходительность к себе самому) являются, может быть, наследием моего первоначального пуританского воспитания, от которого мне труднее всего освободиться.

Купил вчера у Смита английскую тетрадь, которая должна будет служить продолжением настоящей и в которой я не хочу больше ничего записывать. Новая тетрадь...

Ах, если бы я мог не уезжать!

XIV

В жизни случаются иногда положения, из коих удаётся выпутаться лишь при некотором помрачении рассудка.

Ларошфуко

Свое чтение Бернар закончил письмом Лауры, вложенным в дневник Эдуарда. Голова пошла у него кругом: не могло быть сомнений, что женщина, изливавшая в нем свое горе, была та самая неутешная незнакомка, о которой рассказывал ему накануне вечером Оливье, — покинутая любовница Винцента Молинье. И вдруг Бернару стало ясно, что благодаря двойному признанию — признанию друга и признанию дневника Эдуарда — он является пока единственным лицом, кому известны обе стороны интриги. Этим преимуществом он будет владеть недолго; нужно, значит, действовать быстро и энергично. Решение было принято им тут же; не забывая ничего из прочитанного им в начале, Бернар все внимание сосредоточил на Лауре.

«Еще сегодня утром мне было неясно, что я должен делать; сейчас — прочь сомнения, — сказал он себе, выбегая из комнаты. — Категорический, как говорится, императив состоит в том, чтобы спасти Лауру. Похищение чемодана, может быть, не было моим долгом, но раз я им завладел, то очевидно, что именно в нем я почерпнул живое чувство долга. Важно застать Лауру до того, как ее успеет повидать Эдуард, и найти такой способ представиться ей, чтобы она

не приняла меня за жулика. Остальное устроится само. В моем бумажнике найдется теперь чем помочь несчастной; я сделаю это не хуже самого щедрого и самого сердобольного из Эдуардов. Только как подойти к ней? Вот единственное, что смущает меня. Ведь Лаура — урожденная Вельд, так что, несмотря на свою внебрачную беременность, она, наверное, очень щепетильна. Я сильно склонен думать, что она из тех женщин, которые артачатся, высказывают вам прямо в лицо свое презрение и разрывают на мелкие кусочки банкноты, предлагаемые им доброжелательно, но недостаточно деликатно. Как вручить ей эти деньги? Как ей представиться? Вот в чем загвоздка. Едва уходишь от закона и сворачиваешь с проторенных путей, сразу оказываешься в дебрях! Я, видать, действительно слишком молод, чтобы вмешиваться в столь запутанную интригу! Но, черт возьми, моя молодость поможет мне. Сочиним какое-нибудь простосердечное признание; какую-нибудь историю, которая вызвала бы жалость и интерес ко мне. Досадно, что эту историю придется рассказать и Эдуарду, ту же самую, — и нигде не впасть в противоречие. Ну да ладно! Положимся на вдохновение, оно осенит в нужную минуту...»

Тем временем он пришел на улицу Бон по адресу, который сообщала Лаура. Гостиница была самая скромная, но с виду чистая и приличная. По указанию портье Бернар поднялся на четвертый этаж. Перед дверью номера 16 он остановился и хотел подготовить свое появление, стал искать подходящих фраз; ничто не приходило на ум; тогда, решившись действовать напрямик, он постучал. Чей-то голос, мягкий, как голос его сестры, и — ему показалось — немножко робкий, произнес:

— Войдите.

На Лауре было совсем простое черное платье; могло показаться, что она в трауре. В течение нескольких дней пребывания в Париже она смутно ожидала чего-то или кого-то, кто вывел бы ее из тупика. Она пошла по ложному пути, в этом не было сомнений; чувствовала, что заблудилась. У нее была жалкая привычка больше рассчитывать на обстоятельства, чем на саму себя. Она не лишена была нравственного мужества, но ощущала себя бессильной, покинутой. При появлении Бернара она поднесла руку к лицу, как человек, сдерживающий крик или желающий прикрыть глаза от слишком яркого света. Она стояла, выпрями-

вшись во весь рост, затем попятилась к окну и ухватилась за занавеску.

Бернар ждал, что она обратится к нему с вопросом; но она молчала, ожидая, что заговорит он. Сердце его замерло, он смотрел на нее, тщетно стараясь выдать улыбку.

— Извините, сударыня,— начал он наконец,— что я так бесцеремонно врываюсь к вам. Сегодня утром в Париж приехал Эдуард Х., с которым, как мне известно, вы знакомы. У меня к нему неотложное дело: мне пришлось в голову, что вы могли бы дать мне его адрес, и... извините, что я столь нескромно обращаюсь к вам с этой просьбой.

Если бы Бернар не был так молод, он, вероятно, сильно напугал бы Лауру. Но перед ней стоял почти мальчик с таким открытым взглядом, таким ясным лбом, такими робкими жестами, таким неуверенным голосом, что страх ее уже сменялся любопытством, интересом и той непреодолимой симпатией, которую пробуждает в нас существо наивное и очень красивое. Впрочем, голос Бернара становился увереннее.

— Но я не знаю его адреса,— сказала Лаура.— Если он в Париже, то, надеюсь, он не замедит прийти ко мне. Скажите, кто вы. Я ему передам.

«Пришел момент поставить все на карту»,— подумал Бернар. Какое-то безумие вдруг овладело им. Он посмотрел прямо в глаза Лауре:

— Кто я?.. Друг Оливье Молинье...— Он колебался, все еще не решаясь; но, видя, что она бледнеет при этом имени, набрался смелости: — Друг Оливье, брата Винцента, вашего любовника, который так подло вас бросает...

Он должен был замолчать: Лаура покачнулась. Откинув обе руки назад, она с отчаянием искала опоры. Но больше всего взволновал Бернара стон, который она издала; почти нечеловеческий вопль, похожий, скорее, на крик раненого зверя (от него даже охотнику вдруг становится стыдно, он чувствует себя палачом), вопль столь странный, столь отличный от всего, что мог ожидать Бернар, что его бросило в дрожь. Он внезапно понял, что стоит лицом к лицу с живой жизнью, с подлинным страданием, и все, что было им испытано до сих пор, показалось ему теперь рисовкой и игрой. В груди его поднималась волна чувства, столь для него нового, что он не мог с ним совладать; оно подступало к горлу... Что это? Кто это рыдает? Возможно ли? Это он, Бернар!.. Он бросается поддержать ее, опускается перед ней на колени, бормочет сквозь рыдания:

— Ах, простите... простите! Я сделал вам больно... Я знал, что вы всеми покинуты, и... хотел бы помочь вам.

Но Лаура задыхается и чувствует, что вот-вот упадет в обморок. Она ищет глазами, где бы сесть. Бернар, чей взгляд устремлен на нее, понял ее желание. Он подбегает к креслицу, стоящему подле кровати, и порывистым движением пододвигает его; она грузно опускается в него.

Тут произошел забавный эпизод, который я не решаюсь рассказать; но именно он неожиданно вывел Бернара и Лауру из затруднения и окончательно определил их отношения. Поэтому не стану пытаться приукрашивать сцену.

За деньги, которые платила Лаура (я хочу сказать: за те деньги, что хозяин гостиницы требовал с нее), жилец не мог рассчитывать на изящную обстановку, но он имел полное право на прочную мебель. Между тем низкое креслице, которое Бернар пододвинул Лауре, немножко хромало; иными словами, имело большую склонность припадать на одну из ножек, как делает это птица, пряча ее под крыло; но что естественно для птицы, то необычно и достойно сожаления для кресла; вот почему креслице, о котором речь, старательно скрывало свое уродство под густой бахромой. Лаура знала особенности кресла и то, что с ним следует обращаться крайне осторожно; но в своем волнении она об этом забыла и вспомнила лишь, когда почувствовала, что оно покачнулось под ней. Она вдруг вскрикнула — причем ее крик на этот раз был совсем не похож на недавний долгий стон,— соскользнула с кресла и мгновение спустя очутилась на ковре в объятиях Бернара, который поспешил ей на помощь. Это маленькое происшествие привело в замешательство и в то же время позабавило его. Ему пришлось стать на колени, так что лицо Лауры было совсем близко; он увидел, что она краснеет. Она сделала усилие, чтобы подняться. Он ей помог.

— Вы не ушиблись?

— Нет, спасибо, благодаря вам. Это смешное кресло, его чинили уже два раза... Я думаю, если выпрямить ножку, оно будет стоять.

— Сейчас я это устрою,— сказал Бернар.— Готово!.. Хотите попробовать? — Но тут он оборвал себя: — Или позвольте... Благоразумнее сначала попробовать мне. Видите, как оно прочно стоит теперь. Я могу даже болтать ногами,— (что он и сделал, смеясь). Затем, вставая: — Можете спокойно садиться, и если вы позволите мне остаться еще на минутку, то я возьму себе стул. Я сажусь подле

вас и не дам вам упасть, не бойтесь... Мне хотелось бы сделать для вас еще кое-что.

В его словах было столько горячности, в манерах — сдержанности, а в жестах — грации, что Лаура не могла удержаться от улыбки:

— Вы не сказали мне вашего имени.

— Бернар.

— Хорошо, как ваша фамилия?

— У меня нет фамилии.

— Ну а фамилия ваших родителей?

— У меня нет родителей. Иными словами, я тот, кем будет ребенок, которого вы ждете: бастард.

Улыбка вдруг исчезла с лица Лауры; она была обижена этим настойчивым вторжением в ее интимную жизнь и разоблачением ее тайны.

— Но откуда вы это знаете?.. Кто вам сказал?.. Вы не имеете права знать...

Бернар закусил удила; он говорил теперь громко и дерзко:

— Я знаю и то, что известно моему другу Оливье, и то, что известно вашему другу Эдуарду. Но каждый из них знает пока только половину вашей тайны. Я, вероятно, единственный, кроме вас, человек, которому она известна целиком. Итак, вы видите: необходимо, чтобы я стал вашим другом, — прибавил он более мягким тоном.

— Как неделикатны мужчины, — печально промолвила Лаура. — Но... если вы не видели Эдуарда, он не мог вам сказать. Значит, он вам написал?.. Неужели это он прислал вас?..

Бернар запутывался в противоречиях; он слишком поспешно раскрыл свои карты, уступая искушению слегка прихвастнуть. Он отрицательно покачал головою. Лицо Лауры омрачалось все больше и больше. В этот момент в дверь постучали.

Желают они этого или нет, но общее волнение связывает этих людей. Бернар чувствовал, что попал в западню; Лаура досадовала, что ее застали в обществе постороннего мужчины. Они переглянулись, точно заговорщики. Стук раздался снова. Оба одновременно вскрикнули:

— Войдите!

Уже несколько минут Эдуард подслушивал у двери: настолько он был поражен, что в комнате Лауры раздаются

голоса. По последним фразам Бернара он догадался в чем дело. Невозможно было сомневаться в их смысле: не было никаких сомнений, что говоривший был человеком, укравшим его чемодан. Решение тотчас было принято. Ибо Эдуард принадлежит к числу тех людей, чьи способности, обычно притупленные монотонной повседневностью, внезапно пробуждаются и обостряются при столкновении с непредвиденным. Итак, он открыл дверь, но остался на пороге, улыбаясь и поглядывая то на Бернара, то на Лауру, которые оба встали.

— Простите, дорогой друг,— сказал он Лауре, жестом показывая, что он хочет несколько отложить излияния.— Мне нужно сперва сказать несколько слов вашему гостю, пусть он благоволит выйти на минутку в коридор.

Улыбка его стала более иронической, едва Бернар подошел к нему.

— Я так и думал, что найду вас здесь.

Бернар понял, что попался. Ему оставалось лишь играть в отступную; он так и поступил, чувствуя, что это его последняя ставка:

— Я надеялся встретиться здесь с вами.

— Прежде всего, если только вы уже не сделали этого (ибо я хочу верить, что это и была цель вашего прихода), ступайте вниз, в контору, и оплатите счет госпожи Дувье деньгами, которые вы нашли в моем чемодане и которые должны быть при вас. Не поднимайтесь наверх раньше чем через десять минут.

Все это было сказано тоном достаточно внушительным, но не содержащим никакой угрозы. Тем временем к Бернару вернулся весь его апломб:

— Я действительно пришел ради этого. Вы не ошиблись. И я начинаю думать, что тоже не ошибся.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что вы как раз такой, как я и предполагал.

Эдуард тщетно старался принять серьезный вид. Все это крайне забавляло его. Он сделал насмешливый полупоклон:

— Очень вам благодарен. Остается и мне подвергнуть вас испытанию. Так как вы находитесь здесь, то, я думаю, вы прочли мои бумаги?

Бернар, который, не моргнув, выдержал взгляд Эдуарда, в ответ улыбнулся смелой, насмешливой и дерзкой улыбкой и промолвил, отвешивая поклон:

— Не извольте сомневаться. Я к вашим услугам.

Затем, как эльф, полетел по лестнице.

Когда Эдуард вошел в комнату, Лаура рыдала. Он приблизился к ней. Она уткнулась лбом в его плечо. Внешнее проявление обуревавших ее чувств стесняло его, было почти невыносимо. Он вдруг с изумлением заметил, что нежно похлопывает ее по спине, словно ребенка, который закашлялся.

— Бедняжка Лаура,— приговаривал он,— ну, довольно, довольно... Будьте благоразумны...

— Ах, позвольте мне чуть поплакать, от слез мне легче.

— Все же нужно выяснить, что вы теперь будете делать.

— Что же прикажете мне делать? Куда идти? К кому обратиться?

— Ваши родители...

— Но ведь вы знаете их. Обратиться к ним — значило бы повергнуть их в отчаяние. Они все сделали, чтобы я была счастлива.

— А Дувье?..

— Никогда я не решусь вернуться к нему. Он так добр. Не думайте, что я его не люблю... Если бы вы знали... Если бы знали... Ах, скажите, что вы не очень презираете меня.

— Напротив, милая Лаура, напротив. Как могло это взбрести вам в голову? — И он снова стал похлопывать ее по спине.

— А ведь правда: рядом с вами я больше не чувствую стыда.

— Сколько дней вы здесь?

— Не знаю, право. Я жила только ожиданием вас. Временами мне становилось невмочь. Теперь мне кажется, что больше ни дня я не в силах оставаться здесь.

И она зарыдала еще громче, почти переходя на крик, но голос ее был глух.

— Уведите меня. Уведите меня.

Эдуард все больше и больше приходил в замешательство.

— Послушайте, Лаура... Успокойтесь. Тот... другой... не знаю даже, как его имя...

— Бернар,— прошептала Лаура.

— Сейчас сюда войдет Бернар. Ну, возьмите же себя в руки. Нельзя, чтобы он видел вас такой. Больше мужества. Мы что-нибудь придумаем, ручаюсь вам. Полно! Вытрите глаза. Слезы делу не помогут. Посмотрите на себя в зеркало. Вы покраснели. Смочите лицо одеколоном. Когда я вижу вас плачущей, я не могу ни о чем думать... Ну, вот и он, я слышу его шаги.

Он направился к двери и выпустил Бернара; пока Лаура,

повернувшись к ним спиной, приводила себя в порядок перед туалетным столиком, он обратился к Бернару:

— Теперь, сударь, могу я спросить вас, когда мне будет дозволено снова вступить во владение моими вещами?

Он сказал это, смотря Бернару прямо в лицо, по-прежнему иронически улыбаясь.

— Когда вам будет угодно, сударь; но должен признаться вам, что в этих недостающих вам вещах вы нуждаетесь гораздо меньше, чем я. Я уверен, что это станет вам совершенно понятно, как только вы узнаете мою историю. Достаточно будет сказать вам, что с сегодняшнего утра я без крова, без очага, без семьи и был готов броситься в Сену, если бы не встретился с вами. Я долго издали следил за вами сегодня утром, когда вы разговаривали с моим другом Оливье. Он столько мне рассказывал о вас! Мне хотелось подойти к вам. Я искал предлога, повода... Когда вы уронили багажную квитанцию, я благословил судьбу. О, не принимайте меня за вора. Если я завладел вашим чемоданом, то для того, чтобы познакомиться с вами.

Бернар выпалил все это одним духом. Необыкновенное пламя оживляло его речь и его черты; казалось, он взывал о милости. По улыбке Эдуарда было видно, что он находил его очаровательным.

— А теперь?..— спросил он.

Бернар понял, что дело принимает благоприятный поворот:

— А теперь... не нужен ли вам секретарь? Не могу допустить, что буду плохо исполнять его функции, ибо примусь за работу с большой радостью.

Тут Эдуард уже не выдержал и покатился со смеху. Лаура повеселела, глядя на них.

— Вот как!.. Что ж, об этом мы подумаем. Вы найдете меня завтра здесь в этот самый час, если позволит госпожа Дувье... потому что и с ней мне предстоит решить множество вопросов. Вы живете в гостинице, я полагаю? О, я вовсе не хочу знать в какой! Меня это не волнует.— Он протянул ему руку.

— Сударь,— сказал Бернар.— вы, может быть, разрешите мне перед уходом напомнить вам, что в предместье Сент-Оноре живет один старый, несчастный преподаватель музыки по фамилии, если не ошибаюсь, Лаперуз: вы, несомненно, доставите ему большое удовольствие, навестив его.

— Черт возьми, для начала недурно: вы правильно понимаете ваши будущие обязанности.

- Значит... Вы действительно согласились бы?
- Поговорим об этом завтра. До свиданья.

Пробыв еще немного у Лауры, Эдуард отправился к Молинье. Он надеялся вновь увидеть Оливье, с которым ему хотелось поговорить о Бернаре. Но он застал одну Полину и так и не дождался никого, хотя крайне затянул свой визит.

В это самое время Оливье, получивший утром через брата приглашение от графа де Пассавана непременно зайти, направлялся к автору «Турника».

XV

— Я боялся, что ваш брат не исполнит моего поручения,— сказал Робер де Пассаван, увидев входящего Оливье.

— Я не опоздал? — спросил Оливье, ступая робко, почти на цыпочках. В руке он держал шляпу, которую Робер у него отобрал.

— Положите же ее сюда. Располагайтесь поудобнее. Вот в этом кресле, мне кажется, вы будете чувствовать себя как дома. Вы несколько не опоздали, если судить по часам, но мое желание видеть вас опережало время. Вы курите?

— Благодарю вас,— сказал Оливье, отстраняя портсигар, который протягивал граф де Пассаван. Он отказывался из скромности, хотя ему очень хотелось отведать тонких душистых папирос, вероятно русских, аккуратными рядами лежащих в портсигаре.

— Да, я очень рад, что вы смогли прийти. Я боялся, что вы слишком заняты подготовкой к экзаменам. Когда они у вас?

— Через десять дней письменный. Но теперь я мало занимаюсь. Мне кажется, что я готов и больше всего боюсь переутомиться.

— Однако не отказались бы вы взять на себя сейчас еще одну работу?

— Нет... если только она не слишком обременительна.

— Я сейчас объясню, для чего просил вас прийти ко мне. Прежде всего, чтобы доставить себе удовольствие снова видеть вас. Как-то в театральном фойе мы начали в антракте один разговор... То, что вы мне тогда сказали, меня сильно заинтересовало. Вы, наверное, уже забыли об этом, не правда ли?

— О, нет, помню,— ответил Оливье, которому казалось, что тогда разговор шел о пустяках.

— Сейчас у меня есть одно предложение к вам... Я думаю, вы знаете некоего юношу по фамилии Дюрмер? Ведь это один из ваших товарищей?

— Я только что расстался с ним.

— Ах, вы встречаетесь?

— Да, мы должны были встретиться в Лувре, чтобы поговорить о журнале, который он будет редактировать.

Робер разразился громким, принужденным смехом:

— Ха! ха! ха! Редактор... Дюрмер — редактор... Он высоко берет... Он в самом деле сказал вам это?

— Уже давно твердит мне об этом.

— Да, я думаю об этом уже довольно давно. Как-то случайно я спросил его, согласен ли он читать со мной рукописи; он сейчас же назвал это — быть главным редактором; я не мешал ему, и вдруг... Это в его стиле, вы не находите? Каков хват! Его следует немного одернуть... Вы в самом деле не курите?

— Пожалуй, но немного,— сказал Оливье, беря на этот раз папиросу.— Спасибо.

— Позвольте мне сказать вам, Оливье... вы ничего не имеете против того, чтобы я называл вас Оливье? Мне как-то странно обращаться к вам «господин»: вы слишком молоды; с другой стороны, я слишком близок с вашим братом Винцентом, чтобы называть вас Молинье. Так вот, позвольте мне сказать вам, Оливье, что я неизмеримо больше доверяю вашему вкусу, чем вкусу Сиди Дюрмера. Не согласитесь ли вы взять на себя литературное руководство журналом? Понятно, в какой-то степени под моим наблюдением, по крайней мере на первых порах. Но я предпочитаю, чтобы моя фамилия не стояла на обложке. Потом объясню вам почему... Может быть, выпьете стаканчик портвейну, а? У меня он весьма недурен.

Он достал из стоявшего подле него шкафчика бутылку и два бокала, разлил вино.

— Ну, что скажете?

— Действительно превосходный портвейн.

— Я спрашиваю вас не о вине.— смеясь, сказал Робер,— а о сделанном мной предложении.

Оливье притворился, что не понимает. Он боялся слишком поспешно выразить свое согласие и тем выдать свою радость. Он слегка покраснел и смущенно пробормотал:

— Мой экзамен не...

— Вы только что сказали, что подготовка к нему не отнимает у вас много времени,— перебил его Робер.— Кроме того, журнал выйдет еще не скоро. Я даже думаю, не лучше ли приурочить выпуск первого номера к моменту начала занятий в школах. Во всяком случае, мне важно узнать ваши взгляды. До октября следовало бы подготовить несколько номеров, и нам необходимо будет часто видаться этим летом, чтобы всесторонне обсудить вопрос. Что вы собираетесь делать на каникулах?

— О, я еще точно не знаю. Мои родители отправятся, вероятно, как всегда, в Нормандию.

— И вам нужно будет сопровождать их?.. Может быть, в этот раз вы ненадолго разлучитесь с ними?..

— Мама не согласится.

— Сегодня я обедаю с вашим братом; вы позволите мне поговорить с ним об этом?

— О, Винцент с нами не поедет.— Затем, сообразив, что эта фраза не относится к делу, он прибавил: — К тому же это ни к чему не приведет.

— Но если представить вашей маме серьезные доводы?

Оливье ничего не ответил. Он нежно любил свою мать, и тон, взятый Робером по отношению к ней, ему не понравился. Робер понял, что немного перехватил.

— Так вам нравится мой портвейн? — спросил он, чтобы сменить тему.— Хотите еще стаканчик?

— Нет, нет, спасибо... Но он превосходен.

— Да, тогда в театре меня поразили зрелость и уверенность ваших суждений. У вас нет склонности писать критические статьи?

— Нет.

— А стихи?.. Мне известно, что вы пишете стихи.

Оливье снова покраснел.

— Да, брат вас выдал. И вы, наверное, знаете других молодых людей, которые могли бы сотрудничать... Надо, чтобы этот журнал стал платформой, объединяющей молодежь. В этом его смысл. Мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне составить своего рода проспект-манифест, который намечал бы, не слишком их уточняя, новые веяния. Мы еще поговорим об этом. Нужно будет выбрать два или три эпитета, только не неологизмы, а самые стертые, старые слова, которым мы придадим совсем новый, действенный смысл. После Флобера были в моде «благозвучный и ритмичный»; после Леконта де Лиля «иератический и определенный»... Слушайте, что вы скажете об эпитете «жиз-

ненный»? А?.. «Бессознательный и жизненный»... Нет? «Стихийный, крепкий и витальный»?

— Мне кажется, что можно было бы подобрать лучше,— осмелился заметить Оливье, улыбаясь не слишком одобрительно.

— Может, еще портвейну...

— Только, пожалуйста, немного.

— Видите ли, огромным недостатком символизма является то, что он дал одну эстетику: все большие литературные школы давали кроме нового стиля новую этику, новые заповеди, новый список обязанностей, новую манеру видеть, новое понимание любви, новое отношение к жизни. Символист весьма упростил свою задачу: он вовсе устранился из жизни, не старался понять ее, отрицал ее, повернувшись к ней спиной. Разве вы не находите, что это нелепо? Эти люди лишены аппетита к жизни и даже не гурманы. Совсем не то, что мы... не правда ли?

Оливье допил второй бокал портвейна и выкурил вторую папиросу. Он полузакрыв глаза, развалился в удобном кресле и, не произнося ни слова, выражал свое одобрение легкими кивками. В этот момент раздался звонок, и почти тотчас вошел лакей и подал Роберу визитку. Робер взял ее, взглянул и положил рядом на письменном столе:

— Хорошо. Попросите его минуту подождать.— Лакей вышел.— Слушайте, дорогой Оливье, вы мне очень нравитесь, и думаю, мы вполне можем столкнуться. Но сейчас ко мне пришел один визитер, которого мне непременно нужно принять и переговорить с ним наедине.

Оливье встал.

— Я провожу вас через сад, если разрешите... Вот хорошо, что вспомнил: не хотите ли иметь мою новую книгу? У меня как раз есть экземпляр на голландской бумаге...

— Я не стал дожидаться, пока получу ее от вас и уже прочел,— сказал Оливье, которому не очень нравилась книга Пассавана; он старался поэтому высказать о ней суждение без лести, но соблюдая полную учтивость. Уловил ли Пассаван в тоне фразы легкий оттенок пренебрежения? Он тот час же ответил:

— Не будем говорить о ней. Если вы скажете мне, что она вам нравится, я вынужден буду отнестись с недоверием либо к вашему вкусу, либо к вашей искренности. Нет, лучше, чем кому-либо, мне известны недостатки этой книги. Я писал ее чересчур торопливо. По правде говоря, все

время, пока я ее писал, я думал о своей следующей книге. Вот она — другое дело: ею я дорожу. Ею я очень дорожу. Вы увидите, увидите... Мне очень жаль, но сейчас я принужден просить вас покинуть меня... Если только не... Но нет, нет, мы еще недостаточно знакомы, и ваши родители, наверное, ожидают вас к обеду. Итак, до свидания. До скорого... Я надпишу вам книгу, разрешите?

Он встал и подошел к письменному столу. Пока он надписывал книгу, Оливье шагнул вперед и искоса посмотрел на принесенную лакеем визитку:

ВИКТОР СТРУВИЛУ

Это имя ему ничего не говорило.

Пассаван протянул Оливье экземпляр «Турника»; едва Оливье собрался прочитать надпись, Робер сказал, засовывая книгу ему под мышку:

— Потом прочтете.

Только на улице Оливье познакомился с эпитафией, надписанным графом де Пассаваном; он был извлечен из той самой книги, которую украшал, и гласил следующее:

«Ради Бога, Орландо, еще несколько шагов. Я вполне уверен, что смею как следует вас понимать».

И внизу:

*«Оливье Молинье —
вероятный его друг
граф Робер де Пассаван».*

Эпитафия двусмысленная, которая заставила Оливье задуматься, но он был волен в конце концов толковать его как заблагорассудится.

Оливье возвратился домой через несколько минут после ухода Эдуарда, который устал его дожидаться.

XVI

Винцент по природе был человек добрый, и суровое обращение с Лаурой стоило ему усилий и борьбы; поэтому он легко склонялся рассматривать свое поведение по отношению к ней как победу воли над чувствительностью.

Внимательно рассматривая развитие характера Винцента в этой интриге, я различаю несколько стадий, которые хочу отметить в назидание читателю:

1. Период добрых намерений. Честность. Совестьливое желание загладить свою вину. В данном случае: нравственная обязанность предоставить Лауре сумму, которую с таким трудом накопили его родители, чтобы облегчить ему первые шаги на поприще врача. Разве это не самопожертвование? Разве это не свидетельствует о благородстве, великодушии, милосердии?

2. Период душевной тревоги. Сомнения. Разве усомниться в том, что посвященная Лауре сумма окажется достаточной, не означает готовность Винцента уступить, когда дьявол станет соблазнять его возможностью увеличить эту сумму?

3. Стойкость и душевная твердость. Потребность чувствовать себя «выше несчастья» после проигрыша этой суммы. Эта самая «душевная твердость» позволяет ему признаться Лауре в своем проигрыше; она же позволяет ему по той же причине порвать с Лаурой.

4. Отречение от добрых намерений, рассматриваемых как несчастное заблуждение в свете новой этики, которую Винцент считает себя обязанным изобрести для оправдания своего поведения, ибо он остается человеком нравственным и дьявол сумеет убедить его, лишь снабдив самооправданиями. Теория самодовлеющей, исчерпывающей полноты мгновения; теория нечаянной, непосредственной и незаслуженной радости.

5. Опьянение выигрышем. Презрение к сдержанности. Вседозволенность.

Начиная с этого момента партия дьявола выиграна.

Начиная с этого момента существо, которое считает себя беспредельно свободным, становится простым его орудием. Поэтому дьявол не уймется, пока Винцент не выдаст своего брата отпетому сообщнику дьявола — Пассавану.

Винцент не является, однако, дурным человеком. Вопреки всему он остается неудовлетворенным, самочувствие его неважное. Прибавим еще несколько слов.

«Экзотизмом» называют, мне кажется, всякую пеструю складку покровы Майи, перед которой душа наша чувствует себя чужой и которая лишает ее точек опоры. Возможно, добродетель устояла бы, если бы дьявол, прежде чем покуситься на нее, не перенес нас в другую страну. Если бы они не находились под новыми небесами, вдали от своих родителей, вдали от воспоминаний о своем прошлом, вдали от всего, что поддерживало постоянство в их душах, то, вероятно, Лаура не уступила бы домогательствам Винцента,

а Винцент не сделал бы попытки ее соблазнить. Вероятно, им показалось, что этот акт любви там, на чужбине, в счет не идет... Можно бы многое сказать на эту тему, но и сказанного для нас достаточно, чтобы лучше понять Винцента.

Подле Лилиан он тоже чувствовал себя словно в чужой стране.

— Не смейся надо мною, Лилиан,— говорил он в тот вечер.— Я знаю, что ты не поймешь меня, и все же я чувствую потребность говорить с тобой, как если бы ты меня понимала, потому что отныне я не могу не думать о тебе.

Он полулежал в ногах Лилиан, вытянувшейся на низенькой кушетке; любовница нежно ласкала его голову, которую он в любовной истоме положил ей на колени.

— Причиной моей утренней озабоченности... пожалуй, был страх. Можешь ты побыть серьезной хоть одно мгновение? Чтобы понять меня, можешь ты забыть на мгновение не то, во что веришь, потому что ты не веришь ни во что, но именно забыть, что ты ни во что не веришь? Я тоже ни во что не верил, ты знаешь; я верил, что я больше ни во что не верю, ни во что, кроме нас двоих, тебя, меня, и в то, чем я могу быть с тобой, в то, кем благодаря тебе я стану...

— Робер придет в семь,— прервала Лилиан.— Я говорю это не для того, чтобы торопить тебя,— но, если ты не перейдешь скорее к делу, он прервет нас как раз в тот момент, когда ты начнешь становиться интересным. Я ведь полагаю, ты не захочешь продолжить в его присутствии. Ты сегодня находишь нужным принимать удивительно много предосторожностей. Ты похож на слепого, который, прежде чем ступить, ощупывает палкой каждый уголок. Ты видишь, однако, что я абсолютно серьезна. Почему у тебя нет уверенности?

— С тех пор, как я знаком с тобой, я во всем уверен,— продолжал Винцент.— Я могу многое, я чувствую это, и, ты видишь, мне все удается. Но как раз это и ужасает меня. Нет, нет, молчи... Весь день сегодня я думал о том, что ты рассказала мне утром, о гибели «Бургундии» и о руках, которые отсекали тем, кто хотел взобраться в лодку. Мне все кажется, что кто-то хочет взобраться в мою лодку — я пользуюсь твоим образом, чтобы ты меня поняла,— что-то такое, чему я хотел бы помешать...

— И ты хочешь, чтобы я помогла тебе утопить все это, старый трус!..

Он продолжал, не глядя на нее:

— Что-то такое, что я отталкиваю, но чей голос до-

носится до меня... голос, который ты никогда не слышала, голос, который я слышал в детстве...

— Что же говорит тебе этот голос? Ты не решаешься повторить. Это меня не удивляет. Держу пари, что в его речи было что-то из катехизиса. Да?

— Но, Лилиан, пойми меня: единственная возможность избавиться от этих мыслей — высказать их тебе. Если ты будешь смеяться над ними, я затаю их в себе, и они меня отравят.

— Тогда говори,— сказала она с таким видом, точно подчинялась неприятной необходимости. Затем — так как он молчал и по-детски прятал лицо в коленях Лилиан: — Ну! Чего же ты ждешь?

Она потянула его за волосы и заставила поднять голову.

— Да он в самом деле принимает эти мысли всерьез, право слово! Он побледнел. Послушай, мой мальчик, если ты хочешь разыгрывать младенца, то мне это не подходит. Нужно хотеть то, чего хочешь. Кроме того, ты знаешь: я не люблю тех, кто плурует в игре. Когда ты пытаешься втащить исподтишка в свою лодку того, кто только и хочет забраться туда, ты плутуешь. Я очень хочу играть с тобой, но играть честно; и я прямо заявляю тебе об этом, чтобы ты мог добиться успеха. Мне кажется, что ты можешь стать человеком весьма значительным; я чувствую в тебе большой ум и большую силу. Я хочу тебе помочь. Есть много женщин, которые губят карьеру своих возлюбленных; я же хочу поступить как раз наоборот. Ты уже говорил о своем желании бросить медицину и посвятить себя изучению естественных наук, выражал сожаление, что у тебя нет денег для этого... Теперь ты выиграл, пятьдесят тысяч франков — деньги немалые. Обещай же, что ты бросишь игру. Я предоставляю в твое распоряжение столько денег, сколько понадобится, при условии, что у тебя хватит сил пожать плечами, когда тебе будут говорить, что ты находишься на содержании.

Винцент встал и подошел к окну. Лилиан продолжала:

— Прежде всего, чтобы покончить с Лаурой, я считаю, что можно бы послать ей обещанные тобой пять тысяч франков. Теперь, когда у тебя есть деньги, почему бы тебе не сдержать слово? Из желания чувствовать себя еще более виновным по отношению к ней? Это мне совсем не нравится. Я питаю отвращение к грязным поступкам. Ты не умеешь опрятно отсекаать рук. Итак, решено: мы отправимся на лето туда, где будут наиболее благоприятные условия для твоих

работ. Ты говорил мне о Рос-кофе; я предпочла бы Монако, потому что знакома с князем, который может предложить нам яхту и устроить тебя в своем институте.

Винцент молчал. Ему было неприятно сообщить Лилиан — и он рассказал ей об этом лишь впоследствии, — что перед приходом к ней он побывал в гостинице, где Лаура с такой тоской и таким отчаянием ожидала его. Желая почувствовать себя наконец расквитавшимся с нею, он засунул в конверт те несколько банкнотов, на которые она больше уже не рассчитывала. Он вручил этот конверт коридорному и стал ждать в вестибюле подтверждения, что конверт передан ей в руки. Несколько мгновений спустя посланный сбежал вниз и вручил Винценту тот же конверт, на котором рукою Лауры было написано:

«Слишком поздно».

Лилиан позвонила, велела принести манто. Когда служанка вышла, она сказала:

— Ах, я хотела сказать тебе, пока он не приехал: если Робер предложит тебе поместить твои пятьдесят тысяч франков, остерегись принимать его предложение. Он очень богат, но постоянно ищет деньги. Посмотри: мне кажется, я слышу рожок его автомобиля. Он приехал на полчаса раньше, тем лучше... Насчет же того, о чем мы говорили...

— Я приехал пораньше, — сказал, входя, Робер, — потому что подумал: хорошо бы отправиться обедать в Версаль. Нравится вам моя идея?

— Нет, — отвечала леди Гриффитс, — бассейны нагоняют на меня тоску. Поедем лучше в Рамбуйе, времени у нас достаточно. Кормят там похуже, но зато нам будет удобнее разговаривать. Я хочу, чтобы Винцент рассказал тебе о рыбах. Он знает массу поразительных вещей. Не знаю, правда ли, что он говорит, но это занятнее, чем самые лучшие в мире романы.

— Романист, может быть, будет другого мнения на сей счет, — заметил Винцент.

Робер де Пассаван держал в руке вечернюю газету.

— Вы знаете, что Брюнъяр назначен сегодня секретарем министра юстиции? Очень подходящий момент для награждения вашего отца, — сказал он, оборачиваясь к Винценту. Последний пожал плечами. — Мой дорогой Винцент, — продолжал Пассаван, — позвольте вам сказать, что вы очень

его обидите, не попросив этого маленького одолжения,— он будет так счастлив отказать вам.

— Если только вы покажете пример, попросив его об этом одолжении для себя,— отпарировал Винцент.

Робер скорчил кислую гримасу:

— Нет, я кокетничаю своею неспособностью краснеть, даже получив орденскую ленточку.— Потом, обращаясь к Лилиан: — Вы знаете, в наши дни редко встречаются люди, достигающие сорока без сифилиса и орденов.

Лилиан улыбнулась, пожав плечами:

— Ради остроты он готов даже состариться!.. Скажите, пожалуйста, это цитата из вашей будущей книги? Она прозвучит свежо... Ступайте вниз, я надену мантию и догоню вас.

— Я думал было, что вы не хотите больше видеться с ним? — сказал Винцент Роберу на лестнице.

— С кем? Брюньером?

— Вы находили его таким дураком.

— Дорогой друг,— медленно отвечал Пассаван, остановившись на ступеньке и удерживая Молинье, ибо в это время он заметил леди Гриффитс и желал, чтобы она его услышала,— поверьте, у меня еще не было друга, который, после более или менее продолжительного знакомства со мной не представил бы доказательств своей глупости. Уверяю вас, Брюньер выдерживал испытание дольше многих других.

— Чем я, может быть? — спросил Винцент.

— Что не мешает мне оставаться вашим лучшим другом, как видите.

— И это называется в Париже остроумием! — сказала Лилиан, подходя к ним.— Будьте начеку, Робер: ничто не увядает так быстро.

— Успокойтесь, дорогая: слова увядают лишь после того, как они напечатаны.

Они сели в автомобиль, который умчал их. Так как их разговор продолжал быть весьма остроумным, то мне не стоит передавать его здесь. Они выбрали столик на террасе, открытой в сад, который наступившие сумерки наполняли тенью. Вечер мало-помалу настраивал беседу на серьезный лад; подстрекаемый Лилиан и Робером, говорил почти исключительно Винцент.

— Я бы больше интересовался животными, если бы меня меньше увлекали люди,— заявил Робер.

— Может быть,— отвечал Винцент,— это объясняется тем, что вы считаете, будто люди слишком отличаются от животных. Нет ни одного крупного открытия в зоотехнике, которое не способствовало бы познанию человека. Тут все соприкасается, все связано одно с другим, и я думаю, что для романиста, который мнит себя хорошим психологом, никогда не проходит безнаказанно его невнимание к природе и незнание ее законов. В «Дневнике» Гонкуров, который вы дали мне почитать, я наткнулся на рассказ о посещении братьями естественнонаучных галерей зоопарка, где ваши очаровательные авторы жалуются на недостаток воображения у природы. Эта жалкая хула говорит об ограниченности и непонятливости их крохотных умишек. Напротив, какое разнообразие! Кажется, будто природа перепробовала один за другим все способы быть живой, развиваться, использовала все возможности материи и ее законов. Какой урок кроется в последовательном отказе от некоторых неразумных и неизящных палеонтологических начинаний! Какую экономию сделало возможным существование определенных форм! Внимательное их изучение объясняет мне заброшенность других форм. Даже ботаника может быть поучительной для нас. Когда я рассматриваю ветку дерева, то замечаю, что у черенка каждого листа ютится почка, способная через год, в свою очередь, дать росток. Когда я наблюдаю, что из множества почек распускаются самое большее две, которые благодаря самому своему произрастанию обрекают на истощение все прочие, я не могу удержаться от мысли, что так же точно бывает у человека. Произрастающие почки — это, понятно, всегда верхушечные почки, иными словами: наиболее удаленные от семейного ствола. Лишь подрезание или загибание, заставляя сок течь обратно, приводит к оживлению почек, расположенных поблизости от ствола, которые без этой операции не развились бы. Таким способом обращают во фруктовые деревья самые упрямые породы, которые, будучи предоставлены самим себе, произвели бы, несомненно, одну листву. Ах какая прекрасная школа — плодовый сад! И какими прекрасными педагогами могли бы быть многие садоводы! Достаточно самой малой наблюдательности, чтобы на птичьем дворе, на псарне, в аквариуме, в кроличьем садке, в хлеву

приобрести гораздо больше знаний, чем мы получаем из книг и даже, поверьте мне, из общения с людьми, у которых все в большей или меньшей степени фальсифицировано.

Потом Винцент заговорил об отборе. Он изложил метод, обычно практикуемый экспериментаторами для получения наилучших семян, — выбор ими самых крепких экземпляров; он перешел далее к экспериментальным прихотям одного садовода-фантазера, который из отвращения к рутине — можно сказать даже, бросив ей вызов, — решился, наоборот, подобрать самые хилые экземпляры, и какого бесподобного цветения он добился.

Робер, который сначала слушал Винцента вполуха, как человек, не ожидающий ничего, кроме скуки, больше не пытался его перебивать. Внимание Робера восхищало Лилиан, как дань уважения ее любовнику.

— Ты должен нам рассказать, — обратилась она к нему, — то, что, помнишь, рассказывал мне о рыбах и об их приспособленности к различным степеням солености моря... Правильно я говорю?

— За исключением некоторых регионов, — начал Винцент, — эта степень солености является величиной почти постоянной, и морская фауна выносит обыкновенно лишь самые незначительные отклонения от нормы. Но области, о которых я рассказывал, все же не являются необитаемыми; это, с одной стороны, области, подверженные значительному испарению, которое уменьшает количество воды по отношению к данному количеству соли, а с другой стороны, напротив, области, где постоянный приток пресной воды разбавляет соль и, так сказать, опресняет море, — области, расположенные по соседству от устьев больших рек или от таких мощных морских течений, как, например, Гольфстрим. В этих областях животные, называемые *стеногалинными*, хиреют и обречены на гибель, так как они не способны тогда защищаться против животных, называемых *эвригалинными*, и неизбежно становятся их добычей; *эвригалинные* живут предпочтительно на границах больших течений, где плотность воды неустойчива и куда приплывают в агонии *стеногалинные*. Вам теперь понятно, не правда ли, что *стеногалинные* — это те животные, которые переносят только постоянную степень солености. Между тем как *эвригалинные*...

— Большие пройдохи ¹, — перебил Робер, который

¹ Непереводимая игра слов: *dessalé* означает «опресненный», а также «пройдоха», «плут» и т. д.

истолковывал по-своему всякую мысль и обращал внимание во всякой теории лишь на то, что могло ему пригодиться.

— Большинство из них хищники, — серьезным тоном заметил Винцент.

— Ну, разве я не говорила тебе, что это стоит всех романов! — в восхищении вскричала Лилиан.

Винцент, словно преобразенный, оставался нечувствителен к своему успеху. Он был необыкновенно серьезен и продолжал более тихим голосом, словно говорил сам с собою:

— Самым удивительным открытием последнего времени — по крайней мере, открытием, которое было для меня наиболее поучительным, — является открытие фосфоресцирующих органов у животных, обитающих в морских глубинах.

— Ах, расскажи нам об этом, — попросила Лилиан, папираса которой погасла, а поданное ей мороженое растаяло.

— Вам, конечно, известно, что дневной свет не проникает на значительную глубину. Кромешная тьма царит в морской глубине... в бездонных пучинах, которые долгое время считались необитаемыми; затем при помощи тралов из этих пучин удалось извлечь каких-то странных животных. Они слепые, как думали первоначально. Зачем им зрение во мраке? Очевидно, у них нет глаз; у них не может, не должно быть глаз. Все же их исследуют и с изумлением констатируют, что у некоторых есть глаза; что глаза есть почти у всех, не считая усиков паразитической чувствительности, которыми они также обладают. Все еще продолжают сомнения; никак не могут взять в толк: зачем глаза, если ими ничего нельзя видеть? Глаза чувствительны, но чувствительны к чему?.. И вот наконец обнаруживают, что каждое из этих животных, которых первоначально считали слепыми, испускает и излучает перед собой, вокруг себя *свой* свет. Каждое из них светит, сверкает, каждое лучезарно. Когда, извлеченные из глубин океана, они были брошены ночью на палубу корабля, стало светло, как днем. Движущиеся, мерцающие, разноцветные огни, вращающиеся маяки, сверкающие звезды, драгоценных камней, с великолепием которых ничто не может сравниться, — утверждают те, которые их наблюдали.

Винцент замолчал. Они долго сидели, не говоря ни слова.

— Поедем домой, мне холодно, — сказала вдруг Лилиан.

Леди Лилиан села рядом с шофером под защиту ветрового стекла. На задних сиденьях открытого автомобиля мужчины продолжали разговор. В течение почти всего ужина Робер хранил молчание, слушая речи Винцента; теперь наступила его очередь.

— Такие рыбы, как мы, дружище Винцент, гибнут в стоячей воде,— сказал он, хлопнув по плечу своего приятеля. Он позволял себе кое-какие вольности с Винцентом, но не потерпел бы, если бы тот ответил ему тем же; впрочем, у Винцента не было к этому склонности.— Знаете, вы просто ослепительны! Каким превосходным лектором вы могли бы быть! Право, вы должны бросить медицину. Решительно не могу представить себе вас прописывающим слабительное и навещающим больных. Кафедра сравнительной биологии или что-нибудь в этом роде — вот что вам нужно...

— Я уже думал об этом,— сказал Винцент.

— Лилиан, вероятно, сможет добиться ее для вас, возбуждив интерес к вашим изысканиям у своего друга князя Монако, который, мне кажется, отнесется сочувственно... Нужно будет поговорить с нею.

— Она уже говорила мне об этом.

— Так, значит, нет решительно никакого способа оказать вам услугу? — спросил он притворно огорченным тоном.— А между тем мне как раз нужно было обратиться к вам с просьбой.

— Теперь ваша очередь быть моим должником. Вы считаете, что у меня короткая память.

— Как! Вы все еще думаете о пяти тысячах франков? Но вы ведь возвратили их мне, дорогой! Вы мне больше ничего не должны... разве немного дружбы.— Он прибавил это тоном почти нежным, положив руку на плечо Винцента.— К ней я и собираюсь вззвать.

— Я слушаю вас,— сказал Винцент.

Но тут Пассаван вскричал, приписывая Винценту свое нетерпение:

— Куда вы торопитесь! Париж еще далеко, и время у нас есть, я полагаю.

Пассаван отличался особенной ловкостью по части взваливания на других ответственности за собственные выходы и за все, в чем он предпочитал не быть замешанным. Затем, притворившись, будто переходит к другой теме,— как те ловцы форели, которые из боязни вспугнуть свою добычу закидывают приманку подальше, а потом незаметно подтягивают ее,— он сказал:

— Кстати, благодарю вас за приглашение, которое вы передали вашему брату. Я боялся, что вы забудете.

Винцент махнул рукой. Робер продолжал:

— Видели вы его после?.. Не успели, да?.. В таком случае странно, что вы еще не спросили меня о нашем разговоре. В сущности, это для вас безразлично. Вы совершенно не интересуетесь вашим братом. Что думает Оливье, что он чувствует, кто он и кем хотел бы стать,— вам нет до этого никакого дела...

— Что это? Упреки?

— Увы, да. Я не понимаю, не признаю вашего равнодушия. Когда вы лежали больной в По — еще куда ни шло, вам приходилось думать только о себе самом. Эгоизм входил в ваше лечение. Но теперь... Как! Подле вас находится это юное, трепетное существо, этот пробуждающийся ум, столько обещающий, который лишь нуждается в совете, в опоре...

Он позабыл в этот момент, что у него тоже есть брат.

Винцент, однако, не попался на удочку: преувеличенное негодование Робера внушило ему подозрение, что оно не очень искренно и что Пассаван замышляет совсем другое. Он молчал, ожидая, что будет дальше. Но Робер внезапно замолчал; при свете огонька папиросы, которую курил Винцент, он подметил у того на губах странную улыбку, и она показалась ему иронической; между тем больше всего на свете Пассаван боялся насмешки. Не это ли обстоятельство заставило его переменить тон? Или, скорее, невольное предчувствие, что они с Винцентом в некотором сговоре... Потом он продолжал как нельзя более естественным тоном, в котором слышалось: «С вами не нужно притворяться!»

— Так вот! С юным Оливье я имел приятнейший разговор. Этот мальчик мне чрезвычайно нравится.

Пассаван старался поймать взгляд Винцента (ночь была не слишком темная), но последний пристально смотрел перед собой.

— Ну вот, мой дорогой Молинье, та маленькая услуга, о которой я хотел просить вас...

Но и тут он ощутил необходимость сделать паузу и, так сказать, перестать играть свою роль, наподобие актера, твердо уверенного, что он приковывает к себе внимание публики, и желающего доказать это и себе, и ей. Он наклонился к Лилиан и сказал очень громко, словно желая оттенить доверительный характер того, что было им сказано, и того, что он намеревался сказать:

— Вы уверены, дорогая, что не простудитесь? У нас здесь есть плед, который лежит без дела...

Потом, не дожидаясь ответа, откинулся назад, в глубину автомобиля, и заговорил, снова понизив голос:

— Так вот: я хотел бы увезти с собою на лето вашего брата. Да, говорю вам это без обвиняков: зачем лишние слова, когда мы говорим с глазу на глаз?.. Я не имею чести быть знакомым с вашими родителями, которые, разумеется, не позволят Оливье отправиться вместе со мной, если вы не похлопочете за меня. Вы, без сомнения, найдете средство расположить их в мою пользу. Я полагаю, что вы хорошо знаете их и сумеете, вероятно, к ним подойти. Не будете ли вы столь любезны сделать это для меня?

Он подождал минуту, затем — так как Винцент молчал — продолжал:

— Послушайте, Винцент... Я скоро покидаю Париж... уезжаю, пока не знаю куда. Мне совершенно необходимо взять с собою секретаря... Вы ведь знаете, я основываю журнал. Я говорил об этом Оливье. Мне кажется, у него есть все нужные качества... Но я не хочу становиться лишь на свою эгоистическую точку зрения: мне кажется, все его качества найдут применение в журнале. Я предложил ему место главного редактора... Быть главным редактором журнала в его возрасте!.. Согласитесь, что это не каждый день случается.

— Это до такой степени необычно, что боюсь, как бы ваше предложение не напугало моих родителей,— сказал Винцент, повернувшись наконец к нему и пристально на него глядя.

— Да, по-моему, вы правы. Может быть, лучше не говорить об этом. Просто вы могли бы разъяснить им интерес и пользу путешествия, которое я собираюсь устроить ему, как вы думаете? Ваши родители должны понимать, что в его возрасте необходимо свет поглядеть. Так вы уладите дело с ними, а?

Он перевел дыхание, закурил новую папиросу, затем продолжал, не меняя тона:

— Так как, я надеюсь, вы окажете мне эту любезность, то и я постараюсь отплатить вам тем же. Я думаю, что мне удастся сделать вас участником кое-каких барышей, которые можно будет получать в одном предлагаемом мне совершенно исключительном деле... один мой приятель, занимающий высокое положение в крупном банке, приобретает акции этого предприятия для своих близких друзей. Но

прошу вас, чтобы наш разговор остался между нами, ни слова Лилиан. Во всяком случае, я располагаю только весьма ограниченным числом акций; и не могу предложить участие в деле ей и вам одновременно... что выигранные вами вчера пятьдесят тысяч франков?..

— Я уже пристроил их,— отрезал Винцент довольно сухо, вспомнив о предупреждении Лилиан.

— Отлично, отлично...— поспешно заметил Робер несколько обиженным тоном.— Я не настаиваю.— Затем тоном, в котором звучало: «Я не способен сердиться на вас», сказал: — Если вы почему-либо передумаете, черкните мне словечко... ибо послезавтра, в пять часов вечера, будет уже поздно.

Винцент стал еще больше восхищаться графом де Пасаваном после того, как перестал принимать его всерьез.

ХVIII

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

2 часа

Потерять чемодан. Вот так история! Из всего его содержимого я дорожил только своим дневником. Но я слишком дорожил им. В сущности, меня сильно забавляет это приключение. Все же я желал бы снова стать обладателем моих бумаг. Кто их прочтет?.. Может быть, я преувеличиваю их важность после того, как их потерял. Этот дневник прерывается в момент моего отъезда в Англию... Там я вел записи в другой тетради; теперь, вернувшись во Францию, я оставляю ее. Новая, в которой я пишу это, еще не скоро покинет мой карман. Это — зеркало, которое я всегда ношу с собой. Все, что со мной происходит, приобретает для меня реальное существование лишь тогда, когда я увижу его отражение в этом зеркале. Но после возвращения я, похоже, нахожусь в каком-то сне. Как тягостен был этот разговор с Оливье! А я надеялся, что он принесет мне столько радости... О, если бы он остался так же мало удовлетворенным, как и я; так же мало удовлетворенным и собой, и мной. Я не сумел ни сам вести разговор, увы! ни заставить его говорить. Ах, как трудно произнести самое незначительное слово, когда

оно требует полного одобрения другого существа! Достаточно замешкаться сердцу, и оно отягчает и парализует мозг.

7 часов

Мой чемодан найден; или, по крайней мере, нашелся его похититель. Он является самым близким другом Оливье — вот что заплетает между нами своего рода сеть, и дело только — за мной затянуть потуже петли. Худо то, что всякое неожиданное событие до такой степени забавляет меня, что я теряю из виду цель, к которой стремлюсь.

Виделся с Лаурой. Мое желание оказать услугу обострится всякий раз, когда я встречаюсь с каким-нибудь затруднением, когда приходится бороться с приличиями, банальностью и привычками.

Визит к старику Лаперузу. Мне открыла госпожа Лаперуз. Я не видел ее уже больше двух лет, однако она меня сразу узнала. (Не думаю, чтобы к ним часто приходили гости.) Впрочем, она сама очень мало изменилась; может быть, оттого, что я питаю предубеждение к ней, черты ее лица показались мне более жесткими, взгляд фальшивей, чем когда-либо.

— Боюсь, что господин Лаперуз не в состоянии принять вас, — сказала она мне тотчас же, с явным намерением не допускать меня к старику; затем, пользуясь своей глухотой, стала отвечать на вопросы, которые я ей не задавал: — Да нет же, нет, вы мне нисколько не помешали. Входите, пожалуйста.

Она ввела меня в комнату с двумя окнами во двор, в которой Лаперуз обыкновенно давал свои уроки. Не успел я сесть, как она затараторила:

— Я страшно рада, что могу поговорить с вами несколько минут наедине. Состояние здоровья господина Лаперуза, ваша старинная и преданная дружба с которым мне известна, сильно меня тревожит. Он так слушается вас: не могли бы вы убедить его, чтобы он больше заботился о себе! Что до меня, то все, что я ему твержу, производит на него не больше впечатления, чем песенка о Мальбруке.

И она пустилась в бесконечные упреки: старик отказывается от всяких забот о своем здоровье лишь из потребности мучить ее. Он делает все, чего ему не следовало бы делать, и не делает ничего, что ему необходимо. Выходит в любую погоду и ни за что не соглашается повязать шею

платком. Ничего не ест за обедом и завтраком: «он, видите ли, не чувствует голода», и она не знает, что придумать, чтобы у него появился аппетит; но ночью встает с постели и наспех стряпает себе бог знает что.

Старуха, наверное, ничего не выдумывала; мне становилось понятно из ее рассказа, что лишь превратное толкование мелких безобидных поступков сообщало им в ее глазах оскорбительное значение, было понятно, какую чудовищную тень отбрасывала действительность в этом убогом умишке. Но не истолковывал ли превратно также и старик всей заботливости, всего внимания, которым окружала его старуха, считавшая себя жертвой? Не был ли он ее палачом? Я отказываюсь судить их, отказываюсь их понимать; или, вернее, как это всегда случается со мною, чем лучше я их понимаю, тем более терпимо я отношусь к ним. Остается факт, что два существа связаны друг с другом на всю жизнь и причиняют друг другу жесточайшие страдания. Я часто замечал, какое крайнее раздражение вызывает у одного из супругов малейшее проявление характера другого, ибо в «совместной жизни» это проявление характера всегда вызывает трение. И если трение обоюдное, то супружеская жизнь превращается в ад.

В своем парике с черными лентами, который придавал жесткость чертам ее бескровного лица, со своими длинными черными митенками, откуда, как когти, высовывались маленькие пальцы, госпожа Лаперуз имела вид гарпии.

— Он упрекает меня, что я слежу за ним,— продолжала она.— У него всегда была потребность долго спать, но ночью он притворяется спящим и, когда ему кажется, что я уснула, встает, роется в старых бумагах, иногда засиживается до утра, перечитывая со слезами на глазах старые письма своего покойного брата. Он хочет, чтобы я терпела все это не жалуясь!

Потом она стала жаловаться, что старик решил упрятать ее в богадельню; это было бы для нее тем более тяжело, прибавила она, что он совершенно не способен жить один и обходиться без ее забот. Все это было сказано слезливым тоном, который отдавал лицемерием.

В то время как она продолжала изливать свои сетования, дверь гостиной тихонько открылась за ее спиной и в комнату, неслышно для нее, вошел Лаперуз. При последних фразах супруги он посмотрел на меня с иронической улыбкой и поднес палец ко лбу, давая мне понять, что я имею дело с сумасшедшею. Затем с нетерпением и даже грубо-

стью, на которую я не считал его способным и которая, казалось, оправдывала обвинения старухи (но объяснялась также необходимостью говорить настолько громко, чтобы она могла услышать его):

— Хватит, сударыня! Вы должны бы понять, что утомляете гостя вашей болтовней. Не вас пришел навестить мой друг. Оставьте нас.

Тогда старуха запротестовала, утверждая, что кресло, в котором она сидела, принадлежит ей и она не покинет его.

— В таком случае,— саркастически продолжал Лаперуз,— если вы позволите, уйдем мы.— Затем, обращаясь ко мне, сказал совсем мягко: — Пойдемте! Оставим ее.

Я в смущении отвесил старухе поклон и последовал за ним в соседнюю комнату, ту самую, где он принимал меня последний раз.

— Я рад, что вы имели возможность выслушать ее,— сказал он.— Да! Вот так целыми днями.

Он закрыл окна.

— Из-за уличного шума ничего не слышно. Я только тем и занимаюсь, что закрываю эти окна, которые госпожа Лаперуз беспрестанно снова распахивает. Ей все кажется, что она задыхается. Вечно она преувеличивает. Она отказывается понимать, что на дворе жарче, чем в комнате. Я нарочно повесил там маленький термометр, но, когда я ей показываю его, она говорит, что цифры ничего не доказывают. Она хочет быть правой, даже когда знает, что не права. Главная цель ее жизни — возражать мне.

Во время его речи мне показалось, что у него тоже не все в порядке; он продолжал, все больше возбуждаясь:

— Все, что госпожа Лаперуз делает в жизни шиворот-навыворот, она приписывает мне. Все ее суждения превратны. Слушайте, я дам вам наглядное пояснение моей мысли; вы знаете, что изображения внешнего мира получают в нашем мозгу в опрокинутом виде и там уже нервный аппарат их выпрямляет. Так вот — у госпожи Лаперуз нет такого аппарата. У нее все остается вверх ногами. Можете себе представить, как это тяжело.

Он испытывал явное облегчение от этих объяснений, и я решил не прерывать его. Он продолжал:

— Госпожа Лаперуз всегда очень много ела. И вот представьте, она уверяет, будто это я много ем. Едва она увидит меня с куском шоколада (это моя главная пища), как сейчас же начинает ворчать: «Вечно он жрет!...» Она

подглядывает за мной. Она ставит мне в вину то, что я встаю ночью с постели, чтобы украдкой поест, она, видите ли, однажды поймала меня за приготовлением чашки шоколаду на кухне... Но что поделаешь? Видеть за столом, как она тут же, у вас под носом, набрасывается на еду,— воля ваша, это лишает меня всякого аппетита. Тогда она уверяет, словно я привередничаю из потребности ее мучить.

Он перевел дыхание и продолжал в каком-то лирическом порыве:

— Я в восторге от упреков, которые она мне делает!.. Так, когда она страдает от ломоты в пояснице, я жалею ее. Тогда она обрывает меня и, пожимая плечами, говорит: «Пожалуйста, не притворяйтесь, будто у вас есть сердце». Все мои поступки и слова объясняются желанием причинить ей страдание.

Мы сидели; но он то и дело вскакивал и тотчас же садился, охваченный каким-то болезненным возбуждением:

— Можете себе вообразить, что в каждой из этих комнат есть ее мебель и есть мебель моя! Вы только что слышали, как она говорила о своем кресле. Она обращается к проходящей горничной, когда та делает уборку: «Нет, это стул барина, не троньте его». И когда однажды я по рассеянности положил нотную тетрадь на ее столик, госпожа Лаперуз швырнула ее на пол. Уголки переплета сломались... О, долго так продолжаться не может... Но слушайте...

Он схватил меня под руку и понизил голос:

— Я принял меры. Она постоянно грозит мне, что, «если я буду продолжать», она найдет пристанище в богадельне. Я прикопил некоторую сумму, которой должно хватить на ее содержание в Сент-Перин; говорят, это одно из лучших заведений. Те несколько уроков, что я еще даю, почти не приносят мне дохода. Скоро мои ресурсы иссякнут; мне пришлось бы тогда прикоснуться к этой сумме, а я не хочу. Тогда я принял решение... Это произойдет через каких-нибудь три месяца. Да, я наметил дату. Если бы вы знали, какое облегчение я испытываю при мысли, что каждый час отныне приближает меня к ней.

Он сидел, наклонившись ко мне; теперь склонился еще ближе:

— Я отложил также несколько ценных бумаг. О, не бог весть что, но большего сделать не мог. Госпожа Лаперуз не знает об этом. Они в моем письменном столе, в конверте

на ваше имя, с соответствующими распоряжениями. Могу я рассчитывать на вашу помощь? Я ничего не смыслю в делах, но один нотариус, с которым я говорил, сказал, что ренту можно будет выплачивать непосредственно моему внуку, вплоть до его совершеннолетия, и что тогда он вступит во владение ценными бумагами. Я подумал, вас не очень затруднит, если я попрошу вас, в качестве старого друга, понаблюдать, чтобы все это было исполнено? Я так мало доверяю нотариусам! Может быть, даже, для моего спокойствия, вы согласитесь взять с собой этот конверт сегодня?.. Да, не правда ли?.. Сию минуту я принесу его вам.

Он вышел, по обыкновению семеня, и вскоре снова появился с большим конвертом в руках.

— Извините, что я запечатал его, это для формы. Возьмите.

Я взглянул на него и прочел под моей фамилией каллиграфически выведенную надпись: *«Вскрыть после моей смерти»*.

— Скорее спрячьте его в карман, чтобы я знал, что он в безопасности. Спасибо... Ах, я так ждал вас!..

Я часто испытывал такие торжественные минуты, когда всякое человеческое чувство может уступить у меня место какому-то почти мистическому трансу, своего рода восторгу, под действием которого мое существо превосходит себя или, точнее, освобождается от эгоистических привязанностей, как бы отрывается от самого себя и обезличивается. Тот, кто не испытал этого, не может, разумеется, понять меня. Но я чувствовал, что Лаперуз понимает это. Всякий протест с моей стороны был бы бесполезен, показался бы мне неприличным, и я ограничился крепким пожатием руки, которая была в моей. Глаза его странно блеснули. В другой руке, в которой только что был конверт, он держал другую бумагу.

— Я написал здесь его адрес. Потому что теперь я знаю, где он. Саас-Фе. Знаете такое место? Это в Швейцарии. Я искал на карте, но не мог найти.

— Да,— отвечал я.— Это маленькая деревушка подле Сервена.

— Очень далеко отсюда?

— Не настолько, чтобы я не мог добраться туда в случае надобности.

— Как! Вы бы сделали это?.. Ах как вы добры,— пробормотал он.— Ну а я слишком стар. Кроме того, я не могу из-за матери... Все же мне кажется, я...— Он замаялся,

подыскивая слово, затем закончил: — Я охотно отправился бы туда, если бы мог его повидать.

— Мой бедный друг... Я сделаю все, что в человеческих силах, чтобы привезти его сюда. Вы увидите маленького Бориса, обещаю вам.

— Спасибо... спасибо...— Он порывисто сжал меня в объятиях.

— Но обещайте мне не думать больше о...

— Ах, это другое дело,— сказал он, резко прерывая меня. И, словно желая помешать моим возражениям, отвлекая мое внимание, поспешно перевел разговор на другую тему: — Представьте себе, что недавно мать одной из моих прежних учениц вздумала сводить меня в театр! Это было около месяца тому назад. Шел утренний спектакль в «Комеди Франсез». Уже более двадцати лет, как я не переступал порога театрального зала. Давали «Эрнани» Виктора Гюго. Вы знаете эту вещь? По-видимому, спектакль был сыгран очень хорошо. Публика была в восторге. Я же невыразимо страдал. Если бы меня не удержали приличия, никогда бы я не высидел до конца... Мы сидели в ложе. Друзья мои старались успокоить меня. Я готов был обратиться к публике. Ах как они могут? Как они могут?..

Не поняв сначала, на что он, собственно, негодовал, я спросил:

— Вы сочли, что актеры плохи?

— Разумеется. Но как решаются ставить подобные мерзости на сцене?.. А публика аплодировала! И в театре были дети, дети, которых привели с собой родители, зная содержание пьесы... Это чудовищно. И это в театре, который субсидирует государство!

Негодование этого превосходного человека развеселило меня. Я чуть было не расхохотался и возразил, что не может быть драматического искусства без изображения страстей. В свою очередь он возразил мне, что изображение страстей фатально подает дурной пример. Так мы спорили какое-то время; я сравнил тогда патетический элемент драмы со вступлением духовых в оркестре:

— Например, это вступление тромбонов, которым вы так восхищаетесь в симфониях Бетховена...

— Но я вовсе не восхищаюсь этим вступлением тромбонов! — вскричал он с необыкновенной горячностью.— Почему вы хотите заставить меня восхищаться тем, что меня волнует?

Он дрожал всем телом. Нота негодования, почти враж-

дебности в его голосе была для меня неожиданностью и, казалось, удивила его самого, потому что он продолжал более спокойно:

— Заметили ли вы, что современная музыка стремится главным образом к тому, чтобы сделать сносными и даже приятными известные аккорды, которые мы изначально считали диссонансами?

— Разумеется,— отпарировал я,— все должно в заключение свестись к гармонии, слиться в гармонию.

— В гармонию! — повторил он, пожав плечами.— Я не вижу в этом ничего, кроме желания приучить ко злу, к греху. Чувствительность притупляется; чистота тускнеет; реакции становятся менее живыми; все терпят, все принимают...

— Послушать вас, так не решишься даже отнимать детей от груди.

Но он продолжал, не слушая меня:

— Если бы люди были способны снова исполниться нетерпимостью юности, то пришли бы в ярость, увидев, во что они превратились.

Было уже слишком поздно, чтобы пускаться в метафизический спор; я сделал попытку снова перевести разговор на более близкую для него тему:

— Не стремитесь же вы ограничить музыку выражением только светлой радости? В этом случае было бы достаточно единственного аккорда — непрерывного совершенного аккорда.

Он сжал обе мои руки, в его взгляде светилось безграничное благоговение, и словно в экстазе он повторил несколько раз:

— Непрерывный совершенный аккорд, да, именно совершенный, непрерывный, гармонический аккорд... Но вся наша вселенная во власти диссонансов,— прибавил он печально.

Я попрощался с ним. Он проводил меня до двери и, поцеловав, пробормотал:

— Ах как долго еще нужно ждать разрешения аккорда.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СААС-ФЕ

I

ПИСЬМО БЕРНАРА К ОЛИВЬЕ

Понедельник

«Дружище!

Позволь прежде всего сообщить тебе, что я провалил выпускные экзамены. Ты, конечно, и сам поймешь это, когда не увидишь меня на них. Я буду держать их в октябре. Мне представился исключительный случай отправиться в путешествие. Я ухватился за него и не раскаиваюсь. Нужно было принять решение мгновенно. У меня не было времени подумать и даже попрощаться с тобой. По этому поводу мне поручено моим спутником по путешествию выразить тебе всяческие сожаления, что и он уехал, не повидавшись с тобою. Ведь ты знаешь, кто меня увез? Или догадываешься... Эдуард, твой знаменитый дядя, которого я встретил в день его приезда в Париж, при обстоятельствах весьма необычных и пикантных, о которых расскажу тебе потом. Но все необыкновенно в этом приключении, и, когда я мысленно возвращаюсь к нему, голова у меня идет кругом. Еще сегодня я не смею верить, что это правда, что я пишу тебе эти строки, находясь в Швейцарии с Эдуардом и...

Но непременно нужно рассказать тебе все; только ты, пожалуйста, разорви мое письмо и никому ничего не рассказывай.

Представь себе, что несчастная женщина, покинутая

твоим братом Винцентом, та самая, чьи рыдания ты слышал однажды ночью под дверью твоей комнаты (ты был идиотом, что не открыл ей тогда, позволь заметить), оказывается большим другом Эдуарда, родной дочерью Веделя, сестрой твоего приятеля Армана. Мне не следовало бы рассказывать тебе это, потому что тут речь идет о чести женщины, но я сдохну, если ни с кем не поделюсь своим открытием... Еще раз прошу: никому об этом ни слова. Тебе уже известно, что она недавно вышла замуж; может быть, известно также, что вскоре после свадьбы она заболела и отправилась лечиться на юг. Там она познакомилась с Винцентом, в По, где он тоже лечился. Это, может быть, известно тебе. Но тебе неизвестно, что эта встреча имела последствия. Да, дружище! Твой чертовски неуклюжий братец сделал ей ребенка. Она возвратилась беременной в Париж, где не посмела показаться родителям; у нее совсем не было смелости возвратиться под супружеский кров. Между тем твой брат бросил ее при обстоятельствах, которые тебе известны. Я избавляю тебя от комментариев, но могу сказать, что Лаура Дувье не произнесла ни слова упрека и не затаила никакой неприязни против него. Напротив, она старается всячески оправдать его поведение. Словом, это достойная женщина, добрейшая душа. Положительно превосходным человеком является и Эдуард. Так как она не знала, что делать и куда направиться, то он предложил взять ее с собой в Швейцарию; одновременно он предложил мне сопровождать их, потому что для него было стеснительно путешествие наедине с ней, поскольку он питает к ней лишь братские чувства. Итак, мы отправились втроем. Все это было решено в каких-нибудь пять минут; времени хватило только на то, чтобы уложить чемоданы и снабдить меня самым необходимым (ты ведь знаешь, я покинул дом, не взяв с собой ничего). Ты не можешь себе представить, как был мил Эдуард при этом; больше того, он беспрестанно повторял, что это я оказываю ему услугу. Да, старина, ты не солгал мне: твой дядя восхитительный тип.

Путешествие было довольно тяжелое, потому что оно очень утомило Лауру, и ее состояние (она на третьем месяце беременности) требовало весьма бережного отношения к ней: кроме того, доступ к месту, куда мы решили отправиться (по причинам, которые было бы слишком долго излагать тебе), довольно затруднен. Вдобавок Лаура часто усложняла положение, отказываясь быть осторожной, приходилось ее оберегать; она все время повторяла, что больше

всего была бы рада несчастной случайности. Можешь себе представить, как мы заботились о ней! Ах, друг мой, какая удивительная женщина! Я чувствую, что я уже не тот, каким был до знакомства с ней, и есть мысли, которые я не решаюсь больше высказывать, есть движения сердца, которые я обуздываю, ибо мне было бы стыдно не быть достойным ее. Да, уверяю тебя, возле нее чувствуешь, что обязан мыслить возвышенно. Это не мешает большой непринужденности наших совместных разговоров, потому что Лаура совсем не жеманница, и мы говорим о всякой всячине; но уверяю тебя, что в ее присутствии у меня пропадает всякая охота легкомысленно болтать о множестве вещей, которые кажутся мне сейчас очень серьезными.

Ты подумаешь, пожалуй, что я влюблен в нее. Представь себе, дружище, ты не ошибешься. Это сумасшествие, не правда ли? Я влюблен в беременную женщину, к которой, понятно, отношусь с почтением и которой не осмелился бы коснуться кончиком пальца! Ты видишь, у меня нет склонности быть ловеласом...

Когда после бесчисленных затруднений мы прибыли наконец в Саас-Фе (мы наняли для Лауры портшез, потому что экипажи не могут сюда добираться), то оказалось, что в гостинице нам могут быть предоставлены всего две комнаты — большая, с двумя кроватями, и маленькая, которую, по мнению хозяина гостиницы, удобно было бы взять мне, — потому что для сокрытия своей фамилии Лаура выдает себя за жену Эдуарда; но каждую ночь она отправляется в маленькую комнату, а я иду к Эдуарду. Каждое утро все перетаскивается, чтобы запутать прислугу. К счастью, комнаты смежные, что упрощает дело.

Вот уже шесть дней, как мы здесь; я не написал тебе раньше, потому что первое время был совсем выбит из колеи и мне понадобилось несколько дней на приведение в порядок моих мыслей и чувств. Только сейчас я начинаю приходить в себя.

Я уже совершил с Эдуардом несколько маленьких экскурсий в горы; весьма занятно; но, по правде говоря, окружающая местность мне не особенно нравится; Эдуарду тоже. Он находит, что пейзаж «выспренный». Сказано верно.

Самое лучшее здесь воздух, которым дышишь; воздух девственный и очищающий легкие. Притом же мы не хотим слишком надолго оставлять Лауру одну, так как, само собой разумеется, она не может нас сопровождать. Обще-

ство в гостинице довольно занятное. Есть представители всех национальностей. Особенно часто мы бываем у одной польки, женщины-врача, которая проводит здесь каникулы с дочерью и мальчиком, вверенным ее попечению. Собственно, ради этого ребенка мы и забрались сюда. Он страдает какой-то нервной болезнью, которую докторша лечит по совсем новому методу. Но больше всего пользы приносит малышу — честное слово, очень симпатичному — его безумная влюбленность в дочку докторши, которая на несколько лет старше его и, несомненно, является самым красивым созданием, какое только я видел когда-нибудь в своей жизни. С утра до вечера они неразлучны. Они так милы, что ни у кого не возникает желания зубоскалить по поводу их отношений.

Занимался я мало и не раскрыл ни одной книги со времени отъезда; но я много размышлял. Разговоры с Эдуардом ужасно интересны. Он редко беседует непосредственно со мной, хотя делает вид, будто считает меня своим секретарем; но я слушаю, как он говорит с другими, в особенности с Лаурой, которой он любит рассказывать о своих замыслах. Ты не можешь себе представить, какую пользу мне это приносит. В иные дни я говорю себе, что мне следовало бы делать записи; но я уверен, что все запоминаю. В иные дни я страстно желаю видеть тебя; я говорю себе, что именно тебе следовало бы находиться здесь; но я не в силах ни сожалеть о том, что приключилось со мною, ни желать какого-либо изменения в моем положении. Будь уверен, я не забываю, что лишь благодаря тебе познакомился с Эдуардом и обязан моим счастьем. Когда ты снова увидишь меня, то, я убежден, найдешь меня изменившимся; но больше, чем когда-либо, я остаюсь твоим преданным другом.

Среда

P. S. Только что мы возвратились из одной дальней экскурсии. Восхождение на Аален — проводники в одной связке с нами, ледники, пропасти, снежные лавины и т. д. Ночевали в палатке среди снегов, сбившись в кучу с другими туристами; нечего и говорить, что всю ночь мы не сомкнули глаз. На другой день отправились в путь до рассвета... Знаешь, старина, не стану больше пренебрежительно отзываться о Швейцарии: когда побываешь на вершинах гор, оставив внизу всякую культуру, растительность, все, что напоминает о людской жадности и глупости, то

появляется желание петь, смеяться, плакать, летать, смотреть только в небо или упасть на колени. Целую тебя.

Бернар».

Бернар был слишком непосредствен, слишком естествен, слишком чист, он очень плохо знал Оливье, чтобы предвидеть бурю низких чувств, которую это письмо должно было поднять в груди последнего, душевное смятение, в котором перемешивались досада, отчаяние и бешенство. Оливье почувствовал себя вытесненным и из сердца Бернара, и из сердца Эдуарда. Дружба двух его друзей вытеснила его дружбу. Одна фраза из письма Бернара причиняла ему особенные страдания — фраза, которую Бернар никогда бы не написал, если бы предчувствовал все, что Оливье может в ней усмотреть. «В одной комнате», — повторял он, и отвратительная змея ревности зашевелилась в его душе. «Они спят в одной комнате!..» Каких только картин не способно нарисовать воображение! Мозг его наполнился нечистыми видениями, которые он даже не пытался прогнать. Он не ревновал ни Эдуарда, ни Бернара, взятых порознь, — он ревновал их обоих. Он представлял их себе поочередно или одновременно и завидовал им обоим. Письмо было получено им в полдень. «Ах, вот как...» — повторял он себе весь остаток дня. Ночью демоны посетили его. Наутро он поспешил к Роберу. Граф де Пассаван ждал его.

II

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

Я без труда разыскал маленького Бориса. На другой день после нашего приезда он вышел на террасу отеля и стал смотреть на горы через укрепленную на штативе подзорную трубу, предоставленную в распоряжение путешественников. Я сразу его узнал. Вскоре к нему подошла девочка, ростом чуть повыше. Я расположился в смежной комнате, стеклянная дверь которой была открыта, и слышал каждое их слово. У меня было сильное желание заговорить с ним, но я счел более благоразумным завязать сначала знакомство с матерью девочки, врачом-полькой, попечению которой вверен Борис и которая очень бдительно за ним наблюдает. У маленькой Брони вид изысканный; ей, должно быть, лет пятнадцать. Ее густые светлые волосы заплете-

ны в две косы, спадающие до пояса; ее взгляд и звук ее голоса кажутся, скорее, ангельскими, чем человеческими. Я записал разговор, который вели дети.

— Борис, мама не разрешает нам трогать трубу. Хочешь, пойдем погулять?

— Да, очень хочу. Нет, не хочу.

Две эти фразы он выпалил одним духом. Броня приняла во внимание только вторую и спросила:

— Почему?

— Очень жарко и холодно.— Он оставил трубу.

— Послушай, Борис, будь милым. Ты знаешь, что маме будет приятно, если мы пойдем вместе. Куда ты дел шляпу?

— Выброскоменопагов. Блаф блаф.

— Что это значит?

— Ничего.

— Так зачем ты так говоришь?

— Чтобы ты не поняла.

— Если это ничего не означает, мне все равно, пойму я или нет.

— Но если бы это что-нибудь значило, ты бы все равно не поняла.

— Разговаривают для того, чтобы понять друг друга.

— Хочешь, будем придумывать слова, которые понятны только нам двоим?

— Научись сначала правильно говорить по-французски.

— Моя мама говорит по-французски, по-английски, по-романски, по-русски, по-турецки, по-польски, по-итало-сконски, по-испански, по-попугайски и по-скиситуски.

Все это было сказано скороговоркой в лирическом порыве.

Броня рассмеялась:

— Борис, почему ты все время говоришь неправду?

— Почему ты никогда не веришь тому, что я говорю?

— Я верю тому, что ты говоришь, когда это правда.

— Почему ты знаешь, что это правда? Ведь я же поверил тебе позавчера, когда ты мне рассказала об ангелах. Скажи, Броня, как ты думаешь: если я горячо помолюсь, то увижу их?

— Ты, может быть, увидишь их, если отучишься от привычки лгать и если Бог захочет их тебе показать; но Бог их тебе не покажет, если ты ограничишься одной молитвой. Есть много прекрасных вещей, которые мы видели бы, если бы не были так злы.

— Броня, ты не злая, поэтому ты можешь видеть ангелов. А я всегда буду злым.

— Почему же ты не стараешься не быть злым? Хочешь, мы пойдем вместе до...— (здесь следовало название места, которого я не знал) — и там помолимся Богу и Пресвятой Деве, чтобы они помогли тебе перестать быть злым?

— Да. Нет, послушай: мы возьмем палку, ты будешь держать ее за один конец, а я за другой. Я закрою глаза и обещаю тебе не открывать их, пока мы не придем туда.

Они немного удалились от меня; когда они спускались по ступенькам террасы, до меня донеслись слова Бориса:

— Да, нет, не за этот конец. Подожди, я его вытру.

— Зачем?

— Я дотронулся до него.

Госпожа Софроницкая подошла ко мне, когда я оканчивал в одиночестве свой завтрак и обдумывал способ завязать с ней разговор. Я с удивлением увидел, что она держала мою последнюю книгу; она спросила меня, улыбаясь самым приветливым образом, действительно ли она имеет удовольствие говорить с ее автором. Затем сейчас же пустилась в долгое рассуждение о моей книге; ее оценка, похвалы и критические замечания показались мне более тонкими, чем те, что мне обыкновенно доводится слышать, хотя ее точка зрения была менее всего литературною. Она сказала, что интересуется почти исключительно психологическими вопросами и тем, что может пролить новый свет на человеческую душу. Но как редко встречаются, прибавила она, поэты, драматурги или романисты, умеющие не довольствоваться готовой психологией (единственной, заметил я ей, которая может удовлетворить читателя).

Маленький Борис был поручен ей на каникулы матери. Я воздержался от сообщения ей причин, которые заставляли меня интересоваться им.

— Он очень трудный ребенок,— сказала госпожа Софроницкая.— Общество матери оказывает на него дурное влияние. Она выражала желание ехать в Саас-Фе вместе с нами, но я согласилась заняться мальчиком только при условии, если она оставит его всецело на моем попечении; в противном случае, я отказывалась брать ответственность за успех моего лечения. Представьте себе, сударь,— продолжала госпожа Софроницкая,— она держит мальчика в состоянии непрерывной экзальтации, что способствует проявлению у него крайне опасных нервных расстройств. После

смерти отца ребенка этой женщине приходится зарабатывать себе на кусок хлеба. Она была пианисткой, и, должна сказать, отличной исполнительницей, но ее слишком изысканная игра не могла нравиться широкой публике. Тогда она решила петь в концертах, в казино, пойти на подмости. Она водила с собой Бориса в артистические уборные; мне кажется, что искусственная атмосфера театра сильно содействовала нарушению душевного равновесия ребенка. Мать очень его любит, но, по правде говоря, было бы желательно, чтобы он не жил вместе с ней.

— Что же, собственно, у него за болезнь? — спросил я.

Она рассмеялась:

— Вы хотите знать название болезни? Много ли для вас прояснится, если я скажу ее красивое ученое название!

— Расскажите мне просто, чем он страдает.

— Он страдает множеством неврозов, тиков, маний, которые заставляют говорить о нем: нервный ребенок, и некоторые обыкновенно лечат покоем на свежем воздухе и гигиеной. Крепкий организм, конечно, не дал бы проявиться этим расстройствам. Хилость благоприятствует им, но не является их непосредственной причиной. Мне кажется, что всегда можно найти их источник в первоначальном нервном потрясении существа, обусловленном каким-нибудь событием, которое важно обнаружить. Как только больной осознал эту причину, он наполовину вылечен. Но эта причина чаще всего ускользает из его памяти; можно сказать, что она прячется в тени болезни; в этом-то убежище я и ищу ее, чтобы вывести на свет, я хочу сказать — в поле зрения. Мне кажется, что ясный взгляд очищает сознание, как луч света оздоравливает зараженную воду.

Я рассказал Софроницкой подслушанный мной накануне разговор, который заставляет меня предположить, что Борис еще далек от выздоровления.

— Я тоже еще далека от знания всех фактов из прошлого Бориса, которые мне следовало бы знать. Слишком недавно я начала лечение.

— В чем оно заключается?

— О, просто в том, чтобы давать ему выговориться. Каждый день я провожу подле него час или два. Я задаю ему несколько вопросов. Самое важное — завоевать его доверие. Мне уже известно многое. Много я предугадываю. Но мальчик еще упирается, стыдится; если я стану торопить его и слишком сильно настаивать, если захочу грубо добиваться его признания, то сама

создам препятствия для получения того, чего я желаю, то есть полной непринужденности. Он заупрямится. Поскольку мне не удастся восторжествовать над его скрытностью, стыдливостью...

Расследование, предпринятое ею, показалось мне до такой степени непозволительным, что я едва сдержал в себе протест, но любопытство превозмогло:

— Не значит ли это, что вы ожидаете от малыша каких-то непристойных признаний?

Теперь пришел ее черед протестовать:

— Непристойных? Здесь не больше непристойности, чем в согласии подвергнуться медицинскому осмотру. Мне нужно знать все, и в частности то, что наиболее тщательно скрывается. Мне нужно довести Бориса до полного признания; не сделав этого, я не в состоянии буду его вылечить.

— Вы подозреваете, следовательно, что у него есть в чем признаться? Вполне ли вы уверены в том, что — извините меня — не внушаете ему этих желательных для вас признаний?

— Мне не следует ни на минуту упускать это из виду; как раз это обстоятельство и заставляет меня действовать так медленно. Мне приходилось наблюдать неискusstных судебных следователей, которые, не желая этого, подсказывали ребенку показание, выдуманное от начала до конца, и ребенок под давлением допрашивающих лжет с полным чистосердечием, проникается верой в воображаемые преступления. Моя роль заключается в том, чтобы дожидаться его признаний и решительно ничего не внушать. Для этого нужно обладать необыкновенной выдержкой.

— Я полагаю, что здесь важен не столько метод, сколько талант применяющего метод врача.

— Я не решилась бы утверждать это. Уверяю вас, что после некоторой практики приобретаешь необыкновенную искусность, своего рода прозорливость, интуицию, если угодно. Впрочем, случается иногда идти по ложному следу, в таких случаях важно не упорствовать. Хотите знать, с чего начинаются все наши разговоры? Борис рассказывает, что ему снилось ночью.

— Что же является ручательством, что он не выдумывает?

— А хотя бы даже выдумывал!.. Всякая выдумка болезненного воображения проливает свет.

Она помолчала некоторое время, затем сказала:

— «Выдумка», «болезненное воображение»... Нет, не

то. Слова вводят нас в заблуждение. Борис в моем присутствии грезит вслух. Каждое утро он остается в течение часа в состоянии полусна, когда образы, возникающие в нашем сознании, ускользают от контроля рассудка. Они группируются и ассоциируются не по законам обыкновенной логики, но согласно некоему неожиданному родству; они подчиняются главным образом некоторой таинственной внутренней потребности, той самой, что я стремлюсь открыть; и эта беспорядочная болтовня мальчика дает мне гораздо больше, чем мог бы дать самый искусный анализ самого сознательного человека. Множество вещей ускользает от рассудка, и тот, кто, желая понять жизнь, пользуется только рассудком, похож на человека, полагающего, будто он может схватить пламя каминными щипцами. Он схватывает только головешку, которая вскоре гаснет.

Она снова замолчала и начала перелистывать мою книгу.

— Как неглубоко вы проникаете в человеческую душу! — воскликнула она; затем вдруг продолжала, засмеявшись: — О, я не имею в виду именно вас; когда я говорю «вы», то подразумеваю «романисты». Почти все ваши персонажи кажутся построенными на сваях: у них нет ни фундамента, ни подпочвы. Я положительно убеждена, что больше правды можно найти у поэтов; все, созданное только рассудком, лживо. Но я высказываю суждение о вещах, в которых не сведуща... Знаете, что сбивает меня с толку в Борисе? То, что я считаю его существом необыкновенно чистым.

— Почему же это смущает вас?

— Потому что при таких условиях я не знаю, где же искать источник болезни. В девяти случаях из десяти в основе подобного расстройств можно обнаружить большую постыдную тайну.

— Ее, пожалуй, можно обнаружить в каждом из нас, — сказал я, — но, благодарение Богу, она не делает всех нас больными.

В этот момент госпожа Софроницкая встала, увидев в окно проходившую мимо Броню.

— Смотрите, — сказала она, указывая на нее, — вот истинный доктор Бориса. Она ищет меня; я вынуждена оставить вас. Но я еще увижусь с вами, не правда ли?

Я отлично понимаю, какого рода недостатки Софроницкая ставит в упрек роману; но тут от нее ускользают некоторые высшие художественные соображения, вследствие

чего я прихожу к мысли, что хороший натуралист не способен сделаться хорошим романистом.

Я познакомил госпожу Софроницкую с Лаурой. По-видимому, они сойдутся друг с другом, и я рад этому. Я с более легким сердцем удаляюсь от их общества, зная, что они болтают друг с другом. Жаль, у Бернара нет здесь сверстников, с кем он мог бы сблизиться; впрочем, подготовка к экзамену должна отнимать у него несколько часов в день. Я получил, таким образом, возможность снова засесть за мой роман.

III

Вопреки первоначальному впечатлению и несмотря на то что каждый, как говорится, шел на уступки, отношения между Эдуардом и Бернаром ладилась лишь наполовину. Лаура тоже не чувствовала себя удовлетворенной. Да и как могла бы она почувствовать удовлетворение? Обстоятельства принудили ее взять на себя роль, для которой она не была создана; порядочность Лауры стесняла ее. Подобно всем любящим и покорным созданиям, которые обращаются в преданнейших супруг, она вернее испытывала потребность в соблюдении приличий и чувствовала себя обессиленной, как только была выбита из колеи. Ее положение по отношению к Эдуарду с каждым днем казалось ей все более ложным. Обстоятельством, от которого она особенно страдала и которое становилось для нее положительно невыносимым, едва она задерживала на нем немного свое внимание, было то, что ей приходилось жить на счет своего покровителя, то есть не давая ему ничего взамен; или еще точнее: то, что Эдуард не спрашивал у нее ничего взамен, между тем как она чувствовала себя готовой ради него на все. «Благодеяния, — говорит Тацит в перефразировке Монтеня, — бывают приятны только в тех случаях, когда мы имеем возможность платить тем же»; конечно, это верно лишь по отношению к душам благородным, но Лаура, несомненно, принадлежала к их числу. В то время как она хотела бы отдавать, ей приходилось беспрестанно получать, и это раздражало ее против Эдуарда. Больше того: когда она припоминала прошлое, ей казалось, что Эдуард обманул ее; что он пробудил в ней любовь, которую она до сих пор еще ощущала в себе, а потом увильнул от этой любви и оставил неутоленными чувства Лауры. Не было ли это

тайной причиной ее ошибок, брака с Дувье, чему она покорилась и до которого ее довел Эдуард? Причиной того, что она так легко поддалась вскоре после этого зовам весны? Ибо она вынуждена была признаться себе, что в объятиях Винцента искала Эдуарда. И, не будучи в состоянии объяснить себе холодность своего возлюбленного, она возлагала ответственность за это на себя, говорила себе, что могла бы покорить его, если бы была покрасивее и посмелее; не будучи в силах его ненавидеть, она обвиняла себя, унижалась, считала себя никчемной, не видела смысла в своем существовании и не признавала больше за собой никаких достоинств.

Прибавим еще, что эта бивуачная жизнь, обусловленная расположением комнат, которая могла показаться такой занятой спутникам Лауры, сильно оскорбляла ее стыдливость. И она не видела никакого выхода из своего положения, которое ей было бы очень трудно сносить продолжительное время.

Лишь придумывая по отношению к Бернару все новые обязанности крестной матери и старшей сестры, Лаура получала немного утешения и радости. Она была чувствительна к поклонению, которым окружил ее этот исполненный грации юноша; обожание, предметом которого она была, удерживало ее от презрения и отвращения к себе, что может привести к крайностям самые нерешительные существа. Каждое утро, когда экскурсия в горы не поднимала его до зари (он любил вставать рано), Бернар проводил возле нее целых два часа за чтением по-английски. Экзамен, на который он должен был явиться в октябре, был удобным предлогом.

По правде говоря, его обязанности секретаря не отнимали у него много времени. Они были довольно неопределенными. Бернар, соглашаясь исполнять их, уже воображал себя сидящим за рабочим столом, пишущим под диктовку Эдуарда, переписывающим на бело его рукописи. Эдуард ничего не диктовал; рукописи, если только они у него были, оставались запертыми в чемодане; в любой час дня Бернар был свободен; но так как лишь от Эдуарда зависело, использовать ли то рвение, каковое всячески стремилось найти себе применение, то Бернар не слишком был озабочен своей праздностью и тем, что его служебные обязанности не стоят в соответствии с широким образом жизни, который он вел благодаря щедрости Эдуарда. Он твердо решил отбросить всякую щепетильность. Он верил,

не решусь сказать, в провидение, но, во всяком случае, в свою звезду и в то, что ему причитается его доля счастья так же, как легким полагается то количество воздуха; которым они дышат; Эдуард одарил его этим счастьем по тому же праву, по какому церковный проповедник, согласно Боссюэ, одаряет своих слушателей божественной мудростью. Впрочем, теперешний образ жизни Бернар рассматривал как временный, будучи твердо уверен, что настанет день, когда ему представится возможность расквитаться, когда он реализует те богатства, изобилие которых он чувствовал в своем сердце. У него вызывало досаду лишь то обстоятельство, что Эдуард ни разу не пожелал обратиться к дарованиям, которые Бернар ощущал в себе и не обнаруживал у Эдуарда. «Он не умеет использовать меня,— думал Бернар, подавляя самолюбие и благоразумно себя успокаивая: — Тем хуже для него».

Но, в таком случае, откуда могла появиться принужденность в отношениях Эдуарда и Бернара? Бернар, кажется мне, принадлежит к той категории умов, которые приобретают уверенность, противореча чему-нибудь. Для него было невыносимо, чтобы Эдуард приобрел власть над ним, и, не желая подчиниться его влиянию, он брыкался. Эдуард, который вовсе не помышлял сломить его, то раздражался, то приходил в отчаяние, находя в Бернаре столько упорства, столько готовности постоянно оказывать противодействие или, по крайней мере, защищать себя. Его начинало поэтому брать сомнение, не совершил ли он промаха, взяв с собою два этих существа, которых он соединил, казалось, лишь для того, чтобы настроить против себя. Не способный проникнуть в затаенные чувства Лауры, он принимал за холодность ее отчуждение и сдержанность. Он испытал бы большое замешательство, если бы ему открылась истина, и Лаура это понимала; в результате все силы ее отвергнутой любви уходили на то, чтобы скрытничать и молчать.

За чаем они обыкновенно собирались все трое в большой комнате; часто случалось, что, по их приглашению, к ним присоединялась госпожа Софроницкая, особенно в те дни, когда Борис и Броня отправлялись на прогулку. Она предоставляла им полную свободу, несмотря на их юный возраст; она вполне полагалась на Броню, зная ее благоразумие, в особенности в отношении Бориса, который удивительно ее слушался. Места кругом были безопасные; и можно было быть совершенно спокойным, что они не отправятся в горы

и не станут даже взбираться на скалы, расположенные недалеко от отеля. Однажды, когда дети получили разрешение дойти до самого ледника при условии не уклоняться в сторону от дороги, госпожа Софроницкая, приглашенная к чаю и подстрекаемая Бернаром и Лаурой, набралась храбрости и стала просить Эдуарда рассказать о его будущем романе, если, конечно, это не будет ему неприятно.

— Нисколько, но я не могу изложить вам его содержание.

Однако он, по-видимому, готов был рассердиться, когда Лаура спросила его (вопрос явно неловкий):

— На что эта книга будет похожа?

— Ни на что! — воскликнул он и продолжал, словно только и ожидал этого вызова: — Зачем пережевывать то, что было уже сделано другими или мной самим, или то, что могло бы быть сделано другими?

Едва Эдуард произнес эти слова, как почувствовал их неуместность, утрированность и нелепость; ему показалось, во всяком случае, что слова эти неуместны и нелепы; или, по крайней мере, он опасался, что они покажутся таковыми Бернару.

Эдуард был болезненно чувствителен. Как только с ним заговаривали о его работе и особенно как только его самого просили рассказать о ней, он терял самообладание.

С полным презрением он относился к обычному чванству литераторов и изо всех сил старался ему не поддаваться; по своей скромности он неизменно искал поддержку в уважении других людей; не встречая его, скромность Эдуарда мгновенно улетучивалась. Ему очень хотелось добиться расположения Бернара. Не ради ли этого он, находясь в его обществе, прищипоривал своего Пегаса? Эдуард прекрасно чувствовал, что такое поведение — верное средство потерять уважение Бернара; он без конца зарекался этого не делать; однако вопреки принятому решению, едва оказавшись рядом с Бернаром, начинал держать себя совсем иначе, чем хотел, и изъясняться тоном, который сам же находил нелепым (он и в самом деле был нелеп). Можно ли на этом основании предположить, что подобный тон Эдуарду нравился? Вряд ли, я так не думаю. Чтобы вызвать у нас гримасу презрения или снискать нашу пылкую любовь, достанет мелкого тщеславия.

— Не потому ли, что из всех литературных жанров, — вещал Эдуард, — роман остается самым свободным, самым

lawless¹ ... не из-за боязни ли этой самой свободы (ибо художники, которые больше всего жаждут свободы, чаще всего совсем теряются, когда им удается ее добиться) роман всегда так трусливо цеплялся за действительность? И я имею в виду не только французский роман. Совершенно так же, как и английский роман, русский роман, сколь бы он ни был свободен от традиционных форм, поработен правдоподобием. Единственный прогресс, который роман принимает во внимание, заключается в еще большем приближении к природе. Нет, роман никогда не знал того «грозного размывания очертаний», о котором говорит Ницше, и того сознательного удаления от жизни, что позволило возникнуть искусству большого стиля, например греческой драме или французской трагедии XVII века. Знаете ли вы что-либо более совершенное, более глубоко человеческое, чем эти произведения? Но человечны они как раз потому, что грубоки; они не кичатся созданием иллюзии человечности или хотя бы иллюзии реальности. Они остаются произведениями искусства.

Из опасения, как бы не создать у слушателей впечатления, будто он читает лекцию, Эдуард встал, налил себе чаю, прошелся по комнате, выжал в чашку лимон, не переставая при этом говорить:

— Так как Бальзак был гений и так как каждый гений находит, по-видимому, для своего искусства формулу окончательную и неповторимую, то вот и провозгласили, будто главной целью романа является «соперничество с укладом частной жизни». Бальзак воздвиг здание своего творчества, но он никогда не притязал составить кодекс правил романа; его статья о Стендале ясно показывает это. Соперничать с укладом частной жизни! Как будто и без того на земле недостаточно уродов и ничтожеств! Какое мне дело до уклада частной жизни! Уклад — это я, художник; касается ли мое произведение частной жизни или нет, ни к какому соперничеству оно не стремится.

Эдуард, который разгорячился, — может быть, немножко искусственно, — заговорил более спокойным тоном. Он притворялся, будто вовсе не смотрит на Бернара, но на самом деле он обращался именно к нему. Будучи с ним наедине, он не нашелся бы, что ему сказать; он был признателен женщинам, что они вызвали его на этот разговор.

— Иногда мне кажется, что ничем в литературе я так не

¹ Беззаконным; здесь: свободным от жанровых правил (англ.).

восхищаюсь, как, скажем, спором Митридата с сыновьями в трагедии Расина; нам прекрасно известно, что никогда ни один отец не мог так разговаривать с сыновьями, и, несмотря на это (мне следовало бы сказать, именно благодаря этому), все отцы и все сыновья в этой сцене могут узнать себя. Локализуя и уточняя, мы ограничиваем. Есть только частные психологические истины, это правда; но искусство всегда всеобщее. Вся задача заключается именно в этом: выразить общее при помощи частного; добиться того, чтобы частное выражало общее. Вы позволите мне выкурить трубку?

— Пожалуйста, пожалуйста, — ответила Софроницкая.

— Так вот! Я желал бы написать роман, который был бы одновременно таким же правдивым и таким же далеким от действительности, таким же глубоко человеческим и таким же вымышленным, который содержал бы в себе столько частных подробностей и являлся бы в то же время таким обобщающим, как «Гофолия», «Тартюф» или «Цинна».

— А... каков сюжет этого романа?

— У него нет сюжета, — резко ответил Эдуард, — и в этом, может быть, его самая примечательная особенность. У моего романа нет сюжета. Да, я отлично сознаю: мое утверждение кажется нелепостью. Если хотите, скажем так — он не ограничивается *одним* сюжетом... «Кусок жизни», — говорила натуралистическая школа. Большим недостатком этой школы является то, что она отрезает свой кусок всегда в одном направлении — в направлении времени, в длину. Почему не в ширину? Не в глубину? Что касается меня, то я вовсе не хотел бы резать. Поймите меня: я хотел бы все вместить в мой роман. Не нужно ножа, чтобы разрезать в каком-нибудь определенном месте по его живому телу. Уже больше года я работаю над ним, и нет такого предмета, который я не включил бы в него, который я не хотел бы в него вместить: все, что я вижу, все, что я знаю, все, чему научает меня жизнь других и моя собственная...

— И все это будет стилизовано? — спросила Софроницкая явно с легким оттенком иронии, хотя на ее лице было изображено самое живое внимание. Лаура не могла сдержат улыбку. Эдуард слегка пожал плечами и продолжал:

— Нет, не к этому, собственно, я стремлюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы изобразить, с одной стороны, действительность, а с другой — то усилие стилизовать ее, о котором я вам сейчас говорил.

— Мой бедный друг, вы уморите ваших читателей,— заметила Лаура; будучи не в силах сдержать улыбку, она откровенно рассмеялась.

— Вовсе нет. Чтобы добиться указанного мной результата, я создаю персонаж романиста, которого делаю центральной фигурой романа; и сюжетом книги, если угодно, как раз и является борьба между тем, что приподносит ему действительность, и тем, что он мечтает из этой действительности сделать.

— Да, да, понимаю,— вежливо заметила Софроницкая, которая начинала уже заражаться смехом Лауры.— Может получиться очень любопытно. Но, вы знаете, в романах всегда опасно изображать умных людей. Они наводят скуку на публику; в их уста удаётся обыкновенно вложить одни общие места, и всему, что их трогает, они придают абстрактную форму.

— И я прекрасно вижу, что из этого получится! — вскричала Лаура.— Этого романиста вам придется попросту списать с самого себя.

Обращаясь к Эдуарду, она с некоторых пор усвоила себе насмешливый тон, который изумлял ее саму и сбивал с толку Эдуарда, тем более что отражение его он подмечал в лукавых взглядах Бернара. Эдуард запротестовал:

— Нет, нет, я приложу все старания, чтобы сделать его как можно более неприятным.

Лаура закусил удила.

— Так, так, все узнают в нем вас,— сказала она, так звонко расхохотавшись, что заразила своим смехом всех остальных.

— И план этой книги уже готов? — спросила Софроницкая, стараясь снова стать серьезною.

— Естественно, нет.

— Как? Почему «естественно»?

— Вам следовало бы понять, что для книги такого рода план принципиально недопустим. Вся она будет звучать фальшиво, если я что-нибудь предрешу наперед. Я жду, чтобы мне его продиктовала действительность.

— А я думала, что вы хотите устраниться от действительности.

— Мой романист будет стремиться устраниться от нее, но я непрестанно буду возвращать его к ней. Строго говоря, вот сюжет: борьба между фактами, предлагаемыми действительностью, и действительностью идеальной.

Непоследовательность его суждений была вопиющей,

она самым тягостным образом бросалась в глаза. Ясно, что в голове Эдуарда находили приют два несовместимых требования и его старание примирить их было безуспешным.

— И много вы уже сделали? — вежливо осведомилась Софроницкая.

— Это зависит от того, как понимать ваш вопрос. Что касается самой книги, то, по правде говоря, я еще не написал ни строчки. Но уже много над ней поработал. Каждый день я беспрестанно думаю о ней. Я работаю над ней очень странным способом, который заключается в следующем: изо дня в день я заношу в записную книжку заметки о состоянии этого романа в моем уме; да, это род дневника, который я веду о нем, наподобие тех дневников, что составляются о развитии ребенка... Иными словами, я не довольствуюсь решением каждого затруднения по мере того, как оно возникает передо мною (ведь каждое произведенное искусство есть не что иное, как сумма решений определенного количества мелких затруднений, последовательно возникающих перед художником); я излагаю, я изучаю каждое из этих затруднений. Если хотите, записная книжка содержит непрерывную критику моего романа или более того — романа вообще. Подумайте, какой интерес представляла бы для нас подобная тетрадь с записями Диккенса или Бальзака; быть обладателями дневников «Воспитания чувств» или «Братьев Карамазовых»! История произведения, его вынашивание! Да это было бы захватывающе... интереснее, чем само произведение...

У Эдуарда была робкая надежда, что его попросят прочесть эти заметки. Но никто из его слушателей не проявил ни малейшего любопытства.

— Мой бедный друг, — сказала Лаура печальным тоном, — я прекрасно вижу, что этот роман никогда не будет вами написан.

— Ну, что ж! — страстно воскликнул Эдуард. — Могу вас уверить, мне это безразлично. Да, я, может быть, и не напишу этой книги, значит, ее история заинтересует меня больше, чем она сама; заменит ее мне. Тем лучше.

— А не боитесь ли вы, покидая реальность, затеряться в губительно абстрактных сферах и сочинить роман, героями которого будут не живые люди, а идеи? — робко спросила Софроницкая.

— А хотя бы и так! — вскричал Эдуард с еще большей горячностью. — Неужели мы должны осуждать роман идей на том основании, что он не дается плохим писателям? Под

видом идейных романов нам преподносили до сих пор ужасающие романы на заданную тему. Но вы понимаете, конечно, что это совсем не то. Идеи... идеи, признаюсь вам, интересуют меня больше, чем люди: интересуют больше всего. Они живут, борются, умирают, как люди! Понятно, можно утверждать, что мы познаем их только благодаря людям, точно так же, как мы узнаем о существовании ветра только по тростнику, который ветер клонит к земле; и все же ветер важнее тростника.

— Ветер существует независимо от тростника, — осмелился заметить Бернар.

Его возражение вызвало воинственное настроение в Эдуарде, который давно уже ожидал его вмешательства.

— Да, я знаю, что идеи существуют лишь благодаря людям; но в этом как раз и заключается трагизм: идеи живут за счет людей.

Бернар слушал все это с напряженным вниманием; он был полон скептицизма и почти готов был принять Эдуарда за пустого мечтателя; однако в эти мгновения красноречие последнего взволновало его; он почувствовал, что под дуновением этого красноречия мысль его наклоняется; но — сказал себе Бернар — она скоро снова выпрямится, как распрямляется тростник, когда стихает ветер. Ему вспомнилось то, чему его учили в лицее: страсти руководят человеком, а не идеи. Между тем Эдуард продолжал:

— Я хотел бы сочинить, поймите меня, нечто похожее на *Искусство фуги*. И не вижу, почему то, что возможно в музыке, окажется невозможным в литературе...

На это Софронидка заметила, что музыка есть искусство математическое и что, кстати, рассматривая ее исключительно со стороны численной и изгнав из нее всякий пафос и человечность, Бах добился создания абстрактного шедевра скуки, некоего астрономического храма, куда могут проникнуть лишь немногие посвященные. Эдуард тотчас же возразил, что он находит этот храм величественным, видит в нем завершение и увенчание всей творческой жизни Баха.

— После чего, — вставила Лаура, — композиторы были надолго выلعены от фуги. Не находя для себя места в ней, человеческие чувства стали искать себе другие прибежища.

Спор становился бесплодным. Бернар, хранивший до сего времени молчание, но начинавший уже нетерпеливо ерзать на стуле, в заключение не выдержал; крайне почтительно, даже преувеличенно почтительно, как всегда при

своих обращениях к Эдуарду, но таким веселым тоном, что это почтение казалось почти насмешкой, он сказал:

— Извините, сударь, что я знаю название вашей книги; виной тут моя нескромность, которую вы пожелали, однако, предать забвению, если не ошибаюсь. Это название как будто содержало в себе указание на повесть?..

— Ах, скажите нам это название,— стала упрашивать Лаура.

— Мой дорогой друг, если вы хотите... Но предупреждаю вас, что я, может быть, изменю его. Боюсь, как бы оно не показалось несколько обманчивым... Ну-ка, скажите им его, Бернар.

— Вы разрешаете?.. «Фальшивомонетки»,— сказал Бернар.— Теперь, в свою очередь, скажите нам, пожалуйста, кто, собственно, такие... эти фальшивомонетки?

— Право, не знаю,— отвечал Эдуард.

Бернар и Лаура переглянулись, затем взглянули на Софроницкую; послышался долгий вздох; мне кажется, что он вырвался у Лауры.

Сказать по правде, думая о фальшивомонетчиках, Эдуард имел сначала в виду некоторых своих собратьев по перу, особенно виконта де Пассавана. Но вскоре слово приобрело значительно более широкий смысл. Смотря по тому, откуда у него дул ветер — из Рима или из других мест, его герои становились последовательно то патерами, то франкмасонами. Его мысли, когда он предоставлял их собственному течению, тотчас устремлялись к абстрактному, и он чувствовал себя в этой области весьма привольно. Идеи подмены, обесценения, инфляции мало-помалу заполняли его книгу, как теории одежды вытеснили из «Sartor Resartus» Карлейля живых действующих лиц. Не будучи в силах говорить об этом, Эдуард самым неловким образом замолчал, и его молчание, как будто свидетельствовавшее о скудости мысли, начинало сильно тяготить его собеседников.

— Случалось вам когда-нибудь держать в руках фальшивую монету? — спросил он.

— Да,— отвечал Бернар, но «нет» двух женщин заглушило его слова.

— Так вот! Вообразите фальшивую золотую монету в десять франков. Ее истинная цена каких-нибудь два су. Она будет стоить десять франков, пока не узнают, что она фальшивая. Если, следовательно, я отправляюсь от той мысли, что...

— Но зачем отправляться от мысли? — нетерпеливо прервал Бернар.— Если вы отправитесь от хорошо изложенного факта, мысль сама вселится в него. Если бы я писал «Фальшивомонетчиков», я начал бы с фальшивой монеты, той монетки, о которой вы только что говорили... вот она.

Говоря это, он вынул из жилетного кармана десятифранковую монету и бросил ее на стол.

— Слышите, как она хорошо звенит. Почти так же, что и другие монеты. Можно побожиться, что она золотая. Я попался на ней сегодня утром, так же, как попался, по его словам, лавочник, который мне ее вручил. У нее нет нужного веса, мне кажется; но она блестит и звенит почти совсем как настоящая; снаружи она позолочена, так что стоит все же несколько больше двух су, но она стеклянная. После долгого употребления она станет прозрачной. Нет, нет, не трите: вы мне обесцените ее. И сейчас она уже почти просвечивает.

Эдуард взял монету и с большим любопытством стал ее рассматривать.

— От кого же лавочник ее получил?

— Он не помнит. По его мнению, она лежит у него в ящике уже несколько дней. Он в шутку вручил ее мне, чтобы посмотреть, попадусь ли я. Я готов был принять ее, честное слово! Но так как он человек честный, то вывел меня из заблуждения; затем продал ее мне за пять франков. Он хотел сохранить ее, чтобы показывать тем, кого он называет «любителями». Я подумал, что ему, пожалуй, не найти лучшего любителя, чем автор «Фальшивомонетчиков», вот я и взял ее, чтобы показать вам. А теперь, когда вы посмотрели, отдайте ее мне. Я вижу, увы! что действительность вас не интересует.

— Это правда,— сказал Эдуард,— но она приводит меня в замешательство.

— Очень жаль,— отвечал Бернар.

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

(Вечером того же дня)

Софронидская, Бернар и Лаура спрашивали меня о моем романе. Почему я стал им отвечать? Я нес сплошную чепуху. К счастью, меня выручило возвращение детей; они раскраснелись, запыхались, словно после долгой беготни.

Едва войдя, Броня бросилась к матери; мне показалось, что она вот-вот расплачется.

— Мама,— вскричала она,— побрани, пожалуйста, Бориса. Он хотел лечь в снег совсем голым.

Софроницкая посмотрела на Бориса, который стоял на пороге, опустив голову и устремив в землю пристальный, почти злобный взгляд; она, казалось, совсем не замечала странного выражения лица мальчика и восхитительно спокойным тоном сказала:

— Послушай, Борис, этого нельзя делать вечером. Если хочешь, мы пойдем туда завтра утром и ты сначала попробуешь пройти по снегу босиком...— Она нежно ласкала при этом голову своей дочери, но та вдруг упала на пол и забилась в конвульсиях. Мы все страшно разволновались. Софроницкая взяла ее на руки и уложила на оттоманку. Борис, не трогаясь с места, смотрел на эту сцену широко раскрытыми бессмысленными глазами.

Мне кажется, что методы воспитания Софроницкой в теории превосходны, но она, пожалуй, заблуждается относительно упрямства находящихся на ее попечении детей.

— Вы поступаете так, словно добро всегда должно торжествовать над злом,— сказал я немного позже, оставшись с ней наедине. (После обеда я пошел осведомиться о здоровье Брони, которая не могла спуститься в столовую.)

— Это верно,— отвечала Софроницкая.— Я твердо убеждена, что добро должно торжествовать. Я в это верю.

— Однако чрезмерная уверенность может привести к ошибкам...

— Да, мне случается обманываться, но это бывает в тех случаях, когда моя вера недостаточно сильна. Сегодня, отпуская детей, я не сумела скрыть от них некоторого беспокойства; они это почувствовали. Все и проистекло отсюда.— Она схватила меня за руку: — Вы, по-видимому, не верите в силу убеждений... я хочу сказать, в их действительную силу.

— Вы правы,— возразил я, смеясь,— я не мистик.

— А я,— воскликнула она в каком-то восторженном порыве,— всей душой убеждена, что без мистицизма здесь, на земле, не делается ничего великого и прекрасного.

В списке туристов я отыскал имя Виктора Струвилу. По справкам содержателя гостиницы, он выехал из Саас-Фе за два дня до нашего приезда после почти месячного пребывания. Любопытно было бы повидать его. Софроницкая, несомненно, с ним встречалась. Нужно будет расспросить ее.

IV

— Я хотел спросить вас, Лаура,— начал Бернар.— Есть ли, по-вашему, что-нибудь на этой земле, в чем нельзя было бы усомниться?.. Сомнительно даже, что нельзя было бы взять само сомнение в качестве точки опоры, ибо оно-то уж, мне кажется, никогда нас не подведет. Я могу сомневаться в реальности всего на свете, но только не в реальности моего сомнения. Мне хотелось бы... Извините, что я выражаюсь как педант: я не педант по натуре, но я исхожу из философии, и вы не можете себе представить, какую печать накладывают на ум постоянные рассуждения; клянусь вам, я исправляюсь.

— Зачем это отступление? Вам хотелось бы?..

— Мне хотелось бы написать историю человека, который, прежде чем решиться на что-нибудь, сначала выслушает каждого, с каждым посоветуется, по примеру Панурга; убедившись на опыте, что мнения различных людей по каждому вопросу противоречат друг другу, он в заключение придет к выводу, что следует слушать только самого себя, и сразу станет очень сильным.

— Это стариковский замысел,— сказала Лаура.

— Я более зрелый человек, чем вы думаете. В течение нескольких дней я веду дневник, как и Эдуард; на правой странице записываю одно мнение, а на левой, напротив,— мнение противоположное. Помните, например, как-то вечером Софронидка сказала нам, что заставляет спать Бориса и Броню при открытых окнах. Все, что она говорила в защиту такого режима, нам казалось — не правда ли? — совершенно разумным и убедительным. Но вот вчера в курительной отеля я слышал, как недавно приехавший немецкий профессор развивал противоположную теорию, которая, признаюсь, показалась мне более разумной и куда лучше обоснованной. Самое существенное, говорил он, по возможности ограничивать во время сна расход энергии и всякого рода взаимодействий, совокупность коих составляет жизнь,— он называл это карбюрацией; только при этих условиях сон действительно восстанавливает силы. Он приводил в пример птиц, которые прячут голову под крыло, и всех вообще животных, которые во время сна свертываются в комочек так, чтобы едва-едва дышать; точно так же, говорил он, племена, наиболее близко стоящие к природе, крестьяне, слабее всего затронутые культурой, забиваются в помещения, где спят; арабы, когда им приходится спать на

открытом воздухе, непременно покрывают голову капюшонами своих бурнусов. Но, возвращаясь к Софроницкой и детям, которых она воспитывает, я прихожу к убеждению, что она все же права и то, что хорошо для других, было бы вредно для них, так как, насколько я понял, они предрасположены к туберкулезу. Словом, я сказал себе... Но вам скучно меня слушать?

— Не тревожьте себя такими предположениями. Что вы сказали себе?

— Забыл.

— Полно! Не сердитесь! И не стыдитесь своих мыслей.

— Я сказал себе, что нет такой вещи, которая была бы хороша для всех; каждая вещь хороша только для отдельных людей; что ничего не бывает истинно для всех; любое положение истинно только для того, кто верит в его истинность; что нет метода или теории, которые были бы в равной мере приложимы к каждому; что если, совершая поступок, нам приходится делать выбор, то мы, по крайней мере, обладаем свободой выбора; а если у нас нет свободы выбора, то дело обстоит еще проще; и для меня становится истинным (не абсолютно истинным, конечно, но истинным по отношению ко мне) то, что позволяет мне наилучшим образом применить свои силы, пустить в ход свои положительные качества, потому что я не способен подавить свои сомнения и в то же время питаю отвращение к нерешительности. «Мягкая и покойная подушка» Монтеня создана не для моей головы, потому что мне еще не хочется спать и я не нуждаюсь в покое. Долог путь, ведущий от того, чем я думаю быть, к тому, чем я, может быть, являюсь сейчас. Я иногда боюсь, что встал слишком рано.

— Вы боитесь?

— Нет, я ничего не боюсь. Но знаете ли вы, что я уже сильно изменился, или, по крайней мере, мой душевный кругозор совсем не тот, каким он был в день, когда я покинул мой дом; с тех пор я встретил вас. И сразу же перестал ставить превыше всего свою свободу. Может быть, вы еще не поняли, что я готов служить вам.

— Что следует под этим понимать?

— О, вы отлично знаете! Почему вы хотите заставить меня сказать это? Вы ожидаете от меня признаний?.. Нет, нет, прошу вас, не делайте такого грустного лица, меня от этого бросает в холод. Улыбнитесь!

— Но, мой милый Бернар, неужели вы вообразили, что начинаете меня любить?

— О нет! — воскликнул Бернар.— Вы сами, должно быть, начинаете это чувствовать, но вы не в силах мне помешать.

— Мне было так приятно во всем доверять вам. Если теперь мне придется подходить к вам не иначе как с предосторожностями, словно к легко воспламеняющемуся веществу... Постарайтесь представить себе безобразное, раздувшееся существо, в которое я скоро превращусь. Один взгляд на меня способен будет вас вылечить от любви.

— Да, если бы я любил только вашу внешность. Кроме того, я вовсе не болен, или если любить вас, значит быть больным, то я предпочитаю не выздоравливать.

Он говорил все это серьезно, почти печально и смотрел на Лауру таким нежным взором, каким на нее никогда не смотрели ни Эдуард, ни Дувье; но во взоре этом было столько почтительности, что он не мог ее огорчить. Лаура держала на коленях английскую книжку, которую они только что читали и которую она рассеянно перелистывала; казалось, она совсем его не слушала, так что Бернар продолжал, не испытывая большого смущения:

— Я воображал, что любовь — вулкан; по крайней мере, та любовь, для которой я был рожден. Да, я действительно считал, что могу любить только дикой, опустошительной любовью, на манер Байрона. Как плохо я знал себя! Это вы, Лаура, открыли мне глаза на то, каков я; как сильно я отличаюсь от того существа, за которое я принимал себя. Я разыгрывал роль мерзавца и изо всех сил старался быть на него похожим. Когда я вспоминаю о письме, которое написал моему мнимому отцу перед тем, как покинуть его дом, мне становится бесконечно стыдно, уверяю вас. Я принимал себя за мятежника, outlaw¹, попирающего все, что служит преградой для осуществления его желаний; и вот, подле вас, у меня нет больше желаний. Я стремился к свободе как к высшему благу и стал свободен, лишь подчинившись вашим... Ах, если бы вы знали, как противно держать в голове кучу фраз великих писателей, непреодолимо срывающихся с языка, когда хочешь выразить искреннее чувство! Это чувство так ново для меня, что я не успел еще найти для него подходящие слова. Допустим, что оно — не любовь, раз это слово вам не нравится; допустим, что оно — благоговение. У меня такое впечатление, словно ваши законы очертили границы моей свободы, которая до сих пор каза-

¹ Изгой (англ.).

лась мне безграничной. Такое впечатление, что все, что бушевало во мне мятежного и беспорядочного, ныне в мерном танце кружится вокруг вас. Если какая-либо из моих мыслей обнаруживает склонность отделиться от вас, я бросаю ее... Лаура, я не прошу у вас любви; сейчас я ничто, простой школьник; я не стою вашего внимания; но все мои поступки отныне диктуются желанием заслужить немного вашу... (ах, противное слово!)... ваше уважение.

Он бросился на колени перед нею, и, хотя она сначала немножко было отодвинулась, Бернар коснулся головой ее платья, откинув руки назад, словно в знак благоговения; но, почувствовал у себя на лбу руку Лауры, он схватил эту руку и припал к ней губами.

— Какое вы дитя, Бернар! Я тоже больше не свободна, — сказала она, отнимая руку. — Возьмите и прочтите вот это.

Она вытщила из-за пояса измятую бумажку и протянула Бернару.

Бернару прежде всего бросилась в глаза подпись. Как он и опасался, это была подпись Феликса Дувье. Несколько мгновений он держал письмо в руке, не читая; он поднял глаза на Лауру. Она плакала. Тогда Бернар почувствовал, что в его сердце разрывается еще одна связь, одна из тех тайных нитей, что привязывают каждого из нас к нам самим, к нашему эгоистическому прошлому. Затем он прочел:

«Возлюбленная моя Лаура!

Во имя ребенка, который должен у тебя родиться и которого я торжественно обещаю любить так, как если бы был его отцом, заклинаю тебя вернуться. Не думай, что малейший упрек может встретить здесь твое возвращение. Не слишком вини себя, потому что это как раз и причиняет мне наибольшие страдания. Не медли. Я жду тебя всей душой, которая обожает тебя и простирается ниц перед тобою».

Бернар сидел на полу, у ног Лауры; не глядя на нее, он спросил:

- Когда вы получили письмо?
- Сегодня утром.
- Я думал, он ничего не знает. Вы сами ему написали?
- Да, я призналась ему во всем.
- Эдуард знает?
- Он ничего не знает.

Бернар замолчал, опустив голову; затем, повернувшись к ней, спросил:

— Что же... вы собираетесь теперь делать?

— Вы серьезно спрашиваете меня?.. Вернуться к нему. Мое место возле него. С ним я должна жить. Вы знаете это.

— Да, — сказал Бернар.

Наступило долгое молчание. Бернар снова спросил:

— Вы убеждены, что можно любить ребенка от другого как своего собственного? Да?

— Не знаю, убеждена ли, но надеюсь.

— Ну а я убежден. Напротив, я не верю в то, что так глупо называют «голосом крови». Да, я считаю, что этот пресловутый голос не более чем миф. Я читал где-то, что у некоторых полинезийских племен существует обычай усыновлять чужих детей и что этим усыновленным детям оказывается даже предпочтение. В книге — я хорошо помню — было сказано, что «их больше балуют». Знаете, о чем я думаю сейчас?.. Я думаю, что тот, кто заменял мне отца, никогда не сказал и не сделал ничего такого, что позволяло бы заподозрить, будто я не его настоящий сын; думаю, что, написав ему, как я это сделал, будто мной всегда ощущалась разница в его отношениях ко мне и к другим детям, я солгал; что, напротив, он проявлял ко мне особенную любовь, и я был чувствителен к этому, так что моя неблагодарность к нему тем более отвратительна; словом, думаю, я поступил дурно по отношению к нему. Лаура, друг мой, я хотел бы вас спросить... Как, по-вашему: должен я просить у него прощения, вернуться к нему?

— Нет, — отвечала Лаура.

— Почему? Вы ведь возвращаетесь к Дувье...

— Вы мне только что говорили, что истинное для одного не истинно для другого. Я чувствую себя слабой, вы сильны. Господин Профитандье, очень возможно, вас любит; но, если я правильно поняла то, что вы мне рассказали о нем, вы не созданы для взаимного понимания... Или, по крайней мере, не торопитесь. Не возвращайтесь к нему с покаянным видом. Хотите знать все, что я думаю? Ради меня, а не ради него вы затеваете это; чтобы добиться того, что вы называете моим уважением — Вы не добьетесь его, Бернар, если я буду чувствовать, что вы его добиваетесь. Я могу любить вас, только когда вы естественны. Предоставьте раскаяние мне; оно не для вас, Бернар.

— Я начинаю почти любить свое имя, когда слышу его из ваших уст. Знаете, к чему я питал там наибольшее

отвращение? К роскоши. Столько комфорта, столько удобств... Я чувствовал, что становлюсь анархистом. Теперь, наоборот, мне кажется, что я превращаюсь в консерватора. Я внезапно понял это на днях по негодованию, которое охватило меня, когда я услышал, как один из туристов стал хвастать тем, что ему удалось ловко надуть таможеню. «Обокрасть государство — значит никого не обокрасть», — говорил он. Дух противоречия вдруг заставил меня понять природу государства. И я проникся любовью к государству просто потому, что по отношению к нему была совершена несправедливость. Никогда раньше я не размышлял на эту тему. «Государство — это взаимное соглашение», — продолжал турист. Какой прекрасной вещью было бы соглашение, покоящееся на доброй воле каждого... если бы на свете существовали одни честные люди. Слушайте, если бы кто-нибудь спросил меня сегодня, какую добродетель я считаю самой прекрасной, я не колеблясь ответил бы: честность. Ах, Лаура! Я хотел бы всю свою жизнь при малейшем ударе издавать звук чистый, честный, подлинный. Почти все люди, которых я знал, звучат фальшиво. Пусть твоя ценность в точности равняется тому, чем ты кажешься; не старайся казаться стоящим больше твоей подлинной ценности... Мы хотим вводить в заблуждение и до такой степени бываем поглощены заботой о внешности, что в конце концов утрачиваем представление, кто же мы такие на самом деле... Извините, что я говорю вам все это. Я делюсь с вами моими ночными размышлениями.

— Вы думали о монетке, которую вчера показывали нам. Когда я уеду...

Она была не в силах закончить фразу; слезы выступили у нее на глазах; Бернар видел, что она пытается сдержаться, отчего губы ее задрожали.

— Вы уедете, Лаура, — произнес он печально. — Боюсь, что, когда я не буду больше чувствовать вас подле себя, я потеряю всякую ценность или почти потеряю... Но, скажите, я хотел бы вас спросить... уехали ли вы, написали бы мужу, если бы Эдуард... не знаю как выразиться... — (Тут Лаура покраснела.) — Если бы Эдуард стоил большего? Ах, не возражайте. Я хорошо знаю, что вы о нем думаете.

— Вы говорите так потому, что уловили вчера мою улыбку во время его рассуждений; вы тотчас заключили, что мы о нем одинакового мнения. Но нет, не заблуждайтесь. По правде говоря, я не знаю, что я о нем думаю. Никогда он не бывает долгое время одинаковым. Он ни к чему не

привязывается; но ничто так не привлекательно, как его бегство. Вы слишком мало знакомы с ним, чтобы его судить. Его существо беспрестанно разрушается и снова восстанавливается. Думаешь, что схватил его... а это Протей. Он принимает форму всего, что любит. Чтобы понять, его тоже нужно любить.

— Вы любите его. Ах, Лаура, я ревную вас не к Дувье и Винценту, а к Эдуарду.

— Зачем вам ревновать? Я люблю Дувье, люблю Эдуарда, но по-разному. Если бы мне случилось полюбить вас, это опять была бы другая любовь.

— Лаура, Лаура, Дувье вы не любите. Вы чувствуете к нему привязанность, жалость, уважение, но это не любовь. Я думаю, что тайна вашей печали (потому что вы печальны, Лаура) заключается в том, что жизнь лишила вас цельности; любовь не захватила вас всю целиком; вы распределяете среди нескольких то, что хотели бы отдать одному. Я же чувствую себя нераздельным; я могу отдать себя только целиком.

— Вы слишком молоды, чтобы так говорить. Вы не можете быть уверены, не лишит ли и вас жизнь цельности, как вы говорите. Я могу принять от вас только... благоговение, которое вы мне предлагаете. Прочие ваши чувства тоже будут предъявлять известные требования, которые должны будут искать себе удовлетворения в другом месте.

— Неужели это правда? Вы хотите наперед отнять у меня вкус и к себе самому, и к жизни.

— Вы совсем не знаете жизни. Вы можете всего ожидать от нее. Знаете, в чем заключалась моя вина? В том, что я больше ничего не ждала от жизни. Когда я подумала, увы! что мне нечего больше ожидать, я махнула на все рукой. Я жила той весной в По так, словно это последняя моя весна, словно все мне было безразлично. Теперь, когда я за это поплатилась, я вправе сказать вам: Бернар, никогда не отчаивайтесь в жизни.

Какая польза говорить все это юному существу, полному огня! К тому же слова, произнесенные Лаурой, и не были обращены к Бернару. Движимая симпатией, она думала вслух в его присутствии вопреки своему желанию. Она была неискусна по части притворства, плохо умела владеть собою. Как раньше она была не в силах противостоять порыву, увлекавшему ее всякий раз, когда она думала об Эдуарде, и выдававшему ее любовь, так теперь она уступала какой-то потребности читать мораль, унаследованной ею,

по всей вероятности, от отца. Но Бернар питал отвращение к наставлениям, увещаниям, хотя бы они исходили от Лауры; его улыбка дала понять это Лауре, которая продолжала более спокойным тоном:

— Вы намерены оставаться секретарем Эдуарда и по возвращении в Париж?

— Да, если он согласится найти мне какое-нибудь дело; до сих пор он не поручает мне никакой работы. Знаете, что было бы мне интересно? Написать вместе с ним книгу, которой он один никогда не напишет; вчера вы правильно сказали ему об этом. Я считаю нелепым изложенный им вчера метод работы. Хороший роман пишут с куда бóльшей наивностью. И прежде всего нужно верить в то, о чем рассказываешь, — как вам кажется? — и рассказывать бесхитростно. Я сначала думал, что могу помочь ему. Если бы он ощущал потребность в сыщике, я, может быть, ее удовлетворил бы. Он работал бы над фактами, которыми его снабжали бы мои поиски... Но с теоретиком мне делать нечего. Подле него я ощущаю в себе душу репортера. Если он будет упорствовать в своем заблуждении, я стану работать самостоятельно. Мне нужно иметь заработок. Я предложу свои услуги какой-нибудь газете. Между делом буду сочинять стихи.

— Ибо в обществе репортеров вы наверняка будете ощущать в себе поэтическую душу.

— Не издевайтесь надо мной! Я знаю, что я смешон, не заставляйте меня лишний раз это почувствовать.

— Оставайтесь с Эдуардом; вы будете помогать ему, и он поддержит вас. Он добрый.

Раздался колокол, призывавший к завтраку. Бернар встал; Лаура взяла его за руку:

— Еще одно: монетка, которую вы показывали нам вчера... в память о вас, когда я уеду... — Она преодолела себя и на этот раз нашла силы закончить фразу: — Не могли бы вы подарить ее мне?

— Вот она, возьмите, — сказал Бернар.

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

Так случается почти со всеми болезнями человеческого ума, от которых мы воображаем себя излечившимися. Мы только загоняем их внутрь, как говорят в медицине, и на их место появляются другие.

Сент-Бев. «Понедельники», т. 1, стр. 19

Я начинаю уяснять себе то, что я назвал бы «глубинным сюжетом» моей книги. Сюжет этот, несомненно, борьба реального мира и нашего представления о нем. Способ, каким мир явлений навязывается нам, и каким мы, в свою очередь, пытаемся навязать внешнему миру наше субъективное толкование, составляет драму нашей жизни. Встречая сопротивление со стороны фактов, мы переносим нашу идеальную конструкцию в мечты, в чаяния, в будущее, и там наша вера питается разочарованиями, постигшими нас здесь. Реалисты отправляются от фактов, приспособляют свои идеи к фактам. Бернар — реалист. Боюсь, что мне не удастся найти с ним общий язык.

Как мог я покорно выслушать заявление Софроницкой, что во мне нет никакого мистицизма? Я вполне готов признать вместе с ней, что без мистицизма человеку не удалось бы совершить ничего великого. Но разве не мистицизм и ставит мне в вину Лаура, когда я говорю ей о своей книге?.. Предоставим им спорить на эту тему.

Софроницкая снова завела со мной разговор о Борисе, от которого ей удалось, по ее мнению, добиться полного признания. У бедного мальчика не осталось больше ни одного уголка, ни одного кустика, где бы он мог укрыться от взглядов докторши. Он выбит со всех укрепленных позиций. Софроницкая развинтила и вынула на свет все самые интимные колесики его душевного механизма, подобно часовщику, разбирающему на части приводимые им в порядок часы. Если после этого мальчик не будет отбивать точное время, значит, труд ее пропал понапрасну. Вот что Софроницкая рассказала мне.

Когда Борису исполнилось девять лет, его отдали в одну из варшавских гимназий. Там он подружился с товарищем по классу, неким Батистином Крафтом, мальчиком на год или два старше, научившим его тайному занятию, которое эти дети, наивно изумленные, считали «магией». Так назы-

вали они свой порок на том основании, что где-то услышали или прочитали, что магия позволяет таинственно войти в обладание тем, чего мы желаем, безгранично расширяет наши силы и т. п. Они чистосердечно верили, будто им удалось открыть секрет, позволяющий им взамен отсутствующей реальности утешаться призраками; всю предавались галлюцинациям и вкушали восторги в пустоте, которую их взвинченное воображение населяло чудесами, отчего наслаждение значительно обострялось. Само собой разумеется, Софроницкая не пользовалась этими терминами; я хотел было, чтобы она в точности передала мне выражения Бориса, но она утверждает, будто ей удалось вылущить только что изложенные факты, за верную передачу которых она, однако, поручилась мне, лишь из беспорядочной массы выдумок, умолчаний и искажений.

— Я нашла, таким образом, — прибавила она, — давно уже отыскиваемое мной объяснение клочка пергамента, который Борис всегда хранит на своей груди в ладанке рядом с иконками, которые заставляет его носить мать. На этом клочке пергамента старательным детским почерком выведены печатными буквами пять слов, значения которых я тщетно у него добивалась:

Газ. Телефон. Сто тысяч рублей.

«Это ничего не значит. Это магия», — неизменно отвечал он на мои расспросы. Это все, чего я могла добиться. Я знаю теперь, что эти загадочные слова написаны рукой юного Батистина, великого знатока и учителя магии, и что пять этих слов служили для детей своего рода заклинанием — «Сезам, отворись» — постыдного рая, куда вводило их наслаждение. Борис называл этот пергамент мой *талисман*. Мне стоило уже большого труда убедить его показать мне этот талисман и стоит еще большего — заставить расстаться с ним (это было в начале нашего пребывания здесь); ибо я хотела, чтобы он расстался с ним, как он освободился уже раньше — мне известно это теперь — от своих дурных привычек. Я надеюсь, что вместе с *талисманом* исчезнут тики и мании, которыми он страдает. Но он упорно держался за него, а болезнь цеплялась за талисман как за последнее убежище.

— Вы говорите, однако, что он освободился от этих привычек...

— Нервная болезнь началась потом. Вне всякого сомнения, она обусловлена усилиями, которые Борис должен был

затратить, чтобы освободиться от этих привычек. Я узнала от него, что мать однажды застигла его за «занятиями магией», как он говорит. Почему она никогда не говорила мне об этом?.. Стыдилась?

— И, несомненно, оттого, что знала, что ее сын исправился.

— Это нелепо... в этом-то и заключается причина, которую я так давно нащупывала. Я вам сказала, что считаю Бориса совершенно невинным.

— Вы сказали также, что это как раз и беспокоит вас.

— Вы видите, как я была права!.. Мать должна была бы предупредить меня. Борис был бы уже здоров, если бы я с самого начала имела возможность все ясно видеть.

— Вы сказали, что эти расстройства начались у него лишь потом...

— Я утверждаю, что они были рождены в нем духом протеста. Мать, вероятно, бранила его, умоляла, увещевала. Тут последовала смерть отца. Борис был убежден, что его тайные занятия, которые были изображены ему как преступление, повлекли за собой заслуженное наказание; он стал считать себя ответственным за смерть отца; возомнил себя преступником, осужденным. Бориса обуял страх; и вот тогда-то его хилый организм, как загнанный зверь, изобрел множество маленьких уловок, в которых находит себе выход его внутренняя тревога и которые являются как бы призваниями.

— Если я правильно вас понимаю, вы считаете, что для Бориса было бы менее вредно, если бы он спокойно продолжал заниматься своей «магией»?

— Я думаю, что для излечения от этих занятий не было необходимости его устрашать. Перемены образа жизни, вызванной смертью отца, было бы, вероятно, достаточно для отвлечения его от дурной привычки, а отъезда из Варшавы — для избавления от влияния друга. Устрашением не добьешься ничего хорошего. Когда я узнала обо всей этой истории, то, заведя с ним речь о ней и оживив в его сознании прошлое, я устыдила его за то, что он мог предпочесть обладание воображаемыми благами обладанию благами подлинными, которые служат, сказала я ему, наградою за усилие. Совсем не пытаюсь чернить его порок, я изобразила ему его просто как одну из форм лени, и я действительно убеждена, что это так; форма самая утонченная, самая коварная...

При этих словах мне вспомнилось несколько строчек из

Ларошфуко, и я захотел показать их ей. Несмотря на то что я мог бы процитировать их наизусть, я пошел за книжечкой, которую везде вожу с собой. Я прочел ей из «Максима»:

«Из всех страстей наименее известной нам является лень: она самая жгучая и самая зловредная из всех, хотя страшная ее сила неощутима для нас, и вред, причиняемый ею, скрыт очень глубоко... Ленивый покой есть тайное прельщение души, которая вдруг откладывает самые горячие свои стремления и самые упорные свои решения. Чтобы дать в заключение истинную идею этой страсти, следует сказать, что лень есть как бы блаженство души, которое утешает ее во всех ее утратах и служит ей заменой всех благ».

— И вам кажется,— сказала мне тогда Софроницкая,— что Ларошфуко хотел намекнуть здесь на то, о чем мы говорили?

— Возможно, но я не думаю. Богатство наших классиков в том, что они позволяют нам как угодно их истолковывать. Их точность тем более удивительна, что она не сопряжена с ограниченностью.

Я попросил ее показать мне пресловутый талисман Бориса. Она ответила, что у нее больше его нет, что она подарил его одному проезжему, который проявил интерес к Борису и попросил оставить ему этот талисман на память. «Это был некий господин Струвилу, которого я встретила здесь незадолго до вашего приезда».

Я сказал Софроницкой, что видел эту фамилию в списке постояльцев гостиницы, что был знаком когда-то давно с одним Струвилу и мне было бы интересно узнать, он ли это. По ее описанию невозможно было сомневаться, что это он, но она не могла сообщить мне о нем ничего такого, что удовлетворило бы мое любопытство. Я узнал лишь, что он был очень любезен, очень услужлив, что он показался ей весьма умным и начитанным, но несколько ленивым, «если только позволительно употребить это слово», прибавила она, смеясь. Я рассказал ей, в свою очередь, то, что мне было известно о Струвилу, и тут по ассоциации перешел к рассказу о пансионе, где мы встречались с ним, о родителях Лауры (которая, со своей стороны, кое о чем поведала Софроницкой), наконец, о старике Лаперузе, о его родственных связях с маленьким Борисом и об обещании, которое я дал ему, прощаясь с ним, привезти этого мальчика. Так как Софроницкая сказала мне раньше, что она считает

нежелательным, чтобы Борис продолжал жить с матерью, я спросил ее: «Почему бы вам не поместить его в пансион к Азаисам?» Внушая ей эту мысль, я думал главным образом о том, как безмерно обрадуется дедушка, узнав, что Борис находится совсем рядом с ним, у друзей, где он может видеть его когда ему будет угодно; тут я прибавил, что не могу допустить, чтобы мальчик, со своей стороны, не почувствовал там себя хорошо. Софроницкая сказала, что подумает над этим, а пока она крайне заинтересована всем, что я ей только что рассказал.

Софроницкая все время повторяет, что маленький Борис выздоровел; это лечение должно подтвердить правильность ее метода; но боюсь, не слишком ли рано она празднует победу. Понятно, я не хочу ей противоречить; я согласен с ней, что его тики, нервные судороги, умолчания почти исчезли, но мне кажется, что болезнь попросту переместилась в более глубинные области его существа, словно желая укрыться от испытующего взгляда врача, и теперь поразила саму его душу. Подобно тому как онанизм сменился нервными судорогами, эти последние уступают теперь место какому-то непонятному трансу. Софроницкая, правда, беспокоится, видя, как Борис вслед за Броней все больше оказывается во власти своеобразного детского мистицизма; она слишком умна, чтобы не понять, что это новое «блаженство души», которого ищет сейчас Борис, в конце концов не слишком отличается от «блаженства», которое он вызывал раньше искусственно, и что, хотя оно не так дорого обходится, не так разрушительно для организма, все же не в меньшей степени отвлекает его от усилия и от стремления претворять его в определенный результат. Но когда я говорю ей об этом, она мне отвечает, что такие души, как Борис и Броня, не могут обходиться без грез и химер и что, если их отнять, они впадут: Броня — в отчаяние, а Борис — в вульгарный натурализм; она полагает, кроме того, что не вправе разрушать доверие этих детей и, хотя считает их иллюзии обманчивыми, все же желает видеть в них сублимирование низменных инстинктов, более высокое устремление, благородное побуждение, предохраняющее их, и т. п. Не веря сама в церковные догматы, она верит в действенную силу веры. Она с волнением говорит о набожности этих детей, которые вместе читают Апокалипсис, приходят в возбуждение, ведут беседы с ангелами и облачают свои души в белые плащаницы. Как все женщины, она полна противоречий. Но она права: я положительно не являюсь мистиком... как

не являюсь и ленивцем. Я очень рассчитываю на атмосферу пансиона Азаисов и вообще парижский дух, чтобы сделать из Бориса работника и окончательно вылечить его от искания «воображаемых благ». Там он найдет для себя спасение. Софроницкая привыкает, мне кажется, к мысли доверить его мне, но, вероятно, она сама привезет его в Париж, желая лично присмотреть за его устройством у Азаисов и успокоить, таким образом, его мать, согласия которой она берется добиться.

VI

ПИСЬМО ОЛИВЬЕ К БЕРНАРУ

Есть пороки, которые, будучи выгодно показаны, сверкают ярче, нежели сама добродетель.

Ларошфуко

«Дружище!

Прежде всего сообщаю тебе, что я успешно выдержал выпускной экзамен. Но это не столь важно. Мне представлялся исключительный случай отправиться в путешествие. Я все еще колебался, но после прочтения твоего письма разом решился. Сначала легкое сопротивление матери, но его быстро преодолел Винцент, который выказал ко мне предупредительность, какой я от него не ожидал. Я не могу поверить, что в обстоятельствах, на которые намекает твое письмо, он мог поступить по-свински. В нашем возрасте мы обладаем досадной склонностью слишком строго судить людей и безапелляционно выносить им приговор. Многие поступки кажутся нам достойными порицания, даже гнусными просто потому, что мы недостаточно проникаем в их мотивы. Винцент не... Но это завело бы меня слишком далеко, а я хочу сообщить тебе множество вещей.

Да будет тебе известно, что тебе пишет главный редактор нового журнала «Авангард». Поразмыслив немного, я решил взять на себя обязанности, которые, по мнению графа Робера де Пассавана, я достоин исполнять. Он является издателем журнала, но не слишком желает, чтобы об этом было известно, и на обложке будет значиться только моя фамилия. Выпуск нашего журнала приурочен к октябрю; постарайся прислать мне что-нибудь для первого номера; мне было бы неприятно, если бы твоя фамилия не красовалась рядом с моей в первом оглавлении. Пассаван хочет, чтобы в первом номере появилось нечто очень воль-

ное и пряное, потому что, по его мнению, самый худший упрек, который может навлечь на себя молодой журнал,— это упрек в чрезмерном целомудрии; я весьма склонен разделять это мнение. Мы много спорим по этому поводу. Он попросил меня написать что-нибудь в таком роде и снабдил меня достаточно рискованным сюжетом для коротенького рассказа; я немножко беспокоюсь, как бы это не причинило огорчения моей матери; но будь что будет. Как говорит Пассаван: чем человек моложе, тем меньше компрометирует скандал.

Я пишу тебе из Виццавоне. Виццавоне — крохотная деревушка на склонах одной из самых высоких гор Корсики, запрятавшаяся в густом лесу. Гостиница, где мы живем, расположена довольно далеко от деревни и служит туристам как бы отправным пунктом для экскурсий. Мы здесь всего несколько дней. Сначала недолго жили в одной харчевне, поблизости от восхитительной бухты Порто, совершенно пустынной, куда мы спускались купаться по утрам и где можно разгуливать нагишом целый день. Это было чудесно; но стало слишком жарко, и мы вынуждены были подняться в горы.

Пассаван восхитительный спутник: он совсем не чванится своим титулом, хочет, чтобы я называл его Робер, и выдумал для меня уменьшительное имя Олив. Ну разве не очаровательно? Он делает все, чтобы заставить меня забыть о своем возрасте, и, уверяю тебя, ему удастся добиться этого. Моя мать была немного напугана моим отъездом, потому что она едва с графом знакома. Я колебался из боязни доставить ей огорчение. Перед получением твоего письма я совсем было отказался. Винцент ее успокоил, а твое письмо вдруг наполнило меня храбростью. Последние дни перед отъездом ушли у нас на беготню по магазинам. Пассаван так щедр, что хотел все предоставить в мое распоряжение, и мне постоянно приходилось его останавливать. Но он находил мои жалкие наряды ужасными: рубашки, галстуки, носки, все, что было у меня, ему не нравилось; он повторял, что, когда я буду жить с ним, ему будет очень неприятно видеть меня одетым не *comme il faut*¹, иными словами: не так, как ему нравится. Понятно, все покупки посылались к нему из опасения, как бы они не встревожили маму. Сам он изысканно элегантен; но, главное, у него прекрасный вкус, и множество вещей, которые казались мне

¹ Как принято; аристократически; изысканно (*франц.*).

терпимыми, сейчас возбуждают во мне отвращение. Ты не можешь себе вообразить, как занятно бывать в магазинах и мастерских. Он так остроумен. Я хочу дать тебе представление об этом: мы находились у Брентано, куда он отдал в починку свое вечное перо. За ним стоял огромный англичанин, который хотел подойти к прилавку вне очереди и, когда Робер довольно грубо его оттолкнул, стал ворчать что-то по его адресу; Робер обернулся и очень спокойно сказал:

— Не утруждайте себя. Я по-английски не понимаю.

Англичанин, взбешенный, отвечал на чистейшем французском:

— Вам следовало бы знать английский, милостивый государь.

Тогда Робер с улыбкой и очень вежливо:

— Вы видите, что это совершенно ни к чему.

Англичанин кипел от негодования, но не нашелся, что ответить. Это было уморительно.

Другой раз мы были в «Олимпии». Во время антракта прогуливались в фойе, где бродило множество проституток. Две из них, с виду довольно невзрачные, пристали к нему:

— Не угостишь кружкой пива, милоч?

Мы сели с ним за столик.

— Человек! Пива для этих дам.

— А для господ?

— Для нас?.. О, мы возьмем шампанского,— проронил он небрежно. И заказал бутылку моэт, которую мы и выдули. Если бы ты видел рожи несчастных девок! Я думаю, он питает отвращение к проституткам. Он признался мне, что ни разу не был в публичном доме, и дал мне понять, что очень рассердился бы, если бы я туда пошел. Ты видишь, таким образом, что это человек очень чистоплотный, несмотря на свой напускной цинизм и циничные суждения, вроде того, что в дороге он называет «унылым днем» день, когда не встретил before lunch ¹, по крайней мере, пяти женщин, коими хотел бы обладать. Доложу тебе в скобках, что я не возобновлял... ты понимаешь меня.

У него очень забавный и своеобразный способ морализировать. Он однажды обратился ко мне:

— Видишь ли, мой мальчик, самое важное в жизни — не поддаваться никаким увлечениям. Увлечешься одним, глядишь — уж другая вещь увлекла тебя, а потом

¹ До ланча (англ.).

перестаешь сознавать, куда идешь. Так, я знал одного молодого человека, очень порядочного, которому пришлось жениться на дочери моей кухарки. Как-то ночью он случайно вошел к какому-то мелкому ювелиру. Убил его. Затем ограбил. И скрыл все это. Ты видишь, куда это ведет. Последний раз, когда я его видел, он уже стал лгуном. Прими к сведению.

И он всегда такой. Словом, я не скучаю. Мы отправились с намерением много работать, но до сих пор занимаемся только тем, что купаемся, жаримся на солнце и болтаем. У него необычайно оригинальные мнения и мысли о каждом предмете. Я всячески побуждаю его опубликовать недавно изложенные им мне совершенно новые теории о животных морских глубин и о том, что он называет «собственным светом» этих животных, позволяющим им обходиться без солнечного света, который он уподобляет свету благодати и «откровению». Изложенные в нескольких словах, как у меня сейчас, эти теории не производят никакого впечатления, но, уверяю тебя, когда он их развивает, это интересно, как роман. Широкой публике неизвестно, что он большой эрудит в естественных науках; но он кокетничает тем, что скрывает свои познания. Он называет их своим тайным богатством. Он говорит, что только снобы тешатся, выставляя напоказ все свои драгоценности, особенно когда те поддельные.

Он удивительно умест пользоваться идеями, образами, людьми, вещами: иными словами, из всего извлекает выгоду. Он говорит, что сложное искусство жить заключается не столько в умении наслаждаться, сколько в умении извлекать из жизни пользу.

Я написал несколько стихотворений, но не настолько ими доволен, чтобы послать их тебе.

До свидания, старина. До октября. Ты и меня найдешь изменившимся. С каждым днем я приобретаю все больше уверенности. Я рад был узнать, что ты в Швейцарии, но, видишь, у меня нет оснований тебе завидовать.

Оливье».

Бернар протянул это письмо Эдуарду, который прочел его, ничем не выдав тех чувств, которые оно у него вызвало. Все, что Оливье с таким удовольствием рассказывал о Робере, возмущало его и в конце концов наполнило ненавистью. В особенности его огорчило, что он не был даже упомянут в этом письме, что Оливье, казалось, совсем позабыл его. Он

тщетно старался разобрать тщательно зачеркнутые три строчки постскриптума: «Скажи дяде Э., что я постоянно думаю о нем; я не могу простить ему, что он меня бросил, я храню в сердце жестокую обиду».

Это были единственные искренние строчки во всем этом хвостовском письме, продиктованном досадой. Оливье вымарал их.

Эдуард возвратил Бернару ужасное письмо, не сказав ни слова; Бернар молча взял его. Я сказал уже, что они мало разговаривали; какая-то странная, необъяснимая принужденность овладевала ими, едва они оставались одни. (Я не люблю этого слова «необъяснимая» и пишу его здесь только из-за отсутствия более подходящего.) Но вечером, когда они пришли к себе в комнату и собирались ложиться спать, Бернар, преодолев себя, спросил сдавленным голосом:

— Лаура показывала вам письмо, которое получила от Дувье?

— У меня не было никаких сомнений, что Дувье поступит как джентльмен,— сказал Эдуард, ложась в постель.— Это очень славный парень. Немного слабый, может быть, но все же очень славный. Он будет обожать ребенка Лауры, я уверен. И ребенок, наверное, будет крепче, чем если б он родился от него. Ведь господин Дувье не ахти какой здоровяк.

Бернар слишком любил Лауру, чтобы не почувствовать себя шокированным развязностью Эдуарда, но все же ничем не выдал своих чувств.

— Слава Богу! — проговорил Эдуард, гася свечу.— Я рад, что так хорошо кончается вся эта история, у которой, казалось, был только один исход — отчаяние. Каждому случается делать ложный шаг. Самое важное — не упорствовать...

— Разумеется, — сказал Бернар, желая прекратить этот разговор.

— Должен признаться вам, Бернар, я боюсь, не сделал ли я с вами...

— Ложного шага?

— Увы, да. Несмотря на всю привязанность, какую я питаю к вам, в последние дни я все больше и больше убеждаюсь, что мы не созданы для взаимного понимания и что... — он помедлил несколько мгновений, подыскивая слова, — ...дальнейшее ваше пребывание в моем обществе собьет вас с пути.

Бернар держался того же мнения, пока Эдуард не

высказался; но, конечно, никакие слова Эдуарда не могли бы больше задеть Бернара за живое. Увлекаемый духом противоречия, Бернар запротестовал:

— Вы не знаете меня как следует, да и сам я хорошенько себя не знаю. Вы не подвергли меня испытанию. Если у вас нет каких-либо упреков по отношению ко мне, могу я попросить вас подождать еще? Я допускаю, что мы очень мало похожи друг на друга; но мне казалось, что наше взаимное несходство как раз и является обстоятельством, служащим на пользу каждому из нас. Мне кажется, что если я могу помочь вам чем-нибудь, то главным образом своими отличиями, тем новым, что я принес бы вам. Если я обманываюсь, то всегда будет время дать мне понять это. Я не принадлежу к числу людей, вечно жалующихся и обвиняющих других в несправедливости. Послушайте, вот что я предлагаю вам; может быть, это глупо... Маленький Борис, насколько я понял, должен поступить в пансион Ведель-Азаис. Не выражала ли вам Софроницкая своих опасений, что он будет чувствовать себя там несколько потерянным? Если я сам заявлюсь туда с рекомендацией Лауры, не могу ли я надеяться получить там какую-нибудь работу: сделаться репетитором, надзирателем или чем-нибудь в этом роде? Мне нужен заработок. За то, что я буду там делать, я много не спрошу, удовлетворюсь столом и комнатой... Софроницкая питает ко мне доверие, а с Борисом я прекрасно умею ладить. Я буду оказывать ему покровительство, помогать ему, сделаюсь его наставником, другом. В то же время я мог бы остаться в вашем распоряжении, работал бы для вас в свободные часы и отвечал бы на малейший зов с вашей стороны. Что вы на это скажете?

И, как бы для того, чтобы придать слову «это» больший вес, прибавил:

— Я думаю над этим уже целых два дня.

Это была неправда. Если бы он сочинил этот прекрасный проект не сию минуту, он уже рассказал бы о нем Лауре. Правда, которой он не высказывал, заключалась в том, что со времени нескромного прочтения дневника Эдуарда и встречи с Лаурой он часто думал о пансионе Веделей; он желал познакомиться с Арманом, другом Оливье, о котором Оливье никогда ему не говорил; еще больше он желал познакомиться с Сарой, младшей сестрой; но его любопытство было глубоко затаено; из уважения к Лауре он не признавался в нем даже самому себе.

Эдуард ничего не отвечал; однако проект, предлагаемый

Бернаром, нравился ему, если бы он обеспечил молодому человеку жилье. Ему мало улыбалась необходимость дать ему приют у себя. Бернар потушил свечу и снова заговорил:

— Не думайте, будто я ничего не понял из того, что вы рассказывали о своей книге и о конфликте, который, по-вашему, имеет место между голой реальностью и...

— Я не выдумываю этого конфликта, он существует в жизни.

— Но именно поэтому не будет ли очень кстати, если я стану снабжать вас фактами, чтобы дать вам возможность бороться с ними? Я буду наблюдать за вас.

Эдуард не был уверен, что в словах его собеседника не заключена скрытая издевка над ним. По правде говоря, он чувствовал себя несколько посрамленным Бернаром. Бернар выражал свои намерения слишком отчетливо...

— Мы обсудим этот вопрос,— сказал Эдуард.

Наступило продолжительное молчание. Бернар тщетно пытался уснуть. Письмо Оливье мучило его. В конце концов он не выдержал и, услышав, что Эдуард ворочается в своей постели, сказал вполголоса:

— Если вы не спите, то разрешите мне обратиться к вам еще с одним вопросом... что вы думаете о графе Пассаване?

— Черт, вы это отлично знаете,— отвечал Эдуард. Затем, через несколько мгновений: — А вы?

— Я...— прошептал Бернар с ненавистью,— я бы убил его.

VI

Путник, достигший вершины холма, садится и всматривается в даль, прежде чем продолжать свой путь, который теперь пойдет под гору; он старается разглядеть, куда же приведет его избранная им извилистая тропа, которая, кажется ему, теряется в сумраке и — так как спускается ночь — даже во мраке. Так и непредусмотрительный автор останавливается на мгновение, переводит дух и с беспокойством спрашивает себя, куда же приведет его рассказ.

Боюсь, что, доверяя маленького Бориса Азаисам, Эдуард совершает оплошность. Как уберечь его от этого поступка? Каждое живое существо действует по своим собственным законам, а законы, управляющие поведением Эдуарда, заставляют его без конца экспериментировать. Сердце у него доброе, это верно, но для спокойствия других я часто

предпочел бы, чтобы в своих поступках он руководился расчетом, ибо великодушные, увлекающее его, часто является лишь спутником любопытства, которое может стать жестоким. Он знает пансион Азаисов; знает отравленный воздух, которым в нем дышат под удушающим покровом морали и религии. Он знает Бориса, его нежность, его хрупкость. Ему следовало бы предвидеть, какого рода воздействиям он его подвергает. Но он соглашается принимать в расчет только покровительство, помощь и поддержку, которые неустойчивая чистота ребенка может найти в суровости старика Азаиса. К каким софизмам он прислушивается? Наверное, дьявол нашептывает ему их, ибо он не стал бы слушаться, если бы они исходили от других.

Эдуард не раз раздражал меня (хотя бы своими отзывами о Дувье), даже приводил в негодование; надеюсь, что я не слишком обнаруживал свои чувства; но теперь я могу откровенно в этом признаться. Его поведение по отношению к Лауре, подчас столь благородное, не раз казалось мне возмутительным.

Мне совсем не нравятся доводы, которыми Эдуард оправдывает свои поступки. Зачем он пытается убедить себя, что заботится о благе Бориса? Лгать другим куда ни шло, но лгать самому себе! Разве поток, в котором тонет ребенок, утоляет его жажду, как он утверждает?.. Я не отрицаю, что в мире существуют поступки благородные, великодушные и даже бескорыстные; я утверждаю только, что за самым высоким мотивом часто прячется хитрый чертенок, который умеет извлечь выгоду из того, что мы, казалось, у него отвоёвывали.

Воспользуемся периодом летнего отдыха, разбросавшего наших героев, и на досуге разглядим их повнимательнее. К тому же мы достигли того срединного момента нашей истории, когда течение ее замедлилось и как будто набирается новой энергии, чтобы устремиться вперед с большей скоростью. Бернар, несомненно, слишком еще молод, чтобы взять на себя руководящую роль в интриге. Он взялся охранять Бориса; он будет в состоянии самое большое наблюдать за ним. Мы видели уже перемену, происшедшую в Бернаре; страсти могут еще больше изменить его. Я нахожу в своей записной книжке несколько фраз, в которых выражено то, что я думал о нем раньше:

«Мне следовало бы отнестись с недоверием к тому слишком резкому поступку, который совершил Бернар в начале этой истории. Мне кажется, если судить по его после-

дующим настроениям, он как бы истощил в этом поступке все свои анархические наклонности, которые, вероятно, продолжали бы жить в нем, если бы он, как ему приличествовало, остался прозябать под гнетом своей семьи. Совершив этот поступок, он испытывал в дальнейшем как бы реакцию, ощущал в себе протест против него. Приобретенная им привычка к бунту и противоречию приводит его к мятежу против самого бунта. Несомненно, он не является тем из моих героев, которые доставили бы мне большое разочарование, потому что он не был, пожалуй, тем, на кого я возлагал слишком большие надежды. Пожалуй, он слишком рано положился на собственные силы».

Но эти соображения больше не кажутся мне справедливыми. Я думаю, Бернару следует оказать некоторое доверие. Рыцарское отношение к нему его ободряет. Я чувствую в нем мужество, силу, он способен исполниться негодованием. Он, пожалуй, слишком любитесь своими речами, но нужно признать, говорит он хорошо. Я отношусь с недоверием к чувствам, которые чересчур быстро находят для себя выражение. Это прекрасный ученик, но новые чувства не очень легко отливаются в заученные формы. Проявление собственного творчества сделало бы его косноязычным. Он уже много прочитал, много запомнил и гораздо больше узнал из книг, чем из жизни.

Я крайне огорчен капризом судьбы, поставившим его на место Оливье подле Эдуарда. События сложились неудачно. Эдуард любил Оливье. С какой заботливостью он следил бы за его духовным развитием! С каким любовным вниманием он руководил бы им, поддерживал его, приобщал к своим замыслам! Пассаван испортит его, в этом нет сомнения. Ничто так не губительно для Оливье, как эта беззащитная лесь. Я надеялся, что Оливье сумеет лучше защищаться; но душа у него нежная и чувствительная. Лесь туманит его мысли. Более того, по отдельным нюансам его письма к Бернару мне показалось, что он немного тщеславен. Чувственность, досада, тщеславие, сколько поводов для нарекания на него! Когда Эдуард снова встретится с ним, боюсь, будет слишком поздно. Но Оливье еще молод, и мы вправе на него надеяться.

Пассаван... о нем, говорить не стоит, не правда ли? Нет людей столь отпетых и в то же время окруженных таким всеобщим одобрением, как мужчины его типа, разве что женщины, подобные леди Гриффитс. Первоначально, сознаюсь, она казалась мне довольно содержательной. Но

я раскусил ее и понял свою ошибку. Такие персонажи выкроены из материала крайне непрочного. Во множестве их поставляет Америка, но не она одна производит их. Богатство, ум, красота — все, кажется, у них есть, кроме души. Винценту, конечно, скоро придется убедиться в этом. Их не сдерживают никакие традиции, никакие ограничения; для них нет законов, нет авторитетов, нет угрызений совести; свободные и полные прихотей, они приводят в отчаяние романиста, которому удастся добиться от них лишь пустых капризов, обусловленных минутой. Надеюсь, я надолго расстанусь с леди Гриффитс. Мне жаль, что она похитила у нас Винцента, который возбуждал во мне большой интерес; от частого общения с ней он пошлеет; обработанный ею, он утрачивает свою угловатость. Жаль: именно в ней и заключалась известная прелесть.

Если мне случится когда-нибудь сочинить еще роман, я населю его только закаленными характерами, которых жизнь не притупляет, а, напротив, изошряет. Лаура, Дувье, Лаперуз, Азаис... что делать со всеми этими людьми? Я не искал их; следуя за Бернаром и Оливье, я просто встретился с ними на своем пути. Тем хуже для меня; отныне я перед ними в долгу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПАРИЖ

Когда мы будем обладать еще несколькими хорошими новыми монографиями, посвященными изучению отдельных областей, тогда, и только тогда, группируя их данные, сравнивая и самым тщательным образом сопоставляя их, мы будем в состоянии снова поставить вопрос об общей картине, сообщить ему новое и плодотворное движение. Поступать иначе — значило бы мчаться в курьерском поезде со скудным багажом из двух или трех простых и грубых идей. Это значило бы проходить в большинстве случаев мимо частного, индивидуального, неправильного, словом, мимо самого интересного.

*Люсьен Февр.
«Земля и эволюция человека»*

I

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

Возвращение в Париж не доставило ему никакого удовольствия.

Флобер. «Воспитание чувств»

22 сентября

Жара, скука. Возвратился в Париж на неделю раньше. Моя торопливость всегда будет до призыва гнать меня под знамена. Скорее любопытство, чем усердие; желание предвосхищать события. Я никогда не умел совладать со своей жаждой.

Привел Бориса к дедушке. Софроницкая, предупредившая накануне старика, сообщила мне, что госпожа Лаперуз поступила в богадельню. Уф!

Позвонил и оставил мальчика на площадке лестницы, решив, что будет деликатнее не присутствовать на первом свидании: боялся благодарности старика. Расспрашивал потом мальчика, но не мог добиться от него ни слова. Софроницкая, с которой я тоже виделся, сказала мне, что и ей Борис ничего не сказал. Когда час спустя она пришла за ним, как было условлено, ей открыла дверь служанка; Софроницкая застала старика сидящим за партией в шашки; мальчик стоял надувшись в противоположном углу комнаты.

— Странно,— сказал Лаперуз, совершенно растерявшись,— мне казалось, что игра развлекает его, но он вдруг заупряился. Боюсь, что он немного нетерпелив...

Было ошибкой оставлять их одних на столь продолжительное время.

27 сентября

Сегодня утром встретил Молинье под галереями Одеона. Полина и Жорж возвращаются только послезавтра. Находясь в Париже еще со вчерашнего дня, Молинье подобно мне скучал в одиночестве; поэтому нет ничего удивительного, что он очень обрадовался нашей встрече. Мы решили позавтракать вместе и в ожидании часа завтрака отправились посидеть в Люксембургский сад.

В моем обществе Молинье напустил на себя игривость и заговорил шутливым тоном, который, видимо, по его мнению, больше всего должен был прийти по вкусу писателю. Он желал еще показать себя бодрым и крепким.

— В сущности, я человек страстный, — заявил он. Я понял, что он хочет сказать «похотливый». Я улыбнулся, как мы улыбаемся, когда слышим от женщины заявление, что у нее красивые ноги; улыбка, которая обозначает: «Поверьте, я в этом никогда не сомневался». До сего дня я видел в Молинье только чиновника; он впервые представал передо мной без мундира.

Я подождал, пока мы усядемся за столик у Фуайо, и заговорил с ним об Оливье; сказал, что получил недавно известия о его сыне от одного из его товарищей, который сообщал мне, что мальчик путешествует по Корсике с графом де Пассаваном.

— Да, это друг Винцента, предложивший Оливье поехать с ним. Так как Оливье только что с успехом выдержал выпускные экзамены, мать не сочла себя вправе отказать ему в небольшом удовольствии... Этот граф де Пассаван — литератор. Вы, вероятно, его знаете.

Я не скрыл от Молинье, что мне не очень нравятся его книги и он сам.

— Собратья по перу часто судят друг друга чересчур строго, — возразил он. — Я дал себе труд прочитать его последний роман, который до небес превозносят некоторые критики. Не скажу, чтобы я нашел в нем что-то особенное, но, вы знаете, я в этом мало смыслю...

Затем, в ответ на мои опасения относительно дурного влияния, которое Пассаван может оказать на Оливье, он промямлил:

— По правде сказать, лично я не одобрял этого путешест-

вия. Но нужно всегда помнить, что, начиная с известного возраста, дети ускользают от нашего влияния. Это в порядке вещей, и ничего с этим не поделаешь. Полина хотела бы вечно присматривать за ними. Я говорю ей иногда: «Ты только раздражаешь своих сыновей. Оставь их в покое. Ты сама внушаешь им всякие мысли своими расспросами...» Я держусь того мнения, что от долгого присмотра за ними нет никакого проку. Важно, чтобы первоначальное воспитание привило им добрые принципы. Особенно важно, чтобы у них были крепкие задатки. Видите ли, дорогой мой, наследственность торжествует над всем. Есть дурные субъекты, которых ничто не способно исправить; те, кого мы называем «неисправимыми». Их необходимо держать в большой строгости. Но когда имеешь дело с добрыми натурами, можно немного ослабить вожжи.

— Вы сказали мне, однако,— продолжал я,— что не давали согласия на эту поездку Оливье.

— Ах, мое согласие... мое согласие,— сказал он,— уткнув нос в тарелку,— иногда обходятся и без моего согласия! Нужно принять во внимание, что в семьях — даже в тех, где супруги живут душа в душу,— решающее слово не всегда принадлежит мужу. Вы не женаты, вас это не интересует...

— Извините, пожалуйста,— сказал я со смехом,— но я романист.

— В таком случае вы, несомненно, должны были заметить, что не всегда по слабости характера мужчина позволяет жене вертеть собой.

— В самом деле,— согласился я, чтобы ему польстить,— есть твердые и даже властные мужчины, которые в семейной жизни проявляют кротость ягненка.

— Знаете, чем это объясняется?..— спросил он.— Если муж уступает жене, это в девяти случаях из десяти признак того, что за ним водятся грешки. Добродетельная жена, дорогой мой, извлекает выгоду из всего. Стоит мужу немного нагнуться, как она садится ему на шею. Ах, друг мой, бедные мужья иногда тоже достойны сожаления! Когда мы молоды, мы желаем целомудренных супругов, не зная того, во что нам обойдется их добродетель.

Облокотившись на стол и подперев рукой подбородок, я наблюдал Молинье. Бедняга не подозревал, насколько согбенное положение, на которое он жаловался, казалось естественным для его спины; он часто вытирал лоб, много ел, будучи похож не столько на гурмана, сколько на обжору, и, казалось, особенно смаковал заказанное нами

старое бургундское. Очень довольный тем, что его слушали, понимали и, по его мнению, вероятно, одобряли, он изливался в признаниях.

— Особенности судебного чиновника,— продолжал он,— привели меня к знакомству с женщинами, которые отдавались своим мужьям против воли, скрепя сердце... и которые, однако, приходят в негодование, когда несчастный отверженный начинает искать себе «пищу» на стороне.

Судебный чиновник начал фразу в прошедшем времени; муж закончил ее в настоящем, ясно свидетельствовавшем о желании самооправдаться. Он прибавил тоном поучения, между двумя глотками:

— Appetit другого легко кажется чрезмерным, когда его не разделяешь.— Выпив большую рюмку вина, он продолжал: — Вот вам, дорогой друг, объяснение, как муж утрачивает главенство в семейной жизни.

Но я слышал больше и угадывал в кажущейся несвязности его речей желание переложить ответственность за свои грешки на добродетель жены. Таким развинченным, как этот паяц, существам, думал я, недостаточно всего их эгоизма, чтобы как-то скреплять не согласующиеся друг с другом элементы их личности. Стоит нам только немного забыться, и они разваливаются на куски. Он замолчал. Мне захотелось подбавить несколько своих замечаний, как подливают масло в машину, которая только что совершила перегон; поэтому, чтобы побудить его продолжать, я отважился сказать:

— К счастью, Полина рассудительна.

Он произнес: «Да...», но так протяжно, что оно прозвучало у него, как сомнение, затем продолжал:

— Есть, однако, вещи, которых она не понимает. Знаете, как бы ни была рассудительна женщина... Впрочем, я согласен, что в данном случае я действовал не особенно ловко. Я вздумал рассказать ей о маленьком приключении, когда сам считал, даже был убежден, что история не зайдет слишком далеко. Однако она имела продолжение... а вместе с ней стали все больше расти подозрения Полины. Я совершил ошибку, пустив ей, как говорится, блоху в ухо. Пришлось притворяться, лгать... Вот что значит не вовремя распускать язык. Что поделаешь! Я от природы откровенен... Но Полина страшно ревнива, и вы не можете представить, как мне пришлось хитрить.

— И давно это? — спросил я.

— О, это длится уже около пяти лет, и я думаю, что мне

удалось совершенно успокоить ее. Но все грозит повториться сначала. Представьте себе, что позавчера... Не спросить ли нам еще бутылку помара, а?

— Только не для меня, прошу вас.

— Может быть, они подают и не целыми бутылками? Я сосну потом часок. Жара одолевает меня... Так вот, позавчера, возвратившись домой, открываю я свой письменный стол, чтобы привести в порядок бумаги. Выдвигаю ящик, в котором прячу письма... особы, о которой идет речь. Представьте себе мой ужас, дорогой мой: ящик пуст. Ах, черт возьми, для меня ясно, как все произошло! Две недели тому назад Полина приезжала с Жоржем в Париж на свадьбу дочери одного из моих коллег; я не имел возможности присутствовать на этой свадьбе, так как, вы знаете, находился в Голландии... кроме того, все эти церемонии, скорее, женское дело. Праздник, в пустой квартире, под предлогом уборки... вы знаете, что женщины всегда немного любопытны... она, наверно, начала рыться... о, ничего дурного я не хочу подозревать. Я не обвиняю ее. Просто у Полины всегда была священная потребность наводить порядок... Как, по-вашему, я должен теперь объяснить ей все, когда у нее в руках доказательства? Если бы еще крошка не называла меня по имени! Такое согласное супружество! Когда я думаю о том, что мне следует предпринять...

Бедняга путался в своих признаниях. Он вытирал себе лоб, обмахивался платком. Я выпил гораздо меньше, чем он. Сердце не обладает способностью соболезновать по заказу; я испытывал к нему лишь отвращение. Я соглашался видеть в нем отца семейства (хотя мне и тяжело было сознавать, что он отец Оливье), порядочного и честного буржуа, отставного чиновника; но влюбленный он был мне только смешон. Особенно неприятное впечатление на меня производили нескладность и тривиальность его объяснений, его жалкая мимика; ни его лицо, ни его голос, казалось, не были созданы для передачи чувств, которые он выражал; впечатление контрабаса, пытающегося передать эффекты альты: его инструмент издавал лишь сильные звуки.

— Вы сказали, что с ней был Жорж...

— Да, она не хотела оставить его одного. Но, понятно, в Париже он не всегда висел у нее на шее... Могу вас уверить, дорогой мой, что за все двадцать шесть лет нашего супружества у нас не было ни одной ссоры, ни одной размовки... Когда я начинаю думать о том,

что мне предстоит... ведь Полина возвращается через два дня... Давайте лучше поговорим о другом. Да! Что вы скажете о Винценте? Князь Монако, прогулка на яхте... Черт возьми!.. Как, вы не знаете?.. Да, он недавно отправился наблюдать измерение морских глубин и морские промыслы подле Азорских островов. Ах, о нем мне нечего беспокоиться, уверяю вас! Этот сам пробьет себе дорогу.

— Как его здоровье?

— Совершенно восстановилось. Будучи обладателем такого ума, он, по-моему, добьется славы. Граф де Пассаван не скрыл от меня, что считает его одним из самых замечательных людей, с кем ему приходилось встречаться. Он даже сказал: самым замечательным... но это, конечно, преувеличение...

Завтрак подходил к концу; он закурил сигару.

— Могу я спросить у вас, — снова обратился он ко мне, — что это за друг Оливье передал вам известия о нем? Замечу вам, что я придаю огромное значение знакомствам моих детей. Я полагаю, в этом отношении нужно быть крайне бдительным. Мои дети, к счастью, обладают естественной склонностью сходиться только с самыми лучшими людьми. Смотрите: Винцент дружит с князем, Оливье — с графом де Пассаваном... Даже Жорж отыскал в Ульгате своего одноклассника, юного Адаманти, который к тому же поступит вместе с ним в пансион Ведель-Азаис; мальчик очень надежный: отец его сенатор с Корсики. Но заметьте, до какой степени нужно быть осмотрительным: у Оливье был друг, по-видимому, из хорошей семьи: некий Бернар Профитандье. Нужно вам сказать, что Профитандье-отец — мой сослуживец: один из самых замечательных людей, и я питаю к нему особенное уважение. Но... пусть это останется между нами... я узнал недавно, что он не является отцом мальчика, носящего его имя! Что вы скажете на это?

— Как раз этот самый Бернар Профитандье и сообщил мне новости об Оливье, — сказал я.

Молинье несколько раз затыкнул сигарой и, высоко подняв брови, от чего его лоб покрылся морщинами, произнес:

— Я предпочитаю, чтобы Оливье не слишком общался с этим мальчиком. Я получил компрометирующие сведения о нем, которые, впрочем, не очень меня удивили. Согласитесь, что нет основания ожидать добра от ребенка, рожденного при таких печальных обстоятельствах. Я не хочу сказать, что незаконный ребенок не может обладать крупными достоинствами, даже добродетелями; но, будучи плодом

самовольства и неподчинения, он обязательно носит в себе зародыши анархии... Да, дорогой мой, то, что должно было случиться, случилось. Юноша Бернар внезапно покинул семейный очаг, возврат куда отныне ему заказан. Он отправился «жить своей жизнью», как говорил Эмиль Ожье; жить неизвестно как и неизвестно где. Несчастный Профитандье, сам рассказавший мне об этой передрыге, вначале, казалось, был сильно потрясен. Я постарался убедить его, что дело не следует принимать столь близко к сердцу. В общем, уход этого мальчика все поставил на свои места.

Я возразил, что достаточно знаю Бернара, чтобы поручиться в его благородстве и порядочности (понятно, я воздержался от рассказа об истории с чемоданом). Но Молинье тотчас же набросился на меня:

— Оставьте! Я вижу, что мне придется рассказать вам еще кое о чем.

Затем, придвинувшись ко мне, продолжал вполголоса:

— Моему сослуживцу Профитандье было поручено следствие по одному крайне грязному и щекотливому делу, оно таково как по существу, так и по шуму, который может вызвать, и последствиям, какие может иметь. Совершенно фантастическая история, которой так не хотелось бы верить... Дело идет, дорогой мой, о настоящем притоне разврата, о... нет, не хочу употреблять непотребные слова, скажем, о чайном домике, чьей скандальной особенностью является то, что завсегдагаи его гостиных состоят по большей части и почти исключительно из совсем зеленой школьной молодежи. Говорю вам, это совершенно невероятно. Дети, наверное, не отдают себе отчета в серьезности своих поступков, потому что они почти не пытаются их скрывать. Это происходит по окончании классов. Они закусывают, разговаривают, развлекаются с этими дамами; и развлечения находят себе продолжение в комнатах, примыкающих к гостиным. Понятно, туда нет доступа всем желающим. Нужно быть представленным, отрекомендованным. Кто несет издержки по устройству этих оргий? Кто платит за помещение? Обнаружить это было, по-видимому, не так трудно, но необходимо было вести расследование с крайней осторожностью из опасения узнать слишком много и быть вынужденным в итоге привлечь к допросу и скомпрометировать почтенные семьи, на детей которых пало подозрение как на главных клиентов заведения. Вследствие этого я сделал все возможное, чтобы умерить пыл Профитандье, который набросился как разъяренный бык на это дело, не

подозревая, что первым ударом рогов... ах, извините меня, я сказал это не нарочно, ха! ха! смешно, вырвалось у меня нечаянно... он рискует проткнуть собственного сына. К счастью, каникулы привели к перерыву собраний; школьники разъехались, и я надеюсь, все это дело будет замято и потушено без скандала после кое-каких предупреждений и не подлежащих огласке санкций.

— Вы вполне уверены, что Бернар Профитандье замешан в этом деле?

— Не вполне, но...

— Что же заставляет вас предполагать это?

— Прежде всего, тот факт, что он незаконнорожденный. Вы понимаете, конечно, что мальчик его лет способен порвать с семьей, только потеряв всякий стыд... Кроме того, у меня есть основания предполагать, что Профитандье собрал некоторые улики, так как его пыл вдруг остыл; больше того, он как будто даже забил отбой, и в последний раз, когда я спрашивал его о состоянии дела, он обнаружил замешательство. «Я думаю, что мое следствие окончится безрезультатно»,— сказал он мне и тотчас же переменял тему разговора. Бедняга Профитандье! Честное слово, он не заслужил того, что с ним стряслось. Это порядочный человек, и, что, может быть, встречается реже, славный малый. Да, кстати, дочь его только что очень удачно вышла замуж. Я не мог присутствовать на свадьбе, потому что был в Голландии, но Полина и Жорж специально приезжали в Париж. Я ведь уже говорил вам об этом? Ну, мне пора пойти вздремнуть... Как, вы хотите заплатить за все? Бросьте! Разделим по-товарищески... Не стоит? Ну, до свидания. Не забывайте, что Полина приезжает через два дня. Заходите к нам. И потом, не называйте меня больше Молинье, говорите просто Оскар!.. Я уже давно хотел просить вас об этом.

Сегодня вечером получил записку от Рашели, сестры Лауры:

«Мне нужно поговорить с вами по важному делу. Можете ли вы, если это не доставит вам неудобства, прийти в пансион завтра после двенадцати? Вы окажете мне большую услугу».

Если бы Рашель желала поговорить со мной о Лауре, она не стала бы ждать. Она пишет мне в первый раз.

II

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

(продолжение)

28 сентября

Я встретил Рашель на пороге большой классной комнаты на первом этаже пансиона. Два служителя подметали пол. Она тоже была в переднике, с тряпкою в руке.

— Я знала, что могу рассчитывать на вас,— сказала она мне, подавая руку, с выражением нежной грусти и покорности, но с улыбкой более трогательной, чем красота.— Если вы не очень спешите, то лучше поднимитесь сначала наверх и поздоровайтесь с дедушкой и мамой. Если они узнают, что вы приходили и не навестили их, они будут огорчены. Но не задерживайтесь, мне непременно нужно поговорить с вами. Вы меня найдете здесь, видите, я наблюдаю за уборкой.

Из какого-то ложного стыда она никогда не говорит «я работаю». Вся жизнь Рашель держалась в тени; нет ничего более деликатного и скромного, чем ее добродетель. Ее самоотречение таково, что ни один из членов семьи не чувствует к ней благодарности за ее вечное самопожертвование. Это самая прекрасная женская душа, какую я знаю.

Поднялся на третий этаж к Азаису. Теперь старик почти не покидает своего кресла. Он усадил меня подле себя и сразу же завел речь о Лаперузе.

— Меня очень беспокоит его одиночество, и я хотел бы убедить его переехать к нам в пансион. Вы знаете, мы старые друзья. Я заходил к нему недавно. Боюсь, что переезд его дорогой жены в Сент-Перин очень расстроил его. По моему мнению, обыкновенно мы едим слишком много; но во всем нужно соблюдать меру, и можно пересолить в ту или другую сторону. Он считает излишней роскошью, чтобы для него одного стряпали обед; но если бы он обедал с нами, то вид обедающих возбуждал бы у него аппетит. Он был бы здесь подле своего прелестного внука, между тем при теперешних условиях ему представится очень мало случаев видаться с ним, ибо улица Вавен в предместье Сент-Оноре — это дальний путь. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы ребенок ходил один по Парижу. Я давно уже знаком с Анатолом Лаперузом. Он всегда был

чудаком. Это не упрек, но он от природы немного горд и не принял бы, наверное, гостеприимства, которое я ему предлагаю, не внося плату за свое содержание. Поэтому мне пришла в голову мысль предложить ему присматривать за занятиями учеников, что будет для него не слишком утомительно и, кроме того, доставит ему некоторое развлечение, отвлечет от мыслей о себе. Он хороший математик и мог бы, в случае надобности, давать уроки по геометрии или по алгебре. Теперь, когда у него нет учеников, обстановка и рояль больше не нужны ему; ему следовало бы бросить свою квартиру; и так как после переезда сюда ему не пришлось бы платить за помещение, я подумал, что мы, пожалуй, согласились бы брать с него маленькую плату за пансион, чтобы его подбодрить и чтобы он не чувствовал себя всем обязанным мне. Вы должны постараться убедить его и сделать это не откладывая, потому что при его теперешнем образе жизни, боюсь, он скоро ослабеет. Кроме того, через два дня возобновятся занятия в пансионе; было бы полезно знать, чего держаться и можно ли также рассчитывать на него... как он может рассчитывать на нас.

Я обещал поговорить с Лаперузом завтра же. Словно почувствовав облегчение, он продолжал:

— Какой славный мальчик ваш протеже Бернар! Он так любезно изъявил готовность оказывать нам небольшие услуги; он предложил наблюдать за занятиями младших учеников; но боюсь, что сам он немного молод и не сумеет заставить их относиться к себе с почтением. Я долго разговаривал с ним и нашел его весьма симпатичным. Как раз из характеров такого закала и выковываются лучшие христиане. Крайне прискорбно, что первоначальное воспитание направило эту душу по ложному пути. Он сознался мне, что неверующий; но он сказал это таким тоном, который исполнил меня доброй надеждой. Я ответил ему, что надеюсь найти в нем все качества, необходимые для образования храброго Христовя воина, и что он должен приложить все усилия, чтобы пустить в дело вверенные ему Богом таланты. Мы вместе перечитали притчу, и я думаю, что доброе семя упало не на бесплодную почву. Он был взволнован моими словами и обещал мне подумать над ними.

Бернар уже рассказал мне об этой беседе со стариком: мне было известно, что он о ней думал, поэтому разговор становился для меня в достаточной мере тягостным. Я поднялся уже, чтобы уйти, но Азаис не выпускал протянутую мною руку и продолжал:

— Да, вот еще что! Я виделся с нашей Лаурой. Я узнал, что моя милая внучка провела с вами целый месяц в горах, по-видимому, это принесло большую пользу ее здоровью. Я рад, что она снова подле мужа, который, должно быть, уже страдал от ее долгого отсутствия. Очень жаль, что занятия не позволили ему приехать к вам туда.

Я рвался уйти, испытывая все большее замешательство, так как не знал, что могла сказать ему Лаура, но он привлек меня к себе порывистым и повелительным движением руки и нагнулся к моему уху:

— Лаура сообщила мне по секрету, что питает надежды, но, тс!.. Она желает пока скрывать это. Я говорю вам потому, что знаю — вы в курсе дела, а мы оба умеем молчать. Бедная девочка была совсем сконфужена, доверяя мне свою тайну, и вся покраснелась; она так скромна. Она бросилась на колени передо мной, и мы вместе возблагодарили Бога за то, что он благословил этот союз.

Мне кажется, Лаура лучше сделала бы, если бы отложила свое признание, к которому не принуждало еще ее состояние. Если бы она обратилась за советом ко мне, я предложил бы ей подождать встречи с Дувье, прежде чем говорить о чем-либо. Азаис видит здесь только пылкость, но другие члены семьи вряд ли окажутся такими простаками.

Старик исполнил еще несколько вариаций на разные пасторские темы, затем сказал, что его дочь будет рада увидеться со мной, и я спустился на этаж, который занимали Ведели.

Перечитал только что написанное. Говоря так об Азаисе, не его, а себя воображаю я в невыгодном свете. Я отлично это понимаю и прибавляю несколько строчек в назидание Бернару на тот случай, если его очаровательная нескромность снова побудит его сунуть нос в эту тетрадь. Несмотря на недолгое свое знакомство со стариком, он поймет, что я хочу сказать. Я очень люблю старика и «сверх того», как он говорит, уважаю его; но едва я оказываюсь подле него, мне становится как-то не по себе; вследствие этого его общество в достаточной степени меня тяготит.

Я очень люблю его дочь, пасторшу. Госпожа Ведель похожа на Эльвиру Ламартина, правда, состарившуюся. Разговор ее не лишен прелести. Ей довольно часто случается не заканчивать произносимых фраз, отчего мысль окутывается как бы поэтической дымкой. Неточность

и незаконченность она превращает в бесконечность. Она от будущей жизни ожидает всего, чего ей недостает на земле; это позволяет ей безгранично расширять область своих надежд. Самая узость ее кругозора способствует ее устремлению ввысь. Достаточно ей редко встречаться с Веделем, чтобы вообразить, будто она его любит. Достойный человек постоянно в отлучке: тысяча всяких дел, забот, проповеди, съезды, посещение бедных и больных вынуждают его лишь изредка бывать дома. Он всегда пожимает вам руку на ходу, но тем более сердечно.

— Очень тороплюсь и не могу поговорить с вами.

— Встретимся на небесах, там и наговоримся,— отвечаю я ему, но он не успевает меня услышать.

— Ни минуточки свободной,— вздыхает госпожа Ведель.— Если бы вы знали, сколько работы он взваливает на себя, с тех пор как... Так как всем известно, что он никогда не отказывается, то... Вечером, когда он возвращается, он бывает иногда таким усталым, что я почти не осмеливаюсь заговаривать с ним из страха, что... Он столько отдает другим, что у него ничего не остается для своих.

Когда она говорила это, мне вспомнились некоторые возвращения Веделя во времена, когда я жил в пансионе. Вспомнилось, как он охватывал голову руками и громко зевал. Но уже тогда мне казалось, что он, пожалуй, скорее страшился этого краткого отдыха, чем желал его, и что больше всего ему был бы тягостен досуг, который позволил бы ему привести в порядок свои мысли.

— Вы не откажетесь выпить чашку чаю? — обратилась ко мне госпожа Ведель, когда служанка принесла поднос с чайным прибором.

— Мадам, у нас сахару нет.

— Я уже сказала, что вы должны обращаться за этим к барышне Рашель. Ступайте живо... Вы звали наших молодых людей?

— Мсье Бернар и мсье Борис ушли.

— А мсье Арман?.. Живее!

Затем, не дожидаясь, когда служанка выйдет:

— Эта бедная девушка родом из Страсбурга. У нее нет никакой... Все приходится растолковывать ей... Ну, чего же вы ждете?

Служанка обернулась словно змея, которой наступили на хвост.

— Внизу ждет репетитор, он хотел подняться сюда. Говорит, что не уйдет, пока ему не заплатят.

Лицо госпожи Ведель приняло трагическое выражение.

— Ну сколько раз мне повторять, что не я занимаюсь денежными делами. Скажите ему, чтобы он обращался к барышне. Ступайте!.. Ни минуты покоя! Ей-богу, не понимаю, о чем думает Рашель.

— Мы не будем ждать ее к чаю?

— Она никогда не пьет чаю... Ах, это начало занятий нам причиняет столько беспокойства! Репетиторы, предлагающие свои услуги, требуют непомерной платы, а когда их требования приемлемы, они сами оказываются никуда не годными. Папа принужден был выразить последнему свое неудовольствие; он проявил слишком большую слабость по отношению к нему; теперь этот репетитор нам угрожает. Вы слышали, что говорила девушка. У всех этих людей на уме только деньги... словно в мире нет ничего более важного... Пока мы не знаем, кем его заменить. Проспер всегда того мнения, что нужно только помолиться Богу, и все устроится...

Служанка принесла сахар.

— Вы позвали мсье Армана?

— Да, барыня, он сейчас придет.

— А Сара? — спросил я.

— Она возвращается только через два дня. Она гостит у друзей в Англии — у родителей той молодой девушки, которую вы видели у нас. Они были очень любезны, и я рада, что Сара может немного... Лаура тоже. Я нашла, что она выглядит гораздо лучше. Это пребывание в Швейцарии после юга принесло ей много пользы, и вы были очень любезны, что уговорили ее. Один лишь несчастный Арман не покидал Парижа все каникулы.

— А Рашель?

— Ах да, вы правы: она тоже. У нее было много предложений, но она предпочла остаться в Париже. К тому же дедушка нуждался в ее помощи. И затем в этой жизни не всегда удастся делать то, что хочешь. Время от времени я должна повторять детям эту истину. Нужно помнить и о других. Неужели вы думаете, что мне самой не доставило бы удовольствия прокатиться в Саас-Фе? Или что Проспер, отправляясь в путешествие, делает это ради удовольствия? Арман, ты прекрасно знаешь, что я не люблю, когда ты приходишь сюда без воротничка,— прибавила она, увидя входящего в комнату сына.

— Дорогая мама, вы мне внушили, как религиозную обязанность, не придавать значения внешности,— сказал

он, подавая мне руку.— И очень кстати, потому что прачка приходит только во вторник, а оставшиеся у меня воротнички все изорваны.

Я вспомнил то, что Оливье говорил мне о своем приятеле, и мне действительно показалось, что за его злой иронией скрывалось выражение глубокой тревоги. Черты лица Армана обострились; длинный крючковатый нос нависал над тонкими бесцветными губами. Он продолжал:

— Вы сообщили вашему знатному гостю, что наша постоянная труппа к открытию зимнего сезона пополнилась несколькими новыми звездами: сыном одного глубокомысленного сенатора и юным виконтом де Пассаваном, братом знаменитого писателя? Не считая двух рядовых артистов, которых вы уже знаете, но которые от этого являются не менее почтенными: князя Бориса и маркиза де Профитандье; а также еще нескольких, титулы и достоинства которых еще предстоит установить.

— Вы видите, он все такой же,— сказала бедная мать, с улыбкой слушавшая эту насмешливую речь.

Боясь, чтобы он не заговорил о Лауре, я поспешил откланяться и спустился к Рашели.

Она, засучив рукава блузки, помогала убирать классную комнату, но поспешно опустила их, заметив мое приближение.

— Мне очень тяжело обращаться к вам за помощью,— начала она, увлекая меня в соседнюю комнату, служившую для занятий с учениками.— Я хотела было обратиться к Дувье, который просил меня об этом; но когда я увиделась с Лаурой, то поняла, что не могу больше этого сделать...

Рашель была очень бледна, и, когда она произносила последние слова, ее губы и подбородок конвульсивно задрожали, так что на несколько мгновений она принуждена была замолчать. Не желая ее смущать, я отвернулся. Она прислонилась к двери, прикрывши ее за собой. Я хотел тихонько пожать ей руку, но она вырвалась. Наконец, сделав над собой огромное усилие, она спросила сдавленным голосом:

— Можете вы одолжить мне десять тысяч франков? Набор у нас нынче хороший, и я надеюсь, что скоро буду в состоянии возратить вам долг.

— Когда вам нужны деньги?

Она не ответила.

— Тысяча франков с лишним сейчас при мне,— продолжал я.— Завтра утром я принесу вам всю сумму... Даже сегодня вечером, если необходимо.

— Нет, можно и завтра. Но если бы вы могли оставить мне сейчас тысячу франков...

Я вынул деньги из бумажника и протянул ей:

— Хотите тысячу четыреста?

Она опустила голову и сказала «да» так тихо, что я едва расслышал, затем, шатаясь, подошла к парте, тяжело опустилась на нее, облокотилась обеими руками на пюпитр, закрыла лицо и сидела несколько минут неподвижно. Мне показалось, она плачет, но, когда я положил ей руку на плечо, она подняла голову, и я увидел, что глаза у нее сухие.

— Рашель,— сказал я,— не стыдитесь вашей просьбы. Я счастлив, что могу оказать вам услугу.

Она пристально посмотрела на меня:

— Мне особенно тяжело просить вас не говорить об этом ни дедушке, ни маме. С тех пор как они поручили мне ведение хозяйства пансиона, я держу их в уверенности, что... словом, они ни о чем не знают. Не говорите им ничего, умоляю вас. Дедушка стар, а у мамы столько неприятностей.

— Рашель, вам, а вовсе не ей приходится терпеть все эти неприятности!

— Она уже столько натерпелась. Теперь она устала. Пришла моя очередь. Мне только и осталось, что заботы по хозяйству.

Она совсем просто произносила эти простые слова. Я не чувствовал в ее самоотречении никакой горечи, скорее, какую-то спокойную ясность.

— Не подумайте, что дела у нас плохи,— продолжала она.— Просто сейчас трудный момент, потому что некоторые кредиторы проявляют нетерпение.

— Я слышал сейчас от вашей служанки о каком-то репетиторе, требующем уплаты жалованья.

— Да, он устроил дедушке очень тяжелую сцену, которую я, к несчастью, не могла предотвратить. Это дерзкий и грубый человек. Мне необходимо тотчас же расплатиться с ним.

— Хотите, я пойду вместо вас?

Некоторое время она была в нерешительности, тщетно пытаясь улыбнуться.

— Спасибо вам. Нет, лучше я сама... Только выйдите, пожалуйста, вместе со мной. Я немножко его боюсь. В вашем присутствии он не посмеет говорить мне дерзости.

Двор пансиона возвышается на несколько ступенек над садом, который составляет его продолжение и отделяется от

него балюстрадой; репетитор опирался об эту балюстраду откинутыми назад локтями. Он был в широкополой фетровой шляпе и курил трубку. Пока Рашель вела с ним переговоры, ко мне снова подошел Арман.

— Рашель выклянчила у вас денег,— сказал он цинично.— Вы пришли весьма кстати, чтобы выручить ее из больших неприятностей. Скотина Александр, мой братец, наделал долгов в колониях. Рашель пожелала скрыть это от родителей. Она уже пожертвовала половиной своего приданого, чтобы немного увеличить приданое Лауры; теперь же пошла прахом и другая половина. Бьюсь об заклад, она ничего не сказала вам об этом. Ее скромность меня бесит. Жизнь жестоко издевается над людьми: можно быть уверенным, что всякий жертвующий собой для других стоит больше, чем они... Сколько она сделала для Лауры! Славно ей отплатила эта девка!

— Арман,— вскричал я с негодованием,— вы не имеете права осуждать вашу сестру.

Но он возразил резким, прерывающимся тоном:

— Напротив, я осуждаю ее именно потому, что я не лучше, чем она. Я себя знаю. Рашель — та не осуждает нас. Она никогда никого не осуждает... Да, Лаура — шлюха, шлюха... То, что я думаю о ней, я никому не поручал передавать ей, клянусь вам... И вы покрыли все это, взяли под свою защиту! Между тем как вы знали... Дедушка видит во всем этом только темперамент. Мама всячески старается ничего не понимать. Что касается папы, то он полагается на Господа: так удобнее. При каждом затруднении он молится Богу и предоставляет выпутываться Рашели. Больше всего он боится смотреть действительности прямо в глаза. Он мечется, разрывается на части, почти никогда не бывает дома. Я понимаю, что он задыхается здесь: я сам здесь подыхаю. Он старается одурманить себя, черт возьми! А мама в это время сочиняет стихи. О, я не смеюсь над ней; я тоже пишу стихи. Но я, по крайней мере, знаю, что я мерзавец, и никогда не пытался выдавать себя за что-либо другое. Ну, скажите, разве не отвратительно: дедушка, который «проявляет милосердие» к Лаперузу, потому что нуждается в репетиторе...— Потом вдруг Арман спросил: — Что этот негодяй смеет там говорить моей сестре? Если он не поклонится ей, уходя, я заеду ему кулаком в рыло...

Он бросился к человеку в широкополой шляпе, и я уже думал, что он сейчас его ударит. Но репетитор при его

приближении снял шляпу и отвесил глубокий театральный и иронический поклон, затем направился к воротам. В этот момент калитка открылась и показался пастор. Он был в длиннополом сюртуке, в цилиндре и черных перчатках, словно возвращался с крестин или похорон. Экс-репетитор и пастор обменялись церемонными поклонами.

Рашель и Арман подошли ко мне. Когда Ведель поравнялся с нами, Рашель сказала:

— Все устроилось.

Пастор поцеловал ее в лоб:

— Вот видишь, дитя мое, Бог никогда не оставляет уповающих на него.

Затем, подавая мне руку:

— Вы уже уходите?.. До скорого свидания, не так ли?

III

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

(продолжение)

29 сентября

Визит к Лаперузу. Служанка не решалась впускать меня. «Барин никого не принимает». Я настаивал, и она привела меня в гостиную. Ставни были закрыты; в полумраке я едва различил моего старого учителя, неподвижно сидевшего в глубоком кресле. Он не встал. Не глядя на меня, он протянул мне свою вялую руку, которая тотчас упала, после того как я ее пожал. Я сел с ним рядом, так что мне виден был только его профиль. Черты его оставались жесткими и неподвижными. Губы иногда шевелились, но он молчал. Я начинал сомневаться, узнал ли он меня. Часы пробили четыре; тогда, точно заведенный, он медленно повернул голову и сказал голосом торжественным, громким, но глухим и как бы загробным:

— Почему вас впустили? Я ведь наказал служанке, чтобы всякому, кто придет меня спрашивать, она отвечала, что господин де Лаперуз умер.

На меня произвели тяжелое впечатление не столько эти нелепые слова, сколько тон, каким они были сказаны: тон театральный, чрезвычайно напыщенный, к которому мой старый учитель, обыкновенно столь естественный и неприужденный со мной, меня не приучил.

— Ваша девушка просто не захотела лгать,— ответил я наконец.— Не браните ее за то, что она мне открыла. Я очень рад вас повидать.

Он тупо повторил: «Господин де Лаперуз умер». Затем снова погрузился в немоту. Я раздраженно встал, решив уйти и отложить до другого дня попытку отыскать смысл этой печальной комедии. Но в эту минуту в комнату вошла служанка, неся чашку дымящегося шоколаду:

— Пусть барин постарается, барин сегодня еще ничего не кушал.

Лаперуз нетерпеливо дернулся, словно актер, весь эффект выступления которого погублен каким-нибудь неловким статистом:

— Потом. Когда уйдет этот господин.

Но едва горничная закрыла дверь:

— Друг мой, будьте добры, принесите мне стакан воды, прошу вас. Стакан простой воды. Я умираю от жажды.

Я отыскал в столовой графин и стакан. Он налил воды в стакан, залпом выпил и вытер губы рукавом своего старенького люстринового пиджака.

— Вас лихорадит? — спросил я его.

Мои слова тотчас исполнили его сознанием разыгрываемой роли:

— Нет, господина де Лаперуза не лихорадит. Он ничего больше не чувствует. Со среды господин де Лаперуз перестал жить.

Я решил, что, пожалуй, лучше будет попасть ему в тон:

— Не в среду ли как раз маленький Борис приходил к вам в гости?

Он повернулся ко мне лицом; при имени Бориса улыбка, словно тень его прежних улыбок, осветила его черты, и он согласился наконец прекратить разыгрывать эту роль:

— Друг мой, могу сказать вам, доверить вам: среда была последним днем, который остался мне.— Затем продолжал, понизив голос: — Последним днем, который я дарил себе перед тем, как... кончить все.

Мне было очень больно слышать, что Лаперуз возвращается к своему мрачному замыслу. Признаться, я никогда не принимал всерьез его речей на эту тему, так что совсем позабыл о них; теперь я упрекал себя за это. Я вспомнил все, но был удивлен, потому что раньше старик говорил мне о более отдаленном сроке; когда я обратил его внимание на это, он признался мне тоном, снова ставшим естественным и даже несколько ироническим, что он обманул меня от-

носительно срока и несколько отодвинул его из боязни, как бы я не попытался удержать его и не ускорию своего приезда, но несколько вечеров подряд он на коленях молил Бога дать ему возможность перед смертью увидеть Бориса.

— Я даже условился с Богом,— прибавил он,— что в случае надобности отложу на несколько дней свой уход... вследствие данного вами ручательства привезти его, помните?

Я взял его руку; она была ледяная, и я принялся согреть ее в своих ладонях. Он монотонно продолжал:

— Затем, когда я узнал, что вы возвратились, не дожидаясь конца каникул, и я могу увидеть мальчика, не откладывая из-за свидания с ним свой уход, я подумал, что... мне показалось, Бог услышал мою молитву. Я подумал, что он одобряет мое решение. Да, я подумал это. Я не сразу понял, что Господь насмехается надо мною, как всегда.

Он отнял свою руку и продолжал более живым тоном:

— Итак, я назначил осуществление своего решения на вечер среды, а в среду днем вы привели ко мне Бориса. Должен вам сознаться, что при виде его я не испытал всей радости, которую предвкушал. Я размышлял об этом потом. Очевидно, я был не вправе надеяться, что этому мальчику может доставить удовольствие свидание со мной. Мать его никогда не говорила ему обо мне.

Он остановился; губы его дрожали, и я думал, что он сейчас разрыдается.

— Борис очень расположен любить вас, но дайте ему время поближе вас узнать,— рискнул я заметить.

— После того как мальчик покинул меня,— продолжал Лаперуз, не слушая меня,— и вечером я снова остался один (ведь вы знаете, что госпожи де Лаперуз здесь больше нет), я сказал себе: итак, час настал! Нужно вам заметить, что мой покойный брат завещал мне пару пистолетов, которые я всегда держу в ящике у изголовья постели. Так вот, я отправился за этим ящиком. Сел в кресло, вот как сейчас сижу. Зарядил один из пистолетов...

Он повернулся ко мне и повторил резко, грубо, словно я сомневался в его словах:

— Да, зарядил. Вы можете проверить: он и сейчас заряжен. Что произошло? Не могу понять. Я поднес пистолет ко лбу. Долго держал его, приставив к виску. И не выстрелил. Не мог... В последнее мгновение, стыдно сказать... у меня не хватило храбрости.

Разговор воодушевил его. Взгляд стал более живым,

и кровь слегка поддурмянила щеки. Он смотрел на меня, качая головой.

— Как это объяснить? Вещь, на которую я решился, о которой уже много месяцев непрестанно думал... Может быть, как раз поэтому. Может быть, постоянно думая о ней, я истощил все свое мужество...

— Так же, как перед возвращением Бориса вы истощили радость свидания с ним,— сказал я ему; но он продолжал:

— Я долго сидел так с пистолетом, приставленным к виску. Палец мой лежал на курке. Я слегка нажимал, но недостаточно сильно. Я говорил себе: «Через мгновение я нажму сильнее, и раздастся выстрел». Я чувствовал холод металла и повторял: «Через мгновение я больше ничего не буду чувствовать. Но сначала услышу страшный шум...» Подумайте только: у самого уха! Это главным образом и удержало меня: боязнь шума... Нелепо, ведь с момента, когда умрешь... Да, но я надеялся, что смерть придет как сон, а гром выстрела не усыпляет, он пробуждает... Да, я испугался именно этого грома. Я испугался, что не усну, а, напротив, буду внезапно разбужен.

Он, казалось, старался совладать с собой или, вернее, привести в порядок свои мысли, и несколько мгновений губы его снова беззвучно шевелились.

— Все это,— продолжал он,— я сказал себе лишь потом. На самом же деле я не убил себя потому, что не был свободен. Я говорю теперь: я испугался; но это неправда: тут было не то. Нечто совершенно чуждое моей воле, более сильное, чем моя воля, удержало меня... Словно Бог не пожелал, чтобы я отправился на тот свет. Вообразите марионетку, которая захотела бы уйти со сцены до конца спектакля... Стой! Ты еще нужна для финала. Ах, вам казалось, будто вы можете положить конец вашей жизни, когда вам будет угодно!.. Я понял, что то, что мы называем своей волей, есть только ниточка, приводящая в движение марионетку, ниточка, за которую дергает Бог. Вы улавливаете мою мысль? Я поясню вам. Вот я говорю себе сейчас: «Я подниму правую руку» — и поднимаю ее.— Он действительно поднял правую руку.— Но это произошло оттого, что ниточка уже был дернута, чтобы заставить меня подумать и сказать: «Я хочу поднять правую руку...» И доказательством, что я несвободен, служит то, что, если бы я должен был поднять другую руку, я сказал бы вам: «Я собираюсь поднять левую руку...» Нет, я вижу, что вы не

понимаете меня. Вы несвободны понять меня... О, теперь я ясно сознаю, что Бог забавляется. Когда он заставляет нас делать что-нибудь, он забавляется тем, что предоставляет нам думать, будто мы сами хотели это сделать. В этом и заключается его гнусная игра... Вы думаете, я схожу с ума? Кстати, представьте себе, что госпожа де Лаперуз... Вы знаете, что она поступила в богадельню... Так вот, представьте себе, что она вбила себе в голову, что это дом сумасшедших и я засадил ее туда, чтобы отделаться от нее, с намерением выдать за сумасшедшую... Согласитесь, что это странно: любой прохожий, с которым встречаешься на улице, понял бы вас лучше, чем та, которой вы отдали жизнь... В первое время я ходил к ней каждый день. Но едва она замечала меня, как сейчас же заводила: «Ах, опять вы! Вы пришли, чтобы шпионить за мной...» Я принужден был отказаться от этих посещений, которые ее раздражали. Как можно чувствовать привязанность к жизни, если утрачена возможность делать добро?

Рыдания заглушили его голос. Он опустил голову, и мне показалось, что он снова впадет в оцепенение. Но он заговорил с внезапным оживлением:

— Знаете, что она сделала перед отъездом? Взломала мой письменный стол и сожгла все письма моего покойного брата. Она всегда была ревнива к моему брату, особенно с тех пор, как он умер. Устраивала мне сцены, когда застигала меня ночью за чтением его писем. Кричала: «Ах, вы ждали, чтобы я легла! Вы прячетесь от меня». И затем: «Будет гораздо лучше, если вы пойдете спать. Вы утомляете глаза». Со стороны можно было подумать, будто она окружила меня заботой; но я знаю ее: она ревновала. Она не хотела оставлять меня наедине с братом.

— Это оттого, что она вас любит. Не бывает ревности без любви.

— Но согласитесь, что печально положение вещей, когда любовь вместо того, чтобы составлять счастье жизни, становится ее бедствием... Несомненно, такой любовью и любит нас Бог.

Он очень оживился, говоря это, и вдруг заявил:

— Я голоден. Когда я хочу есть, служанка постоянно приносит мне шоколад. Госпожа де Лаперуз, должно быть, сказала ей, что я не ем ничего другого. Вы оказали бы мне большую любезность, если бы пошли в кухню... вторая дверь направо по коридору... и посмотрели, нет ли там яиц. Помнится, она говорила мне, что у нее есть яйца.

— Вы хотели бы, чтобы она приготовила вам яичницу?

— Мне кажется, я съел бы даже два яйца. Вы будете настолько добры? Если я пойду сам, она меня не послушается.

— Дорогой друг,— сказал я ему, возвратившись,— ваша яичница будет готова через несколько минут. Если вы позволите, я останусь и посмотрю, как вы будете кушать; да, это доставит мне удовольствие. Мне было очень тяжело слышать, когда вы сказали сейчас, будто вы больше никому не в силах делать добро. Вы как будто забываете о вашем внуке. Ваш друг, господин Азаис, предлагает вам переехать к нему в пансион. Он поручил мне передать вам это. Он полагает, что теперь, когда госпожи де Лаперуз больше нет здесь, ничто вас не удерживает.

Я ожидал от него сопротивления, но он лишь осведомился о предлагаемых ему условиях.

— Хотя я и не застрелился, я все же мертв. Здесь ли, там ли, мне безразлично,— сказал он.— Можете перевозить меня.

Я условился, что приду за ним послезавтра, а до тех пор предоставляю в его распоряжение два сундука, чтобы он мог уложить в них необходимые ему костюмы, белье и все, что ему хотелось бы с собой взять.

— Впрочем,— прибавил я,— поскольку за вами сохранится право распоряжаться квартирой до истечения срока контракта, то вы всегда успеете забрать отсюда все, что вам понадобится.

Служанка принесла яичницу, которую он с жадностью проглотил. Я заказал для него обед, с облегчением видя, что природа снова вступает в свои права.

— Я причиняю вам много хлопот,— повторил он,— вы страшно добры.

Я хотел было, чтобы он отдал мне свои пистолеты, с которыми, сказал я ему, ему больше нечего делать, но он не согласился.

— Теперь вам нечего бояться. Я знаю, я никогда не буду в силах сделать то, чего не сделал в тот день. Но они являются теперь единственной вещью, которая осталась у меня от брата, и мне необходимо, чтобы они напоминали, что я только игрушка в руках Божьих.

IV

В день начала занятий было очень жарко. Через открытые окна пансиона Ведель видны были верхушки деревьев в саду; над ними плавало лето, конца которого еще не ощущалось.

Этот день послужил для старика Азаиса поводом для произнесения речи. Он, как подобает, стоял у кафедры, лицом к ученикам. На кафедре восседал старик Лаперуз. Он встал, когда вошли ученики, но Азаис дружеским жестом пригласил его сесть. Его беспокойный взгляд устремился сначала на Бориса и поверг мальчика в замешательство, тем более что Азаис, представляя детям в своей речи их нового учителя, счел своим долгом намекнуть на родство последнего с одним из мальчиков. Лаперуз, однако, был огорчен тем, что не встретил взгляда Бориса. «Равнодушие, холодность»,— думал он.

«О, если бы,— думал Борис,— он оставил меня в покое! Если бы не обращал на меня внимания!» Товарищи внушали ему ужас. Выйдя из лица, ему пришлось идти вместе с ними и по дороге в пансион выслушивать замечания, которыми они обменивались. Испытывая потребность в симпатии, он хотел бы попасть им в тон, но его слишком деликатная натура этому противилась; слова замирали у него на губах; он сердился на себя за свое замешательство, старался не выдать его, пытался даже смеяться, чтобы предупредить насмешки; но все напрасно: среди других он выглядел как девочка, чувствовал это и был в отчаянии.

Почти сразу же образовались группы. Некий Леон Гериданизоль составлял центральную фигуру и уже внушал к себе почтение. Немного старше других и более успевающий, смуглый, черноволосый и черноглазый, он не был особенно высок и не отличался большой силой, но был, что называется, «малый с перцем». Настоящая чертова перечница. Даже маленький Жорж Молинье признавал, что Гериданизоль «утрет ему нос, а ты знаешь, утереть мне нос — это не так просто!». Разве не видел он, не видел собственными глазами, как тот подошел сегодня утром к одной молодой женщине, державшей на руках ребенка.

— Это ваш ребенок, сударыня? — спросил он, отвешивая глубокий поклон.— Он порядочный урод, ваш мальчишка. Но успокойтесь: долго он не проживет.

Жорж все еще хохотал над этой «шуткой».

— Правда? Ты не врешь? — спрашивал Филипп

Адаманти, его друг, которому Жорж рассказал эту историю.

Эта наглая выходка очень их веселила; она казалась им верхом остроумия. Леон, уже достаточно тертый калач, просто повторял своего двоюродного брата Струвилу, но Жорж об этом не подозревал.

В пансионе Молинье и Адаманти добились того, чтобы сидеть рядом с Гериданизодем, на пятой скамейке, и не быть, таким образом, слишком на виду у надзирателя. Налево от Молинье помещался Адаманти, направо — Гериданизол, которого товарищи называли Гери; с краю сидел Борис. На следующей скамейке было место Пассавана.

После смерти отца Гонтран де Пассаван вел печальную жизнь, да и прежде его жизнь не была особенно веселой. Он давно уже понял, что ему не следует ожидать от брата никакой любви, никакой поддержки. Каникулы он провел в Бретани, в семье старой своей няни, верной Серафины. Он замкнулся в себе и работал. Его подстегивает тайное желание доказать своему брату, что он лучше его. Он сам по собственному решению поступил в пансион, руководимый отчасти нежеланием жить у брата, в особняке на улице Бабилон, с которым у него связаны одни грустные воспоминания. Серафина, не захотевшая расставаться с ним, сняла себе отдельную квартиру: ей позволяет это маленькая пенсия, которую выплачивают сыновья покойного графа на основании особой статьи духовного завещания. У Гонтрана есть там комната, где он поселяется в дни отпуска; он обставил ее по своему вкусу. Дважды в неделю он обедает с Серафиной; последняя ухаживает за ним и следит, чтобы он ни в чем не терпел недостатка. Приходя к ней, Гонтран охотно болтает, хотя и не может говорить с ней почти ни на одну из интересующих его тем. В пансионе он не позволяет товарищам задевать себя; он выслушивает их насмешливые замечания краем уха и нередко отказывается от участия в их играх. Играм в закрытом помещении он предпочитает чтение. Он любит спорт, все виды спорта, но оказывает предпочтение тем из них, которыми можно заниматься в одиночестве; он горд и водится далеко не со всеми. По воскресеньям, в зависимости от времени года, он катается на коньках, плавает, гребет или отправляется в далекие экскурсии за город. У него есть антипатии, и он не старается преодолеть их; вообще он стремится не столько расширить свой ум, сколько закалить его. Он, может быть, далеко не так прост, как думает и как желает быть; мы видели его

у изголовья смертного ложа отца; но он не любит таинственного; после того как он обнаружил свое несходство с отцом, ему стало скучно об этом думать. Когда ему случается занять первое место в классе, то это объясняется его прилежанием, а не способностями. Борис нашел бы в нем защитника, если б умел искать, но его влечет к соседу, Жоржу. Что касается Жоржа, то он обращает внимание только на Гери, которому на всех плевать.

У Жоржа было важное дело к Филиппу Адаманти, но он считал более благоразумным не писать ему о нем.

Сегодня, в день возобновления занятий, он пришел в лицей за четверть часа до начала уроков и тихо поджидал Филиппа у ворот. Как раз во время этого ожидания, прохаживаясь около ворот, он услышал упомянутое выше остроумное обращение Гериданизоля к молодой женщине; затем между обоими мальчишками завязался разговор, который обнаружил, к великой радости Жоржа, что они будут товарищами по пансиону.

Только по выходе из лицея Жоржу удалось наконец встретиться с Фифи. Они направились в пансион Азаиса вместе с другими школьниками, но немного поотстали, чтобы иметь возможность говорить откровеннее.

— Ты бы хорошо сделал, если бы спрятал это,— начал Жорж, показывая пальцем на желтую розетку, которая по-прежнему торчала в петличке у Фифи.

— Почему? — спросил Филипп, заметив, что Жорж больше не носит своей розетки.

— Ты рискуешь попасться. Я хотел сказать тебе об этом, мой милый, перед классами; тебе следовало только прийти пораньше. Я поджидал тебя у ворот, чтобы предупредить.

— Но я не знал,— сказал Филипп.

— «Не знал», «не знал», — передразнил его Жорж.— Ты должен был, кажется, смекнуть, что у меня есть кое-что для тебя, после того, как мы расстались в Ульгате.

Эти два мальчика постоянно озабочены желанием одержать верх друг над другом. Фифи обладает некоторыми преимуществами благодаря положению и состоянию своего отца; но Жорж сильно превосходит его дерзостью и цинизмом. Фифи приходится немного надсаживаться, чтобы не отстать от него. Он мальчик незлой, но бесхарактерный.

— Ну, выкладывай твои новости,— сказал он.

Подошедший к ним Леон Гериданизоль слышал их разговор. Жорж был доволен этим обстоятельством; если

Гери удивил его давеча, то и он тоже держал про запас нечто, способное поразить Гери; он сказал поэтому Фифи самым обыкновенным тоном:

— Пралиночка посажена.

— Пралина! — вскричал Фифи, испуганный хладнокровием Жоржа. Так как на лице у Леона изобразился интерес, то Фифи спросил Жоржа:

— Можно ему сказать?

Жорж только выругался, пожав плечами. Тогда Фифи сказал Гери, показывая на Жоржа:

— Это его цыпка.— Затем, обращаясь к Жоржу: — Откуда ты знаешь?

— Мне сказала Жермена, которую я недавно встретил.

И он рассказал Фифи, как во время своего приезда в Париж, двенадцать дней тому назад, пожелал зайти в ту квартиру, которую прокурор Молинье назвал давеча «ареной, где совершаются эти оргии», и нашел дверь запертой; рассказал, как, бродя потом по кварталу, встретил Жермену, цыпку Фифи, которая осведомила его о событиях: в начале каникул был обыск. Но этим женщинам и этим детям осталось неизвестно, что для производства сей операции Профитандье терпеливо дождался времени разъезда несовершеннолетних преступников, желая исключить возможность их захвата при обыске и избавить от скандала родителей.

— Ну, слава Богу, старина!..— только и повторил Фифи, считая, что они с Жоржем счастливо отделались.

— Это бросает тебя в холод, а? — насмешливо спросил Жорж. Признаваться в собственном испуге ему казалось совершенно излишним, особенно в присутствии Гериданизоля.

На основании изложенного диалога может показаться, будто эти дети более испорчены, чем это есть на самом деле. Они говорят так главным образом из желания казаться испорченными, я в этом уверен. В их поведении много бахвальства. Что нужды: Гериданизоль слушает их; слушает и подстрекает одним своим присутствием. Этот разговор весьма позабавит его кузена Струвилу, которому он передаст его сегодня вечером.

Вечером Бернар пришел к Эдуарду.

— Как прошло начало занятий?

— Недурно.— Бернар замолчал.

Тогда Эдуард обратился к нему:

— Мсье Бернар, если у вас нет настроения рассказывать, не рассчитывайте, что я буду вытягивать из вас ответы. Мне противны допросы. Но позвольте мне напомнить, что вы предложили мне свои услуги и я вправе надеяться на получение от вас кое-каких сведений...

— Что же вы хотите знать? — спросил Бернар весьма нелюбезным тоном. — Что папаша Азаис произнес торжественную речь, в которой он предлагал детям «одушевиться общим порывом и приступить к исполнению своих обязанностей с юношеским жаром»?.. Я запомнил эти слова, потому что они были повторены трижды. Арман уверяет, будто старик вставляет их в каждую свою речь. Мы уселись с ним на последней скамейке, в самой глубине класса, наблюдая, как собираются мальчишки, на манер того, как Ной наблюдал сбор животных в ковчег. Там были все породы: жвачные, толстокожие, моллюски и другие беспозвоночные. Когда после речи они принялись говорить друг с другом, мы с Арманом заметили, что каждые четыре фразы из десяти начинались у них: «Держу пари, что ты не...»

— А остальные шесть?

— «А вот я...»

— Боюсь, очень правильное наблюдение. А что еще?

— Некоторые из них, показалось мне, обладают штампованными физиономиями.

— Что вы разумеете под этим? — спросил Эдуард.

— Я имею в виду особенно одного из них, сидевшего рядом с маленьким Пассаваном (сам Пассаван показался мне заурядным скромным мальчиком). Сосед его, которого я долго наблюдал, по-видимому, избрал себе в качестве правила жизни «*Ne quid minis*»¹ древних. Не кажется ли вам, что в его возрасте этот девиз нелеп? Костюмчик в обтяжку, скромненький галстук; он весь таков, вплоть до шнурков на ботинках, завязанных аккуратными бантиками. Как ни мало я говорил с ним, он все же нашел время сказать, что видит всюду напрасную трату сил, и повторил несколько раз, словно припев: «Не нужно лишних усилий».

— Черт бы побрал расчетливых, — сказал Эдуард. — В искусстве из них выходят самые многословные.

— Почему?

— Потому что они боятся упустить что-либо. Ну а что еще? Вы ничего не рассказываете об Армане.

¹ «Ничего слишком» (лат.).

— Любопытный экземпляр, этот Арман. Правду сказать, он не особенно мне нравится. Я не люблю искорверканных людей. Он, конечно, не глуп, но ум его направлен только на разрушение; впрочем, он, кажется, больше всего озлоблен на самого себя; он стыдится всего, что есть в нем хорошего, великодушного, благородного, нежного. Ему следовало бы заняться спортом, проветриться. Он ожесточается, сидя взаперти весь день. Как будто ищет моего общества, я не бегу от него, но не могу приспособиться к его характеру.

— Не кажется ли вам, что его сарказмы и ирония скрывают повышенную чувствительность и, может быть, большое страдание? Так думает Оливье.

— Может быть, я подумал об этом. Я еще плохо его знаю. Остальные мои мысли еще не созрели. Мне нужно разобраться в них, я их вам сообщу, но потом. Вы меня извините, что сегодня я вас покину. Через два дня экзамен, и кроме того, признаться... мне что-то взгрустнулось.

V

С каждой вещи, если не ошибаюсь, следует срывать только цветок...

Фенелон

После вчерашнего возвращения в Париж Оливье проснулся совсем отдохнувшим. Воздух был теплый, небо чистое. Когда он выходил, свежесбрившийся, принявший душ, изящно одетый, с сознанием своей силы, молодости и красоты, Пассаван еще спал.

Оливье торопится к Сорбонне. Сегодня утром у Бернара должен быть письменный экзамен. Откуда Оливье знает об этом? Но он, может быть, вовсе и не знает. Он идет узнать. Он спешит. Он не виделся со своим другом с той ночи, когда Бернар приходил искать приюта в его комнате. Как все изменилось с тех пор! Кто знает: может быть, он больше сгорает желанием показать себя, чем повидать друга? Досадно, что Бернар так равнодушен к изяществу! Но вкус к нему появляется иногда вместе с достатком. Оливье узнал это на опыте, благодаря графу де Пассавану.

Бернар держит сегодня письменный экзамен. Он выйдет только в полдень. Оливье ожидал его во дворе. Он узнает нескольких товарищей, пожимает им руку; затем отходит

в сторону. Он немножко смущен своим элегантным костюмом и смущается еще больше, когда Бернар, наконец освободившийся, спускается во двор и восклицает, протягивая руку:

— Ну и красавчик!

Оливье, думавший, что он уже никогда не будет краснеть, краснеет. Как не заметить иронии в этих словах, несмотря на их очень сердечный тон? Ведь на Бернаре все тот же костюм, какой был на нем в день его бегства из дому. Он не ожидал встречи с Оливье. Засыпая его вопросами, он уводит его с собой. Радость встречи у него самая неподдельная. Если он слегка улыбнулся при виде изысканного костюма Оливье, то в улыбке его не было заключено никакого коварства; у него доброе сердце; он незлопамятен.

— Ты позавтракаешь со мной, не правда ли? Да, в половине второго я должен возвратиться на экзамен по латинскому языку. Утром был экзамен по французскому.

— Доволен?

— Я — да. Но не знаю, придется ли высиженное мною по вкусу экзаменаторам. Нужно было высказать свое мнение о четырех стихах Лафонтена:

Парнасский мотылек, подобный пчелам лета,
С которыми Платон сравнил удел поэта,
Я легок и крылат и рею здесь и там,
С предмета на предмет и от цветов к цветам ¹.

— Скажи, пожалуйста, что бы ты сделал с этим?

Оливье не мог удержаться от желания блеснуть:

— Я сказал бы, что, изображая самого себя, Лафонтен дал портрет художника, который соглашается брать от мира только внешнее, поверхностное, срывать цветы. Затем параллельно я нарисовал бы портрет ученого,

¹ Перевод этих стихов Лафонтена, заимствованных из «Discours à Madame de la Sablière», принадлежит М. Лозинскому. Содержащийся в нем намек на Платона касается следующего места из диалога «Ион»: «Подобно корибантам, пляшущим в иступлении, подлинные песнотворцы не в здравом уме творят свои прекрасные песни, но войдя в действие гармонии и ритма и ставши вакхантами и одержимыми; как вакханки черпают из рек мед и молоко в состоянии одержимости, а находясь в здравом уме — нет, так бывает и с душой песнотворцев. Ведь говорят же нам поэты, что, летая как пчелы, они собирают свои песни у медовых источников в садах и рощах муз и приносят их нам; и правду говорят: ведь поэт — существо легкое, крылатое и священное, и творить он способен не прежде, чем станет вдохновенным и иступленным и не будет в нем более рассудка: пока же у человека есть это достоинство, он не способен творить и вещать». (Прим. пер.)

исследователя, человека, который копает в глубину, и показал бы в заключение, что, в то время как ученый ищет, художник находит; что тот, кто копает, забирается вглубь, а кто забирается вглубь, слепнет; показал бы, что истина — видимость, что тайна — в форме и что самое глубокое у человека — это его кожа.

Последнюю фразу Оливье заимствовал у Пассавана, который, в свою очередь, сорвал ее с уст Поль-Амбураза, когда тот ораторствовал в каком-то салоне. Пассаван считал позволительным присваивать все, что не было напечатано; он называл это идеями, «носящимися в воздухе»; попросту говоря, это были чужие идеи.

По какому-то неуловимому оттенку в тоне Оливье Бернар почувствовал, что эта фраза не принадлежала его другу. В голосе Оливье слышалась какая-то нерешительность. Бернар чуть было не спросил: «Это откуда?» Но помимо того, что он не желал обижать друга, он боялся услышать имя Пассавана, которое его собеседник до сих пор остерегался произнести. Бернар ограничился тем, что пристально и испытующе посмотрел на него; Оливье снова покраснел.

Изумление Бернара при виде чувствительного Оливье, выражающего мысли, совершенно отличные от тех, которые были ему свойственны, почти сразу же сменилось крайним негодованием; чувством внезапным и неожиданным, непреодолимым, как циклон. Он вскипел негодованием не столько против самих этих мыслей, хотя они и показались ему нелепыми. В конце концов они, быть может, вовсе не так уж нелепы. В своей тетрадке противоречивых мнений он мог бы поместить их рядом со своими собственными. Если бы они были подлинными мыслями Оливье, он не пришел бы в ярость ни против него, ни против них; но он чувствовал, что за ними кто-то таится; он вознегодовал против Пассавана.

— Подобными идеями отравляют Францию! — пылко вскричал он. Он хватил слишком высоко из желания затмить Пассавана. Сказанное им удивило его самого, словно слова обогнали его мысль, ту самую мысль, что он развил сегодня утром в экзаменационном сочинении; из-за какого-то стыда он никогда не решался в дружеской беседе, в частности разговаривая с Оливье, выставлять напоказ то, что он называл «высокими чувствами». Будучи выражены в словах, чувства эти тотчас же начинали казаться ему менее искренними. Поэтому Оливье никогда не приходилось слышать, чтобы его друг говорил об «интересах Франции»; пришла

его очередь изумляться. Он сделал большие глаза и даже не подумал улыбнуться. Он не узнавал своего Бернара; в каком-то столбняке Оливье переспросил:

— Францию?..— Затем, снимая с себя ответственность за сказанное, потому что Бернар явно не шутил: — Но, старина, это не мои мысли, так думает Лафонтен.

Бернар вошел в раж.

— Черт возьми! — вскричал он.— Я отлично, черт возьми, знаю, что это не твои мысли, но они не принадлежат и Лафонтену. Если бы он обладал одной этой легковесностью, о которой, впрочем, он в конце своей жизни сожалеет и в которой раскаивается, он никогда не стал бы художником, которым мы восхищаемся. Как раз это самое я высказал в своем сочинении и постарался доказать множеством цитат, ты ведь знаешь, у меня довольно приличная память. Но, оставив вскоре Лафонтена и допустив право некоторых поверхностных умов думать, будто они могут найти опору в его стихах, я оплатил это тирадой против духа беспечности, бахвальства и иронии; словом, против того, что именуется «французским духом», который иногда стоит нам столь прискорбной репутации у иностранцев. Я сказал, что в нем нужно видеть даже не улыбку, но гримасу Франции; что подлинным духом Франции был дух пытливости, логики, любви и терпеливого проникновения; что, если бы этот дух не оживлял Лафонтена, он написал бы может быть, свои сказки, но никогда бы не создал басен, а также того изумительного послания (я показал, что знаю его), из которого заимствовано четверостишие, предложенное в качестве темы для сочинения. Да, старина, этот бурный натиск обойдется мне, может быть, дорого. Но мне плевать, я чувствовал, что мне нужно высказать это.

Оливье не слишком дорожил только что высказанными соображениями. Попросту он не устоял против желания блеснуть и процитировал как бы вскользь фразу, которая, казалось ему, должна была поразить Бернара. Теперь, когда Бернар заговорил с ним таким тоном, ему оставалось только пойти на попятный. Его слабой стороной было то, что он испытывал гораздо большую потребность в любви Бернара, нежели последний в его любви. Тирада Бернара унижала, позорила его. Он сердился на себя за свои слишком необдуманные слова. Теперь было уже поздно оправдываться, возражать, как он, наверное, поступил бы, если бы предоставил Бернару высказаться первым. Но как мог он предвидеть, что Бернар, который был так полон задора,

когда они расстались, выступит теперь на защиту чувств и мыслей, на кои Пассаван учил его смотреть не иначе как с улыбкой? Однако он положительно не чувствовал больше никакого желания смеяться; ему было стыдно. И не будучи в состоянии ни отречься от своих слов, ни выступить против Бернара, неподдельное волнение которого производило на него сильное впечатление, он заботился только о том, как бы защититься, выпутаться из ложного положения:

— Ну, если ты это навалял в своем сочинении, то не в меня были выпущены твои стрелы... Я, скорее, согласен с тобой.

Оливье говорил уязвленным тоном, не так, как ему хотелось.

— Но сейчас я говорю это тебе,— сказал Бернар.

Эта фраза ударила Оливье в самое сердце. Бернар сказал ее, должно быть, без враждебного намерения; но можно ли было понять ее иначе? Оливье замолчал. Между ним и Бернаром разверзалась пропасть. Он искал вопросов, которые мог бы перебросить с одного края пропасти на другой, чтобы восстановить общение. Искал безнадежно. «Неужели он не чувствует моего к себе отвращения?» — думал он; и это отвращение все росло. Ему, может быть, не приходилось сдерживать слезы, но он убеждал себя, что было от чего заплакать. Вот еще один промах: это свидание показалось бы ему менее печальным, если бы он ожидал от него меньше радости. Когда два месяца тому назад он спешил навстречу Эдуарду, он испытывал такое же настроение. С ним всегда будет так, говорил он себе. Ему захотелось бросить Бернара, убежать куда глаза глядят, забыть Пассавана, Эдуарда... Неожиданная встреча нарушила грустное течение его мыслей.

В нескольких шагах перед ними, на бульваре Сен-Мишель, куда они сворачивали, Оливье вдруг заметил Жоржа, своего младшего брата. Он схватил Бернара за руки и, круто повернув назад, поспешно увлек его за собой.

— Как ты думаешь, заметил он нас?.. Мои не знают, что я в Париже.

Жорж был не один, Леон Гериданизоль и Филипп Адаманти сопровождали его. Между тремя мальчиками шел очень оживленный разговор; но интерес, проявляемый к нему Жоржем, не мешал ему «быть начеку», как он говорил. Чтобы послушать их, оставим ненадолго Оливье и Бернара;

тем более что, зайдя в ресторан, наши друзья больше занялись едой, чем разговором, к великому облегчению Оливье.

— Ну, в таком случае ступай туда ты, — говорит Фифи Жоржу.

— О, трусишь, трусишь! — отвечает тот, вкладывая в свои слова все ироническое презрение, на какое только способен, чтобы подзадорить Филиппа.

Гериданизоль говорит покровительственно:

— Деточки мои, если вы не хотите, скажите об этом прямо. Мне не составит труда отыскать других ребят, которые будут похрабрее вас. Ну-ка, дай ее мне!

Он поворачивается к Жоржу, который зажимает в ладони монету.

— Ладно, иду! — восклицает Жорж, внезапно охваченный решимостью. — Ступайте со мной. — (Они стоят перед табачной лавочкой.)

— Нет, — говорит Леон, — мы подождем на углу. Пойдем, Фифи.

Минуту спустя Жорж выходит из лавочки с пачкой папирос «Люкс»; угощает друзей.

— Ну? — с тревогой спрашивает Фифи.

— Что «ну»? — произносит Жорж тоном напускного равнодушия, словно поступок, только что им совершенный, столь естествен, что не стоит утруждать себя рассказом о нем. Но Филипп настаивает:

— Сбыл?

— Еще бы!

— Тебе ничего не сказали?

Жорж пожимает плечами:

— Что, по-твоему, должны были мне сказать?

— И сдачу дали?

На этот раз Жорж даже не достаивает его ответом. Но так как Филипп все еще с некоторым недоверием и опаской настаивает: «Покажи», — Жорж вытаскивает из кармана деньги. Филипп считает: семь франков серебром. Он сгорает от желания спросить: — «Ты вполне уверен, что они настоящие?» — но сдерживается.

Жорж заплатил один франк за фальшивую монету. Мальчики условились поделить сдачу. Он протягивает три франка Гериданизолю. Что касается Фифи, то он не получит ни су; самое большее — папиросу; пусть это послужит ему уроком.

Ободренный первым успехом, Фифи теперь тоже хотел бы рискнуть. Он обращается к Леону с просьбой продать

ему другую монету. Но Леон считает Фифи хвастунишкой и, чтобы охладить его пыл, выражает презрение за проявленную им трусость и притворяется рассерженным. «Ему следовало бы решиться чуть раньше; теперь игра будет идти без него». К тому же Леон считает неблагоразумным рисковать еще раз. Наконец, уже поздно. Кузен Струвилу ждет его к завтраку.

Гериданизоль — парень, который себе на уме и сумеет сам сбыть монеты; но, следуя инструкциям своего взрослого кузена, заботится о том, чтобы иметь соучастников. Он даст ему отчет в отлично выполненном задании.

— Мальчишки из хороших семей, понимаешь, это именно то, что нам нужно, потому что, если нас накроют, родители постараются замять дело.— Так говорит ему за завтраком кузен Струвилу, на чем попечении он временно находится.— Однако система продажи монет по одной замедляет сбыт. Я хочу сплавить пятьдесят две коробочки, по двадцать монет в каждой. Их нужно продавать по двадцати франков, но, понятно, не первому встречному. Самое лучшее было бы образовать общество, при вступлении в которое каждый должен вносить известный залог. Нужно, чтобы мальчишки скомпрометировали себя и дали нам штуки, которые позволили бы держать в руках их родителей. Прежде чем пускать в оборот монеты, постарайся дать им это понять; только не пугай. Детей никогда не нужно запугивать. Ты говорил, что отец Молинье — судебный чиновник. Прекрасно. А отец Адаманти?

— Сенатор.

— Еще лучше. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понять,— нет семьи без тайны; заинтересованные лица дрожат, как бы кто ее не выведал. Нужно науськивать мальчишек на охоту: это займет их. Дома, в семье, они ведь чертовски скучают! Кроме того, это может приучить их к наблюдательности, к поискам. Это так просто: кто ничего не принесет, ничего и не получит. Когда родители поймут, что их держат в руках, некоторые из них дорого заплатят за молчание. Черт возьми, у нас вовсе нет намерения шантажировать, мы — люди честные! Мы просто хотим держать их в руках. Их молчание в обмен на наше. Пусть они молчат и заставляют молчать других, тогда и мы будем молчать. Выпьем за их здоровье!

Струвилу наполнил два бокала. Они чокнулись.

— Было бы хорошо,— продолжал он,— даже необходимо — создать круговую поруку между гражданами, так складываются крепкие общества. Все держат друг дру-

га! Мы держим малышей, малыши — своих родителей, а родители — нас. Идеально! Улавливаешь?

Леон улавливал с полуслова и хихикал.

— Жоржик...— начал он.

— Какой Жоржик?..

— Молинье. Думаю, он созрел. Он выкрал у отца письма от певички из «Олимпии».

— Ты их видел?

— Да, он показывал. Я подслушал его разговор с Адаманти. Мне кажется, они были польщены, что я их слушаю; во всяком случае, не прятались; я принял меры и сервировал им блюдо в твоём вкусе, чтобы завоевать их доверие. Жорж говорил Фифи (чтобы пустить ему пыль в глаза): «У моего отца есть любовница». На что Фифи, не желая остаться в долгу, заявил: «А у моего — две». Это было глупо, и тут нечем хвастаться; но я подошел к ним и сказал Жоржу: «Откуда ты знаешь?» «Я видел письма»,— ответил он. Я изобразил на роже сомнение и сказал: «Ну и вранье...» Словом, заставил его быть откровенным до конца; потом он сказал, что письма при нем; вытащил их из большого бумажника и показал:

— Ты прочел их?

— Не успел. Заметил только, что написаны они одним и тем же почерком; одно адресовано «моему милому толстенькому котеночку».

— Как подписано?

— «Твоя беленькая мышка». Я спросил Жоржа: «Где ты их раздобыл?» Он расхохотался и, вытащив из кармана брюк огромную связку ключей, сказал: «Тут есть чем открыть любой замочек».

— А что сказал мсье Фифи?

— Ничего. Думаю, завидовал.

— Жорж тебе даст письма?

— Если нужно, я могу его убедить. Не хотелось бы отнимать силой. Он сам отдаст, если Фифи поступит так же. Они друг друга подзадоривают.

— Да, это и есть то, что называется соревнованием. Ну а нет ли еще подходящего материала среди пансионеров? Не заметил?

— Поищу.

— Я хотел сказать тебе вот что... В числе пансионеров должен находиться некий Боря. Оставь его в покое.— Он помедлил, затем прибавил, понизив голос: — До поры до времени.

Оливье и Бернар сидят уже за столиком в ресторане на бульваре. Под теплой улыбкой друга подавленное настроение Оливье тает, как иней на солнце. Бернар избегает произносить имя Пассавана; Оливье это чувствует; какой-то тайный инстинкт оберегает его, но имя Пассавана у него на устах; ему нужно произнести его, будь что будет.

— Да, мы возвратились немного раньше, чем я писал домой. Вечером «Аргонавты» устраивают банкет. Пассаван очень хочет присутствовать. Он желает, чтобы наш новый журнал был в хороших отношениях со своим старшим братом и не вступал с ним в соперничество... Ты должен прийти и, знаешь ли... приведи Эдуарда... Может быть, не на сам банкет, потому что для этого нужно иметь приглашение, но сейчас же по его окончании. Соберутся в одном из залов второго этажа, в ресторане «Пантеон». Будут главные редакторы «Аргонавтов», несколько будущих сотрудников «Авангарда». Наш первый номер почти готов, но... скажи, почему ты ничего мне не прислал?

— Потому, что у меня не было ничего готового, — отвечает Бернар несколько сухо.

Голос Оливье становится почти умоляющим.

— Я поставил твою фамилию рядом с моей в содержании... Можно будет немного подождать, если надо... Все равно что, но дай что-нибудь... Ты же обещал...

Бернару тяжело огорчать Оливье, но он проявляет твердость:

— Послушай, старина, лучше сказать откровенно: боюсь, мне не удастся столкнуться с Пассаваном.

— Но ведь редактор я! Он дает мне полную свободу.

— Кроме того, мне очень не нравится твое предложение прислать «что-нибудь». Не хочу я писать «что-нибудь».

— Я сказал «что-нибудь», потому что отлично знаю, что все тобою написанное будет всегда превосходно... что оно никогда не окажется «чем-нибудь»...

Он не знает, что сказать. Бормочет что-то бессвязное. Если он не чувствует подле себя друга, то журнал перестает его интересовать. Такой заманчивой была мечта дебютировать вместе.

— Кроме того, старина, хотя я начинаю неплохо понимать, чего я не хочу делать, все же недостаточно отчетливо представляю, что я должен делать. Не знаю, право, буду ли я писать.

Это заявление повергает Оливье в уныние. Но Бернар продолжает:

— Ничего из того, что я мог бы легко написать, меня не прельщает. Суть в том, что фразы легко мне удаются, а я питаю отвращение к ловко составленным фразам. Отсюда не следует, что я люблю трудность ради трудности; но я нахожу, что современные литераторы слишком уж далеки от всяких усилий. Написать роман я не могу: очень мало я знаю жизнь других людей, да и сам еще не жил. Стихи надоели мне. Александрийский стих затаскан до дыр, свободный размер — бесформен. Единственный поэт, способный сейчас доставить мне наслаждение,— Артюр Рембо.

— Именно об этом я пишу в манифесте.

— В таком случае, мне не стоит повторяться. Нет, дружище, я не знаю, буду ли я писать. Мне кажется иногда, что писательское ремесло мешает жить и что можно лучше выражать себя в действиях, чем в словах.

— Произведения искусства суть действия, которые остаются навсегда,— робко осмелился заметить Оливье, но Бернар его не слушал.

— Больше всего Рембо восхищает меня тем, что литературе он предпочел жизнь.

— И продал ее за бесценок.

— Откуда ты знаешь?

— Ах, молчи, старина...

— Никогда нельзя судить о жизни других со стороны. Но допустим даже, что она ему не удалась; он изведal несчастье, нищету, болезнь... Я завидую жизни, которую он прожил; да, даже несмотря на ее жалкий конец, завидую ей больше, чем, скажем, жизни...

Бернар не кончил фразы; он затруднялся выбрать из множества знаменитых современников. Пожав плечами, он продолжал:

— Я смутно ощущаю в душе необыкновенные порывы, своего рода зыбь, движение, волнение, которые мне непонятны,— я не хочу их понимать, не хочу даже видеть, из страха им помешать, прогнать их. Еще не так давно я беспрестанно копался в себе. У меня была привычка постоянно разговаривать с самим собою. Теперь, если бы я даже захотел сделать это, не мог бы. Эта мания исчезла у меня так внезапно, что я даже и не заметил. Мне кажется, что этот монолог, «диалог человека со своей душой», как говорил наш преподаватель, требовал своего рода раздвоения, на которое я уже не способен с того дня, как полюбил больше всего на свете существо, которое отлично от меня.

— Ты имеешь в виду Лауру? — спросил Оливье. — Ты по-прежнему ее любишь?

— Нет, — отвечал Бернар, — с каждым днем люблю ее все больше. Мне кажется, что основным свойством любви является невозможность оставаться неизменной; она обязана расти, иначе пойдет на убыль; в этом ее отличие от дружбы.

— Однако и дружба может ослабевать, — печально заметил Оливье.

— По-моему, в дружбе нет таких широких возможностей.

— Скажи... ты не рассердишься, если я задам тебе один вопрос?

— Посмотрим.

— Я не хотел бы злить тебя.

— Если ты будешь темнить, я разозлюсь еще больше.

— Мне хотелось бы знать, испытываешь ли ты к Лауре... влечение?

Бернар вдруг посерьезнел.

— Ну, раз уж ты... — начал он. — Да, дружище, больше всего странно то, что после знакомства с ней я вовсе перестал испытывать желания. Недавно я, помнишь, воспламенялся любовью сразу к двадцати женщинам, которых встречал на улице (это и было причиной, мешавшей мне остановить свой выбор на ком-нибудь), теперь же мне кажется, что я больше никогда не могу быть чувствителен к другой форме красоты; что никогда я не смогу полюбить другой лоб, другие губы, другой взгляд. Но я питаю к ней благоговение, и всякая плотская мысль кажется мне святотатством. Мне теперь кажется, что я заблуждался относительно себя, что по природе я очень целомудрен. Благодаря Лауре мои инстинкты сублимировались. Я чувствую в себе огромные нерастратченные силы. Мне хотелось бы найти им применение. Я завидую монаху-картезианцу, смиряющему гордыню и подчиняющемуся правилам устава; человеку, которому говорят: «Я рассчитываю на тебя». Завидую солдату... Нет, вернее, не завидую никому; но буйство скрытых во мне сил угнетает меня, и я стремлюсь их дисциплинировать. Они подобны пару, который может либо вырваться со свистом (это и есть поэзия), либо привести в движение поршни и рычаги, либо, наконец, разнести машину. Знаешь, при помощи какого поступка, мне иногда кажется, лучше всего я мог бы выразить себя? Какого?.. О, я прекрасно знаю, что не лишу себя жизни, но я превосходно понимаю Дмитрия Карамазова, когда тот спрашивает брата, понимает ли тот,

что причиной самоубийства может стать восторг, просто избыток жизни... чрезмерность.

Бернар словно лучился каким-то неземным светом. Как прекрасен был он, выражая эти мысли! Оливье созерцал его в каком-то экстазе.

— Я тоже,— робко пробормотал он,— понимаю, отчего лишают себя жизни; но для этого нужно раньше изведать радость, столь сильную, что в сравнении с ней вся дальнейшая жизнь покажется бледной; такую радость, что думаешь, хватит, я доволен, никогда больше я не...

Но Бернар его не слушал. Он молчал. Зачем говорить в пустоту? Весь горизонт его души вновь омрачился тучами. Бернар вынул часы:

— Мне пора. Так ты говоришь, сегодня вечером... в каком часу?

— О, думаю, часов в десять будет совсем не поздно. Ты придешь?

— Да, и постараюсь вытащить Эдуарда. Но ты знаешь: он недолюбливает Пассавана и собрания литераторов ему несносны. Он придет только для того, чтобы повидаться с тобой. Скажи: нельзя ли мне будет снова встретиться с тобой после экзамена по латинскому языку?

Оливье ответил не сразу. Он с отчаянием подумал, что обещал Пассавану встретиться с ним в будущей типографии «Авангарда» в четыре часа. Чего бы он не дал за возможность быть свободным!

— Я очень хочу, но уже дал слово.

Его подавленность ничем себя не обнаружила; Бернар ответил:

— Тем хуже.

На этом друзья расстались.

Оливье не сказал Бернару ни одной из заготовленных им для него фраз. Он боялся не понравиться ему. Он не нравился себе самому. Еще утром полный задора, он теперь шел опустив голову. Дружба Пассавана, которой он в первое время так гордился, угнетала его; он чувствовал, что над ней тяготеет осуждение Бернара. Если сегодня вечером, на банкете, он снова встретится со своим другом, он не в силах будет заговорить с ним на глазах у всех. Этот банкет мог бы доставить ему удовольствие лишь в том случае, если бы предварительно им удалось восстановить согласие. В довершение всего какая недепая мысль была продиктована ему тщеславию: пригласить на вечеринку и дядю Эдуарда! Подле Пассавана, в обществе старших собратьев, будущих

сотрудников «Авангарда», ему придется ломать комедию; за это Эдуард еще больше его осудит, осудит, вероятно, навсегда... Если бы, по крайней мере, он мог повидаться с ним до банкета! Встретиться с ним немедленно; он бросился бы ему на шею; может быть, зарыдал бы; рассказал бы о себе все... До четырех часов есть еще время. Живо, такси.

Он называет адрес шоферу. С бьющимся сердцем подходит к дверям, звонит... Эдуарда нет дома.

Бедный Оливье! Вместо того чтобы прятаться от родителей, почему бы ему не возвратиться к ним не мешкая? Он нашел бы Эдуарда у своей матери.

VI

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

Романисты вводят нас в заблуждение, когда изображают развитие индивидуума, не принимая в расчет давления на него окружающей среды. Лес дает форму деревьям. Как мало места предоставлено каждому из них! Сколько побегов атрофируется! Каждое дерево ветвится, как может. Таинственным своеобразием человек чаще всего бывает обязан тесноте. Он может вырваться на простор, только устремившись в высоту. Не понимаю, как Полина может обходиться без этого устремления ввысь, каких еще давлений со стороны окружающей она ожидает. Она разговаривала со мною более доверительно, чем когда-либо раньше. Признаюсь, я не подозревал, сколько таится в ней горечи и безропотной покорности судьбе под маскою внешнего благополучия. Я согласился, однако, что ей нужно было бы обладать слишком уж пошлой душой, чтобы не быть разочарованной в Молинье. Во время своего позавчерашнего разговора с ним я мог измерить его возможности. Как могла Полина выйти за него замуж?.. Увы! Самое жалкое убожество — убожество характера — часто глубоко скрыто и обнаруживается лишь при длительном общении.

Полина всячески старается замаскировать недостатки и слабости Оскара, скрыть их от чужих глаз, особенно от глаз детей. Она умудряется заставить их относиться с уважением к отцу; ей действительно приходится преодолевать огромные трудности; но она делает это так искусно, что я сам этого не замечал. Она говорит о своем муже без презрения, но с какой-то снисходительностью, которая сви-

детельствует о многом. Она сожалеет, что он теряет авторитет у детей; когда же я выразил огорчение по поводу того, что Оливье проводит каникулы в обществе Пассавана, то понял, что, если бы решение зависело только от нее, поездка Оливье на Корсику не состоялась бы.

— Я не одобряла этой поездки,— сказала она,— и этот мсье Пассаван, по правде говоря, не особенно мне нравится. Но что поделаешь? Если я вижу, что не в состоянии помешать чему-либо, я предпочитаю добровольно дать свое согласие. Оскар, тот всегда уступает; уступает и мне. Но когда я считаю долгом выступить с возражением против какого-нибудь плана детей, воспрепятствовать им, проявить характер, я не нахожу у него поддержки. Даже Винцент вмешался в это дело. При таких обстоятельствах какое противодействие могла я оказать Оливье, не рискуя потерять его доверие ко мне? А доверием его я дорожу больше всего.

Она штопала старые носки; те носки, которые, сказала она, Оливье больше не носит. Она замолчала, чтобы продеть нитку в иголку, затем продолжала, несколько понизив голос, тоном более интимным и печальным:

— Его доверие... Будь, по крайней мере, я еще убеждена в том, что он питает его ко мне! Но нет, я его утратила...

Возражение, которое я рискнул сделать без особого убеждения, вызвало у нее улыбку. Она уронила свою работу на колени и сказала:

— Послушайте, я знаю, что он сейчас в Париже. Жорж встретил его сегодня утром, он сказал об этом вскользь, и я притворилась, будто не слышу его, потому что мне не нравится, когда он доносит на брата. Так или иначе, я знаю об этом. Оливье скрывается от меня. Когда я увижу его, он будет вынужден лгать мне, и я буду делать вид, будто верю ему, как делаю вид, будто верю его отцу каждый раз, когда он прячется от меня.

— Он боится причинить вам огорчение.

— Но, поступая так, он огорчает меня еще больше. Я вовсе не такая нетерпимая. Есть множество маленьких провинностей, с какими я мирюсь, закрываю на них глаза.

— О ком говорите вы сейчас?

— О, об отце и сыновьях в равной мере.

— Притворяясь, что вы не замечаете этих провинностей, вы тоже им лжете.

— Но как же прикажете мне поступать? Мне дорого

стоит уже то, что я не жалею; не могу же я, однако, одобрять их! Видите ли, я пришла к убеждению, что рано или поздно любимый человек ускользает от вас и что самая нежная любовь ничего не может поделать с этим. Да что я говорю? Она вызывает раздражение, досаждаст. Я дошла до того, что даже скрываю эту любовь.

— Теперь вы говорите о сыновьях.

— Почему вы так считаете? Полагаете, что я больше не способна любить Оскара? Иногда я действительно так думаю, но я думаю также, что недостаточно люблю его из боязни причинить себе большие страдания... И... да, вы, пожалуй, правы: если дело идет об Оливье, я предпочитаю терпеть.

— А Винцент?

— Несколько лет тому назад я сказала бы о Винценте все, что я говорю вам об Оливье.

— Бедная... Скоро вам придется говорить это о Жорже.

— Но мало-помалу покоряешься. Между тем я не предъявляла больших требований к жизни. Теперь я пытаюсь требовать от нее еще меньше... с каждым годом все меньше.— Помолчав, она прибавила с мягкой улыбкой: — А к себе с каждым годом становишься все более требовательной.

— С такими мыслями вы стали уже почти христианкой,— промолвил я, улыбаясь.

— Как раз об этом я иногда думаю. Но, чтобы быть христианином, их недостаточно.

— Точно так же, как недостаточно быть христианином, чтобы их иметь.

— Я часто думала — разрешите мне сказать об этом вам,— что, за неспособностью отца, поговорить с детьми могли бы вы.

— Винцент далеко.

— Ну, тут уже слишком поздно. Я имею в виду Оливье. У меня было желание, чтобы он отправился в поездку с вами.

При этих словах, которые вдруг заставили меня живо представить себе, что могло бы быть, если бы я не бросился так необдуманно в авантюру, сильное волнение сдавило мне горло, и в первую минуту я не мог вымолвить ни слова; но, когда слезы выступили у меня на глазах, я сказал со вздохом, желая придать моему волнению видимость объяснения:

— Боюсь, как бы тут тоже не было слишком поздно.

При этих словах Полина схватила меня за руку.

— Как вы добры! — воскликнула она.

Чувствуя замешательство от неправильно истолкованного моего порыва и не будучи в состоянии вывести ее из заблуждения, я пожелал, по крайней мере, отвлечь разговор от этой слишком чувствительной для меня темы.

— А Жорж? — спросил я.

— Он причиняет мне гораздо больше хлопот, чем старшие, — ответила она. — Не могу сказать, чтобы он ускользал от меня, потому что он никогда не был близок мне и никогда меня не слушался.

Несколько мгновений она была в нерешительности. Несомненно, ей стоило большого труда рассказать мне следующее:

— Этим летом произошло одно тяжелое событие; мне очень неприятно рассказывать вам о нем, тем более что по поводу его у меня остались кое-какие сомнения... Из шкафа, в который я обыкновенно запирала свои деньги, исчез вдруг стофранковый билет. Боязнь ошибиться в своих подозрениях удержала меня от каких-либо конкретных обвинений; совсем молоденькая девушка, которая служила нам в гостинице, казалась мне честной. Я сказала в присутствии Жоржа, что потеряла эти деньги, так как, признаюсь вам, мои подозрения падали на него. Он не смутился, не покраснел... Мне стало стыдно своих подозрений; я захотела проверить, не ошиблась ли я; произвела заново подсчет расходов. Увы! Не оставалось места для сомнений: недоставало ста франков. Я не решалась повергнуть Жоржа допросу и не без колебаний оставила его в покое. Боязнь быть свидетельницей, что воровству сопутствует еще и ложь, удержала меня. Допустила ли я ошибку, поступив таким образом?.. Да, теперь я упрекаю себя за то, что действовала без достаточного упорства; может быть, я также испугалась необходимости проявить большую строгость или, наоборот, своей неспособности быть слишком строгой. И вот я еще раз притворилась, что ничего не знаю, но это дорого обошлось мне, уверяю вас. Я упустила время и подумала, что будет уже слишком поздно и что наказание последует через слишком большой промежуток времени после преступления. Да и как наказать его? Я ничего не сделала: я упрекаю себя за это... но что я могла бы сделать? Я думала послать его в Англию; хотела даже обратиться к вам за советом по этому поводу, но не знала, где вы... По крайней мере, я не скрыла от него огорчения и беспокойства и думаю, что он не останется нечувствительным к этому, потому что у него

доброе сердце, вы ведь знаете. Я придаю большое значение упрекам, которые он сам будет предъявлять себе, если только он действительно виноват, чем острастке, которую могла бы сделать ему я. Он больше не станет воровать, я в этом уверена. Он находится в обществе одного очень богатого товарища, который, несомненно, толкал его на расходы. Конечно, если я буду оставлять шкаф открытым... Еще раз повторяю, я не вполне уверена, что это сделал он. Много случайных людей заходило в гостиную...

Я удивлялся, с какой изобретательностью она отыскивала всевозможные оправдания своему сыну.

— Я желал бы, чтобы он положил деньги туда, откуда взял,— сказал я.

— Я тоже думала об этом. Так как он этого не сделал, то я склонна видеть в этом доказательство его невиновности. Впрочем, у него могло не хватить решимости.

— Вы говорили об этом его отцу?

В течение некоторого времени она оставалась в нерешительности.

— Нет,— сказала она наконец.— Я предпочитаю, чтобы отец ничего об этом не знал.

Тут ей, вероятно, послышался шум из соседней комнаты, потому что она отправилась удостовериться, нет ли там кого-нибудь; затем снова села подле меня.

— Оскар мне сказал, что на днях вы вместе завтракали. Он так расхвалил мне вас, что я подумала, уж не пришлось ли вам выслушивать его излияния.— Она печально улыбнулась, произнося эти слова.— Если он делал вам признания, я не требую от вас не деликатности... хотя я знаю о его частной жизни гораздо больше, чем ему кажется... Но со времени моего возвращения я не понимаю, что с ним. Он так ласков со мной, я чуть было не сказала: подобострастен... Я почти обеспокоена этим. Такое впечатление, точно он меня боится. Он, право, ошибается. Уже давно я в курсе отношений, которые он поддерживает... я знаю даже с кем. Он считает, что они мне неизвестны, и принимает огромные предосторожности, чтобы скрыть их от меня; но эти предосторожности так бьют в глаза, что чем больше он прячется, тем больше себя выдает. Каждый раз, когда собираюсь уходить, он напускает на себя деловой, недовольный и озабоченный вид, я знаю, что он бежит к своей любовнице. Мне очень хочется сказать ему: «Друг мой, ведь я тебя не удерживаю; неужели ты боишься, что я ревную?» Я смеялась бы над ним, если бы была злой. Я боюсь

единственно только, как бы дети чего не заметили: он так рассеян, так неловок! Он не подозревает об этом, но иногда я, право, бываю вынуждена приходить ему на помощь, как если бы была его соучастницей. В результате это почти забавляет меня, уверяю вас; я придумываю для него извинения; кладу ему обратно в карман пальто письма, которые он всюду забывает.

— Вот именно,— сказал я,— он боится, что вы перехватываете его письма.

— Он сказал вам это?

— Поэтому он так робок.

— Неужели вы думаете, что я интересуюсь их содержанием?

Своего рода уязвленная гордость заставила ее выпрямиться. Я должен был прибавить:

— Речь идет не о тех письмах, которые он мог обронить по рассеянности, но о письмах, спрятанных им в ящик письменного стола; по его словам, он их там больше не находит. Он думает, что вы их похитили.

При этих словах я увидел, что Полина бледнеет, и ужасное подозрение, которое зародилось у нее, вдруг овладело моим умом. Я пожалел, что сказал об этом, но было уж слишком поздно. Она отвернулась от меня и пробормотала:

— Боже, если бы это было так!

Она казалась раздавленной.

— Что делать? — повторяла она. — Что делать? — Затем, снова повернувшись ко мне: — Скажите, вы не могли бы поговорить с ним?

Хотя она, подобно мне, избегала произносить имя Жоржа, было очевидно, что она думала о нем.

— Попробуюсь. Подумаю об этом,— сказал я, вставая.

Провожая меня в переднюю, она снова обратилась ко мне:

— Не говорите ничего Оскару, прошу вас. Пусть он продолжает подозревать меня, думать то, что думает... Так будет лучше. Приходите поскорее.

VII

Между тем Оливье, огорченный тем, что не застал дядю Эдуарда дома, был не в силах переносить одиночество и в поисках дружбы решил обратиться к Арману. Он направился к пансиону Ведель.

Арман принял его в своей комнате. Туда нужно было подняться по черной лестнице. Комната была маленькая и узкая, с окном, выходящим во внутренний двор, в который выходили также окна туалетов и кухонь соседнего дома. Дневной свет, посылаемый покоробившимся цинковым рефлектором, был совсем серым и тусклым. Комната плохо проветривалась; ее пропитывал тяжелый запах.

— Ко всему привыкаешь, — сказал Арман. — Мои родители, понятно, отводят лучшие комнаты для платных пансионеров. Это в порядке вещей. Комнату, которую я занимал в прошлом году, я уступил одному виконту: брату твоего знаменитого друга Пассавана. Комната княжеская; но все, что в ней делается, слышно в комнате Рашели. Здесь масса комнат, но все они сообщаются одна с другой. Так, бедная Сара, приехавшая сегодня утром из Англии, чтобы попасть в свою новую каморку, принуждена проходить через комнату родителей (что мало ее устраивает) или через мою, которая, говоря правду, первоначально была какой-нибудь уборной или кладовой. Здесь я, по крайней мере, обладаю тем преимуществом, что могу входить и выходить, когда мне угодно, не боясь, что за мной будут подглядывать. Я предпочел это мансардам, куда помещают прислугу. Честно сказать, я не в большой претензии за невзрачность обстановки; мой отец назвал бы это склонностью к умерщвлению плоти и объяснил бы тебе, что все, что причиняет ущерб телу, способствует спасению души. Впрочем, он никогда не заходит сюда. У него, видишь ли, есть другие заботы и некогда уделять внимание обиталищу своего сына. Мой папа презанятнейший тип. Он знает наизусть массу утешительных фраз на главнейшие события жизни. Приятно послушать. Жаль, что у него никогда нет времени поговорить... Ты рассматриваешь мою картинную галерею? Утром она бывает более выгодно освещена. Вот эта гравюра в красках ученика Паоло Учелло; предназначена для ветеринаров. В мощном творческом усилии артист сконцентрировал на одной лошади все бедствия, с помощью которых провидение очищает лошадиную душу; обрати внимание на одухотворенность взгляда... Вот это символическое изображение возрастов человека, начиная от колыбели и кончая могилой. В отношении рисунка вещь не особенно сильная; в ней ценен главным образом замысел. Дальше полюбуйся фотографией, сделанной с одной куртизанки Тициана, которую я повесил над своей кроватью, чтобы возбуждать у себя похотливые видения. Вот эта дверь в комнату Сары.

Жалкая комната произвела тягостное впечатление на Оливье; постель не убрана, и вода из умывальной чашки на туалетном столике не вылита.

— Да, мою комнату я убираю сам,— сказал Арман в ответ на его тревожный взгляд.— Вот здесь мой рабочий стол. Ты представить не можешь, на что вдохновляет меня атмосфера этой комнаты:

О воздух милого приюта...

Ей обязан я идеей моего последнего стихотворения «Ночной сосуд».

Оливье пришел к Арману с намерением поговорить с ним о своем журнале и получить у него согласие на сотрудничество; теперь у него пропала охота. Но Арман сам заговорил на эту тему:

— «Ночной сосуд»! Не правда ли, прекрасное заглавие? Со следующим эпиграфом из Бодлера:

Что это: погребальная урна, ждущая капелек слез?

Я пользуюсь там (вечно юным) античным сравнением с демиургом-горшечником, который лепит каждое человеческое существо как сосуд, предназначенный хранить в себе неведомое содержимое. В лирическом порыве я сравниваю себя самого с вышеупомянутым сосудом; мысль, которая, как я тебе говорил, возникла у меня вполне естественно при вдыхании запахов этой комнаты. Особенно я доволен началом стихотворения:

Без геморроя кто дожил до сорока...

Чтоб успокоить читателя, я хотел сначала сказать: «до пятидесяти...», но это никак не вмещалось в размер. Что касается «геморроя», то это, несомненно, одно из самых благозвучных слов... даже независимо от его значения,— со смешком прибавил он.

Оливье молчал, испытывая гнетущее впечатление от слов Армана.

— Излишне говорить,— продолжал Арман,— что ночной сосуд особенно польщен посещением горшка, подобно тебе, до верху наполненного ароматами.

— И ты ничего не написал, кроме этого? — с отчаянием спросил наконец Оливье.

— Я собирался предложить мой «Ночной сосуд» в твой славный журнал, но по тону, каким ты только что сказал

«кроме этого», ясно вижу, что у него не много шансов тебе понравиться. Правда, в таких случаях поэт всегда может заявить: «Я пишу не для того, чтобы нравиться» — и остаться в убеждении, что он одарил мир шедевром. Но не стану скрывать от тебя, что нахожу свое стихотворение гнусным. Впрочем, я написал только первый стих. Я говорю «написал», но это неточное выражение, потому что я лишь сию минуту сварганил его в твою честь... Нет, в самом деле, у тебя была мысль напечатать что-нибудь из моих стихотворений? Ты хотел привлечь меня в число сотрудников? Не считал, значит, меня не способным написать что-нибудь чистоплотное? Различил на моем бледном челе печать гения? Я знаю, что здесь недостаточно светло, чтобы увидеть свое изображение в зеркале; но когда мне, этакому Нарциссу, случается созерцать себя в нем, я вижу только лицо неудачника. Конечно, это, может быть, всего-навсего эффект дурного освещения... Нет, дорогой мой Оливье, нет, я ничего не написал этим летом, и если ты рассчитывал на меня для твоего журнала, то можешь разувериться. Но довольно болтовни... Значит, на Корсике все было благополучно? Ты вволю наслаждался путешествием? Извлек из него пользу? Отдохнул от трудов? Набрался...

Оливье наконец не выдержал:

— Замолчи, пожалуйста, перестань ерничать. Если ты думаешь, что это меня веселит...

— Неужели ты думаешь, что это веселит меня! — воскликнул Арман. — Нет, дорогой мой, нисколько не забавляет! Я вовсе не такой дурак. У меня еще достаточно ума, чтобы понять, что все сказанное мной тебе — паясничество.

— Ты не можешь, значит, говорить серьезно?

— Мы начнем сейчас говорить серьезно, раз тебе нравится серьезный жанр. Моя старшая сестра Рашель слепнет. Ее зрение сильно ослабело в последнее время. Уже два года, как она не может читать без очков. Я думал сначала, что ей просто нужно переменить стекла. Этого оказалось недостаточно. По моему настоянию она пошла к специалисту. По-видимому, у нее ослабляется чувствительность сетчатки. Ты понимаешь, что это две различные вещи; при несовершенной аккомодации хрусталика приходят на помощь очки. Но даже после того как они удалили или приблизили зрительный образ, он может производить недостаточно сильное раздражение сетчатки и вследствие этого передаваться в мозг в очень смутном виде. Ясно тебе? Ты почти не знаешь Рашели, так что не подумай, будто я желаю

растрогать тебя ее участью. Зачем же, в таком случае, я рассказываю тебе все это?.. Затем, что, размышляя над ее болезнью, я пришел к убеждению: подобно зрительным образам, представления тоже могут доходить до мозга с большей или меньшей отчетливостью. Тупая башка получает только смутные восприятия; но именно поэтому она не способна отдать себе ясный отчет, что она тупая. Ее тупость могла бы причинить ей страдание только в том случае, если бы она сознала ее; но, чтобы сознать свою тупость, она должна поумнеть. Теперь представь себе на одно мгновение такого уroda: дурака, который достаточно умен, чтобы ясно понять, что он дурак.

— Если он поймет это, то, право же, не будет больше дураком!

— Будет, дорогой мой, поверь мне. Я отлично знаю это, потому что этот дурак — я сам.

Оливье пожал плечами. Арман продолжал:

— Дурак в подлинном смысле слова не сознает мыслей, превосходящих его разумение. Я сознаю их. Но тем не менее я дурак, так как я знаю, что никогда не буду в силах овладеть ими...

— Но бедняга Арман,— промолвил Оливье в порыве симпатии,— мы все так созданы, что могли бы быть лучше, и я думаю, что величайшим умом является как раз тот, который больше всего страдает от своей ограниченности.

Арман оттолкнул руку, которую Оливье с дружеским участием положил ему на плечо.

— У других есть чувство того, чем они обладают,— сказал он,— я же чувствую только свои недостатки. Недостаток денег, недостаток сил, недостаток ума, недостаток любви. Недостаток во всем; таким я останусь всегда.

Он подошел к туалетному столику, намочил головную щетку в грязной воде умывальника и нелепо начесал себе волосы на лоб.

— Я сказал тебе, что ничего не написал; однако в эти последние дни у меня родилась идея трактата, который я назвал бы трактатом о неполноценности. Но, понятно, у меня недостаточно сил, чтобы его написать. Я сказал бы в нем... Но я раздражаю тебя.

— Нисколько; ты раздражаешь меня своими шутками; теперь, напротив, меня очень интересует все, что ты говоришь.

— Я занялся бы там отысканием, в мировом масштабе, пограничной точки, за пределами которой нет ничего.

Пример пояснит тебе, в чем здесь дело. Недавно газеты писали о смерти одного рабочего, убитого электрическим током. Не приняв мер предосторожности, он возился с электрическими проводами; напряжение было не очень высокое; но все его тело было, по-видимому, покрыто потом. Смерть его объясняется этим влажным покровом, который позволил току окутать его тело. Если бы его тело было менее влажно, несчастья не произошло бы. Но прибавим пот, капелька за капелькой... Еще одна капелька: готово.

— Не понимаю,— сказал Оливье.

— Это оттого, что я выбрал неудачный пример. Я всегда выбираю неудачно свои примеры. Ну, вот тебе другой: в одной лодке собралось шестеро потерпевших кораблекрушение. Десять дней буря носит их по океану. Трое умерли, двоих спасли. Шестой был в обмороке. Надеялись еще возвратить его к жизни. Организм достиг пограничной точки.

— Да, да, понимаю,— сказал Оливье, — часом раньше его удалось бы спасти.

— Часом! Эка ты хватил! Я принимаю в расчет крайнее мгновение: еще можно; еще можно... больше нельзя! Мой ум движется по узкой грани. Вот эту-то демаркационную линию между бытием и небытием я стараюсь провести повсюду. Граница сопротивления... возьмем, например, то, что мой отец назвал бы искушением. Человек еще крепится; веревка, за которую тянет дьявол, натянута до предела... Еще одно маленькое усилие, и веревка разрывается: человек осужден. Понятно тебе теперь? Чуть-чуть меньше — и небытие. Бог не создал бы мира. Ничего не было бы... «Лицо мира изменилось бы», — говорит Паскаль. Но я не довольствуюсь мыслью: «Если бы нос Клеопатры был покороче». Я требую точности. И я спрашиваю: короче... насколько? Ведь в конце концов он мог бы быть короче на самую малость, не правда ли?.. Постепенный переход; постепенный переход; потом внезапный скачок... «*Natura non fecit saltus*»¹ — пустая болтовня! Я словно араб в пустыне, изнемогающий от жажды. Я достигаю той строго определенной точки, где, понимаешь ли, одна капля воды могла бы еще спасти его... или одна слеза...

Голос его прерывался, приобретая патетическую интонацию, удивившую и взволновавшую Оливье. Он продолжал мягким, почти ласковым тоном:

¹ «Природа не совершает скачков» (лат.).

— Помнишь: «Я пролил эту слезу за тебя...»

Да, Оливье помнил фразу Паскаля; ему даже было неприятно, что его друг процитировал неточно, и он не мог удержаться, чтобы не поправить: «Я пролил эту каплю крови...»

Возбуждение Армана внезапно спало. Он пожал плечами:

— Что мы можем тут? Есть такие, которые будут приняты без труда... Понимаешь теперь, что такое чувствовать себя всегда «на грани»? Мне всегда будет не доставать маленькой малости.

Он принялся хохотать. Оливье почувствовал, что смех этот был средством заглушить рыдания. Ему очень хотелось высказаться самому, сказать Арману, как он взволнован его словами и сколько душевной боли слышится ему в этой раздражающей иронии. Но он торопился на свидание с Пассаваном.

— Я должен расстаться с тобой,— сказал он, вынув часы.— Ты сегодня вечером свободен?

— А что?

— Я хочу пригласить тебя в ресторан «Пантеон». «Аргонавты» устраивают там банкет. Приезжай к концу. Будет масса типов, более или менее знаменитых и подвыпивших. Бернар Профитандье обещал прийти. Может получиться очень занятно.

— Я небрит,— мрачно сказал Арман.— Да и что мне делать среди знаменитостей? Но знаешь что? Пригласи Сару, утром она вернулась из Англии. Я уверен, это доставит ей большое удовольствие. Хочешь, я передам ей приглашение от твоего имени? Бернар ее проводит.

— Ладно, идет,— ответил Оливье.

VIII

Итак, было условлено, что Бернар и Эдуард, пообедав вместе, заснут за Сарой около десяти часов. Сара с радостью приняла переданное Арманом приглашение. В половине десятого она удалилась в свою комнату, куда проводила ее мать. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через комнату родителей; но другая дверь, которая считалась заколоченной, вела из комнаты Сары в комнату Армана и выходила, как мы уже сказали, на черную лестницу.

В присутствии матери Сара притворилась, что собирается лечь спать, и попросила оставить ее; но едва дверь за

матерью закрылась, она подошла к туалетному зеркалу, чтобы подкрасить себе губы и поддурмянить щеки. Туалетный столик маскировал закрытую дверь и был не настолько тяжел, чтобы Сара не могла бесшумно его отодвинуть. Она открыла потайную дверь.

Сара боялась встречи с братом, насмешки которого были ей неприятны. Арман, правда, оказывал содействие самым рискованным ее затеям; казалось, даже находил в этом удовольствие; но снисходительность его была весьма условна, ибо потом он еще суровее осуждал ее; в результате Сара не могла бы сказать с уверенностью, не является ли в конце концов любовь брата только издевательской игрой блюстителя нравов.

Комната Армана была пуста. Сара села на низенький табурет и в ожидании предалась размышлениям. Из духа протеста она давно уже культивировала в себе презрительное отношение ко всем домашним добродетелям. Семейный гнет напрягал ее энергию, раздражал ее бунтарские инстинкты. Во время пребывания в Англии она сумела раскалить добела свою смелость. Подобно мисс Абердин, молоденькой пансионерке-англичанке, Сара решила завоевать себе свободу, обеспечить возможность делать что угодно, отважиться на все. Она чувствовала себя готовой выдержать любое презрение и любое порицание, способной на любой вызов. В своих авансах Оливье она одержала уже победу над природной скромностью и врожденной стыдливостью. Пример старших сестер послужил ей уроком; она рассматривала благочестивую покорность Рашель как надувательство; соглашалась видеть в браке Лауры только жалкую сделку, приводящую к рабству. Образование, которое она получила, которое дала себе сама, которого добилась, весьма мало предрасполагало ее, как ей казалось, к тому, что она называла супружеской преданностью. Она совершенно не понимала, чем мог бы превосходить ее человек, за которого она вышла бы замуж. Разве она не получила аттестата зрелости так же, как и мужчина? Разве у нее не было о любом предмете своих мнений и своих идей? В частности, о равенстве полов; ей даже казалось, что в практической жизни, а при случае и в политике женщина часто обнаруживает больше здравого смысла, чем многие мужчины...

Шаги на лестнице. Сара насторожилась, затем тихонько отворила дверь.

Бернар и Сара еще не были знакомы. Коридор не освещался. В полутьме они едва различали друг друга.

— Мадемуазель Сара Ведель? — тихо спросил Бернар.

Она бесцеремонно взяла его под руку.

— Эдуард ожидает нас в авто на углу. Он предпочел не выходить из автомобиля, боясь встретиться с вашими родителями. Ну а мне это не страшно, вы ведь знаете, я здесь живу.

Бернар позаботился оставить калитку полуоткрытой, чтобы не привлечь внимания привратника. Через несколько минут автомобиль подкатил всех троих к ресторану «Пантеон». Когда Эдуард расплачивался с шофером, часы пробили десять.

Банкет окончился. Кушанья были убраны, но стол был заставлен чашками кофе, бутылками и рюмками. Все курили; становилось нечем дышать. Госпожа де Брусс, жена редактора «Аргонавтов», требовала свежего воздуха. Ее резкий голос отчетливо раздавался среди шума разговоров. Открыли окно. Но Жюстиньен, собравшийся произнести речь, велел тотчас же снова закрыть его — «для акустики». Поднявшись, он начал стучать ложечкой по рюмке, но ему не удалось привлечь к себе внимание. Вмешался редактор «Аргонавтов», которого называли президент де Брусс, и сумел добиться относительной тишины; голос Жюстиньена начал изливаться целые моря скуки. Банальность мысли он прикрывал потоками образов. Остроумие заменял напыщенностью и ухитрялся каждому присутствующему отпустить тяжеловесный комплимент. После первой паузы, когда в зал входили Эдуард, Бернар и Сара, раздались снисходительные аплодисменты; некоторые хлопали дольше, чем требовали приличия, иронически, без сомнения, и как бы в надежде положить конец речи; но тщетно: Жюстиньен начал снова; ничто не в силах было охладить жар его красноречия. Теперь он стал осыпать цветами риторики графа де Пассавана. Он говорил о «Турнике» как о новой «Илиаде». Стали пить за здоровье Пассавана. У Эдуарда, Бернара и Сары не было рюмок, что избавило их от обязанности чокаться с ним.

Речь Жюстиньена закончилась пожеланием процветания новому журналу и несколькими комплиментами его будущему редактору, «юному и талантливому Молинье, любимцу муз, благородному и чистому челу которого недолго придется дожидаться лавров».

Оливье сидел около входной двери, чтобы иметь возможность встретить своих друзей. Преувеличенные комплименты Жюстиньена явно были ему неприятны, но он не мог уклониться от маленькой овации, последовавшей за этим.

Трое вновь прибывших пообедали слишком скромно, чтобы чувствовать себя настроенными в тон собранию. На такого рода пиршествах опоздавшие плохо или же слишком хорошо объясняют себе возбуждение остальных. Они судят, тогда как судить не следовало бы, и предаются, хотя бы невольно, безжалостной критике; так, по крайней мере, было с Эдуардом и Бернарром. Что касается Сары, для которой все в этом обществе было ново, то она хотела только поучиться, забочилась только о том, чтобы попасть в тон.

Бернар никого не знал. Оливье, который взял его под руку, хотел представить его Пассавану и де Бруссу. Бернар отказался. Выручил Пассаван: подойдя, он протянул ему руку, которую Бернар не мог, конечно, не пожать.

— Я слышу о вас так давно, что мне кажется, будто уже знаком с вами.

— Я тоже,— сказал Бернар таким тоном, который сразу охладил пыл Пассавана. Отвернувшись, он подошел к Эдуарду.

Несмотря на свои частые путешествия и очень замкнутый образ жизни в Париже, Эдуард был достаточно хорошо знаком с несколькими из присутствующих и не чувствовал никакого стеснения. Эдуарда его собратья мало любили, но уважали, он мирился со своей репутацией гордеца, хотя на самом деле лишь держался на расстоянии. Он охотнее слушал, чем говорил.

— Ваш племянник обрадовал меня известием, что вы придете,— начал Пассаван вкрадчивым и тихим голосом.— Я был весьма польщен, потому что...

Иронический взгляд Эдуарда заставил его прервать фразу. Искусный льстец, привыкший всем нравиться, Пассаван, чтобы блистать, чувствовал потребность иметь перед глазами снисходительное зеркало. Однако он овладел собою, так как не принадлежал к числу тех, кто надолго теряет уверенность и примиряется с поражением. Он поднял голову, и в его глазах снова появилась наглость. Если Эдуард не согласится участвовать в его игре добровольно, он найдет способ его заставить.

— Я хотел вас спросить...— сказал Пассаван, как бы продолжая свою мысль,— нет ли у вас известий от вашего другого племянника, моего друга Винцента? Я был близок главным образом с ним.

— Нет,— сухо ответил Эдуард.

Это «нет» снова поставило в тупик Пассавана, который толком не понимал, должен ли он принимать его как вызов

или как простой ответ на вопрос. Замешательство его длилось не более мгновения. Эдуард помимо своей воли вернул Пассавану самообладание, прибавив почти тотчас же:

— Я лишь узнал от его отца, что он путешествует с князем Монако.

— Да, я просил одну даму, с которой у меня дружеские отношения, представить его князю. Я счастлив, что мне удалось придумать для него эту прогулку; мне очень хотелось развлечь его после несчастной авантюры с госпожой Дувье... с которой, по словам Оливье, вы знакомы. Винцент чуть было не испортил себе жизнь.

Пассаван чудесно мог изобразить пренебрежение, презрение, снисходительность; но для него было достаточно выйти победителем из этого состязания и держать Эдуарда на почтительном расстоянии. Эдуард старался придумать какой-нибудь хлесткий ответ. У него до странности не хватало присутствия духа. Это обстоятельство было, несомненно, одной из причин его нелюбви бывать в обществе: он был вовсе лишен качеств, необходимых, чтобы блистать в гостиных. Брови его, однако, нахмурились. У Пассавана был нюх: как только ему собирались сказать что-либо неприятное, он сразу это чувствовал и делал крутой поворот. Не переводя дыхания и резко меняя тон, он улыбнулся и спросил:

— Кто эта прелестная девушка, пришедшая с вами?

— Это,— отвечал Эдуард,— мадемуазель Сара Ведель, сестра упомянутой вами госпожи Дувье, моего друга.

За неимением ничего лучшего он заострил «моего друга» как стрелу; но она не попала в цель, и Пассаван, подождав, когда она упадет, сказал:

— Вы были бы очень любезны, если бы познакомили меня с ней.

Он сказал эти последние слова и предшествующую фразу достаточно громко, чтобы Сара могла их услышать; так как она повернулась к ним, то Эдуард не мог увильнуть и сказал с натянутой улыбкой:

— Сара, граф де Пассаван желает удостоиться чести познакомиться с вами.

Пассаван велел принести три новые рюмки и наполнил их кюммелем. Все четверо выпили за здоровье Оливье. Бутылка была почти пуста, и так как Сару поразили кристаллы, оставшиеся на дне, то Пассаван сделал попытку извлечь их при помощи соломинок. Тут подошел к ним какой-то странный тип, похожий на паяца,

с нарумяненными щеками, подведенными глазами и прилизанными, словно молескиновая ермолка, волосами; с явным усилием выжимая из себя каждый слог, тип этот произнес:

— Так вам не вытащить. Дайте, я ее разобью.

Он схватил бутылку и одним ударом разбил о подоконник. Преподнося дно Саре, он сказал ей:

— С помощью этих маленьких острых многогранников очаровательная барышня без труда пробьет...

— Кто это чучело? — спросила Сара Пассавана, который усадил ее и сам сел рядом.

— Это Альфред Жарри, автор «Короля Юбю». «Аргонавты» произвели его в гении на том основании, что публика недавно освистала его пьесу. Все же она самое любопытное из всего, что написано для театра за последние годы.

— «Король Юбю» мне очень нравится, — сказала Сара, — и я очень довольна встречей с Жарри. Мне говорили, что он всегда пьян.

— Да, сейчас он, должно быть, пьян. Я видел, как он выпил за обедом два больших бокала чистого абсента. Незаметно, чтобы он чувствовал себя плохо. Хотите папиросу? Нужно курить самому, чтобы не задохнуться в табачном дыму.

Он наклонился к ней, поднося зажженную спичку. Она принялась грызть кристаллы.

— Да ведь это обыкновенный леденец, — сказала она, несколько разочарованная. — А я думала что-нибудь особенное.

Разговаривая с Пассаваном, она улыбалась Бернару, который оставался подле нее. Глаза ее блестели от возбуждения. Бернар не мог разглядеть ее в темноте и был теперь поражен ее сходством с Лаурой. Тот же лоб, те же губы... Черты ее, правда, не дышали такой ангельской грацией, и взгляды рождали какое-то смятение в его сердце. В каком-то замешательстве он обратился к Оливье:

— Познакомь же меня с твоим другом Беркаем.

Он встречался уже с Беркаем в Люксембургском саду, но никогда с ним не разговаривал. Робкий Беркай, чувствующий себя слегка не по себе в обществе, куда его только что ввел Оливье, краснел каждый раз, когда его друг представлял его как одного из главных сотрудников «Авангарда». Дело в том, что его аллегорическое стихотворение, о котором он говорил Оливье в начале нашей повести, должно было появиться в первом номере нового журнала, сразу же после манифеста.

— На месте, которое я приберегал для тебя,— сказал Оливье Бернару.— Я уверен, что оно тебе понравится. Оно лучше всего, что есть в номере. И так оригинально!

Оливье доставляло больше удовольствия хвалить своих друзей, чем выслушивать похвалы себе. При приближении Бернара Люсьен Беркай встал; он так неловко держал чашку кофе, что в волнении пролил полчашки себе на жилет. В этот момент совсем близко от него раздался деревянный голос Жарри:

— Малютка Беркай сейчас отравится, потому что я насыпал яду в его чашку.

Жарри забавлялся робостью Беркай, и ему доставляло удовольствие смущать его. Но Беркай не боялся Жарри. Он пожал плечами и спокойно допил свою чашку.

— Кто это? — спросил Бернар.

— Как! Ты не знаешь автора «Короля Юбю»?

— Не может быть! Это Жарри? Я принял его за лакея.

— Ну что ты,— немного обиженно сказал Оливье: он гордился своими знаменитостями.— Приглядиись к нему получше. Разве ты не находишь, что он необыкновенен?

— Он из кожи лезет, чтобы казаться таким,— сказал Бернар, который ценил только естественность, хотя относился с большим уважением к «Юбю».

Начиная от традиционного жокейского костюма, все в Жарри было нарочито; особенно его манера говорить, которой изо всех сил подражали некоторые «аргонавты»; манера, заключающаяся в отчеканивании слогов, изобретении странных слов, причудливом коверкании некоторых других; но нужно признать, что только Жарри удалось добиться этого голоса без тембра, без теплоты, без интонации, без выражения.

— Когда узнаешь его ближе, уверю тебя, находишь очаровательным,— сказал Оливье.

— Предпочитаю не знакомиться с ним. У него зверский вид.

— Это у него напускное. Пассаван думает, что в глубине души он очень нежен. Но он сегодня дьявольски пил: не воду, уверю тебя, и даже не вино: только чистейший абсент и крепкие ликеры. Пассаван боится, как бы он не выкинул какого-нибудь фортеля.

Вопреки его желанию имя Пассавана то и дело навертывалось ему на язык, и тем упорнее, чем больше он стремился его избегать.

Раздраженный неумением владеть собой, словно

человек, сам себя загнавший в западню, Оливье переменял тему:

— Тебе следует поговорить немного с Дюрмером. Боюсь, что он в смертельной обиде на меня за то, что я отбил у него редактуру «Авангарда»; но это не моя вина; я не мог поступить иначе и должен был дать свое согласие. Постарайся растолковать ему, успокоить его. Пасс... Мне сказали, что он просто взбешен от гнева на меня.

Он споткнулся, но на этот раз не упал.

— Надеюсь, что он взял обратно свою рукопись. Не люблю того, что он пишет,— сказал Беркай; затем, обращаясь к Профитандье: — Но вы, мсье, я думаю, что...

— Не называйте меня, пожалуйста, мсье... я отлично знаю, что у меня громоздкая и смешная фамилия... Если я буду писать, то придумаю себе псевдоним.

— Почему вы ничего нам не дали?

— Потому что у меня не было ничего готового.

Оливье, оставив своих друзей, подошел к Эдуарду:

— Как мило с вашей стороны, что вы пришли! Я не мог дожждаться встречи с вами. Но мне хотелось увидаться с вами где-нибудь в другом месте... Сегодня днем я заходил к вам. Вам передали? Я был очень огорчен, что не застал вас дома, и если бы знал, где можно вас найти...

Он был приятно поражен, что ему удалось найти такой непринужденный тон: ведь еще недавно волнение, охватывавшее его в присутствии Эдуарда, лишало его речи. Он обязан был этой непринужденностью — увы! — банальности своих слов, а также выпитому вину. Эдуард с грустью это констатировал.

— Я был у вашей матери.

— Я узнал об этом, придя домой,— сказал Оливье, которого больно резануло «вы» Эдуарда. Он думал, как бы сказать ему об этом.

— И в этом обществе вы собираетесь жить? — спросил Эдуард, пристально на него глядя.

— О, я не поддаюсь его влиянию!

— Вы вполне в этом уверены?

Это было сказано таким серьезным, таким нежным, таким братским тоном... Оливье почувствовал, что его уверенность поколеблена.

— Вы находите, что мне не следует водиться с этими людьми?..

— Не со всеми, пожалуй, но с некоторыми из них, конечно.

Оливье принял это множественное число за единствен-

ное. Ему показалось, что Эдуард имеет в виду исключительно Пассавана, и это было, на его внутреннем небе, как бы ослепительной и болезненно ранящей молнией, рассекавшей тяжелую тучу, которая уже с утра грозно сгущалась в его сердце. Он любил Бернара, любил Эдуарда, любил слишком сильно, чтобы перенести их неодобрение. Подле Эдуарда в нем загоралось все, что в нем было лучшего. Подле Пассавана пробуждались самые худшие инстинкты; он это теперь сознавал; да и переставал ли когда-либо сознавать? Но разве его ослепление в обществе Пассавана не было добровольным? Его признательность графу за все, что тот сделал для него, обращалась в озлобление. Всеми силами души он отрекался от Пассавана. То, что он увидел, окончательно исполнило его ненависти к нему.

Пассаван, наклонившись к Саре, охватил рукой ее талию и проявлял все большую и большую настойчивость. Осведомленный о грязных сплетнях по поводу его отношений с Оливье, он пытался дать наглядное доказательство их необоснованности. И, чтобы еще больше обратить на себя внимание, он решил добиться от Сары согласия сесть к нему на колени. Сара до сих пор оказывала очень слабое сопротивление, но взгляды ее искали взглядов Бернара, и когда она их встречала, то улыбалась, как бы говоря ему: «Посмотрите, что можно позволить со мной».

Однако Пассаван боялся действовать слишком поспешно. Ему не хватало практики. «Если только мне удастся убедить ее выпить еще немного, я рискну», — говорил он себе, протягивая свободную руку к бутылке кюрасао.

Оливье, наблюдавший за ним, предупредил его движение. Он схватил бутылку, просто чтобы отнять ее у Пассавана; но в этот момент, он вообразил, что ликер придаст ему больше храбрости; храбрости, в которой он как раз ощущал недостаток и которая была нужна ему, чтобы громко высказать Эдуарду жалобу, наворачивавшуюся ему на язык:

— Стоило только вам...

Оливье наполнил свою рюмку и залпом выпил ее. В этот момент он услышал, как Жарри, бродивший от группы к группе, сказал вполголоса, проходя мимо Беркай:

— А теперь мы пристрелим малютку Беркай.

Беркай резко повернулся к нему:

— Повторите вслух, что вы сказали.

Жарри был уже далеко. Обогнув стол, он повторил фальцетом:

— А теперь мы пристрелим малютку Беркаю.— Затем вытащил из кармана большой пистолет, который «Аргонавты» часто видели у него в руках, и стал целиться.

Жарри пользовался репутацией отличного стрелка. Раздались протестующие возгласы. Никто не был уверен, что в его теперешнем состоянии опьянения он сумеет удержаться в пределах шутки. Но Беркай решил показать свое бесстрашие, взобрался на стул и, заложив руки за спину, принял наполеоновскую позу. Он был немного смешон; кое-кто действительно засмеялся, но смех был мигом заглушен аплодисментами.

Пассаван торопливо сказал Саре:

— Это может плохо кончиться. Он совершенно пьян. Спрячьтесь под стол.

Де Брусс пытался было удержать Жарри, но тот, вырвавшись, в свою очередь, взобрался на стул (тут Бернар заметил, что он был обут в лакированные бальные туфли). Оказавшись прямо против Беркай, Жарри протянул руку и стал целиться.

— Потушите свет! Живее! — крикнул де Брусс.

Эдуард, стоявший у двери, повернул выключатель.

Сара встала, повинувшись приказанию Пассавана; едва только наступила темнота, она прижалась к Бернару, чтобы потащить его с собою под стол.

Раздался выстрел. Пистолет был заряжен холостыми. Но все же послышался чей-то крик: пыж угодил Жюстиньену прямо в глаз.

Когда снова был дан свет, все пришли в восторг от выдержки Беркай, который по-прежнему неподвижно стоял на своем стуле, все в той же позе, и разве лишь немного побледнел.

С супругой президента де Брусс сделалась истерика. Кругом все засуетились.

— Каким нужно быть идиотом, чтобы устраивать подобные развлечения!

Так как на столе не было воды, то Жарри, сойдя со своего пьедестала, намочил в вине носовой платок и в знак извинения принялся растирать виски госпоже де Брусс.

Бернар оставался под столом только мгновение; как раз столько времени, чтобы почувствовать на своих губах страстный поцелуй горячих губ Сары. Оливье последовал за ними, из дружбы, из ревности... Опьянение пробудило в нем то отвратительное чувство, которое он так хорошо знал, — боязнь остаться незамеченным. Когда он вылез из-

под стола, голова у него немного кружилась. Тут он услышал восклицание Дюрмера:

— Поглядите-ка на Молинье! Он труслив, как баба.

Это было слишком. Не сознавая хорошенько, что он делает, Оливье с поднятой рукой бросился на Дюрмера. Ему казалось, что он производит движения во сне. Дюрмер от удара увернулся. Как во сне, рука Оливье встретила лишь пустоту.

Смятение сделалось всеобщим, и в то время как одни хлопотали подле госпожи де Брусс, которая продолжала жестикулировать, издавая пронзительный визг, другие окружили Дюрмера, кричавшего: «Он даже не прикоснулся ко мне! Он даже не прикоснулся ко мне!..»; третьи — Оливье, который с пылающим лицом собирался броситься еще раз, так что стоило большого труда его успокоить.

Прикоснулся к нему Оливье или нет, Дюрмер все равно должен был считать себя получившим пощечину; это старался растолковать ему Жюстиньен, растиравший свой обожженный глаз. Это был вопрос чести. Но Дюрмер обращал мало внимания на уроки чести, преподаваемые ему Жюстиньеном. Он упорно повторял:

— Не прикоснулся... Не прикоснулся...

— Оставьте его в покое, — сказал де Брусс. — Нельзя заставлять людей драться, если они этого не желают.

Оливье между тем заявлял во всеуслышание, что, если Дюрмер не считает себя удовлетворенным, он готов влечь ему еще одну пощечину; решив вызвать Дюрмера на дуэль, он просил Бернара и Беркая быть его секундантами. Ни тот, ни другой ничего не смыслили в так называемых «вопросах чести», но Оливье не решался обратиться к Эдуарду. Галстук его развязался; волосы растрепались; лоб был весь потный; по рукам пробегала конвульсивная дрожь.

Эдуард взял его под руку:

— Ступай смочи немного лицо. Ты словно с ума сошел.

Он повел его в уборную.

Только выйдя из зала, Оливье понял, насколько он пьян. Когда он почувствовал у себя под мышкой руку Эдуарда, ему показалось, что он лишается сознания, и он без всякого сопротивления дал себя увести. Из всего сказанного ему Эдуардом он понял только, что тот обращался к нему на «ты». Как грозовая туча проливается дождем, так и сердце его, казалось, истаявало в слезах. Намоченное полотенце, которое Эдуард приложил к его лбу, окончательно его протрезвило. Что произошло? У него сохранилось смутное

сознание, что он действовал, как ребенок, как животное. Он чувствовал, что был смешон, отвратителен... Тогда в порыве сокрушения и любви он бросился на шею Эдуарду и, прижавшись к нему, зарыдал:

— Уведи меня.

Эдуард крайне разволновался.

— К родителям? — спросил он.

— Они не знают, что я в Париже.

Когда они проходили через кафе, направляясь к выходу, Оливье шепнул своему спутнику, что ему нужно написать несколько слов.

— Если сейчас бросить письмо в ящик, оно дойдет завтра в первом часу.

Сев за столик, он написал:

«Дорогой Жорж!

Да, это пишу я; я хочу просить тебя оказать мне маленькую услугу. Для тебя, конечно, не будет новостью, если я сообщу, что нахожусь в Париже, так как уверен, что сегодня утром ты видел меня около Сорбонны. Я остановился у графа де Пассавана (он дал адрес); мои вещи еще у него. По соображениям, которые очень долго излагать и которые мало для тебя интересны, я решил к нему не возвращаться. Кроме тебя, мне некого попросить привезти упомянутые вещи. Ты окажешь мне, не правда ли, эту услугу? Я не останусь в долгу. Там находится запертый сундук. Что касается остальных вещей, то ты сам уложишь их в мой чемодан и привезешь мне все к дяде Эдуарду. Я заплачу за авто. Завтра, к счастью, воскресенье; ты сможешь сделать это сейчас же по получении этого письма. Я рассчитываю на тебя, идет?

Твой старший брат

Оливье.

P.S. Я знаю, что ты малый расторопный, и не сомневаюсь, что справишься со всем как нельзя лучше. Но если тебе придется иметь дело непосредственно с Пассаваном, будь, пожалуйста, с ним как можно более холоден. До завтрашнего утра».

Те из гостей, которые не слышали оскорбительного заявления Дюрмера, не могли понять причину внезапного гнева Оливье. Казалось, что он потерял рассудок. Если бы он сумел сохранить хладнокровие, Бернар одобрил бы его

поведение: он не любил Дюрмера; но не мог и не признать, что Оливье действовал как безумный и казался кругом виноватым. Бернар страдал, слыша, как все строго осуждали поведение Оливье. Он подошел к Беркаю и условился насчет свидания с ним. Как ни нелепо было это дело, им обоим необходимо было соблюсти корректность. Они решили повидаться со своим клиентом завтра, в девять часов утра.

После ухода друзей у Бернара не было больше никаких оснований и никакого желания оставаться. Он отыскал глазами Сару и весь задрожал от бешенства, увидя ее сидящей на коленях у Пассавана. Оба казались пьяными, Сара, однако, встала при приближении Бернара.

— Пошли домой,— сказала она, беря его под руку.

Она пожелала идти пешком. Путь был недолгий; они прошли его, не сказав друг другу ни слова. В пансионе все огни были потушены. Боясь привлечь к себе внимание, они ошупью добрались до черной лестницы, а затем стали освещать себе дорогу спичками. Арман не спал. Услышав их шаги, он вышел на площадку лестницы с лампой в руке.

— Возьми лампу,— сказал он Бернару (со вчерашнего дня они говорили друг другу «ты»).— Посвети Саре, у нее в комнате нет свечи... Дай мне спички, я хочу зажечь у себя огонь.

Бернар проводил Сару во вторую комнату. Не успели они войти туда, как Арман, наклонившись над лампой, задул ее и сказал насмешливо:

— Спокойной ночи! Только не шумите, пожалуйста, в соседней комнате спят родители.

Затем, вбежав в свою комнату, закрыл за ними дверь на задвижку.

IX

Арман лег, не раздеваясь. Он знает, что ему не удастся заснуть. Он ожидает рассвета. Размышляет. Слушает. Все спят: дом, город, вся природа; ни звука.

Как только слабый свет, который рефлектор посылает сверху, из узкой щели, в его комнату, позволяет ему снова различить ее мерзость, он встает. Направляется к двери, которую запер вчера на задвижку; тихонько приоткрывает ее...

Но на пороге двери оборачивается. Ему нужно

разбудить Бернара. Последний должен возвратиться в свою комнату до того, как встанет кто-нибудь из живущих в пансионе. При легком шуме, который производит Арман, Бернар открывает глаза. Арман убегает, оставив дверь открытой. Он покидает свою комнату, спускается по лестнице, он где-нибудь спрячется; его присутствие будет стеснять Бернара; он не хочет с ним встречаться.

Несколько мгновений спустя он увидит из окна классной комнаты, как Бернар прошмыгнет, прижимаясь к стенам, словно вор...

Бернар спал недолго. Но он вкусил в эту ночь забвение более целительное, чем сон: и экстаз, и уничтожение своего существа. Он вступает в новый день чужой самому себе, ошеломленный, легкий, обновленный, спокойный и трепещущий, как Бог. Он оставил Сару спящей, украдкой высвободившись из ее объятий. Как? Без нового поцелуя, без последнего взгляда, без нового объятия? Он покидает ее так из-за своей бесчувственности? Не знаю. Он и сам не знает. Он старается вовсе не думать об этом, обеспокоенный необходимостью вплести эту необыкновенную ночь в ткань своей предшествующей жизни. Нет; это придаток, приложение, которое не может найти места в книге — книге, где повесть его жизни будет, не правда ли, продолжаться, как если бы ничего не случилось, будет идти своим чередом.

Он поднялся в комнату, которую занимает вместе с Борисом. Тот спит крепким сном. Какое дитя! Бернар откидывает одеяло на своей постели. Мнет простыни, чтобы создать впечатление будто он спал. Подходит к умывальнику, обливает себя водой, умывается. Но вид Бориса приводит ему на память Саас-Фе. Он припоминает сказанные там Лаурой слова: «Я могу принять от вас только благоговение, которое вы мне предлагаете. Прочие ваши чувства тоже будут предъявлять известные требования, которые должны будут удовлетворяться в другом месте». Эта фраза возмутила его. Ему кажется, что она до сих пор звучит в ушах. Он не думал больше о ней, но сегодня утром память у него удивительно свежа и деятельна. Помимо его воли мозг работает великолепно. Бернар прогоняет образ Лауры, хочет заглушить эти воспоминания; чтобы отвлечь свое внимание, он схватывает учебник и принуждает себя готовиться к экзамену. Но в комнате духота. Он идет заниматься в сад. Ему хочется выйти на улицу, ходить, бегать, выйти на простор, проветриться. Он наблюдает за калиткой; как только привратник открывает ее, он убегает.

Он приходит с книгой в Люксембургский сад и садится на скамью. Мысль его разматывается как шелковинка; но она непрочная; стоит ему потянуть сильнее, и нитка рывается. Как только он хочет приняться за чтение, между его глазами и книгой тотчас начинают проноситься нескромные воспоминания; вспоминаются не острые моменты экстаза, но мелкие смешные и неловкие подробности, которые задевают его самолюбие, ранят и терзают его. Впредь он не проявит такой неопытности.

Около девяти часов он встает и направляется к Люсьену Беркаю. Затем они отправляются к Эдуарду.

Эдуард жил в Пасси, в верхнем этаже доходного дома. Комната его выходила в обширный рабочий кабинет. Когда на рассвете Оливье встал, Эдуард сперва не проявил беспокойства.

— Пойду прилягу на диване,— сказал Оливье. Боясь, как бы он не простудился, Эдуард велел ему взять с собою одеяла. Вскоре после этого поднялся и Эдуард. Положительно он не заметил, как заснул, потому что с удивлением увидел, что уже совсем рассвело. Он захотел посмотреть, как устроился Оливье; захотел снова увидеть его; может быть, им руководило какое-то неясное предчувствие...

Кабинет был пуст. Одеяла лежали на диване неразвернутыми. Удушливый запах газа заронил в Эдуарде страшное подозрение. К кабинету примыкала маленькая комнатка, служившая ванной. Запах, несомненно, шел оттуда. Эдуард подбежал к этой комнатке, но сначала не мог открыть дверь; мешал какой-то предмет; это было лежавшее у ванны тело Оливье, раздетое, холодеющее, посиневшее, отвратительно выпачканное блевотиной.

Эдуард мгновенно закрыл кран горелки, из которой шел газ. Что произошло? Несчастный случай? Удушье?.. Он не верил своим глазам. Ванна была пуста. Эдуард взял Оливье на руки, перенес в кабинет, положил на ковер перед широко раскрытым окном. Став на колени, наклонился над ним и стал осторожно выслушивать. Оливье еще дышал, но слабо. Тогда Эдуард сделал отчаянную попытку раздуть еле тлеющую и готовую потухнуть искорку жизни в этом теле; он стал ритмично поднимать безжизненные руки, сжимать бока, растирать грудную клетку, словом, делать все, что — как он припоминал — полагается делать при удушье; сокрушался лишь тем, что он не может делать все

это сразу. Глаза Оливье были по-прежнему закрыты. Эдуард приподнял пальцем веки, но они снова опустились над безжизненным взглядом. Сердце, однако, билось. Поиски коньяка, лекарств остались безрезультатны. Эдуард согрел воду и вымыл верхнюю часть тела и лицо. Затем уложил безжизненное тело на диван и укрыл его одеялами. Он хотел позвать врача, но не решался уйти из дому. Каждое утро квартиру убирала служанка, но она приходила только в девять часов. Едва Эдуард услышал ее звонок, так тотчас же послал ее за врачом; затем передумал и вернул ее, опасаясь необходимости подвергнуться допросу.

Между тем Оливье медленно возвращался к жизни. Эдуард сел подле дивана у изголовья больного. Он разглядывал это неподвижное лицо и становился в тупик перед закладкой в нем загадкой. Почему? Почему? Можно действовать безрассудно вечером, в состоянии опьянения; но решения, принятые на рассвете, являются вполне зрелыми. Он отказывался понимать что-либо до той минуты, когда Оливье будет в состоянии наконец разговаривать с ним. Впредь он больше с ним не расстанется. Он взял Оливье за руку и вложил в это пожатие все свое недоумение, всю свою мысль, всю жизнь свою. Наконец ему показалось, что рука Оливье слабо отвечает на пожатие... Тогда он нагнулся и прижался губами к этому лбу, который хмурился от какого-то огромного, непонятного Эдуарду страдания.

Раздался звонок. Эдуард пошел открыть. Это были Бернар и Люсьен Беркай. Эдуард принял их в передней и сообщил им о случившемся; затем, отведя Бернара в сторону, спросил его, не знает ли он за Оливье каких-нибудь внезапных головокружений, припадков?.. Бернар вдруг вспомнил их разговор накануне, и в частности несколько фраз Оливье, которые тогда почти пропустил мимо ушей, теперь же расслышал с необыкновенной отчетливостью.

— Это я говорил с ним о самоубийстве, — сказал он Эдуарду. — Я спросил его, понимает ли он, что можно убить себя от одного избытка жизни, «от восторга», как говорил Дмитрий Карамазов. Я был весь поглощен своей мыслью и сосредоточил все внимание на своих собственных словах; но сейчас вспоминаю, что он мне ответил.

— Что же он ответил? — нетерпеливо спросил Эдуард, потому что Бернар остановился и, казалось, не желал продолжать.

— Ответил, что ему понятно, как можно дойти до само-

убийства, но лишь после достижения такой вершины радости, когда вся дальнейшая жизнь кажется падением.

Тут оба они переглянулись и замолчали. Свет загорался в их уме. Эдуард отвел взгляд в сторону, Бернар же рассердился на себя за то, что сказал это. Они снова подошли к Беркаю.

— Досадно,— сказал Беркай,— что могут подумать, будто он захотел покончить с собой, чтобы уклониться от дуэли.

Эдуард больше не думал об этой дуэли.

— Поступайте так, словно ничего не случилось,— сказал он.— Отправляйтесь к Дюрмеру и попросите его свести вас с его секундантами. Объясняться будете уже с ними, если это идиотское дело не уладится само собою. Дюрмер не обнаруживал тогда большой готовности защищать свою честь.

— Мы не расскажем ему ничего,— сказал Люсьен, — чтобы на него пал весь стыд за то, что он идет на попятный. Потому что, я уверен, он увильнет.

Бернар спросил, нельзя ли ему увидеть Оливье. Но Эдуард хотел, чтобы его оставили сейчас в покое.

Бернар и Люсьен собирались уже уходить, как вдруг пришел Жорж. Он был только что у Пассавана, но ему не удалось получить вещи брата.

«Господина графа нет дома,— был дан ему ответ.— Он не оставил нам никаких распоряжений».

И лакей захлопнул дверь перед его носом.

Серьезность тона Эдуарда и поведение двух юношей обеспокоили Жоржа. Он почуял что-то неладное и начал расспрашивать. Эдуарду пришлось рассказать ему все.

— Только не говори ничего родителям.

Жорж был в восторге, что его посвятили в тайну.

— Мы умеем держать язык за зубами,— сказал он. Так как ему было нечего делать, то он предложил Бернару и Люсьену сопровождать их к Дюрмеру.

Когда трое посетителей ушли, Эдуард позвал служанку. Он попросил ее приготовить комнату, смежную с его спальней, чтобы можно было поместить в ней Оливье. Затем на цыпочках вошел в кабинет. Оливье спал. Эдуард сел подле него. Он взял книгу, но тотчас же отшвырнул ее, не раскрывая, и стал глядеть на своего спящего друга.

Х

Ничто не просто из того, что дается душе; и душа никогда не дается как нечто простое.

Паскаль

— Я думаю, он будет рад увидеться с вами,— сказал Эдуард Бернару на другой день.— Он спрашивал сегодня утром, приходили ли вы вчера. Он, должно быть, слышал ваш голос, когда мне казалось, что он лежит без сознания... Глаза у него закрыты, но он не спит. Молчит. Часто подносит руку ко лбу от внутреннего страдания. Когда я обращаюсь к нему, лоб его хмурится, но, стоит мне уйти, он тотчас зовет меня и требует, чтобы я сидел подле... Нет, он больше не в кабинете. Я поместил его в комнате, смежной с моей спальней, чтобы иметь возможность принимать посетителей, не беспокоя его.

Они вошли к Оливье.

— Я пришел осведомиться о твоём здоровье,— ласковым тоном сказал Бернар.

Черты лица Оливье оживились при звуках голоса друга. Это была уже почти улыбка.

— Я тебя ждал.

— Я уйду, если мой приход утомляет тебя.

— Оставайся.

Но, произнося это слово, Оливье приложил палец к губам. Он просил, чтобы с ним не разговаривали. Бернар, которому через три дня предстояло явиться на устные экзамены, не расставался теперь с руководствами, где сосредоточен экстракт премудрости, которой он должен был владеть на экзамене. Он расположился у изголовья друга и погрузился в чтение. Оливье повернулся лицом к стене и, казалось, уснул. Эдуард ушел в свою комнату; иногда он показывался в двери, которая оставалась открытой. Через каждые два часа он заставлял Оливье выпивать чашку молока, но делал это только с сегодняшнего утра. Весь вчерашний день желудок больного не принимал никакой пищи.

Прошло много времени. Бернар поднялся, чтобы уходить. Оливье обернулся, протянул ему руку и сказал, стараясь улыбнуться:

— Ты придешь завтра?

В последний момент он подозвал его, сделал ему знак нагнуться, словно боясь, что его голос не будет услышан, и сказал совсем тихо:

— Нет, подумай, каким я был дураком!

Затем, желая предупредить возражение Бернара, он снова поднес палец к губам:

— Нет, нет... Потом я объясню все.

На другой день Эдуард получил письмо от Лауры; когда пришел Бернар, он ему дал прочесть его.

«Мой дорогой друг!

Спешу написать Вам, чтобы предупредить нелепейшее несчастье. Я уверена, Вы мне поможете, если только письмо придет вовремя.

Феликс уехал в Париж с намерением повидаться с Вами. Он желает получить от Вас сведения, которые я отказываюсь ему дать; он желает от Вас узнать имя человека, которого собирается вызвать на дуэль. Я сделала все возможное, чтобы удержать его от этого шага, но решение его остается непоколебимым, и все, что я ему говорю по этому поводу, только еще более укрепляет его в нем. Вам одному, может быть, удастся переубедить его. Он доверяет Вам и, я надеюсь, послушается Вас. Подумайте, ведь он никогда не держал в руках ни пистолета, ни рапиры. Мысль, что из-за меня он может подвергнуть опасности свою жизнь, мне невыносима, но больше всего я боюсь — мне стоит большого труда признаться в этом, — как бы он не поставил себя в смешное положение.

После моего возвращения Феликс чрезвычайно ласков со мной, предупредителен, любезен, но я не в силах притворяться, будто люблю его больше, чем на самом деле. Он страдает от этого; и мне кажется, именно его желание увеличить мое уважение к нему, мое восхищение им толкает его на этот шаг, который Вы сочтете опрометчивым; но он думает о нем каждый день, и после моего возвращения это положительно стало у него навязчивой идеей. Конечно, он простил меня, но он смертельно ненавидит своего соперника.

Умоляю Вас оказать ему такой же сердечный прием, какой Вы оказали бы мне; это будет самым лучшим доказательством дружбы, какое Вы можете мне дать. Извините, что я до сих пор не написала Вам, не выразила всей признательности, которую чувствую за участие и заботы, которыми Вы меня окружили во время нашего пребывания в Швейцарии. Воспоминание об этом времени согревает меня и помогает мне жить.

Вечно беспокойный и всегда преданный Вам друг

Лаура».

— Что вы собираетесь предпринять? — спросил Бернар, возвращая письмо.

— Что же мне, по-вашему, предпринять? — отвечал Эдуард тоном, в котором слышалось раздражение, вызванное не столько вопросом Бернара, сколько тем, что он сам уже задавал его себе. — Если он придет, то я окажу ему наилучший прием. Я дам ему превосходный совет, если он обратится ко мне за советом, и постараюсь убедить его, что самое лучшее, что он может сделать, это сидеть спокойно дома. Люди, подобные бедняге Дувье, всегда совершают большую ошибку, стремясь выдвинуться на первый план. Поверьте, что и вы были бы того же мнения, если бы его знали. Лаура же рождена для первых ролей. Каждый из нас переживает драму в меру своих сил и получает свою долю трагического. Что мы тут можем? Драма Лауры в том, что она стала женой статиста. С этим ничего не поделаешь.

— А драма Дувье в том, что он женился на особе, которая всегда останется выше его, что бы он ни делал, — заметил Бернар.

— Что бы он ни делал... — повторил Эдуард как эхо, — и что бы ни делала Лаура. Замечательнее всего то, что, сожалея о своей вине, раскаиваясь в ней, Лаура хотела унизиться перед ним; но он тотчас же распростерся перед ней еще ниже; все, что ни делали он и она, в результате только умаляло его и возвеличивало ее.

— Мне очень его жаль, — сказал Бернар. — Но почему вы не допускаете, что, повергаясь ниц перед ней, он может духовно вырасти?

— Потому что у него не хватает лиризма, — отрезал Эдуард тоном, не допускающим возражений.

— Что вы хотите сказать?

— Что он никогда не находит забвения в том, что испытывает, и потому никогда не испытывает ничего великого. Не заставляйте меня слишком углубляться в эту тему. У меня есть свои мысли, но они не поддаются измерению, да я и не стараюсь измерить их. Поль-Амбруаз обыкновенно говорит, что он не хочет принимать в расчет ничего, что не может быть выражено в цифрах; но я думаю, что он играет словами «принимать в расчет», потому что «из этого расчета», как он говорит, приходится выбросить Бога. К этому,

правда, он и стремится, этого и желает... Слушайте: мне кажется, я называю лиризмом состояние человека, который дает Богу возможность одержать над собой победу.

— Но не это ли состояние как раз означает слово «энтузиазм»?

— Может быть, еще и слово «вдохновение». Да, это как раз то, что я хочу сказать: Дувье — человек, не способный на вдохновение. Я согласен признать правоту Поль-Амбруаза, когда он рассматривает вдохновение как явление, причиняющее наибольший вред искусству, и я охотно верю, что художником человек бывает только при условии совладания с лирическим порывом; чтобы подчинить этот порыв своей власти, все же необходимо предварительно его пережить.

— А не кажется ли вам, что это состояние наития можно объяснить физиологически, при помощи...

— Та, та, та! — перебил Эдуард. — Такие соображения, хотя они совершенно правильны, способны привести в замешательство только дураков. Конечно, нет ни одного душевного движения, которое не имело бы материального соответствия. А дальше? Чтобы проявиться, дух не может обойтись без материи. Отсюда — тайна воплощения.

— Напротив, материя превосходно обходится без духа.

— Ну, об этом мы ничего не знаем, — со смехом сказал Эдуард.

Бернару было очень забавно слышать от Эдуарда такие речи. Обыкновенно тот не любил высказываться. Проявляемое им сегодня возбуждение объяснялось присутствием Оливье. Бернар понял это.

«Он говорит со мной, как если бы говорил с Оливье, — подумал он. — Ему следовало бы сделать своим секретарем Оливье. Как только Оливье выздоровеет, я уйду от него: мне здесь не место».

Он думал об этом без горечи, весь поглощенный теперь мыслями о Саре, с которой он виделся прошлую ночь и рассчитывал увидеться в будущую.

— Мы совсем уклонились от нашего разговора о Дувье, — сказал он, тоже рассмеявшись. — Вы скажете ему о Винценте?

— Нет. На кой черт?

— Не кажется ли вам, что для Дувье очень мучительно не знать, кого он должен подозревать?

— Вы, может быть, правы. Но сказать ему об этом — дело Лауры. Я не мог бы взять на себя роль осведомителя, не предав ее... К тому же я не знаю даже, где он.

— Винцент?.. Пассаван, наверное, должен знать.

Звонок прервал их разговор. Это была госпожа Молинье, пришедшая осведомиться о здоровье сына. Эдуард принял ее в кабинете.

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

Визит Полины. Я был в затруднении, как предупредить Полину, и в то же время не мог оставить ее в неведении относительно болезни сына. Я считал излишним рассказывать о его непонятном покушении на самоубийство; сказал, что у него был просто сильный приступ печени, который действительно остается наиболее явным результатом этого покушения.

— Я успокоилась, когда узнала, что Оливье у вас, — сказала мне Полина. — Я не могла бы ухаживать за ним лучше, чем вы, так как я ясно чувствую, что вы любите его не меньше меня.

Произнося эти последние слова, она посмотрела на меня как-то слишком уж пристально. Или же я выдумал намек, который, как показалось мне, она вложила в свой взгляд? Я чувствовал, что перед Полиной у меня, как говорится, «совесть нечиста», и мог пробормотать в ответ только что-то бессвязное. Нужно признаться, что после сильного нервного напряжения последних двух дней я утратил всякую способность владеть собой; мое волнение было, должно быть, слишком заметным, потому что она прибавила:

— Ваш румянец говорит красноречивее слов... Мой бедный друг, не ждите от меня упреков. Я бы осыпала вас ими, если бы вы не любили Оливье... Могу я видеть его?

Я провел ее к Оливье. Бернар, услышав наши шаги, удалился.

— Как он прекрасен! — прошептала она, наклонившись над постелью. Затем, обернувшись ко мне: — Вы поцелуете его от меня? Боюсь разбудить его.

Полина положительно необыкновенная женщина. Я думаю так уже давно. Но я никак не мог предположить, что ее понятливость пойдет столь далеко. Все же мне показалось, что за сердечностью ее слов и своего рода добродушной легкостью, которую она вкладывала в тон своего голоса, кроется некоторая принужденность (может быть, благодаря моим усилиям скрыть охватившее меня замешательство); мне припомнилась одна фраза из нашего последнего раз-

говора, которая уже тогда показалась мне очень мудрой, хотя не в моих интересах было признавать ее такой: «Я предпочитаю добровольно давать свое согласие на то, чему все равно не могла бы воспрепятствовать». Полина явно принуждала себя к добровольному согласию; когда мы возвратились в кабинет, она сказала как бы в ответ на мою тайную мысль:

— Боюсь, не оскорбила ли я вас тем, что не выказала сейчас себя оскорбленной. Есть вольности мысли, на которые мужчины хотели бы сохранять монополию. Я не в состоянии, однако, притворяться и делать вид, будто испытываю возмущение. Жизнь научила меня. Я поняла, насколько хрупкая вещь — чистота мальчиков, даже когда она охраняется как будто самым заботливым образом. Больше того: я не думаю, чтобы целомудренные юноши становились впоследствии наилучшими мужьями; ни даже, увы! самими верными, — прибавила она, печально улыбаясь. — Словом, пример отца заставил меня желать других добродетелей для сыновей. Но меня страшит перспектива распушенности или компрометирующих связей. Оливье так легко поддается увлечению. Вы, наверное, удержите его. Мне кажется, что вы можете сделать ему добро. Стоит вам только...

Эти слова наполнили меня смущением.

— Вы представляете меня лучшим, чем я есть на самом деле.

Это все, что я нашелся сказать ей, как нельзя более банальным и деланным тоном. Она отвечала с чрезвычайной деликатностью:

— Оливье сделает вас лучшим. Чего только мы не способны добиться от себя из любви!

— Оскар знает, что он у меня? — спросил я, чтобы немного разрядить атмосферу.

— Он не знает даже, что Оливье в Париже. Я ведь сказала вам, что он не слишком занимается своими сыновьями. Вот почему я просила вас переговорить с Жоржем. Вы исполнили мою просьбу?

— Нет, не успел еще.

Лицо Полины сразу же омрачилось:

— Я беспокоюсь все больше и больше. Он напустил на себя крайнюю уверенность, но я вижу в ней только беспечность, цинизм и самонадеянность. Он хорошо учится, преподаватели довольны им; моя тревога как будто ни на чем не основана...

Вдруг она утратила спокойствие и заговорила с такой горячностью, что я едва узнавал ее:

— Вы отдаете себе отчет в том, во что превратилась моя жизнь? Я оставила свои мечты о счастье; из года в год я принуждена была становиться все менее требовательной; одну за другой хоронила свои надежды. Я уступала, терпела, притворялась, что не понимаю, не вижу... Наконец, осталось только одно, и вот это последнее ускользает от меня!.. Вечером он приходит заниматься ко мне, садится подле моей лампы; когда ему случается поднимать голову от книги, я встречаю в его взгляде не любовь: я встречаю вызов. Я так мало заслужила это... По временам мне вдруг кажется, что вся моя любовь к нему обращается в ненависть; в такие минуты я не желала бы вовсе иметь детей.

Голос ее дрожал. Я взял ее за руку.

— Оливье вознаградит вас, ручаюсь вам.

Она сделала усилие, чтобы овладеть собой.

— Да, я не соображаю, что говорю, ведь у меня трое сыновей. Когда я думаю об одном, забываю остальных... Вы сочтете меня совсем безрассудной, но временами действительно разума бывает недостаточно.

— Между тем разум есть качество, которым я больше всего восхищаюсь в вас,— плоско заметил я в надежде ее успокоить.— Несколько дней тому назад вы говорили мне об Оскаре так рассудительно...

Полина вдруг порывисто выпрямилась. Она взглянула на меня и пожала плечами.

— Всегда бывает так: когда женщина совершенно безропотно покоряется судьбе, она кажется наиболее рассудительной! — вскричала она запальчиво.

Это рассуждение раздосадовало меня благодаря именно его справедливости. Чтобы не выдать своего чувства, я тотчас же спросил:

— Что нового в истории с письмами?

— Нового? Нового!.. Что нового, по-вашему, может произойти между Оскаром и мной?.

— Он ждал объяснения.

— Я тоже ждала. Всю жизнь мы ждем объяснений.

— Но ведь,— перебил я, слегка задетый,— Оскар чувствовал себя в ложном положении.

— Друг мой, вы отлично знаете, что ничто так не затягивается, как ложные положения. Эта ваша задача, задача романистов, находить для них развязку. В жизни ничто не разрешается, все длится. Преобладаешь в неуверенности и остаешься в ней до самой смерти, не зная, чего

держаться; а в ожидании развязки жизнь идет, проходит, словно ничего не случилось. И с этим также примиряешься, как и со всем вообще... со всем. Ну, до свидания.

На меня произвели очень тягостное впечатление новые нотки, которые я уловил в ее голосе; своего рода агрессивность, внушившая мне мысль (может быть, не во время самого разговора, но когда я припоминал его), что Полина примирялась с моими отношениями с Оливье совсем не так легко, как о том говорила; совсем не так легко, как она примирялась со всем прочим. Я хочу верить, что она не осуждает их и даже в какой-то степени приветствует, как она дает мне понять; но, не признаваясь, может быть, в этом себе самой, она все-таки ревнует ко мне.

Этим только и объясняется, по-моему, ее внезапное резкое возмущение, в сущности, по куда более безразличному для нее поводу. Можно было подумать, что, дав мне с самого начала согласие на то, что стоило ей гораздо дороже, она истощила весь запас своей душевной доброты и внезапно оказалась обессиленной. Отсюда ее несдержанные, почти сумасбродные реплики, в которых прорывалась ее ревность и которым, вероятно, она сама будет удивляться, когда станет вспоминать наш разговор.

Я задаюсь вопросом, каким может быть состояние женщины, которая отказывается покоряться судьбе? Я подразумеваю состояние «честной женщины»... Как будто то, что называют «честностью» у женщин, не включает в себе всегда покорности судьбе!

К вечеру Оливье стало значительно лучше. Но возвращающаяся жизнь снова наполняет нас тревогами. Я всячески стараюсь успокоить его.

— Как быть с дуэлью?

— Дюрмер сбежал в деревню. Нельзя же искать его там.

— А журнал?

— Им занимается Беркай.

— Вещи, оставленные у Пассавана?

Это самый деликатный пункт. Мне пришлось признать, что Жоржу не удалось получить их; но я дал ему слово, что завтра сам отправлюсь за ними. Как мне показалось, он боится, чтобы Пассаван не удержал их в качестве залога; я не могу допустить этого ни на мгновение.

Вчера, написав эти страницы, я сидел в кабинете, как вдруг услышал, что меня зовет Оливье. Я подбежал к нему.

— Я сам бы пришел к тебе, если бы не чувствовал себя таким слабым,— сказал он.— Я хотел встать, но у меня закружилась голова, и я испугался, что упаду. Нет, нет, сейчас мне совсем неплохо, наоборот... Но мне хочется поговорить с тобой. Обещай, пожалуйста... никогда не стараться узнать, почему позавчера я хотел лишиться себя жизни. Мне кажется, я сам уже не знаю почему. Я хотел бы сказать это — правда! — но не мог бы... Только не думай, пожалуйста, что причиной является какое-нибудь таинственное событие в моей жизни, что-нибудь такое, чего ты не знаешь.— Затем, понизив немного голос: — Не воображай также, что я сделал это из стыда...

Хотя в комнате было темно, он спрятал свое лицо у меня на плече.

— Или если я стыжусь, то стыжусь этого банкета, стыжусь своего опьянения, своей горячности, своих слез и этих летних месяцев... и того, что так плохо ждал тебя.

Потом он стал уверять меня, что теперь он отказывается узнавать себя во всем этом, что именно это он и решил убить, убил, вычеркнул из своей жизни.

В самом его возбуждении я чувствовал слабость и, не говоря ни слова, стал баюкать его, как ребенка. Он испытывал, вероятно, потребность в покое, замолчал, и я подумал, что он заснул; но спустя некоторое время я услышал его шепот:

— С тобой я слишком счастлив, чтобы заснуть.

Он не позволял мне покинуть его до утра.

XI

В это утро Бернар пришел очень рано. Оливье еще спал. Как и в предшествующие дни, Бернар расположился с книгой у изголовья друга, что позволило Эдуарду прервать свое бдение и отправиться к графу Пассавану, как он обещал. В такой ранний час графа, наверное, можно застать дома.

Солнце светило ярко; свежий ветер очищал деревья от последней листвы; все казалось ясным, лучезарным. Эдуард не выходил на улицу три дня. Безмерная радость наполняла его сердце; ему казалось даже, что все его существо, словно открытая и пустая раковина, плавает по необъятному морю,

по божественному океану блаженства. Так любовь и хорошая погода настужь распахивают наши души.

Эдуард знал, что ему нужно будет авто, чтобы привезти вещи Оливье; но он не торопился его нанимать; ему доставляла удовольствие прогулка пешком. Состояние доброжелательности, которое он испытывал ко всей природе, не очень располагало его к нападкам на Пассавана. Он убеждал себя, что ему следует негодовать на него; мысленно перебирал все сделанное им зло, но больше не чувствовал от этого боли. Соперника, которого Эдуард проклинал еще вчера, он теперь вытеснил из сердца Оливье, вытеснил так основательно, что не мог больше питать к нему ненависти. По крайней мере, не мог сегодня утром. С другой стороны, Эдуард считал, что происшедшая перемена ничем не должна быть обнаружена, ибо это грозило бы погубить его счастье; поэтому ему не столько хотелось предстать перед соперником со сложенным оружием, сколько вовсе уклониться от свидания с ним. В самом деле, какого дьявола шел к Пассавану именно он, Эдуард? По какому праву он явится в особняк на улице Бабилон и потребует вещи Оливье? Очень неосмотрительно принятое поручение, говорил он себе по дороге: сразу видно будет, что Оливье избрал себе пристанище в его квартире — обстоятельство, которое он как раз хотел бы скрыть... Однако слишком поздно идти на попятный: он дал обещание Оливье. Важно хотя бы быть с Пассаваном холодным и твердым. Он окликнул проезжавшее мимо такси.

Эдуард плохо знал Пассавана. Ему не была известна одна из особенностей характера графа. Пассаван, которого никогда нельзя было заставить врасплох, терпеть не мог, чтобы его водили за нос. Не желая признавать своих неудач, он всегда притворялся, будто сам избрал выпавшее на его долю; что бы с ним ни случилось, он делал вид, что сам хотел этого. Как только он понял, что Оливье ускользает от него, так тотчас приложил все старания скрыть свое бешенство. Он не стал гоняться за ним и подвергать себя риску попасть в смешное положение, он сделал над собой усилие и притворился, что ему все безразлично. Его чувства никогда не отличались такой силой, чтобы он не мог с ними справиться. Некоторые люди очень радуются такому умению владеть собой, не соглашаясь признать, что часто бывают обязаны этой способностью не столько силе характера, сколько известной вялости темперамента. Я остерегаюсь делать обобщения; допустим,

что сказанное мною относится к одному Пассавану. Этому последнему, значит, не стоило большого труда убедить себя, что сейчас он пресыщен Оливье; что в течение этих двух месяцев он использовал до конца все привлекательные стороны приключения, которое грозило внести большие осложнения в его жизнь; что вдобавок он переоценил красоту этого мальчика, его грацию и умственные способности и что даже пришло время принять в соображение все неудобства поручать ведение журнала такому еще незрелому и неопытному юноше. Хорошенько взвесив все эти соображения, он решил, что Струвилу гораздо лучше справится с задачей, то есть окажется более подходящим редактором журнала. Он написал ему, приглашая зайти сегодня утром.

Добавим, что Пассаван неправильно истолковывал причину бегства Оливье. Он думал, что возбудил в нем ревность своим слишком настойчивым ухаживанием за Сарой, и находил утешение в этой мысли, столь лестной для его тщеславия; она успокаивала его досаду.

Итак, Пассаван ждал Струвилу; им было отдано распоряжение, чтобы гостя сейчас же провели к нему; Эдуард невольно воспользовался этим и без доклада вошел в кабинет Пассавана.

Пассаван не выказал ни малейшего удивления. К счастью для него, роль, которую ему предстояло играть, соответствовала его характеру и не нарушала привычного хода мыслей.

— Как я рад слышать то, что вы сказали мне! — воскликнул он после того, как Эдуард изложил ему цель своего визита. — Значит, вы в самом деле хотите заняться им? Это не очень беспокоит вас?.. Оливье прелестный мальчик, но его присутствие здесь начинало ужасно стеснять меня. Я не решался дать ему почувствовать это, он так мил... И я знал, что он не хочет возвращаться к родителям... Родители, если их покинули... Но ведь, насколько мне помнится, его мать — ваша единокровная сестра?.. Или что-то в этом роде?.. Оливье как будто говорил мне об этом. В таком случае, чрезвычайно естественно, что он поселился у вас. Никто не может найти тут повода для насмешек. — Он, впрочем, не удержался от улыбки, произнося эти слова. — У меня, вы понимаете, его присутствие носило более двусмысленный характер. Это, между прочим, является одной из причин, заставивших меня желать, чтобы он покинул мой дом... Правда, обычно я очень мало забочусь об общественном мнении. Нет, это было, скорее, в его интересах, чем...

Начало беседы было недурно, но Пассаван не удержался от удовольствия подлить несколько капель яда в счастье Эдуарда. Он всегда хранил их про запас: мало ли что может случиться...

Эдуард чувствовал, что терпение его истощается. Но тут он вдруг вспомнил о Винценте, о котором Пассаван, наверное, должен был иметь сведения. Конечно, он твердо решил не говорить о Винценте Дувье, если тот станет спрашивать о нем; но, чтобы лучше уклониться от расспросов мужа Лауры, ему самому, думал он, следовало быть осведомленным; осведомленность только укрепит его позицию. Он воспользовался предлогом, чтобы переменить тему разговора.

— Винцент не писал мне, — отвечал Пассаван, — но я получил письмо от леди Гриффитс — вы, наверное, знаете заместительницу госпожи Дувье, — в котором она очень много говорит о нем. Вот оно... В конце концов не вижу, почему бы вам не ознакомиться с его содержанием.

Он протянул письмо Эдуарду. Тот прочел:

25 августа

«My dear !»

Яхта князя уйдет из Дакара без нас. Кто знает, где мы будем, когда вы получите это письмо, которое она увезет с собою? Может быть, на берегах Казамансы, где Винцент хочет собирать гербарии, я — охотиться. Не знаю хорошенько, я ли его увожу или он меня увозит; вернее, нас обоих влечет демон приключений. Нас познакомил с ним демон скуки, порядком одолевавший нас во время плавания на яхте... Ах, dear, ~~нужно~~ пожить на яхте, чтобы узнать, что такое скука. Во время шквала жизнь еще выносима: качаться вместе с судном. Но, начиная с Тенерифа, — ни ветерка, ни морщинки на море,

...огромном зеркале
Отчаянья души.

И знаете, чем я занялась после этого? Принялась ненавидеть Винцента. Да, дорогой мой, любовь показала нам слишком пресной, нам захотелось возненавидеть друг друга. По правде говоря, началось это несколько раньше; да, с момента, как мы сели на яхту; сначала просто раздражение, глухая злоба, которая не мешала телам соединяться.

¹ Мой дорогой (англ.).

С наступлением хорошей погоды злоба превратилась в жестокую ненависть. Ах, я теперь знаю, что значит вспылать к кому-нибудь страстью...»

Письмо было длинное.

— Не хочется читать дальше,— сказал Эдуард, отдавая письмо Пассавану.— Когда он возвращается?

— Леди Гриффитс ничего о возвращении не пишет.

Пассаван был глубоко оскорблен тем, что Эдуард не обнаружил большого интереса к этому письму. Это отсутствие любопытства должно было восприниматься им как обида. Сам он нередко отвергал предлагаемое ему, но не выносил пренебрежительного отношения к собственным предложениям. Это письмо наполнило его чувством удовлетворения. Пассаван питал некоторую привязанность к Лилиан и Винценту; он даже доказывал себе, что может быть обязательным по отношению к ним, способным оказать услугу, но его привязанность тотчас ослабевала, как только обходились без нее. Теперь он радовался, что друзья его, расставшись с ним, не приплыли к счастью; думал: как это вышло удачно.

Что касается Эдуарда, то его утреннее радостное возбуждение было слишком искренно, чтобы он не почувствовал некоторой неловкости, прочитав об этих взвинченных чувствах. Возвращение письма нисколько не являлось надуманным жестом.

Пассавану важно было тотчас же отпарировать удар:

— Ах, я хотел сказать вам еще одно. Вы знаете, что я думал было поручить Оливье ведение журнала? Понятно, об этом теперь не может быть речи.

— Само собой разумеется,— поспешно отвечал Эдуард, которого Пассаван, сам того не подозревая, освобождал от тяжелого бремени. По тону Эдуарда тот понял, что сыграл ему на руку, и, не дав себе даже времени обидеться, сказал:

— Вещи, оставленные Оливье, находятся в комнате, которую он занимал. У вас есть такси, не правда ли? Вам их вынесут. Кстати, как он себя чувствует?

— Прекрасно.

Пассаван встал. Эдуард последовал его примеру. Они расстались, обменявшись довольно холодным поклоном.

Визит Эдуарда вывел Пассавана из себя.

— Уф! — воскликнул он, увидя входящего Струвилу.

Хотя Струвилу держался с ним независимо, Пассаван чувствовал себя в его обществе легко или, вернее, ничуть не стесняясь. Конечно, он имел дело с сильным противником, он знал это, но считал себя еще сильнее и не без тщеславия выставлял это напоказ.

— Мой дорогой Струвилу, пожалуйста, садитесь,— сказал он, пододвигая ему кресло.— Я искренно рад вас видеть.

— Господин граф просил меня прийти. Я весь к его услугам.

Струвилу любил брать по отношению к Пассавану тон подобострастного лакея; но Пассаван привык к его уловкам.

— Прямо к делу; настало, как говорится, время выйти из состояния ничтожества. Вы выступали уже на многих поприщах... Я хотел предложить вам сегодня пост настоящего диктатора. Поспешим прибавить, что речь идет только о литературе.

— Очень жаль.— Затем, так как Пассаван протянул ему свой портсигар: — Если вы позволите, я предпочитаю...

— Нет, нет, не позволяю. Своими ужасными контрабандными сигарами вы провоняете мне всю комнату. Для меня всегда было непонятно, какое можно находить удовольствие в курении этой дряни.

— О, я не могу сказать, чтобы я был в восторге от них. Но они беспокоят соседей.

— По-прежнему фрондируете?

— Меня не следует все же принимать за болвана.

И, не давая прямого ответа на предложение Пассавана, Струвилу счел уместным разъяснить и надлежащим образом обосновать свою точку зрения; читатель сейчас познакомится с ней. Он продолжал:

— Филантропия никогда не была моей слабостью.

— Знаю, знаю,— сказал Пассаван.

— Так же, как и эгоизм. Этого вы, конечно, не знаете...

Нас хотят уверить, что единственным избавлением от эгоизма является нечто более отвратительное, именно — альтруизм! Что до меня, то я утверждаю: если есть вещь более гнусная и презренная, чем человек, то таковой является множество людей. Никакое рассуждение не может убедить меня, что сложение негодных единиц дает в сумме доброкачественное целое. Всякий раз, садясь в трамвай или в поезд, я горячо желаю, чтобы произошло какое-нибудь громадное крушение, которое превратило бы в кашу весь этот живой навоз; о, черт возьми, и меня заодно! Входя

в театральный зал, я желаю, чтобы обрушилась люстра или разорвалась бомба, хотя бы мне пришлось взлететь на воздух вместе со всеми; я охотно принес бы эту бомбу под полой, если бы не берег себя для более высокого назначения. Вы что-то сказали?..

— Нет, ничего, продолжайте, я вас слушаю. Вы не принадлежите к числу тех ораторов, которые нуждаются в кнуте противоречия, чтобы погонять их.

— Это оттого, что мне послышалось, будто вы мне предлагаете стаканчик вашего несравненного портвейна.

Пассаван улыбнулся.

— Пускай бутылка стоит подле вас, — сказал он, подавая ее Струвилу. — Выпейте ее всю, если вам угодно, только, пожалуйста, говорите.

Струвилу наполнил свой бокал, развалился в глубоком кресле и начал:

— Не знаю, действительно ли у меня, как говорится, черствое сердце, я чувствую в себе слишком много негодования и отвращения, чтобы поверить этому; впрочем, мне все равно. Я действительно уже давно подавил в этом органе все, что таит угрозу его размягчить. Но я не лишен способности восхищаться и быть слепо преданным: поскольку я человек, я презираю и ненавижу себя наравне с другими. Всюду и везде я слышу, как твердят, будто литература, искусство, науки в конечном итоге работают на благо человечества; одного этого было бы мне достаточно, чтобы проникнуться отвращением к ним. Но ничто мне не препятствует перевернуть это, и тогда я начинаю дышать свободно. Да, меня прельщает как раз противоположная картина: картина человечества, рабски работающего над осуществлением какой-нибудь жестокой цели: Бернар Палисси ¹ (нам достаточно прожужжали им уши!), обжигающий жену, детей и самого себя, чтобы получить глазурь для красивого блюда. Я люблю переворачивать проблемы; что прикажете делать: мой ум так уж устроен, что они приобретают устойчивое равновесие, лишь будучи опрокинуты вниз головой. И если мне невыносима мысль о Христе, жертвующем собой для ненужного спасения всех этих ужасных людей, которых я толкаю, то я нахожу некоторое удовлетворение и даже своего рода успокоение, воображая, как вся эта толпа обливается потом, чтобы произвести такого Христа, который... хотя я предпочитал бы не Христа, а что-нибудь

¹ Основатель керамического производства во Франции. (Прим. пер.)

другое, потому что все учение Христа лишь усугубило бедственное положение человечества. Несчастье происходит от эгоизма сильных и жестоких людей. Жертвенная жестокость — вот что способно было бы привести к грандиозным результатам. Покровительствуя несчастным, слабым, рахитичным, оскорбленным, мы идем по ложному пути; вот почему я ненавижу религию, которая учит нас этому. Великий мир, который даже филантропы черпают в созерцании природы — фауны и флоры, — объясняется тем, что в диком состоянии преуспевают одни только сильные особи; все прочие — отбросы, служат лишь навозом. Но мы не видим этого, не хотим это признавать.

— Как это верно, как верно! Я охотно соглашаюсь с вами. Продолжайте.

— И скажите, разве не стыдно, не достойно жалости... что человек, столько сделавший для получения сильных пород лошадей, домашнего скота, птицы, злаков, цветов, сам все еще ищет в медицине — облегчения, в благотворительности — смягчения, в религии — утешения, в опьянении — забвения своих страданий? Улучшение породы — вот над чем нужно работать. Но всякий подбор предполагает уничтожение неподходящего людского материала, на что наше христианское общество не может решиться. Оно ведь не решается даже на кастрирование дегенератов, которые между тем отличаются чрезвычайной плодовитостью. Нам нужны вовсе не больницы, а заведения вроде питомников.

— Черт возьми, ваши мысли мне очень по сердцу, Струвилу!

— Боюсь, до сих пор вы заблуждались на мой счет, господин граф. Вы принимали меня за скептика, а на самом деле я идеалист, мистик. Скептицизм никогда не давал ничего хорошего. Отлично известно, что он приводит... к терпимости. Я считаю скептиков людьми без идеала, без воображения, попросту дураками... И я вовсе не закрываю глаз на все то огрубение в области чувства, к которому приведет появление крепкой людской породы; ведь тогда некому будет жалеть об уничтожении всяких тонкостей, потому что вместе с ними будут уничтожены утонченные натуры. Будьте покойны, у меня есть то, что называется культурой, и я хорошо знаю, что некоторые греки провидели мой идеал; по крайней мере, мне доставляет удовольствие думать так и вспоминать, что Кора, дочь Цереры, низошла в преисподнюю, исполненная жалости к теням; но, ставши царицей, супругой Плутона,

она называется Гомером не иначе как «неумолимой Прозерпиной». Смотри «Одиссея», песнь шестая. «Неумолимой»; как раз таким неумолимым и должен стать человек, претендующий быть добродетельным.

— Я рад, что вы возвращаетесь к литературе... если только вы вообще покидали ее область. Итак, я спрашиваю вас, добродетельный Струвилу, согласны вы стать неумолимым редактором журнала?

— По правде говоря, дорогой граф, должен признаться, что из всех тошнотворных человеческих выделений литература для меня — самое отвратительное. Я не вижу в ней ничего, кроме угодливости и лести. И я начинаю сомневаться, чтобы она могла стать чем-нибудь другим, по крайней мере до тех пор, пока ею не будет выметено прошлое. Мы живем в атмосфере выдуманных чувств; читатель верит всякому напечатанному слову и потому воображает, будто испытывает эти чувства; писатель спекулирует на них как на условностях, которые он считает основами своего искусства. Эти чувства звучат фальшиво, как медные бляшки, но они имеют хождение. А так как известно, что «худшая монета вытесняет лучшую», то писатель, который вздумал бы предлагать публике полноценную монету, показался бы ей пустословом. В обществе, где каждый плутует, честный человек производит впечатление шарлатана. Предупреждаю вас: если я возьму на себя руководство журналом, то лишь для того, чтобы бороться с условностями, вскрывать фальшь всех красивых чувств и обесценивать те долговые обязательства, которые называются словами.

— Черт возьми, очень хотел бы знать, как вы возьметесь за это.

— Предоставьте мне свободу, и вы тотчас увидите. Я много размышлял над этим.

— Вы останетесь непонятым, и никто не пойдет за вами.

— Глупости! Молодежь, которая посмышленее и побойчее, ныне весьма настроена против поэтической инфляции. Ей отлично известно, сколько пустоты скрывается за учеными ритмами и звучными лирическими банальностями. Стоит только кликнуть клич, и руки, готовые разрушать, всегда найдутся. Хотите, учредим школу, единственной целью которой будет уничтожение всего? Этот план вас пугает?

— Нет... если не будет вытоптан мой огород.

— Найдется много других дел... пока дойдет очередь до вашего огорода. Момент благоприятен. Я знаю многих,

которые ждут только знака, чтобы собраться: все молодежь... Да, это нравится вам, я знаю, но предупреждаю вас, что они не дадут заговорить себе зубы... Я часто задавался вопросом, благодаря какому чуду живопись оказалась впереди и почему литература позволила так себя обогнать? В какую немилость попало сейчас в живописи то, что обыкновенно рассматривалось как «мотив»! Красивый сюжет — да ведь эти слова вызывают смех! Живописцы отваживаются теперь браться за портрет лишь при условии исключения всякого сходства. Если мы хорошо поведем наше дело — а в этом отношении вы можете на меня положиться, — то достаточно будет каких-нибудь двух лет, и завтрашний поэт сочтет себя опозоренным, если читатели поймут, что он хочет сказать. Да, господин граф, хотите держать пари? Всякий смысл, всякое значение будет рассматриваться как нечто антипоэтическое. Я предлагаю работать под флагом иррациональности. Какое прекрасное название для журнала — «Чистильщики»!

Пассаван выслушал не моргнув глазом.

— В числе ваших сподвижников, — спросил он после некоторого молчания, — находится также ваш юный племянник?

— Да, Леон — мальчик способный, он никогда нигде не пропадет. Настоящее удовольствие руководить его развитием. Весной ему пришла в голову блажь заткнуть за пояс своих прилежных одноклассников и получить все награды. После возобновления занятий он ничем не брезгует; не знаю, что такое он замышляет, но я оказываю ему доверие, и мне не особенно хочется приставать к нему с расспросами.

— Вы приведете его ко мне?

— Господин граф шутит, я полагаю... Как все-таки с журналом?

— Мы еще поговорим о нем. Я чувствую потребность дать отстояться в себе вашим планам. А пока вы должны позаботиться о подыскании мне секретаря, мой бывший оказался никуда не годным.

— Я пришлю вам завтра Коб-Лафлера, с которым должен сейчас увидеться и который, я полагаю, как раз то, что вам нужно.

— Из породы «чистильщиков»?

— До известной степени.

— Ех uno...¹

¹ Ех uno disce omnes — по одному составить представление обо всех (лат.).

— Нет, не судите обо всех по нему. Он весьма умеренный. Вы останетесь очень довольны.

Струвилу встал.

— Кстати,— сказал Пассаван,— мне кажется, я не дарил вам моего романа. Мне очень жаль, что у меня не осталось больше экземпляра первого издания...

— Так как я не собираюсь продавать его, то это не имеет никакого значения.

— Просто печать лучше.

— О, я ведь не собираюсь и читать его... До свидания. До свидания... Если вам угодно, я к вашим услугам. Честь имею кланяться.

ХП

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

Привез вещи Оливье. Сейчас же после возвращения от Пассавана засел за работу. Спокойное и светлое возбуждение. Радость, до сих пор не испытанная. Написал тридцать страниц «Фальшивомонетчиков» без запинки, без помарок. Как ночной пейзаж при внезапной вспышке молнии, вся драма всплывает из мрака, совсем отличная от того, что я тщетно силился сочинить. Книги, написанные мной до сих пор, кажутся мне похожими на водоемы в общественных садах, четко очерченные, совершенные, может быть, но чья плененная вода лишена жизни. Теперь я хочу пустить ее по склону, то крутому, то покато, и очертания русла, в котором она потечет, я не способен предвидеть.

Х. утверждает, что хороший романист, прежде чем начать свою книгу, должен знать, как она окончится. Я же предоставляю действию развиваться самому и считаю, что жизнь никогда не дает нам ничего, что, подобно стыку, нельзя было бы рассматривать как новую отправную точку. «Могло бы быть продолжено...» — такими словами я хотел бы закончить моих «Фальшивомонетчиков».

Визит Дувье. Положительно он очень славный парень.

Так как я выразил слишком горячую симпатию к нему, мне пришлось выслушать в достаточной мере стеснявшие меня излияния. Разговаривая с ним, я все время повторял себе слова Ларошфуко: «Я мало подвержен жалости и хотел бы не быть вовсе подверженным ей... Я считаю, что нужно

ограничиваться засвидетельствованием ее и тщательно остерегаться испытывать ее на самом деле». Однако моя симпатия была подлинная, бесспорная, и я взволновался до слез. По правде говоря, мне показалось, что мои слезы утешили его больше, нежели слова. Я думаю даже, что печаль его прошла, едва он увидел, как я плачу.

Я твердо решил не открывать ему имени соблазнителя, но, к моему удивлению, он не спросил о нем. Мне кажется, что ревность его угасает, как только он перестает чувствовать на себе взгляд Лауры. Во всяком случае, обращение ко мне несколько истощило энергию его ревности.

Какая непоследовательность в его поведении; он негодует, что другой бросил Лауру. Но ведь, не брось ее Винцент, Лаура не возвратилась бы к нему. Он обещает любить ребенка как своего собственного. Не будь соблазнителя, кто знает, мог ли бы он вообще познать радость отцовства? Я остерегся высказать ему это предположение, так как при воспоминании о своих недостатках он еще больше воспламеняется ревностью. Но тогда ревность становится уже делом самолюбия и перестает интересоваться мной.

Понятно, почему Отелло ревнив: его неотступно преследует картина наслаждения, испытанного его женой с другим. Но какой-нибудь Дувье, чтобы стать ревнивым, должен внушить себе, что он должен ревновать.

И он, несомненно, подогревает в себе эту страсть из тайной склонности придать большее значение своей весьма жалкой персоне. Счастье было бы естественно для него, но он чувствует потребность восхищаться собой и ценит не то, что естественно, а то, что достается с трудом. Поэтому я приложил все усилия, чтобы изобразить ему нехитрое счастье заслуживающим большего одобрения, чем мучение, и труднее достижимым. Я дал ему уйти лишь после того, как увидел, что лицо его проясняется.

Непоследовательность характера. Персонажи, действующие с начала и до конца романа или драмы в точности так, как можно заранее предвидеть... Нам предлагают это постоянство для изящного удивления, но я вижу в нем, напротив, свидетельство их искусственности и надуманности.

Я не хочу утверждать, что непоследовательность является верным признаком естественности, так как нередко можно встретить, особенно у женщин, нарочитую непоследовательность; с другой стороны, я способен

восхищаться в отдельных исключительных случаях тем, что называют «духом постоянства»; но чаще всего эта последовательность в поступках достигается лишь при помощи руководимого тщеславием упорства и ценой утраты естественности. Чем богаче одарен человек, чем больше он таит в себе возможностей, тем больше предрасположен он к изменениям, тем с меньшей охотой он позволяет своему прошлому определять будущее. «Justum et tenacem propositi virum»¹, которого выставляют нам как нравственный образец, чаще всего представляет собою почву каменистую и не пригодную для возделывания.

Я знаю «твердые» характеры еще и другого рода: это люди, усердно выдумывающие себе сознательную оригинальность, люди, главную заботу которых составляет никогда не уклоняться от однажды выработанной привычки; они всегда остаются начеку и ни при каких обстоятельствах не позволяют себе забытья. (Мне вспоминается Х., который постоянно отказывался от предлагаемого ему мною монраше 1904 года. «Я признаю только бордо», — говорил он. Как только я стал подносить ему монраше в качестве бордо, монраше показалось ему отменным вином.)

Когда я был помоложе, то принимал решения, которые казались мне похвальными. Я заботился не столько о том, чтобы быть тем, кем я был, сколько о том, чтобы стать тем, кем я призван был быть. Теперь же я почти готов видеть в нерешительности секрет сохранения молодости.

Оливье спросил меня, над чем я работаю. Я поддался соблазну поговорить с ним о моей книге и стал рассказывать о ней; он проявил такой интерес, что я даже прочел ему только что написанные страницы. Я страшился его суждения, зная нетерпимость юности и то, как трудно ей принять точку зрения, отличную от ее собственной. Но несколько замечаний, на которые он робко отважился, показались мне весьма справедливыми, так что я тотчас же воспользовался ими.

Им, сквозь него, я чувствую и дышу.

Он все время беспокоится по поводу журнала, который должен был редактировать, и особенно по поводу рассказа, написанного им по просьбе Пассавана: он не желает, чтобы рассказ этот был напечатан. Я сказал ему, что новые распоряжения, отданные Пассаваном, приведут к изменению

¹ «Человек справедливый и твердый в своих намерениях» (лат.). (Начало оды Горация III, 3,1.)

содержания подготовленных к выпуску номеров; он будет иметь возможность взять обратно свою рукопись.

Очень неожиданный визит господина судебного следователя Профитандье. Входя ко мне, он вытирал лоб и тяжело дышал, как показалось мне, не столько оттого, что запыхался, поднимаясь на шестой этаж, сколько от смущения. Он держал в руках шляпу и сел только после моего приглашения. Это человек приятной внешности, статный и бесспорно представительный.

— Насколько мне известно, вы шурин председателя палаты Молинье,— сказал мне он.— Я позволил себе побеспокоить вас по поводу его сына Жоржа. Пожалуйста, извините мне поступок, могущий с первого взгляда показаться вам нескромным, но надеюсь, что привязанность и уважение, которые я питаю к моему коллеге, в достаточной степени объяснят вам его.

Он помедлил. Я встал и опустил портьеру из боязни, как бы не подслушала моя горничная, женщина очень нескромная, которая, по моим предположениям, находилась в соседней комнате. Профитандье одобрительно улыбнулся.

— По должности судебного следователя,— продолжал он,— мне приходится заниматься одним делом, которое приводит меня в крайнее замешательство. Ваш юный племянник уже и раньше скомпрометировал себя участием в деле...— пусть это останется между нами, не правда ли? — деле достаточно скандальном; принимая во внимание его весьма юный возраст, я хочу верить, что он был вовлечен в него исключительно по своему простодушию и неопытности; но, чтобы... локализовать это дело без вреда для интересов правосудия, мне, признаюсь, понадобилось проявить определенную ловкость. Но сейчас, когда речь идет о рецидиве... совсем другого характера, тороплюсь добавить... я не могу поручиться, что Жорж отделается так дешево. Сомневаюсь даже, в интересах ли мальчика делать попытку его выгородить, несмотря на все мое дружеское желание избавить от скандала вашего зятя. Приложу, однако, старание, но, вы понимаете, у меня есть агенты, которые проявляют рвение, и я не всегда могу сдерживать их. Или, если вам угодно, пока мне удастся это, но завтра больше не удастся. Вот почему мне пришла в голову мысль, что вам следовало бы поговорить с вашим племянником, объяснить, чему он себя подвергает...

Визит Профитандье — почему не сознаться в этом? —

сначала ужасно меня встревожил; но после того как я понял, что он пришел не с враждебными намерениями и не в качестве судебного чиновника, я, скорее, почувствовал облегчение, особенно тогда, когда он снова заговорил:

— С некоторого времени в обращении появились фальшивые деньги. Я осведомлен об этом. Мне еще не удалось обнаружить их источник. Но я знаю, что Жорж Моинье, — не подозревая об этом, я хочу так думать, — является одним из тех, кто пользуется ими и пускает в обращение. Компания, занимающаяся этим постыдным промыслом, — мальчишки в возрасте вашего племянника. Я ни минуты не сомневаюсь, что тут просто злоупотребляют их неведением и эти дети, сами того не сознавая, играют роль дурачков в руках нескольких преступных взрослых. Мы могли бы уже схватить малолетних преступников и без труда заставить их сознаться, откуда у них эти деньги, но я отлично знаю, что в известной своей стадии дело, так сказать, ускользает от нас... то есть следствие не может повернуть вспять, и мы бываем вынуждены знать то, что мы предпочли бы иногда не замечать. В данном случае, я надеюсь, мне удастся открыть настоящих преступников, не прибегая к показаниям этих юнцов. Поэтому я сделал распоряжение, чтобы их не беспокоили. Но мое распоряжение условное. Мне хотелось бы, чтобы ваш племянник не заставил меня его отменить. Хорошо было бы, если бы он знал, что за ним следят. Не худо бы вам даже немного попугать его, он на скользком пути...

Я заявил, что приложу все старания, чтобы предостеречь Жоржа, но Профитандье, казалось, не слышал меня. Взгляд его устремился куда-то вдаль. Он повторил два раза: «Да, как говорится, на скользком пути», — и замолчал.

Не знаю, сколько времени длилось его молчание. Хотя он не высказал своих мыслей, мне казалось, что я вижу, как они шевелятся в нем; и еще прежде, чем он раскрыл рот, я уже услышал его слова:

— Я тоже отец, сударь...

И вот все сказанное им сначала — исчезло: между нами был только Бернар. Прочее служило лишь предлогом, поговорить со мной о Бернаре — такова была настоящая цель его визита.

Если изливания приводят меня в замешательство, если утрированные чувства для меня невыносимы, то ничто, напротив, не способно было в большей степени тронуть

меня, чем это сдерживаемое волнение. Он всячески старался подавить его; но ему потребовалось для этого столь значительное усилие, что губы и руки его задрожали. Он не мог продолжать. Вдруг он закрыл лицо руками, и все его тело сотрясли рыдания.

— Вы видите,— всхлипывал он,— вы видите, сударь, что наши дети могут сделать нас совершенно несчастными.

К чему было лукавить? Крайне взволнованный, я тоже воскликнул:

— Если бы Бернар вас видел, сердце его смягчилось бы, ручаюсь вам.

Однако я по-прежнему был в большом замешательстве. Бернар почти никогда не говорил со мной о своем отце. Я не высказал ему порицания за то, что он покинул семью, так как очень склонен был считать подобное бегство вполне естественным, и не только не видел в нем ничего предосудительного, но, напротив, полагал, что оно принесет большую пользу для мальчика. Вдобавок Бернар был незаконнорожденным... Но вот его мнимый отец охвачен чувствами тем более сильными, что они вырывались у него, несомненно, помимо воли, и тем более искренними, что ничто его к этому не вынуждало. Видя такую любовь, такое горе, я не мог не задаться вопросом, да были ли действительно у Бернара основания уходить из дому. Я не склонен был больше одобрять его.

— Располагайте мной, если считаете, что я могу быть вам полезен,— сказал я ему,— если считаете, что я должен поговорить с ним. У него доброе сердце.

— Знаю. Знаю... Да, вы можете сделать многое. Я знаю, что он провел с вами лето. Моя агентура достаточно хороша... Я знаю также, что сегодня он держит устные экзамены. Я нарочно выбрал момент для визита к вам, когда, по моим сведениям, он должен находиться в Сорбонне. Я боялся с ним встретиться.

Эти слова действовали на меня успокоительно, так как я заметил, что слово «знать» повторялось почти в каждой его фразе. Очень скоро внимание мое стало сосредоточиваться не столько на том, что он говорил, сколько на этой его манере, выработанной, вероятно, профессией.

Он сказал мне, что «знает» также о блестящем успехе Бернара на письменном экзамене. Благодаря любезности экзаменатора, с которым у него дружеские отношения, он имел даже возможность познакомиться с французским сочинением своего сына, являвшимся, по-видимому, одним из

самых замечательных. Он говорил о Бернаре со сдержанным восхищением, так что у меня возникло даже предположение, не считает ли он себя все же в конце концов его настоящим отцом.

— Только ради бога,— прибавил он,— не рассказывайте ему об этом! У него такой гордый, такой недоверчивый характер!.. Если у него возникнет подозрение, что со времени его ухода я не переставая думал о нем, следил за ним... Однако вы можете сказать ему, что видели меня.— (Он тяжело вздыхал после каждой фразы.) — Вы можете сказать ему только, что я на него не сержусь...— Затем, понизив голос: — Что я никогда не переставал любить его... как сына. Да, я хорошо знаю, что вы знаете... Вы можете сказать ему также...— И, не глядя на меня, с большим усилием, в состоянии крайнего замешательства: — Что мать его бросила меня... да, окончательно, этим летом, и что если он хочет вернуться, то я...

Он не мог закончить.

Крупный сильный мужчина, основательный, с хорошим общественным и служебным положением, вдруг, пренебрегая всякими приличиями, обнажающий свою душу перед человеком посторонним, каковым был для него я, представляет собою зрелище в достаточной мере необычайное. Тут я лишний раз мог констатировать, что признания незнакомого способны легче взволновать меня, чем излияния человека, мне близкого. Попытаюсь на досуге уяснить себе это явление.

Профитандье не утаил от меня предубеждения, которое первоначально имел против меня, плохо уяснив себе,— и до сих пор плохо уясняя,— причины, заставившие Бернара покинуть семейный очаг и бежать ко мне. Это обстоятельство удерживало его сначала от желания навестить меня. Я, понятно, не решился рассказать историю с чемоданом и сообщил только о дружбе его сына с Оливье, благодаря которой мы очень быстро сошлись.

— Эта молодежь,— снова заговорил Профитандье,— бросается в жизнь, не имея представления о том, чему она себя подвергает. Игнорирование опасностей составляет ее силу, это правда. Но мы, отцы, знающие жизнь, мы дрожим за детей. Наша заботливость их раздражает, и лучше им не слишком ее показывать. Я знаю, что она проявляется иногда чересчур назойливо и неуклюже. Вместо того чтобы беспрестанно повторять ребенку, что огонь жжется, позволим ему лучше немного обжечься. Опыт научает вернее, чем

добрый совет. Я всегда предоставлял Бернару полную свободу. Вплоть до того, увы! что у него создалось убеждение, будто я вовсе не обращаю на него внимания. Боюсь, что это ложное убеждение как раз и послужило причиной его бегства. Даже и после этого я счел благоразумным оставить его в покое; я ограничился лишь наблюдением за ним издали, так что он и не подозревает о нем. Слава богу, в моем распоряжении есть для этого средства.— (Очевидно, Профитандье гордился этим обстоятельством и не пропустил случая подчеркнуть прекрасную организацию своей агентуры; уже третий раз он напоминал мне о ней.) — Я рассудил, что мне не следует умалять в глазах моего мальчика опасность его затеи. Нужно ли вам говорить, что, несмотря на боль, причиненную им мне, этот акт непокорности только еще сильнее привязал меня к нему? Я сумел разглядеть в нем доказательство мужества, доблести...

Теперь, когда к нему возвратилось самообладание, превосходный человек готов был говорить без умолку. Я постарался перевести разговор на первоначальную тему, которая больше интересовала меня; оборвав его, я спросил, видел ли он те фальшивые монеты, о которых говорил. Мне очень хотелось знать, похожи ли они на стеклянную монету, которую показывал нам Бернар. Едва только я упомянул о ней, как Профитандье переменялся в лице: глаза его сощурились, и в них загорелся странный огонек; на висках набежали морщинки; губы поджались; внимание обострило все его черты. Он точно вдруг позабыл все сказанное им до сих пор. Судья затмил отца, и все перестало существовать для него, кроме профессиональных обязанностей. Он забросал меня вопросами, стал делать заметки и сказал, что необходимо послать агента в Саас-Фе, чтобы записать фамилии постояльцев по книгам гостиниц.

— Хотя, по всей вероятности,— прибавил он,— эта фальшивая монета была вручена вашему лавочнику каким-нибудь пройдохой, который не останавливался в упомянутом вами местечке.

На это я заметил, что Саас-Фе расположено в глубине тупика и вряд ли можно приехать туда и уехать в течение дня. Профитандье был особенно удовлетворен последним замечанием и распрощался с озабоченным и восхищенным видом, горячо поблагодарив и не сказав больше ни слова ни о Жорже, ни о Бернаре.

ХІІІ

В это утро Бернару пришлось убедиться, что для таких щедрых натур, как он, нет большей радости, чем радовать другого. Эта радость была ему заказана. Он только что блестяще выдержал экзамен, но так как подле него не было никого, с кем он мог бы поделиться этим приятным известием, то оно тяготило его. Бернар хорошо знал, что самое большее удовлетворение оно доставило бы его отцу. У него мелькнула даже мысль, не пойти ли сейчас к Профитандье и не рассказать ли ему о своем успехе; однако гордость его удержала. Эдуард? Оливье? Но им показалось бы, что он придает слишком большое значение аттестату. Он стал бакалавром. Эка невидаль! Самое трудное теперь только начиналось.

Во дворе Сорбонны он увидел одного товарища, который, подобно ему, только что выдержал экзамен, но теперь стоял в стороне от других и плакал. Этот юноша был в трауре. Бернар знал, что недавно он потерял мать. Невольный порыв симпатии увлек его к сироте; он приблизился к нему, но потом, из-за ложного стыда, прошел мимо. Товарищ, увидев, что Бернар подходит и затем удаляется, устыдился своих слез; он уважал Бернара, и его огорчило то, что он принял за презрение.

Бернар отправился в Люксембургский сад. Он сел на скамейку в той самой части сада, где встретился с Оливье в день, когда просил у него ночлега. Было еще почти тепло, и лазурь улыбалась Бернару сквозь голые уже ветви деревьев. Было совсем не похоже, что дело идет к зиме; весело щебетали птицы, введенные в заблуждение погодой. Но Бернар не глядел на сад; он видел перед собой необъятный океан жизни. Поверхность океана бороздят морские пути, но глаз не в состоянии различить их, и Бернар не знал, по какому ему придется плыть.

Так сидел он, погруженный в раздумья, как вдруг увидел ангела, приближавшегося к нему поступью скользящей и столь легкой, что, чувствовалось, его способна выдержать поверхность вод. Бернар никогда не видел ангелов, но он не усомнился ни на минуту и, когда ангел сказал ему: «Пойдем», встал и послушно последовал за ним. Он чувствовал не большее изумление, чем если бы это происходило во сне. Впоследствии он старался припомнить, взял ли его ангел за руку; в действительности, однако, они не прикасались друг к другу и даже шли не сближаясь. Они возвратились вместе

во двор Сорбонны, где Бернар оставил сироту; теперь он твердо решил заговорить с ним, но двор был пуст.

В сопровождении ангела Бернар направился в церковь Сорбонны, куда ангел вошел первым и где Бернар никогда не бывал. По церкви блуждали еще и другие ангелы, но Бернар не мог узреть их. Неведомый покой снизошел на Бернара. Ангел подошел к главному алтарю и преклонил колени; Бернар последовал примеру ангела и опустился на колени рядом с ним. Он не верил ни в какого Бога и поэтому не мог молиться, но сердце его было исполнено любовной потребности принести дар, жертву; он предлагал себя. Волнение его было так смутно, что никакие слова не могли бы выразить его; но вдруг раздалось пение органа.

«Ты точно так же предлагал себя Лауре, — сказал ангел, и Бернар почувствовал, что у него по щекам катятся слезы. — Пойдем, следуй за мной».

Когда ангел увлекал его, Бернар чуть не наткнулся на одного из своих прежних товарищей, который тоже выдержал устный экзамен. Бернар считал его тупицей и удивлялся, что его приняли. Тупица не заметил Бернара; Бернар же увидел, как тот сунул церковному сторожу в руку серебряную монетку на свечку. Бернар пожал плечами и вышел.

Когда он оказался на улице, то заметил, что ангел покинул его. Бернар зашел в табачную лавку — ту самую, где Жорж неделю назад сбыл свою фальшивую монету. С тех пор ему удалось сбить их еще немало. Бернар купил пачку папирос и закурил. Почему ангел скрылся? Значит, ему не о чем было говорить с ним?..

Пробил полдень. Бернар чувствовал голод. Возвратиться в пансион? Пойти к Оливье и разделить с ним завтрак Эдуарда?.. Он ощупал карман и, убедившись, что денег у него достаточно, зашел в ресторан. Когда он позавтракал, нежный голос прошептал:

«Пришло время подвести итог».

Бернар обернулся. Ангел снова был подле него.

«Нужно будет решиться, — говорил он. — До сих пор ты жил на авось. Что же, и впредь предоставишь случаю располагать тобой? Ты хочешь отдать свои силы на служение какому-то делу. Нужно выяснить, какому именно».

«Научи меня, веди меня», — попросил Бернар.

Ангел привел Бернара в зал, полный народу. В глубине зала стояла эстрада, а на эстраде — стол, покрытый красным сукном. Сидящий за столом еще молодой человек держал речь.

— Огромное безумие, — говорил он, — думать, будто мы способны что-то открыть. Мы обладаем только тем, что получили. Каждый из нас еще в юности должен понять, что мы зависим от прошлого и прошлое это нас обязывает. Им определено все наше будущее.

Когда он развил до конца эту мысль, его место заступил другой оратор, который сначала рассыпался в похвалах по адресу своего предшественника, а затем обрушился на тех самонадеянных людей, которые отваживаются жить без доктрины и руководиться собственным умом.

— Одна доктрина завещана нам, — говорил он. — Она просуществовала уже много веков. Это, несомненно, лучшая из всех доктрин и единственная; каждый из нас должен исполниться сознанием ее правоты. Это доктрина нашей страны, которой приходится дорого платить за свою ошибку всякий раз, как она отрекается от нее. Нельзя быть добрым французом, не зная ее, нельзя добиться настоящего успеха, не действуя в ее духе.

За вторым оратором последовал третий, который поблагодарил первых двух за то, что ими так хорошо была очерчена их программа; затем установил, что эта программа требовала не более и не менее как возрождения Франции усилиями каждого члена их партии. Он называл себя человеком действия, утверждал, что всякая теория находит завершение и доказательство своей правильности в практике и что всякий истинный француз должен быть борцом.

— Но увь! — прибавил он. — Сколько распыленных, погубленных сил! Какого величия достигла бы наша родина, каким блеском покрыла бы она себя, как возросла бы ценность каждого из ее сынов, если бы эти силы были упорядочены, если бы деятельность каждого подчинялась правилам, если бы каждый знал свое место в стройных рядах!

Во время его речи присутствующих стали обходить молодые люди, раздавая листки с заявлением о желании вступить в партию, которые нужно было только подписать.

«Ты хотел предложить себя, — сказал тогда ангел. — Что же ты медлишь?»

Бернар взял один из листков, текст которых начинался словами: «Торжественно обязуюсь...» Он прочел, затем взглянул на ангела и увидел, что тот улыбается; затем взглянул на собрание и узнал среди молодых людей новоиспеченного бакалавра, который несколько времени тому назад ставил в церкви свечку в благодарность за успешно

выдержанный экзамен; и вдруг, немного подальше, заметил своего старшего брата, которого не видел с тех пор, как покинул отчий дом. Бернар не любил его, и в нем возбуждало некоторую ревность внимание, которое как будто оказывал ему отец. Он нервно скомкал листок.

«Ты находишь, что мне нужно подписаться?»

«Да, конечно, если ты сомневаешься в себе»,— отвечал ангел.

«Теперь у меня исчезли всякие сомнения»,— сказал Бернар и далеко отшвырнул бумажку.

Оратор между тем продолжал свою речь. Когда Бернар начал снова слушать его, он обучал собравшихся верному средству никогда не заблуждаться, заключававшемуся в полном отказе от собственных суждений и в постоянном подчинении суждениям старших.

«Кто такие эти старшие? — спросил Бернар и вдруг загорелся страшным негодованием.— Если ты поднимешься на эстраду,— сказал он ангелу,— и схватишься с ним в рукопашную, ты, наверное, одолеешь его...»

Но ангел с улыбкой сказал:

«Это с тобой я хочу побороться. Сегодня вечером, хочешь?»

«Да»,— ответил Бернар.

Они покинули зал и вышли на большие бульвары. Толпа, которая толкалась там, состояла с виду исключительно из богатых людей, каждый казался уверенным в себе, равнодушным к другим, но озабоченным.

«Неужели это картина счастья?» — спросил Бернар, который почувствовал, что сердце его наполняется слезами.

Затем ангел повел Бернара в бедные кварталы, о степенях нищеты которых Бернар раньше не подозревал. Спустился вечер. Они долго блуждали между высокими мрачными домами, которые населяли болезнь, проституция, стыд, преступление и голод. Тогда только Бернар взял ангела за руку, но ангел отвернулся от него и заплакал.

В этот день Бернар не обедал; придя в пансион, он не пошел к Саре, как все последние вечера, а отправился прямо в комнату, которую занимал с Борисом.

Борис уже лежал в кровати, но не спал. Он перечитывал при свете полученное им утром письмо Брони.

«Боюсь,— писала его подруга,— что больше никогда не увижусь с тобой. Вернувшись в Польшу, я простудилась.

У меня кашель, и, хотя доктор скрывает, я чувствую, что дни мои сочтены».

Услышав шаги Бернара, Борис спрятал письмо под подушку и поспешно задул свечу.

Бернар ощупью разыскал свою кровать. Ангел вошел в комнату вместе с ним, но, хотя ночь не была очень темная, Борис видел только Бернара.

— Ты спишь? — тихо спросил Бернар. Так как Борис не ответил, Бернар решил, что он спит.

«Теперь давай вступим в единоборство», — сказал Бернар ангелу.

И всю ночь до рассвета они боролись.

Борис смутно видел, как Бернар ворочается. Он подумал, что это его манера молиться, и решил не прерывать его. Между тем ему очень хотелось поговорить, потому что он был сильно подавлен. Он встал и опустился на колени у кровати. Ему хотелось молиться, но он мог только прорыдать:

— О Броня, ты, которая зришь ангелов, ты, которая должна была открыть мне глаза, ты покидаешь меня! Броня, что будет со мной без тебя? Что со мной будет?

Бернар и ангел были слишком заняты, чтобы услышать его. Они боролись до зари. Ангел ушел, не будучи победленным, но и не одержав победы.

Когда позже Бернар тоже вышел из комнаты, он встретился в коридоре с Рашелью.

— Мне нужно поговорить с вами, — сказала она ему. Голос ее был так печален, что Бернар сразу понял, что она собиралась сказать ему. Он ничего не ответил, опустил голову и вследствие вспыхнувшей в нем жалости к Рашели вдруг возненавидел Сару, и наслаждение, которое он испытывал с нею, стало ему отвратительным.

XIV

Часов в десять утра Бернар явился к Эдуарду с саквою в руке, который вмещал все его имущество: костюмы, белье и книги. Он попрощался с Азаисом и госпожой Ведель, но постарался избежать встречи с Сарой.

Бернар был серьезен. Борьба с ангелом сделала его более зрелым. Он не был больше похож на укравшего чемодан беспечного юношу, который считал, что в этом мире нужно только обладать смелостью. Он начинал понимать, что отвага оплачивается часто счастьем другого.

— Я пришел искать у вас приюта,— сказал он Эдуарду.— Я опять остался без крова.

— Почему вы покидаете Веделей?

— По причинам деликатного свойства... разрешите мне не говорить вам о них.

Эдуард достаточно внимательно наблюдал Бернара и Сару во время банкета, так что догадывался о причинах этого молчания.

— Ладно,— сказал он, улыбаясь.— Диван моего кабинета в вашем распоряжении на сегодняшнюю ночь. Но должен сказать вам сначала, что вчера ко мне приходил ваш отец.— И он передал Бернару ту часть их разговора, которая, по его мнению, способна была тронуть его.— Не у меня вам следовало бы ночевать сегодня, а у него. Он вас ждет.

Бернар, однако, молчал.

— Я подумаю об этом,— сказал он наконец.— Разрешите пока оставить здесь мои вещи. Могу я видеть Оливье?

— Погода так хороша, что я убедил его пойти погулять. Я хотел сопровождать его, потому что он еще очень слаб, но он пожелал выйти один. Впрочем, он отправился уже час тому назад и должен скоро возвратиться. Подождите его... Однако что ж это я?.. Как ваш экзамен?

— Выдержал, но это неважно. Гораздо важнее решить вопрос, что же мне делать. Знаете, что меня главным образом удерживает от возвращения к отцу? То, что я не хочу жить на его средства. Вы находите, вероятно, глупым, что я пренебрегаю этим счастливым случаем, но я дал себе слово обойтись без его помощи. Мне важно доказать себе, что я человек, способный держать слово, человек, на которого можно положиться.

— Я усматриваю здесь главным образом гордость.

— Называйте это как вам будет угодно: гордостью, высокомерием, самодовольством... Вы не обесцените одушевляющего меня чувства. Но вот что я хотел бы знать сейчас: когда мы пускаемся в жизнь, должны ли мы непременно иметь перед глазами какую-либо цель?

— Объясните.

— Я размышлял об этом всю ночь. Чему посвятить силу, которую я чувствую в себе? Как лучше применить ее? Руководствуясь в своих действиях какой-нибудь целью? Но как избрать эту цель? Как узнать ее, пока она не достигнута?

— Жить без цели — значит отдать себя на волю случая.

— Боюсь, что вы не понимаете меня как следует. Когда Колумб открывал Америку, знал ли он, куда плывет? Его целью было идти вперед, прямо перед собой. Его целью был он сам, эту цель он всегда имел перед глазами...

— Я часто думал, — перебил Эдуард, — что в искусстве, и в частности в литературе, стоят чего-нибудь лишь те, кто бросается в неизвестное. Невозможно открыть новую землю, не решившись сразу же и надолго потерять из виду всякие берега. Но наши писатели боятся открытого моря, все они держатся у берегов.

— Вчера, покинув Сорбонну, — продолжал Бернар, не слушая его, — я зашел, увлекаемый каким-то демоном, в зал, где происходило публичное собрание. Там шла речь о национальной чести, о служении родине, о множестве вещей, которые заставляли биться мое сердце. Я совсем готов был подписать бумажку, в которой обязывался честью посвятить свои силы служению делу, признаваемому мной прекрасным и благородным.

— Я рад, что вы не подписали. Что же, однако, вас удержало?

— По всей вероятности, какой-то тайный инстинкт... — Бернар подумал несколько мгновений. Затем продолжал со смехом: — Я думаю, главным образом лица членов партии, начиная от лица моего старшего брата, которого я узнал в толпе. Мне показалось, что все эти молодые люди были одушевлены наилучшими чувствами и что они поступали прекрасно, отказываясь от своей инициативы, потому что она не привела бы их далеко, от своих суждений, потому что они убоги, и от своей духовной независимости, потому что никаких горизонтов она бы им не открыла. Я подумал также, что для страны хорошо, если она может рассчитывать на волю множества слепо преданных граждан, ее населяющих; но моя собственная воля никогда не станет таковой. Вот тогда-то я и задался вопросом, как выработать правило, ибо я не согласен жить без правила, и в то же время не согласен получить это правило от других.

— Ответ, по-моему, очень прост: найти это правило в самом себе, поставить целью собственное развитие.

— Да... это как раз то, что я сказал себе. Но это ни капельки не подвинуло меня вперед. Добро бы еще я был уверен, что предпочту в себе лучшее, тогда я не задумываясь принес бы в жертву все остальное. Но я не способен даже понять, что во мне лучшее... Я размышлял над этим всю

ночь, говорю вам. Под утро я так устал, что подумал было, не поступить ли мне на военную службу, не дожидаясь года моего призыва?

— Уклониться от вопроса — не значит разрешить его.

— Это самое и я сказал себе: и хотя решение этого вопроса будет, таким образом, отсрочено, он с еще большей серьезностью встанет передо мной по отбытии воинской повинности. После этого я отправился к вам послушать вашего совета.

— Я не вправе давать вам совет. Вы можете найти этот совет только в себе самом, и равным образом вы можете научиться, как надо жить, лишь изведав жизнь на собственном опыте.

— А если я буду жить дурно в ожидании решения вопроса, как следует жить?

— Это как раз и послужит вам уроком. Можно покаяться по наклонной плоскости, лишь бы только иметь силу подняться.

— Вы шутите? Нет, мне кажется, я понимаю вас, и я принимаю эту формулу. Но, развиваясь так, как вы говорите, я должен все же зарабатывать. Какого мнения вы о кричащем объявлении в газетах: *«Молодой человек с большим будущим, пригодный для всего»*?

Эдуард расхохотался:

— Нет ничего труднее, как получить все. Лучше бы уточнить.

— Я думал об одном из многочисленных колесиков в механизме большой газеты. О, я согласился бы занять самую незначительную должность: корректора, наборщика... какую угодно. У меня совсем скромные требования!

Он говорил недостаточно искренно. В действительности ему хотелось получить место секретаря, но он боялся сказать об этом Эдуарду благодаря уже проделанному неудачному опыту. В конце концов полный провал этой попытки работать в качестве секретаря произошел не по вине Бернара.

— Мне, может быть, удастся устроить вас в «Гран Журналь», с редактором которого я знаком...

В то время как Бернар и Эдуард вели эту беседу, у Сары происходило очень тяжелое объяснение с Рашелью. Сара быстро сообразила, что причиной внезапного ухода Бернара были упреки Рашели; и вот она негодовала на сестру за то, что та, по ее словам, убивала вокруг себя всякую

радость. Она не имела права навязывать другим добродетель, которую один ее пример способен был сделать ненавистной.

Рашель, всегда жертвовавшая собой для счастья других, была потрясена этими обвинениями; мертвенно побледнев, она говорила дрожащим голосом:

— Я не могу позволить тебе погубить себя.

Но Сара, громко рыдая, восклицала:

— Не верю я в твое небо! Не хочу быть спасенной!

Она решила немедленно уехать в Англию, где ей окажет гостеприимство подруга. Ведь «в конце концов, она была свободна и желала устроить свою жизнь, как ей нравится». Рашель совсем выбило из себя это невеселое объяснение.

XV

Эдуард позаботился прийти в пансион до возвращения учеников из школ. Он не виделся с Лаперузом со времени возобновления занятий и хочет поговорить прежде всего с ним. Старый преподаватель музыки справляется с новыми обязанностями надзирателя по мере своих сил, то есть очень плохо. Сначала он пытался снискать любовь воспитанников, но ему не хватает авторитета; дети пользуются этим; его снисходительность они принимают за слабость и позволяют себе вольности. Лаперуз прибегает к строгости, но уже поздно; его выговоры, угрозы, внушения только восстанавливают против него учеников. Когда он повышает голос, они хихикают; когда он стучит кулаком по гулкому пюпитру, они испускают крики притворного ужаса; его передразнивают; называют «папаша Лапер»; по скамьям ходят карикатуры, где этот кроткий человек изображен страшилищем, вооруженным огромным пистолетом (это пистолет Гериданисоль, Жорж и Фифи сумели найти во время бесцеремонного обыска его комнаты) и беспощадно избивающим учеников; или же стоящим на коленях перед ними со сложенными руками и умоляющим, как он делал это в первые дни: «Будьте чуточку потише, пожалуйста». Он производил впечатление жалкого старого оленя, затравленного озверелой сворой. Ничего этого Эдуард не знает.

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

Лаперуз принял меня в маленьком зале нижнего этажа, этой, насколько мне известно, самой неудобной комнате пансиона. Вся обстановка состояла из четырех парт, черной доски на стене и стула с соломенным сиденьем, на который Лаперуз силою усадил меня. Сам же он бочком примостился на одной из парт после тщетных усилий засунуть под пюпитр свои слишком длинные ноги.

— Нет, нет. Мне так удобно, уверяю вас.

Но тон его голоса и выражение лица говорили: «Мне ужасно неудобно, и я надеюсь, что это бросается в глаза, но мне нравится быть в таком положении; и чем неудобнее мне будет, тем меньше вы услышите от меня жалоб».

Я сделал попытку отшутиться, но не мог вызвать у него улыбку. Он напускал на себя вид церемонный и исполненный достоинства, как бы желая сохранить дистанцию между нами и заставить меня понять: «Это вам я обязан своим пребыванием здесь».

Однако он утверждал, что чрезвычайно доволен всем; больше того, старался уклониться от ответа на мои вопросы и раздражался моей настойчивостью. Все же когда я спросил его, где его комната, он сказал вдруг:

— Немножко далековато от кухни.— И пояснил, увидя на моем лице удивление: — Иногда ночью у меня появляется большое желание поесть... когда не могу уснуть.

Я сидел близко от него; теперь еще больше придвинулся и мягко положил руку ему на плечо. Он продолжал более натуральным тоном:

— Нужно вам сказать, что сплю я очень плохо. Когда мне случается уснуть, я не утрачиваю сознания, что я сплю. Это ведь не значит спать по-настоящему, не правда ли? Тот, кто спит по-настоящему, не сознает, что спит; просто замечает по пробуждении, что проснулся.

Затем с какой-то упорной настойчивостью, наклонившись ко мне:

— Иногда я пытаюсь убедиться, что это простая иллюзия и что я все же сплю по-настоящему, когда мне кажется, будто я не сплю. Но доказательством, что я не сплю, в действительности служит то, что, когда я хочу открыть глаза, я их открываю. Обыкновенно я не хочу делать этого. Вы понимаете, не так ли, что у меня нет никакого интереса это делать. С какой стати я буду доказывать себе, что не сплю? Я всегда хранию надежду заснуть, убеждая себя, что уже сплю...

Он еще больше наклонился и сказал совсем тихо:

— Кроме того, есть одна вещь, которая беспокоит меня. Молчите... Я не жалуюсь на это, потому что ничего с этим не поделаешь, да и какой толк жаловаться на то, что изменить нельзя, не правда ли?.. Представьте себе, что рядом с моей кроватью, в стене, как раз на уровне головы, есть какая-то вещь, производящая шум.

Он оживился, говоря это. Я предложил ему свести меня в его комнату.

— Да! Да! — сказал он, поспешно вставая.— Вы, может быть, разъясните мне, что это такое... Сам я никак не могу понять. Пойдемте.

Мы поднялись на третий этаж, затем пошли по довольно длинному коридору. Я никогда не бывал в этой части дома.

Комната Лаперуза выходила окнами на улицу. Она была маленькая, но чистенькая. Я заметил на ночном столике, рядом с молитвенником, ящик с пистолетами, с которым он упорно не расставался. Он схватил меня под руку и сказал, немножко отодвигая кровать:

— Вот тут. Слушайте... Приложите ухо к стене... Ну, что, слышите?

Я приложил ухо и долго с напряжением вслушивался. Но, несмотря на все мое доброе намерение, не мог услышать ровно ничего. Лаперуз сердился. В этот момент проехал ломовик, сотрясая стены; в окнах задребезжали стекла.

— В этот час дня,— сказал я в надежде успокоить его,— шорох, который так раздражает вас, заглушается уличным шумом...

— Заглушается для вас, потому что вы не способны отличать его от других шумов! — запальчиво вскричал он.— Я же, представьте, слышу его. Несмотря ни на что, продолжаю слышать. Иногда он до такой степени изводит меня, что я даю себе слово поговорить о нем с Азаисом или домовладельцем... О, у меня вовсе нет намерения его прекратить... Но мне хотелось бы, по крайней мере, знать, что это такое.

Он помолчал некоторое время, затем продолжал:

— Словно кто-то скребется. Я делал различные попытки избавиться от него. Отодвигал кровать от стены. Затыкал уши ватой. Вешал свои часы (вы видите, я вбил там гвоздик) как раз в том месте, где, по моему мнению, проходит труба, чтобы тиканье часов заглушало тот шум... Но это еще больше утомляет меня, так как мне приходится делать усилие, чтобы его расслышать. Глупо, не правда ли? Теперь я предпочитаю ясно его слышать, потому что все равно знаю, что мне его не заглушить... Ах, мне не следовало

рассказывать вам об этом! Видите, каким я стал стариком.

Он сел на кровать и застыл в каком-то оцепенении. Злосчастное действие возраста сказывается у Лаперуза не столько на умственных способностях, сколько на более глубоких душевных пластах. Червь подтачивает самую сердцевину плода, подумал я при виде того, как этот недавно еще такой крепкий и гордый человек предавался ребяческому отчаянию. Я сделал попытку вывести его из этого состояния, заговорив о Борисе.

— Да, его комната совсем рядом,— сказал он, поднимая голову.— Сейчас я покажу вам ее. Пойдемте.

Он вывел меня в коридор и открыл соседнюю дверь.

— Вот эта другая кровать, которую вы видите, принадлежит Бернару Профитандье.— (Я счел излишним сообщать ему, что с сегодняшнего вечера Бернар не будет больше спать на ней.) — Борис доволен своим товарищем и, мне кажется, хорошо уживается с ним. Но, знаете, он мало разговаривает со мной. Он очень замкнут... Боюсь, что у этого ребенка несколько черствое сердце.

Он говорил это с такой грустью, что я почел своим долгом запротестовать и поручиться в чувствах его внука.

— В таком случае, он мог бы не так скупиться на их выражение,— возразил Лаперуз.— Например, слушайте: утром, когда он уходит в лицей вместе с остальными учениками, я высовываюсь из окна, чтобы посмотреть на него. Он знает об этом... И вот, представьте, не оборачивается!

Я хотел растолковать ему, что Борис, по всей вероятности, боится привлечь внимание товарищей и вызвать их насмешки, но в этот момент во дворе раздались шумные возгласы.

Лаперуз схватил меня под руку и сказал изменившимся голосом:

— Слушайте! Слушайте! Вот они возвращаются.

Я взглянул на него. Он затрясся всем телом.

— Эти сорванцы повергают вас в трепет? — спросил я.

— Нет, нет,— ответил он смущенно,— как у вас могло возникнуть такое предположение...— Затем очень торопливо: — Мне необходимо спуститься вниз. Перемена продолжается всего несколько минут, а вы ведь знаете, что я наблюдаю за занятиями. До свидания. До свидания.

Он помчался по коридору, даже не пожав мне руку. Минуту спустя я услышал, как он засеменял по лестнице. Я выждал несколько минут, не желая показываться перед учениками. Раздавались их крики, смех, пение. Затем удар колокола, и внезапно вновь наступила тишина.

Я отправился к Азаису и получил от него записку, разрешившую Жоржу покинуть классную комнату и выйти ко мне. Я имел свидание с ним в том самом маленьком зале, где сначала меня принял Лаперуз.

Едва оставшись со мной наедине, Жорж счел долгом принять развязный вид. Это была его манера маскировать свое смущение. Но не поручусь, что он был более смущен, чем я. Он занял оборонительную позицию, так как, несомненно, ожидал, что его начнут песочить. Мне показалось, что он хочет как можно скорее пустить в ход заготовленное им против меня оружие, потому что не успел я раскрыть рот, как он спросил меня о состоянии Оливье таким насмешливым тоном, что я охотно дал бы ему пощечину. Он получил преимущество надо мной. «Кроме того, вы знаете, я не боюсь вас», казалось, говорили его иронические взгляды, насмешливая складка губ и тон голоса. Я тотчас же потерял всякую уверенность и стал заботиться лишь о том, чтобы не выдать ему этого. Речь, которую я заготовил, показалась мне вдруг неуместной. Я не обладал солидностью, необходимой для исполнения роли блюстителя нравов. В сущности, Жорж сильно занимал меня.

— Я пришел не для того, чтобы тебя ругать,— сказал я наконец.— Мне хотелось только предупредить тебя.— Против моей воли лицо у меня расплылось в улыбке.

— Скажите прежде всего: это мама вас посылает?

— И да и нет. Я говорил о тебе с твоей матерью, но с тех пор прошло уже несколько дней. Вчера же у меня был очень важный разговор о тебе с одним весьма важным лицом, которого ты не знаешь; лицо это приходило ко мне специально для этого разговора. Судебный следователь... По его-то поручению я и пришел к тебе... Тебе известно, что такое судебный следователь?

Жорж вдруг побледнел, и сердце его, должно быть, на мгновение перестало биться. Правда, он пожал плечами, но голос его немного дрожал:

— Ладно, выкладывайте, что сказал вам папаша Профитандье.

Наглость этого малыша положительно сбивала меня с толку. Несомненно, проще всего было бы перейти прямо к делу, но мой ум как раз питает отвращение к самому простому и неудержимо избирает окольный путь. Для объяснения поступка, который сейчас же по его совершении показался мне нелепым, но был совершен мной невольно,

я могу сказать только, что мой последний разговор с Полиной произвел на меня необыкновенно сильное впечатление. Он навел меня на ряд размышлений, которые я тотчас же вставил в мой роман в форме диалога, в точности подошедшего к моим действующим лицам. Мне редко случается извлекать непосредственную пользу из материала, доставляемого жизнью, но на этот раз проделка Жоржа стала полезной; казалось, что моя книга ожидала ее, настолько она пришлась к месту; мне лишь понадобилось изменить самые несущественные подробности. Но эту проделку (я имею в виду кражу писем) я не описывал прямо. О ней, а равно об ее последствиях можно было лишь заключить на основании разговора. Я занес этот разговор в записную книжку, которая в тот момент была при мне. Напротив, история с фальшивой монетой в том виде, как она была рассказана Профитандье, не могла, по-моему, сослужить мне никакой службы. Вот почему, вместо того чтобы сразу же завести с Жоржем разговор о фальшивой монете, то есть обратиться к главной цели моего прихода, я пошел окольным путем.

— Мне хотелось бы, чтобы сначала ты прочел вот эти строки,— сказал я.— Сам поймешь почему.— И я протянул Жоржу свою книжечку, развернув на той странице, которая могла его заинтересовать.

Повторяю: этот жест кажется мне сейчас нелепым. Но в моем романе как раз при помощи подобного чтения я считал необходимым предупредить об опасности самого юного из моих героев. Мне важно было знать, как будет реагировать Жорж; я очень надеялся, что его поведение будет для меня поучительно... даже в отношении качества написанного мной.

Привожу отрывок, о котором идет речь.

«В этом мальчике были темные глубины, к которым влеклось страстное любопытство Одибера. Ему недостаточно было знать, что юный Эдольф украл; он хотел бы, чтобы Эдольф рассказал ему, как он до этого дошел и что испытывал, воруя в первый раз. Впрочем, даже будучи откровенным, мальчик не мог бы, конечно, признаться ему в этом. И Одибер не решался просить его из боязни услышать ложные уверения, что никакого воровства не было.

Однажды вечером, обедая с Гильдебрандом, он рассказал ему о поступке Эдольфа, не назвав, впрочем, имени последнего и так расположив факты, что Гильдебранд не мог узнать виновника.

— Обратили ли вы внимание,— сказал тогда Гильдебранд,— что самые решающие поступки нашей жизни, то есть те, которые в наибольшей степени способны определить все наше будущее, являются чаще всего поступками опрометчивыми?

— Я очень склонен этому верить,— отвечал Одибер.— Они словно поезд, в который садишься, не подумав и не спросив, куда он идет. И даже чаще всего соображаешь, что поезд увозит тебя, слишком поздно, и сойти уже невозможно.

— Но, может быть, мальчик, о котором мы говорим, вовсе и не желал сходить?

— Конечно, он пока еще не хочет сходить. В данную минуту он упоен ездой. Его занимает пейзаж, и ему безразлично, куда он едет.

— Вы будете читать ему нравоучение?

— Разумеется, нет! Из этого не выйдет толку. Он сыт нравоучениями по горло.

— Что побудило его совершить кражу?

— Не знаю в точности. Конечно, не нужда в настоящем смысле слова. Он желал, вероятно, обеспечить себе кое-какие выгоды, не хотел отставать от более состоятельных товарищей... почему я знаю? Может быть, его толкнула прирожденная склонность к воровству: украл, потому что воровство доставляло ему удовольствие.

— Это самое худшее.

— Да, тогда он не остановится.

— Он даровитый мальчик?

— Долгое время мне казало, что в умственном отношении он стоит ниже своих братьев. Но сейчас я думаю, что, пожалуй, допустил ошибку, и мое отрицательное впечатление объяснялось тем, что мальчик не уяснил еще, чего он может добиться от самого себя. Любопытство его было направлено до сих пор по ложному пути или, вернее, пребывало в эмбриональном состоянии, в стадии бессознательного.

— Вы будете говорить с ним на эту тему?

— Я предложу ему сопоставить ничтожность выгоды, получаемой им от украденного, с огромным ущербом, который причинит ему бесчестность: с утратой доверия к нему близких, утратой уважения к нему, моего в частности... словом, с утратой вещей, которые не поддаются измерению и чья цена познается лишь по тому усилию, какое приходится затрачивать впоследствии, чтобы вновь их завоевать. Есть люди, потратившие на это всю свою жизнь. Я расскажу

ему то, в чем он по молодости своей еще не отдаст себе отчета: что, стоит случиться сейчас чему-нибудь сомнительному, грязному, подозрения отныне всегда будут падать на него. Очень возможно, что ему неправильно будут поставлены в вину какие-нибудь серьезные проступки и он не будет в состоянии оправдаться. Сделанное им ляжет на него клеймом. Он станет, как говорится, «отпетым». Наконец, мне хотелось бы сказать ему... Но боюсь, он станет возражать.

— Что вам хотелось бы сказать ему?

— Что сделанное им создает прецедент и что если для первого воровства требуется некоторая решимость, то для следующих достаточно уступить влечению. Все дальнейшие проступки суть не что иное, как подчинение естественному ходу вещей... Мне хотелось бы сказать ему, что первый жест, совершаемый нами в достаточной степени необдуманно, часто кладет неизгладимую печать на весь наш облик и проводит черту, которую все наши последующие усилия никогда не будут в состоянии стереть. Мне хотелось бы... но у меня не хватает искусства поговорить с ним.

— Почему бы вам не записать нашего сегодняшнего разговора? Вы дадите ему прочесть.

— Это идея,— сказал Одибер.— Почему не сделать попытку?»

Я не сводил глаз с Жоржа все время, пока он читал; но мысли, возникавшие у него при этом, никак не отражались на его лице.

— Читать дальше? — спросил он, собираясь перевернуть страницу.

— Не стоит, разговор на этом кончается.

— Очень жаль.

Он возвратил мне записную книжку и спросил почти веселым тоном:

— Мне хотелось бы знать, что отвечает Эдольф после прочтения этого разговора.

— Это как раз то, что я сам ожидаю узнать.

— Эдольф — смешное имя. Вы не могли бы окрестить его иначе?

— Это несущественно.

— То, что он может ответить, тоже несущественно. Что с ним потом станет?

— Не знаю еще. Это зависит от тебя. Увидим.

— Значит, если я правильно понимаю вас, я должен помочь вам писать вашу книгу. Но сознайтесь, что...

Он замолчал, словно затруднялся найти подходящие слова.

— Что «что»? — спросил я, чтобы подбодрить его.

— Сознайтесь, что вы были бы очень разочарованы, — произнес он наконец, — если бы Эдольф...

Он снова замолчал. Мне показалось, я угадал то, что он хотел сказать, и я закончил за него:

— Если бы Эдольф стал честным мальчиком?.. Нет, мой милый. — И вдруг на глазах у меня выступили слезы. Я положил руку ему на плечо. Но он отстранился, промолвив:

— Ведь в конце концов, если бы он не совершил кражу, вы бы не написали всего этого.

Только тогда я понял свою ошибку. Жорж, оказывается, был польщен, тем, что так долго занимал мои мысли. Он чувствовал себя интересным. Я позабыл о Профитандье; мне напомнил о нем Жорж.

— Что же рассказал вам ваш следователь?

— Он поручил мне предупредить тебя, что ему известно, как ты сбываешь фальшивые деньги...

Жорж снова переменялся в лице. Он понял, что заpiresтельство было бы бесполезно, но все же смущенно заявил:

— Не я один.

— ... и что, если вы не бросите сейчас же этого промысла, — продолжал я, — он принужден будет посадить тебя и твоих дружков в тюрьму.

Сначала Жорж страшно побледнел. Затем щеки его вспыхнули. Он пристально смотрел перед собой, нахмутив брови, так что на лбу у него выступили две морщины.

— Прощай, — сказал я ему, подавая руку. — Советую тебе предупредить также и товарищей. Что же касается тебя, то пусть это послужит тебе предостережением.

Он молча пожал мне руку и вышел из комнаты, не оборачиваясь.

Перечитывая показанные мной Жоржу страницы «Фальшивомонетчиков», я нашел их довольно неудачными. Я привожу их здесь в том виде, как они были прочитаны Жоржем, но всю эту главу нужно будет переделать. Положительно лучше было бы, чтобы разговор происходил прямо с мальчиком. Я должен найти, чем тронуть его. Конечно, сейчас Эдольфа (я изменю это имя: Жорж прав!) трудно возвратит на путь честности. Но я ставлю своей целью сделать это; что бы там ни думал Жорж, это самая интересная задача, потому что самая трудная. (Вот и я начинаю думать, как Дувье!) Предоставим романистам-реалистам описывать людей, безвольно отдавшихся течению событий.

Сейчас же по возвращении в классную комнату Жорж передал своим друзьям сведения, полученные от Эдуарда. Все, что последний говорил ему по поводу кражи, скользнуло по нему, не взволновав его. Что же касается фальшивых монет, то тут дело грозило принять опасный оборот и важно было поэтому как можно скорее от них отделаться. У каждого из троих приятелей было при себе несколько таких монет, которые они рассчитывали сбыть при ближайшей отлучке из пансиона. Гериданизоль собрал их и побежал спустить в раковину клозета. В тот же вечер он доложил о событиях Струвилу, который немедленно принял меры.

XVI

В этот самый вечер, когда Эдуард разговаривал со своим племянником Жоржем, Оливье после ухода Бернара навестил Арман.

Арман Ведель был неузнаваем: свежесбрившийся, улыбающийся, с высоко поднятой головой, в новенькой, тщательно отглаженной паре, немного смешной, быть может, чувствующий это и дающий понять, что он это чувствует.

— Я бы давно уже навестил тебя, но у меня было столько дел!.. Известно ли тебе, что я сейчас секретарь Пассавана? Или, если ты предпочитаешь, главный редактор издаваемого им журнала. Я не буду предлагать тебе сотрудничества, потому что, мне кажется, Пассаван в большом гневе на тебя. К тому же наш журнал делает решительный поворот влево. Вот почему для начала он выбросил за борт Беркая и его пастушеские идиллии...

— Тем хуже для него, — сказал Оливье.

— Вот почему он, напротив, принял в свое лоно мой «Ночной сосуд», который, замечу в скобках, будет посвящен тебе, если разрешишь.

— Тем хуже для меня.

— Пассаван хотел даже, чтобы мое гениальное стихотворение было напечатано на первой странице первого номера, но этому воспротивилась моя природная скромность, которую его похвалы подвергли жестокому испытанию. Если бы я был уверен, что не утомлю твоих выздоравливающих ушей, я дал бы тебе подробный отчет о моем первом свидании со знаменитым автором «Турника», которого я до тех пор знал с твоих слов.

— У меня сейчас нет лучшего занятия, чем слушать твой отчет.

— Дым не беспокоит тебя?

— Я сам закурю, чтобы ты не смущался.

— Нужно сказать,— начал Арман, закуривая папиросу,— что твоя измена поставила нашего дорогого графа в затруднительное положение. Сказать без лести, не так-то легко найти заместителя, в ком букет дарований, добродетелей, достоинств, которые делают тебя одним из...

— Короче,— перебил Оливье, которого раздражала тягеловесная ирония Армана.

— Короче, Пассаван испытывал большую нужду в секретаре. В числе его знакомых есть Струвилу, с которым я знаком, так как он дядя и опекун одного типа из нашего пансиона, и знаком, в свою очередь, с Жаном Коб-Лафлером, которого знаешь и ты.

— С ним я не знаком,— сказал Оливье.

— Ну, значит, старина, должен познакомиться. Это необыкновенная, удивительная личность, что-то вроде увядшего, сморщенного, поддурмяненного ребенка; он живет исключительно крепкими напитками, когда пьян, пишет прелестные стихи. Ты прочтешь их в первом номере нашего журнала. Итак, Струвилу осеняет идея послать его к Пассавану в качестве твоего заместителя. Можешь себе представить его появление в особняке на улице Бабилон. Нужно сказать тебе, что Коб-Лафлер ходит в грязном белье и засаленном костюме, что по плечам его развеивается грива всклокоченных волос и у него вид человека, неделю не умывавшегося. Пассаван, который всегда стремится показать себя властелином положения, утверждает, будто Коб-Лафлер очень ему понравился. Коб-Лафлер сумел прикинуться учтивым, улыбающимся, робким. Когда он хочет, он может сделать себя похожим на Гренгуара Банвиля. Словом, Пассаван был очарован и собирался уже договориться с ним. Нужно тебе сказать, что у Лафлера нет ни гроша... Вот он встает, чтобы попрощаться. «Прежде чем расстаться с вами, я считаю своим долгом предупредить вас, господин граф, что у меня есть кое-какие недостатки». — «У кого из нас их нет?» — «И кое-какие пороки. Я курю опиум». — «Какие пустяки! — сказал Пассаван, которого не способны смутить подобные мелочи. — Хотите, я угощу вас превосходным опиумом?» — «Да, но когда я курю,— продолжает Лафлер,— я утрачиваю всякое представление об орфографии». Пассаван принимает его слова за шутку, пытается засмеяться и подает ему руку. Лафлер продолжает: «Кроме того, я чувствую слабость к гашишу». — «Я сам иногда прибегаю

к нему», — отвечает Пассаван. «Да, но под действием гашиша я не могу удержаться от воровства». Пассаван начинает соображать, что его собеседник издевается над ним; Лафлер же, войдя в раж, с каким-то упоением продолжает: «Кроме того, я нюхаю эфир; тогда я все крушу, все ломаю». Хватает хрустальную вазу и делает вид, будто хочет швырнуть ее в камин. Пассаван вырывает ее у него из рук: «Благодарю вас за то, что предупредили меня».

— И выставил его за дверь?

— Затем стал наблюдать в окно, как бы Лафлер, уходя, не бросил ему бомбу в подвал.

— Зачем же твой Лафлер выкинул эту штуку? — спросил Оливье, помолчав. — Ведь если тебе верить, он очень нуждался в этом месте?

— Приходится, друг мой, допустить, что есть люди, испытывающие потребность действовать вопреки своим собственным интересам. Кроме того, знаешь ли, что я скажу тебе: Лафлер... роскошь Пассавана вызвала в нем отвращение; элегантность графа, его любезные манеры, снисходительность, напущенный на себя вид превосходства, — да, от всего этого его затошнило. И я отлично понимаю его... Твой Пассаван в самом деле способен вызвать рвоту.

— Почему ты говоришь «твой Пассаван»? Ты прекрасно знаешь, что я больше с ним не вижусь. И потом, зачем ты соглашаешься идти на это место, раз ты находишь Пассавана таким противным?

— Потому что я люблю именно то, что мне противно... начиная с собственной грязной личности. Затем Коб-Лафлер, в сущности, трус: он не сказал бы ничего этого, если бы не почувствовал смущения.

— Ну уж извини...

— Конечно. Он был смущен, и ему стало противно чувствовать смущение перед человеком, которого он, в сущности, презирал. Чтобы скрыть свое смущение, он и стал фанфаронить.

— Я нахожу это глупым.

— Мой милый, не все так умны, как ты.

— Ты уже однажды говорил это.

— Какая память!

Оливье выказывал твердую решимость не поддаваться.

— Я пропускаю мимо ушей твои шуточки, — сказал он. — В прошлое наше свидание, помнишь, ты под конец заговорил со мною серьезно. Ты сказал мне вещи, которые я не могу забыть.

Взор Армана помрачнел; он принужденно засмеялся:

— Ах, старина, в прошлое наше свидание я уступил твоему желанию и разговаривал с тобой так, как ты хотел. Ты, словно мальчик, требовал лакомства, и вот, чтобы доставить тебе удовольствие, я спел мою жалобную песню, наполненную душевными терзаниями в духе Паскаля... Что поделаешь! Я бываю искренним, лишь когда издеваюсь.

— Никогда тебе не убедить меня, будто ты был неискренним во время нашего последнего разговора. Напротив, ты сейчас ломаешь комедию.

— О существо, исполненное наивности, о ангельская душа! Как будто бы каждый из нас не играет роли, с большей или меньшей искренностью и сознательностью. Жизнь, старина, не больше чем комедия. Но различие между тобой и мной состоит в том, что я знаю, что разыгрываю паяца, между тем как...

— Между тем как ...— задиристо повторил Оливье.

— Между тем как мой отец, например, чтобы не говорить о тебе, совершенно забывается, когда играет роль пастора. Что бы я ни говорил и ни делал, всегда какая-то часть меня остается где-то в стороне и смотрит, как другая часть компрометирует себя, наблюдает, как она ведет себя, насмехается над ней, освистывает ее или аплодирует ей. Когда носишь в себе такую раздвоенность, можно ли, посуди сам, быть искренним? Я дошел до того, что даже не понимаю, что, собственно, хотят обозначить словом «искренность». С этим ничего не поделаешь: если я печален, то нахожу себя уродливо забавным, и это смешит меня; когда весел, то отпускаю такие нелепые шутки, что у меня появляется желание плакать.

— Мне тоже ты внушаешь желание плакать, бедняга Арман. Я не думал, что ты до такой степени болен.

Арман пожал плечами и сказал совсем другим тоном:

— Чтобы утешиться, хочешь знать содержание первого номера нашего журнала? В нем будет, значит, мой «Ночной сосуд», четыре песенки Коб-Лафлера, диалог Жарри, стихотворения в прозе маленького Гериданизоля, нашего пансионера, и наконец, «Утюг», обширная критическая статья, в которой точно определяется направление журнала. Этот шедевр был высижен соединенными усилиями всех нас.

Оливье, не знавший, что сказать, заметил невпопад:

— Ни один шедевр не является результатом сотрудничества.

Арман покатился со смеху:

— Но, дорогой мой, я сказал «шедевр» в шутку. Тут даже нет речи о произведении искусства в собственном смысле слова. Нам прежде всего хотелось знать, что мы подразумеваем под «шедевром». «Утюг» как раз и ставит своей задачей выяснение этого вопроса. Есть множество произведений, которыми мы восхищаемся, так сказать, по доверию, оттого что все восхищаются ими и никто до сих пор не догадался или не посмел сказать, что они бездарны. Так, например, на первой странице номера мы собираемся поместить репродукцию Джоконды, которой подмалюем усы. Вот увидишь, старина, эффект будет потрясающий.

— Неужели сие должно означать, что ты считаешь Джоконду бездарным произведением?

— Нисколько, дорогой мой (хотя и нахожу ее славу незаслуженной). Ты меня не понимаешь. Бездарны восторги, которые расточаются перед ней. По привычке принято говорить о так называемых «шедеврах» не иначе, как с благоговейно обнаженной головой. «Утюг» (это название журнала) ставит целью высмеять это почтение, дискредитировать его... Хорошим средством для этого является также предложить на радость читателю какое-нибудь бездарное произведение (например, мой «Ночной сосуд») автора, совершенно лишённого здравого смысла.

— Пассаван одобряет все это?

— Это очень забавляет его.

— Вижу, что я хорошо сделал, уйдя от него.

— Уйти... Рано или поздно, старина, хотим ли мы этого или нет, уходить всегда нужно. Это мудрое рассуждение, естественно, приводит меня к тому, чтобы распрощаться с тобой.

— Посиди еще минутку, шут гороховый... Что побудило тебя сказать, что твой отец играет в пастора? Ты не считаешь его, следовательно, человеком убеждений?

— Мой почтеннейший папаша устроил свою жизнь таким образом, что не имеет больше ни права, ни возможности не быть человеком убеждений. Да, он убежденный благодаря своей профессии. Профессор убеждения. Он вдалбливает веру; в этом смысл его существования; это роль, которую он взял на себя и должен исполнять до конца своих дней. Что же, однако, происходит в той инстанции, которую он называет «судом своей совести»? Понятно, было бы нескромностью спрашивать его об этом. И мне кажется, что он сам никогда себя об этом не спрашивает. Он распределяет свои занятия так, чтобы никогда не иметь возможности

задать себе этот вопрос. Он загрозил свою жизнь множественностью обязанностей, которые потеряют всякий смысл, если его убежденность ослабеет; выходит, таким образом, что эта убежденность требуется и поддерживается ими. Он воображает, будто он верующий, потому что продолжает вести себя так, как если бы он действительно веровал. Он больше не свободен не верить. Если его вера поколеблется, дружище, это будет катастрофой! Землетрясением! Подумай только, моя семья лишится средств существования. Это очень важно, старина: ведь папина вера — наш хлеб. Мы все живем папиной верой. Итак, спрашивать, действительно ли папа человек верующий, согласишься, не слишком деликатно с твоей стороны.

— Я думал, вы живете главным образом на доход с пансиона.

— Это отчасти верно. Но уничтожить таким образом мой лирический эффект тоже не очень деликатно.

— Значит, ты ни во что больше не веришь? — печально спросил Оливье, потому что он любил Армана и страдал от его выходок.

— «*Jubes renovare dolorem*»¹... Ты, по-видимому, забыл, дорогой мой, что мои родители собирались сделать меня пастором. Меня подогревали с этой целью, пичкали благочестивыми наставлениями, желая добиться своего рода расширения веры, если можно так выразиться... Пришлось, конечно, признать, что у меня нет призвания. Жаль. Я мог бы стать превосходным проповедником. Но мое призвание — писать «Ночной сосуд».

— Бедняга, если бы ты знал, как мне жаль тебя!

— Ты всегда был то, что мой отец называет «золотое сердце»... которым я не хочу больше злоупотреблять.

Он взял шляпу и уже подходил к двери, как вдруг обернулся:

— Почему же ты не спрашиваешь меня о Саре?

— Потому, что ты не сообщишь мне ничего, что не было бы мне уже известно от Бернара.

— Он сказал тебе, что покинул пансион?

— Он сказал, что твоя сестра Рашель предложила ему уехать.

Одна рука Армана лежала на ручке двери; в другой была палка, которой он поддерживал приподнятую портьеру.

— Объясняй это как тебе будет угодно, — сказал он,

¹ «(Невыразимую) скорбь велишь обновить ты...» (лат.) — слова Энея Дидона (Вергилий. «Энеида», II, 3).

и лицо его приняло очень серьезное выражение.— Рашель, мне кажется, единственный человек на этом свете, кого я люблю и уважаю. Я уважаю ее за то, что она добродетельна. И я всегда веду себя так, что оскорбляю ее добродетель. Что же касается отношений Бернара и Сары, то у нее не было никаких подозрений. Это я рассказал ей все... зная, что окулист рекомендует ей не плакать! Вот какой я паяц.

— Что ж, можно считать, что сейчас ты искренен?

— Да, я думаю, что самое искреннее во мне — это отвращение, ненависть ко всему, что называется Добродетелью. Не старайся понять. Ты не знаешь, что может сделать из нас пуританское воспитание. Оно оставляет в нашем сердце такое озлобление, от которого никогда уже нельзя излечиться... если судить по мне,— закончил он с горькой усмешкой.— Кстати, скажи мне, пожалуйста, что у меня такое здесь?

Он положил шляпу на стул и подошел к окну.

— Взгляни-ка, на губе, внутри.

Он наклонился к Оливье и приподнял пальцем губу.

— Я ничего не вижу.

— Вот здесь, в углу.

Оливье действительно различил на внутренней стороне губы беловатое пятнышко. Оно внушило ему беспокойство.

— Это чирей,— сказал он, чтобы успокоить Армана.

Тот пожал плечами:

— Не говори, пожалуйста, глупостей, серьезный мужчина. Чирей мягкий и быстро проходит. Мой же прыщ твердый и с каждой неделей увеличивается. Кроме того, от него у меня дурной привкус во рту.

— Давно это у тебя?

— Уже больше месяца, как я заметил. Но, как говорят в «шедеврах»: *источник моей болезни глубже*.

— Но, друг мой, если тебя тревожит прыщ, то нужно обратиться к доктору.

— Неужели ты думаешь, я ждал твоего совета?

— Что же сказал доктор?

— Я не дожидался твоего совета, чтобы сказать тебе, что я должен показаться доктору. Но я все же не пошел к нему, потому что если прыщ окажется тем, что я предполагаю, то я предпочитаю не знать.

— Это глупо.

— Не правда ли, ужасно глупо! И все-таки понятно с человеческой точки зрения, слишком понятно...

— Я хочу сказать, глупо не лечиться.

— И иметь возможность сказать себе, когда начинаешь лечиться: «Слишком поздно!» Это то, что так хорошо выражено Коб-Лафлером в одном стихотворении, которое ты скоро прочтешь:

Что сомневаться в несомненном:
Ведь сплошь да рядом в мире гленином
Танцуют раньше, чем сыграть.

— Всякую тему можно сделать предметом литературных эскерсисов.

— Ты правильно сказал — «всякую тему». Но, старина, это не так-то легко. Ну, до свидания... Да, вот что я хотел еще сказать тебе: я получил письмо от Александра... ты его знаешь, это мой старший брат, который удрал в Африку, где начал свою деятельность неудачной торговлей и растратой всех денег, посланных ему Рашелью. Теперь он перенес свои операции на берега Казамансы. Он пишет мне, что торговля его процветает и скоро он даже возвратит весь свой долг.

— Торговля чем?

— Почему я знаю? Каучуком, слоновой костью, неграми, может быть, словом, всякими пустяками... Он предлагает мне приехать к нему.

— Ты поехал бы?

— Хоть завтра, если бы скоро не наступал срок моего призыва. Александр — человек шальной, вроде меня. Мне кажется, что я прекрасно ужился бы с ним... Хочешь почитать? Письмо при мне.

Он вытащил из кармана конверт, а из него несколько листочков; выбрал один и протянул Оливье:

— Все читать не стоит. Начни отсюда.

Оливье прочел:

«Уже две недели я живу в обществе странного субъекта, которого приютил в своей хижине. Должно быть, ему удаило в голову солнце этих стран. Сначала я принял за бред то, что, вне всякого сомнения, является безумием. Этот странный молодой человек — тип лет тридцати, высокий и сильный, довольно красивый и, наверное, из «хорошей семьи», как обыкновенно говорят, если судить по его манерам, языку и рукам, слишком изящным для того, чтобы предположить, что они занимались когда-нибудь черной работой, — считает себя одержимым дьяволом; или, вернее, он считает себя самим дьяволом, если я правильно понимаю то, что он говорит. С ним, вероятно, приключилось что-то тяжелое, так как во сне и в состоянии полусна, в которое он

часто впадает (и тогда он разговаривает сам с собой, не замечая моего присутствия), он не переставая говорит об отсеченных руках. Так как в этих случаях он сильно жестикулирует и страшно вращает глазами, то я предусмотрительно убрал подальше от него всякое оружие. В остальное время это славный парень, очень приятный собеседник, — что, понятно, я очень ценю после долгих месяцев одиночества, — деятельно помогающий мне в моих хлопотах. Он никогда не говорит о своей прошлой жизни, так что мне не удастся открыть, кто он, собственно, такой. Особенно большой интерес он проявляет к насекомым и растениям, и некоторые его замечания свидетельствуют о его обширных познаниях в этой области. По-видимому, он чувствует себя у меня очень хорошо и не собирается уезжать; я решил позволить ему оставаться здесь сколько ему будет угодно. Как раз в последнее время мне нужен был помощник, так что, в общем, он явился очень кстати.

Уроливый негр, прибывший вместе с ним по Казамансе, говорит о какой-то женщине, которая сопровождала их и, если я правильно его понял, утонула, когда их лодка однажды опрокинулась. Я не удивился бы, если б узнал, что мой компаньон помог этому. В этой стране, когда мы хотим отделаться от кого-нибудь, в нашем распоряжении есть большой выбор средств, и никто никогда на этот счет не стесняется. Если когда-нибудь я узнаю больше подробностей, то напишу тебе или расскажу, когда ты приедешь ко мне. Да, я знаю... скоро тебе нужно будет отбывать воинскую повинность... Ну, что ж! Я подожду. Но помни, что, если ты хочешь увидаться со мной, тебе нужно будет решиться приехать сюда. Что до меня, то мое желание вернуться все больше слабеет. Я веду здесь жизнь, которая мне нравится и подходит мне, как костюм, сшитый на заказ. Торговля моя процветает, и крахмальный воротничок кажется ошейником, который я никогда больше не буду в силах носить.

При сем прилагаю новый чек, который ты используешь, как тебе заблагорассудится. Прежний предназначался для Рашели. Сохрани этот для себя...»

— Остальное неинтересно, — сказал Арман.

Оливье возвратил письмо, не говоря ни слова. Ему не пришло в голову, что убийца, о котором здесь шла речь, был его брат. Винцент давно уже не подавал о себе вестей; родители считали, что он уехал в Америку. По правде говоря, Оливье мало интересовался им.

XVII

Борис узнал о смерти Брони только от госпожи Софроницкой, которая навестила пансион спустя месяц после похорон. Со времени печального письма своей подруги Борис не получал никаких известий. Однажды, находясь, по своему обыкновению, в гостиной госпожи Ведель в перерыве между занятиями, он увидел, что открывается дверь и входит госпожа Софроницкая; так как она была в глубоком трауре, то он понял все еще прежде, чем она заговорила. Они были одни в комнате. Софроницкая заключила Бориса в свои объятия, и оба они разрыдались. Софроницкая лишь повторяла: «Мой бедный мальчик... Мой бедный мальчик...», словно один Борис нуждался в участии и словно позабыв свое материнское горе перед огромным горем этого мальчика.

Появилась госпожа Ведель, за которой послали, и Борис, еще весь сотрясаемый рыданиями, отошел в сторону, чтобы дать поговорить дамам. Ему хотелось, чтобы они не говорили о Броне. Госпожа Ведель, которая не была знакома с ней, говорила о ней так, словно та была обыкновенной девочкой. Самые вопросы, которые она задавала, казались Борису неделикатными благодаря их банальности. Ему хотелось, чтобы Софроницкая на них не отвечала, и он страдал, видя, как она выставляет напоказ свое горе. Свое собственное он запрятал глубоко в душе, как сокровище.

Конечно, это о нем думала Броня, когда спросила за несколько дней до смерти:

«Мама, я хотела бы столько знать... Скажи, что значит идилия?»

Борис хотел, чтобы ему одному стали известны эти слова, пронзавшие сердце.

Госпожа Ведель предложила чай. На столе стояла чашка для Бориса, которую он наспех выпил, потому что перемена кончилась; затем попрощался с Софроницкой, и та на другой день уехала в Польшу, куда ее звали дела.

Весь мир показался ему пустыней. Мать была очень далека, всегда в отлучках, дедушка слишком стар; подле него не было больше даже Бернара, в присутствии которого он чувствовал себя увереннее. Только нежная душа испытывает потребность в существе, которому она могла бы принести в дар свои благородство и чистоту. Борис не был настолько горд, чтобы любоваться этими своими душевными качествами. Он слишком сильно любил Броню, чтобы иметь надежду вновь найти когда-нибудь тот повод

для любви, который он терял вместе с ней. Как теперь, без нее, верить в ангелов, которых он желал видеть? Теперь его небо опустело.

Борис возвратился в классную комнату с таким чувством, с каким он спустился бы в ад. Несомненно, он мог бы сделаться другом Гонтрана де Пассавана; это славный мальчик, и они ровесники, но ничто не способно отвлечь Гонтрана от занятий: Филипп Адаманти тоже не злой мальчик; он не желал бы ничего лучшего, как только привязаться к Борису; но он до такой степени подпал под влияние Гериданизоля, что не решается больше испытывать ни единого личного чувства; едва Гериданизоль ускоряет шаг, как он уже стремится идти с ним в ногу; между тем Гериданизоль терпеть не может Бориса. Его музыкальный голос, его грация, девичья наружность — все в нем раздражает, бесит Гериданизоля. Кажется, будто при виде Бориса он испытывает то инстинктивное отвращение, которое в стаде натравляет сильного на слабого. Может быть, он наслушался наставлений своего кузена, и его ненависть является немного надуманной, потому что в его глазах она приобретает характер осуждения. Он находит основания радоваться своей ненависти. Он отлично понял, насколько Борис чувствителен к презрению, с которым он к нему относится, это забавляет, и он притворяется, будто у него существует сговор с Жоржем и Фифи; его единственная цель — видеть, как Борис тоскливо вопрошающе на него смотрит.

— Как он, однако, любопытен,— говорит тогда Жорж.— Можно сказать ему?

— Не стоит. Он не поймет.

«Он не поймет». «Он не посмеет». «Он не сумеет». То и дело ему бросают в лицо такие упреки. Он ужасно страдает от того, что его не допускают в компанию. Он действительно не понимает толком данного ему оскорбительного определения: «Не способен»; или же приходит в негодование от его смысла. Чего только не дал бы он за возможность доказать, что он вовсе не такое ничтожество, как они думают!

— Терпеть не могу Бориса,— сказал Гериданизоль Струвилу.— Почему ты просил меня оставить его в покое? Он вовсе не хочет, чтобы его оставили в покое. Вечно посматривает в мою сторону... Недавно он очень развеселил всех нас, так как думал, что «баба с волосиками» означает «бородатая женщина». Жорж стал над ним потешаться. Когда Борис понял свою ошибку, мне показалось, что он расплачется.

Затем Гериданизоль забросал вопросами своего кузена; в заключение тот вручил ему «талисман» Бориса и рассказал, как им пользоваться.

Через несколько дней Борис, войдя в классную комнату, нашел на своей парте бумажку, о существовании которой стал уже забывать. Он выбросил ее из своей памяти вместе со всем тем, что касалось пресловутой «магии» лет, проведенных им в варшавской гимназии; теперь он стыдился всего этого. Сначала он не узнал бумажки, потому что Гериданизоль позаботился окружить магическую формулу

«Газ. Телефон. Сто тысяч рублей»

двухцветной — черной и красной — широкой рамкой, которую размалевал непристойными чертенытами, мастерски нарисованными. Все это придавало бумажке какой-то фантастический, таинственно-зловещий вид, который, по мнению Гериданизоля, способен был взволновать Бориса.

Может быть, все это было простой шуткой, но успех ее превзошел все ожидания. Борис сильно покраснел, не сказал ни слова, посмотрел по сторонам и не заметил Гериданизоля, который, спрятавшись за дверь, наблюдал за ним. Борис не мог сообразить, каким образом талисман очутился здесь; казалось, он упал с неба или, вернее, выскочил из преисподней. Борис, конечно, был теперь в возрасте, когда мальчишки презрительно пожимают плечами перед такого рода ребяческой чертовщиной, но она разбудила в нем воспоминания о мрачном прошлом. Борис взял талисман и сунул его в карман куртки. Весь остаток дня его неотступно преследовало воспоминание о занятиях «магией». До вечера он боролся с темным искушением, но так как ничто больше не поддерживало его в этой борьбе, то, оставшись один в своей комнате, он не устоял.

Ему казалось, что он губит себя, совсем удаляется от Брони, но он находил удовольствие в этом, сама его гибель доставляла ему наслаждение.

И однако, несмотря на свое отчаяние, он хранил в глубине души такие запасы нежности, испытывал столь острое страдание от подчеркнуто пренебрежительного отношения к нему товарищей; что решился бы на самый рискованный и нелепый поступок, лишь бы приобрести их уважение.

Случай скоро представился.

После вынужденного отказа от сбыта фальшивых монет Гериданизоль, Жорж и Фифи недолго оставались праздными. Мелкие каверзные проделки, которыми они занялись в первые дни, были лишь интермедией. Во-

ображение Гериданизоля снабдило их вскоре гораздо более пряным блюдом.

Единственной целью, что первоначально ставили себе члены «Братства сильных людей», было удовольствие держаться в стороне от Бориса. Но очень скоро Гериданизолю показалось, что будет, напротив, гораздо пикантнее допустить его в их число; это позволит им заставить его взять на себя такие обязательства, при помощи которых можно будет впоследствии довести его до какого-нибудь гнусного поступка. С того момента эта идея прочно засела в Гери; и, как часто случается в такого рода затеях, Гериданизоль куда меньше думал о самом существовании дела, чем о способах обеспечить его успех; это кажется мелочью, но такая мелочь объясняет немало преступлений. Вдобавок Гериданизоль был жесток; но он ощущал потребность скрывать эту жестокость, по крайней мере от взоров Фифи. Фифи, напротив, был вовсе чужд жестокости; до последней минуты он пребывал в убеждении, что дело идет о простой шутке.

Всякое братство нуждается в девизе. Гериданизоль, у которого была своя мысль, предложил: «Сильный человек не дорожит жизнью». Девиз был принят и приписан Цицерону. В качестве отличительного знака Жорж предложил татуировку на правой руке; но Фифи, боявшийся боли, стал утверждать, что татуировкой занимаются только матросы. Гериданизоль поддержал его, возразив Жоржу, что татуировка оставляет неизгладимый след, который потом может причинить им неприятности. В конце концов отличительный знак не является такой настоятельной необходимостью; членам братства достаточно будет дать торжественную клятву.

Когда дело касалось сбыта фальшивых монет, возникла мысль о залогах, и в качестве такого залога Жорж представил письма своего отца. Вскоре, однако, об этом забыли. Дети, к счастью, не отличаются большим постоянством. В результате не было принято почти никаких решений ни по части «условий приема в братство», ни по части «требуемых качеств». На кой черт, раз считалось само собой разумеющимся, что трое были «настоящими членами», а Борис — «не в счет». Напротив, было постановлено, что «кто струсит, тот будет считаться предателем, навсегда выброшенным из братства». Гериданизоль, задавшийся целью привлечь в братство Бориса, особенно настаивал на этом пункте.

Нужно признать, что без Бориса игра была бы довольно

скучной и доблести братства не находили применения. Для завлечения мальчика Жорж обладал более подходящими качествами, чем Гериданизоль; этот последний легко мог возбудить его недоверие; что касается Фифи, тот не отличался достаточной ловкостью и предпочитал не срамиться.

Самым чудовищным в этой отвратительной истории мне представляется, пожалуй, комедия дружбы, которую согласился разыграть Жорж. Он притворился, будто вдруг охвачен порывом нежной симпатии к Борису; до тех пор казалось, что он вовсе даже и не смотрел на него. И я склонен думать, уж не был ли он сам обманут своей игрой, не был ли он близок к тому, чтобы его притворные чувства обратились в искренние, и даже не стали ли они действительно таковыми с мгновения, когда Борис ответил на них. Он обращался к Борису с видом нежного участия; наученный Гериданизолем, подолгу говорил с ним... И после первых же его слов Борис, который так жаждал хотя бы капли уважения и любви, был покорён.

Тогда Гериданизоль выработал план действий и посвятил в него Фифи и Жоржа. План этот сводился к тому, чтобы придумать «испытание», которому должен будет подвергнуться тот из членов братства, кто вытянет брошенный жребий; чтобы успокоить Фифи, он дал понять, что все будет устроено таким образом, что жребий может выпасть только Борису. Испытание должно будет иметь целью удостовериться в его бесстрашии.

В чем именно будет заключаться это испытание, Гериданизоль пока не сообщал. Он подозревал некоторое противодействие со стороны Фифи.

— Ах, только не это! Я не согласен,— действительно заявил Фифи, когда немного позже Гериданизоль стал намекать, что здесь мог бы найти отличное применение пистолет папаши Лапера.

— Какой же ты, однако, дурак! Ведь мы хотим только посмеяться над ним,— возразил Жорж, уже пришедший в восторг от этой идеи.

— Кроме того,— прибавил Гери,— если тебе доставляет удовольствие валять дурака, заяви об этом откровенно. Никто в тебе не нуждается.

Гериданизоль знал, что этот аргумент всегда оказывает действие на Фифи; так как им был уже заготовлен листок с обязательствами, который должен был подписать каждый из членов братства, то он сказал:

— Нужно только заявить об этом сразу, потому что, когда подпишешься, будет слишком поздно.

— Ну, не сердись,— ответил Фифи.— Дай мне листок.— И подписался.

— Я, милый, очень хотел бы,— говорил Жорж, нежно обвив шею Бориса,— но Гериданизоль не хочет принимать тебя в братство.

— Почему?

— Потому, что не доверяет. Говорит, что ты сдрейфишь.

— Почему он знает?

— Говорит, что сбежишь после первого испытания.

— Посмотрим.

— Правда, что ты решишься тянуть жребий?

— Черт возьми!

— Но ты знаешь, к чему это обязывает?

Борис не знал, но хотел знать. Тогда Жорж объяснил ему: «Сильный человек не дорожит жизнью». Предстоит в этом убедиться.

Борис почувствовал, что голова у него пошла кругом. Но он поборол себя и спросил, скрывая волнение:

— Правда, что вы все подписались?

— На, смотри.— И Жорж протянул ему листок, на котором Борис мог прочесть все три фамилии.

— Ну а...— начал было он робко.

— Ну а... что? — перебил Жорж так грубо, что Борис не осмелился продолжать. Жорж отлично понимал, о чем он хотел спросить его: дали ли подобное обязательство также и другие и можно ли быть уверенным, что и они не сдрейфят?

— Нет, ничего,— сказал он; но с этой минуты в него закралось сомнение относительно других; он начал подозревать, что другие что-то замышляют и игра нечиста. «Ну и пусть,— тотчас же подумал он,— какое мне дело до того, что они плутуют; я докажу, что храбрее их всех». Затем, глядя Жоржу прямо в глаза: — Скажи Гери, что он может на меня положиться.

— Значит, подписываешься?

О, в этом не было больше необходимости; он ведь дал слово. Он сказал просто:

— Если тебе угодно.— И под подписью троих «сильных людей» вывел на злополучном листке размашистым четким почерком свою фамилию.

Жорж с торжеством принес листок приятелям. Все согласились, что Борис совершил очень смелый поступок, и стали обсуждать подробности выполнения плана.

Конечно, пистолет не будет заряжен! К тому же у них не было патронов. Страх Фифи объяснялся тем, что он слышал как-то, что смерть иногда может последовать от очень сильного волнения. Его отец, утверждал он, приводил случай одной инсценировки казни, которая... Но Жорж послал его к черту:

— Твой отец южанин.

Нет, Гериданизоль не станет заряжать пистолет. В этом не было надобности. Патрон, который однажды вложил в него Лаперуз, не был вынут. Факт этот был обнаружен Гериданизодем, но он не счел нужным сообщать о нем приятелям.

Четыре одинаковые бумажки с фамилиями были опущены в шапку. Гериданизоль, который должен был «тянуть», позаботился о том, чтобы написать фамилию Бориса и на пятой бумажке, зажатой у него у кулаке; и вот «случайно» была вытянута именно эта бумажка. Борис сильно подозревал, что тут было плутовство, но смолчал. К чему было протестовать? Он знал, что погиб. Он не сделал ни малейшего движения в свою защиту; и, если бы даже жребий выпал кому-нибудь другому, он готов был заменить его, настолько сильна была в нем решимость отчаяния.

— Бедняжка, тебе не везет, — счел своим долгом заметить Жорж. Но тон его голоса звучал так фальшиво, что Борис печально посмотрел на него.

— Я был уверен в этом, — сказал он.

После этого решено было приступить к репетиции. Но так как существовала опасность быть застигнутыми, то условились, что пистолетом сейчас пользоваться не будут. Его похитят из ящика в самый последний момент, когда начнется «настоящая игра». Не нужно навлекать на себя подозрений.

Итак, в тот день договорились лишь относительно времени и места, причем последнее отметили мелом на полу. Оно находилось в классной комнате, направо от кафедры, в нише, образованной заколоченной дверью, выходявшей под свод подъезда. Что касается времени, то был избран час занятий. Это должно будет произойти на глазах у всех учеников: мы им утрем нос!

Репетиция была проделана в пустой комнате в присутствии троих заговорщиков. В общем, однако, она не имела большого смысла. Просто констатировали, что от места,

занимаемого Борисом, до намеченного мелом пункта было ровно двенадцать шагов.

— Если ты не струсил, то не сделаешь ни шагу больше,— сказал Жорж.

— Я не струшу,— заявил Борис, оскорбленный этим упорным сомнением. Его твердость начала производить впечатление на «сильных людей». Фифи считал, что на этом следует остановиться. Но Гериданизоль обнаруживал решимость довести затею до конца.

— Ладно, до завтра,— сказал он, странно улыбнувшись уголком рта.

— Давайте расцелуем его! — вскричал с энтузиазмом Фифи. Он вспомнил об обряде посвящения в рыцари и вдруг заключил Бориса в объятия. Борису с большим трудом удалось сдержать слезы, когда Фифи запечатлел на его щеках два звучных детских поцелуя. Ни Жорж, ни Гери не последовали его примеру; жест Фифи показался Жоржу не вполне достойным. Что же касается Гери, то он только презрительно пожал плечами...

ХVIII

На другой день, вечером, звонок собрал пансионеров в классной комнате.

Борис, Гериданизоль, Жорж и Фифи сидели на одной скамейке. Гериданизоль вынул часы и положил их между собой и Борисом. Часы показывали тридцать пять минут шестого. Занятия начались в пять часов и должны были продолжаться до шести. Было условлено, что Борис должен все покончить без пяти шесть, как раз перед уходом учеников; так было лучше: можно было сейчас же улизнуть. Вынув часы, Гериданизоль сказал Борису вполголоса и не глядя на него, что, по его мнению, сообщало его словам большую фатальность:

— Ну, старина, тебе осталось всего четверть часа.

Борис вспомнил, как в одном недавно прочитанном им романе бандиты, перед тем как убить женщину, предложили ей помолиться, желая дать ей понять, что она должна приготовиться к смерти. Подобно иностранцу, приводящему в порядок свои бумаги на границе страны, которую он должен покинуть, Борис стал искать в своем сердце и в голове молитвы, но не нашел ничего; он, однако, так устал и в то же время был в таком напряженном состоянии, что не

испытывал от этого большого огорчения. Он попытался собрать свои мысли, но не мог думать ни о чем. Пистолет оттягивал ему карман; не нужно было ощупывать рукой, чтобы почувствовать его.

— Только десять минут.

Жорж, сидевший слева от Гериданизоля, искоса наблюдал сцену, но делал вид, что не обращает на нее внимания. Он лихорадочно занимался. Никогда в классной комнате не царил такое спокойствие. Лаперуз не узнавал своих сорванцов и в первый раз вздохнул свободно. Фифи, однако, спокоен не был: Гериданизоль внушал ему страх; он не был вполне уверен, что затея кончится благополучно; сердце его замирало, так что он чувствовал боль в груди и по временам выпускал глубокие вздохи. В заключение он не выдержал и вырвал листок из лежавшей перед ним тетрадки по истории — он должен был готовиться к экзамену, но строчки прыгали перед глазами, факты и даты путались в голове — и торопливо написал: «Ты хотя бы уверен, что пистолет не заряжен?» — затем протянул записку Жоржу, который передал ее Гери. Однако последний, прочтя ее, только пожал плечами, даже не взглянув на Фифи, потом скомкал и бросил щелчком как раз на место, обведенное мелом. После этого, довольный тем, что так ловко попал в цель, улыбнулся. Эта вымученная улыбка так и осталась у него до самого конца сцены; она, казалось, застыла на его лице.

— Еще пять минут.

Это было сказано почти вслух. Даже Филипп услышал. Сердце у него нестерпимо сжалось, и, хотя занятия должны были сейчас окончиться, он притворился, будто ощущает настоящую потребность выйти, а может быть, и действительно почувствовал позывы; он поднял руку и щелкнул пальцами, как это обыкновенно делали ученики, испрашивая у учителя разрешения выйти; затем, не дожидаясь ответа Лаперуза, сорвался со скамейки. Чтобы достигнуть двери, он должен был пройти мимо кафедры; он почти бежал, шатаясь.

Почти сразу же после ухода Филиппа поднялся со скамейки Борис. Гонтран Пассаван, прилежно занимавшийся на следующей скамейке, поднял глаза. Он рассказывал потом Серафине, что Борис был «ужасно бледен»; но так всегда говорят в подобных случаях. К тому же он тотчас же перестал смотреть на Бориса и снова погрузился в занятия. Он сильно упрекал себя за это впоследствии. Если бы он мог предвидеть, что произойдет, он, наверное, помешал бы,

со слезами говорил он потом. Но он ничего не подозревал.

Между тем Борис дошел до намеченного мелом места. Он двигался медленно, как автомат, неподвижно устремив взор в одну точку: был похож на сомнамбулу. Правой рукой он схватил пистолет, но держал его в кармане куртки; он вытащил его в самый последний момент. Фатальное место находилось, как я уже сказал, у самой заколоченной двери, которая образовывала направо от кафедры своего рода нишу, так что учитель мог увидеть происходящее там, лишь наклонившись с кафедры.

Лаперуз наклонился. Сначала он не понял, что делает его внук, хотя странная торжественность его жестов способна была внушить беспокойство. Он начал было как можно громче и стараясь придать тону своего голоса властность:

— Мсье Борис, прошу вас немедленно сесть на ваше...

И вдруг он увидел пистолет: Борис в эту секунду представил его к виску. Лаперуз понял и мгновенно похолодел, словно кровь застыла у него в жилах. Он хотел встать, подбежать к Борису, удержать его, закричать... Что-то вроде глухого хрипа вырвалось у него; он остался стоять неподвижно, парализованный, сотрясаемый мелкой дрожью.

Грянул выстрел. Борис не сразу рухнул на пол. Одно мгновение тело его держалось, словно пригвожденное к нише; затем голова, упав на плечо, нарушила равновесие; труп тяжело опустился.

На полицейском дознании, имевшем место вскоре после происшествия, все были поражены тем, что подле Бориса — я хочу сказать, подле места, где он упал, так как почти тотчас же труп был перенесен на постель, — не нашли пистолета. В суматохе, последовавшей после выстрела Гериданизоль остался сидеть на месте, между тем как Жорж, перепрыгнув через скамейку, успел незаметно подобрать оружие: сначала он отшвырнул пистолет ногою и, когда все устремились к Борису, проворно схватил его, спрятал под курткой, затем украдкой передал Гериданизолю. Внимание присутствующих было настолько поглощено Борисом, что никто и не заметил, как Гериданизоль сбежал в комнату Лаперуза и положил пистолет на то место, откуда он его взял. Когда во время обыска полиция нашла пистолет в ящике, то могло бы даже возникнуть сомнение, что его брали оттуда и что Борис пользовался им, если бы Гериданизоль позаботился вынуть гильзу. Он, несомненно, совсем растерялся. Кратковременное помрачение, в котором он впоследствии упрекал себя, увы! гораздо больше, чем раскаивал-

ся в совершенном преступлении. Между тем как раз это самое помрачение его спасло. Ибо, когда он снова спустился вниз, чтобы присоединиться к другим, то вид трупа Бориса, который в это время выносили из классной комнаты, вызвал у него сильную судорогу, настоящий нервный припадок, в котором госпожа Ведель и Рашель, прибежавшие на шум, усмотрели свидетельство крайнего волнения. В существе столь еще юном мы готовы предположить все что угодно, только не бесчеловечность; поэтому когда Гериданизоль стал уверять, будто он невиновен, ему поверили. Переданная ему Жоржем записочка от Фифи, которую он отшвырнул щелчком и которую потом нашли под скамейкой, — эта маленькая скомканная бумажка послужила ему на пользу. Конечно, он был виновен — наравне с Жоржем и Фифи — в том, что принял участие в жестокой шутке; но он утверждал, что не согласился бы принять в ней участия, если бы знал, что пистолет заряжен. Один Жорж остался убежден, что вся ответственность за преступление падает на него.

Жорж не был настолько испорчен, чтобы его восхищение Гериданизодем не сменилось отвращением. Когда в тот вечер он вернулся к родителям, он бросился в объятия матери, и Полина была горячо признательна судьбе, которая с помощью этой страшной драмы возвратила ей сына.

ДНЕВНИК ЭДУАРДА

Не притязая давать фактам исчерпывающее объяснение, я все же не хотел бы приводить их без достаточной мотивировки. Вот почему я не воспользуюсь для моих «Фальшивомонетчиков» самоубийством Бориса; мне стоит большого труда понять его. Кроме того, я не люблю фактов из газетной рубрики «Происшествия». В них есть что-то непоправимое, непререкаемое, грубое, оскорбительно реальное... Я согласен, чтобы реальность подтверждала мою мысль, доказывала ее, но я решительно не допускаю, чтобы она ей предшествовала. Я не люблю быть захваченным врасплох. Самоубийство Бориса кажется мне прямо-таки *неприличным*, потому что оно явилось для меня неожиданностью.

В каждом самоубийстве всегда есть какой-то элемент малодушия вопреки убеждению Лаперуза, который, несомненно, считает, что его внук обладал большим мужеством, чем он. Если бы этот мальчик мог предвидеть беды, которые его роковой жест накликал на семейство Веделей, то ему нельзя было бы найти оправдания. Азаису пришлось рас-

пустить пансион — на короткое время, говорит он, но Рашель боится, что дело кончится крахом. Четыре семьи уже забрали своих детей. Мне не удалось отговорить Полину взять домой Жоржа, тем более что этот мальчик, глубоко потрясенный смертью товарища, как будто намерен исправиться. Сколько откликов вызывает это прискорбное событие! Даже Оливье очень взволнован. Несмотря на свой напускной цинизм, Арман тоже озабочен разорением, которое грозит его семье, и предлагает отдавать пансиону свободное время, которое, наверное, согласится предоставить ему Пассаван, ибо старик Лаперуз стал явно непригодным для исполнения возложенных на него обязанностей.

Я боялся навестить его. Он принял меня в своей маленькой комнате, на третьем этаже пансиона. Едва я вошел, он взял меня под руку и сказал с таинственным видом, почти улыбаясь, что очень изумило меня, так как я ожидал увидеть его в слезах.

— Шум, помните?.. Шум, о котором я давеча говорил вам...

— Ну?

— Прекратился. С ним покончено. Я больше его не слышу. Напрасно я напрягаю все свое внимание...

Я ответил ему тоном, каким взрослые говорят с детьми, когда хотят подстроиться к затеянным ими играм:

— Держу пари, что теперь вы жалуете о том, что больше не слышите его.

— О нет, нет!.. Теперь наступило такое спокойствие! Я чувствую такую потребность в тишине... Знаете, о чем я думал? О том, что в течение этой жизни мы не можем постичь по-настоящему, что такое тишина. Даже наша кровь производит в нас непрерывный шум; мы не различаем его, потому что с детства к нему привыкли... Но, мне кажется, есть вещи, есть гармонии, которые нам не удастся слышать в течение нашей жизни... оттого, что их заглушает этот шум. Да, мне кажется, что лишь после нашей смерти мы будем в состоянии слышать по-настоящему.

— Вы мне говорили, что не верите...

— В бессмертие души? Я говорил вам это?.. Да, вы, вероятно, правы. Но я, понимаете ли, не верю также и в обратное.

И, видя, что я молчу, он, качая головой, продолжал наставительным тоном:

— Заметили ли вы, что в этом мире Бог всегда молчит? Говорит только дьявол. Или, по крайней мере... как мы ни напрягаем наше внимание, нам удастся услышать только

дьявола. У нас нет ушей, чтобы воспринять голос Бога. Слово Бога! Задавались вы когда-нибудь вопросом, чем оно может быть?.. О, я не говорю вам о тех словах, которые переведены на человеческий язык... Помните, на первой странице одного из Евангелий сказано: «Вначале было слово». Я часто думал, что слово Бога и было самим творением. Но дьявол завладел им. Производимый им шум заглушает теперь голос Бога. Скажите мне, пожалуйста: как, по-вашему, останется все же за Богом последнее слово?.. И если времени после смерти не существует, если мы сразу вступаем в вечность, то не кажется ли вам, что тогда мы будем в состоянии слышать Бога... прямо?

Охваченный каким-то испуганием, он затрясся всем телом, готовый, казалось, забиться в эпилептическом припадке; вдруг рыдания стали душить его:

— Нет! Нет! — глухо восклицал он.— Дьявол с Богом заодно, они действуют сообща. Мы стараемся убедить себя, будто все зло, существующее на земле, идет от дьявола, но это объясняется тем, что иначе мы не нашли бы в себе сил простить Богу. Он играет с нами, как кошка с мышью, которую она мучит... И после этого он еще требует от нас быть признательными ему. Признательными за что? за что?..

Затем, наклонившись ко мне:

— Знаете, что самое ужасное из всего сделанного им?.. Принести в жертву собственного сына для нашего спасения. Собственного сына! Собственного сына!.. Жестокость — вот первое из свойств Бога.

Он бросился на кровать и повернулся лицом к стене. Еще несколько мгновений его корчила судорога, затем он как будто забылся, и я покинул его.

Он не сказал мне ни слова о Борисе; но мне показалось, что в этом бездонном отчаянии следует видеть косвенное выражение его горя, слишком огромного, чтобы у него хватило сил смотреть на него в упор.

Я узнал от Оливье, что Бернар возвратился к отцу; право, это лучшее, что он мог сделать. Узнав от Калу, с которым случайно тот встретился, что здоровье старого следователя неважно, Бернар послушался голоса собственного сердца. Мы должны увидеться завтра вечером, так как Профитандье пригласил меня на обед вместе с Молинье, Полиной и двумя мальчиками. Мне очень любопытно познакомиться с Калу.

8.VI.1925 г.

Тесей

ПРИТЧА

Этот новый труд я посвящаю Анне Эргон, что вполне естественно, поскольку именно благодаря ее милому гостеприимству, ее постоянной предупредительности, ее заботам я смог написать его.

Еще я выражаю свою признательность Жаку Эргону и всем тем, кто во время моего длительного изгнания позволил мне понять всю ценность дружбы, и особенно — Жаку Амрушу, морально очень поддерживавшему меня в работе, которую без него, возможно, у меня не хватило бы духу осуществить, хотя я замыслил ее очень давно.

© Перевод *В. Исаковой*, 1993 г.

Я хотел рассказать о своей жизни сыну моему Ипполиту, чтобы тем самым просветить его; сына у меня больше нет, но я все равно расскажу. Ему я и не осмелился бы описать, как сделаю это теперь, некоторые свои любовные похождения: он являл собой воплощенное целомудрие и с ним я не решался говорить о своих сердечных делах. Впрочем, они имели для меня значение лишь в первую половину моей жизни, хотя дали мне возможность познать себя, равно как и встречи с различными чудовищами, которых я одолел. Ибо, учил я Ипполита, «прежде всего надо познать, кто ты есть, а затем уже надлежит осознать и принять в руки наследство. Хочешь ты того или нет, ты, как и я, являешься царским сыном. И тут ничего не поделаешь, это — данность, и она обязывает». Однако Ипполита все это заботило мало, гораздо меньше, чем меня в его возрасте, и, как и я в свое время, он довольствовался тем, что просто знал об этом. О юные годы, прожитые в невинности! Какая беззаботная пора! Я был ветром, волной. Я был растением, я был птицей. Я не замыкался в себе, и любой контакт с внешним миром не столько указывал мне на ограниченность моих сил, сколько разжигал во мне сладострастие. Я нежно гладил фрукты, молодую кору деревьев, гладкие камни на берегу, шерсть собак, лошадей — прежде чем начал ласкать женщин. Все прекрасное, что щедро давали мне Пан, Зевс и Фетида, очень возбуждало меня.

Однажды отец сказал мне, что так дальше продолжаться не может. Почему? Потому, черт возьми, что я — его сын и должен показать, что достоин трона, на котором займу его место. А мне было так хорошо сидеть просто на густой траве или на освещенной арене... Однако упрекать своего отца я не могу. Разумеется, он правильно сделал, что восстал против меня мой собственный разум. Именно этому я и обязан всем, на что стал годен в дальнейшем, — тем, что перестал жить как придется, каким бы приятным это состояние вольности ни казалось. Отец научил меня, что ничего большого, стоящего, прочного нельзя добиться без усилий.

Первое такое усилие я сделал по его настоянию. Надобно было приподнять скалы, чтобы найти под одной из них оружие, спрятанное, как он мне сказал, Посейдоном. Он радостно смеялся, видя, как от этих упражнений у меня довольно скоро прибавилось силы. Тренировка мускулов

сопровождалась тренировкой воли. И вот, когда в этих тщетных поисках я сдвинул с места все тяжеленные скалы в округе и уже приступил было к глыбам в основании дворца, он остановил меня.

«Оружие,— сказал он мне,— значит меньше, чем рука, которая его держит; рука значит меньше, чем разумная воля, которая ее направляет. Вот оно, это оружие. Прежде чем отдать его тебе, я хотел, чтобы ты его заслужил. Отныне я вижу, что у тебя достаточно честолюбия и стремления к славе, которое позволит тебе употребить его лишь для благородного дела и во благо человечества. Время детства прошло. Будь мужчиной. Сумей показать людям, чем может быть и чем ставит себе целью стать один из них. Тебя ждут большие дела. Дерзай».

II

Он — отец мой Эгей — был одним из лучших, одним из достойнейших. Подозреваю, что на самом деле я — мнимый его сын. Мне говорили об этом и еще о том, что меня породил могущественный Посейдон. В таком случае свое непостоянство я унаследовал от этого божества. Что касается женщин, я ни на одной не мог остановиться надолго. Иногда мне отчасти мешал Эгей. Однако я признателен ему за опеку и за то, что он ввел в Аттике культ Афродиты. Я скорблю, что явился причиной его смерти из-за своей роковой забывчивости: не заменил на корабле черные паруса белыми, когда возвращался с Крита, как это было условлено в случае, если я окажусь победителем в моем рискованном предприятии. Ведь всего не упомнишь. Но честно говоря, если мне покопаться в себе поглубже (что я всегда делаю неохотно), то не могу поклясться, что это действительно была одна только забывчивость. Признаться, Эгей мешал мне, особенно когда с помощью любовного зелья колдуньи Медеи, считавшей его (да он и сам так считал) староватым для роли мужа, он вознамерился — досадная идея — отхватить себе вторую молодость, поставив тем самым под удар мою карьеру. Ведь каждому — свое время. Как бы там ни было, при виде черных парусов... в общем, по прибытии в Афины я узнал, что он бросился в море.

Я думаю, что осуществил всеми признанные деяния: окончательно освободил землю от множества тиранов, разбойников и чудовищ; расчистил некоторые опасные пути, куда робкий духом и по сей день ступает с оглядкой;

очистил небо, чтобы человек не так низко склонял перед ним голову, меньше страшился напастей.

Приходится признать, что сельская местность представляла собой тогда весьма неутешительное зрелище. Между разбросанными там и сям поселками лежали большие пространства необработанной земли, пересекаемые небезопасными дорогами. Были здесь дремучие леса и глубокие ущелья. В местах самых мрачных скрывались разбойники, которые грабили и убивали путников или по меньшей мере требовали выкупа, и на них не было никакой управы. Разбой, грабеж, нападения свирепых хищников, происки тайных сил перемешивались между собой настолько; что трудно было распознать, жертвой чьей жестокости — божества или человека — ты стал и к какой породе — человеческой или божественной — принадлежат такие чудовища, как Сфинкс или Горгона, над которыми взяла верх Эдип и Беллерофонт. Все, что оставалось необъяснимым, считалось идущим от богов, и перед богами испытывался такой страх, что любой героизм воспринимался как святотатство. Первые и самые важные победы, которые предстояло одержать человеку, были победы над богами.

Будь то человек или Бог, истинной победы над ним можно добиться, лишь завладев его оружием и направив оное против него, как это сделал я с дубиной ужасного великана из Эпидавра Перифета.

А молния Зевса? Уверю вас, придет время, когда человек сможет завладеть и ею — как это сделал с огнем Прометей. Да, это и есть окончательные победы. А вот что касается женщин, моей силы и моей слабости одновременно, то тут всегда приходилось все начинать сначала. Едва я ускользал от одной, как попадал в силки какой-нибудь другой, и ни одной не завоевал, прежде чем не был завоеван сам. Прав был Пирифой, когда говорил (о, как я отлично с ним ладил!), что важно не позволить ни одной сделать себя малодушным, каким стал Геркулес в объятиях Омфалы. А поскольку я никогда не мог и не хотел лишать себя женщин, он при каждом моем любовном марафоне повторял мне: «Давай, давай, но смотри не попадись». Та, что однажды под предлогом уберечь меня захотела привязать к себе нитью, тонкой, правда, но не эластичной, она... однако еще не пришла пора говорить об этом.

Антиопа была ближе всех к тому, чтобы заполучить меня. У царицы амазонок, как и у ее подданных, была только одна грудь. Но это нисколько не портило ее. У нее,

натренированной в беге и борьбе, были сильные, крепкие мускулы — такие же, как у наших атлетов. Я с ней боролся. Она отбивалась от моих объятий, как барс. Безоружная, она пускала в ход ногти и зубы, расвирепев от того, что я хохотал (а я тоже был без оружия) и что она не может побороть в себе любви ко мне. У меня никогда не было никого целомудреннее ее. И мне потом было совершенно неважно, что сына моего, Ипполита, она вскормила одной грудью. Вот этого девственника, этого дикаря я и решил сделать своим наследником. Позже я расскажу о том, что стало несчастьем всей моей жизни. Ведь недостаточно просто быть на свете, потом исчезнуть, надо оставить после себя завет, надо сделать так, чтобы ты не кончался на самом себе, — это повторял мне еще мой дед Питфей. Он и Эгей были куда умнее меня, как был умнее меня и Пирифой. Но никто не отказывал мне в здравом смысле; все остальное приходит потом, вместе со стремлением делать добрые дела, которое никогда меня не покидало. Еще во мне живет некая отвага, толкающая меня на дерзкие поступки. Кроме того, я честолюбив: великие деяния моего родича Геркулеса, о которых мне сообщали, будоражили мое молодое воображение, и когда из Троилены, где я жил тогда, мне надо было возвратиться к своему мнимому отцу в Афины, я ни за что не хотел слушать совета, сколь бы мудрым он ни был, отправиться туда морем, поскольку такой путь безопаснее. Я это знал, но именно из-за опасности путь по суше, когда надо было сделать огромный крюк, привлекал меня больше — представлялся случай доказать по дороге, чего я стою. Разбойники всех мастей опять начали разорять страну и тешиться вволю, с тех пор как Геркулес стал нежиться у ног Омфалы. Мне было шестнадцать. Я еще не познал трудностей. Пришел мой черед. Сердце мое рвалось из груди от неописуемой радости. Какое мне дело до безопасности, воспылал я, и до проторенных дорог! Я презирал бесславный отдых, уют и лень. И как раз на этой дороге, ведущей в Афины через Пелопоннесский перешеек, я впервые подвергся испытанию, осознал силу своей руки и своего сердца, уничтожив несколько гнусных отъявленных разбойников: Синиса, Перифета, Прокруста, Гериона (нет, этого уничтожил Геркулес, я хотел сказать — Керкиона). И тут я даже допустил одну оплошность, а именно в отношении Скирона, пожалуй весьма достойного человека, очень доброжелательного и внимательного к прохожим; однако, поскольку мне сказали об этом слишком поздно,

я стал его убийцей, а посему все решили, что это наверняка был мерзавец.

Именно по пути в Афины, в зарослях спаржи, улыбнулась мне и моя первая любовная победа. Перигона была высокой и гибкой. Я убил ее отца, а взамен сделал ей красивого сильного ребенка — Меналиппу. Я потерял их обоих из виду, прошел мимо них, беспокоясь, как бы где-нибудь не задержаться. Ведь меня всегда мало занимало и удерживало то, чего я уже достиг, и сильно влекло только то, что еще предстояло сделать, мне всегда казалось, что самое главное — впереди.

Вот почему я не буду долго останавливаться на всех этих разнородных пустяках, в которых в итоге я если и скомпromетировал себя, то совсем мало. А вплотную подойду к замечательному приключению, какого не знал даже Геркулес. О нем я должен рассказать поподробнее.

III

Она очень непростая, эта история. Прежде всего следует напомнить, что Крит был могущественным островом. Правил на нем Минос. Он считал Аттику виновной в смерти своего сына Андрогей и в качестве мести требовал от нас дани: семь юношей и семь дев ежегодно приносились ему в жертву, чтобы, как говорили, утолить голод Минотавра — чудовища, рожденного женой Миноса Пасифаей от союза с быком. Жертвы определялись жребием.

Итак, в тот год я возвратился в Грецию. И хотя жребий меня пощадил (он всегда щадит царских детей), мне хотелось испытать судьбу, несмотря на то что этому воспротивился царь-отец... Я не признавал привилегий и хотел, чтобы меня выделяли среди прочих лишь по тому, чего стою сам. Потому-то я и вознамерился победить Минотавра и разом избавить Грецию от этой унижительной дани. Кроме того, мое любопытство возбуждал и сам Крит, откуда к нам в Аттику шел поток красивых, богатых, удивительных вещей. Итак, я отправился туда, присоединившись к остальным тринадцати, среди которых был мой друг Пирифой.

Мартовским утром высадились мы в Амнизоце, небольшом городке, служившем портом для близлежащего Кнососа — столицы острова, где правил Минос и где он воздвиг себе пышный дворец. Мы должны были прибыть накануне вечером, но нам помешала сильная буря. Когда

мы сошли на берег, нас окружили вооруженные охранники, они отобрали мечи у меня и у Пирифоя и, убедившись, что у нас при себе нет никакого другого оружия, повели представить царю, прибывшему со своей свитой из Кнососа нам навстречу. Возникло большое скопление народа, простолюдины толпились вокруг, желая получше нас разглядеть. Все мужчины были с обнаженным торсом. Лишь на Миносе, восседавшем под балдахином, было длинное платье, сделанное из цельного куска пурпурной ткани, величественными складками спадавшее с плеч до самых пят. На его широкой, как у Зевса, груди в три ряда висели ожерелья. Большинство критян носят такие же, только простые, тогда как ожерелья Миноса сделаны были из драгоценных камней и золотых пластин с чеканкой, изображающих лилии. Он сидел на троне, над которым скрестились две секиры, и вытянутой вперед правой рукой держал золотой скипетр высотой с него самого; в другой руке — цветок о трех лепестках, похожий на лилии из его ожерелий, кажется тоже из золота, только очень большой. Над его золотой короной развевался огромный султан из перьев павлина, страуса и зимородка. Он долго разглядывал нас, затем поздравил с прибытием на остров — с улыбкой, которая вполне могла сойти за ироническую, если учесть, что прибыли мы в качестве приговоренных. Рядом с ним стояли царица и две его дочери. Мне сразу показалось, что старшая выделила меня. Когда охранники собирались уже увести нас, я заметил, что она наклонилась к отцу, и услышал, как она, указав на меня пальцем, сказала ему по-гречески (очень тихо, но у меня тонкий слух): «Прошу тебя, этого не надо». Минос снова улыбнулся и распорядился, чтобы охранники увели только моих товарищей. Когда я остался перед ним один, он приступил ко мне с расспросами.

Хотя я дал себе слово действовать очень осторожно и постарался никак не выдать своего благородного происхождения, а особенно своих дерзких планов, мне вдруг показалось, что лучше играть в открытую — с того самого момента, когда я привлек внимание царской дочери, — и что я еще больше вызову ее сочувствие и благосклонность царя, если открыто объявлю им, что я — внук Питфея. Я даже дал им понять, что, если верить молве, существующей в Аттике, меня породил великий Посейдон. На это Минос важно заявил, что для прояснения дела намерен подвергнуть меня испытанию морской волной. Тут я достаточно твердо заявил, будто совершенно уверен, что вый-

ду победителем из любого испытания. Моя уверенность в себе тронула и расположила ко мне придворных дам и даже чуть ли не самого Миноса.

«Теперь,— сказал Минос,— ступайте следом за товарищами. Они уже заждались вас за столом. После трудной ночи вам, как говорят у нас, нужно взбодриться. Отдыхайте. Надеюсь, на исходе дня вы будете присутствовать на играх, устраиваемых в честь вашего прибытия. Затем, благородный Тесей, мы отвезем вас в Кноссос. Вы заночуете в одной из палат дворца и завтра примете участие в нашей вечерней трапезе — скромном ужине в семейном кругу, где вы сразу почувствуете себя как дома и где дамы будут рады послушать рассказы о ваших первых подвигах. А сейчас они пойдут готовиться к празднеству. Мы там встретимся с вами — вас и ваших товарищей разместят непосредственно под царской ложей, учитывая ваш титул, бросающий отблеск славы и на них, тем более что мне не хочется открыто выделять вас».

Празднество состоялось в огромном амфитеатре, обращенном к морю. Оно привлекло большое количество людей, как мужчин, так и женщин, прибывших из Кноссоса, Литтоса и даже из Гортыни, находящейся, как мне сказали, в двухстах стадиях ¹ отсюда, наконец, из прочих городов и селений, а также из сельской местности, видимо густонаселенной. Меня поражало абсолютно все, и я не могу передать, насколько критяне показались мне странными. Не всем им удалось найти себе место на ступенях амфитеатра, и они толпились и толкались в проходах и на лестничных маршах. Женщины, которых было так же много, как и мужчин, в большинстве своем обнажены до пояса, поскольку здесь редко кто носит корсаж, да и тот, согласно здешнему обычаю, довольно бесстыдному на мой взгляд, имеет огромный вырез, оставляя грудь совершенно открытой. Как те, так и другие до смешного затянуты в талии низкими лифами и поясами, что делает их очень похожими на песочные часы. Мужчины, все как один загорелые, носят на пальцах, запястьях и шее почти столько же колец, браслетов и ожерелий, что и женщины, которые все белокожи; за исключением царя, его брата Радаманта и его друга Дедала все мужчины безбороды. Сидя на выступавшем высоко над ареной возвышении, под которым нас разместили, придворные дамы являли собой великолепное

¹ Греческая мера длины, около 180 м.

зрелище из-за роскошных одежд и украшений. На каждой была юбка с воланами, которые смешно топорщились на бедрах, спадая пышными вышитыми оборками к ногам, обутым в белую кожу. Среди них в центре возвышения особым великолепием выделялась царица. Ее руки и весь перед до пояса были обнажены. На пышных грудях красовались жемчуга, финифть, драгоценные камни. Лицо обрамляли длинные черные локоны, кольца волос украшали лоб. У нее были сладострастные губы, вздернутый нос, большие бесцветные глаза и, что называется, коровий взгляд. Голову ее венчало нечто вроде золотой диадемы, сидящей не прямо на волосах, а на забавной шапочке из темной ткани, которая, выдаваясь вперед из-под диадемы, заканчивалась высоким острием, торчащим надо лбом, как рог. Корсаж, открывавший всю грудь, поднимался сзади, закрывая спину и завершаясь широким всеобразным воротом. Юбка ее, акkuratно разложенная кругом, позволяла любоваться тремя расположенными одна под другой каймами, где на кремовом фоне были вышиты пурпурные ирисы, затем шафраны, а в самом низу — фиалки с листьями. Поскольку я сидел ниже, то, когда оборачивался, прямо-таки натыкался на них носом, всякий раз приходя в восхищение и от подбора цветов, и от красоты рисунка, и от тонкости и совершенства работы.

Старшая дочь, Ариадна, сидевшая справа от матери и руководившая корридой, была одета не так нарядно, как царица, и в другие цвета. На ее юбке, как и на юбке ее сестры, было только две расшитые каймы: на верхней изображались собаки и лани, на нижней — собаки и куропатки. У гораздо более юной Федры, сидевшей слева от Пасифаи, рисунок верхней вышивки представлял собой бегущих за обручем детей, на нижней — детей помельче, играющих на корточках в шары. Федра веселилась как ребенок. Что до меня, то я едва следил за представлением, отвлекаемый новизной всего увиденного; тем не менее я не мог не восхититься гибкостью, сноровкой и ловкостью акробатов, с риском для жизни выступавших на арене, после того как место им уступили хористы, танцовщицы и борцы. Перед предстоящей встречей с Минотавром я многому научился, наблюдая за их обманными движениями и приемами, рассчитанными на то, чтобы измотать и сбить с толку животное.

IV

После того как Ариадна вручила последний приз последнему победителю, Минос объявил о конце представления и, окруженный придворными, велел подойти мне к нему отдельно.

«А теперь, благородный Тесей,— сказал он мне,— я хочу отвести вас в одно место на берегу моря, чтобы подвергнуть испытанию, которое покажет нам, действительно ли вы сын бога Посейдона, как вы утверждали».

И он повел меня на скалистый утес, о подножие которого с шумом разбивались волны.

«Сейчас,— сказал царь,— я брошу в воду свою корону, чем уже докажу свою веру в то, что вы достанете мне ее со дна моря».

Царица и обе ее дочери, пожелавшие наблюдать за испытанием, стояли тут же, и я, осмелев от их присутствия, тотчас возразил: «Что я, собака, чтобы приносить хозяину брошенный предмет, пусть даже корону? Дайте мне нырнуть безо всякой приманки. Оказавшись в море, я сам добуду что-нибудь, что все удостоверит и докажет».

Свою смелость я простер еще дальше. Поднялся довольно сильный бриз, и случилось так, что с плеч Ариадны сдуло длинный шарф. Порывом ветра его направило ко мне. Я схватил его, галантно улыбнувшись при этом, как будто мне его преподнесла она сама или какое-нибудь божество. Быстро освободившись от одежды, которая сковала бы мои движения, я опоясал этим шарфом бедра, просунув его концы между ног и завязав узлом. Я сделал вид, что поступаю так из стыдливости, чтобы ни в коем случае не обнажить перед дамами свое мужское достоинство, но, сделав это, я умудрился скрыть кожаный пояс, на котором висел кошель, оставив его на себе. В нем я держал не монеты, а несколько драгоценных камней, привезенных из Греции, ибо знал, что эти камни везде имеют цену. Итак, набрав в грудь воздуха, я нырнул.

Будучи хорошо натренированным, я нырнул очень глубоко и появился на поверхности лишь после того, как достал из кошеля агатовый оникс и два хризолита. Выбравшись на берег, я со всей подобающей учтивостью вручил оникс царице и по хризолиту каждой из дочерей, сделав вид, что добыл их на дне моря (хотя совершенно невозможно допустить, чтобы камни, столь редкие у нас на суше, запросто лежали в глубине вод и что у меня было время их выбрать),

притворившись, будто мне дал их сам Посейдон, чтобы я смог преподнести их дамам, а это больше, чем сам прыжок в воду, доказывало мое божественное происхождение и то, что бог мне покровительствует.

После чего Минос возвратил мне меч.

Немного погодя нас посадили в колесницы, чтобы отвезти в Кноссос.

V

Я так устал, что уже не мог удивляться ни просторному двору замка, ни монументальной лестнице с балюстрадой, ни извилистым коридорам, по которым проворные слуги-факелоносцы провели меня на второй этаж в отведенную мне опочивальню, ярко освещенную множеством ламп, которые они тут же потушили, оставив гореть только одну. Когда они ушли, я погрузился в глубокий сон на мягком душистом ложе и проспал до самого вечера второго дня, несмотря на то что мне удалось поспать во время долгого пути: ведь мы прибыли в Кноссос рано утром, проведя в дороге всю ночь.

Я отнюдь не космополит. При дворе Миноса я впервые почувствовал, что я эллин, и ощутил себя в чужой стране. Меня очень удивляли непонятные вещи, костюмы, обычаи, манера вести себя, мебель (у моего отца была небогатая обстановка), приборы и навык обращения с ними. Среди всеобщей утонченности я производил впечатление дикаря, и моя неловкость еще более усиливалась, оттого что вызывала улыбки. Я привык поедать снедь просто, отправляя ее в рот руками, а обращаться с этими легкими вилками из металла и отшлифованной кости, с этими ножами, которыми они пользуются, чтобы резать мясо, было для меня труднее, чем с самым тяжелым боевым оружием. Я ловил на себе удивленные взгляды и, вынужденный поддерживать беседу, становился все более и более неуклюжим. Боже! Как неуютно я чувствовал себя! Я всегда чего-то стоил только один, и вот я впервые оказался в обществе. И здесь речь шла не о борьбе и победе в ней с помощью силы, но о том, чтобы нравиться другим, а мне страшно не хватало опыта.

За ужином я сидел между обеими царскими дочерьми. Скромная семейная трапеза, безо всяких церемоний, сказали мне. И действительно, кроме Миноса и царицы, брата царя Радаманта, Ариадны, Федры и их юного брата Главка никто больше приглашен не был, если не считать грека —

наставника маленького наследника, выходца из Коринфа, которого мне даже не представили.

Меня попросили рассказать на своем языке (который все придворные очень хорошо понимали и на котором довольно бегло говорили, хотя и с легким акцентом) о своих, как они называли, подвигах, и мне радостно было видеть, как юные Федра и Главк покатываются со смеху, слушая, как Прокруст обходился с прохожими и как я заставил его в свою очередь испытать то же самое, отрубив ему все, что не помещалось в его ложе. Все кругом тактично избегали любого намека на обстоятельства, приведшие меня на Крит, подчеркнуто видя во мне лишь путешественника.

В продолжение всей трапезы Ариадна прижималась ко мне под столом коленом, но в моей груди уже пылал огонь, зажженный Федрой. Царица Пасифая, сидевшая напротив, тем временем прямо-таки пожирала меня глазами, а восседавший рядом с нею Минос рассеянно улыбался. Только Радамант с длинной светлой бородой казался несколько хмурым. Оба они покинули залу после четвертой перемены блюд, чтобы, как они сказали, пойти посоветоваться. Я только потом понял, что они имели в виду.

Еще не вполне оправившись от морской болезни, я много ел, еще больше пил различных вин и ликеров, подносимых мне в изобилии, так что вскоре уже не понимал, где нахожусь, ибо привык пить лишь воду и разбавленное вино. Почти совсем потеряв голову, я, пока еще мог встать, попросил позволения выйти из-за стола. Царица тотчас повела меня в небольшую туалетную комнату, примыкавшую к ее личным апартаментам. После того как меня основательно вырвало, я подсел к ней на диван в ее спальне, и тут она начала обрабатывать меня.

«Мой юный друг... вы позволите мне так называть вас? — сказала она. — Воспользуемся же скорее тем, что мы здесь одни. Я совсем не такая, как вы думаете, и отнюдь не питаю неприязни к вашей особе, к тому же столь очаровательной. — И, продолжая утверждать, что взывает лишь к моей душе, или я уж не знаю к чему-то там во мне, она то и дело прикасалась ладонями к моему лбу, а затем, просунув руки под мои кожаные одежды, стала ощупывать мои мышцы на груди, как будто хотела убедиться в реальности моего существования. — Я знаю, что привело вас сюда, и хочу предотвратить ошибку. Ваши намерения убийственны. Вы собираетесь сразиться с моим сыном. Не знаю, что вам наговорили о нем, и не хочу знать. О! Не останьтесь

глухи к мольбам моего сердца! Даже если тот, кто зовется Минотавром, в самом деле чудовище, каким вам его, конечно, расписали, это — мой сын».

При этих словах я не преминул ей заметить, что как раз чудовища и вызывают у меня особый интерес, но она, не слушая меня, продолжала: «Поймите меня, прошу вас: я обладаю мистическим темпераментом. У меня возникает любовь исключительно к божественному. Но все неудобство, видите ли, в том, что никогда не знаешь, где начинается и где кончается бог. Я очень часто навещала Леду, мою родственницу. Для нее бог воплотился в Лебеде. Кстати, Минос вполне понял мое желание дать ему наследника — Диоскура. Но как распознать, что может остаться от животного даже в семени богов? Если бы потом мне пришлось сожалеть о своей ошибке — о, я прекрасно понимаю, что, говоря так, снимаю ореол величия с этого события, — но уверяю вас, о Тесей, что это было божественно! Ибо знайте, что мой бык был необычным животным. Его прислал Посейдон. Его должны были отдать на заклятие, однако он был так красив, что Минос не решился принести его в жертву. И это позволило мне потом изобразить охватившее меня желание как месть бога. Вам, должно быть, известно, что мать моего мужа, Европа, была похищена быком. В его обличье скрывался Зевс. От их брака и родился Минос. Этим объясняется то, что быки всегда были в его семье в большом почете. И когда после рождения Минотавра я увидела, что царь нахмурил брови, мне достаточно было сказать ему: «А как же твоя мать?» Ему пришлось смириться с тем, что я ошиблась. Он — умница. Он верит, что Зевс назначит его судьей вместе с братом Радамантом. Он считает, что надо сначала, чтобы судить как следует, все понять, и думает, что станет хорошим судьей, лишь когда испытает все сам лично или через кого-то в своей семье. Это большое удобство для домочадцев. Его дети, я сама каждый на свой лад способствуем своими выходками успеху его карьеры. И Минотавр тоже, сам того не зная. Вот почему я прошу вас, Тесей, я просто умоляю вас постараться не делать ему зла, а еще лучше — подружиться с ним, чтобы устранить непонимание, разделяющее Крит и Грецию, к великому несчастью для обеих наших стран».

Говоря это, она становилась все настойчивей, так что я ощутил некоторое волнение, да еще винные пары ударили мне в голову, смешавшись с сильнейшим ароматом, источаемым ее выступающей из корсажа грудью.

«Обратимся к божественному,— продолжала она.— К этому всегда следует обращаться. Вы сами, Тесей, неужели вы не чувствуете, что в вас пребывает бог?..»

Что усугубило мои терзания, так это то, что старшая дочь Ариадна, красивая необыкновенно, хотя волновавшая меня меньше, чем младшая, так вот, Ариадна дала мне понять знаками и шепотом еще до того, как мне стало плохо, что, когда я приду в себя, она будет ждать меня на террасе.

VI

На какой террасе? И какого дворца? О, висячие сады под луной, пребывающие в истоме ожидания неизвестности! Стоял март — ласковым теплом уже подкрадывалась весна. Мое недомогание прошло, как только я снова оказался на свежем воздухе. Я — человек, не созданный для помещений, мне необходимо дышать полной грудью. Ариадна подбежала ко мне и без всяких церемоний пылко прижалась своими горячими губами к моим, да так страстно, что мы оба пошатнулись.

«Пойдем,— сказала она.— Мне нет дела до того, что нас увидят, но, чтобы поговорить без помех, нам лучше будет спрятаться под терпентинами».— И, заставив спуститься вниз по нескольким лестницам, она увлекла меня в самую гущу сада, где большие эти деревья закрывали луну, отнюдь не заслоняя ее бликов на поверхности моря. Она уже переделалась, сменив юбку на обручах и пластинчатый корсаж с вырезом на нечто вроде балахона, под которым хорошо вырисовывалось ее явно обнаженное тело.

«Воображаю, что тебе наговорила моя мать,— начала она.— Она — сумасшедшая, причем буйная сумасшедшая, ты не должен придавать значения ее словам. Прежде всего вот что: здесь ты подвергаешься большой опасности. Ты ведь собрался сражаться, я знаю, с моим почти что братом Минотавром. Для тебя важно то, что я скажу, слушай меня внимательно. Ты его победишь, в этом я уверена: тебе достаточно пред ним предстать, чтоб в этом сомневаться перестать (ты не находишь, что получилась недурная рифма? Или ты к этому равнодушен?). Однако из лабиринта, где живет чудовище, никто и никогда еще не выбирался, и ты не сможешь, если твоя возлюбленная, то есть я, то есть я ей сейчас стану, не придет тебе на помощь. Ты даже не

можешь себе представить, как сложно устроен этот лабиринт. Завтра я познакомлю тебя с Дедалом, он тебе подтвердит. Это он его построил: но даже он уже не может в нем ориентироваться. Он расскажет тебе, как его сын Икар, которому случилось там оказаться, смог выбраться оттуда лишь по воздуху, с помощью крыльев. Но я боюсь советовать тебе то же самое: это слишком рискованно. Что тебе надо сразу же усвоить, так это то, что твой единственный шанс — никогда не покидать меня. Отныне только это и должно быть между тобою и мною — и на всю жизнь. Лишь благодаря мне, лишь со мною и во мне ты сможешь обрести самого себя. У тебя есть право выбора. Но если ты меня бросишь, берегись. А для начала возьми меня». — При этих словах, отбросив передо мной всякую стыдливость, она кинулась ко мне на грудь и продержала меня в своих объятиях до утра.

Эти часы, надо признаться, показались мне нескончаемыми. Я никогда не любил заточения, хотя бы и в лоне наслаждений, и, едва новизна поблекнет, думаю лишь о том, как бы ускользнуть. И потом она все время повторяла: «Ты мне обещал». Хотя я вовсе ничего не обещал и больше всего стремлюсь оставаться свободным. Я могу быть в долгу только перед самим собой.

Хотя моя наблюдательность притупилась от вина, ее напускная сдержанность показалась мне столь быстро преодоленной, что я не смог поверить, будто был у нее первым. Это обстоятельство позволило мне впоследствии избавиться от Ариадны. Кроме того, ее преувеличенная сентиментальность быстро начала тяготить меня. Невыносимы были ее уверения в вечной любви и нежные прозвища, которыми она меня награждала. Я был то ее единственным сокровищем, то ее канареечкой, то ее собачкой, то ее соколиком, то ее золотком... А меня от уменьшительных слов коробит. И еще она была слишком помешана на литературе. «Сердечко мое, ирисы скоро увянут», — говорила она мне, тогда как они только-только начали распускаться. Я знаю, что все когда-то проходит, но меня занимает только настоящее. Еще она говорила: «Я не могу жить без тебя». Отчего я стал мечтать лишь о том, как бы мне прожить без нее.

«Что скажет обо всем этом твой царь-отец?» — спросил я ее. А она в ответ: «Минос, душа моя, все стерпит. Он придерживается мнения, что всего благоразумнее допустить то, чему нельзя помешать. Его не возмутило приключение моей матери с быком, он спокойно рассудил: «Мне ведь

трудно уследить за вами». Мама передала мне эти его слова после своего объяснения с ним. «Что сделано, то сделано, и этого уже ничем не поправить», — добавил он. В случае с нами он рассудит точно так же. Самое большее — он прогонит тебя со двора, но какое это имеет значение! Я последую за тобой, куда бы ты ни отправился».

«Это мы еще посмотрим», — подумал я.

После того как мы немного подкрепились, я попросил ее отвести меня к Дедалу, с которым, как я сказал ей, мне хотелось бы поговорить с глазу на глаз. Она оставила меня одного, только когда я поклялся Посейдоном сразу же после этого разговора встретиться с нею во дворце.

VII

Дедал, поднявшийся мне навстречу, принял меня в плохо освещенной зале, где я застал его, склоненным над покрытыми воском дощечками, развернутыми картами, среди большого количества непонятных мне инструментов. Он был очень высокого роста, не сутулился, несмотря на преклонный возраст; бороду носил длиннее, чем у Миноса, только у того она была еще черной, у Радаманта — светлой, бороду же Дедала посеребрила седина. Его огромный лоб прорезали глубокие продольные морщины. Кустистые брови почти скрывали глаза, когда он наклонял голову. Речь его была медлительной, голос глубоким, грудным. Было ясно, что, если он молчит, значит, размышляет.

Начал он с того, что поздравил меня с героическими подвигами, слухи о которых, как он сказал, дошли и до него, хотя он сторонится людской молвы. И еще он сказал, что я кажусь ему простоватым, что он не слишком высоко ставит воинские доблести и считает, что ценность человека — вовсе не в его мускулах.

«Когда-то я, проезжая мимо, навестил твоего предшественника Геркулеса. Он был глуп, и от него, кроме геройства, не было никакой пользы. Но что я оценил в нем, как ценю и в тебе, так это верность цели, отвагу и даже безрассудство, которое бросает вас вперед и помогает одержать победу над противником, одержав сначала победу над тем, что в каждом из нас есть от труса. Геркулес был прилежнее тебя, больше заботился о том, чтобы все сделать как следует, временами грустил, особенно после того, как подвиг был уже совершен. Что мне нравится в тебе, так это твоя жизнерадостность — этим ты отличаешься от Геркулеса. Хвалю тебя за то, что ты

совершенно не позволяешь увлечь себя мысли. Это удел других — тех, кто не действует сам, а готовит почву для действия.

Знаешь ли ты, что мы — родня? Что я тоже элин (но не говори об этом Миносу, он ничего не знает). Я очень жалел, что мне пришлось покинуть Аттику из-за распри с моим племянником Талосом — скульптором, как и я, моим соперником. Он снискал любовь народа, заявив, что сдерживает богов тем, что лепит их схваченными основанием, в иератической позе, то есть неспособными двигаться; я же, давая полную свободу их членам, приближал богов к людям. Олимп благодаря мне снова соседствовал с землей. Кроме того, я стремился уподобить человека богам с помощью науки.

В твоём возрасте я более всего хотел учиться. Я скоро убедился в том, что сила человеческая не может ничего либо может очень немного без орудий и что поговорка «снаряд значит больше, чем сила» справедлива. Ты, разумеется, не смог бы одолеть разбойников Пелопоннеса и Аттики без оружия, которое дал тебе твой отец. Вот я и подумал, что лучше всего смогу распорядиться собой, если буду доводить последнее до совершенства, и что я не смогу сделать это, прежде чем не познаю математику, механику и геометрию, по крайней мере так же хорошо, как знали их тогда в Египте, где из этого извлекали большую пользу; а затем, дабы перейти от их изучения к практике, я исследовал все особенности и свойства различных материалов — даже тех, которым на первый взгляд нельзя найти применения: в них открываешь порой необыкновенные свойства, о которых поначалу не подозреваешь, как это бывает и с людьми. Так росли и крепили мои знания.

Затем, чтобы узнать другие ремесла и промыслы, другие широты, другие растения, я стал путешествовать по дальним странам, посещать школы ученых-инородцев и не покидал их до тех пор, пока у них было чему меня учить. Однако куда бы я ни отправлялся и где бы я ни останавливался, я оставался греком. И именно потому, что я знаю и чувствую, что ты сын Греции, я принимаю в тебе участие, брат мой.

По возвращении на Крит я беседовал с Миносом о своих занятиях и путешествиях, затем поделился с ним одним планом, который давно лелеял, — построить и оборудовать возле его дворца, если только он пожелает и если предоставит мне средства, лабиринт наподобие того, которым я восхищался в Египте на берегу озера Мёрис, хотя и в не-

сколько ином стиле. Как раз в то время царица разрешилась чудовищем, и Минос оказался в затруднительном положении: он не знал, что делать с Минотавром, которого считал нужным изолировать и скрыть подальше от людских глаз. Он попросил меня придумать такое сооружение, а также вереницу не обнесенных оградой садов, которые, не являясь на деле местом заточения для чудовища, все же удерживали бы его там, так что убежать оттуда было бы невозможно.

На это я употребил все свои старания и знания.

Итак, решив, что нет такой крепости, которая устояла бы перед твердо замысленным побегом, что нет такого препятствия и рва, которые отвага и решимость не преодолели бы, я понял: удержать в лабиринте лучше всего тем, чтобы оттуда не столько не могли (задача для меня вполне ясная), сколько не хотели убежать. Таким образом, я собрал воедино все, что отвечало бы любым запросам. Запросы Минотавра не отличались ни числом, ни разнообразием; однако речь шла также обо всех и каждом, кто попадает в лабиринт. Тут было важно ослабить и даже совсем отключить силу воли. Чтобы добиться этого, я составил лекарственную смесь, которая подмешивалась в подаваемые там вина. Однако этого было мало: я придумал кое-что лучше. Я открыл для себя, что некоторые растения, если их бросить в огонь, при сгорании выделяют полунаркотический дым, что показалось мне как нельзя более подходящим. Это в точности отвечало тому, чего я добивался. Итак, я распорядился засыпать травы в тигли, огонь в которых поддерживался день и ночь. Тяжелые пары, поднимавшиеся от них, не только усыпляют волю — они вызывают опьянение, полное очарования и изобилующее приятными грезами, побуждают мозг к пустой деятельности, и он со сладострастием отдается миражам — деятельности, как я сказал, пустой, поскольку она приводит лишь к игре воображения, бесплотным видениям, без логики и определенности. Воздействие этих паров на тех, кто их вдыхает, неодинаково, и каждый, согласно тому бреду, который ему уготовил его мозг, плутает, если можно так выразиться, в своем собственном лабиринте. У моего сына Икара этот путаный бред был метафизическим. У меня он выразился в виде огромных сооружений, нагромождений дворцов с хитросплетениями коридоров, лестниц... и в нем, как и в умствованиях моего сына, все кончалось тупиком, непостижимым «дальше некуда». Однако самое удивительное то, что если эти ароматы

вдыхать какое-то время, то потом без них уже нельзя обойтись, что тело и дух входят во вкус этого коварного опьянения, вне которого действительность кажется настолько неприглядной, что возвращаться в нее нет никакого желания, что тоже, и даже более всего прочего, удерживает в лабиринте. Зная о твоем намерении войти в него, чтобы сразиться с Минотавром, предупреждаю тебя: одному тебе не выпутаться, надо, чтобы тебя провожала Ариадна. Но она должна остаться на пороге и ни за что не вдыхать эти пары. Важно, чтобы у нее осталось самообладание в то время, когда ты погрузишься в дурман. Однако, даже одурманившись, сумей остаться хозяином положения — в этом все дело. Твоей силы воли на это, возможно, не хватит (ибо я уже сказал — испарения ее ослабляют), и я придумал вот что: соединить тебя и Ариадну одной нитью, своего рода осязаемым воплощением чувства долга. Эта нить позволит тебе, вынудит тебя возвратиться к ней, когда ты не будешь владеть собой. Дай же твердое обещание не разрывать ее, какими бы сильными ни оказались очарование лабиринта, тяга к неизведанному, зов отваги. Возвратись к ней, и все уладится наилучшим образом. Эта нить явится твоей связью с прошлым. Вернись к нему. Вернись к самому себе. Ибо ничто не проистекает из ничего, и именно в твоём прошлом, в том, что ты есть сейчас, берет начало все, чем ты будешь.

Я не говорил бы с тобою так долго, если бы не принимал в тебе большого участия. Но прежде чем ты отправишься навстречу своей судьбе, я хочу, чтобы ты послушал моего сына. Выслушав его, ты будешь лучше отдавать себе отчет в том, какой опасности тебе предстоит избежать. Хотя благодаря мне он смог вырваться из чар лабиринта, его рассудок остался в досадной власти их колдовства».

Дедал направился к низенькой дверце и, приподняв закрывавший ее полог, громко позвал: «Икар, любимое дитя мое, приди излить нам свою тоску, вернее, продолжи свой монолог, не обращай внимания на меня и моего гостя. Веди себя так, будто нас здесь нет».

VIII

Я увидел молодого человека почти одного со мною возраста, который в полумраке показался мне необычайно красивым. Светлые волосы, а они были у него очень длинными, локонами спадали ему на плечи. Его взгляд, похоже, не задерживался на предметах. Обнаженный по пояс, он носил туго облегавшие его в талии железные доспехи. Набе-

дренная повязка, как мне показалось из темной ткани и кожи, повыше бедер была завязана смешным широким и пышным бантом. Взгляд мой привлекла обувь из белой кожи, которая вроде бы говорила о том, что он собрался прогуляться; однако в движении у него был только рассудок. Казалось, он нас не видит. Продолжая, несомненно, какую-то свою мысль, он говорил: «Кто же все-таки начало — мужчина или женщина? Всевышний — женского рода? Из чрева какой Великой матери вышли вы все, многочисленные формы? Из чрева, оплодотворенного каким производителем? Двойственность недопустима. В этом случае Бог есть дитя. Мой разум отказывается делить Бога. Если только я допущу такое деление, начнется борьба. Кто имеет несколько богов, тот имеет войну. Нет богов, есть единый Бог. Царствие Бога — это мир. Все соединяется и примиряется в Едином».

Он помолчал секунду, затем продолжил: «Чтобы общаться с Божеством, человек должен конкретизировать его и уменьшить. Бог есть лишь частица. Боги суть разделение. Бог — всеобщ, боги — локальны».

Снова помолчав, он, мучительно задыхаясь, с тревогой в голосе опять заговорил: «Но смысл всего этого, Боже правый, — столько трудов, столько усилий? Для чего? В чем смысл бытия? И смысл поисков смысла? К чему идти, как не к Богу? В какую сторону? Где остановиться? Когда можно будет сказать: да будет так, игра сделана. Как достичь Бога, исходя из человека? А если я исхожу из Бога, то как прийти к самому себе? Однако при том, что Бог вылепил меня, разве не создан Бог человеком? Именно на этом перекрестке дорог, в самом центре этого креста и желает удерживаться мой рассудок».

Пока он произносил это, на висках у него вздувались вены, по лбу струился пот. По крайней мере, мне так показалось, ибо видеть отчетливо в полумраке я не мог, но я слышал его тяжелое дыхание, как будто он делал огромное усилие.

Еще через секунду он продолжил:

«Я вовсе не знаю, где начинается Бог, и еще менее — где он кончается. Я лучше выражу свою мысль, если скажу, что он никогда не кончает начинаться. О! Как я сыт по горло всеми этими ИТАК, ПОТОМУ ЧТО, ПОСКОЛЬКУ!.. Этими рассуждениями и выводами. Из самого замечательного умозаключения я извлекаю лишь то, что сам же вложил туда вначале. И если я вкладываю туда Бога, я его и обнаруживаю. Я нахожу его там, если я его туда вложил.

Я прошел всеми тропами логики. Я устал блуждать в горизонтальной плоскости. Я ползаю, а хотел бы взлететь, покинув свою тень, свои выделения, сбросить груз прошлого! Меня притягивает к себе лазурь, о, поэзия! Я чувствую, что меня тянет вверх. Как бы ты ни возвышался, разум человеческий, я поднимаюсь туда. Мой отец, знаток механики, может помочь мне в этом. Я полечу один. У меня есть отвага. Я все беру на себя. Иного способа выбраться нет. Ясный ум, слишком долго находившийся в путях проблем, ты вот-вот устремись ввысь по непроторенной дороге. Я не знаю, что это за магнит, который притягивает меня, но знаю, что есть одна только конечная остановка — это Бог».

Тут он стал пятиться от нас назад к пологу и, приподняв, опустил его за собой.

«Бедное дитя,— сказал Дедал.— Поскольку он считал, что уже не сможет выбраться из лабиринта, не понимая, что лабиринт этот в нем самом, я по его просьбе сделал ему крылья, которые дали возможность ему улететь. Он думал, что ему не найти другого выхода, кроме как через небо, раз все земные пути перекрыты. Я знал за ним эту предрасположенность к мистике и не удивился его желанию. Желанию, так и не удовлетворенному, как ты мог понять из его речей. Вопреки моим наставлениям он захотел подняться слишком высоко и переоценил свои силы. Он упал в море. И погиб».

«Как же так? — воскликнул тут я.— Я только что видел его живым».

«Да,— продолжил он,— ты видел его, и он показался тебе живым. Но он мертв. И тут, Тесея, я опасаюсь, что разум твой, хотя и греческий, то есть восприимчивый и открытый для любой истины, не сможет уследить за мной, ибо и сам я, признаюсь тебе в этом, положил немало времени на то, чтобы понять и принять следующее: каждый из нас, чья душа, когда взвешает ее на высших весах и она будет признана, живет не только одною своею жизнью. Во времени, в чисто человеческом плане, каждый развивается, исполняет уготованное ему предназначение, затем умирает. Но этого времени не существует в ином плане — истинном, вечном, где фиксируется каждый выдающийся поступок, отличающийся наивысшей ценностью. Икар был еще до своего рождения и остается после смерти воплощением человеческого беспокойства, поиска, поэтического взлета, которые составляют существо всей его краткой жизни. Он сыграл свою игру как положено; но он не кончился на себе самом. Так всегда происходит с героями. Их поступок продолжает жить и, подхваченный поэзией, искусством, становится веч-

ным символом. Потому и охотник Орион на элисийских полях с асфоделями все так же преследует зверей, которых убил еще при жизни; а на небесах пребудет он вечно созвездием в виде пояса. Потому и Тантал остается навсегда страждущим, и Сизиф без конца катит к недостижимой вершине без конца скатывающийся обратно тяжелый камень забот, что одолевали его, когда он был коринфским царем. Ибо знай, что в аду нет иного наказания, кроме как постоянно снова начинать дело, не законченное при жизни.

Возьмем, к примеру, фауну — всякое животное может спокойно умереть, и при этом его вид, где у всех то же обличье и те же повадки, никак не пострадает, поскольку среди зверей нет индивидуальностей. Иначе у людей, где единственное, что принимается в расчет, — это индивидуальность. Потому-то Минос ведет сейчас в Кнососе такую жизнь, которая готовит его к карьере судьи в аду. Потому-то и Пасифая, и Ариадна так послушно подчиняются своей судьбе. Да и ты, о Тесей, хоть и кажешься, и сам считаешь себя таким беззаботным, не уйдешь, как не ушли Геркулес, Ясон и Персей, от рока, который всем управляет.

Знай, однако (ибо глаза мои познали искусство в настоящем угадывать будущее), знай, что тебе предстоит еще совершить большие дела, и совсем не такие, как прошлые твои подвиги, — дела, рядом с которыми эти подвиги в дальнейшем покажутся детскими забавами. Тебе предстоит создать Афины и учредить там господство разума.

Итак, не задерживайся ни в лабиринте, ни в объятиях Ариадны после этого страшного боя, из которого ты выйдешь победителем. Иди дальше. Почитай предательством лень. При такой великолепной судьбе сумей искать вдохновение только в смерти. Лишь тогда после физической смерти ты будешь жить вечно, возрождаемый снова и снова благодарностью людей. Иди дальше, шагай вперед, продолжай свой путь ты, отважно объединяющий города.

А теперь, Тесей, слушай и запоминай мои слова. Конечно, ты без труда одолеешь Минотавра, ибо, если за него взяться как следует, он не так страшен, как думают. Говорят, что он питается убоиной, но когда быки ели лишь траву на лугу? Войти в лабиринт легко. Зато нет ничего труднее, чем из него выйти. Каждый, кто оказывался там, начинал плутать. Так вот, чтобы вернуться назад, ибо ноги не оставляют там следов, тебе следует соединиться с Ариадной нитью, несколько клубков которой я для тебя приготовил; ты возьмешь их с собой, разматывая по мере продвижения

и привязывая конец нити, когда один клубок кончится, к концу следующего — так, чтобы она не прерывалась, а на обратном пути будешь сматывать нить обратно в клубок, пока не доберешься до того конца, который будет у Ариадны. Не знаю, почему я так упорно повторяю это, хотя все ясно как день. Если что здесь и трудно, так это сохранить до самого конца нити твердую решимость вернуться, решимость, которую пары и приносимое ими забвение да еще собственное твое любопытство будут заставлять ослабнуть. Я все сказал тебе, и мне больше нечего добавить. Вот клубки. Прощай».

Я покинул Дедала и поспешил встретиться с Ариадной.

IX

Из-за этих самых клубков и возникла наша с Ариадной первая ссора. Она захотела, чтобы данные мне Дедалом клубки я отдал ей, и заявила, что будет держать их у себя в переднике, намекая на то, что сматывать и разматывать клубки — дело женское, а в нем она большая мастерица, к тому же ей не хочется обременять меня этой заботой; на самом деле она намеревалась таким образом стать хозяйкой моей судьбы, а я ни под каким видом не соглашался на это. К тому же я подозревал, что она непременно будет придерживать нитку либо дергать за нее, а это будет мешать мне двигаться вперед по своему усмотрению. Держался я стойко, невзирая на ее слезы — последний аргумент женщин, — прекрасно зная, что им стоит только уступить мизинец, как они захватят всю руку, а потом и остальное.

Нитка эта была не из льна, не из шерсти. Дедал сам изготовил ее из какого-то неизвестного материала, разрубить который не смог даже мой меч, когда я, взяв кончик, испытал ее на прочность. Меч этот я оставил у Ариадны, решив, что я (после всего сказанного Дедалом о том превосходстве, которое дают человеку орудия, без которых я будто бы не могу одолеть чудовище), решив, повторяю, что буду сражаться с Минотавром только с помощью рук. Подойдя к входу в лабиринт — портику, украшенному скрещенными секирами, которые на Крите красуются повсюду, — я поклялся Ариадне, что ни за что не собьюсь с пути. Ей непременно захотелось, чтобы я сам привязал к ее запястью кончик нити — узлом, который она почитала брачным, потом она потянулась ко мне губами, крепко-накрепко прижав их к моим, что длилось, как мне показалось, бесконечно долго. Я замешкался с отправкой.

Тринадцать моих спутников, среди них Пирифой, и спутниц намного опередили меня — я нагнал их уже в первой зале, совершенно одурманенных ароматами; я забыл сказать, что вместе с нитью Дедал дал мне кусок ткани, пропитанный сильным противоядием, строго наказав мне перед входом приспособить его наподобие намордника. И здесь не обошлось без помощи Ариадны. Благодаря этому, правда дыша с трудом, я смог, погрузившись в эти опьяняющие пары, остаться с ясным рассудком и нерасслабленной волей. Однако я начал задыхаться, привыкнув, как уже говорил, чувствовать себя хорошо только на свежем воздухе; меня угнетала искусственная атмосфера этого места.

Разматывая нить, я проник в следующую залу, более темную, чем первая, затем в другую, еще более темную, затем еще в одну, где уже мог продвигаться только на ощупь. Рука моя, шаря по стене, наткнулась на ручку двери, и, когда я открыл ее, оттуда хлынул поток света. Я вышел в сад. Перед собой, на поляне с цветущими лютиками, адонисами, тюльпанами, жонкилями, нарциссами и гвоздиками я увидел привольно раскинувшегося Минотавра. К счастью, он спал. Мне бы следовало поспешить и воспользоваться его сном, но что-то остановило меня и удержало мою руку: чудовище было прекрасно. Как это бывает у кентавров, некая особая гармония слила в нем воедино человека и животное. Кроме того, он был молод, и молодость сообщала какую-то прелестную грацию его красоте — этому опасному для меня оружию, более сильному, чем сила, перед которым мне пришлось призвать на помощь все мужество, на какое я был способен. Ибо лучше всего сражаешься тогда, когда тебя укрепляет ненависть, а я не мог его ненавидеть. Я даже любовался им какое-то время. Но вот он открыл один глаз. Я увидел, что взгляд его туп, и понял, что должен действовать...

Что я сделал потом, как все произошло — точно вспомнить не могу. Ведь если мой намордник сидел очень плотно и не позволил парам в первой зале оглушить мой рассудок, они все же подействовали на мою память, и, хотя я одержал верх над Минотавром, я сохранил о своей победе лишь смутное воспоминание, сладострастное в конечном итоге. Довольно об этом, поскольку выдумывать я не берусь. Помню так же, как во сне, очарование этого сада, столь пьянящее, что, казалось, я не смогу от него оторваться; разделавшись

с Минотавром, я с большой неохотой возвратился, сматывая клубок, назад, в первую залу, дабы присоединиться к своим товарищам.

Они сидели за столом, уставленным яствами, поданными неведомо как и неведомо кем, ели до отвала, пили допьяна, тискали друг друга и дико хохотали, как сумасшедшие или идиоты. Когда я выказал намерение увести их оттуда, они воспротивились, заявив, что здесь им очень хорошо и уходить они вовсе не собираются. Я настаивал, говорил, что принесу им избавление. Избавление от чего? — вскричали они. И сразу вдруг ополчившись на меня, осыпали градом ругательств. Мне стало очень обидно, особенно за Пирифоя. Тот едва узнавал меня, отрицал все добродетели, насмехался над своим человеческим достоинством и цинично заявлял, что не согласится променять теперешнее благополучие ни на какую мировую славу. Я не мог, однако, сердиться на него, слишком хорошо понимая, что без предостережений Дедала я погиб бы точно так же, вторил бы ему, вторил бы им всем. И только подравшись с ними, только тумачами и пинками в зад я заставил их идти со мной, тем более что они были невменяемы настолько, что совсем не могли сопротивляться.

По выходе из лабиринта сколько усилий и времени им понадобилось, чтобы вернуть себе способность чувствовать и вновь обрести себя! И пошли они на это с большой неохотой. Им казалось, как они мне потом признались, что с вершины блаженства они спускаются в узкую и мрачную долину, возвращаясь в ту тюрьму, что кроется в тебе самом и откуда никогда больше не вырвешься. Тем не менее Пирифой скоро почувствовал страшный стыд за свое временное умопомрачение и обещал искупить его и перед самим собой, и передо мной чрезвычайным усердием. Немного погодя ему представился случай доказать мне свою преданность.

Х

Я ничего не скрывал от него: он знал о моих чувствах к Ариадне, раздражавшей меня. Не скрыл я от него и того, что очень увлечен Федрой, хотя она совсем еще дитя. В ту пору она часто приходила покачаться на привязанных к двум пальмовым стволам качелях, и, когда я видел, как она раскачивается на них и ветер треплет ее короткие юбочки, я обмирал. Но едва появлялась Ариадна, я отводил глаза и притворялся равнодушным, боясь вызвать ревность старшей сестры к младшей. Что ж, оставлять

желание неудовлетворенным вредно. Однако, чтобы привести в исполнение дерзкий план похищения, который уже начинал вырисовываться у меня в голове, надо было прибегнуть к хитрости. Вот тут-то, чтобы угодить мне, Пирифой и придумал одну уловку, проявив свою неистощимую изобретательность. Наше пребывание на острове тем временем продолжалось, хотя и Ариадна, и я думали только об отъезде; но чего Ариадна не знала, так это того, что я твердо решил уехать с Федрой. А Пирифой знал. И вот как он помог мне в этом.

Более свободный, чем я (я был пленником Ариадны), Пирифой имел достаточно времени, чтобы расспросить об обычаях на Крите, понаблюдать. «Можно считать,— сказал он мне однажды утром,— что дело сделано. Да будет тебе известно, что два этих премудрых законодателя, Минос и Радамант, узаконили все нравы острова, и в частности мужеложство, к которому, как тебе известно, критяне весьма склонны, о чем свидетельствует их культура. Узаконили в такой степени, что, если подросток до своего возмужания не побывал избранником какого-либо старшего товарища, он стыдится этого и подобное пренебрежение считает для себя бесчестьем, ибо в этом случае, если он недурен, все кругом будут думать, что тому причиной какой-то порок его ума или сердца. Юный Главк, младший сын Миноса, похожий на Федру как две капли воды, поделился со мной своими заботами по этому поводу. Он страдает от своей ненужности. Напрасно я повторял ему, что его положение наследника, несомненно, отпугивает от него любовников, он отвечал мне, что может быть и так, но только ему от этого не легче, и что все должны бы знать, что Миноса это тоже удручает; что Минос обычно не придает значения сословиям, чинам и должностям. Тем не менее он, конечно же, был бы польщен, если бы такой знатный человек, как ты, пожелал заинтересоваться его сыном. Я подумал, что и Ариадна, которая так открыто проявляет свою ревность к сестре, наверняка не будет ревновать к брату, ибо еще не было случая, чтобы женщина принимала в расчет любовь мужчины к мальчику; во всяком случае, она посчитает неприличным сделать хоть малейший намек на это. Тут ты бы мог действовать без опаски».

«Ха! Не думаешь ли ты,— воскликнул я,— что меня могут остановить какие-то опасения? Однако, хотя я и грек, я не питаю никакой склонности к особам своего пола, какими бы юными и прелестными они ни были, чем и отличаюсь от Геркулеса, которому охотно уступил бы его

Гиласа. Ну и что же, что твой Главк похож на мою Федру, я хочу ее, а не его».

«Ты меня не понял,— перебил он.— Я не предлагаю тебе увезти вместо нее Главка, а предлагаю лишь сделать вид, что ты увозишь его, обмануть Ариадну и заставить думать ее и остальных, что Федра, которую ты возьмешь с собой,— это Главк. Слушай меня внимательно: один из обычаев острова, узаконенный самим Миносом, таков, что любовник берет ребенка, которого возжелал, и уводит его пожить к себе домой ровно на два месяца, по истечении которых ребенок всенародно сообщает, нравится ли ему любовник и хорошо ли он обращается с ним. Взять мнимого Главка к себе домой для тебя значит привести его на корабль, на котором мы прибыли сюда из Греции. Как только мы окажемся там вместе с переселенной Федрой, ну и с Ариадной тоже, раз она намерена сопровождать тебя, будет поднят якорь, и мы на всех парусах выйдем в открытое море. На Крите много кораблей, но они менее быстроходны, чем наши, и, если за нами начнется погоня, мы легко сможем уйти от нее. Поговори об этом своем намерении с Миносом. Будь уверен, он обрадуется, если узнает, что речь идет о Главке, а не о Федре, ибо о лучшем наставнике и любовнике для Главка, чем ты, он не может и мечтать. Только скажи мне, будет ли согласна Федра?»

«Я еще ничего не знаю. Ариадна строго следит за тем, чтобы я не оставался с ней наедине, так что мне ничего не удалось у нее выведать... Однако не сомневаюсь, что она с готовностью последует за мной, как только поймет, что я предпочел ее старшей сестре».

В первую очередь надлежало подготовить Ариадну. И я открылся ей, но не до конца, согласно нашему хитроумному замыслу.

«Какой замечательный план! — воскликнула она.— Как я буду рада путешествовать со своим братиком! Ты не сомневайся, он может быть очень милым. Я с ним отлично лажу и, несмотря на нашу разницу в возрасте, остаюсь его любимым товарищем в играх. Ничто так не разовьет его ум, как пребывание на чужой стороне. В Афинах он сможет улучшить свой греческий, на котором говорит уже сносно, но с ужасным акцентом — теперь он быстро избавится от него. Ты будешь для него прекрасным примером. Уж он постарается походить на тебя во всем».

Я не перебивал ее. Несчастливая и не подозревала о той судьбе, что ее ожидала.

Нам следовало также предупредить обо всем Главка,

чтобы избежать любой помехи. Это Пирифой взял на себя. Ребенок, доложил он мне потом, поначалу не мог скрыть своей досады. Пришлось воззвать к его лучшим чувствам, дабы уговорить участвовать в нашей игре, точнее говоря — выйти из нее ради того, чтобы уступить место сестре. Надо было предупредить также Федру. Она ведь могла закричать при попытке увести ее насильно и внезапно. Однако Пирифой очень ловко сыграл на желании, в котором ни тот, ни другая не могли отказать себе: Главк — одурачить родителей, а Федра — старшую сестру.

Таким образом, Федра нарядилась в одежды, которые обычно носил Главк. Они были совершенно одинакового роста, и, когда Федра убрала волосы и спрятала низ лица, даже быть того не могло, чтобы Ариадна не обманулась.

Обмануть Миноса, оказавшего мне такое большое доверие, мне было, разумеется, нелегко. Он сказал, что ожидает от меня как старшего наставника благотворного влияния на своего сына. И потом я был его гостем. Я явно злоупотребил его доверием. Но у меня не бывало, у меня никогда не бывает так, чтобы меня могли остановить угрызения совести. Голос моего желания всегда заглушал голос благодарности. Будь что будет. Надо — значит надо.

Ариадна поднялась на корабль раньше нас, поглощенная заботами о том, как бы устроиться поуютнее. Мы ждали только Федру, чтобы дать тягу. Ее похищение состоялось не как только стемнело, по нашему первоначальному плану, а уже после семейного ужина, на котором она решила еще показаться. Объяснила она это тем, что имеет обыкновение сразу после ужина уходить к себе: так что ее, сказала она, могут хватиться не ранее утра следующего дня. Все прошло как по маслу. Так мне удалось несколько дней спустя сойти на берег в Аттике вместе с Федрой, высадив перед тем ее прекрасную, но навязчивую сестру Ариадну на острове Наксос.

По прибытии в родные края я узнал, что отец мой Эгей, как только заметил вдали черные паруса — те самые паруса, что я забыл сменить, — бросился в море. Я уже в нескольких словах коснулся этого: мне не хочется к этому возвращаться. Добавлю только, что накануне ночью мне приснился сон, в котором я увидел себя царем Аттики... Как бы то ни было, что бы там ни случилось, для народа и для меня это был и день торжества по случаю нашего благополучного возвращения и моего восшествия на престол, и день траура по случаю смерти моего отца. По этой причине я тотчас

распорядился устроить хороводы с пением и танцами, причем плачи должны были перемежаться с песнями радости; я и мои неожиданно-негаданно спасшиеся товарищи — мы сочли необходимым принять участие в танцевальной части. Весьма неплохо позволить народу предаваться сразу двум таким противоположным чувствам, как ликование и скорбь.

XI

Иные осуждали меня впоследствии за то, как я поступил с Ариадной. Они утверждали, что я вел себя подло, что я не должен был бросать ее, по крайней мере, на этом острове. Пусть так, но я хотел, чтобы нас разделяло море. Она выслеживала меня, преследовала меня, гонялась за мной. Когда она раскрыла мою хитрость, обнаружив переодетую Главком сестру, она устроила мне страшный скандал, испуская дикие вопли, обзывая меня подлым предателем, а когда я, выйдя из себя, объявил ей, что намерен взять ее не дальше первого же острова, где позволит или где заставит нас сделать остановку внезапно поднявшийся ветер, она пригрозила, что обязательно напишет большую поэму о моем бесчестном поступке. На что я тут же ответил, что это лучшее, что она могла бы сделать, что поэма, как я уже вижу, обещает стать прекрасной, судя по яростным и драматическим интонациям, и что, более того, она найдет в ней утешение своему горю. Но все, что я говорил, только сильнее распаяло ее. Таковы все женщины, когда пытаешься заставить их прислушаться к голосу разума. Что касается меня, то я всегда руководствуюсь своим инстинктом, простота которого, как я считаю, делает его надежнее.

Таким островом стал Наксос. Говорят, что некоторое время спустя после того, как мы оставили там Ариадну, к ней явился бог Дионис и взял ее в жены, таким образом, она, как говорится, нашла утешение в вине. Рассказывают также, что в день свадьбы Дионис преподнес ей корону, изготовленную Гефестом, которая теперь красуется среди созвездий; что Зевс взял ее на Олимп, даровав ей бессмертие. Ее даже приняли, как рассказывают, за Афродиту. Я не возражал против этого и, чтобы пресечь всяческие обвинения и кривотолки, сам обожествил ее, введя культовый обряд в ее честь, где прежде всего взял на себя труд исполнить танец. И да будет мне позволено заметить, что, если бы я тогда ее не бросил, всего того, что так удачно для нее сложилось, могло бы и не быть.

Некоторые вымышленные факты питали легенду обо мне: похищение Елены, путешествие в Ад с Пирифоем, изнасилование Прозерпины. Я старался не опровергать этих слухов, благодаря которым рос мой авторитет; порой я даже кое-что добавлял в эти рассказы, чтобы укрепить народ в верованиях, над которыми в Аттике имеют слишком большую склонность потешаться. Ибо хорошо, когда простонародье раскрепощается, только это не должно выражаться в непочтительности.

Истина же была такова, что с момента возвращения в Афины я оставался верен одной Федре. Я посвятил себя этой женщине и этому городу целиком без остатка. Я был супругом, сыном покойного царя; я был царем. Время приключений прошло, говорил я себе, речь теперь идет не о том, чтобы воевать, но о том, чтобы править.

А дело это было нешуточное, поскольку Афин в ту пору, по правде сказать, не существовало. В Аттике была лишь кучка мелких селений, борющихся за гегемонию,— откуда нападения, ссоры, бесконечная вражда. Важно было объединить и централизовать власть, чего мне удалось добиться не без труда. Для этого я пустил в ход силу и хитрость.

Эгей, мой отец, думал обеспечить себе власть, потакая раздорам. Считая, что благополучие граждан подорвано распрями, я увидел источник почти всех зол в разновеликости состояний и в желании каждого умножить свое личное богатство. Сам мало заботясь об обогащении и занимаясь общественным благосостоянием столько же, если не более, сколько и собственным, я подавал пример простой жизни. Разделив земли поровну, я разом устранил порождаемые ими превосходство и соперничество. Это была суровая мера, которая, конечно же, удовлетворила неимущих, то есть большинство, и встретила сопротивление богачей, которых я лишил владений. Их было мало, но это были ловкие люди. Я собрал самых значительных из них и сказал:

«Я ценю исключительно личные качества и не признаю иных достоинств. Вы сумели разбогатеть благодаря своему умению, знаниям, упорству, но чаще всего — благодаря несправедливости и злоупотреблениям. Соперничество между вами подрывает безопасность государства, которое я хочу видеть могущественным, защищенным от ваших интриг. Только в этом случае оно сможет противостоять вторжениям иноземцев и процветать. Проклятая жажда денег, что одолевает вас, не приносит вам счастья, ибо на самом деле она неутолима. Чем больше приобретаешь, тем больше

хочешь приобрести. Итак, я собираюсь урезать ваши состояния и буду действовать силой (а она у меня есть), если вы не согласитесь на это добровольно. Я намерен оставить за собой лишь охрану законов и руководство армией. До остального мне нет дела. Я желаю жить, будучи царем, так же просто, как жил до сего дня,— на равных правах с простыми смертными. Я смогу заставить уважать законы, заставить уважать, если не бояться, себя и заявляю, что скоро кругом заговорят: Аттикой управляет не тиран, а народное правительство, ибо каждый гражданин этого государства будет иметь равные права в Совете и его происхождение никак не будет приниматься в расчет. Если вы не пойдете на это по доброй воле, я сумею, говорю вам, принудить вас.

Я разрушу и обращу в ничто ваше местное правосудие, ваши залы заседаний региональных советов и соберу под Акрополем то, что уже начинает обретать имя Афин. И имя это — Афины — будут почитать грядущие поколения, даю обет богам, что покровительствуют мне. Я доверяю мой город покровительству Паллады. А теперь ступайте и помните, что я вам сказал».

Затем, подкрепляя слова делом, я сразу сложил с себя царскую власть, вернулся в разряд простых людей, не боясь появляться без охраны на виду у всех, как обыкновенный гражданин; однако общественной деятельностью я занимался неустанно, обеспечивая всеобщее согласие, бдительно следя за порядком в государстве.

Пирифой, когда выслушал мою речь перед сильными мира сего, сказал, что находит ее прекрасной, но абсурдной. «Ибо,— обосновал он,— равенство среди людей неестественно и даже, более того, нежелательно. Хорошо, когда лучшие люди властвуют над массой простонародья с высоты своей добродетели. Без соревнования, соперничества, зависти эта масса становится аморфной, застойной и разлагается. Нужна опара, которая бы подымала ее; смотри, как бы все это не обернулось против тебя. Хочешь ты того или нет, но, несмотря на это изначальное равенство, которого ты возжелал и с которым отправишь всех в путь, дав им равные шансы и поставив их на одну доску, очень скоро из-за различий в способностях, различий жизненных обстоятельств все образуется снова, а именно страдалец плебс и аристократия».

«Тьфу ты! — вскричал я.— Я прекрасно отдаю себе в этом отчет и рассчитываю на это в самое ближайшее время. Но прежде всего я не вижу, почему этот плебс будет

страдальцем, если эта новая аристократия, возникновению которой я буду способствовать всеми силами, будет, как я хочу, не аристократией денег, а аристократией духа».

Далее, чтобы придать значимости и мощи Афинам, я дал знать, что здесь будут принимать всех, кто хочет тут обосноваться, откуда бы они ни явились; и во все окрестные места двинулись глашатаи с кличем: «Люди, все спешите сюда!»

Слух об этом разнесся далеко. Разве не это заставило свергнутого царя Эдипа, великого и жалкого человека, прийти из Фив в Аттику искать помощи и защиты, а потом и умереть здесь? Это позволило мне заручиться для Афин благословением богов, снизошедшим на его прах. Но к этому я еще вернусь.

Вновь прибывшим, кто бы они ни были, я пообещал те же права, что у коренных жителей и у поселившихся здесь раньше граждан, отложив установление различий между ними на потом, когда они проявят себя. Ибо, только испытав в деле, узнают, хорош ли инструмент. Я желал судить о людях лишь по оказанным ими услугам.

Так что если потом мне и пришлось все же допустить различия между афинянами, а отсюда и иерархию, то установление последней я позволил лишь ради обеспечения четкой работы всего механизма. Таким образом, благодаря моим стараниям афиняне, одни среди всех греков, заслужили прекрасное звание Народ, и дано оно было только им. В этом — моя слава, полностью затмившая славу прежних моих подвигов; слава, какой не могли похвастаться ни Геркулес, ни Ясон, ни Беллерофонт, ни Персей.

Пирифой, товарищ моих ранних забав, здесь, увы, не последовал за мной. Названные мною герои, а также другие — такие, как Мелеагр и Пелей, — не сумели в своей карьере пойти дальше своих первых подвигов, порой даже единственного подвига. Что касается меня, то я не желал останавливаться на достигнутом. Сначала время побеждать, очищать землю от чудовищ, потом время возделывать землю, столь счастливо преобразованную, и собирать с нее урожай; сначала время освободить людей от страха, потом время заняться их свободой, сделать прибыльным и процветающим их достояние. И этого невозможно было достичь без дисциплины: я и мысли не допускаю, чтобы человек был предоставлен самому себе, подобно беотийцам, чтобы он кончил тривиальным благополучием. Я считал, что человек не свободен, что он никогда и не будет свободным и что он не так уж хорош сам по себе. Но я не мог двигать его вперед без его согласия, не дав ему, по крайней мере своему

народу, иллюзии свободы. Я желал воспитать его, не допуская при этом того, чтобы он смирился со своей судьбой и согласился ждать, склонив голову. Человечество, постоянно думал я, может больше и достойно лучшего. Я вспоминал урок Дедала, который дерзнул возвысить человека над прахом богов. Сила моя была в том, что я верил в прогресс.

Пирифой теперь перестал следовать за мной. Во времена моей молодости он сопровождал меня всюду, во многом мне помогая. Однако я понял, что прежнее постоянство нашей дружбы уже обременительно и тянет нас назад. Он — пройденный этап, дальше которого можно идти лишь одному. Поскольку Пирифой обладал здравым смыслом, я еще слушал его, но не более того. Он, когда-то такой приткий, постарел, а постарев сам, дал успокоиться в умеренности и своему уму. Его советы теперь сводились к воздержанности и ограничениям.

«Человек не заслуживает того, — говорил он мне, — чтобы им столько занимались». «Как! Чем же еще заниматься, как не человеком», — возражал я. Он не сказал своего последнего слова.

«Угомонись! — говорил он мне в другой раз. — Разве не достаточно того, что ты сделал? Процветание Афинам уже обеспечено, а посему ты можешь спокойно отдыхать в лучах добытой славы, в лоне семейного счастья».

Он побуждал меня больше заботиться о Федре, и в этом, пожалуй, был прав. Ибо здесь я должен рассказать, как был нарушен мир и спокойствие моего очага и какой ужасной ценой мне пришлось расплатиться с богами за свои успехи и самонадеянность.

ХП

К Федре я питал безграничное доверие. Я видел, как из месяца в месяц росла ее привязанность ко мне. Она была сама добродетель. Оградив ее совсем юной от пагубного влияния семьи, я и не предполагал, что ее закваску она унесет с собой. Конечно же, она была плоть от плоти своей матери, и, когда потом она попыталась оправдаться, говоря, что все это было предопределено и она ни в чем не виновата, пришлось признать, что тут была доля истины. Но это было еще не все: мне кажется, она была слишком непочтительна с Афродитой. Боги мстят жестоко, и напрасно старалась она потом умилостивить богиню обильными приношениями и мольбами. Ведь Федре все же почитала богов.

В ее семье все почитали. Досадно только, конечно, что поклонялись они разным богам: Пасифая — Зевсу, Ариадна — Дионису. Что касается меня, то я почитал Афину Палладу и еще Посейдона, с которым был связан тайным обетом, и он на мою беду стал отвечать тем, что мои мольбы бывали услышаны. А мой сын — тот, которого я родил от амазонки и которого лелеял больше всех, — обожал Артемиду-охотницу. Как и она, он был целомудрен, хотя я в его возрасте был распутник. Он носился нагим по лесным чащам, при луне, избегая двора, собраний, особенно женского общества, и чувствовал себя хорошо лишь среди гончих псов, преследуя с ними дикого зверя в горах, добираясь до самых вершин, либо в извилах долин. Еще он любил укрощать норовистых лошадей, увлекая их на песчаный берег, кидаясь вместе с ними в море. Как я любил его таким — красивым, гордым, непослушным! Не мне, конечно, меня-то он почитал, и не законам, а условностям, которые лишают веса слово мужчины и ущемляют его достоинство. Я видел в нем своего наследника. Я мог спокойно почитать, передав бразды правления государству в его чистые руки, ибо знал, что он не поддастся ни угрозам, ни лести.

То, что Федра им увлеклась, я заметил слишком поздно. Я должен был догадаться об этом, ибо внешне он был очень похож на меня, я хочу сказать — на меня того, каким я был в его возрасте. Итак, я уже старел, а Федра оставалась необычайно молодой. Она, возможно, еще любила меня, но так, как любят отца. Нехорошо, когда у супругов, а я познал это на своем опыте, такая большая разница в возрасте. И поэтому я не могу простить Федре отнюдь не ее страсть, в общем-то совершенно естественную, хотя и наполовину кровосмесительную, а то, что она, осознав невозможность утолить ее, оклеветала моего Ипполита, приписала ему то нечистое пламя, что бушевало в ней самой. Чтобы я еще хоть раз поверил словам женщины! Я призвал месть богов на моего невинного сына. И просьба моя была услышана. Люди не знают, когда обращаются к богам, что те внемлют их просьбе чаще всего на их собственное несчастье. Внезапной безрассудной, жестокой волею судьбы я оказался убийцей своего сына. И был неутешен в горе. То, что Федра, увидев свое злодеяние, тотчас сама учинила суд и расправу над собой, — это хорошо. Однако теперь, когда я лишился прежней дружбы Пирифоя, я чувствую себя страшно одиноким. И я стар.

Эдип, когда я принял его в Колоне, изгнанного из родных своих Фив, незрячего, обездоленного, хоть и был

отверженным, все же имел подле себя обеих своих дочерей, заботливая нежность которых приносила облегчение его страданиям. Он потерпел крах в своем деле во всех смыслах. Я же преуспел. Даже вечное благословение, которое должно было перейти от его останков на ту местность, где они упокоятся, снизошло не на неблагодарные Фивы, а на Афины.

Меня удивляет, что о том, как в Колоне встретились наши судьбы, как там столкнулись и переплелись наши жизненные пути, сказано так мало. А я считаю это венцом своей славы. До тех пор я всех заставлял склоняться перед собой и видел, как все склоняются передо мной (разве что кроме Дедала, но он был намного старше меня. Впрочем, даже Дедал мне подчинялся). Одного лишь Эдипа я признавал равным мне в благородстве; несчастья этого поверженно-го лишь возвеличили его в моих глазах. Я, конечно, всегда и везде побеждал, но подле Эдипа все эти победы предстали передо мной в чисто человеческом, а потому низшем плане. Он вступил в противоборство со Сфинксом — распрямил Человека перед его загадкой, осмелившись противопоставить его богам. Как же тогда, почему принял он свое поражение? Разве он не способствовал ему, выколов себе глаза? Было в этом страшном покушении на себя нечто такое, чего я был не в силах понять. Я высказал ему свое недоумение. Однако надо признаться, объяснение его меня совсем не удовлетворило, или я его неправильно понял.

«Да, я поддался,— сказал он мне,— приступу ярости, которую мог обратить лишь против себя: на кого же еще я мог излить ее? При виде бездны ужасного обвинения, которая разверзлась передо мной, у меня возникла неодолимая потребность протеста. К тому же мне хотелось пронзить не столько мои глаза, сколько этот занавес, эти декорации, в которых я метался, эту ложь, в которую я перестал верить,— чтобы прийти к реальности.

Но нет! Ни о чем я тогда не думал: я действовал инстинктивно. Я выколол себе глаза, чтобы покарать их за то, что они не смогли разглядеть очевидности, которая должна была, что называется, колоть мне глаза. Но по правде говоря... Ах, я не знаю, как тебе это объяснить... Никто не понял крика, вырвавшегося у меня тогда: «О тьма, ты — свет мой!» И я отлично вижу, что и ты тоже не понимаешь. В нем все услышали жалобу, а это было утверждение. Этот крик означал, что тьма вдруг озарилась для меня сверхъестественным светом, освещающим царство души. Вот что он означал, этот крик: „Тьма, отныне ты

будешь для меня светом. И если лазурный небосвод для меня погрузился во тьму, то в тот же миг вспыхнули звездами небеса внутри меня“».

Он умолк и несколько мгновений был погружен в глубокое раздумье, потом заговорил снова:

«Во времена моей молодости мне пришлось прослыть ясновидцем. Я и был им, на мой взгляд. Разве не я первый, единственный, сумел отгадать загадку Сфинкса? Но лишь с той минуты, как глаза моей плоти от моей же руки лишились внешнего зрения, я начал, как мне кажется, видеть по-настоящему. Да, в то время как внешний мир навсегда скрылся от глаз моей плоти, во мне открылось нечто вроде нового взгляда на бесконечные перспективы внутреннего мира, которыми внешний мир, только и существовавший для меня доселе, заставлял меня до той поры пренебрегать. А этот неосознаемый мир (я хочу сказать — не воспринимаемый нашими органами чувств) существует, теперь я знаю это, и именно он — истинный. Все остальное — лишь иллюзия, которая нас обманывает и мешает нашему созерцанию Божественного. «Надо перестать видеть мир, чтобы увидеть Бога», — сказал мне однажды слепой мудрец Тиресий; тогда я его не понял — точно так же, как ты, Тесей, вижу, не понимаешь сейчас меня».

«Не стану отрицать, — сказал я ему, — значения того вневременного мира, который ты открыл благодаря своей слепоте; но я отказываюсь понимать, почему все-таки ты противопоставляешь его внешнему миру, в котором мы живем и действуем».

«А потому, — ответил он мне, — что, проникнув этим внутренним оком в то, что мне никогда еще не открывалось, я внезапно впервые осознал: я воздвиг свою человеческую державную власть на преступлении, и все, что произошло потом, было, следовательно, осквернено — не только мои поступки, но и поступки обоих моих сыновей, которым я оставил корону, ибо сразу же отрекся от этой сомнительной царской власти, доставшейся мне благодаря преступлению. Тебе довелось слышать, в каких новых злодеяниях погрязли мои сыновья и какой рок бесчестья тяготеет надо всем, что только может породить греховное человечество, чему ярким примером являются мои несчастные дети. Ибо сыновья мои — плод кровосмешения, и они, конечно, отмечены особым клеймом; однако я думаю, что неким перво-родным пороком отмечено и все человечество, так что даже лучшие из людей — порочны, обречены на зло, на гибель, и что человек не сможет выпутаться из всего этого без

божественной помощи, благодаря которой он очистится от этой первичной скверны и ему будет даровано прощение».

Он опять помолчал несколько мгновений, как бы желая углубиться в эту мысль, потом заговорил:

«Ты удивляешься, что я выколол себе глаза, я и сам этому удивляюсь. Но в этом поступке, неосмотрительном, жестоком, было, быть может, еще и другое: неведомо какая тайная нужда испытать до конца свою судьбу, еще сильнее обострить свою боль и исполнить некое героическое предназначение. Быть может, я смутно предчувствовал, сколь величественным и искупительным является страдание, потому и не смог отказаться стать его героем. Я считаю, что именно в страдании проявляется величие героя и для него нет доблести выше, чем пасть его жертвой, снискав этим признание небес и обезоружив мстительных богов. Как бы то ни было и сколь плачевны ни были мои заблуждения, состояние наивысшего блаженства, которого мне удалось достичь, в полной мере восполняет сегодня все те беды, которые мне пришлось выстрадать и без которых я бы к этому никогда не пришел».

«Дорогой Эдип,— сказал я ему, когда понял, что он кончил говорить,— я могу лишь воздать тебе хвалу за ту сверхчеловеческую мудрость, какую ты проповедуешь. Однако моя мысль не может следовать за твоей по этому пути. Я остаюсь детищем земли и считаю, что человек, каков бы он ни был, пусть порочный, каким ты его считаешь, должен ходить той картой, какую имеет. Тебе, конечно же, удалось хорошо распорядиться своим несчастьем и благодаря ему тесно соприкоснуться с тем, что ты называешь Божественным. Более того, я убеждаюсь воочию, что на твою особу снизошло благословение и оно распространится, согласно предсказанию оракулов, на ту землю, в которой ты успокоишься навеки».

Я не стал добавлять, что для меня важнее всего, чтобы этой землей стала Аттика, и поздравил себя с тем, что боги сподобились привести Фивы ко мне.

Если сравнивать мою судьбу с судьбой Эдипа, то я доволен: я исполнил свое предназначение. После себя я оставляю город Афины. Я лелеял его больше, чем жену и сына. Я создал свой город. Он останется после меня моей бессмертной мыслью. В согласии с самим собой приближаюсь я к одинокой смерти. Я отведал всех земных благ. Мне приятно думать, что после меня, благодаря мне люди будут знать, что стали счастливее, лучше и свободнее. Ради блага человечества в будущем я свершил свой труд. И прожил свою жизнь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Присуждение Андре Жида в 1947 году Нобелевской премии стало высшим, хотя и запоздалым признанием выдающегося вклада писателя в мировую литературу XX столетия; ведь у себя на родине, во Франции, он уже давно был увенчан лаврами классика национальной словесности. Ко времени лауреатства творческий путь семидесятивосьмилетнего писателя был фактически завершен: в 1946 году он выпустил свое последнее, итоговое художественное произведение — притчу «Тесей».

Старый писатель, который провел годы второй мировой войны в Северной Африке и тяжело переживал обрушившиеся на человечество страдания, не поддался пессимизму, воцарившемуся в «жестоком», по его определению, послевоенном мире. Его герой, мифический Тесей, с гордостью говорит: «Я творил во благо будущего человечества». Благо это он полагает в том, что люди способны стать совершеннее, свободнее и счастливее. «О чем же еще заботиться, как не о человеке? — спрашивает Тесей. — Он еще не сказал своего последнего слова». Собственные этические поиски Андре Жид осмысливает в «Тесее» с позиций гуманистического идеала, продолжая упрямо верить в приход нового человека, свободного в мыслях и действиях, но ответственного перед самим собой и обществом, перед ценностями культуры и цивилизации.

«Тесей» убедительно свидетельствует о цельности творчества Андре Жида, который на заре литературной карьеры, в лирической поэме в прозе «Яства земные» (1897) мечтал научить человека жить и мыслить свободно. «Быть как можно более человеческим — хорошее правило...» — утверждал он в «Яствах земных» и всю жизнь неукобно ему следовал.

Андре Жид родился в Париже 22 ноября 1869 года в богатой — полупротестантской, полукатолической — буржуазной семье. Отец писателя, Поль Жид, был профессором римского права в Сорбонне. Мать, Жюльетта Рондо, была ревностной католичкой, мрачным воплощением деспотичного долга, добродетели и строгости. По словам Андре Жида, он питал к ней «почтительную ненависть». Болезненный, странный мальчик после смерти отца в 1880 году рос в атмосфере иступленной религиозности. Он посещал Эльзасскую школу, но систематического образования так и не получил (его заменило домашнее воспитание). Тем не менее в отрочестве и юности Андре Жид приобрел солидные литературные и музыкальные познания, хорошо знал латынь, немецкий и английский языки. У него рано пробудилось литературное дарование: с пятнадцати лет Андре Жид начал вести свой знаменитый «Дневник».

В литературе Андре Жид дебютировал в 1891 году, анонимно опубликовав сборник стихотворений «Тетради Андре Вальтера». Молодой поэт, входящий в салон кумира символистов Стефана Малларме, создал вычурную книжку, которую потом назвал «длинным объяснением в любви, утонувшим в символистских туманах». Кстати, предметом этой любви была кузина писателя, Мадлен, ставшая впоследствии женой Андре Жида. «Тетради Андре Вальтера» не принесли автору желанного успеха, хотя он сам признавался, что «страстно жаждал славы».

Нельзя не сказать здесь об одном событии, которое оказало решающее влияние на жизнь и творчество молодого литератора. В октябре 1893 года он вместе со своим другом, художником Полем-Альбером Лорансом,

поехал в Тунис. Это путешествие открыло Андре Жиду почти не затронутую цивилизацией природу Африки, опьянило его чувственной, языческой жизнью, превратило, по его словам, из «постаревшего младенца» в мужчину.

Из этой поездки родилось одно из самых вдохновенных произведений писателя — лирическая поэма в прозе «Яства земные», которой он отдал «всю свою любовь, всю заботу и все свои слезы». «Яства земные» — книга судьбы Андре Жид, в которой он сложил восторженную песнь любви к жизни, природе и свободному человеку, раскрыл свой талант моралиста, учителя мудрости. Ее лирический герой — сам Андре Жид, который стремился «укорениться в реальности» и искал «того восхитительного счастья, что сияет, как солнце». Он пытался выразить радостную этику принятия жизни, объявив высшей ценностью каждое ее мгновение, каждый ее дивный плод. Первейшая обязанность человека — жить и «сделать себя самым незаменимым из существ»; «повелительный долг» обязывает личность быть свободной и счастливой. Культура и знание не дадут вожаделенной свободы, если человек до конца не раскроет богатство и полноту всех своих чувств. На пути к самому себе человек должен сделать выбор и отринуть фальшь, ханжество, конформизм, прозу будней и прописи расхожей морали. Но нравственный выбор по природе своей трагичен, утверждает Андре Жид, и неизменно таит в себе огромный риск для личности. Писатель впервые предстает в этой книге как художник морального поиска, который не предлагает законченных нравственных решений, а постоянно ищет новые ответы на вечные вопросы о смысле жизни, о сути и судьбе человека; неслучайно Андре Жид любил называть себя «человеком диалога».

В конце прошлого века Андре Жид попал в мощнейшее силовое поле идей необычайно модного тогда немецкого философа Фридриха Ницше, возвестившего о «переоценке всех ценностей» и приходе «сверхчеловека», который, пребывая на горних высотах духа, презирает жалкую мораль «людей долины». В «Яствах земных» вполне по-ницшеански звучат нотки нравственного релятивизма, когда Андре Жид провозглашает, что важнее всего сами действия, поступки личности вне критериев добра или зла. Призыв к «полной» свободе, к радикальному отказу от предрассудков морали и разума, отвержение культуры во имя стихийности «дикого» чувства, — все это увело писателя на опасные тропы индивидуалистического своеволия, «иммобилизма».

Своеобразие Андре Жид, заключается в том, что он — ярко выраженный художник самопознания. Среди его разнообразных сочинений (стихи и эссе, пьесы и психологические повести, романы и трактаты, путевые очерки и статьи о литературе) высятся огромный массив автобиографической прозы, кстати, совершенно неизвестной русскому читателю. Все написанное Андре Жидом образует как бы сплошной, непрерывный дневник. «Дневник» Андре Жид, (он вел его с 1889 по 1949 г.), поражающий редким богатством мыслей, утонченным психологизмом и совершенством стиля, — это шедевр писателя, где совершилось его главное художественное открытие — открытие собственного Я. «Мой гений я вложил в свою жизнь; в свои произведения я вложил лишь мой талант» — этот блестящий парадокс Оскара Уайльда может служить характеристикой творчества Андре Жид, который был другом английского писателя. Постоянное пристальное самонаблюдение помогало Андре Жиду находить не только самобытно-индивидуальное, но и общезначимое в психологии человека. Вот почему все художественные произведения Андре Жид объективируют темы и проблемы, поставленные в его «Дневнике», а за всеми его героями явственно ощущается присутствие автора.

В психологической повести «Имморалист» (1902 г.)¹ Андре Жид подвергает критической проверке те идеи, которые он пылко проповедовал в «Яствах земных». В основе этого произведения лежит, разумеется, литературно переосмысленный жизненный опыт писателя.

«Имморалист» — горькая исповедь молодого ученого, историка античности, Мишеля, человека, перегруженного книжной культурой и предрассудками пуританского воспитания, который жаждет освободиться от условностей «нормальной» морали, мечтая жить ближе к природе. Он предстает этаким далеким прообразом вчерашних хиппи и сегодняшних «маргиналов». Тяжело заболев туберкулезом, Мишель во время поездки с юной женой по Африке с восторгом открывает для себя «варварскую» жизнь.

Мобилизуя всю свою волю, он выздоравливает и обретает свободу проявлять свои «неконформистские» чувства к смазливому и порочным арабским мальчишкам. Мишель с радостью убеждается, что отныне он лишен чувства долга по отношению к своей кроткой жене Марселине и, горделиво утверждая свою «полную» независимость, пытается вести себя, как некий сверхчеловек. В погоне за «опасным существованием» он предаст любовь и верность больной Марселины и обрекает ее на смерть. Энергия стихийной, чувственной жизни и безграничная свобода обнаруживают свой разрушительный, бесчеловечный характер. Платой за них оказывается чужая жизнь.

Андре Жид позднее говорил, что, создавая «Имморалиста», он хотел написать книгу об «опасности крайнего индивидуализма». Мишель, одержимый жадной эгоистического самоутверждения, мечтал стать «новым человеком», «оттолкнуть от себя культуру, приличие, нравственность», «освободить свой ум от нестерпимой логики», но, по мнению писателя, жизненная позиция его героя иллюзорна, фальшива, и он «страдает от своей свободы». Писатель показывает посредственность и убожество своего «имморалиста», который пришел к чудовищному выводу: «уничжать слабых — вот что нужно».

Повесть «Имморалист» стала первым произведением Андре Жида, снижавшим успех не только в узкой среде «мандаринов» культуры, но и у читателей. Хотя писатель активно участвовал в литературной жизни Франции — в 1909 году он стал одним из основателей журнала «Nouvelle Revue Française», который выходит до сих пор, и знаменитого парижского издательства «Галлимар», — до первой мировой войны его творчество не приобрело европейской известности. Далеким от декадентства и не принимавший авангардизма в искусстве, Андре Жид критически относился к действительности и оптимистическим идеям так называемой «прекрасной эпохи», опережая свое время, пронизательно улавливал те тенденции и духовные веяния, что получают развитие лишь после кровавого кошмара первой мировой бойни, когда заговорят о «закате Европы» и «потерянном поколении».

В 1914 году появилась книга «Подземелья Ватикана» — небылица, буффонада, фарс, где писатель с тонкой иронией изображает невероятные, «чудесные» метаморфозы тех идеалов и верований, идей и теорий, что имели, казалось бы, безусловное значение в эпоху «конца века». Все персонажи проверяются отношением к фантастической выдумке группы мошенников, будто бы папа Лев XIII заточен в подземельях Ватикана

¹ «Имморалист» был первой книгой Андре Жида, вышедшей в русском переводе; в 1923 году петроградское издательство «Мысль» выпустило ее под названием «Безнравственный». Но имя писателя стало известно в России гораздо раньше: первая русская статья об Андре Жиде «В раю отчаяния» написана Л. Аннибал в 1904 году и опубликована в десятом номере редактируемого В. Я. Брюсовым журнала «Весы».

коварными франкмасонами, задавшимися целью сорвать так называемое «католическое возрождение», и заменен двойником-самозванцем. Проходимцы ловко собирают простофилю верующих, организуя «Крестовый поход во имя освобождения папы». Все идеи и убеждения персонажей «небылицы» неподлинны и фальшивы; все персонажи играют навязанные себе самим роли, носят аляповатые маски, как в шутовском балагане.

Однако в те годы «Подземелья Ватикана» не прозвучали. Позднейшей своей славой эта книга обязана ее главному герою Лафкадио Влуики — теоретику и практику философии так называемого «бесцельного действия» (*action gratuite*) и «абсолютного преступления» (*crime parfait*). Жизнь для Лафкадио сводится к наслаждению чистой красотой, к бесполезной и совершенной свободе от общепринятых норм поведения; для него люди — «марионетки, олухи и обормоты», заслуживающие лишь презрения. Себя он аттестует «авантюристом», «непоследовательным человеком». «Мне казалось,— признается он,— я способен обнять все человечество или задуть его, быть может... Какой пустяк — человеческая жизнь!»

«Подземелья Ватикана» явным образом соотнесены с «Преступлением и наказанием» Ф. М. Достоевского. Лафкадио, конечно, не Раскольников. Это — порожденная воображением Андре Жида чисто интеллектуальная конструкция,— в духе «философских сказок» XVIII века,— которая должна в фарсовой манере проиллюстрировать идеи «бесцельного действия» и «абсолютного преступления». Андре Жид чутко уловил опасность этих бесчеловечных идей, чье практическое воплощение в нашем веке принесло неисчислимы страдания. Достаточно вспомнить «абсолютные преступления» нацизма или сталинизма, терроризм, разгул немотивированной преступности, вандализм молодежи.

В тяжелые годы войны Андре Жид, в отличие от многих писателей Европы и России, молчал. Лишь в 1919 году он вернулся в литературу, опубликовав поэтичную повесть «Пасторальная симфония»¹. Он задумал эту вещь (первоначальное ее название «Слепая») еще в 1894 году, когда несколько месяцев прожил в Швейцарии, и говорил, что отдает ею «последний долг своему прошлому». Ведь молодой Андре Жид мучительно изживал свое ригористическое религиозное воспитание, и ему был психологически понятен душевный конфликт грешной любви скромного деревенского пастора к взятой им в дом слепой сироте Гертруде.

Перед нами снова исповедь, на сей раз написанная стареющим пастором, который разрывается между земной страстью и служением Богу. Позднее Андре Жид писал: «Все мои книги ироничны. «Пасторальная симфония» — это критика определенной формы лжи человека самому себе». Эту морально-психологическую проблематику повести превосходно резюмирует приводимый в ней афоризм Ларошфуко: «Наш ум часто бывает игрушкой сердца».

Пастор, погруженный в приходские и семейные хлопоты, выдумал себе целый роман, что его цель — воспитание Гертруды, приведение к Богу не по своей воле заблудшей овцы. Но редкостно талантливая слепая девушка «прозревает» сердцем раньше пастора, понимая, что она нравится ему физической и душевной красотой.

В отличие от «Подземелья Ватикана» в этой повести происходит не поддельное, а истинное чудо: после удачной операции к Гертруде возвращается зрение. Девушка открывает не только прекрасный мир альпийс-

¹ «Пасторальная симфония» — одно из популярнейших и любимых читателями произведений Андре Жида. В 1946 году режиссер Жан Делануа снял по этой повести фильм. Роль Гертруды исполняла замечательная французская актриса Мишель Морган.

кой природы, но и «лица людей, отягощенных заботой», воочию видит, какие чувства питает к ней пастор и его сын. Не выдержав этой драмы прозрения, она кончает с собой.

Настоящим слепцом оказался пастор; пелена самообмана спадает с его глаз лишь тогда, когда трагедия уже свершилась. Ригористическое религиозное сознание пастора, принесшее столько страданий близким людям, оказалось «формой лжи самому себе», фальшью. В разработке огромной темы «фальшивости», неподлинности в человеческих отношениях «Пасторальная симфония» стала своеобразной лирической прелюдией к роману «Фальшивомонетки» (1926 г.)

Французская исследовательница Жермена Брэ отмечала, что в литературе Франции «этот роман поистине не имеет предшественников». Многие проясняет в этом оригинальном, необычном по своей новизне произведении его творческая история.

«Фальшивомонетчиков» писатель анонсировал еще в 1914 году, не имея предварительного плана: Андре Жид любил импровизировать в искусстве и «ждал, когда действительность продиктует ему план романа». Сперва книга мыслилась своеобразным продолжением «Подземелий Ватикана»: начало романа, написанное в 1921 году, рассказывало о встрече на перроне вокзала Лафкадио и Эдуарда. Однако Андре Жид скоро понял, что его замысел абстрактен, несовершенен, а герой «бесцельного действия» Лафкадио непригоден для выражения проблем той оказавшейся «во власти диссонансов вселенной», каким стал мир после первой мировой войны. Писатель хотел сделать роман «Фальшивомонетки» «перекрестком, местом встречи проблем» эпохи, «вложить в него без остатка все, чему его научила жизнь».

Задача была трудной, так как он сознавал исчерпанность традиционных форм жанра; писатель мучительно раздумывал над «новой формулой» романа, которая отвечала бы изменившейся, «разорванной» послевоенной реальности.

В поисках обновления жанра Андре Жид пришел к концепции «чистого романа» или «романа идей», которую вложил в уста главного героя своего произведения писателя Эдуарда. Роман — самый свободный из всех литературных жанров, но, полагает Эдуард, «из-за боязни этой свободы роман всегда трусливо цеплялся за действительность».

Первейшая задача художника состоит в том, чтобы «выразить общее при помощи частного». Поэтому Эдуард выработал целую программу «очищения» романа. «Выбросить из романа все элементы, по своему существу ему не принадлежащие, — размышляет он. — Подобно тому, как недавно фотография освободила живопись от обязанности подробно выписывать детали, в недалеком будущем фонограф несомненно очистит роман от пересказывания разговоров, что часто приносит славу реалисту. Внешние действия, приключения, побои и нанесение ран — область кинематографа; все это роман должен уступить ему. Даже описание действующих лиц, по-моему, должно быть исключено из романа, как такового... Чистый роман не должен заниматься подобным описанием, как не занимается им драма».

Однако роман, претендующий на звание такового, сопротивляется, он не может дышать разреженным воздухом философских и идеологических абстракций. Ему необходимы плоть темы, динамика фабулы, развитие сюжета и характеров персонажей. Андре Жид, в отличие от рефлектирующего писателя Эдуарда все-таки написавший «Фальшивомонетчиков», понимал это и для подтверждения своей гипотезы о «чистом романе» обратился к фактам давней уголовной хроники, которые поразили его еще в начале XX века. Он сохранял газетные вырезки 1906, 1907, 1909 годов, где сообщалось о банде фальшивомонетчиков, которая из «идейных

соображений» — во имя разрушения буржуазного общества — печатала поддельные деньги и сбывала их через подростков из приличных семейств. Андре Жида поразило, что в кружке фальшивомонетчиков обсуждались также литературные и политические вопросы.

Из этой уголовной хроники выросла и тема романа Андре Жида: тема фальши, лжи, лицемерия буржуазного общества, неподлинности, бесчеловечности отношений между людьми, надуманного, неадекватного, неискреннего отношения отдельного человека к жизни, идеям, другим людям, наконец, к самому себе и собственным чувствам. Андре Жид создал роман о людях, которые, словно поддельные монеты, «звучат фальшиво». «Фальшивых» людей воспитывают все основные институты общества — семья, школа, церковь, суд. Фальшивомонетчиками волей или неволей оказываются все герои Андре Жида, потому что они отгораживаются от действительности ширмами удобных предрассудков или мифов. Они либо сознательно обманывают, либо бессознательно обманываются в призрачном мире видимостей, иллюзий, ложных ценностей, которые тончайшей паутиной опутывают жизнь.

Главным препятствием на пути человека к подлинности и искренности, по мнению Андре Жида, оказывается семья, «социальная клетка», как он ее называет. Писатель в романе доказывает, что существует «семейный агонизм», который во многом страшнее эгоизма личного. Именно буржуазная семья предстает оплотом социального лицемерия и фальши. Не случайно, что такие герои романа «Фальшивомонетчики», как циники и хищники Робер де Пассаван, леди Гриффитс, мошенник Струвилу, — люди бессемейные. Они просто откровеннее в преследовании собственных интересов, чем остальные взрослые персонажи книги — судебные чиновники, преподаватели, пасторы, наставники юных душ и хранители устоев цивилизации, которые суть истинные «фальшивомонетчики». Андре Жид как бы пародирует традиционный семейный роман, обнажая банальную, пошлую тайну почтенных семейств — адюльтер. И понятно, почему внебрачный сын Бернар уходит из дома судебного следователя Профитандье: только в бунте против живых семейных уз и традиций он может обрести себя.

Однако и бунтарство молодежи — Бернара, Оливье, Сары, Жоржа, совсем юных «фальшивомонетчиков» — тоже оказывается лживым, неподлинным, не выходящим за рамки традиционных ценностей буржуазного общества. Андре Жид не судит своих героев, будучи убежден, что всю сложность жизни, чувств и мыслей нельзя свести к личному опыту кого-то из персонажей. Решение проблем, поставленных в романе, может быть только личным делом и каждого героя, и каждого читателя. В сущности, «Фальшивомонетчики» — это роман о конфликте личности с действительностью, который не имеет конца.

В автобиографической книге «Если зерно не умрет» Андре Жид вспоминает, как в детстве разломал свою любимую игрушку, калейдоскоп, пытаясь понять, почему в нем складываются столь причудливые, красочные картинки. Точно так же он поступает в «Фальшивомонетчиках» с традиционным романом: он как бы разбирает его на глазах читателей, прямо вмещивается в повествование, серьезно или иронически комментируя отдельные эпизоды, давая оценку персонажам, нарушая хронологию. Однако в итоге литературного эксперимента возникает пестрый, но отнюдь не хаотичный узор неповторимого произведения. Несмотря на кажущуюся раздробленность романа, Андре Жиду удается добиться композиционной стройности и единства художественного впечатления.

Андре Жид не устал повторять, что его творчество подлежит только эстетическому суду. «Я совершенно не способен к политике, — записано

в «Дневнике». — Так не требуйте же от меня партийности». В начале своей литературной деятельности, в 1899 году, он высказался еще категоричнее: «Художник обязан приводить в порядок собственное творчество, а не окружающий его мир». Почти сорок лет своей литературной жизни писатель держался в стороне от истории и политики, не доверяя достоинствам «ангажированной» литературы, и утверждал, что даже крохотная уступка злобе дня — «журнализму», как он говорил, — способна разрушить цельность и совершенство художественного создания. Недоверие к публицистике Андре Жид высказал в броском афоризме: «Горе книгам, где приходят к каким-либо выводам». Призвание художника не в иллюстрировании «готовых» социальных, моральных или философских истин; его долг — средствами искусства искать вечно обновляющиеся, общечеловеческие принципы подлинной свободы, стремиться к «возвышению человека». «Из прекрасных чувств делается плохая литература» — эта программная фраза, за которую Андре Жида без конца обвиняли и обвиняют в антигуманизме, аморализме, безответственности, снобизме, индивидуализме, эстетстве и прочих смертных грехах, просто-напросто объясняет его неприятие назидательности, плоского морализаторства и примитивно понимаемой «воспитательной» роли литературы.

Почему Андре Жид — аристократ духа, исповедующий стендалевскую философию «эгоизма», оказался вовлечен в беспощадные политические схватки XX века? Завершив «Фальшивомонетчиков», писатель еще не знал, что ему придется столкнуться с разными формами «большой лжи» эпохи. В поездке по экваториальной Африке он был потрясен тем чудовищным положением, в каком стараниями «белых цивилизаторов» очутились колонизованные народы. Гнев, возмущение и негодование злоупотреблениями колонизаторов писатель выразил в нашумевших книгах — «Путешествие в Конго» (1927) и «Возвращение с озера Чад» (1928). Антиколониальные выступления требовали большого гражданского мужества, ибо «колониальная партия» во Франции была очень влиятельна и сильна.

Обстановка толкала Андре Жида к напряженным размышлениям над «трагическим социальным вопросом». Теперь он начинает осознавать, что писатель способен играть в истории не только роль чистого художника, но и «владельца дум», «учителя жизни», «хранителя мудрости».

«Великая депрессия» 1929—1930 годов; приход в Германии к власти фашизма, несшего угрозу новой войны; борьба за Народный фронт во Франции; беспрецедентный эксперимент построения социалистического общества в Советском Союзе... Осмысление этих громадных событий и привело Андре Жида в стан левой интеллигенции. Писатель выступает на рабочих и антифашистских митингах, подписывает декларации и манифесты, участвует в работе парижского конгресса писателей в защиту культуры (1935).

Постепенно писатель стал обращать взоры к Советской России. В 1932 году на страницах журнала «Nouvelle Revue Française» появилась вызвавшая резонанс статья «Страницы из дневника», где Андре Жид заявил, что его «целью» и «мечтой» стала страна социализма, что отныне будущее культуры и гуманизма для него связано с судьбами СССР. «Я всем сердцем с вами», — писал он, обращаясь к советским людям.

Советская пропаганда была рада заполучить такого калибра «новобранца» социализма. В начале тридцатых годов наша пресса прямо-таки в экстатических тонах восхваляла Андре Жида: «величайший писатель современной Франции», «художник, разоблачающий капитализм», «великий друг СССР» из «фаланги писателей-революционеров» и т. д. и т. п. Был опубликован специальный номер журнала «Интернациональная литература», посвященный Андре Жиду, даже выпущена огромным тиражом

открытка с его портретом. Тираж книг Андре Жида, изданных в СССР к моменту его приезда, достиг 164 400 экземпляров (по тем временам весьма внушительная цифра).

Сенсационное обращение Андре Жида в «коммунистическую веру» у нас объяснялось вульгарно-социологически. Суть в том, что Андре Жид «пришел» к коммунизму не через опыт социальной борьбы и марксизм, а благодаря своему христианскому, евангельскому идеалу всеобщей справедливости, братства и любви. Писатель утверждал, что всегда был «коммунистом сердца и коммунистом духа, оставаясь все же христианином». «Чтобы быть счастливым, мне необходимо счастье всех», — говорил Андре Жид, никогда не помышлявший о революционном переустройстве мира. Наивысшей ценностью для него был человек; христианство — той «необыкновенной школой», которую обязана пройти каждая личность. В Советском Союзе Андре Жид надеялся найти подтверждение своим взглядам.

В СССР Андре Жид находился с 17 июня по 24 августа 1936 года. Он встречался с руководителями Советского государства, в том числе И. В. Сталиным, с творческой интеллигенцией, с рабочими, колхозниками, пионерами, молодежью. 20 июня он произнес с трибуны Мавзолея речь на траурном митинге памяти А. М. Горького. Вспоминая эту триумфальную поездку, он писал позднее, что в СССР «действительно узнал славу». Но пышность приема, «соблазнительство», как он говорил, комфортом и огромными гонорарами не помешали Андре Жиду разглядеть в советской жизни то, чего не заметили или не желали замечать многие другие именитые визитеры в «первую страну социализма». Советская действительность оказалась сложнее, грубее, трагичнее умозрительных схем парижского интеллектуала и быстро развеяла оптимизм писателя в отношении «победившего социализма». О своем разочаровании Андре Жид рассказал в книге «Возвращение из СССР», которую после мучительных сомнений и колебаний выпустил в ноябре 1936 года в Париже. Она мгновенно стала европейской, даже мировой сенсацией и вызвала чрезвычайно резкую полемику.

Андре Жид сумел разглядеть и по-своему осознать трагедию советского народа, который был в те годы подавлен кровавым террором и чудовищной, всепроникающей ложью сталинщины. Писатель не испугался во всеуслышание сказать правду, разумеется, ему доступную, о «стране победившего социализма». Андре Жид с иронией писал, что оказалась «не слишком рентабельным» для сталинской пропаганды.

У нас «Возвращение из СССР» было объявлено «клеветнической стряпней», а сочинения Андре Жида перестали издаваться.

В 1947 году появилась небольшая книжка «Осенние листки» — своеобразное духовное завещание писателя. В ней Андре Жид с убедительной силой изложил свое «евангелие» веры в достоинство человека. «Я свергаю с алтаря Бога и возношу на его место человека», — писал он. Достоинство, доблестную добродетель каждой личности писатель видел в том, чтобы она добилась от себя всего самого лучшего. «Бог теперь жив только благодаря достоинству человека». «Самое ценное, что дает нам Андре Жид, — писал Жан-Поль Сартр, — это его решимость до конца пережить агонию и смерть Бога». И хочется продолжить эту мысль навсегда утвердить на его месте свободного человека.

Андре Жид искал в творчестве «возможность мыслить свободно», писал, по его словам, «для тех, кто понимает с полуслова». И еще он любил повторять, что «пишет для того, чтобы его перечитывали». Я предлагаю читателям перечитать шедевры прозы Андре Жида, в которых так много умной, глубокой правды о человеке.

Лев Токарев

СОДЕРЖАНИЕ

Имморалист. Повесть. Перевод А. Радловой	5
Пасторальная симфония. Повесть. Перевод Б. Кржевского	107
Фальшивомонетки. Роман. Перевод А. Франковского. Под редакцией Л. Токарева	161
Тесей. Притча. Перевод В. Исаковой	465
Послесловие Л. Токарев	503

Андре Жид

Избранные произведения

Текст печатается по изданиям:

Жид Андре. Собрание сочинений. В 4-х т.

М.: Гослитиздат, 1935—1936

Жид Андре. Фальшивомонетчики.

М.: Моск. рабочий, 1990

Жид Андре. Фальшивомонетчики. Тесные врата.

М.: Прогресс, 1991

Редактор Т. Зотова

Художественный редактор В. Гордеев

Технический редактор Л. Никитина

Корректоры С. Плисова, М. Чирикова

Жид Андре

Ж69 Избранные произведения. Пер. с фр. / Сост., послесл. Л. Токарев; худож. А. Музанов.— М.: Панорама, 1993.— 512 с.— (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»).

ISBN 5-85220-207-X

В настоящее издание классика французской литературы Андре Жида (1869—1951) вошли наиболее значительные произведения писателя, отражающие его долгий творческий путь. Это повести «Имморалист» (1902), «Пасторальная симфония» (1919), роман «Фальшивомонетчики» (1925), притча «Тесей» (1946), где автор ставит вопросы о смысле жизни человека, его природе и судьбе, раскрывает тему фальши, всеобъемлющего лицемерия общества, надуманного, неискреннего отношения человека к другим людям, к самому себе и собственным чувствам.

Ж 4703010100-157
088(02)-93 КБ-5-34-93

ББК 84.4 Фр

Подп. в печать 18.05.93. Формат 84 × 108/32. Гарнитура Баскервиль. П. л. 16+1 вкл. Усл. п. л. 26,88. Усл. кр-отт. 26,99. Уч.-изд. л. 27,82. Изд. № 044500053. Тираж 50 000 экз. С-157. Печать офсетная. Бумага офсетная. Заказ 3113.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

